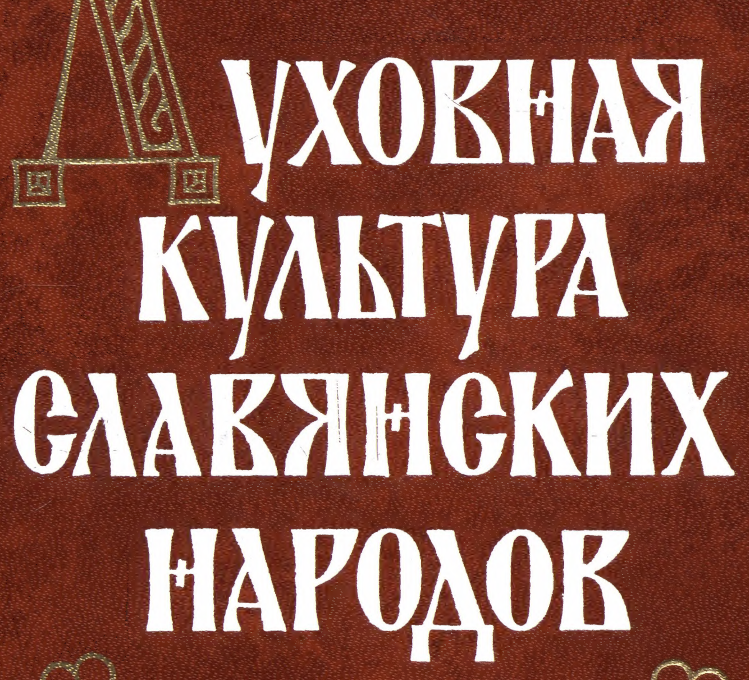

Духовная
культура
славянских
народов



АКАДЕМИЯ НАУК СССР

ИНСТИТУТ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
(ПУШКИНСКИЙ ДОМ)





ЛИТЕРАТУРА · ФОЛЬКЛОР · ИСТОРИЯ

Сборник статей к IX Международному съезду славистов



ЛЕНИНГРАД
«НАУКА»
ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
1983

Рецензенты:

К. И. Ровда, *А. И. Хватов*

Д $\frac{4603010101\text{-}710}{042\ (02)\text{-}83}$ 368-83-III

ПРЕДИСЛОВИЕ

Предлагаемый вниманию читателей сборник создан в Секторе взаимосвязей русской литературы с зарубежными Пушкинского Дома при активном участии славистов Москвы, Ленинграда, Тбилиси. Он приурочен к IX Международному съезду славистов, который состоится в сентябре 1983 г. в Киеве.

Сборник продолжает серию славяноведческих исследований, подготовленных в Пушкинском Доме раньше и посвящавшихся Международным съездам славистов в Софии, Варшаве, Праге и Загребе. Эти работы, не претендуя на исчерпывающее освещение проблемы взаимосвязей русской литературы с другими славянскими литературами, ввели в научный оборот немало новых историко-литературных материалов, ликвидировали ряд белых пятен в истории сотрудничества и взаимной дружбы братских литератур, приблизив тем самым то время, когда наша наука приступит к осуществлению первых опытов систематического исследования взаимоотношений двух или нескольких славянских литератур.

Вся серия названных славяноведческих работ Пушкинского Дома была осуществлена под руководством академика М. П. Алексеева (1896—1981), председателя Советского и Международного комитетов славистов. Один из основателей и крупнейших деятелей советского сравнительного литературоведения, академик М. П. Алексеев в своем научном творчестве, в педагогической работе и в трудах по организации науки всегда пристальное внимание уделял взаимосвязям русской литературы с другими славянскими литературами, стремясь средствами филологического исследования оттенить их единство и братство, оценить вклад, который каждая из них внесла в мировое литературное развитие, подчеркнуть их роль и значение в строительстве социализма в славянских странах.

Работа над настоящим сборником, посвященным IX Международному съезду славистов, была начата еще при жизни академика М. П. Алексеева, и общее направление труда, его содержание, состав авторского коллектива были утверждены им и одобрены. Созданная после его кончины редколлегия сочла необходимым сохранить и осуществить именно тот замысел, который был им предложен и разработан.

Как и все предшествующие подобные труды, сборник «Духовная культура славянских народов» по возможности ориентирован на программу

предстоящего съезда, в которой много внимания предполагается уделить истории, культуре и литературе Киевской Руси. Это и понятно: съезд проводится в Киеве, и, кроме того, проводится он в скором времени после знаменательного юбилея, широко отмечавшегося на Украине и по всей нашей стране, — 1500-летия со времени основания города Киева. Поэтому в сборнике впервые введен целый раздел, посвященный Древней Руси, ее культуре, письменности, истории.

Все остальные работы сборника касаются разных проблем истории и взаимоотношений русской литературы с литературами польской, чешской, сербской, болгарской. В них даются новые материалы по истории взаимосвязей, рассматривается восприятие творчества русских писателей в славянских странах, исследуется наследие выдающихся деятелей славянской культуры, сыгравших важную роль в становлении русско-славянских литературных отношений, наконец, прослеживается типологическая общность крупнейших явлений литературного процесса, рассматриваемая здесь в сопоставлении славянских литератур с неславянскими.

Сборник «Духовная культура славянских народов» входит в общую систему подготовки советской науки к IX Международному съезду славистов и является дополнением к тем трудам и публикациям, которые к этому съезду выпускают в свет Советский комитет славистов и многие научно-исследовательские учреждения и высшие учебные заведения нашей страны.



I

О. В. Творогов

ДРЕВНЕРУССКАЯ КНИЖНОСТЬ XI—XIII ВЕКОВ

(О Каталоге памятников)

Древнерусская литература XI—XIII вв. (или, как ее принято называть, литература Киевской Руси) изучается в последние десятилетия весьма интенсивно. Достаточно напомнить о новой концепции возникновения древнерусской литературы, разработанной Д. С. Лихачевым, о его наблюдениях над стилем монументального историзма, оказывавшем определяющее влияние на формирование литературных и эстетических взглядов этого времени.[1] Появилось много работ о древнейшем русском летописании, агиографии, переводной литературе, творчестве Кирилла Туровского, «Слове о полку Игореве».

Но историко-литературным исследованиям, разысканиям в области исторической поэтики и стилистики должна постоянно сопутствовать кропотливая археографическая и текстологическая работа, которая позволила бы с наибольшей полнотой воссоздать тот литературный фон, на котором возникли классические произведения древнерусской литературы — Повесть временных лет, Поучение Владимира Мономаха, древнейшие жития, «Слово о полку Игореве». Поэтому представляется необходимым всестороннее изучение древнерусской книжности — всей суммы письменных текстов (исключая актовый материал и памятники эпиграфики), обращавшихся на Руси XI—XIII вв. и известных нам по сохранившимся рукописям. Такое изучение позволит в какой-то мере реконструировать репертуар памятников древнерусской литературы этого времени и несомненно обогатит нас материалом для новых теоретических выводов и сообщений.

---

[1] *Лихачев Д. С.* 1) Развитие русской литературы X—XVII вв. Эпохи и стили. Л., 1973 (гл. 1); 2) Человек в литературе Древней Руси. 2-е изд. М., 1970 (гл. 2 и 3); см. также его работу: «Слово о полку Игореве» и эстетические представления его времени. — В кн.: *Лихачев Д. С.* «Слово о полку Игореве» и культура его времени. Л., 1978.

Работа в этом направлении уже ведется. Так, под руководством Археографической комиссии АН СССР создается Описание славяно-русских рукописей XI—XIII вв., которое станет первым в ряду выпусков Сводного каталога рукописей до конца XIV в. включительно, хранящихся в СССР. В последние годы был составлен и опубликован Предварительный список славяно-русских рукописей XI—XIV вв.,[2] Л. П. Жуковской и Н. Б. Шеламановой разработана Инструкция по описанию славяно-русских рукописей XI—XIV вв.,[3] составляется перечень славяно-русских рукописей XV в.,[4] вышли в свет описания пергаменных рукописей крупнейших библиотек страны — ГПБ, ГБЛ, ГИМ, БАН. Все это позволяет ныне представить состояние нашего рукописного наследия: сколько рукописей этого времени сохранилось, что представляют они собой по содержанию, когда и на каком языке они написаны, где хранятся. Это значительно дополняет те сведения, которыми мы располагали до последнего времени. Выход в свет Описания рукописей XI—XIII вв. несомненно стимулирует изучение истории литературы и культуры Древней Руси.

Однако работа над Сводным каталогом р у к о п и с е й не отменяет необходимости другой работы, а именно составления каталога п а м я т н и к о в, оригинальных и переводных, созданных, переписанных или переведенных в определенный период развития древнерусской книжности. Идея эта не нова: ее пытался осуществить еще И. И. Срезневский, но составленный им хронологический перечень древнейших памятников русского письма [5] в настоящее время не только стал библиографической редкостью, но и значительно устарел по фактическим сведениям и тем более по принципам их подачи.

Между тем подобный каталог крайне необходим. Именно он позволит наглядно представить круг памятников, обращавшихся по существующим сегодня данным в указанный период, что само по себе уже очень важно. Именно каталог памятников мог бы поставить перед собой исследовательские задачи, от которых совершенно обоснованно отказываются составители каталога рукописей: [6] установление источников переводов, выяснение характера взаимоотношений переводов с оригиналами, анализ существующих редакций памятника, сведения о других списках того же текста и т. д.[7] Такой каталог должен явиться надежным справочным пособием

---

[2] Археографический ежегодник за 1965 г. М., 1966, с. 177—272; см. также: *Жуковская Л. П.* Замечания о «Предварительном списке» и «Сводном каталоге» славянских древних рукописей. — Вопросы языкознания, 1969, № 1, с. 98—107.

[3] Археографический ежегодник за 1975 г. М., 1976, с. 28—40.

[4] См.: *Воробьев М. Н., Рогов А. И.* К выходу «Предварительного списка славяно-русских рукописей XV в., хранящихся в СССР» (для Сводного каталога рукописей, хранящихся в СССР). — В кн.: Археографический ежегодник за 1977 г. М., 1978, с. 49—55.

[5] *Срезневский И. И.* Древние памятники русского письма и языка (X—XIV вв.). Общее повременное обозрение. СПб., 1863. (2-е изд. — СПб., 1882).

[6] См.: Инструкция по описанию славяно-русских рукописей XI—XIV вв., с. 38.

[7] Аналогичную задачу поставил перед собой бельгийский славист Ф. Томсон, который заявил о своем намерении составить «ключ» к славянским переводным памятникам XI—XIV вв. (см.: *Thomson F. J.* A guide to slavonic translations from greek down to the end of the fourteenth century. — Славянска палеография и дипломатика. Доклади и съобщения от семинара по славянска палеография и дипломатика.

для археографической работы — для атрибуции и идентификации древнерусских письменных текстов. Иными словами, оба каталога — рукописей и памятников — могли бы создаваться параллельно, взаимно дополняя друг друга.

На первый взгляд может показаться, что поставленная задача, при всей ее безусловной важности, нереальна — проделать подобную работу это значит исчерпывающим образом описать все памятники древнерусской книжности. Подобную цель ставил перед собой в свое время академик Н. К. Никольский, создавая свою знаменитую картотеку [8] или осуществляя два варианта словаря древнерусских писателей и книжников.[9] Замыслы Н. К. Никольского таили опасность уже в самой своей идее: предназначенный для обработки материал оказался непомерно велик — ведь древнерусское письменное наследие насчитывает сотни тысяч рукописей, из которых значительный процент еще не описан. Неудивительно, что многие направления работы в картотеке Никольского лишь намечены. Так, например, конверты на имена русских авторов после XI в. содержат лишь вырезки из «Обзора русской духовной литературы» Филарета (СПб., 1884), а сведения о списках произведений этих писателей отсутствуют.

В другой своей работе Н. К. Никольский избрал иной, хронологический принцип. В его «Материалы для повременного списка. . .» вошли данные о русских писателях только X—XI вв. Но здесь ученый столкнулся с другой трудностью: он собрал имена предполагаемых авторов, тщательно собрал сведения о списках атрибутируемых им произведений (вплоть до XVIII в.), но в большинстве случаев эти атрибуции оказались сомнительными,[10] и в результате интересный по замыслу труд оказался сводом данных о группе памятников, объединенных на крайне зыбких основаниях: либо по тому, что те или иные произведения кем-то приписывались одному (гипотетическому чаще всего) автору, либо по тому, что эти памятники посвящены одному лицу. Так, в статье о Ефреме приводятся сведения не только о приписываемых ему сказаниях о чудесах Николая Мирликийского, но и о других памятниках, посвященных этому святому, включая, например, Метафрастовское «Житие», переведенное не ранее XV в.

Опыт Н. К. Никольского, ученого, наиболее серьезно ставившего вопрос о необходимости полного описания репертуара древнерусской книжности, несомненно должен быть учтен при поиске иных принципов такого описания.

София, септември 1979, с. 37). Однако краткое изложение задач и принципов его работы не позволяет пока представить, как будет реально воплощаться его замысел.

[8] См.: *Покровская В. Ф.* Картотека академика Н. К. Никольского. — Тр. БАН СССР. М.; Л., 1948, т. I, с. 142—150; *Адрианова-Перетц В. П.* Картотека Н. К. Никольского. — Вопросы языкознания, 1961, № 1, с. 121—125.

[9] *Никольский Н. К.* 1) Материалы для повременного списка русских писателей X—XI вв. СПб., 1906; 2) Рукописная книжность древнерусских библиотек (XI—XVII вв.) Материалы для словаря владельцев рукописей, писцов, переводчиков, справщиков и книгохранителей. СПб., 1914, вып. 1 (А—Б).

[10] В работе «Ближайшие задачи изучения древнерусской книжности» (СПб., 1902, с. 29) Н. К. Никольский писал: «Одинаково малонадежны существующие сведения о сочинениях Феодосия Печерского, митр. Георгия, черноризца Иакова, митр. Ефрема, Григория, творца канонов, и других писателей XI века. Сведения эти получены при помощи случайных списков и расшатываются после критической проверки. . .»

* * *

Во избежание размытости критериев в основу Каталога памятников я предлагаю положить хронологический принцип отбора, сделав каталог, как уже было сказано, синхронным Описанию славяно-русских рукописей (с тем отличием, разумеется, что в нем будут учтены только русские рукописи или старославянские рукописи русского извода), — в него могут войти лишь памятники, сохранившиеся в списках XI—XIII вв. (не позднее чем рубеж XIII—XIV вв. по Предварительному списку). Это ограничение может показаться формальным и неправомерным: разве мы не включим в число памятников Киевской Руси Поучение Владимира Мономаха, Повесть временных лет, «Хожение» игумена Даниила и т. д.? О том, как отразить памятники, сохранившиеся лишь в поздних списках, речь пойдет ниже. Но дело не в этом: задуманный каталог должен быть предельно объективным, важно исключать всякую гипотетичность.

Разумеется, если бы каталог сообщал при этом обо всех списках этих памятников, независимо от времени их создания, он представил бы бóльшую ценность. Однако став на этот путь, мы столкнемся с той же трудностью, с которой встретился Н. К. Никольский, — обилием рукописного материала, при этом в значительной степени скрытого в рукописях не описанных еще собраний и коллекций. Каков же выход из этого положения?

Представляется целесообразным следующий компромиссный путь. Для внесенных в каталог памятников указывать все списки до конца XV в. включительно. Именно в этих пределах мы можем добиться полноты сведений, поскольку рукописи XIV в. отражены в Предварительном списке, и, надо полагать, скоро станут доступны сведения о рукописях XV в.

Количество сохранившихся рукописных книг существенно возрастает от века к веку. Если каталог памятников XI—XIII вв. может составить в течение нескольких лет один человек, то каталог памятников, старшие списки которых относятся к XIV в., потребует уже несравнимо большего времени. Над каталогом XV в., видимо, целесообразно будет работать небольшому коллективу, а XVI в. даст такое количество материала, что его описание потребует, вероятно, каких-то иных форм. Именно поэтому в работе такого рода нужно наметить несколько этапов, чтобы каждый из них был завершен в возможно короткий срок. Дело в том, что каждый предшествующий каталог окажется неоценимым подспорьем для составления следующего, не говоря уже о том, какую несомненную пользу он может оказать в текущей археографической работе.

Структура каталога памятников представляется в следующем виде. Статьи располагаются в алфавите названий, принятых Археографической комиссией.[11] Для каждого памятника сообщаются сведения о всех его списках до конца XV в. Затем следует историко-литературный и текстологический раздел статьи, в котором выясняется место древнейшего списка

[11] См.: *Жуковская Л. П.*, *Тихомиров Н. Б.*, *Шеламанова Н. Б.* Рекомендуемые наименования памятников письменности и рукописей для славянского выпуска «Сводного каталога рукописей, хранящихся в СССР». — Методические рекомендации по описанию славяно-русских рукописей для Сводного каталога рукописей, хранящихся в СССР. М., 1976, вып. 2, ч. 1, с. 1—32.

среди других рукописей, наличие вариантов (редакций) текста в отобранных временных пределах, сообщаются сведения о соотношении перевода (если памятник переводной) и оригинала и т. д. Разумеется, такие статьи не могут претендовать на роль исчерпывающих историко-литературных исследований, главным образом потому, что наблюдения проводятся на ограниченном материале. Задачи каталога прежде всего археографические.

Третий раздел статьи — библиографический, в котором приводится основная литература о данном списке или памятнике.

Важной частью каталога должен стать сводный указатель инципитов всех памятников, отраженных в нем. Такой указатель, во-первых, поможет ориентироваться в самом каталоге, так как в ряде случаев отыскать интересующий памятник будет удобнее именно по его начальным словам. Во-вторых, начальные слова не предусматривается приводить в Сводном каталоге, и Каталог памятников восполнит этот недостаток. Более того, он окажется эффективнее, чем указатели начал в описаниях рукописей, если бы такие указатели в них были. В описании инципиты должны приводиться по крайней мере дважды: в раскрытии содержания и в указателе. Если же памятник встречается в нескольких списках, то соответственно возрастает и количество приводимых инципитов, а следовательно, и объем описания. Кроме того, указатель инципитов не может быть механической сводкой начальных слов всех без исключения статей: наличие в рукописях фрагментов, выступающих как самостоятельные памятники, текстов, начинающихся из-за дефекта рукописи не с традиционного начала, и т. д. заставляет в каждом случае вдумчиво решать, какие начальные слова следует включать в указатель, а какие окажутся в нем лишь балластом, поскольку отразят индивидуальные для данной рукописи чтения. Решать все эти вопросы удобнее именно в каталоге памятников.

Разумеется, описанная структура каталога — пока лишь рабочий проект, который будет уточняться и совершенствоваться в процессе его составления.

* * *

Какие же памятники войдут в каталог? К периоду до рубежа XIII—XIV вв. в Предварительном списке отнесены следующие рукописи: Апокалипсис, списки Апостола (апракос, тетр и толковый), Богословие Иоанна Дамаскина, Главизны Максима Исповедника, Главы Нила, Главы Феодора Эдесского, Евангелия (апракос, тетр, толковое и учительное), Жития Евфросинии, Кондрата, Феклы, Златоструй, Ирмологий, сборники канонов, кондакарь, кормчие книги, Лествица Иоанна Лествичника, Летопись новгородская, минеи праздничные (трефологии) и служебные, молитвы, Пандекты Антиоха Черноризца, Пандекты Никона Черногорца, Параклитик, Паремейник, Патерик Синайский, Песнь песней с толкованиями, Поучения огласительные Кирилла Иерусалимского, Пролог, Псалтирь, сборники, слова Ефрема Сирина и Григория Богослова, Слово Ипполита об антихристе, отрывок из Слова о законе и благодати, Служебник, Стихирарь, Хроника Георгия Амартола, Часослов, Шестоднев.[12]

---

[12] При назывании памятников были учтены уточнения и поправки Л. П. Жуковской, указанные в ее статье «Памятники русской и славянской письменности XI—XIV вв. в книгохранилищах СССР» (Советское славяноведение, 1969, № 1, с. 57—71).

Здесь перечислены памятники, отраженные в Предварительном списке, так как они представляют собой отдельные рукописные кодексы или сохранились в отрывках. Но для каталога, естественно, будут расписаны постатейно все сборники, а также некоторые памятники сложного состава (кормчие книги, служебники, праздничные минеи и др.). Эта расписка даст большой прирост особенно ценного для нас материала. Наглядны следующие цифры: в каталоге учтено 322 рукописи (единицы хранения), из которых значительную часть составляют списки памятников одного жанра (например, 60 списков евангелия-апракос, считая фрагменты, 10 служебников и т. д.), тогда как только расписка Златоструя (ГПБ, F. п. I, 46) увеличит картотеку на 80 названий, расписка входящего в состав той же рукописи торжественника — более чем на 30, расписка сборника ГПБ, F. п. I, 39 еще на 14 памятников, и т. д. Значительно обогащается при этом и жанровое разнообразие. Так, в четырех сборниках (Успенском сборнике, Златоструе, сборнике ГПБ № 39 и сборнике ГБЛ, собр. Троице-Сергиевой лавры, № 12) содержится большое число слов Кирилла Туровского, Климента Охридского, Иоанна Златоуста, Василия Великого, Евсевия Александрийского, Анастасия Синаита, ряд житий (Феодосия Печерского, Бориса и Глеба, Афанасия Александрийского, Мефодия Моравского, Пахомия, Алексия Человека Божьего), мучений (Ирины, Христофора, Эразма и др.), Чудеса Николая Мирликийского и Василия Великого, апокрифические тексты (Сказание Афродитиана, Хождение Богородицы по мукам, Паралипомен Иеремии), Стословец Геннадия, Пандекты Антиоха Черноризца, Поучения огласительные Кирилла Иерусалимского и другие памятники.

Расписка сборников для каталога сопряжена с известными трудностями. Как, например, поступать со статьями, которые не соответствуют полному тексту памятника, а являются лишь выписками из него. В Изборнике 1076 г. читается статья, озаглавленная «Нѣкоего старця о постѣ». Установлено, что это — фрагмент из Жития Синклитикии.[13] Такую статью можно рассматривать и как фрагмент (в статье каталога — «Житие Синклитикии»), так как возможно, что извлечение из жития было сделано самим составителем Изборника, и как самостоятельный памятник, если окажется, что такое извлечение было сделано еще на греческой почве и на Русь пришло как самостоятельное произведение. Примеры такого рода известны. Так, фрагменты из Жития Нифонта Констанцского распространялись как отдельные статьи: «Видение святаго отца Нифонта о ядении, како хранят ангели ядущих брашно на трапезе без похуления и без срамных глагол» (эта же статья могла иметь и другие названия: «Слово святаго Нифонта, како подобает с тихостью и молчанием обедати всякому христианину» и «Слово о ядении, како ядущих брашно хранят ангели. . .»), «Слово святаго отца Нифонта, како в последнем издыхании покаянием и слезами и милостынею угодити богу», «Слово святаго Нифонта о богатом и скупом» и т. д. Эти примеры показательны еще в том отношении, что свидетельствуют о ненадежности заглавий: все три варианта сказания «о ядении» текстуально сходны, а заголовки их существенно отличаются. Это

---

[13] См.: Изборник 1076 г. / Издание подготовили В. С. Голышенко, В. Ф. Дубровина, В. Г. Демьянов, Г. Ф. Нефедов. М., 1965, с. 806.

еще один довод в пользу указателя инципитов, который непременно должен сопровождать каталог и служить надежным ориентиром для отыскания памятников.

* * *

Несмотря на то что работа над каталогом памятников сейчас только начата, уже сделаны интересные наблюдения.

Так, оказалось, что несколько десятков учительных и торжественных слов — жанра, наименее исследованного и представляющего наибольшие трудности для описания, — зафиксировано в трех-четырех и большем числе сборников XII—XV вв.[14] Это значит, что имеется материал для предварительных наблюдений над историей их текста, а быть может, и для исследования связей определенных рукописных кодексов. В старший период развития русской литературы количество сборников, вероятно, не было очень большим, их связи друг с другом еще ощущались. Поэтому, несмотря на утрату многочисленных звеньев, может явиться повод для реконструкции картины взаимоотношений дошедших рукописей, а это в свою очередь станет материалом для суждений о древнерусских скрипториях, миграции рукописных книг и т. д.[15]

Сравнение списков, находящихся в разных хранилищах, даст возможность составить более объективное представление об обращавшемся в то время тексте. Так, например, список Поучений огласительных Кирилла Иерусалимского XII—XIII вв. (ГИМ, Синод. собр., № 478) имеет ряд дефектов, которые могут быть откорректированы с помощью списка Поучений, входящего в состав сборника ГПБ, F. п. I, 39, в котором как раз сохранилась начальная часть памятника. Упомянутый сборник представляет большую ценность и в другом отношении. Он известен давно: постатейно состав его раскрыт в описании П. М. Строева и К. Ф. Калайдовича.[16] В сборник входят слова, несомненно принадлежащие Кириллу Туровскому, — это старшая из известных рукописей, содержащих его произведения. Но К. Ф. Калайдович и П. М. Строев атрибутировали Кириллу также и следующие памятники: «Поучение в неделю 5-ю по пасце», «Поучение на Пентикостии», «Слово о премудрости, притча». К. Ф. Калайдович, а затем и М. И. Сухомлинов опубликовали эти произведения как принадлежащие Кириллу.[17] И. П. Еремин, напротив, не включает эти

---

[14] Об этом можно судить уже по работе Е. Э. Гранстрем «Иоанн Златоуст в древней русской и южнославянской письменности (XI—XV вв.)» (ТОДРЛ. Л., 1980, т. XXXV, с. 345—375).

[15] В этом же направлении идут многие разыскания последних лет. См., например, работы Н. Н. Розова «Искусство книги Древней Руси и библиогеография (по новгородско-псковским материалам)» (в кн.: Древнерусское искусство. Рукописная книга. М., 1972); «Книга Древней Руси» (М., 1977) и др.

[16] Обстоятельное описание славяно-российских рукописей. . . графа Федора Андреевича Толстова. Издали К. Калайдович и П. Строев. М., 1825, с. 4—5. — Этот сборник находился в числе семи пергаменных рукописей, исследованных П. А. Лавровским, однако ученый не раскрыл его содержание, сославшись на упомянутое описание Калайдовича и Строева, и ограничился публикацией входящего в состав сборника апокрифического «Сказания Афродитиана» (см.: *Лавровский П. А.* Описание семи рукописей имп. Публичной библиотеки. — ЧОИДР, 1858, кн. 4, с. 42—46).

[17] Памятники российской словесности XII в., изданные . . . К. Калайдовичем. М., 1821, с. 53—55, 86—91; Рукописи графа А. С. Уварова. СПб., 1858, т. 2, с. 65—69, 74—78.

слова в тот круг произведений Кирилла, «который уже может быть ему приписан с полной уверенностью».[18] Вообще проблема атрибуции многочисленных слов и поучений, надписанных именем Кирилла, давно уже поставлена в науке,[19] и ее разрешению, вероятно, сможет помочь анализ всех без исключения сборников XIII—XV вв., с тем чтобы выявить все такие слова, проанализировать характер отношений, в которые они вступают друг с другом, проследить эволюцию их надписаний и т. д. Возможности новых открытий в этой области велики, о чем говорят хотя бы наблюдения Т. А. Алексеевой над сборниками, содержащими слова Кирилла Туровского. Среди обнаруженных ею и неизвестных И. П. Еремину сборников с произведениями Кирилла есть и рукописи XV в.[20]

Составление каталога памятников будет делом нелегким, и прежде всего потому, что многие жанры древнерусской литературы изучены еще недостаточно. Если мы вправе гордиться фундаментальными исследованиями древнейших списков евангелия,[21] если учеными прошлого века много сделано для анализа древнейших списков библейских книг (паримейного текста книги Бытия, книги пророка Даниила, Апостола и т. д.), если ведется изучение триодей,[22] торжественников,[23] прологов,[24] тщательно исследованы кормчие книги,[25] то к планомерному изучению памятников торжественного и учительного красноречия, несмотря на ценные работы И. П. Еремина,[26] Е. Э. Гранстрем,[27] мы едва приступили, если иметь в виду объем репертуара этих жанров. Другие жанры фактически не изучены совсем. Поэтому составление каталога поможет сделать первые шаги на пути изучения малоисследованных и неисследованных вообще жанров.

Как ни сложна выдвигаемая здесь задача, как ни трудоемко ее решение, но думается, что без этого невозможно успешно продолжать изучение древнерусской книжности. Не создав необходимой базы в виде каталогов

---

[18] *Еремин И. П.* Литературное наследие Кирилла Туровского. — ТОДРЛ. М.; Л., 1955, т. XI, с. 366.

[19] См., например: *Петухов Е.* К вопросу о Кириллах-авторах в древней русской литературе. — Сб. ОРЯС. СПб., 1887, т. XLII, № 3.

[20] *Алексеева Т. А.* Сборники постоянного и варьирующегося состава со словами Кирилла Туровского. — Методические рекомендации по описанию славяно-русских рукописей. М., 1976, вып. 2, ч. 1, с. 236—256.

[21] См.: *Жуковская Л. П.* Текстология и язык древнейших славянских памятников. М., 1976; а также многочисленные статьи того же автора о типологии древних рукописей.

[22] См.: *Момина М. А.* Вопросы классификации славянской триоди.— ТОДРЛ. Л., 1983, т. XXXVII.

[23] См.: *Черторицкая Т. В.* О начальных этапах формирования древнерусских литературных сборников Златоуст и Торжественник. — В кн.: Источниковедение литературы Древней Руси. Л., 1980, с. 96—114.

[24] *Фет Е. А.* Новые факты к истории древнерусского пролога. — Там же, с. 56—70.

[25] *Щапов Я. Н.* Византийское и южнославянское правовое наследие на Руси в XI—XIII вв. М., 1978.

[26] *Еремин И. П.* 1) Литературное наследие Феодосия Печерского. — ТОДРЛ. М.; Л., 1947, т. V, с. 159—184; 2) Литературное наследие Кирилла Туровского. — ТОДРЛ, 1955, т. XI; 1956, т. XII; 1957, т. XIII и 1958, т. XV.

[27] *Гранстрем Е. Э.* 1) Иоанн Златоуст в древней русской и южнославянской письменности (XI—XIV вв.). — ТОДРЛ. Л., 1974, т. XXIX, с. 186—193; 2) Иоанн Златоуст в древней русской и южнославянской письменности (XI—XIV вв.). — ТОДРЛ. Л., 1980, т. XXXV, с. 345—375.

рукописей и каталогов памятников, мы обречем себя на вечные кустарные поиски, на догадки и временные рабочие гипотезы вместо планомерного исследования истории древнерусской книжной культуры.

* * *

Выше уже говорилось, что помимо целей археографических каталог памятников призван помочь и решению задач историко-литературных. Он несомненно расширит наши представления о репертуаре древнерусской книжности XI—XIII вв. Но нам, разумеется, будет крайне недоставать тех многих памятников, которые в силу сложных и трагических обстоятельств развития древнерусской культуры — войн, пожаров, стихийных бедствий, человеческого невежества и некомпетентности сохранились лишь в поздних списках.

Мы отдаем себе отчет в том, что до нас дошла ничтожно малая часть древнерусских книг домонгольской поры.[28]

Поэтому, пытаясь реконструировать репертуар книжности Киевской Руси XI—XIII вв., целесообразно помимо каталога памятников, сохранившихся в списках этого времени, составить и каталог памятников, дошедших до нас лишь в более поздних списках, начиная с XIV в.

Такой каталог окажется крайне важным в методическом отношении, поскольку в процессе его составления мы сможем еще раз критически, на уровне требований современной науки, проверить свои традиционные представления о времени создания (или перевода) тех или иных памятников. Такой каталог должен быть отдельным, независимым от рассмотренного выше, и строиться по несколько иным принципам. Сейчас я хотел бы обратить внимание на те критерии, на основании которых памятники, сохранившиеся в поздних списках, могли бы войти в этот второй каталог.

Первый критерий — это указание самого памятника на время его создания или переписки. Так, время составления Повести временных лет помимо ряда историко-литературных соображений надежно определяется имеющимся в ее тексте расчетом лет, указывающим на 1118 год как на время создания одной из ее редакций (по мнению большинства ученых — третьей) и текстом приписки Сильвестра, указывающей на переписку им текста Повести (второй ее редакции) в 1116 г. Чрезвычайно важно для науки датировать не дошедший до нас хронографический свод — архетип Архивского и Виленского хронографов, ибо этот свод позволит датировать ряд входящих в него памятников. В обоих названных хронографах сохранился расчет лет «от Авимелеха» «до сего лета», который с небольшой долей условности позволяет датировать свод 1262 г. или по крайней мере серединой XIII в.[29] Однако сложности могут возникнуть и при наличии в рукописи даты или расчета лет: известно, например, что дату составления

---

[28] Мне не представляются убедительными расчеты Б. В. Сапунова, полученные путем перемножения предполагаемого числа богослужебных книг, составлявших будто бы обязательную принадлежность каждой церкви, на гипотетическое же число существовавших в XI—XIII вв. церквей, но приведенные им же факты массовой гибели древних рукописей вплоть до XIX в. очень впечатляющи (см.: *Сапунов Б. В.* Книга в России в XI—XIII вв. Л., 1978 (гл. 2)).

[29] См.: *Истрин В. М.* Александрия русских хронографов. М., 1893, с. 124—126.

Изборника первоначально прочли как 1043 (а не 1076),[30] многолетние споры идут по поводу возможного истолкования расчета лет в Русском хронографе и в летописном своде середины XV в.[31]

Второй критерий — это свидетельства о времени создания памятника, имеющиеся в самом его тексте. Так, «Хождение» Даниила игумена может быть датировано началом XII в. на основании упоминания о приеме Даниила иерусалимским королем Балдуином и о великом князе киевском Святополке Изяславиче, умершем в 1113 г. Время написания Мономахом своего Поучения может быть определено по событиям, в нем упоминаемым.[32] Следует, однако, подчеркнуть, что данный критерий применим лишь в тех случаях, когда повествователь одновременно выступает как непосредственный очевидец или участник событий.

Третий критерий — текстологический. Если датированный памятник содержит цитаты или — лучше — фрагменты из другого памятника, время бытования которого на Руси нам неизвестно, то мы можем в большинстве случаев с достаточной уверенностью утверждать, что источник существовал ранее, чем был составлен памятник, его использовавший.[33] Так, анализ источников Повести временных лет позволяет судить о том, что ее составителю были известны переводы Хроники Георгия Амартола, Жития Василия Нового, откровения Мефодия Патарского и ряда других памятников,[34] Житие Феодосия Печерского свидетельствует о том, что Нестору был известен текст Жития Саввы Освященного, из которого он сделал ряд текстуальных извлечений.[35]

Но в ряде случаев для обоснования «традиционной» даты потребуются дополнительные разыскания. Так, существует устойчивое мнение, что Повесть об Акире Премудром была известна на Руси уже в XI в.[36] Каковы же аргументы этой датировки?

Во-первых, это случаи употребления в других памятниках имени Акир или производных от него. Но, строго говоря, мы можем встретиться здесь либо с описками, либо с образованиями от иных, созвучных имен.[37] Во-вторых, это существование сказания о чуде Николая Мирликийского, персонажами которого являются Синагрип и его «рядца» Акир. Совпадение этих имен с именами героев повести не может быть случайным, налицо несомненная связь между Чудом и Повестью об Акире. Однако старший список Чуда датируется XV в., и поэтому, чтобы определить время, когда повесть об Акире могла повлиять на создаваемое на Руси (что также

---

[30] См.: Изборник 1076 г. / Издание подготовили В. С. Голышенко, В. Ф. Дубровина, В. Г. Демьянов, Г. Ф. Нефедов. М., 1965, с. 8—9.

[31] См.: *Клосс Б. М.* О времени создания русского Хронографа. — ТОДРЛ. Л., 1971, т. XXVI, с. 253—254. *Лурье Я. С.* Общерусские летописи XIV—XV вв. Л., 1976, с. 108—110.

[32] См.: Повесть временных лет. Т. 2. Статьи и комментарии Д. С. Лихачева. М.; Л., 1950, с. 426, 429—431.

[33] Следует при этом иметь в виду, что не всегда цитата может быть извлечена из самого источника, а не из текста, уже содержащего эту цитату.

[34] См.: *Шахматов А. А.* «Повесть временных лет» и ее источники. — ТОДРЛ. М.; Л., т. IV, 1940, с. 9—150.

[35] См.: *Шахматов А. А.* Несколько слов о Несторовом житии Феодосия. — ИОРЯС, 1896, кн. 1, с. 49—65.

[36] *Григорьев А. Д.* Повесть об Акире Премудром. М., 1913, с. 522.

[37] Примеры см. там же, с. 464, 465.

требует доказательств) новое Чудо Николая Мирликийского, нужно обосновать время появления этого памятника. А. Д. Григорьев, имея в виду сюжет Чуда, где идет речь о морском пути в Константинополь, пишет: «Но так как со времени татарского нашествия южная торговля Руси с Константинополем прекратилась, то рассматриваемое нами Чудо . . . едва ли могло составиться на Руси по прекращению прямой морской торговли с Византией. Поэтому приходится предполагать, что это апокрифическое Чудо произошло еще в домонгольский период русской истории».[38] Такая аргументация едва ли достаточна. Гораздо надежней другой путь. Известно, что чудеса Николая Мирликийского имели широкое распространение в древнерусской литературе. Старшие списки отдельных чудес восходят уже к XII в. (в составе Торжественника, читающегося в рукописи ГПБ, F. п. I, 46). Следовательно, нужно тщательно изучить текстологию чудес, выявить все их списки, определить, в каком составе выступают в тех или иных списках названные чудеса, проанализировать гипотезу, идущую еще от архим. Леонида,[39] о русском происхождении некоторых чудес и т. д. Мы приходим, таким образом, снова к мысли о необходимости исчерпывающего анализа всего дошедшего до нас рукописного наследия Киевской Руси. В заключение заметим следующее. Обычно к проблеме датировки обращается исследователь отдельного памятника. Если же будет изучаться весь круг памятников, уверенно или предположительно относимых к древнейшим векам истории нашей литературы, то появится возможность обратить внимание на общие особенности их языка — лексики, фразеологии, стиля, на текстуальные связи, и, наконец, на взаимную соотнесенность их в составе рукописных кодексов. Этот последний аспект изучения совершенно неприемлем, когда речь идет о литературе XV и последующих веков, где количество сосуществующих памятников и дошедших до нас рукописей исчисляется сотнями и тысячами, но при исследовании книжной культуры XI—XIV вв. явно обнаруживаются связи отдельных сборников, содержащих сходные тексты, а порой и в сходных комбинациях.[40]

Обратимся теперь к четвертому критерию — языковому. Обычно его связывают с А. И. Соболевским, который уделял внимание морфолого-фонетическим особенностям рукописей; позже им был сформулирован «лексический принцип» — выделив группу слов восточнославянизмов, он посчитал наличие их в исследуемых текстах критерием для отнесения таковых к переводам, сделанным на Руси в период до монгольского нашествия.[41] Прежде чем локализовать перевод, следует установить его источник. Лишь в некоторых случаях решению этого вопроса помогает наличие в тексте грецизмов, семитизмов, синтаксических конструкций, выдающих иноязычный оригинал, и особенно языковых ошибок, которые могут

---

[38] *Григорьев А. Д.* Повесть об Акире Премудром, с. 471.

[39] См.: *Леонид.* Житие и чудеса св. Николая Мирликийского и похвала ему. Исследование двух памятников древней русской письменности XI в. СПб., 1881.

[40] См., например, наблюдения Т. В. Черторицкой над историей сложения сборников устойчивого состава (*Черторицкая Т. В.* О начальных этапах формирования древнерусских литературных сборников Златоуст и Торжественник (триодного типа). — В кн.: Источниковедение литературы Древней Руси. Л., 1980, с. 96—114).

[41] Речь идет о докладе А. И. Соболевского «Особенности русских переводов домонгольского периода», прочитанном в 1893 г. (см.: *Соболевский А. И.* История русского литературного языка. Л., 1980, с. 134—147).

быть объяснены именно переводным характером текста.[42] Однако к спорадическим употреблениям иноязычной лексики следует относиться с осторожностью. В. Ф. Дубровина показывает, например, что отдельные грецизмы широко применялись древнерусскими книжниками и не всегда могут служить достаточным основанием для признания текста переводным.[43] В то же время немало текстов (особенно слов и поучений, приписываемых в рукописях Иоанну Златоусту и другим византийским проповедникам) не удается с уверенностью отнести к числу переводных или, напротив, составленных русскими книжниками, так как в их лексическом составе не обнаруживается бесспорных следов иноязычных оригиналов. Вопрос осложняется еще тем, что в оригинальных памятниках мы находим порой пространные цитаты и целые фрагменты из памятников переводных, что заставляет сочетать лингвистический анализ с анализом текстологическим, выяснять источник контекста, в котором употреблено интересующее нас слово иноязычного происхождения.

Еще более сложно установить место перевода, определить, что́ перед нами — перевод, осуществленный на Руси, или же болгарский перевод, лишь переписанный русским книжником. Задачу разграничения русских и южнославянских переводов и поставил перед собой А. И. Соболевский в упомянутой выше работе. Однако на практике дело обстоит значительно сложнее, так как восточнославянизмы могли в равной степени свидетельствовать и о принадлежности перевода древнерусскому книжнику, и о русификации переписчиком болгарского оригинала. Поэтому лексические приметы, предложенные А. И. Соболевским, исследователи используют с большой осторожностью, опираясь не столько на отдельные слова, сколько на словообразовательные элементы (суффиксы, приставки), на употребление полногласной лексики и т. д. Так, Н. А. Мещерский на основании особенностей лексики и словообразования определяет, что перевод «Истории Иудейской войны» Иосифа Флавия был осуществлен на Руси.[44] Г. И. Белозерцев, специально исследовавший употребление приставок *вы-* и *из-*, пришел к выводу, что «наличие в тексте основ с приставкой *-вы* может с достаточным основанием расцениваться как показатель неюжнославянского происхождения перевода текста», но предостерегает при этом, что и «отсутствие образований с *вы-*, наличие в тексте лексем с локальной приставкой *из-* не может само по себе служить свидетельством в пользу мнения о выполнении перевода на южнославянской почве».[45]

Еще сложнее на основе данных языка установить время возникновения (или перевода) памятника. Если при датировке оригинальных древнерусских произведений мы чаще всего можем использовать всю совокуп-

---

[42] См. об этом: *Мещерский Н. А.* Источники и состав древней славяно-русской переводной письменности IX—XV вв. Л., 1978, с. 25—31.

[43] *Дубровина В. Ф.* К изучению слов греческого происхождения в сочинениях древнерусских авторов. — В кн.: Памятники русского языка. Вопросы исследования и издания. М., 1974, с. 62—104.

[44] *Мещерский Н. А.* «История Иудейской войны» Иосифа Флавия в древнерусском переводе. М.; Л., 1958, с. 90—96. — См. аналогичные наблюдения В. М. Истрина над языком перевода Хроники Георгия Амартола (*Истрин В. М.* Хроника Георгия Амартола в древнем славяно-русском переводе. Пгр., 1922, т. II, с. 268—309).

[45] *Белозерцев Г. И.* Префиксы *вы-* и *из-* как различительные признаки ранних славянских переводов. — В кн.: Памятники русского языка, с. 139—140.

ность критериев, о которых шла речь выше, то для переводных памятников данные языка могут оказаться единственным основанием для определения времени перевода.

Хорошо известно, что при последующей переписке лексика памятника может изменяться.[46] Правда, существует определенная зависимость между характером текста, его жанром, и степенью свободы, с которой относятся к нему переписчики, но в целом поновления в той или иной мере присутствуют в каждом позднем списке каждого памятника. Следовательно, существенным оказывается не наличие в поздних списках неологизмов (а именно на этом пытались строить свои сомнения в древности «Слова о полку Игореве» скептики), а напротив — наличие в них лексических, словообразовательных или семантических архаизмов. Так, архаичность грамматического строя «Слова о полку Игореве» сравнительно с «Задонщиной» позволила А. Н. Котляренко неоспоримо доказать большую древность первого,[47] а В. П. Адрианова-Перетц в своем языковом комментарии к «Слову» показала наличие большого числа соответствий в лексике, фразеологии, особенностях словообразования и т. д. между «Словом» и памятниками древнерусской литературы домонгольской поры.[48]

Наблюдения над лексикой как средство датировки памятников не опираются пока что на достаточную лексикологическую базу: исторический словарь русского языка пока еще не создан, а существующие словари («Материалы для словаря древнерусского языка по письменным памятникам» И. И. Срезневского и выходящий сейчас «Словарь русского языка XI—XVII веков») не всегда надежны и потому, что представляют древнерусский лексический фонд далеко не во всем своем объеме, и потому, что среди их источников оказываются как древнерусские оригинальные памятники, так и памятники болгарские или переведенные в Болгарии и переписанные на Руси.

Таковы основные критерии, которые позволяют с той или иной степенью вероятности определять время возникновения или перевода памятников, дошедших до нас лишь в поздних списках.

Может показаться странным, что обширную проблему изучения древнерусской книжности XI—XIII вв. мы сводим к утилитарному Каталогу памятников. Однако необходимо иметь в виду следующее. Отечественная филология много сделала для изучения древнерусской литературы Киевского периода. В трудах ученых прошлого века (А. С. Архангельского, В. Малинина, Е. Петухова, И. Порфирьева, В. Яковлева и др.), в работах В. М. Истрина, Н. К. Никольского, М. Н. Сперанского, А. А. Шахматова, в исследованиях современных советских лингвистов, источниковедов, историков, филологов рассеяно много ценных частных све-

---

[46] См., например, наблюдения над изменением лексики Повести временных лет в исследовании Ф. П. Филина (*Филин Ф. П.* Лексика русского литературного языка древнекиевской эпохи (по материалам летописей). — Учен. зап. ЛГПИ им. А. И. Герцена. Л., 1949, т. 80 (гл. I)).

[47] См.: *Котляренко А. Н.* Сравнительный анализ некоторых особенностей грамматического строя «Задонщины» и «Слова о полку Игореве». — В кн.: Слово о полку Игореве и памятники Куликовского цикла. К вопросу о времени написания «Слова». М.; Л., 1966, с. 129—196.

[48] *Адрианова-Перетц В. П.* «Слово о полку Игореве» и памятники русской литературы XI—XIII вв. Л., 1968.

дений о текстах, не удостаивавшихся монографических описаний. Каталог поможет собрать воедино всю эту массу информации, поставить ее в один ряд с исследованиями творений выдающихся писателей Киевской Руси или таких шедевров ее, как Повесть временных лет, Сказание о Борисе и Глебе и «Слово о полку Игореве». Иными словами, только обстоятельное изучение всей совокупности древнерусских письменных памятников XI—XIII вв. (на первых порах тех, которые сохранились в списках того же времени) позволит поставить изучение литературы этого периода на прочную фактическую основу, даст материал для более обстоятельной и глубокой характеристики этого важнейшего этапа в развитии культуры Древней Руси.





И. Я. Фроянов

ВОЛХВЫ И НАРОДНЫЕ ВОЛНЕНИЯ В СУЗДАЛЬСКОЙ ЗЕМЛЕ 1024 г.

В трудах современных историков Русь XI в. предстает насыщенной классовой борьбой народных масс, направленной против феодализировавшейся знати. Полагают, что эта борьба находила выражение во множестве восстаний, возникавших в различных областях Древней Руси. К их числу исследователи относят и те выступления народа, которые возглавляли волхвы — служители старого языческого культа, уходящего в невозвратное прошлое под натиском преуспевающего христианства. Об одном из них Повесть временных лет рассказывает под 1024 г.: «В се же лето въсташа волъсви в Суждали, избиваху старую чадь по дьяволю наущенью и бесованью, глаголюще, яко си держать гобино. Бе мятежь велик и голод по всей той стране; идоша по Волзе вси людье в болгары и привезоша жито, и тако ожиша. Слышав же Ярослав волхвы, приде Суздалю; изъимав волхвы, расточи, а другыя показни, рек сице: „Бог наводить по грехом на куюждо землю гладом, или мором, ли ведромь, ли иною казнью, а человек не весть ничтоже“. И възвративъся Ярослав приде Новугороду, и посла за море по варягы».[1]

По поводу приведенного летописного текста в науке высказывались разные соображения. А. А. Шахматов считал его новгородским по происхождению и связывал с Начальным сводом конца XI в.[2] Иначе думал Е. В. Аничков, который полагал, что все сюжеты о волхвах, попавшие в Повесть, принадлежат перу Никона-летописца.[3] Едва ли можно отдать безусловное предпочтение какому-нибудь из упомянутых мнений, по-

[1] ПВЛ. М.; Л., 1950, ч. 1, с. 99—100. — Б. Д. Греков относил описываемые события к 1026 г., М. Н. Тихомиров полагал, что они имели место до 1026 г., скорее всего в 1025 г. Сравнительно недавно О. М. Рапов, опираясь на дендрохронологические данные, датировал «восстание» волхвов 1032 г. (см.: *Греков Б. Д.* Киевская Русь. М., 1953, с. 263; *Тихомиров М. Н.* Крестьянские и городские восстания на Руси XI—XIII вв. М., 1955, с. 77; *Рапов О. М.* О датировке народных восстаний на Руси XI в. в Повести временных лет. — История СССР, 1979, № 2, с. 139—140).

[2] *Шахматов А. А.* Разыскания о древнейших русских летописных сводах. СПб., 1908, с. 179, 217; см. также: *Кузьмин А. Г.* Начальные этапы древнерусского летописания. М., 1977, с. 376.

[3] *Аничков Е. В.* Язычество и Древняя Русь. СПб., 1914, с. 141.

скольку мы не располагаем необходимым материалом, который позволил бы полностью определиться в данном вопросе. Ясно только, что летописная запись о волнениях 1024 г. в Суздальской земле появилась значительно позже фиксированных в ней происшествий. Перед нами не протокольная запись или хроника современных событий, а воспоминание с неизбежными вольностями и погрешностями в изложении «всего бывшего».[4] Последнее становится особенно очевидным при сопоставлении известий Повести временных лет с соответствующими сообщениями Новгородской IV летописи, содержащей некоторые подробности, отсутствующие в Киевском памятнике. «Въсташа вълъсви лживи в Суздале, — говорит новгородский летописец, — и избиша старую чадь бабы, по дьяволю научению и бесованию, глаголюще си дрьжат гобино и жито, и голод пущають. И бе мятежь велик и глад по всеи стране тои, яко мужю своя жена даяти, да ю кормять собе, челядином. И идоша по Волзе вси людие в Болгары, и привезоша пшеницю и жито, и тако от того ожиша. Слышав же Ярослав вълхвы, прииде к Суздалю, и изимав убиица ты, и расточи, иже беху бабы избили, и домы их разграби, а другыми показни. И устави ту землю, рек сице: „Бог наводить по грехом на коюждо землю гладом, или мором, или ведром, или иною казнью, а человек не весть ничтоже; Христос Бог един есть на небесе“. И възвратися Ярослав, прииде к Новугороду. И посла за море по Якуна варяжеского князя, и по варягы».[5]

Как видим, в Новгородской IV летописи сохранились детали, которых нет в Повести временных лет, а именно: указание на лживость волхвов, упоминание баб, «пускающих» голод, свидетельство об отдаче мужьями своих жен в рабство ради прокормления, известие об «уставлении» Суздальской земли Ярославом. Спрашивается, насколько достоверны эти детали? Иными словами, в какой мере можно пользоваться Новгородской IV летописью при рассмотрении суздальского «мятежа» 1024 г.? К сожалению, в историографии до сих пор не выработан общий подход в оценке репрезентативности новгородских записей. Каждый из историков ориентируется здесь по собственному усмотрению. Б. Д. Греков, например, оперировал лишь материалом Повести временных лет по Лаврентьевскому списку, как будто новгородской версии событий 1024 г. вовсе не существует.[6] В. В. Мавродин, отмечая «позднейшее происхождение» новгородского варианта сравнительно с Повестью, все-таки прибегает к нему, включая его в свои построения.[7] Вслед за В. В. Мавродиным подчеркивает поздний характер новгородских новаций М. Н. Тихомиров. Однако он идет дальше, считая их непригодными для исследования. «По-видимому, — пишет М. Н. Тихомиров, — первоначальный и малопонятный текст о суздальском восстании был исправлен и дополнен на основании рассказа

---

[4] Е. В. Аничков допускал, что Никон писал о суздальских волхвах со слов Яна Вышатича (см.: *Аничков Е. В.* Язычество и Древняя Русь, с. 141).

[5] ПСРЛ. Пг., 1915, т. IV, ч. 1, с. 111—112.

[6] *Греков Б. Д.* 1) Киевская Русь, с. 263—264; 2) Крестьяне на Руси с древнейших времен до XVII в. М., 1952, кн. 1, с. 230; 3) Краткий очерк истории русского крестьянства. М., 1958, с. 76—77.

[7] *Мавродин В. В.* 1) К вопросу о восстаниях смердов. — В кн.: Проблемы истории докапиталистических обществ. 1934, № 6, с. 76—77; 2) Очерки по истории феодальной Руси. Л., 1949, с. 148—149; 3) Народные восстания в Древней Руси. М., 1961, с. 34—35.

о восстании волхвов в той же Суздальской земле, но только в 1071 г. Тогда волхвы убивали „лучшие жены“, что перенесено в 1024 г. <. . .> Эти дополнения к тексту старых летописей не дают нам новых подробностей о суздальских событиях 1024 г., являясь лишь распространением и своеобразным осмыслением того, что было известно о них по Повести временных лет. Следовательно, в анализе событий 1024 г. придется в основном исходить из текста Ипатьевской и Лаврентьевской летописей».[8] Наконец, Н. Н. Воронин и Л. В. Черепнин создают картину классовой борьбы 1024 г. в Суздале путем соединения рассказов Повести временных лет по Лаврентьевскому списку и Новгородской IV летописи.[9]

Мы полагаем, что при изучении суздальских волнений 1024 г. Новгородской IV летописи необходимо предоставить право голоса. Эта летопись, как известно, была составлена во второй половине XV в.[10] Но столь позднее ее появление не может служить решающим аргументом против целесообразности использования содержащихся в ней сведений. Любопытны наблюдения Я. С. Лурье над протографом Новгородской IV летописи. Говоря об авторе протографа, Я. С. Лурье замечает: «Соединив Повесть временных лет в редакции Лаврентьевской-Троицкой летописи с новгородским летописанием, основанным на Начальном своде, сводчик использовал еще несколько сводов, претендовавших на общерусский характер (свод, близкий к Ипатьевской, суздальско-ростовский и тверской своды), в результате чего в первую часть летописи попали и такие известия, которых не было ни в Повести временных лет, ни в Новгородской I летописи».[11] Если это так, то вполне правдоподобно, что изложение событий 1024 г., имеющееся в Новгородской IV летописи, основано на каких-то скрытых от нашего взора древних источниках. Показательно и другое: наличие аналогичных записей в Тверской летописи,[12] Московском летописном своде конца XV в.,[13] летописях Воскресенской,[14] Никоновской,[15] Пискаревском летописце.[16] Судя по всему, М. Н. Тихомиров не был прав, когда утверждал, что дополнения Новгородской IV летописи к тексту старых летописных памятников не дают исследователю новых подробностей о «мятеже» 1024 г., что в этих дополнениях нашло отражение смешение разных происшествий (1024 г. и 1071 г.), а также осмысление фактов, заключенных в Повести временных лет.[17] Вопреки данному утверждению, новгородский летописец все же сообщает некоторые

---

[8] *Тихомиров М. Н.* Крестьянские и городские восстания на Руси XI—XIII вв., с. 74—75.

[9] *Воронин Н. Н.* Восстание смердов в XI в. — Исторический журнал, 1940, № 2, с. 55; *Черепнин Л. В.* Общественно-политические отношения в Древней Руси и Русская Правда. — В кн.: *Новосельцев А. П.* и др. Древнерусское государство и его международное значение. М., 1965, с. 156—157.

[10] *Шахматов А. А.* Обозрение русских летописных сводов XIV—XV вв. М.; Л., 1938, с. 184.

[11] *Лурье Я. С.* Общерусские летописи XIV—XV вв. Л., 1976, с. 101.

[12] ПСРЛ. М., 1965, т. XV, с. 144.

[13] ПСРЛ. М., 1949, т. XXV, с. 375.

[14] ПСРЛ. М., 1856, т. VII, с. 328—329.

[15] ПСРЛ. М., 1965, т. IX—X, с. 78.

[16] ПСРЛ. М., 1978, т. XXXIV, с. 62; см. также: ПСРЛ. СПб., 1851, т. V, с. 135.

[17] *Тихомиров М. Н.* Крестьянские и городские восстания на Руси XI—XIII вв., с. 74—75.

новые детали. Он рассказывает об убийстве волхвами престарелых женщин, независимо от их социального положения, тогда как в 1071 г. волхвы убивали «лучших жен», причем всех возрастов. Далее, в погостах, стоявших по Волге и Шексне, умерщвлялись отдельные «жены», которых волхвы «называли», или указывали на них, а в Суздальской земле в 1024 г. «старых баб» побивали скопом. В убийстве «лучших жен» на волжских и шекснинских берегах принимали участие, хотя и пассивное, родичи обреченных на смерть знатных женщин, в Суздале же мы этого не видим.[18] Разумеется, новгородский текст не лишен позднейших наслоений. К ним, по нашему убеждению, надо отнести свидетельство о том, что измученные голодом мужчины отдавали своих жен в рабство: «Яко мужю своя жена даяти, да ю кормить собе, челядином».[19] Термин «челядин» тут явно неуместен, поскольку под челядью на Руси XI в. разумели рабов-пленников.[20] Смысл, вкладываемый новгородским книжником в слово «челядин», более соответствует историческим реалиям XIV—XV вв., нежели начала XI столетия.[21] Не исключено, что тут перед нами вставка, произведенная в духе позднейших казусов, хорошо знакомых летописцу.[22] На нее намекает неуклюжая конструкция фразы, ее некоторая смысловая аморфность. К той же догадке о вставном характере текста «яко мужю своя жена даяти, да ю кормять собе, челядином» склоняют летописи, где он не встречается. Таков, к примеру, летописный свод 1497 г., в котором читаем: «Ярославу сущу в Новегороде, тогда же ходи оттуда и к Суздалю, слыша бо тамо волхвы лживы, избивающе старую чадь бабы, глаголюще, яко сии гобинои голод пущают. Он же убиица тыи поимав, расточи. . .».[23] Тщательный анализ свода 1497 г. позволил К. С. Сербиной прийти к выводу, что его составитель «бережно относился к тексту своих источников».[24] Идентичную запись обнаруживаем и в своде 1518 г.[25]

Несмотря на поздние наслоения, приросшие к рассказу Новгородской IV летописи под 1024 г., мы не рискуем, подобно М. Н. Тихомирову, отказывать целиком ему в достоверности.

Арсенал летописных источников, толкующих о событиях 1024 г. в Суздальской земле, не исчерпывается двумя версиями, представленными

---

[18] См.: ПВЛ, ч. 1, с. 117.

[19] ПСРЛ, т. IV, ч. 1, с. 112. — Н. Н. Воронин предлагает довольно курьезный вариант перевода этого отрывка: «мужья выдавали своих жен челяди, чтобы челядь насытилась» (*Воронин Н. Н.* Восстание смердов в XI в., с. 55).

[20] См.: *Фроянов И. Я.* Киевская Русь. Очерки социально-экономической истории. Л., 1974, с. 100—108.

[21] См.: *Фроянов И. Я.* Зависимое население на Руси IX—XII вв. (челядь, холопы, данники, смерды). — АКД. Л., 1966, с. 69—71.

[22] Голодные годы в Новгороде случались нередко. В эти тяжкие годы можно было наблюдать, как родители отдавали за хлеб собственных детей «одерень» — в рабство (см.: *Пашуто В. Т.* Голодные годы в Древней Руси. — В кн.: Ежегодник по аграрной истории Восточной Европы 1962 г. Минск, 1964, с. 73—75). Л. В. Черепнин допускал, что летописный текст о продаже мужьями своих жен в рабство мог быть «позднейшим литературным украшением» (*Черепнин Л. В.* Общественно-политические отношения в Древней Руси и Русская Правда, с. 155).

[23] ПСРЛ. М.; Л., 1963, т. XXVIII, с. 20.

[24] *Сербина К. Н.* Из истории русского летописания конца XV в. — В кн.: Проблемы источниковедения. М., 1963, XI, с. 399.

[25] ПСРЛ, т. XXVIII, с. 175.

в Повести временных лет и в Новгородской IV летописи. Владимирский летописец, сходный во многом с Троицкой летописью,[26] содержит тоже оригинальное чтение: «В се же лето явишася волсви Суждальскои земли, избиваху старых муж и жен, глаголя: „си держат гобину". И мятежь велик и голот по всеи земли тои. И Ярослав въсве те казне, а иныя росточи и рече: „се за грехи наши бог наводит на ны". И възвратися Ярослав в Новгород. . .»[27]

Владимирский летописец был впервые полностью издан в 1965 г. С тех пор он стал доступен широкому кругу исследователей.[28] Приходится, однако, с сожалением констатировать, что заметки Владимирского летописца о движении 1024 г. в Суздальской земле остаются пока вне поля зрения специалистов. При скудости данных, в какую упирается историк, изучающий это движение, такое небрежение — чрезмерная роскошь, тем более что многие сведения Владимирский летописец черпал из древних источников. Скажем, новгородские известия Владимирского летописца (а к ним, очевидно, и надо относить сообщения под 1024 г.) являются краткими извлечениями из какого-то новгородского свода, как полагал М. Н. Тихомиров.[29] Продолжая наблюдения над новгородскими материалами в составе Владимирского летописца, начатые М. Н. Тихомировым, Л. Л. Муравьева убедилась в их тождестве с соответствующими местами Новгородской IV летописи.[30] Оказалось также, что Владимирский летописец и Новгородская IV летопись восходят частично к общему новгородскому протографу.[31] Значит, правомерно предполагать сравнительно древний характер записей Владимирского летописца о событиях 1024 г.[32]

Итак, в нашем распоряжении три редакции изложения обстоятельств «великого мятежа» 1024 г. в Суздальской земле. Какому же из них отдать предпочтение? Ответить на поставленный вопрос можно только после критической проверки всех редакций. И тут на первый план выступает анализ источников по содержанию. Свою ближайшую задачу мы усматриваем в том, чтобы определить, насколько согласуются с историческими условиями Руси XI в. данные, передаваемые в трех версиях, и являются ли они взаимоисключающими. Начнем с рассказа Повести временных лет.

Историки, изучавшие происшествия 1024 г. лишь по сообщениям Повести временных лет, находили в них свидетельство об антифеодальном восстании крестьян-смердов.[33] «На свободного смерда-крестьянина, —

---

[26] *Лурье Я. С.* Общерусские летописи XIV—XV вв., с. 27—28.

[27] ПСРЛ. М., 1965, т. XXX, с. 44.

[28] Владимирский летописец был выявлен благодаря разысканиям М. Н. Тихомирова, который писал о своей находке еще в 1942 г. — См.: *Тихомиров М. Н.* Летописные памятники б. Синодального собрания. — Исторические записки, т. 13, 1942.

[29] Там же, с. 261.

[30] *Муравьева Л. Л.* Новгородские известия Владимирского летописца. — В кн.: Археографический ежегодник за 1966 г. М., 1968, с. 37.

[31] Там же, с. 40.

[32] Правда, эти записи не без дефектов. Слово «волхвы» читается в них весьма невразумительно, как «въсве». До предела сжата речь Ярослава, вследствие чего она потеряла ясность.

[33] *Греков Б. Д.* 1) Киевская Русь, с. 263—264; 2) Крестьяне на Руси с древнейших времен до XVII в., кн. 1, с. 230; *Тихомиров М. Н.* Крестьянские и городские восстания на Руси XI—XIII вв., с. 72—81; *Пашуто В. Т.* Голодные годы в Древней Руси, с. 79; см. также: *Абрамович Г. В.* К вопросу о критериях раннего феодализма

говорил Б. Д. Греков, — со всех сторон надвигались тучи».[34] Б. Д. Греков считал, что «мятеж» в Суздале — лишь звено в цепи массовых выступлений крестьянства, ибо «народ волновался, несомненно, повсюду, но летописец записал суздальское движение потому, надо полагать, что тут замешены были в качестве вождей народного движения волхвы, не раз возглавлявшие выступления народных масс».[35]

Мысль Б. Д. Грекова о повсеместном распространении волнений на Руси первой четверти XI в. полностью воспринял М. Н. Тихомиров, по словам которого выступления народа «охватили обширные области тогдашней Руси, начиная от Новгорода на севере и кончая Киевом на юге». В свете их «и следует рассматривать суздальское восстание 1024 г., которое, следовательно, никак не может быть названо первым в XI в. антифеодальным движением на Руси».[36]

Наше понимание сути происходившего в Суздальской земле расходится с представлениями Б. Д. Грекова и М. Н. Тихомирова.[37] О феодализме в начале XI в., по нашему мнению, рассуждать рано.[38] «Восстание» 1024 г. в Суздале нет никаких причин относить к разряду антифеодальных. Впрочем, имело ли место само восстание? С точки зрения традиционных схем подобный вопрос может показаться парадоксальным. Но в нем, как мы покажем ниже, есть резон.

Обращаясь к интерпретациям текста Повести временных лет под 1024 г. в трудах Б. Д. Грекова, М. Н. Тихомирова, В. Т. Пашуто и других авторов, обнаруживаем, что они не исчерпывают в достаточной мере источник, оставляя в стороне отдельные нюансы, а между тем работа с древнерусскими источниками специфична именно вниманием к деталям и штрихам. Б. А. Романов совершенно справедливо замечал, что в древних памятниках мимоходом брошенные мысль, образ, аналогия говорят нередко историку больше, чем обстоятельное повествование.[39] К этому надо добавить, что Б. Д. Греков, М. Н. Тихомиров, а также их последователи обходят стороной этнографические данные, проливающие свет на события 1024 г. В итоге создается обманчивая историческая перспектива. Что же было на самом деле?

Суздальская земля по отношению к «матери градом русским» — Киеву являлась далекой периферией. Здесь обитали не только славянские, но

на Руси и стадиальности его перехода в развитой феодализм. — История СССР, 1981, № 2, с. 71, 74. — Иной подход мы видим в интересной книге Н. Н. Велецкой, указавшей на языческие корни событий 1024 г. Подробней см. ниже, с. 36—37.

[34] *Греков Б. Д.* 1) Киевская Русь, с. 262; 2) Крестьяне на Руси с древнейших времен до XVII в., кн. 1, с. 228.

[35] *Греков Б. Д.* Движения смердов и городской бедноты в XI в. — В кн.: Очерки истории СССР. М., 1953, ч. 1. Период феодализма IX—XV вв., с. 176.

[36] *Тихомиров М. Н.* Крестьянские и городские восстания на Руси XI—XIII вв., с. 72.

[37] Трудно согласиться с Б. Д. Грековым и М. Н. Тихомировым, когда они говорят о Руси начала XI в., охваченной повсюду классовой антифеодальной борьбой. Построения Б. Д. Грекова и М. Н. Тихомирова справедливо оспорил О. М. Рапов (см.: *Рапов О. М.* О датировке народных восстаний на Руси XI в. в Повести временных лет, с. 137—138).

[38] См.: *Фроянов И. Я.* Киевская Русь. Очерки социально-экономической истории.

[39] *Романов Б. А.* Люди и нравы Древней Руси. М.; Л., 1966, с. 39.

и финно-угорские племена.[40] Среди какого населения, славянского или финского, происходили волнения, описанные Повестью временных лет под 1024 г.? Ю. В. Готье полагал, что на Суздальщине волновались финны.[41] Иначе думал М. Н. Тихомиров. Он писал: «Отсутствие упоминаний о том, что восставшие суздальцы были из числа мери или какого-либо другого народа, говорит в пользу того, что во главе восставших стояли славянские волхвы».[42] Доступные нам сведения не дают прочного основания для выводов ни в одном, ни в другом смысле. Больше того, здесь не исключено и третье: предположение о смешанном славяно-финском составе населения, объятого голодом и волнениями, как это, к примеру, наблюдалось в 1071 г. на Белоозере.[43] Итак, этническая принадлежность участников событий 1024 г. не поддается точному определению.

Не лучше обстоят дела и в сфере социальной. Полагают, будто суздальский «мятеж» — восстание угнетенных смердов.[44] Но летописец о смердах хранит полное молчание, упоминая лишь волхвов, старую чадь и людей. Именуя «восставших» «смердами», историки опираются на основания, отнюдь не бесспорные. Доводом здесь служит гипотетическое соображение, что движение 1024 г. «охватило широкие круги земледельческого населения — крестьян».[45] А дальше логика уже простая: поскольку крестьяне в Киевской Руси назывались смердами, то восставшие в Суздальской земле и есть смерды.[46] Однако вопрос о смердах в Древней Руси весьма сложный и дискуссионный. В новейших исследованиях смерды выступают не в качестве крестьян вообще, а как группа зависимого крестьянства.[47] На наш же взгляд, под названием «смерды» скрывались в начале XI в. данники, объединенные в племена, подвластные русским князьям.[48] Дань, которую они платили, отличалась от феодальной ренты, будучи особой формой эксплуатации, присущей древним обществам с незавершенным процессом образования классов.[49] Эта форма эксплуатации

---

[40] См.: *Третьяков П. Н.* Финно-угры, балты и славяне на Днепре и Волге. М.; Л., 1966.

[41] *Готье Ю.* Железный век в Восточной Европе. М.; Л., 1930, с. 152.

[42] *Тихомиров М. Н.* Крестьянские и городские восстания на Руси XI—XIII вв., с. 73.

[43] См.: *Третьяков П. Н.* У истоков древнерусской народности. Л., 1970, с. 120, 140—141.

[44] *Греков Б. Д.* 1) Киевская Русь, с. 262—263; 2) Крестьяне на Руси с древнейших времен до XVII в., кн. 1, с. 228—230; *Тихомиров М. Н.* Крестьянские и городские восстания на Руси XI—XIII вв., с. 72—75; *Мавродин В. В.* Народные восстания в Древней Руси, с. 35; *Воронин Н. Н.* Восстания смердов в XI в.

[45] *Тихомиров М. Н.* Крестьянские и городские восстания на Руси XI—XIII вв., с. 75.

[46] Там же.

[47] См.: *Черепнин Л. В.* Русь. Спорные вопросы истории феодальной земельной собственности в IX—XV вв. — В кн.: *Новосельцев А. П. и др.* Пути развития феодализма. М., 1972, с. 176—182; *Зимин А. А.* Холопы на Руси. М., 1973, с. 211—233.

[48] *Фроянов И. Я.* 1) Киевская Русь. Очерки социально-экономической истории, с. 119—126; 2) Смерды в Киевской Руси. — Вестн. ЛГУ, 1966, № 2; 3) Данники на Руси X—XII вв. — В кн.: Ежегодник по аграрной истории Восточной Европы, 1965 г. М., 1970, с. 33—41.

[49] *Першиц А. И.* Данничество. — Доклады советской делегации на IX международном конгрессе антропологических и этнографических наук. Отд. оттиск. М., 1973, с. 3, 4, 11.

состояла «в регулярном отчуждении продукта победителями у побежденных, но в основном не утративших прежней экономической и социально-потестарной структуры коллективов».[50]

При такой дешифровке термина теряет всякий смысл противопоставление смердов старой чади, поскольку старая чадь тоже относилась к числу смердов — данников. Следовательно, мы вправе говорить не о движении смердов против старой чади, а о движении с р е д и смердов, в ходе которого произошло столкновение различных групп смердьего населения.

Если по поводу смердов — участников событий 1024 г. — можно еще как-то толковать, то весьма спорной является попытка Л. В. Черепнина представить дело так, будто в суздальском движении главную роль играли изгои. Против «старой чади», утверждает Л. В. Черепнин, «выступили, конечно, люди, не имевшие „жита“, „гобина“, т. е. хлеба, зерна, земных плодов, а следовательно, и их источника — самой земли. Это „изгои“, крестьяне, выбитые из общины в результате углубления процесса имущественной дифференциации среди ее членов, утратившие землю и тем самым лишившиеся основного средства производства».[51] Тут все искусственно, начиная с термина «изгои» и кончая рассуждениями об отсутствии земли у «восставших». Голод душил всех, не разбирая, общинники ли это или же выпавшие из общины. Достаточно вспомнить, что за житом «в болгары» отправились «вси людье», чем подчеркивается повальный характер бедствия.

Тезис о «восстании» 1024 г. как крестьянском движении, принятый в современной литературе,[52] нуждается в уточнении еще по одной причине. Обычно забывают, что оно возникло в Суздале.[53] Расправу над волхвами Ярослав учинил также в Суздале.[54] Значит, движение было не только сельским, но и городским. Так повисает в воздухе идея о крестьянской природе суздальской «встани» 1024 г.

После общих замечаний перейдем к более конкретному и подробному анализу летописных известий.

«Въсташа волъсви в Суждали», — читаем в летописи. Что означает слово «въсташа»? Д. С. Лихачев и Б. А. Романов переводят его как «поднялись»,[55] а М. Н. Тихомиров — «восстали».[56] Уже это как бы настраивает на определенный лад, навевая мысль о восстании. Однако семантика данного слова богаче: подняться, встать, выступить, подняться против

---

[50] *Першиц А. И.* Данничество, с. 2; см. также: *Першиц А. И.* Некоторые особенности классообразования и раннеклассовых отношений у кочевников-скотоводов. — В кн.: Становление классов и государства. М., 1976, с. 290—293; *Першиц А. И., Монгайт А. Л., Алексеев В. П.* История первобытного общества. М., 1968, с. 189; *Кобищанов Ю. М.* Доходы аксумских царей. — В кн.: Социальные структуры доколониальной Африки. М., 1970, с. 71.

[51] *Черепнин Л. В.* Общественно-политические отношения в Древней Руси и Русская Правда, с. 156.

[52] См.: *Греков Б. Д.* Крестьяне на Руси с древнейших времен до XVII в., кн. 1, с. 229—230; *Тихомиров М. Н.* Крестьянские и городские восстания на Руси XI—XIII вв., с. 75, 78; *Поршнев Б. Ф.* Феодализм и народные массы. М., 1964, с. 281.

[53] ПВЛ, ч. 1, с. 99.

[54] Там же, с. 100.

[55] Там же, с. 299.

[56] *Тихомиров М. Н.* Крестьянские и городские восстания на Руси XI—XIII вв., с. 73.

кого-либо (на кого-либо), восстать, объявиться, появиться, настать, начаться, наступить, остановиться, стать на месте и пр.[57] Из приведенного перечня внимание останавливает значение слова «въстати» как объявиться, появиться, ибо именно оно кажется нам наиболее подходящим для перевода летописного отрывка. Иначе не понять, почему летописец, говоря о Ярославе, указывает, что князь услышал о волхвах, а не об избиении «старой чади» или о «мятеже великом», всколыхнувшем Суздальскую землю.[58] Далее, в поисках адекватного оригиналу перевода нельзя, очевидно, не прислушаться к другим рассказам Повести временных лет о волхвах, появление которых в различных городах Руси изображается как нечто неожиданное. Известно, что в Киев однажды «приде» волхв, но вскоре таинственно исчез.[59] При князе Глебе в Новгороде «встал» волхв.[60] Д. С. Лихачев и Б. А. Романов толкуют слово «встал» как явился.[61] Вспомним, наконец, и о двух волхвах, которые «встаста от Ярославля».[62] Кстати сказать, в Хлебниковском списке Повести временных лет вместо «встаста» написано «въстаста».[63] Составители Словаря русского языка XI—XVII вв. в качестве эквивалента слову «встаста» называют слова «объявились», «появились».[64] По аналогии со всеми этими речениями мы можем утверждать, что летописатель, сообщая о волнениях 1024 г. в Суздале, засвидетельствовал появление, а не восстание волхвов.

Как явствует из летописи, выход волхвов на сцену был обусловлен голодом, поразившим Суздальщину. Голод возник в результате неурожаев, длившихся, вероятно, несколько лет подряд.[65] В этой экстремальной обстановке и действовали волхвы, убивая «старую чадь». Кто стоял за наименованием «старая чадь»? По Ю. В. Готье и Н. Н. Велецкой, то были старые люди.[66] Б. Д. Греков, М. Н. Тихомиров, Л. В. Черепнин, В. В. Мавродин, В. Т. Пашуто, О. М. Рапов видят в «старой чади» богатеев, земельных собственников, наживавшихся на бедах народа.[67] Последнее убеждение базируется на том, что «старая чадь» якобы скрывала («держала») «гобино» — урожай, хлебные запасы, земные плоды. О землевладении «старой чади» вряд ли стоит распространяться. В летописи нет ни малейшего намека на ее земельные богатства. И это естественно, поскольку общественные отношения на Руси рассматриваемой поры феодальными еще

---

[57] Словарь русского языка XI—XVII вв. М., 1976, вып. 3, с. 151—152.

[58] ПВЛ, ч. 1, с. 100.

[59] Там же, с. 116—117.

[60] Там же, с. 120.

[61] Там же, с. 321.

[62] Там же, с. 177.

[63] ПСРЛ, М., 1962, т. II, стб. 164, прим. 56.

[64] Словарь русского языка XI—XVII вв., вып. 3, с. 152.

[65] См.: *Рапов О. М.* О датировке народных восстаний на Руси XI в. в Повести временных лет, с. 139.

[66] *Готье Ю. В.* Железный век в Восточной Европе, с. 151; *Велецкая Н. Н.* Языческая символика славянских архаических ритуалов. М., 1978, с. 37, 120.

[67] *Греков Б. Д.* Крестьяне на Руси с древнейших времен до XVII в., с. 230; *Тихомиров М. Н.* Крестьянские и городские восстания на Руси XI—XIII вв., с. 75—76; *Черепнин Л. В.* Общественно-политические отношения в Древней Руси и Русская Правда, с. 155; *Мавродин В. В.* Народные восстания в Древней Руси, с. 34—35; *Пашуто В. Т.* Голодные годы в Древней Руси, с. 72, 79; *Рапов О. М.* О датировке народных восстаний на Руси, с. 139.

не стали.[68] Некоторые из упомянутых исследователей сознают недостаточность летописных данных для подобных выводов. Л. В. Черепнину, например, «не совсем ясно, кого летописец называет термином „старая чадь“. Местные ли это феодалы или разбогатевшие крестьяне, приобретавшие все больший экономический вес сравнительно с рядовыми общинниками?»[69] Однако затем он развивает положения, с которыми никоим образом нельзя согласиться: «То или иное решение вопроса может отразиться лишь на нашем представлении об уровне развития феодальных отношений в Суздальской земле, но не может изменить вывода о том, что в результате процесса феодализации там уже происходил раскол общества на антагонистические классы».[70] Вывод Л. В. Черепнина не доказывается.

Вернемся, впрочем, к известиям летописца. На первый взгляд они кажутся простыми и незамысловатыми. Согласно летописателю, «старую чадь» убивали волхвы и только волхвы. Уже в этом заключен определенный секрет, раскрыть который с помощью привычных представлений о событиях 1024 г. невозможно. Действительно, если полагать, что Суздальщину охватило восстание крестьянства, то становится совершенно непонятным, почему убийства совершали одни волхвы, а не другие восставшие. В условиях восстания народа, направленного против «старой чади», естественно было бы ожидать проявления актов возмездия именно со стороны народных масс. Но ничего похожего не наблюдается. Отсюда ясно, что умерщвление «старой чади» имело какой-то особый смысл. Разобраться в нем помогает реплика летописца о действиях волхвов «по дьяволю наущенью и бесованью».[71] Как справедливо считает Н. Н. Велецкая, «бесование», о котором говорится в летописи, «указывает на ритуальные действия. С уверенностью можно полагать произнесение нараспев ритуальных текстов, сопровождающихся ритуальными движениями в виде кружений, приплясываний. . .»[72]

Итак, избиение волхвами «старой чади» носило ритуальный характер. Какую же цель преследовал данный, несомненно языческий, ритуал? Ключ к разгадке лежит в обвинении, предъявленном волхвами «старой чади». Они утверждали, что старая чадь «держит гобино». В этом и состоит ее главная вина.

В древнерусском языке «гобино» — богатство, изобилие (в основном — земных плодов), урожай (хлеб на корню, овощи и пр.).[73] М. Н. Тихомиров, перебрав различные значения слова «гобино», остановился на одном из них: «гобино» — хлебный урожай по преимуществу.[74] Летописное «гобино» есть урожай (без оговорки «по преимуществу»[75]). Полностью в этом

---

[68] См.: *Фроянов И. Я.* Киевская Русь. Очерки социально-экономической истории.

[69] *Черепнин Л. В.* Общественно-политические отношения в Древней Руси и Русская Правда, с. 155.

[70] Там же, с. 155—156.

[71] ПВЛ, ч. 1, с. 99.

[72] *Велецкая Н. Н.* Языческая символика славянских архаических ритуалов, с. 66.

[73] Словарь русского языка XI—XVII вв. М., 1977, вып. 4, с. 50.

[74] *Тихомиров М. Н.* Крестьянские и городские восстания на Руси XI—XIII вв., с. 75.

[75] На следующей странице своей книги М. Н. Тихомиров говорит только об урожае (там же, с. 76).

мы убедимся несколько ниже. А пока, чуть забегая вперед, примем следующее толкование текста: «старая чадь» держит урожай. Однако дальнейшее наше продвижение осложняется загадочностью слова «держит». Большинство современных исследователей, как уже отмечалось, понимают его так, что «старая чадь» держит в своих руках, прячет, скрывает урожай и всякие припасы.

Признав в «старой чади» зажиточную прослойку общества, «скрывающую» от голодающих зерно, мы должны признать и то, что сей факт не являлся тайной для окружающих.[76] Но, по летописи, осведомленными на этот счет являются одни лишь волхвы, претендующие на роль провидцев, взору которых доступны сокровенные тайны. Только они знали причину постигшего народ несчастья, находя ее в кознях (быть может, невольных) «старой чади», держащей «гобино». И здесь разумелись уже не материальные дела, а сверхчувственные, вплетавшиеся в систему языческого миропонимания. Справедливость наших предположений подкрепляет назидательная речь Ярослава, помещенная в конце летописного рассказа о бедствиях в Суздальской земле 1024 г. Князь якобы изрек: «Бог наводить по грехом на куюждо землю гладом, или мором, ли ведромь ли иною казнью, а человек не весть ничтоже».[77] Перед нами явный полемический пассаж, адресованный волхвам, дерзнувшим рассуждать о скрытых причинах происходящего на земном круге. Бог все знает, а человек ничего не ведает — вот убеждение боголюбивого князя. Волхвы, согласно Ярославу, посягали на то, что абсолютно недоступно человеку. А это значит, что «глаголания» волхвов касались прежде всего предметов не реальных, а мистических. Стало быть, фразу «си держать гобино» нельзя толковать как держат в своих руках натуральные запасы хлеба, действительный урожай.[78] Надо искать другой смысл.

На языке Древней Руси слово «держать» означало, помимо всего прочего, «задерживать».[79] Именно это значение и заключено в летописной фразе «держат гобино» — *задерживают рост зерна, препятствуют урожаю.*[80] По языческим нравам, жизнь людей, дурно влияющих на урожай, крайне нежелательна для коллектива. Поэтому, чтобы восстановить бла-

---

[76] «Старая чадь», по мнению некоторых историков, ловко воспользовалась голодом, спекулируя хлебом и закабаляя хлебными ссудами бедствовавших людей (см.: *Пашуто В. Т.* Голодные годы в Древней Руси, с. 79; *Мавродин В. В.* Народные восстания в Древней Руси, с. 34).

[77] ПВЛ, ч. 1, с. 100.

[78] Об этом говорит еще одна летописная деталь. Убийство «старой чади» нисколько не облегчило страданий народа, и голод свирепствовал с прежней силой. Казалось бы, изъятие у обреченной на смерть «старой чади» запасов зерна должно было улучшить положение. Но этого не произошло. И люди вынуждены были идти «в болгары», чтобы привезти жито. Значит, у «старой чади» никаких реальных запасов хлеба не имелось. Из новейших исследователей обратил внимание на указанную деталь только Б. А. Рыбаков, который замечал, что «люди ожили не после расправ волхвов со старой чадью, а лишь после закупки жита в Болгарии, что позволяет понимать вину „старой чади“ не в фактическом владении запасами зерна, а в каком-то чисто языческом влиянии на ход земледельческого хозяйства» (*Рыбаков Б. А.* Языческое мировоззрение русского средневековья. — Вопросы истории, 1974, № 1, с. 19).

[79] Словарь русского языка XI—XVII вв., вып. 4, с. 224.

[80] См.: *Рыбаков Б. А.* Языческое мировоззрение русского средневековья, с. 19; *Велецкая Н. Н.* Языческая символика славянских архаических ритуалов, с. 67.

гополучие общины, их убивали. Стало быть, волхвы избивали «старую чадь» не за то, что в закромах у нее хранились хлебные запасы, столь нужные голодающим, а потому что она в силу своих личных свойств задерживала рост зерна, сея вокруг смертельный голод.[81] О каких личных свойствах «старой чади» идет речь? Ответ получим, раскрыв термин «старая чадь». К сожалению, из-за недостатка сведений точно сказать, кого покрывал этот термин, невозможно. Допустим, однако, что им называли родоплеменную знать, т. е. вождей всяких рангов, управлявших обществом.

У первобытных народов общественные лидеры формировались за счет старших возрастов.[82] Старшинство и старейшинство, следовательно, у них совпадали.[83] Управители довольно часто пользовались репутацией магов, укреплявшей их авторитет и власть, способствующей даже возникновению культа правителей.[84] Магия, разумеется, приносила общине либо добро, либо зло. Вожди, наделяемые сверхъестественными способностями, обязаны были посредством магии обеспечить благосостояние общества. А поскольку оно зависело от урожая, то правители нередко выступали в качестве «вызывателей, делателей дождя».[85] Это ремесло таило смертельную опасность, готовую в любой момент обрушиться на голову незадачливых магов. «Положение занимающегося общественной магией, — писал Д. Фрэзер, — действительно очень непрочно: народ твердо уверен, что в его власти вызвать дождь, заставить засиять солнце, созреть плоды. Поэтому естественно, что засуху и недостаток съестных припасов также приписывают его преступной небрежности или злонамеренному упрямству. Он несет за это должное наказание».[86] В жизни подчас бывало, что во время засухи люди, доведенные до отчаяния, убивали своих начальников, убежденные в том, будто они задерживают дождь.[87] Подобные обычаи имели широкое распространение среди древних народов. Их можно наблюдать, по словам Д. Фрэзера, у всех арийцев от Индии до Ирландии.[88]

В ряду проведенных этнографических параллелей и следует, на наш взгляд, рассматривать события 1024 г. в Суздальской земле. Можно предположить, что там во время засухи, породившей голод, представители языческого культа волхвы, одобряемые народом, убивали местных вождей-старейшин, утверждая, что те не дают пролиться дождю, задерживая в конечном счете урожай — «гобино». Это — обычай язычества, типичный для доклассового общества.

---

[81] Пагубное воздействие на урожай, задержка роста зерна были сопряжены, вероятно, с засухой, поразившей Суздальщину. Поэтому точнее было бы говорить, что «старая чадь», задерживая дождь, мешала росту зерна, или урожаю. Не исключено, что голод терзал не только массы народа, но и «старую чадь». К этой мысли склоняет летопись, где подчеркивается, что к волжским болгарам за зерном отправились все люди, чем как бы утверждается повальный характер бедствия.

[82] *Фрэзер Д.* Золотая ветвь. М., 1980, с. 99.

[83] Показателен для нас сам термин «старая чадь», сочетающий в себе старшинство и старость.

[84] *Фрэзер Д.* Золотая ветвь, с. 75, 108—125.

[85] Там же, с. 76, 78, 101, 102; *Токарев С. А.* Религия в истории народов мира. М., 1965, с. 174.

[86] *Фрэзер Д.* Золотая ветвь, с. 103.

[87] Там же, с. 101—102, 103; *Токарев С. А.* Религия в истории народов мира, с. 175.

[88] *Фрэзер Д.* Золотая ветвь, с. 106.

С. А. Токарев, говоря о культе вождей на основе верований африканцев, определяет две стадии развития этого культа, «соответствующие этапам перехода от доклассового к классовому общественному строю: если на первом этапе вождь выступает как бы в роли должностного лица общины, ответственного за ее благополучие, и этой цели и служат его „сверхъестественные“ качества, то на втором этапе вождь не ответственное лицо, а деспот-правитель, и его „божественность“ есть лишь средство усиления его власти и прославления его личности».[89] То, что произошло в Суздале, более подходит к первой фазе эволюции культа вождей, о которой пишет С. А. Токарев. Хотя, конечно, необходимо здесь делать соответствующие поправки, учитывая место и время событий.

По мнению исследователей, князь Ярослав поспешил в Суздаль на выручку «старой чади», движимый солидарностью с тамошними феодалами. Это мнение определилось еще в начале 30-х гг. «Старая чадь», полагал В. В. Мавродин, «была социально родственна феодальной княжеской дружине, в силу чего разгром ее на северо-востоке вызвал энергичную деятельность Ярослава по ликвидации восстания».[90] В том же духе несколько позже рассуждал Н. Н. Воронин: «То, что Ярослав спешно прибыл из Новгорода, невзирая на острую феодальную борьбу, развертывавшуюся там, и встал на защиту старой чади, показывает, что этот слой находился уже под покровительством княжеской власти, являясь опорой ее политики на местах».[91] По М. Н. Тихомирову, княжеская власть в лице Ярослава «стала на защиту „старой чади“, поддерживая общественное неравенство, все усиливавшееся по мере феодализации Руси».[92] Согласно В. Т. Пашуто, о народном движении в Суздальской земле «узнал Ярослав Мудрый. Прибыв на место к шапочному разбору, он захватил руководителей движения, а их было немало, так как одних он „расточи“, а „другыя показни“. Эта враждебность государственной власти к подобным самочинным средствам преодоления голодного кризиса характеризует феодально-крепостническую Россию с первых и до последних ее дней».[93]

Мотивировка прибытия Ярослава в Суздаль, указываемая названными авторами, расходится с объяснением летописца, который связывал княжеский вояж с «бесовскими» действами волхвов. «Слышав же Ярослав волхвы, приде к Суздалю», — читаем в летописи.[94] Конечно, доверять безраздельно летописцу, увлеченному чересчур помыслами христианизации Руси, в данном случае рискованно. Ниже мы попытаемся показать, что он тут занимался сочинительством. Сейчас же необходимо подчеркнуть то обстоятельство, что выдвигаемая упомянутыми учеными причина появления Ярослава в Суздале, разнясь с летописными сведениями, яв-

---

[89] *Токарев С. А.* Религия в истории народов мира, с. 173.

[90] *Мавродин В. В.* К вопросу о восстаниях смердов, с. 77. — В своей последней работе, специально посвященной народным движениям в Древней Руси, В. В. Мавродин пишет: «Восстание смердов Суздальской земли против „старой чади“ заставило всполошиться господствующую феодальную верхушку» (*Мавродин В. В.* Народные восстания в Древней Руси, с. 35).

[91] *Воронин Н. Н.* Восстание смердов в XI в., с. 55.

[92] *Тихомиров М. Н.* Крестьянские и городские восстания на Руси XI—XIII вв., с. 77.

[93] *Пашуто В. Т.* Голодные годы в Древней Руси, с. 64.

[94] ПВЛ, ч. 1, с. 100.

ляется не более, чем гипотетической, причем, с нашей точки зрения, малоубедительной. В самом деле, чтобы предполагать такую озабоченность «феодала» Ярослава о судьбах феодальной «старой чади», надо очень верить в наличие у русской социальной верхушки самосознания, аккумулирующего ее интересы, противопоставляемые рядовой массе населения. Древнерусская знать не была столь консолидированной. Между знатными и простыми людьми Руси XI—XII вв. еще не заметно антагонистических противоречий.[95] Иначе и не могло быть, поскольку в Киевской Руси процесс социального расслоения находился на ранней стадии и в обществе превалировала прослойка рядовых свободных общинников.[96] Вот почему всякие соображения насчет классовой солидарности князя Ярослава со «старой чадью», пострадавшей от волхвов, являются, в сущности, модернизацией истории.

Прибытие Ярослава в Суздаль следует, как нам думается, рассматривать в связи с политической обстановкой, сложившейся в это время в южной приднепровской Руси. Летописец сообщает: «Ярославу сущю Новегороде, приде Мьстислав ис Тъмутороканя Киеву, и не прияша его кыяне. Он же шед седе на столе Чернигове. . .»[97] Предстояла межкняжеская борьба. Ярослав Мудрый надеялся на варяжскую помощь. Но за нее надо было платить. В поисках средств князь и отправился, судя по всему, на северовосток, где жили его данники — покоренные и обложенные данью туземные племена. Эту нашу догадку подтверждает последующий ход событий: «И възвратися (из Суздаля, — *И. Ф.*) Ярослав, приде Новугороду, и посла за море по варягы. И приде Якун с варягы».[98] Ярослав, стало быть, послал за варягами, вернувшись из Суздаля.[99] Это позволяет предположить, что в Суздальскую землю он ходил за сбором дани, необходимой для платы наемникам-варягам.[100] Позднейший же летописец по-своему осмыслил пребывание Ярослава в Суздале, сведя суть дела к наказанию волхвов-язычников. Этой его выдумке поддались новейшие исследователи и стали рассуждать о жестоких столкновениях утверждающегося христианства с уходящим в прошлое язычеством. «Летописное известие о восстании 1024 г., — писал М. Н. Тихомиров, — вскрывает перед нами интересную особенность общественно-политической жизни в Суздальской земле начала XI в. — ожесточенное сопротивление христианизации, иногда насильственно проводимой князьями. Эта особенность была характерна

---

[95] См.: *Фроянов И. Я.* Киевская Русь. Очерки социально-политической истории. Л., 1980.

[96] См.: *Фроянов И. Я.* Киевская Русь. Очерки социально-экономической истории.

[97] ПВЛ, ч. 1, с. 99.

[98] Там же, с. 110.

[99] По мнению А. А. Шахматова, «странно было бы допустить, что Ярослав позаботился о приглашении Варягов только по возвращении из Суздаля» (*Шахматов А. А.* Разыскания о древнейших русских летописных сводах, с. 178). — На наш взгляд, ничего здесь странного нет. Напротив, было бы странно, если бы Ярослав отправил приглашение варягам принять участие в войне против Мстислава, не пополнив своей казны.

[100] На это намекает новгородский летописец, свидетельствуя, что Ярослав «устави» землю Суздальскую. Слово «устави» живо напоминает «уставную» деятельность Ольги по упорядочению взимания дани (см.: ПСРЛ, т. IV, ч. 1, с. 112; *Фроянов И. Я.* Киевская Русь. Очерки социально-экономической истории, с. 115).

и для других частей Руси».[101] Не затрагивая «другие части» Руси, заметим: в Суздальской земле начала XI в. задача христианизации едва ли была актуальной. Похоже, что христианство тогда еще не достигло дальних северо-восточных областей Руси. М. Н. Тихомиров верно говорит, что «распространение христианства на Руси вовсе не было триумфальным шествием, как его часто изображали церковные писатели».[102] К этому надо добавить: оно не было и повсеместным. Даже в церковном Уставе Ярослава, составленном при участии митрополита Иллариона (т. е. позже суздальских событий), сказано, что Устав этот предназначен для городов и областей, «где крестьянство есть».[103] Значит, в Киевской Руси времен Ярослава были города и области, чуждые христианству. Что касается северо-восточных ее пределов, то там христианство стало просачиваться лишь со второй половины XI в. Правда, как повествует позднейшее предание, князь Борис, сидевший в Ростове, «благочестиво властвуя, обращал неверных к святой вере». Вместе с ним в деле утверждения христианства будто бы сотрудничали ростовские епископы Федор и Илларион. Однако их миссионерская работа оказалась бесплодной. Епископы-неудачники посрамленные «избегоша, нетерпяще неверия и досаждения людей».[104] Деятельность по обращению язычников в христианство первого исторически достоверного ростовского епископа Леонтия развернулась во второй половине XI в. Но и она была плачевной: Леонтий погиб насильственной смертью.[105] Говорить о христианизации в Суздальской земле начала XI в. вряд ли правомерно. Больше того, есть основания полагать, что князья, в том числе и Ярослав, проявляли терпимость к закоренелым язычникам, довольствуясь их изъявлением покорности в уплате дани. В «Сказании о построении града Ярославля», содержащем отголоски древних сказаний, восходящих к реальной жизни,[106] описан весьма характерный в данном отношении эпизод. Князь Ярослав Мудрый, победив язычников, обитавших в селище Медвежий угол, расположенном в устье Которосли, «поучи людей оних, како жити и обиды не творити никому же, а наипаче, дозна богомерзку веру их, моля их креститися. И людии сии клятвою у Волоса обеща Князю жити в согласии и оброцы ему даяти, но точию не хотяху креститися».[107] Дань, как видим, была для Ярослава важнее, чем обращение жителей Медвежьего угла в христианство. Князь не погнушался даже прибегнуть к предосудительному с точки зрения правоверного

---

[101] *Тихомиров М. Н.* Крестьянские и городские восстания на Руси XI—XIII вв., с. 76. — Согласно Б. А. Рыбакову, «можно предполагать, что враждебность языческих колдунов именно к „старой чади“ была вызвана большей близостью ее к христианству» (*Рыбаков Б. А.* Языческое мировоззрение русского средневековья, с. 19).

[102] *Тихомиров М. Н.* Крестьянские и городские восстания на Руси XI—XIII вв., с. 76.

[103] ПРП. М., 1952, вып. 1, с. 259.

[104] См.: *Корсаков Д.* Меря и Ростовское княжество. Очерки из истории Ростово-Суздальской земли. Казань, 1872, с. 86—87.

[105] Там же, с. 87—88.

[106] См.: *Воронин Н. Н.* Медвежий культ в Верхнем Поволжье в XI в. — В кн.: Краеведческие записки. Ярославль, 1960, вып. 4, с. 28—40; *Мейерович М. Г.* К вопросу о времени основания города Ярославля. — Там же, с. 6—7.

[107] *Лебедев А.* Храмы Власьевского прихода в г. Ярославле. Ярославль, 1877, с. 7.

христианина средству, заставив язычников в обеспечение бесперебойного поступления дани принести клятву «у Волоса», или кумира, стоявшего в селище.[108] Оно и понятно: так надежнее. Несомненный интерес представляет для нас и рассказ, сохранившийся в «Повести о водворении христианства в Муроме», где читаем: «Во граде Муроме живяху человеци прежде поганыя разичныя языци зли суще. И град сей Муром славен бяше, и кровопролития безчисленна с верными содевающе и обиду творяше велику».[109] И вот князь Константин с сыновьями Михаилом и Федором в 1223 году подступил к Мурому. «Невернии же граждане видевше храбрость и мужество его (Константина, — *И. Ф.*) ⟨. . .⟩ и въскоре послаша с повиновением, и клятвами себе утвердиша оброци и *дань даяти ему обещавахуся, точию не хотяще креститися*» (курсив мой, — *И. Ф.*)».[110] Думается, что мотив о потворстве князей нежеланию язычников креститься в обмен на исправную плату даней не зря звучит в обоих преданиях.

Наши комментарии и размышления по поводу известий Повести временных лет о событиях 1024 г. в Суздале исчерпаны. Проведенное исследование позволяет высказать предположение о том, что в Суздальской земле, охваченной голодом, имели место языческие ритуальные убийства старейшин-вождей, обвиненных в пагубном влиянии на урожай. Подобная практика являлась отражением и воплощением языческого миропонимания, пронизанного верой в действие магических сил, властно вторгающихся в жизнь людей, принося им в одном случае благо, а в другом — зло. Голод и убийства, призванные прекратить беду, сопровождались, по всей видимости, волнениями, которые нельзя считать восстанием против «старой чади» — богатой якобы верхушки местного общества. Все, чему подвергалась «старая чадь», не выходило за рамки традиций, уходящих в седую древность.

Существенное сходство обнаруживаем в рассказе новгородского летописца, заключенного в Новгородской IV летописи. Он более прозрачен, чем рассказ, содержащийся в Повести временных лет. По новгородскому летописателю, волхвы перебили «старую чадь бабы», т. е. старых женщин, старух.[111] Уже этим своим указанием летопись предостерегает от попыток усматривать в изображаемых ею происшествиях социальный конфликт, переводя их в бытовую плоскость.[112] «Бабы» на манер «старой чади» По-

---

[108] Это совершенно не вяжется с образом Ярослава, созданным Д. Корсаковым, который писал: «Ярослав является в Ростовской земле уже не представителем одной христианской морали, но и провозвестником христианского вероучения» (*Корсаков Д.* Меря и Ростовское княжество, с. 87).

[109] Памятники старинной русской литературы. СПб., 1860, вып. 1, с. 229.

[110] Там же, с. 231.

[111] Этот факт остается неизменным, несмотря на сомнения Л. В. Черепнина, думающего, что «бабами» избиение не ограничилось (см.: *Черепнин Л. В.* Общественно-политические отношения в Древней Руси и Русская Правда, с. 156). Трудно согласиться и с В. В. Мавродиным, который в летописных «бабах» видит жен «старой чади» (см.: *Мавродин В. В.* Очерки по истории феодальной Руси, с. 158). В летописи сказано, что волхвы убивали «старую чадь бабы», а не «старой чади бабы», как надо было бы ожидать, если бы летописцем подразумевались жены «старой чади».

[112] По-другому оценивает это указание В. В. Мавродин, который полагает, что расправа с «бабами», обвиняемыми в том, что они ведовством «голод пущают», носит характер социального протеста, классовой борьбы (см.: *Мавродин В. В.* Очерки по истории феодальной Руси, с. 159).

вести временных лет «держат гобино и жито».[113] Как мы убедились ранее, анализируя слово «держат», тут речь идет о том, что «старые бабы» задерживают созревание хлебов, или губят урожай.[114] Они, кроме того, еще и «голод пущають»,[115] выступая, следовательно, на поприще колдовства. Соответствовали исторической действительности свидетельства новгородского книжника? Может быть, он фантазировал? Записки арабского путешественника Абу Хамида ал-Гарнати, посетившего Восточную Европу в середине XII столетия, проливают свет на летописные сообщения. В соседстве со славянами, повествуется в Записках, обитала «народность, живущая среди деревьев, бреющая бороды. Живут они на (берегах) огромной реки и охотятся на бобров в этой реке». Арабскому пришельцу об этих людях рассказывали, что «у них каждые десять лет становится много колдовства, а вредят им их женщины из старух колдуний. Тогда они хватают всех старух в своей стране, связывают им руки и ноги и бросают в реку: ту старуху, которая тонет, оставляют и знают, что она не колдунья, а которая остается поверх воды — сжигают на огне».[116] По мнению А. Л. Монгайта, «упоминаемый после славян народ, живущий в лесах и бреющий бороды, — это, очевидно, мордва».[117] Но мордва, думает А. Л. Монгайт, не знала обычая испытания колдуний водой, засвидетельствованного Абу Хамидом.[118] А вот у славян этот обычай нашел отражение в источниках. Долго на Руси держалась вера в существование ведьм, коих народ периодически истреблял. Еще в XIII в., согласно епископу Серапиону Владимирскому, русские люди, отдавая дань языческим суевериям, бросали в воду женщин, подозреваемых в колдовстве во вред урожаю.[119] В 1411 г. «псковичи сожгоша 12 жонке вещих».[120] Жестокий пожар в Москве 1547 г. народная молва связывала с «волхованием» бабки царя Ивана княгини Анны Глинской, которая «вымала сердца человеческие да клала в воду да тою водою ездячи по Москве да кропила».[121]

А. Л. Монгайт считает, что испытание «ведьм» посредством воды на Руси XIII в., о чем упоминает в одном из своих поучений Серапион Владимирский, полностью аналогично практике, описанной Абу Хамидом.[122] Эту аналогию можно распространить и на факты, приводимые новгородским летописцем в рассказе под 1024 г. В литературе была уже попытка сопоставить сообщения арабского автора с событиями XI в., в част-

---

[113] ПСРЛ, т. IV, ч. 1, с. 111.

[114] См. с. 29—30 настоящей статьи.

[115] ПСРЛ, т. IV, ч. 1, с. 111—112.

[116] Путешествие Абу Хамида ал-Гарнати в Восточную и Центральную Европу (1131—1153 гг.). М., 1971, с. 37.

[117] *Монгайт А. Л.* 1) Абу Хамид ал-Гарнати и его путешествие в русские земли 1150—1153 гг. — История СССР, 1959, № 1, с. 180; 2) Исторический комментарий. — В кн.: Путешествие Абу Хамида ал-Гарнати в Восточную и Центральную Европу (1131—1153 гг.), с. 119.

[118] *Монгайт А. Л.* 1) Абу Хамид ал-Гарнати и его путешествие в русские земли 1150—1153 гг., с. 180; 2) Исторический комментарий, с. 120.

[119] *Петухов Е. В.* Серапион Владимирский, русский проповедник XIII в. СПб., 1888, с. 64, 12 (Приложение).

[120] Псковские летописи. М., 1955, вып. II, с. 36.

[121] ПСРЛ. М., 1965, т. XIII, с. 456.

[122] *Монгайт А. Л.* 1) Абу Хамид ал-Гарнати и его путешествие в русские земли 1150—1153 гг., с. 180; 2) Исторический комментарий, с. 120.

ности с событиями 1024 г. Она принадлежит Т. Левицкому, который писал: «Особенно интересна информация нашего путешественника (Абу Хамида,— *И. Ф.*) о колдуньях у славян и волнениях, какие они возбуждают среди народа».[123] Затем Т. Левицкий продолжал: «Наверняка и на Руси существовали ведьмы, занимавшиеся колдовством. К сожалению, все то, что мы знаем из русских источников о волнениях, возникавших на Руси XI в. из-за колдунов, касается прежде всего колдунов-мужчин. Я имею в виду так называемых волхвов, которые в XI в. представляли на Руси языческую реакцию, имеющую поддержку среди баб-колдуний».[124] В. Т. Пашуто обратил внимание на сопоставление известий Абу Хамида с летописной записью 1024 г., осуществленное Т. Левицким.[125] Однако он остался в русле привычных представлений о событиях 1024 г. Между тем рассказ араба Абу Хамида ал-Гарнати дает ключ к пониманию известий Новгородской IV летописи о «старой чади бабах», задерживающих урожай и «пускающих» голод. В устах летописца эти бабы — колдуньи, напустившие бедствие на людей Суздальской земли. Волхвы убивали «баб» с тем, чтобы пресечь зло, исходившее от них. Все это и породило волнения среди изнуренного голодом населения Суздальщины.[126] Перед нами, следовательно, один из эпизодов язычества, бытовавшего на Руси XI в. Таково наше понимание записей Новгородской IV летописи под 1024 г. Обратимся теперь к Владимирскому летописцу.

По сообщениям этого летописца, в Суздальщине во время голода волхвы избивали старых «муж и жен», утверждая, что «си держат гобину».[127] Иными словами, волхвы истребляли престарелых людей, независимо от пола, полагая, что их пребывание на земле оказывает отрицательное воздействие на урожай — «гобину». Рассказ Владимирского летописца приобретает полную ясность на фоне языческих славянских ритуалов, исследованных в специальной монографии Н. Н. Велецкой.

Издревле славяне имели обыкновение отправлять на «тот свет» стареющих людей. Они верили, что ушедшие на «тот свет» благотворно повлияют на дела тех, кто остался жить. То было отправление к праотцам. Оно заключало в себе тот же смысл, что и описанный Геродотом обычай гетов отправлять «вестника с поручением передать богу все, в чем они нуждаются в данное время».[128]

Процветание общества, в экономике которого доминировало земледелие, «зависело от нормального хода жизнедеятельности в природе. Стихийные природные бедствия неизбежно влекли за собой бедствия общества. Духи предков-покровителей представлялись связанными с природой, способными властвовать или управлять стихиями. Вера в могущество пред-

---

[123] *Lewicki T.* Ze studiów nad źródlami arabskimi. — Slawia antiqua, 1952, t. III, s. 147.

[124] Ibid., s. 147.

[125] *Пашуто В. Т.* Голодные годы в Древней Руси, с. 80.

[126] Автор Повести временных лет и новгородский летописатель именуют эти волнения «мятежом великим». Но мы должны помнить, что летопись — литературный памятник, не лишенный всякого рода гипербол. Поэтому необходимо осторожно относиться к летописным выражениям, как «мятеж велик» и подобным ему.

[127] ПСРЛ, т. XXX, с. 44.

[128] *Велецкая Н. Н.* Языческая символика славянских архаических ритуалов, с. 135.

ков-покровителей заставляла отправлять на „тот свет“ своих посланцев. С помощью их общество надеялось избежать бедствий, приводящих его к катастрофе. Одной из самых страшных катастроф был голод — следствие длительных неурожаев».[129] В плане этих и других, подобных им, наблюдений Н. Н. Велецкая рассматривает рассказ Повести временных лет об избиении «старой чади» волхвами в 1024 г.[130] Согласно ее мнению, из летописи следует, что ритуал умерщвления стариков у восточных славян в XI в. «отправлялся не регулярно, а эпизодически, в силу особых обстоятельств, т. е. он уже деградировал, перейдя в пережиточное явление».[131] Н. Н. Велецкая далее отмечает, что «при деградации ритуала оставшиеся в живых „посланники“, находясь на земле, воспринимаются при экстраординарных обстоятельствах задерживающими нормальный рост и созревание хлебов, ставящими под угрозу урожай, служащими как бы косвенным источником голода. Предпринимается частичное, выборочное отправление ритуала над наиболее достойными представителями старшего поколения, чтобы был обеспечен обычный урожай, ликвидирована угроза еще более сильного голода».[132] Относительно летописных известий 1024 г. Н. Н. Велецкая пишет: «преждевременное умерщвление почтенных стариков в XI в. еще носило ритуальный характер, имеющий аграрно-магическую функцию, но было уже действом эпизодическим. . . Вероятнее всего в свидетельстве (летописи, — *И. Ф.*) говорится о том, что волхвы отправляли на „тот свет“ достойнейших представителей старшего поколения для предотвращения надвигающегося неурожая. Деградация ритуала проявляется в опасении угрозы, связанной в известной мере и с тем, что на земле пребывали те, кому пора было отправляться к праотцам».[133]

Все это позволяет в рассказе Владимирского летописца о волхвах, избивавших старых «муж и жен», видеть пример отправления на «тот свет» престарелых людей с целью избавления от бед, постигших страну.

Мы проанализировали три варианта изложения событий, содержащиеся в Повести временных лет, Новгородской IV летописи и Владимирском летописце под 1024 годом. В первом памятнике речь, судя по всему, идет об умерщвлении вождей-старейшин, во втором — колдуний, в третьем—старых мужчин и женщин. Это были ритуальные убийства, призванные обеспечить благоденствие общества. Вполне естественно, что инициаторами этих действ стали волхвы — жрецы языческого культа. Трудно отдать предпочтение тому или иному летописному варианту, ибо они все согласуются с историческими условиями Руси XI в., где языческие нравы были еще довольно стойкими. Но к какой бы из этих версий мы не склонились, неизменным останется вывод: ни одна из них не дает оснований говорить о классовой антифеодальной борьбе, разразившейся восстанием угнетенного крестьянства. Летописцы рисуют картину языческого быта с его

---

[129] Там же, с. 59.

[130] Это не вызвало возражений со стороны рецензентов книги Н. Н. Велецкой. — См.: *Басилов В. Н.*, *Аникин В. П.* Новое в исследовании древнейших ритуалов. — Советская этнография, 1980, № 4.

[131] *Велецкая Н. Н.* Языческая символика славянских архаических ритуалов, с. 66.

[132] Там же, с. 71.

[133] Там же, с. 67.

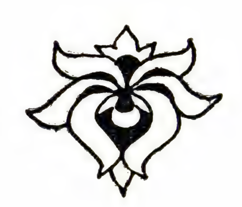
аграрно-магическими ритуалами, а отнюдь не классовую борьбу. Возможно, что упомянутые ритуалы выступали в качестве пережитков, как думает Н. Н. Велецкая, и она, вероятно, права.[134] Но если это так, то становятся понятными волнения среди населения Суздальской земли («мятеж велик», по терминологии летописца), сопровождавшие избиение волхвами своих жертв и вызванные, очевидно, противодействием каких-то социальных групп осуществлению ритуальных убийств, т. е. возврату к отживающей старине, уходящим в прошлое обычаям.[135]

Итак, при более углубленном изучении источников, помноженном на этнографические данные, рушится весьма распространенное в историографии представление о событиях 1024 г. в Суздальской земле как крестьянском восстании, направленном против местных феодалов.

---

[134] Там же, с. 66.

[135] По мнению Н. Н. Велецкой, в летописи говорится о насильственном умерщвлении «старой чади», поскольку слово «избивати» указывает «на применение какого-то приема физического воздействия» (*Велецкая Н. Н.* Языческая символика славянских архаических ритуалов, с. 75). Насильственные убийства (раньше они были добровольными) и породили, вероятно, волнения в местном обществе. Однако мы хотели бы подчеркнуть, что в данном случае речь идет не о возврате к язычеству вообще, как полагает Н. Н. Воронин (Медвежий культ в Верхнем Поволжье в XI в., с. 54), а о возобновлении некоторых архаических ритуалов, которые в лоне самого язычества были пережиточными. Что касается язычества как такового, то оно в первой половине XI в. прочно еще держалось на далеком от Киева Северо-Востоке.





И. Я. Фроянов, Ю. И. Юдин

ИСТОРИЧЕСКИЕ РЕАЛЬНОСТИ И БЫЛИННАЯ ФАНТАЗИЯ

Сопоставление былины с отечественной историей, начиная со второй половины XIX в., становится главным и плодотворным методическим приемом изучения народных эпических песен. Но при этом довольно скоро обнаруживается, что освоение былин под углом зрения такого сопоставления таит в себе немало затруднений и скрытых ловушек. В научных предпосылках и практике так называемой исторической школы с самого начала намечается два подхода к использованию исторических данных для прояснения смысла и содержания эпических сюжетов. Если в работе Л. Н. Майкова «О былинах владимирова цикла» (СПб., 1863) преимущественное внимание исследователя направлено на изучение исторических реалий (рассматриваются народный быт, города и села, князь и дружина и т. п.), то в трудах В. Ф. Миллера основное место отводится историческому событию, факту, соотносимому с былинным сюжетом. Оба течения представлены большим количеством работ как в дореволюционной, так и советской фольклористике. Что историческая школа не являет собою единого научного направления, стало ясно далеко не сразу, тем более, что нередко в работе одного и того же автора исследование исторических тенденций, реалий и фона, отраженных былиной, сочетается с поиском отдельных фактов, к которым будто бы сводится сюжет или мотив. Расхождение двух направлений прояснялось по мере того, как появлялся более широкий взгляд на проблему былинного историзма. При новом подходе к проблеме фактографическая редукция, которой обычно подвергалось содержание песен у сторонников научных методов В. Ф. Миллера, вызывала сомнение и обоснованную критику. «Чрезвычайно важным было привлечение, кроме исторических событий, материала общественной и бытовой русской жизни, что давало возможность установить связи нашего эпоса с важнейшими общественно-экономическими моментами исторического развития русского народа. Многие наблюдения и поднятый в этом направлении материал составляют тот фактический вклад в науку, который сделан учеными исторической школы и который надлежит осмыслить уже в свете марксистско-ленинской методологии», — писала А. М. Астахова.[1] На

---

[1] *Астахова А. М.* Былины. Итоги и проблемы изучения. М.; Л., 1966, с. 48.

неоднородность и неравноценность приемов и методик исторической школы указывал В. Я. Пропп в ходе известной дискуссии с Б. А. Рыбаковым по вопросам былинного историзма.[2] «Почин Майкова, — пишет он, — не был поддержан последующей русской наукой. В трудах главным образом Всеволода Миллера и его последователей историческая постановка изучения эпоса сузилась. Правда, изучался и быт, и другие исторические реалии. Эти труды или эти страницы принадлежат к наиболее ценным и никогда не потеряют своего значения. Однако основным, важнейшим, почти единственным вопросом исследования стал теперь вопрос об исторических прототипах былинных героев, о том, какие события изображены в былинах и каким годом может быть датировано возникновение изучаемых былин. Но так как в самих былинах никаких непосредственных, ясных следов исторических событий нет, то былина объявляется искаженным изображением событий необразованными, темными крестьянами, а задача науки сводится к устранению искажений, внесенных народом в изложение событий».[3]

С нашей точки зрения, нет оснований направление, приписывающее былине свойства фиксировать отдельные исторические факты, называть историческим. Скорее это направление могло бы быть названо историко-фактографическим, что более точно отражает характер его приемов. Сама история, как известно, не сводится ни к отдельным историческим фактам, ни к их совокупности, она есть процесс.

В былинах этот процесс отражен как таковой, но не в научной логической, а художественной форме, и в частности в форме поэтического вымысла. «Область истории, — совершенно справедливо замечает В. Я. Пропп об исторической действительности, отражаемой фольклором, — охватывает историю социальных форм и социальных отношений вплоть до мельчайших деталей бытового порядка в отношениях между боярином и смердами, помещиком и крепостным крестьянином, попом и батраком. Здесь нет ни имен, ни событий, но здесь есть история 〈. . .〉 Короче, при широком понимании истории под исторической основой подразумевается вся совокупность реальной жизни народа в процессе ее развития во все эпохи его существования».[4] Былины отражают, по мысли исследователя, не отдельные события истории, но исторические явления и идеологию. «Историческое изучение былин, — пишет он, — состоит в установлении того, в какую эпоху могла зародиться идея, воплощенная в данной художественной форме. В большинстве случаев в былинах можно проследить отложения нескольких эпох или периодов, идеи которых могут сталкиваться. Наличие таких столкновений и коллизий — одно из интереснейших, но и сложнейших явлений былинного эпоса».[5]

---

[2] См.: *Рыбаков Б. А.* 1) Исторический взгляд на русские былины. — История СССР, 1961, № 5, с. 141—166; № 6, с. 80—96; 2) Древняя Русь. Сказания. Былины. Летописи. М., 1963; *Пропп В. Я.* 1) Об историзме русского эпоса. — Русская литература, 1962, № 2, с. 87—91; 2) Об историзме русского фольклора и методах его изучения. — Учен. зап. ЛГУ, 1968. Сер. филол., № 339, 72, с. 5—25.

[3] *Пропп В. Я.* Об историзме фольклора и методах его изучения. — В кн.: *Пропп В. Я.* Фольклор и действительность. Избр. статьи. М., 1976, с. 124.

[4] *Пропп В. Я.* Об историзме фольклора и методах его изучения, с. 117.

[5] Там же, с. 129.

Если бы верные предпосылки и методологические принципы автоматически приводили к верной трактовке отдельных былинных сюжетов с точки зрения их исторического смысла и содержания, не было бы никаких затруднений в анализе конкретных образов и деталей эпических песен. На самом деле возникающие здесь трудности очень велики, так как метод фольклористики, рождаясь из обобщения отдельных эмпирических наблюдений, именно этими последними и проверяется. С нашей точки зрения, в анализе исторических явлений и мыслительных идеологических процессов далекого исторического прошлого, отраженных былиной, В. Я. Пропп делает акценты, которые могут быть пересмотрены в свете представлений о Киевской Руси как обществе и государстве, находящихся на дофеодальной ступени развития.[6] В. Я. Пропп не сомневался в феодальном характере Киевской Руси, поэтому родовой эпос он отодвигает в глубь веков, за пределы Киевской государственности, отчего возникают, на наш взгляд, немалые противоречия в понимании содержания и смысла как важнейших былинных мотивов, так и их целых сюжетных комплексов.

В. Я. Пропп, приняв мысль о феодальной природе Киевской Руси, лишил себя возможности характеризовать отечественный эпос в период разложения первобытнообщинного строя на материале русских былин, вместо которого он использовал эпос якутов, нивхов, шорцев и других народов, чем, к сожалению, несколько обеднил содержание русского героического эпоса.

Не имея возможности в рамках небольшой статьи развернуть систему доказательств на материале подробных текстуальных и этнографических сопоставлений, мы обозначаем в данной работе лишь свой подход к теме и методику исторических интерпретаций былинных сюжетов, используя минимальное количество конкретных иллюстраций. При этом мы обращаемся только к нескольким сюжетам, связанным со Змеем (чудовищем), а также поездкой или походом героя,[7] пытаясь на этом ограниченном материале без демонстрации сравнения вариантов определить общее направление наших поисков. Выводы, к которым приводит изучение песен, показывают, с одной стороны, что былины отражают не факты, а исторические явления, а также социальные и идеологические состояния, характерные для различных эпох истории Руси, а с другой — что сами эти состояния (не только в действительности, но и в былинном преломлении) носят печать не столько феодальной, сколько переходной к феодализму эпохи, отмеченной яркими чертами позднеродового периода.

По поводу Змея (дракона) в фольклоре В. Я. Пропп замечает: «Эти фантастические животные — продукт культуры поздней, даже городской. Эпоха расцвета таких существ падает на древние государства ⟨. . .⟩ Змей, дракон появляется приблизительно одновременно с антропоморфными богами».[8] В русском песенном эпосе представлены две исторические стадии взаимоотношений героя со Змеем (или чудовищем, имеющим с последним

---

[6] См.: *Фроянов И. Я.* 1) Киевская Русь. Очерки социально-экономической истории. Л., 1974; 2) Киевская Русь. Очерки социально-политической истории. Л., 1980.

[7] О былинах композиционного типа поездки или похода героя см.: *Юдин Ю. И.* Героические былины: Поэтическое искусство. М., 1975, с. 17—25.

[8] *Пропп В. Я.* Исторические корни волшебной сказки. Л., 1946, с. 226.

общие генетические корни). В былине о походе Вольги герой рожден киевской княжной от Змея. Он змеевич, и отсюда — его чудесные способности: звериное оборотничество, которое используется им во время охоты, и колдовство (превращает в муравьев свою дружину). Добрыня Никитич и Алеша Попович, напротив, выступают змееборцами. Две стадии эпического отношения героя к Змею связаны с какими-то различными и существенными социально-историческими, а также идеологическими процессами у восточных славян и в Киевской Руси. Мотивы змееборства или рождения от Змея, как и другие важные эпические мотивы (купание, приезд в Киев или проживание в нем с рождения, пир и т. п.), необходимо рассматривать не только в составе сюжетов, но и отдельно, параллельно и в сравнительном плане, сквозь все сюжеты в целях взаимного сопоставления.

Начнем с мотива купания. В былине о Добрыне и Змее герой молод. В варианте Кирши Данилова (К. Д. 48), например, ему 12 лет, в варианте Л. Г. Тупицына (Гуляев 3) — 15, для нас интересно, что герой находится в возрасте полового созревания. «„Молодой", „молоденький", „млад" — постоянные эпитеты при его имени в подавляющем большинстве текстов, независимо от места из записи», — отмечает В. Г. Смолицкий.[9] Выезжая в поле, к Пучай-реке, он не имеет никаких определенных намерений или эти намерения случайны. Неизменно и настойчиво лишь само его желание выезда. К поездке его как будто бы побуждает неведомая ему самому сила. В былинном сюжете подобные немотивированные силы действуют обычно как внеположные герою силы судьбы, предуказанности, предопределенности. О том, что суждено герою, знают лишь его мать да иногда сам Змей, с которым ему предстоит биться. Змей может иногда кричать герою:

А многи мне-ка люди пророчили,
Ну победит меня Добрынюшка Микитинич,
А меня Змеинищо Горынищо,
А Добрынюшка Микитинич в моих руках,
Ну что я знаю, над Добрыней то и сделаю.

(Пар. и Сойм. 21)

Больше того, Добрыня как будто бы не слышит слов матери, запрещающей ему купание в Пучай-реке и предсказывающей появление Змея. Запрет и предсказание в былине связаны и взаимообусловлены. Запрет первичен, предсказание появления Змея вторично. Из содержания песен видно, что они связаны как причина и следствие. Не вздумай Добрыня искупаться в Пучай-реке, Змей бы не появился. Об этом, в сущности, и предупреждает Добрыню его мать. Для сюжета важно именно купание в Пучай-реке и неодолимая тяга Добрыни к этому купанию. Змей пытается воспрепятствовать намерению Добрыни. Важно также, что это не просто купание в реке, но купание в реке огненной:

Из-за первоя же струйки как огонь сечет,
Из-за другоей же струйки искра сыплется,

---

[9] *Смолицкий В. Г.* Былина о Добрыне и Змее. — В кн.: Русский фольклор. Л., 1971, XII, с. 187.

Из-за третьеей же струйки дым столбом валит,
Дым столбом валит да сам со пламенью.
(Гильф. 5)

Огонь, по нашему мнению, объясняет и название реки: вода в ней пучится от кипения. Добрыня купается в этой реке голым, и это постоянно подчеркивается. В результате купания, выныривая у берега, он находит там «шапку земли греческой», которая в его руках становится оружием. С ее помощью он и побеждает Змея.

Купание Добрыни, если рассматривать все его перипетии во взаимной связи, только внешне напоминает бытовое явление. С точки зрения бытовой не объяснить ни молодости Добрыни, ни запрета матери, ни кипения реки, ни прилета Змея, ни появления на берегу шапки земли греческой. Объяснение этому комплексу мы находим в данных этнографии. Обрядовое проглатывание Змеем — один из постоянных и важнейших моментов обряда посвящения. Угроза такого проглатывания нависла над голым и безоружным героем. «Похочу-то я Добрынюшку-то и в собя пожру», — говорит Змей (Гильф. 79).

Обрядово-мифологические черты Змея в связи с отражением их в фольклоре и преимущественно в волшебной сказке специально изучались В. Я. Проппом в «Исторических корнях волшебной сказки». Выводы, к которым приходит исследователь, очень важны также и для понимания былинного сюжета. «Материалы показывают, что мотив змееборства возник из мотива поглощения и наслоился на него», — пишет В. Я. Пропп.[10] «Посвящаемый как бы переваривался и извергался новым человеком»,[11] позднее «поглощение животным заменяется поглощением водой, купанием в пруду, где водятся змеи, или даже через „поглощение морем“ и выбрасыванье им».[12] В результате поглощения человеку придаются магические или колдовские силы. Мотив поглощения — «преимущественно водяной».[13] Мотив поглощения благим Змеем сменяется мотивом змееборства.[14] При развитии последнего, как и в былине, рассказчик часто «не знает, почему герою непременно надо попасть в воду и быть проглоченным, и всякий рассказчик мотивирует это по-разному».[15] На позднем этапе развития представлений «все окружающее змея и сам он принимает огненную природу и окраску. Река становится границей царства живых и мертвых и вместе с тем она становится рекой огненной. Огненным становится и озеро, огненным становится и сам змей».[16] «С отдалением обряда теряется смысл поглощения и выхаркивания и оно замещается различными переходными формами и совсем исчезает. Центр тяжести героизма переносится от поглощения к убиению поглотителя. Формы и орудия меняются в зависимости от орудий, фактически применяемых народом».[17]

---

[10] *Пропп В. Я.* Исторические корни волшебной сказки, с. 206.
[11] Там же.
[12] Там же, с. 209.
[13] Там же, с. 217.
[14] Там же, с. 212—213.
[15] Там же, с. 216.
[16] Там же, с. 247.
[17] Там же, с. 223.

Исследование В. Я. Проппа показывает, что кипящая вода в Пучай-реке тоже является не случайно и может быть поставлена в связь с испытаниями при инициации во время ритуальной смерти, накануне преображения и нового рождения. «Сжигание, обжаривание, варка посвящаемых прослеживаются уже на наиболее ранних известных нам ступенях обряда посвящения», — пишет В. Я. Пропп.[18] Обваривание в кипящей воде или молоке способствует омоложению (в сказке — мнимому) и преображению героя.[19]

Особое значение в ряду рассмотренных деталей имеет шапка, которую Добрыня обычно находит на берегу. По поводу проглатывания мифологического героя, который выходит из чрева поглотителя, В. Я. Пропп замечает: «В этом случае обращает на себя внимание потеря волос 〈. . .〉 Для нас 〈. . .〉 этот момент объясняется тем, что посвящение представляло собой „пострижение", что во время обряда волосы сбривались или прятались под особое покрывало. . .».[20] С другой стороны, «манипуляции с волосами были двоякие: или их обрезали, опаляли, или, наоборот, давали им расти, но в таком случае их прятали под особый головной убор, который нельзя было снимать».[21] Исследователь ищет в форме головного убора плотно прилегающую пленку из кишок или пузырей животных, как в волшебной сказке. Вопрос о том, такой ли это головной убор или иной, оставляется открытым.[22] Для нас важнее, что обряд посвящения знает другой ритуальный головной убор, надеваемый после «перерождения» посвящаемого, а именно конусообразный колпак. П.-Д. Гэсо описывает как очевидец наружность девушек гвинейских тома, выходящих из леса после прохождения обряда посвящения. По некоторым признакам можно судить о том, что в этом обряде есть элементы, которые могут указывать на его большую архаичность в сравнении с посвящением мальчиков. Так, обряд совершается под руководством пожилых женщин — блюстительниц культа[23] (ср. с женской природой бабы Яги, ролью матери в былине); в отличие от мужского — женский составляет бóльшую тайну,[24] в общественной жизни тома сохраняются следы, говорящие о возможной значительности роли женщины в прошлом.[25] По описанию и фотографии Гэсо, девушки, прошедшие обряд посвящения, появляются в колпаках, из-под которых свешивается, закрывая лицо, густая бахрома из черных нитей, символизирующих, возможно, отросшие волосы.[26] Во время праздника девушки исполняют танцы, среди которых есть и военный: танцующая двумя деревянными саблями наносит удары по воздуху, подражая воинам.[27] Количество таких примеров можно было бы увеличить. Конусообразный головной убор — важная принадлежность наряда, указывающего на непосредственную, близкую или очень отдаленную и опосредован-

[18] Там же, с. 84.
[19] Там же, с. 28, с. 317—318 (кипящее молоко).
[20] Там же, с. 216.
[21] Там же, с. 122.
[22] Там же.
[23] *Гэсо П.-Д.* Священный лес. 2-е изд., испр. М., 1979, с. 121.
[24] Там же, с. 132.
[25] Там же, с. 133.
[26] Там же, с. 128 и др.
[27] Там же, с. 130.

ную связь с инициацией. Ряд подобных одеяний протягивается от головного убора посвящаемого к фригийскому колпаку, остроконечной шапке жреца Юпитера и уходит далее в европейское средневековье.

Шапка, которую находит Добрыня, в некоторых вариантах имеет характерную форму:

Лежит тут колпак да земли греческой.
(Гильф. 5)

Не случилась у Добрыни сабля вострая,
А случилась только шляпа белоеломка.[28]
(Миллер 21)

Связь былинных деталей в эпизоде купания и встречи со Змеем с комплексом элементов обряда посвящения помогает понять и нежелание матери отпускать Добрыню, и ее таинственную осведомленность относительно его будущего, и молодость Добрыни, соответствующую возрасту посвящаемых. Первоначально на место совершения обряда, как показывают данные этнографии, посвящаемых отправляли родители, знающие, что их там ждет ритуальное проглатывание чудовищем и временная смерть. В былине мать не желает допустить Добрыню до встречи со Змеем. Теперь на встречу с чудовищем должен отправиться сам герой, но естественно мотивировать эту встречу певцы затрудняются.[29] В окружении других элементов обряда понятной становится принадлежность к тому же ряду и шапки земли греческой. Мы может теперь сказать, что предмет этот имеет досюжетное происхождение и попадает в сюжет из обряда. Монашеский или страннический головной убор, в который превращается этот предмет,[30] внешне (может быть, и не столько внешне — ср. пострижение) напоминает исконный колпак, почему и оказалась возможной замена. Она вызвана христианизацией сюжета, которую еще предстоит осмыслить.

Если рассматривать монашеский и каличий куколь как образ исконный, то невозможно объяснить, в чем его таинственная сила и почему именно он появился на берегу. Скорее на его месте в этом случае следовало бы ожидать какой-то более тяжелый предмет христианского культа, что-то подобно реальному оружию, тем более что представление о монашестве плохо увязывается с героическим богатырским подвигом. В. Я. Пропп считает, что речь с самого начала шла о таком предмете, который воплощал представления о молодой государственности и победившем христианстве: «⟨. . .⟩ шапка земли греческой понимается как знамя нового христианства в той его функции и в том его историческом значении, которое в X веке вывело Русь из союза племен в государство».[31] Такое, в сущности символическое, объяснение в данном случае не убедительно, потому хотя бы, что

---

[28] Белый войлочный колпак.

[29] Б. Н. Путилов справедливо отмечает в разговоре Добрыни с матерью скрытый смысл: «В создавшейся коллизии ощущается некий подтекст — словно бы герои знают что-то (каждый свое), что прямо не высказано в тексте» (*Путилов Б. Н.* О некоторых структурных особенностях славянского эпоса. — Acta Ethnographica Academiae Hungaricae, 1970, t. 19, p. 326).

[30] См.: *Миллер В. Ф.* Экскурсы в область русского народного эпоса. М., 1892, с. 46; *Фасмер М. Р.* Шапка земли греческой. — Зап. РГО по Отд. этногр. СПб., 1909, т. XXXIV, с. 45—64; *Пропп В. Я.* Русский героический эпос. 2-е изд., испр. М., 1958, с. 192—195.

[31] *Пропп В. Я.* Русский героический эпос, с. 194.

символ есть застывшая метафора, метафоры же, по точным наблюдениям В. Я. Проппа, для эпоса не характерны.[32] Если же учесть, что в конусообразный головной убор посвящаемого, по этнографическим свидетельствам, врастают волосы, которым приписывается особая сила,[33] становится возможным хотя бы предположительное объяснение магической силы обрядовой шапки как победоносного оружия в схватке со Змеем.

Ясно, что участвовать в приключениях Добрыни может не каждый, а только герой — выдающаяся эпическая личность. Каков же смысл того вызова, который бросает Добрыня Змею? На этот вопрос можно ответить пока лишь отчасти. Скрытая от сознания героя цель состоит в купании самом по себе, так как это купание в кипящей реке должно сообщить ему особые свойства, чего и не хочет допустить Змей. В результате купания Добрыня преодолевает роковую угрозу быть проглоченным Змеем, силой вырывая, перенимая у него какие-то преимущества. С помощью шапки, найденной благодаря бесстрашию вступившего в реку героя, достигается превосходство над Змеем.[34]

Не все детали купания Добрыни были оговорены выше. Так, например, мы не коснулись того, что Добрыня купается голым. Чтобы эпическое купание героя раскрылось для нас в своем сюжетном и историческом значении более полно, необходимо обратиться к песне, в которой купание также является одним из центральных сюжетных моментов, к песне о поездке и смерти Василия Буслаева. В. Я. Пропп убедительно показал, «что не покаянная поездка в Иерусалим составляет содержание песни».[35] Но нельзя безусловно согласиться с другим выводом исследователя. «При посещении последней из святынь — реки Иордан, в которой якобы был крещен Христос, — Василий открыто проявляет свое „кощунственное“ отношение к иерусалимским святыням», — пишет В. Я. Пропп.[36] Что «кощунственное» переосмысливание сюжета возможно, анализ В. Я. Проппа показывает убедительно, но это переосмысливание, связанное именно с феодальной эпохой. Вывод же В. Я. Проппа не объясняет самого купания. Его роль и значение не сводится лишь к поводу для кощунства (в Иордани запрещается купаться нагим, так как здесь крестился Христос). Для кощунственных актов герою не обязательно было предпринимать поездку к святым местам и купаться в Иордани. Нам представляется важным, что прыжок вдоль камня с запретительной надписью Буслаев может совершать на обратном пути в Новгород, т. е. после купания. Запретный и опасный для жизни прыжок вдоль камня (этот камень доказательно трактуется В. Я. Проппом как надмогильный) [37] совершается героем после того, как он нечто приобрел во время поездки и купания

[32] Там же, с. 519—522.

[33] *Пропп В. Я.* Исторические корни волшебной сказки, с. 122.

[34] Вслед за В. Я. Проппом мы понимаем былину как явление многослойное. Каждая эпоха накладывает на нее свою печать. Еще предстоит научиться понимать былину в многомерности ее содержания. Мы пытаемся вскрыть и реконструировать лишь один из слоев, обязанный, по нашему мнению, эпохе Киевской Руси, и не касаемся более поздних феодальных его переосмысливаний, глубоко раскрытых в «Русском героическом эпосе» В. Я. Проппа.

[35] *Пропп В. Я.* Русский героический эпос, с. 468.

[36] Там же, с. 473.

[37] Там же, с. 474—475.

в реке. Это нечто есть бессмертие, которого добивается Буслаев, решившийся, несмотря на запрет и предостережения, уподобиться Христу, сравняться с ним и войти в Иордан голым, как и сын божий.

Прыгая вдоль камня, Василий пытается проверить, удалась ли ему его попытка. Он «играет со смертью, пренебрегает ею», — пишет В. Я. Пропп.[38] Предсказания, предостережения и угрозы не страшат Буслаева. Смерть ему предвещает череп, на который он натыкается, сходя на берег во время остановок у Сорочинской горы, баба залесная у Ердан-реки (К. Д. 19); на обратном пути у него болит голова (Гильф. 141), что согласно верованиям бывает, когда потусторонний подземный мир притягивает к себе человека, живущего на земле, и т. п. В том, что речь идет в былине о попытке сравняться с Христом в бессмертии, убеждают, с одной стороны, этнографические параллели, с другой — сопоставление с типологически сходными сюжетами других народов.

Выше мы упоминали вывод В. Я. Проппа о том, что в мифе поглощение героя животным заменяется поглощением водой.[39] В связи с этим купание становится значительным моментом в системе обрядов инициации. В упоминавшейся книге П.-Д. Гэсо «Священный лес» приводятся данные, говорящие о том, что культ воды и змеи относится у тома к числу важнейших (при рождении земли существовали только вода, змея и два снадобья).[40] Церемония выхода новопосвященных из леса сопровождается у них купанием, испытательным прыжком и объявлением мальчику нового имени, которое дано ему во время инициации. «Церемония начинается подобием крещения. Оно совершается за оградой лагеря в присутствии одних только посвященных. Юноша совершает очистительное купание в рукаве реки, ложась в поток головой в сторону истока. Блюститель культа, произнося свои заклинания, сообщает посвящаемому тайное имя, которое дано ему во время инициации ⟨. . .⟩ Затем подростка подводят к магической стене, которую он должен на глазах собравшихся старейшин преодолеть одним прыжком. За стеной, среди усеявшей почву листвы, разбросаны семь листьев различных пород, из которых ни один не должен быть задет при прыжке. Разумеется, посвящаемый может рассчитывать только на удачу. . .»[41] О смерти во время инициации родителям мальчика вестник сообщает накануне праздника, утром, разбивая перед их хижиной горшок.[42] У африканских самбуру, по свидетельству наблюдателя, советского журналиста С. Ф. Кулика, прыжки практикуются юношами, прошедшими обряд посвящения, в специальном лагере для моранов (посвященных, не достигших брачного возраста). Эти прыжки есть соревнование в выносливости (ср. прыжки — соревнование дружинников Василия Буслаева) и одновременно — способ изгнать «дух детства».[43] Другого рода прыжки совершают отцы новопосвященных. Во время пиршества после совершения обряда они прыгают через камни и бревна, которые символически изображают их собственных сыновей в то время, когда они еще

---

[38] Там же, с. 473.
[39] *Пропп В. Я.* Исторические корни волшебной сказки, с. 209.
[40] *Гэсо П.-Д.* Священный лес, с. 90.
[41] Там же, с. 113.
[42] Там же.
[43] *Кулик С. Ф.* Кенийские сафари. М., 1975, с. 61.

не прошли обрядового испытания и не позволяли в силу этого родителям «занять достойное место в совете старейшин».[44] У рендилле переход моранов в разряд старейшин связан с ритуальным купанием во время особой церемонии. В этом купании моранов особенно интересны следующие моменты: купание есть расставание с буйным, вольным прошлым, прощание с порой отважных набегов на соседей, временем полувоенных, «полуразбойных» предприятий; это одновременно — испытание и проверка того, как жил моран до этого; купание — это приобретение новых качеств, переход в новое состояние. В купель мораны входят нагими, вожди в это время стоят в ней же одетыми.[45]

В обрядовых купаниях и прыжках приобретаются через испытание новые свойства и новое состояние испытуемого. В эпосе герой вырывает и завоевывает сверхобычные свойства в ходе борьбы. В этой связи следует указать на Гильгамеша. Повествование о нем по композиции очень близко двум сюжетам о Василии Буслаеве: о Буславе и новгородцах и о поездке и смерти героя. Бунту Василия против Новгорода соответствует буйство Гильгамеша, в аккадском сюжете не знающего, «куда девать свои силы».[46] Второй былинный сюжет соответствует плаванию Гильгамеша в поисках бессмертия, преодолению им преград на пути в страну блаженства (соответствующих заставе на горе Сорочинской в былине о поездке Буслаева), купанию, приобретению и утере цветка, дарующего молодость. Подробный анализ мог бы показать обоснованность такого сближения.

На сходные мотивы других былинных сюжетов о поездке и борьбе с чудовищами укажем здесь лишь вкратце. Непобедимость в бою и богатырское бессмертие Ильи Муромца, которому согласно былине на бою смерть не писана, связаны не с купанием, но с испитием воды (кваса), ковш которой он подносит чудесным странникам. Странники предлагают испить ему самому, и каждый глоток прибавляет Илье здоровья и неземной богатырской силы, с которой он мог бы землю поворотить. Победителем Соловья-разбойника становится этот приобщившийся через питье к богатырской силе герой. Относительно вариантов «степной» версии былины об Алеше Поповиче и Тугарине-змеевиче В. Я. Пропп замечает: «Алеша обычно ночует в шатре. Заметим, что остановку он всегда делает на реке: на Сафат-реке, Офрак (Евфрат?)-реке, Пучай-реке и т. д. Как и бой Добрыни, этот бой происходит на берегу реки. Певцы не забывают упомянуть, что Алеша, выходя из шатра, умывается ключевой водой и утирается чистым полотенцем».[47] Перед боем Алеша молит бога ниспослать дождь, чтобы смочить бумажные крылья Тугарина (Гильф. 99). Герой перенимает здесь мифологические свойства Змея: не Змей, а герой распоряжается теперь дождем, насылаемым на Змея по его просьбе. «Тугарин уже не воплощение силы стихии, а бесполезное существо с бумажными крыльями», — замечает В. Я. Пропп.[48] В связи с водой и купанием в рассматри-

[44] Там же, с. 85.
[45] Там же, с. 249—251.
[46] *Дьяконов И. М.* Эпос о Гильгамеше. — В кн.: Эпос о Гильгамеше («О все видавшем»). М.; Л., 1961, с. 125.
[47] *Пропп В. Я.* Русский героический эпос, с. 214.
[48] Там же, с. 217.

ваемых былинах намечается общая тема, результатом чего является перенесение из сюжета в сюжет сходных эпизодов (Добрыня слышит на реке от девушек запрет купаться нагим так же, как и Буслаев; в былине об Илье Муромце и Идолище Илья иногда, как и Добрыня, побивает чудовище шляпой и т. п.). Для всех упомянутых сюжетов характерна более или менее явная христианизированная форма.

Из сказанного, хотя и не совсем отчетливо, вырисовывается тем не менее общая картина. В связи с купанием и водой герой в былинах приобретает или завоевывает какие-то необычные свойства: могущество, силу, бессмертие. Или он гибнет в поисках последнего. Герой возвышается и утверждается в народном сознании как победитель чудовищ.

В былине о Добрыне-змееборце победа над Змеем достигается благодаря купанию. Купание противопоставляется проглатыванию Змеем. Змей видит героя погруженным в реку и торжествует победу над ним, полагая, что герой оказался во власти его стихии, стихии воды. Это заблуждение Змея бывает для него роковым. Герой побеждает. В ходе купания он становится могущественнее своего противника, так как находит, вынырнув на берег, шапку земли греческой. Вода и купание играют в эпическом сюжете важнейшую роль: купание выглядит предварительным условием победы над Змеем. Не исключено, что в развитии данной сюжетной линии мы наблюдаем столкновение двух языческих мировоззрений, двух, так сказать, уровней языческого сознания. Но вместе с тем здесь отразились и некоторые социально-политические процессы, протекавшие в эпоху крушения родоплеменного строя и возникновения социальной структуры, которую А. И. Неусыхин называет дофеодальной и сущность которой видит в общинности, но без первобытности, т. е. без родовой архаики.[49] В этом плане обращает на себя внимание довольно зримая связь князя со Змеем. Возникает вопрос: откуда эта связь и какие исторические силы стояли за Змеем и сопряженной с ним княжеской властью? Встает и другой, не менее важный вопрос: какие силы стоят за героем былины? Ответ может быть предположительный, но достаточно конкретный. Мы полагаем, что в подвиге Добрыни воспевается пробуждение и подъем народной энергии, для приложения которой открывается достаточный исторический простор. Герой и силы, стоящие за ним, как явствует из былинного сюжета, в известном смысле противостоят князю, поскольку обнаруживается его связь со Змеем.

В былине о походе Вольги (Волха) герой, киевский князь, родится от княжны и Змея. Он змеевич по рождению, волхв и чудесный охотник. В том же качестве он предстает и в былине о Микуле Селяниновиче и Вольге. Родство князя со Змеем в былине о походе Вольги воспринимается как нечто значительное и важное, но и вполне возможное само по себе. В песнях об Алеше и Тугарине убийство Алешей Тугарина по некоторым вариантам второй (киевской) версии не вызывает радости ни у князя, ни, в особенности, у княгини. Тугарин ведет себя в Киеве не

---

[49] См.: *Неусыхин А. И.* Дофеодальный период как переходная стадия развития от родо-племенного строя к раннефеодальному: На материале истории Западной Европы раннего средневековья. — В кн.: Проблемы истории докапиталистических обществ. М., кн. 1, 1968.

совсем как завоеватель. Он спокойно мирится с присутствием в стольном городе Владимира, как будто бы деля с ним власть. О княжеском пире в присутствии Тугарина В. Я. Пропп пишет: «Появление этого чудовища здесь никого не удивляет, кроме Алеши с Екимом: к нему здесь давно привыкли».[50] Столь же безропотно сносит Владимир наглое поведение Тугарина на пиру по отношению к его жене, княгине Евпраксии. «К этому на пиру, по-видимому, также все уже привыкли», — замечает В. Я. Пропп.[51] Брезгливо-пренебрежительное отношение богатыря к князю и княгине сказывается иногда в его гневной инвективе:

А не назвать чеба, дядёка Владимир-княж,
Назвать чеба только свонником,
Не назвать чеба четушку кнегинушку,
А назвать только сукой гожевою и бесхвостою.

(Шуб. с. 213)

В былине о Добрыне-змееборце Владимир странным образом иногда не только равнодушно, но и прямо враждебно встречает богатыря, вызволившего его племянницу из змеиного плена. Так, к примеру, в варианте, где вызволяется дочка Владимира, князь игнорирует подвиг богатыря:

Ай за тую-то за выслугу великую
Князь его нечим не жаловал.

(Гильф. 59)

Такой конец вполне соотносится с нежеланием Добрыни брать на себя поручение князя освободить Забаву Путятичну, которое Владимир дает ему на пиру, и с отказом Добрыни жениться на освобожденной им племяннице (дочери) князя. Связь князя со Змеем в сюжете насильственная: княжеская племянница кормит грудью возможно прижитых ею со Змеем змеенышей (Марков 73). Тем не менее эта связь существует. Более того, ранее она могла быть не только не насильственной, но желательной. Этнографические материалы показывают такую возможность: родители должны принимать как должное, а иногда и радоваться «браку» их дочери со Змеем или змееподобным существом, выступающим в роли Змея. Приведем лишь один пример подобного рода из книги С. Ф. Кулика о Мадагаскаре. Оптовый торговец, коренной житель острова, рассказывает автору книги об обычаях и земле мадагаскарских антануси: «Это сухой, полуголодный край, однако его редкие реки в те времена еще кишели крокодилами. Не проходило дня, чтобы прожорливая тварь не затащила под воду девушку, спустившуюся к берегу. Но вместо траурных плачей каждый вечер в прибрежных деревнях звучала веселая музыка. Это родители несчастной, которые, как и все антануси, верили в то, что в крокодилов переселяется душа вождей, праздновали „свадьбу“ своей дочери с почетным предком».[52]

---

[50] *Пропп В. Я.* Русский героический эпос, с. 220.
[51] Там же.
[52] *Кулик С. Ф.* Когда духи умирают. М., 1981, с. 17.

С другой стороны, киевский князь в былинах или безучастен к угрозе, таящейся в близком присутствии Змея, или пассивен до безразличия к делу защиты Киева и Руси от посягательств чудовища. Между тем Змей всегда находится где-то рядом или даже в самом Киеве. В былине о Добрыне-змееборце он живет в горах, в особом мире, время от времени налетая на Русь. Тугарин рыщет по Руси в поисках Алеши Поповича.

Гой еси, калика перехожея!
А где ты слыхал и где видал
Про молода Алешу Поповича?
И я бы Алешу копьем заколол.
Копьем заколол и огнем спалил, —

кричит он переодетому каликою богатырю (К. Д. 20). Соловей-разбойник перегородил заставою дорогу между Черниговской и Киевской землей. И, наконец, во второй версии былины об Алеше Поповиче и Тугарине и об Илье Муромце и Идолище чудовище обосновывается в самом Киеве (Иерусалиме, Царьграде). Князь Владимир сам ничего не предпринимает, чтобы покончить с насилиями Змея или страхом, который наводит его близкое присутствие. Только в былине о Добрыне-змееборце он посылает богатыря освободить племянницу (дочку и пр.). Борьба со Змеем, чудовищем в целом всегда происходит по инициативе богатыря. Показателен в этом отношении сюжет об Илье Муромце и Соловье-разбойнике. Илье Муромцу после освобождения им Чернигова горожане предлагают остаться в городе князем, воеводою, боярином и т. п. Но остаться в городе по логике сюжета Илья не может. Певцы это не объясняют и рационально объяснить не могут, но художественная логика состоит в том, что Илья должен продолжать путь, чтобы встретиться с Соловьем-разбойником. Эта встреча в сюжете предопределена, хотя герой об этом не догадывается. «Подвиг Ильи кладет конец изолированности Чернигова и других городов от Киева».[53] Но если именно богатырь неизменно бывает инициатором борьбы со Змеем, не в убийстве ли Змея первоначально крылась причина недовольства князя богатырем? В былинах богатыря при княжеском дворе даже ругают так, как делает это обычно в сказке и былине Змей:

Наехал мужик засельщина,
Засельщина, деревеньщина.

(Тих. и Мил. 5)

Позднее недовольство заменяется радостью по случаю богатырской победы, к которой князь начинает чувствовать себя причастным. Между князем и Змеем, возможно, устанавливается какая-то связь, которая заслонена в былинных сюжетах более поздними впечатлениями и дальнейшим развитием эпических мотивов. Наиболее осязательна эта связь в былине о походе Вольги. Это связь прямого родства. Здесь она не подновлена и не затемнена последующими наслоениями. С точки зрения происхождения мотива, согласно наблюдениям В. Я. Проппа, «рожденный от змея (т. е. прошедший сквозь него) есть герой. Дальнейший этап: герой убивает

[53] *Пропп В. Я.* Русский героический эпос, с. 255.

змея. Их историческое соединение дает: рожденный от змея убивает змея».[54] Вполне вероятно, что в отличие от мифа и сказки в эпосе слияния змееборца со змеевичем не происходит, хотя иногда Добрыня (К. Д. 48) и даже Алеша Попович (Шуб. с. 213) могут оказаться в каком-то смутно угадываемом самими певцами родстве с князем. Князь-змеевич и князь, подчиненный воле Змея, противопоставляются богатырю, который не допускает проглатывания и силой вырывает у Змея какие-то блага, одерживает победу над ним.

Такая неслиянность диктуется историческими условиями и причинами. Князю-змеевичу [55] наиболее зримо в былине о Микуле и Вольге противопоставлен пахарь Микула, хотя противопоставление это не абсолютное, поскольку герои решают совместную задачу. Перед нами — один из примеров содержательной многозначности былины, о чем уже шла речь. Во всех других сюжетах князю и его окружению в открытом или скрытом конфликте противопоставлен герой — победитель Змея или чудовища (буйство на пиру Добрыни; обвинения, бросаемые в лицо князю и княгине Алешей; брань, которой встречают в Киеве, у князя Владимира, победителя Соловья-разбойника Илью Муромца и т. п.). Этот конфликт имеет дофеодальные корни.

Чтобы попытаться вскрыть их, необходимо присмотреться к тому, что представляет собою герой-богатырь по своему добогатырскому прошлому. Илья Муромец — крестьянский сын, он родом из села и отсюда начинает свой путь служения Киеву. Если Добрыня выезжает из Рязани, то о ней может говорится, что она «доселева» (т. е. до описанных событий) «селом слыла» (К. Д. 48) и только после победы богатыря над Змеем стала городом. Алеша Попович — горожанин, он прибывает в Киев из Ростова. Но в Киеве он чужой, его там никто не знает. Больше того, Тугарин иногда называет его засельщиной, смердом (Онч. 85). Так называют в княжеском окружении Илью в былинах, повествующих о его победе над Соловьем-разбойником. Если все названные герои прибывают в Киев со стороны, то Микула в Киев не приезжает. Встреча его с князем происходит вдали от Киева. Это объясняется тем, что Вольга в данном былинном сюжете не киевский князь и его знакомство с героем должно произойти не в Киеве, а где-то за его пределами.

Такая группировка персонажей, тенденции к которой прослеживаются в былинах, показывает, что противоречия разделяют богатыря и князя не только в связи с их отношением к Змею или чудовищу, но и в зависимости от того, что представляют они: княжескую власть или соперничающие с ней социальные силы. Другими словами, где-то в раннем слое былинной сюжетики происходит конфликтное размежевание княжьего рода, так или иначе связанного со Змеем, и богатырства, представляющего рядовое население Древней Руси. В конечном счете конфликт богатыря с князем разрешается на пути сближения интересов богатырей и самого князя, служащих Киеву. Но можно предполагать, что этому сближению интересов

---

[54] *Пропп В. Я.* Исторические корни волшебной сказки, с. 255. — По В. Я. Проппу, Змей-отец, предок — более позднее развитие тех же представлений (там же, с. 254—256).

[55] В. Я. Пропп справедливо отмечает, что в былине о Микуле и Вольге Вольга — тот же образ, что и Волх сюжета о походе его в Индийское царство (там же, с. 375).

исторически предшествует борьба против родовых традиций княжеской власти, достигающая особой остроты на заключительном этапе разложения родоплеменного строя. В итоге этой борьбы на авансцену выходят демократические элементы древнерусского общества, формирующие на новой общинной основе отношения народа с княжеской властью. В этом смысле любопытен сюжет о Микуле и Вольге: Микула примыкает к дружине Вольги, предварительно утвердив свое превосходство и первенство как над дружиной, так и над князем.

Обращаясь к былинам о Василии Буслаеве, находим немало созвучий с другими упомянутыми выше эпическими сюжетами. Одно из таких созвучий уже отмечалось: это купание героев. К ним же относятся и такие детали былин, которые, вступая во взаимную перекличку, дают интересную картину на уровне одной частной реалии. Речь идет о шапке земли греческой или колпаке Добрыни и соответствующих образах былин о Микуле и Вольге, Василии Буслаеве и новгородцах. В последней былине Василию, спешащему на помощь своей дружине, которая бьется с новгородцами на Волховом мосту, встречается его крестный отец, могучий старец — «пилигримище». На голове он несет церковный колокол. Полемизируя с М. Р. Фасмером, который отождествлял колокол с шапкой земли греческой, т. е. с монашеским и каличьим колоколообразным головным убором,[56] В. Я. Пропп видит здесь реальный колокол — «знак старого торгового, независимого от Москвы Новгорода».[57] В свете вышеприведенных сопоставлений можно думать, что и здесь за колоколом, а также в былине о Микуле и Вольге за колпаком-шлемом Вольги стоит головной убор, связанный с посвятительными обрядами и той силой, которой наделяется приобщенный к этим обрядам. Различие между головными уборами старца, Вольги и Добрыни состоит в их разной исторической и сюжетной роли. Добрыня добывает шапку земли греческой, силой вырывая преимущества у Змея. В двух других сюжетах головной убор — принадлежность и атрибут тех сил, в противоречие с которыми вступают Василий Буслаев и Микула. Укажем также в этой связи с упомянутыми созвучиями на особый половозрастной характер дружины Буслаева и Вольги, а также молодость Добрыни, вступившего в возраст обрядовых испытаний. Совершаемые героями подвиги (буйство Василия в Новгороде и поездка в поисках бессмертия; захват Вольгою индийского царства; победа Добрыни над Змеем) обнаруживают в их поведении и поведении их сотоварищей отголоски обычаев, связанных с мужской организацией, которая характерна для юношеских союзов периода между инициацией и созданием семьи. Связь Василия Буслаева с ушкуйничеством исторически, вопреки И. Н. Жданову,[58] подтверждена быть не может, но «разбойничьи» черты героя и его дружины, если понимать их в том смысле, в каком в волшебной сказке лесное братство представляется сообществом разбойников,[59] И. Н. Ждановым отме-

---

[56] *Фасмер М. Р.* Шапка земли греческой, с. 64.

[57] *Пропп В. Я.* Русский героический эпос, с. 461.

[58] *Жданов И. Н.* Русский былевой эпос. Исследования и материалы. СПб., 1895, с. 279. — Исследователь-фольклорист на основе анализа вариантов подтверждает мысль об ушкуйничестве Буслаева, высказывавшуюся ранее историками С. М. Соловьевым и Н. И. Костомаровым.

[59] *Пропп В. Я.* Исторические корни волшебной сказки, с. 104—105.

чены недаром. Покаяние как цель поездки Буслаева выглядит поздней христианизированной формой того, что у африканских моранов предстает как проверка поведения морана перед вступлением в брак и переходом его в старейшины. И проверка, и этот переход совершаются во время вхождения морана голым в купель. «Для некоторых моранов свидание в купели со стоящими в углу вождями подобно часу страшного суда», — пишет С. Ф. Кулик.[60] В связи с этим становится и более понятным отказ Добрыни жениться на освобожденной племяннице (дочери) князя Владимира (сравни: Гильгамеш с дружиной из пятидесяти холостых воинов побеждает чудовище Хуваву; отказывается от любви богини Иштар; вместе с Энкиду убивает небесного быка). Отказ от женитьбы есть не только отказ от вступления в родственные отношения с князем, как было отмечено выше, но и демонстрация невозможности такой женитьбы в связи с особым общественным положением героя. В данном случае мы снова имеем дело с примером смысловой многозначности былины. О том, что и Василий Буслаев в былине о поездке и смерти находится в предбрачном возрасте (как, нужно думать, и его дружина), узнаем из прощальных слов, которые он, умирая, просит передать своей матери:

И скажите поклон ей и весточку,
Что сосватался Василей
На Фавор славной горы,
А женился на белоем-горючем камешки.

(Тих. и Мил. 61)

Указав на некоторые архаические моменты былин о Василии Буслаеве, следует, однако, признать, что сами эти былины окончательно сложились в дошедшем до нас виде сравнительно поздно, незадолго до ликвидации независимости Новгорода и присоединения его к Москве. В былине о Добрыне-змееборце мы видели борьбу демократических сил с родовым княжеским началом, происходившую в условиях разложения родоплеменного строя. В былинах о Василии Буслаеве мы наблюдаем как бы обратное: борьбу возрожденных фантазией сказителя родовых начал с демократической, казалось бы, общественной организацией и властью. Это объясняется прежде всего тем, что былое народовластие в Новгороде выродилось в господство олигархии, выступающей в форме старой общинной и вечевой демократии. Тут мы видим, как реальность расходится с народным идеалом и как народное сознание, протестуя против этой реальности, обращается к прошлому, пытаясь отыскать в нем средства для ниспровержения существующего порядка вещей. О герое былины В. Я. Пропп справедливо пишет: «Сын богатого новгородца, находящийся в наилучших условиях, всем обеспеченный, он порывает с тем укладом, в котором он был воспитан, и объявляет ему борьбу не на жизнь, а на смерть».[61] В ходе этой отчаянной борьбы он пытается завоевать бессмертие, которое позволило бы ему в одиночку, опираясь лишь на помощь небольшой дружины, противостоять могущественной власти богатого Новгорода, и гибнет. И эта трагическая безысходность схватки делает для народа еще более притягатель-

---

[60] *Кулик С. Ф.* Кенийские сафари, с. 251.
[61] *Пропп В. Я.* Русский героический эпос, с. 447.

ным образ непримиримого борца за идеалы народной воли, хотя бы и обращенные в прошлое. Регенерация родовых мотивов и образов былин о Василии Буслаеве стала возможной благодаря непрерывной, постоянно поддерживаемой и обновляемой эпической традиции, уходящей корнями в родовое прошлое эпической сюжетики.

К числу важнейших общих былинных мотивов относится мотив пира. На княжеском пиру обычно происходят ссоры и столкновения богатырей с князем и его окружением. Пир в этом отношении — мотив показательный и важный. На пиру Владимир дает Добрыне поручение, которое вызывает его гнев, и это вынуждает Владимира прибегнуть к угрозам. Новгородским мужикам Буслаев наносит обиду, зазвав их на свой двор пить и есть безденежно, но приготовив вместо угощения жестокое испытание. На городской братчине разгорается ссора Василия и его товарищей с новгородскими мужиками. На пиру у Владимира слышит оскорбления Илья, победивший Соловья-разбойника. Вносит сумятицу в торжественную обстановку княжеского пира Алеша Попович, угрожающий Тугарину, и т. п.

Кроме княжеского пира певцы поют также о народном пире. Такой пир упоминается в былине о Микуле и Вольге:

А я ржи напашу да в скирды сложу,
Во скирды складу, домой выволочу,
Домой выволочу, да дома вымолочу,
Драни надеру, да и пива наварю,
Пива наварю, да и мужиков напою.
Станут мужики меня покликивати:
«Молодой Микулушка Селянинович!»

(Рыб. 3)

Обычно богатырь в былине вносит на пиру разлад в общее согласие, скрепленное княжеской властью. Но это лишь одна из смысловых нагрузок былинных пиров. Необходимо заметить, что былинные пиры отличаются в данном случае от реальных княжеских пиров, которые может наблюдать исследователь в Киевской Руси.[62] В действительной жизни княжеские пиры призваны были выполнять роль по единению и сплочению людей, участвовавших в них. И конечно же князья, устраивая подобные пиры, надеялись с их помощью возвысить свой авторитет и власть. Само собой разумеется, что во время застолий происходили ссоры, имел место разлад. Но это отнюдь не перечеркивало главного — социальную роль княжеских пиров, отмеченную выше. В былине же, как мы замечаем, смысловая нагрузка княжеских пиров, о которой шла речь, как бы перерастает в функцию эпических мотивов пира. Однако в песнях мы встречаемся также с пирами без ссор и столкновений. На таких пирах царят единство и согласие. К ним и следует отнести пир, который собирается устроить Микула. Дух согласия и социальная однородность участников позволяют истолковать этот пир как общинный, выполняющий роль сплочения общинного союза и поддержания престижа его устроителя и лидера.

---

[62] См. подробнее: *Фроянов И. Я.* Киевская Русь. Очерки социально-политической истории, с. 137—149.

Необходимо иметь в виду, что былинные пиры, как княжеские, так и общинные, носят престижный характер. Так оно было и в самой действительности. Однако отличие княжеского пира от пира общинного в былинах заключается в том, что на первом царит разлад, а на втором — доброе согласие. Разлад обусловлен присутствием на княжеском пиру разных социальных элементов с противоречивыми интересами, тогда как на пиру общинном согласие неизменно поддерживается социальной однородностью участников. В былине мы видим конкретную причину происходящего разлада. Она заключается в столкновении героя с князем как представителем уходящего в прошлое родового принципа власти.

В итоге можно сказать, что пир Микулы противостоит в эпической традиции княжескому пиру, как пир Ильи Муромца с голями кабацкими противостоит пиру князя Владимира, на котором его оскорбили непризнанием. Противостояние двух пиров тем более интересно, что в былине о Микуле и Вольге троекратно утверждается превосходство «мужика» над князем и его дружиной. Тем не менее это не ведет к разрыву между ними. Вольга не отказывается от помощи Микулы, даже посрамленный им. Княжеская дружина в былине, формируемая на родовой основе по половозрастному принципу, дополняется сельским, более значительным по силе элементом, что имеет историческое объяснение. Из древнерусских источников известно, что в войнах, как внутренних, так и внешних, широкое участие принимали народные массы («вои» древних летописей), в том числе и сельские жители. При этом надо иметь в виду, что народное ополчение по военной мощи превосходило дружину.[63]

Заслуживает внимания христианизация былинных мотивов, имеющих дохристианские корни. Например, обрядовый головной убор в былине превращается в шапку земли греческой или церковный колокол, купание Добрыни в Пучай-реке имеет точки соприкосновения с купанием Василия Буслаева в Иордане, дождь в былине об Алеше Поповиче и Тугарине вызывается не самим героем, а ниспосылается небом по его просьбе и т. п.

Введение христианства сыграло, как известно, прогрессивную роль в эпоху Киевской Руси. Но в данном случае для нас существенна не эта сторона дела. Важнее понять, что вносят христианизированные мотивы в историко-фантастическую сюжетику былин, как соотносятся они с вымышленными образами и той реальностью, которая за ними стоит. В затронутых сюжетах христианство служит тем общим идеологическим, мыслительным выражением единения, посредством которого оказалось возможным связать Киев и богатырей, былинного Владимира с его окружением и героев эпоса новой связью взамен старой языческой. Такое понимание позволяет объяснить, почему иногда Добрыня с освобожденной девушкой обмениваются нательными крестами, становясь крестовыми братом и сестрой, что делает невозможным семейный союз с Владимиром. Объяснима с этой стороны и помощь неба (бога, богородицы) таким русским богатырям, как Алеша Попович и Илья Муромец. Ясно, что оставаться в освобожденном им Чернигове ни князем, ни воеводою, ни боярином Илье Муромцу не позволяет пасхальная заповедь, которую кладет он перед выездом из дома. Согласно взятому на себя обязательству богатырь дол-

---

[63] Там же, с. 185—215.

жен от заутрени в Муроме успеть к ранней обедне в Киеве, и это заставляет его ехать кратчайшим путем, предопределяя встречу на проезжей дороге с Соловьем и т. п. Судя по всему, эти христианизированные мотивы появились в былинах сравнительно поздно, поскольку в Киевской Руси народные массы были едва затронуты влиянием новой религии.

Наконец, заявленные в статье выводы помогают понять сходство одного из элементов былинной формы упомянутых сюжетов. Все они так или иначе обнаруживают двучастность строения, которая выступает следствием их содержания и эпической исторической проблематики. Действительно, двучастность былины о Добрыне и Змее отмечена еще А. П. Скафтымовым.[64] Две взаимосвязанные песни составляют повествование о подвигах Василия Буслаева: это былины о Василии Буслаеве и новгородцах и о его поездке и смерти. В былине об Илье Муромце и Соловье-разбойнике соединены две сюжетные части. Одну составляет рассказ о приключениях богатыря на пути в Киев, другую — о столкновении его с князем Владимиром и его окружением по прибытии в стольный город. Алеша Попович в различных песенных вариантах встречается с Тугарином то в поле, то в Киеве, на пиру у князя Владимира. При этом в варианте Кирши Данилова (20) обе версии соединены в единой песне. Исключение составляет былина о Микуле и Вольге. В ней нет двух частей. Но эта былина относится к малочисленной группе сюжетов, в которых два равноценных для сюжета героя. К тому же ряду примыкают, например, былины об Илье Муромце и Святогоре, Илье и Сокольнике. В таких песнях сказитель следит попеременно то за одним, то за другим из своих героев.

За исключением былины о Микуле и Вольге, в упомянутых сюжетах различаются два момента: во-первых, приобретение или попытка приобретения героем каких-то особых свойств (а также достижение превосходства над чудовищем) и, во-вторых, столкновение с князем и его окружением или городскими властями. Порядок взаимного расположения эпизодов различен. В былинах о Добрыне и Змее, об Илье и Соловье-разбойнике, об Алеше Поповиче и Тугарине ссоре с князем и его окружением предшествует купание или магическое испитие воды, победа над чудовищем. В былине о Василии Буслаеве купание в Иордане и смерть случаются после столкновения с Новгородом. Добрыня не мог сразу же отправиться в Киев, чтобы оттуда совершить поездку в змеиные горы. Если бы это случилось и сюжет начинался с прибытия в Киев, первое столкновение богатыря со Змеем происходило бы по инициативе князя, что противоречит общему идейному устремлению эпических сюжетов. Отсутствие второй части не позволило бы развить тему конфликта Добрыни с Владимиром. С другой стороны, трагический сюжет о Василии Буслаеве не мог предшествовать в эпической хронологии событий сюжету о его борьбе с Новгородом, так как поездка Василия к святым местам заканчивается его гибелью.

В нашем неполном обзоре некоторых сюжетов под углом зрения исторической проблематики многое опущено или оставлено без внимания. Так, к примеру, важно было б рассмотреть, как связано приобретение Ильей силы, перенятой от Святогора, с сюжетом о Святогоре и тяге земной, где фигурирует Микула, и с сюжетом о Микуле и Вольге, где есть, как и в бы-

---

[64] *Скафтымов А. П.* Поэтика и генезис былин. Саратов, 1924, с. 83—86.

лине о Святогоре и тяге земной, мотив: Микула легко подымает то, что не под силу другим. По нашему мнению, в деле изучения и исторической интерпретации русских былин рано подводить окончательные итоги. Многие проблемы ждут серьезной проверки и дальнейших научных изысканий.

ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

Гильф. — Онежские былины, записанные А. Ф. Гильфердингом, летом 1871 г. 4-е изд. М.; Л., 1949—1951, т. I—III.

Гуляев — Былины и песни Южной Сибири. Собр. С. И. Гуляева. Новосибирск, 1952.

К. Д. — Древние российские стихотворения, собранные Киршею Даниловым. 2-е изд., дополн. М., 1977.

Марков — *Марков А. В.* Беломорские былины. М., 1901.

Миллер — *Миллер В. Ф.* Былины новой и недавней записи. М., 1908.

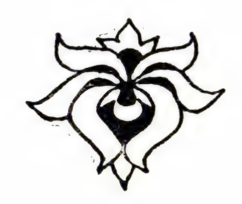
Онч. — *Ончуков Н. Е.* Печорские былины. СПб., 1904.

Пар. и Сойм. — Былины Пудожского края. Подготовка текстов Г. Н. Париловой и А. Д. Соймонова. Петрозаводск, 1941.

Рыб. — Песни, собранные П. Н. Рыбниковым. 2-е изд. М., 1909—1910, т. I—III.

Тих. и Мил. — *Тихонравов Н. С., Миллер В. Ф.* Русские былины старой и новой записи. М., 1894.

Шуб. — *Шуб Т. А.* Былины русских старожилов низовьев реки Индигирки. — В кн.: Русский фольклор. Материалы и исследования. М.; Л., 1956, вып. 1, с. 207—236 (песни из публикации Т. А. Шуба обозначаются по начальной странице).





Т. Н. Копреева

ИНОК ПОЛИКАРП — ЗАБЫТЫЙ ПИСАТЕЛЬ-ПУБЛИЦИСТ КИЕВСКОЙ РУСИ

Средневековый писатель, приступая к литературному труду, имел перед собою два пути. Говоря словами апостола Павла, он мог стать «послушником слову», «съматреущу лице бытия своего в зерцале», или «творцом слову». Епископ Владимирский Симон и инок Киево-Печерского монастыря Поликарп были писателями второго типа. В свое время нами уже была сделана попытка проникнуть во внутренний мир двух авторов Киево-Печерского Патерика. Между ними обнаружилась скрытая полемика, подтверждаемая автобиографическими материалами, включенными в текст патерика.[1] В настоящей работе предпринята попытка определить идейные истоки и движущие силы конфликта между двумя крупнейшими писателями начала XIII в., исходя из тех исторических данных, которые содержатся в их литературных трудах.[2]

Решение поставленной задачи облегчается особым характером Киево-Печерского Патерика, в котором личные и автобиографические моменты сплетаются с общезначимыми, художественное отображение действительности смыкается с деловым назначением, практической потребностью, реалии вкрапливаются в вымысел, создавая тем самым прихотливые сочетания фактов обыденной жизни с фантастическими эпизодами из жизни печерских подвижников, отмеченной чудесами, мученичеством, нравственными подвигами.

Переписка двух писателей начала XIII в., самобытное литературно-художественное явление, а также ценный источник для истории идейной борьбы в Киевской Руси накануне татарского нашествия, не привлекла

---

[1] *Копреева Т. Н.* Образ Поликарпа по письмам Симона и Поликарпа. (Опыт реконструкции). — ТОДРЛ. Л., 1969, т. XXIV, с. 112—116.

[2] В работе используется Касьяновская редакция Киево-Печерского патерика, в которой наиболее полно представлены документальные материалы (см.: *Поп Р.* Древнейший отрывок Послания Симона к Поликарпу. — ТОДРЛ, т. XXIV, с. 93—100; *Абрамович Д. И.* Исследование о Киево-Печерском патерике как историко-литературном памятнике. СПб., 1902, с. 88).

специального внимания исследователей и всегда рассматривалась лишь как одна из составных частей Киево-Печерского Патерика, в связи с его историей, длительной и сложной.[3]

Возможно, недооценка исторической значимости переписки Симона и Поликарпа обусловлена суровым приговором известного историка М. Д. Приселкова, который обвинил Поликарпа в модернизации исторического фона.[4] Несколько позднее А. А. Шахматов высказал противоположное суждение, считая, что сочинения Симона и Поликарпа могут служить «первостепенными историческими источниками для характеристики Киевской Руси XI и XII вв.».[5]

Сложившаяся в XIX—начале XX в. традиция рассматривать переписку Симона и Поликарпа как своеобразную «копилку» исторических реалий или в лучшем случае как пример церковно-учительной риторики, сохранилась до наших дней. Так, в исследовании, посвященном летописанию Владимирско-Суздальской Руси, произведения обоих авторов используются лишь в качестве документального свидетельства существования особой Ростовской летописи.[6]

По сути дела представление о взаимоотношениях двух авторов Киево-Печерского Патерика до сих пор опирается на выводы Н. К. Гудзия: «Неудовлетворенный скромной ролью рядового монаха в монастыре и претендовавший на занятие епископской кафедры Поликарп, отличавшийся незаурядными литературными способностями и начитанностью, пожаловался своему другу Симону на то, что его обходят. В ответ Поликарпу, обнаружившему недостаток основной монашеской добродетели — смирения, Симон написал укоризненное письмо, присоединив к нему в назидание несколько коротких рассказов из жизни печерских иноков и повесть о построении Печерской церкви. Видимо, увещание Симона подействовало на Поликарпа, и он, в свою очередь, в форме обращения к печерскому игумену Акиндину дополнил труд Симона рядом новых рассказов из жизни монахов Киево-Печерского монастыря. В дальнейшем, точно когда — неизвестно, видимо, в середине XIII в., писания Симона и Поликарпа ⟨. . .⟩ были объединены».[7]

Предыстория взаимоотношений Владимирско-Суздальского епископа Симона и инока Поликарпа освещена в Киево-Печерском Патерике весьма скудно. Тем не менее на основании оброненных там и сям указаний, цитат и ссылок, мы можем сделать заключение, что, прежде чем взяться за литературный труд и начать переписку, оба автора имели возможность вести друг с другом устные беседы. Об этом пишет как Симон, так и Поликарп. Так, епископ Симон замечает, обращаясь к Поликарпу: «Аще ли не довлееть ти моа беседа, иже слыша от уст моих, то ни само писание на уве-

---

[3] Нередко исследователи путают инока Поликарпа с архимандритом Киево-Печерской лавры, управлявшим монастырем с 1165 по 1182 г. (см.: *Щапов Я. Н.* Княжеские уставы и церковь в Древней Руси. XI—XIV вв. М., 1972, с. 333).

[4] *Приселков М. Д.* Очерки по церковно-политической истории Киевской Руси. СПб., 1913, с. 261.

[5] *Шахматов А. А.* Повесть Временных лет. Вводная часть. Текст, примечания. Пг., 1916, с. 12—13.

[6] *Лимонов Ю. Л.* Летописание Владимиро-Суздальской Руси. Л., 1967, с. 21.

[7] *Гудзий Н. К.* История древней русской литературы. М., 1966, с. 108—109.

рение тя приведеть. . .»;[8] «Сам ми еси рекл. . .»,[9] «Сия вся навыкох от уст твоих. . .»,[10] «Понеже сам ми рек. . .»[11] и др. Сам Поликарп в послании к Акиндину вспоминает то время, когда они с епископом Симоном в своих беседах касались деятельности великого Антония, «начальника русским мнихом», игумена Феодосия и их последователей — иноков Киево-Печерского монастыря. Из отрывочных ссылок на эти беседы, однако, нельзя себе составить ясного представления о том, что было их стержнем, в чем сходились и в чем расходились собеседники. Судя по цитатам из речей Поликарпа, вставленным епископом Симоном для большей доказательности в текст своего послания и в «прилоги» к сказаниям, тон бесед не всегда был мирным. Это не исключает того, что первоначально Поликарп, как полагают некоторые ученые, был «любимым учеником» епископа Симона и даже, возможно, его близким родственником.[12] Весьма вероятно, что епископ Симон выполнял в отношении Поликарпа (до его пострижения) роль «духовного отца», наставника и покровителя.[13]

Мы ничего не знаем из прошлого Поликарпа, даже его мирского имени. Несомненно, что какое-то время — не только до, но и после пострижения — он имел во Владимире сановитых друзей.[14] После переезда в Киев и ухода в монастырь сношения Поликарпа с Симоном не прервались. По-видимому, начало переписке положили «новеллы» Симона о создании Киево-Печерской Успенской церкви.[15] Послание епископа Симона и его отступления в «прилогах» к «сказаниям», адресованные Поликарпу, показывают нам отношения их друг к другу уже на иной стадии развития.

Разногласия Поликарпа с Симоном начались, видимо, после ссоры инока с игуменом Киево-Печерского монастыря Акиндином, братом Симона, и другими монастырскими властями (икономом, его братом и др.), после его отказа от соборной молитвы и ухода из монастыря.[16] Далее — попытка заняться церковно-организационной деятельностью и, наконец, возвращение в монастырь, едва ли добровольное. Близость Поликарпа к великокняжеской семье заставляла Симона насторожиться. Наскоки Поликарпа на Акиндина могли поколебать и, по-видимому, поколебали тесный союз великого князя Юрия Всеволодовича с епископом Симоном. Как можно предполагать, события развивались с драматической стремительностью, так как в «прилоге» к сказанию о князе Святоши Симон пишет: «вчера пришел еси в чернечьство и уже обещеваешися».[17] Однако и теперь

---

[8] Патерик Киевского Печерского монастыря. СПб., 1911, с. 81 (далее: ПКПМ).

[9] ПКПМ, с. 87.

[10] ПКПМ, с. 75.

[11] ПКПМ, с. 75—56, 90, 95, 96, 110.

[12] *Голубинский Е.* История русской церкви. М., 1880, т. I, ч. 1, с. 629.

[13] В «прилоге» к сказанию об Афанасии Печерском Симон обращается к Поликарпу: «Ты же, брате и сыну. . .» (ПКПМ, с. 82).

[14] На это намекает и епископ Симон в послании: «Се же вежь, яко блажим еси сде от бояр и от князь и от всех друг твоих» (см.: *Поп Р.* Древнейший отрывок послания Симона к Поликарпу, с. 98). В Касьяновской редакции тот же отрывок звучит следующим образом: «Се же веждь, яко блажим еси зде от князь, и от болярь и от всех друг своих» (ПКПМ, с. 73).

[15] «И много ти бых, брате Поликарпе, писал» (ПКПМ, с. 195).

[16] ПКПМ; с. 74—75 («не въсхотель еси служити святу мужу, своему господину, а нашему брату. . .»).

[17] ПКПМ, с. 86. По данным П. М. Строева, Акиндин игуменил в Киево-Печерском монастыре с 1224 по 1231 г.

отношения Поликарпа и Симона не прервались. Поликарп «въписал» епископу «досаду свою».[18] Это послание до нас не дошло. Возможно, что отдельные отрывки из него епископ Симон, отвечая Поликарпу, вставил в свое послание, но вычленить их сейчас из письма Симона не представляется возможным.

В составе Киево-Печерского Патерика дошло послание епископа Симона к Поликарпу, написанное уже после возвращения Поликарпа в монастырь. Оно написано в промежутке между осенью 1225 г., когда была освящена церковь в Суздале, о создании которой пишет Симон, и 22 мая 1226 г., когда он умер.[19] Так же, как и «сказания», оно откровенно публицистично. Цель Симона самоочевидна — не только обличить и смирить мятущегося Поликарпа, но и наставить его на путь истинный примерами из жизни «святых братьев» той самой обители, которую Поликарп так неосмотрительно вознамерился покинуть.

По-видимому, смерть епископа Симона не могла уже изменить жизненный путь Поликарпа. Сохранившийся в Киево-Печерском монастыре его архив с письмом Симона и написанными им в назидание Поликарпу рассказами являются тому свидетельством.

Мы уже обращались к тем чертам нравственного облика Поликарпа, которые вызвали неудовольствие епископа Симона: строптивость, непослушание игумену, гордыня и даже «оскудение очю» (!). Однако этим, как мы увидим ниже, «провинности» Поликарпа не исчерпывались.

Настойчиво говоря о своем почитании Печерского монастыря и его иноков, епископ Симон не просто хочет научить тому же своего «брата и сына». Из его то саркастических, то гневных слов явствует, что одной из причин конфликта была недостаточная убежденность Поликарпа в святости того и другого: «Оставлю убо много глаголати еже о святых. Аще ли не довлееть ти моа беседа, иже слыша от уст моих, то ни самое писание на уверение тя приведеть. Аще ли же сим не веруеши, то аще от мертвых кто въскреснеть, не имаши веры».[20]

Именно «неверие» Поликарпа вынуждает епископа Симона прибегать к многочисленным ссылкам на факты, почерпнутые им из рассказов свидетелей, из устных преданий «от самовидецъ», письменных свидетельств жития св. Антония и монастырского «поминания», из вещественных доказательств библиотеки князя Святоши (сохранившейся «до ныне»),[21] «желез» Никона Сухого, перекованных «на потребу олътареви»,[22] названий притворов в Печерской Успенской церкви [23] и др. Однако не следует ли в упреках Симона Поликарпу видеть всего лишь особый литературный прием, создающий путем искусственной коллизии стержень, на который автор мог легко нанизать любое количество эпизодов из жизни Киево-Печерских иноков? О том, что коллизия была реальной, а не выдуманной,

---

[18] ПКПМ, с. 75.

[19] *Насонов А. Н.* История русского летописания XI—начала XVIII вв. Очерки и исследования. М., 1969, с. 129.

[20] «Прилог» к сказанию о святых Кукше и Пимене (ПКПМ, с. 81).

[21] ПКПМ, с. 86.

[22] ПКПМ, с. 81.

[23] ПКПМ, с. 80.

свидетельствует расхождение епископа Симона с Поликарпом в вопросе о круге «добрых дел», которые должны «просветить» иноков «пред человеки».[24]

Главным предметом спора явилось стремление Поликарпа к епископскому сану. Об этом мы узнаем из послания епископа Симона к Поликарпу, где, упрекнув последнего в ослушании, гордыне, строптивости и даже неверии, епископ Симон, явно маскируя свою тревогу и раздражение, насмешливо замечает: «Ты же брате, епископству ли похотел еси? Добру делу хощеши. Но послушай Павла, глаголюща к Тимофею. . .»[25] По смыслу далее должен был бы следовать текст цитаты из послания апостола Павла к Тимофею, однако во всех известных нам списках Печерского Патерика он отсутствует. Обследованные нами списки дают некоторые варианты чтения приведенных нами выше слов епископа Симона, не меняющих, однако, сути дела.[26] Отсутствие в тексте послания слов апостола Павла до сих пор не привлекало к себе внимания исследователей. Призыв «послушай апостола Павла» воспринимался скорее как риторический оборот, чем как попытка документировать свою мысль цитатой из Нового Завета. Между тем без привлечения текста, на который ссылается епископ Симон, скрытый смысл слов епископа остается неясным, что и привело, как мы увидим ниже, к неточности в переводе их на русский язык.

Пропуск в тексте Киево-Печерского Патерика легко восстанавливается на основании слов из послания епископа Симона; это строфы из третьей главы Первого послания апостола Павла к Тимофею. Для удобства цитирования мы приводим их по списку XIII в., современному посланию Симона: «Верно слово, епископьству хощеть, добро дело помышляеть. Подобает бо епископу непорочну быти, едину жену мужу, трезву, чисту, плътия красну и целомудрьну, говеину и страннолюбьцу, учителю, не пиеници, не пакостливу, но кротку, своя домы добре строющу».[27]

Что епископ Симон имел в виду именно этот отрывок из 1-го послания апостола Павла к Тимофею, подтверждают следующие непосредственно за приведенным нами выше отрывком его собственные, полные насмешки, слова: «и почет, разумееши, аще еси что от того исправил, какову епископу подобает быти. Но аще бы ты был достоин таковаго сана, то не бых тебе пустил от себе, но своима руками съпрестолника тя себе поставил бых в обе епископии — Владимерю и Суждалю, якоже князь Георгий хотел, но аз ему въсбраних видя твое малодушие».[28] Слова Симона приоткрывают еще одну завесу: за насмешливыми словами угадывается страх преуспевающего епископа перед возможной конкуренцией Поликарпа, поддер-

---

[24] Толкование понятия «добрые дел» обуславливает правила нравственно-религиозной жизни как в западной, так и в восточноправославной церквах, а также социально-этические идеалы реформационных и еретических движений Средневековья.

[25] ПКМП, с. 75.

[26] В списке XVI в. Киево-Печерского патерика из собрания М. П. Погодина (№ 878), например, переписчик пытается сделать мысль, развиваемую епископом Симоном, более ясной путем повтора: «Добру делу похотел еси? Добру делу хощеши! Но послушай Павла, глаголюща к Тимофею. . .» Еще раз епископ Симон возвращается к этому сюжету в сказании об Афанасии затворнике (ПКПМ, с. 82).

[27] Древле-славянский Карпинский Апостол XIII века. Труд архиепископа Амфилохия. М., 1886, т. II, ч. 2, с. 377—378.

[28] ПКПМ, с. 75—76.

живаемого в своих притязаниях на епископский сан или по крайней мере на сопрестольничество великим князем Юрием Всеволодовичем.[29]

Стремление к епископскому сану, зачисленное апостолом Павлом в «добрые дела», неоднократно в истории христианской церкви становилось предметом обсуждения и толковалось различно. Если в первые века христианства, до признания его в качестве официального государственного культа, мера ответственности и размер наказания за участие в тайном и противоправительственном учении возрастала вместе с саном, то позднее, с победой христианства, стремление к епископству вызывало, не без основания, нарекание в сано- и властолюбии.[30] Правда, Иоанн Дамаскин в своем толковании на 1-е послание апостола Павла к Тимофею придерживается мнения, что стремление к епископскому сану не является чем-то дурным или «некрасивым».[31] Позднее архиепископ Майнцский Рабан Мавр почеркивает, что епископство — это прежде всего «дело», а не сан.[32] Из бесед болгарского писателя X в. Козмы Пресвитера мы узнаем, что богумилы, требуя реформ церковной организации, ссылались именно на эти слова апостола Павла.[33]

Переводчица Киево-Печерского Патерика М. А. Викторова, ученица Буслаева, допустила неточность, опустив глагол «помышляет» (по другим спискам «желает», «хощет» и др.): «А ты брат мой, не епископства ли захотел. Доброе дело! Но послушай, что Павел говорит Тимофею».[34] Здесь «доброе дело» — всего лишь междометие, связь его с епископством утрачена.

Обращение епископа Симона к Поликарпу с вопросом «Ты же брате, епископъству ли похотел еси?» — свидетельствует о том, что хотя в личных беседах с ним епископ Симон и заметил, что Поликарп «преже навыкновения» хочет «епископъству», тем не менее последний, очевидно, прямо своего намерения не высказывал, предоставляя вести переговоры о себе великому князю Юрию Всеволодовичу и его сестре княжне Верхуславе Всеволодовне. Последняя пыталась добиться согласия Симона на «поставление» Поликарпа, обещав ему за это крупную сумму денег. Остается только гадать, где и когда скрестились пути любимой дочери великого князя Всеволода Юрьевича Большое Гнездо и Поликарпа. Она родилась в 1179 г.[35] В 1226 г. ей было 46—47 лет. В 1187 г. в возрасте 8 лет Верхуслава была выдана замуж за 16-летнего Ростислава Рюриковича, князя Торческого, неоднократно участвовавшего в княжеских раздорах и в ры-

---

[29] О практике сопрестольничества см.: *Щапов Я. А.* Княжеские уставы и церковь в Древней Руси. М., 1972, с. 43. — Сам Симон, также стараниями вел. кн. Юрия Всеволодовича, был возведен в 1214 г. на епископию, уже занятую епископом Иоанном, отправленным в Суздальский Козьмодемьянский монастырь (там же, с. 133; *Насонов А. Н.* История русского летописания. . ., с. 200). Симон вышел из иноков Киево-Печерского монастыря, до 1214 г. он был игуменом Рождественского монастыря во Владимире.

[30] См. в «Regulae pastoralis» Григория Двоеслова: (Minge, Patrologia Latina, t. 77, col. 21).

[31] Migne, Patrologia Graeca, t. 95, col. 1006.

[32] Migne, Patrologia Latina, t. 112, col. 996.

[33] *Ангелов Д.* Богомилството. София, 1965, с. 130.

[34] Киево-Печерский Патерик по древним рукописям / В пер. М. Викторовой. Киев, 1870, с. 26.

[35] ПСРЛ, т. II, с. 658.

царских походах против половцев. Он умер в 1217 г.[36] Очевидно, тогда же, по обычаю, Верхуслава над гробом мужа постриглась в монахини, получив имя Анастасии.[37] Весьма вероятно, что уход Верхуславы Всеволодовны в монастырь явился побудительным мотивом и для отказа от светской жизни неизвестного нам лица, скрывшегося за иноческим именем Поликарпа. Невольно напрашивается сравнение с судьбой двух замечательнейших личностей западного средневековья — Абеляра и Элоизы.

Великолепное знание Поликарпом топонимики и реалий Южной Руси позволяет предположить, что он был южанин по происхождению и, возможно, находился среди приближенных князя Ростислава Рюриковича и его жены. После смерти Ростислава, возможно, он бывал наездами во Владимире в гостях у инокини Анастасии и ее державного брата, где и встречался с епископом Симоном. Однако это не больше, чем предположение.

Просьба Анастасии-Верхуславы, выраженная с подозрительной горячностью («. . . и до тысячи сребра расточити тебе ради и Поликарпа»), была отвергнута Симоном. Симон приводит в послании свой разговор с нетерпеливой Верхуславой в прямой речи: «И рех ей: дъщи моа Анастасие! Дело не богоугодно хощеши сотворити. Но аще бы пребыл в монастыре не исходно, съ чистою съвестию в послушании игумена и всей братии трезвяся о всех, то не токмо бы в святительскую одежю облочен, но и вышняго царствия достоин был».

Идея сопрестольничества могла возникнуть у вел. князя Юрия Всеволодовича и его сестры в один из приездов инока Поликарпа во Владимир.[38] Жалобы Поликарпа на порядки в Киево-Печерском монастыре, очевидно, произвели на могущественных покровителей инока определенное впечатление. Однако речь шла не о реорганизации монастыря. Совершенно очевидно, что приближенный к великому князю инок был удобной фигурой в великокняжеской «игре» с церковными иерархами Северо-Восточной Руси. В связи с этим и возникает проект дать Поликарпу «сопрестольничество» во Владимире или одну из трех вакантных епископий в Новгороде, Смоленске или Юрьеве. Слова: «Добру делу хощеши» (в краткой формулировке апостола Павла), очевидно, резюмировали программу действий Поликарпа и, возможно, были им высказаны епископу Симону в ходе одной из бесед.[39]

Попытка Поликарпа обосновать свой уход из монастыря и занять крупный церковный пост стремлением к «доброму делу» вызвала у епископа Симона насмешку. Обладая всею полнотой духовной власти, он решительно отказывается признать Поликарпа достойным епископства. Свое убеждение епископ Симон обосновывает словами из Псалтыри: «. . . не

---

[36] ПСРЛ, т. 7, с. 125.

[37] Аналогичная судьба постигла и жену вел. кн. Константина Всеволодовича, брата князя Юрия, Агафью.

[38] Для рассматриваемого периода времени практика «сопрестольничества» существовала и среди князей. Так, свекр Верхуславы Всеволодовны Рюрик Ростиславович был в 1187—1199 гг. на великом Киевском столе «сопрестольником« Святослава Всеволодовича (см.: *Рыбаков В. А.* Русские летописцы и автор «Слова о полку Игореве». М., 1972, с. 93, 138).

[39] *Яковлев В.* Древне-киевские религиозные сказания. Варшава, 1875, с. 32.

веруеши ли, окаанне, написанному: „Никто же възме чести о собе, но званный от бога“» (псалом 114, стих 5).[40] «Аще ли апостолу не веруеши, то ни Христу не имеши веры»,[41] и добавляет угрожающе: «древле таковии со небес свержени быша». Епископ Симон осуждает стремление Поликарпа, по апостольскому завету, увидеть «доброе дело» не только в личном самоусовершенствовании, но и в церковно-административной деятельности. По словам Симона, Поликарп уже и раньше «брался игумените» в двух монастырях. Симон расценивает эти попытки как «дьявольское наваждение и искушение».[42]

Социальный смысл позиции епископа Симона совершенно очевиден. Во все времена господства христианской идеологии тезис «покорение и послушание» призван был обеспечивать не только дисциплину в монастырских общежитиях, но и стабильность государственного, в частности феодального, порядка. Совершенно очевидно, что любое реформационное или еретическое движение начинало с его пересмотра.[43]

Упрек, брошенный епископом Симоном Поликарпу в славо- и санолюбии надолго предопределил оценку нравственного облика последнего.[44] Однако мы имеем все основания усомниться в объективности оценки епископа Симона. О том, что епископ Симон видел в Поликарпе не только и не столько опасного для себя честолюбца, но прежде всего своего идейного противника, мы узнаем непосредственно из слов самого Симона и, опосредованно, из им написанных сказаний. Из сварливых и одновременно запальчивых слов епископа Симона мы узнаем также некоторые подробности и о подлинном нравственном облике Поликарпа, снискавшем ему уважение среди окружавших его людей. Так, епископ Симон, отвечая, очевидно, в своем послании на возражения Поликарпа, запальчиво замечает: «аще и постник еси или трезвитель о всем, и нищь, и без сна пребываа, а досажения не тръпя не узриши спасения».[45] Перевод М. Викторовой слов «трезвитель о всем» повелительным наклонением «будь трезв», также следует признать неточным.[46] Слова «трезвитель о всем» взяты епископом Симоном из Второго послания апостола Павла к Тимофею (гл. IV, стих 5). В Карпинском Апостоле XIII в. весь стих звучит следующим образом: «Чадо Тимофею, трезвися о всемь, зломь стражи, дело сътвори евангелско, служение свое извести».[47] Отдельные списки Киево-Печерского патерика дают разночтения: вместо «трезвитель о всем» — «трезвитель о всех».[48] Аналогичное разночтение мы находим и в славянских переводах послания.

Замеченное нами по спискам как Патерика, так и Апостола разночтение заставило нас обратиться к греческим и латинским текстам, причем выяснилось, что и те, и другие имеют аналогичные редакции, объясняющиеся

[40] ПКПМ, с. 75.
[41] ПКПМ, с. 75.
[42] ПКПМ, с. 74, 82.
[43] *Казакова Н. А., Лурье Я. С.* Антифеодальные еретические движения на Руси XIV—начала XVI в. М.; Л., 1955, с. 69—71.
[44] *Голубинский Е.* История русской церкви, т. I, ч. 1, с. 630.
[45] ПКПМ, с. 75.
[46] Киево-Печерский патерик по древним рукописям. . ., с. 24.
[47] Древле-славянский Карпинский Апостол. . ., т. II, ч. 2, с. 472.
[48] *Поп Р.* Древнейший список послания Симона к Поликарпу. . ., с. 100.

двойным смыслом греческого текста, переводимого на латинский язык «vigil in omnibus». В латинской традиции слова из послания апостола Павла приобретают чрезвычайно интересные редакционные изменения, вызванные, несомненно, острой борьбой, связанной с их интерпретацией. Эти редакционные изменения касаются как расстановки разделительных знаков, так и выбора слов при переводе с греческого.

Наряду со словом «vigil» (бдящий, заботящийся о всех или о всем, бодрствующий) появляется слово «sobrius» (умеренный, воздержанный).

Если в первом переводе речь идет об общественном служении, то во втором акцент перенесен на поддержание личной нравственной чистоты.

Таким образом, перевод М. Викторовой («будь трезв») основывается на втором значении слова «трезвитель», хотя дополнение («о всем», «о всех») в тексте патерика показывает, что в данном случае речь идет не о воздержании, а о служении. В сказании о князе Святоши Симон показывает нам одну из сторон «трезвения» Поликарпа «о всем» (или «о всех»): «Ты же ⟨. . .⟩ попечение твориши о питии и о ядении, сим славен ся творя».[49] Симон лицемерно советует Поликарпу «трезвиться о всех» в послушании у игумена Акиндина и монастырской братии. Таким образом, текст послания позволяет увидеть в Поликарпе не столько эгоистичного честолюбца, сколько человека, восстающего против злоупотреблений монастырских властей во имя определенных социальных принципов.

Поликарп видит пример «совершенного христианина» в раннехристианском идеале поборника общего («доброго») дела и старается следовать ему.[50] Для Симона же основное достоинство «совершенного христианина» заключается не в заботах об общем благе, апостольской деятельности и неуклонном служении общественному «доброму делу», включая и тяготы епископского сана, а в том, чтобы «исправити житие свое и чиста себе съблюсти»,[51] т. е. в личном «спасении».

Не для организационно-практической деятельности предназначает инока Поликарпа епископ Симон: смирению, послушанию и покорению должен он научиться, оставаясь «под началом» брата Симона Акиндина, игумена Киево-Печерского монастыря, «свята мужа», которому Поликарп «не въсхотель еси служити».[52]

В случае отказа подчиниться воле епископа Симона последний грозит Поликарпу проклятием, равным отлучению от церкви: «И аще мене преслушаешися, каковеи любо власти въсхощеши, или епископъству или игуменъству повинешися, буди ти клятва, а не благословение и к тому не внидеши в святое и чистое место иде же еси остригълся. Яко сосуд непотребень будеши, извержень будеши вънь и плакатися имаши послежде много без успеха».[53]

Резкий тон послания епископа Симона к Поликарпу, косвенные намеки последнего в послании к игумену Акиндину, написанному много

---

[49] ПКПМ, с. 86.

[50] Из второго послания апостола Павла к Тимофею: «Да съвершень есть б͡жи чл͡вкъ на всеко дело благо уготовань». Древле-славянский Карпинский Апостол. . ., т. II, ч. 2, с. 468.

[51] ПКПМ, с. 76.

[52] ПКПМ, с. 75.

[53] ПКПМ, с. 76.

позже, позволяют предположить, что возвращение Поликарпа под власть игумена было мерой насильственной и равносильно заточению. Подобная практика пресечения деятельности церковных реформаторов была популярна в Средние века как на Западе, так и на Руси. Монастыри, как известно, часто выполняли тюремные функции. Так, в 1148 г. великий князь Изяслав «посадил» в Печерский монастырь архиепископа Новгородского Нифонта, отказавшегося признать власть княжеского ставленника Клима Смолятича.

Предлогом для предполагаемого нами насильственного возвращения Поликарпа в монастырь, был, по-видимому, не столько его самовольный уход и стремление к власти, сколько проявленное им (только ли в разговорах с Симоном?) религиозное вольнодумство и, возможно, реформационные чаяния, угрожавшие конфессиональному единству церкви.[54] О том, что, смиряя Поликарпа, Симон преследовал не только личные, но и общецерковные цели, показывают написанные им «сказания». Таким образом, урок, преподанный им Поликарпу, должен был получить общественный резонанс. В пестрой толпе подвижников Киево-Печерской лавры епископ Симон отмечает людей «истинной» святости, чьи труды «в части добреи» или свидетельства «от дел добрых», по его мнению, призваны были прославить их как перед людьми, так и перед богом.

Е. Голубинский пишет: «Несомненно, что собрание сказаний назначалось не для Поликарпа только в видах его личного назидания, а вообще для всех русских людей, или имело назначение публичного сочинения»; однако почему ему был дан «вид приложения к частному письму», для Е. Голубинского осталось неясным, тем более что, по его мнению, «между письмом к Поликарпу и приложением к нему<. . .> нет полного соответствия. В письме Симон обличает Поликарпа за то-то и за то-то, повести приложены, конечно, затем, чтобы подтвердить примерами все сказанное им самим. На самом же деле оне служат не к сему, а к подтверждению того, что вовсе не составляет главного предмета письма. . .»[55]

Причина этого несоответствия, на наш взгляд, заключается в следующем: спор епископа Симона с Поликарпом шел не только о самом Поликарпе и его судьбе. Прежде всего и главным образом это был спор с идейной программой последнего. Ни Поликарп, ни его антагонист не говорят о ней прямо, однако эта программа может быть реконструирована путем сопоставлений двух различных идеалов иноческой жизни, нарисованных обоими писателями в сказаниях.

Каковы же герои епископа Симона, взятые им в качестве образца «совершенного христианина»? Какие поступки человека, по мнению епископа Симона, важны в делах веры и что является в них определяющим для спасения души, грядущего воскресения из мертвых, для вечной жизни и — попутно — для жизни земной?

Епископ Симон пишет не этико-философский трактат, да и сам он, очевидно, скорее религиозный практик, чем теоретик, поэтому его программа, его идеи даются не в отвлеченных этико-религиозных понятиях, а через

---

[54] *Клибанов А. И.* Народная социальная утопия в России. М., 1977, т. I, с. 9—34.
[55] *Голубинский Е.* История русской церкви, т. I, ч. 1, с. 630—631.

определенную трактовку отобранных им для повествования биографий печерских иноков.[56]

Какими «добрыми делами» отмечены герои епископа Симона, избранные им для прославления? Круг «добрых дел» девяти иноков Киево-Печерского монастыря, на которых останавливает свое внимание епископ Симон, не слишком разнообразен. Прежде всего это «покорение и послушание»,[57] так как, по убеждению Симона, «сиа три (!) вещи боле всех добродетелей суть».[58] Покорность и послушание воле бога или игумена (жития кн. Святоши, Арефы и Афанасия),[59] смирение, терпение, покаяние, непрестанные молитвы (жития Евстратия-постника и Никона Сухого), подвиги во имя правой веры против «неверных» (иудеев, половцев), забота о процветании монастырей и обильные вклады (жития Еразма и князя Святоши) [60] — вот те «добрые дела», которые обеспечивают им вечную память и вечное спасение. Вечное спасение дают не только «добрые дела», совершенные при жизни, но спастись можно и после смерти молитвами святого, обеспечив себе место погребения в церкви или в пределах монастыря.[61]

Заинтересованность Киево-Печерского монастыря в институте «задушья» (особой формы материального обеспечения вечного поминовения), служившего одним из основных источников его богатства, совершенно отчетливо выступает в рассказах, приписываемых епископу Симону и посвященных строительству церкви Успения Богородицы в Киево-Печерском монастыре и «добрым делам» Шимона-«варяга», обеспечившего, путем богатого вклада в церковь, посмертное спасение не только себе, но всему своему «роду». Из слов епископа Симона мы узнаем, что сам Поликарп (очевидно, при пострижении) сделал богатый вклад в монастырь, который был истрачен на отделку двух дверей в Успенской церкви.[62]

---

[56] Исследователями давно уже было обращено внимание на то, что как Симон, так и Поликарп выбирают героев своего повествования из числа последователей св. Антония Печерского. Частые ссылки обоих писателей на житие св. Антония (например, в слове об Евстратии постнике, об Афанасии затворнике, блаженном Агапите), дали основание А. А. Шахматову и М. Д. Приселкову высказать предположение о том, что оба писателя черпали из него материал для своих повестей. Однако в этом случае остается непонятным, каким образом на базе этого жития выросли две совершенно отличные «концепции» монастырской жизни времен Антония Печерского. Остается предположить, что уже и раньше существовала не одна, а несколько версий относительно основания и первоначальной деятельности монастыря и роли самого Антония Печерского в качестве его основателя (см.: *Приселков М. Д.* Очерки по церковно-политической истории Древней Руси, с. 238—284).

[57] В послании к Поликарпу Симон в качестве примера смирения и послушания приводит Иисуса Христа и пророка Давида (см.: ПКПМ, с. 74).

[58] ПКПМ, с. 89.

[59] Так, прославившийся своею скупостью Арефа получает прощение от бога за свою покорность и смирение перед его волей, ибо «аще кто благодарит бога, боли милостыни есть» (ПКПМ, с. 88).

[60] ПКПМ, с. 83, 86—87 (Еразм отдал все свое богатство монастырю).

[61] В подтверждение своей мысли епископ Симон ссылается на самого себя: «Аз грешный епископ Симон, тужу и скорблю и плачу, да бых точию положен был в божественеи тои персти и малу страду приал бых многых ми грехов, молитв ради святых отец» (ПКПМ, с. 78). По-видимому, его надежда сбылась, хотя сразу после смерти он был погребен в церкви св. Богородицы во Владимире (ПСРЛ, т. VII, с. 133; см.: *Евгений митр.* Описание Киево-Печерской Лавры. Киев, 1826, с. 156). Позднее епископ Симон был канонизирован.

[62] ПКПМ, с. 87.

Богатство монастыря увеличивали его так называемые духовные дети — князья, бояре, которые «приношаху ему от имени своих на утешение братии и на устроение монастырю, друзии же села вдающе монастыреве и братии».[63]

Каковы же идейные позиции инока Поликарпа? Кое-что мы о них узнаем из ссылок на его высказывания в послании Симона, из «прилогов» к сказаниям последнего, обращенных к Поликарпу, из «наказаний», которыми епископ Симон «наказал» последнего, с помощью нарисованных им портретов Киево-Печерских подвижников. Однако всего этого недостаточно, чтобы представить себе идейную программу Поликарпа как целое.

Определить круг общественно-политических идей Поликарпа помогают написанные им сказания и те герои, которых он выбрал для своего публицистического труда. Последние вполне ортодоксальны с точки зрения официальной церковности в вопросах об исповедании веры и, на первый взгляд, мало чем отличаются от иноков, о которых рассказывает Симон. И для них вера — основа земного существования, а «добрые дела» — путь к вечному спасению. Однако в определении круга «добрых дел» и в выборе путей «спасения» отличие подвижников Киево-Печерского монастыря, описанных Симоном, от подвижников, избранных Поликарпом, выступает достаточно выпукло. Иноки Поликарпа, при внимательном рассмотрении, являются скрытой антитезой этим последним. Их «добрые дела» носят не личный характер, а социально окрашены.

В отличие от епископа Симона Поликарп не ищет подтверждения своим взглядам в достоверности деталей, для него историческую достоверность воссоздает вся та богатая реалиями картина духовной, социальной и политической жизни окружающего его общества, в рамки которой он помещает своих героев.

Какими этическими нормами характеризуется поведение героев Поликарпа, в чем заключаются их «добрые дела»? Основная черта, их объединяющая, — добровольная нищета и нестяжание.[64] Свое отношение к нестяжанию Поликарп недвусмысленно выражает словами: «мать всем благыням — нестяжание»: так, инок Прохор не приобретал, как подчеркивает Поликарп, ни сел, ни житниц; инок Агапит бросил свое золото за ворота монастыря, в его келье не было ничего, что можно было бы украсть; инок Григорий, «творец канонов», в качестве личного имущества имел только книги — продав их, он роздал деньги бедным. Нищелюбие — вторая главная черта героев Поликарпа: так, Марк «пещерник», копая могилы, ничего не брал за свой труд, если же ему платили деньгами, он раздавал их убогим; «безмездник» иконописец Алимпий заработанные своим трудом деньги делил на три части: одну он тратил на приобретение материала для писания икон, вторую использовал «для телесной потребы» и третию

---

[63] ПКПМ, с. 31 (см. также: *Евгений митр.* Описание Киево-Печерской Лавры. Киев, 1826, с. 63; *Приселков М. Д.* Очерки по церковно-политической истории Киевской Руси, с. 209, 226, 230; *Тихомиров М. Н.* Древнерусские города. М., 1956, с. 178—184, 186—200; *Будовниц И. У.* Монастыри на Руси и борьба с ними крестьян в XIV—XVI вв. М., 1966, с. 46).

[64] ПКПМ, с. 112.

раздавал бедным.[65] В рассказе о Федоре и Василии дан не только образец возвышенной «духовной дружбы», но и пример нестяжания и нищелюбия. Найдя ценные сокровища в Варяжской пещере, Федор не отдает их монастырю, а зарывает в землю. Он не только кормит бедных, но и стремится облегчить нелегкую долю «монастырских рабов», помогая им молоть жито. Еще резче демократизм Поликарпа выступает в рассказе о Прохоре, спасшем бедный люд в голодный 1119 год тем, что с помощью чуда превращал лебеду в хлеб, а золу в соль, в то время как купцы и великий князь Святополк Изяславич цинично пытались использовать народное бедствие в целях личного обогащения. Сам для себя он «не стяжал бо сел, ни житниц, иде же събереть благая своа. Сий не рече, яко же богатый: душе, имаши многа благая, лежаще на многа лета; яжь и пий, веселися! Иного бо не имаше разве точию лободу».[66] В том же рассказе о Прохоре «лебеднике» Поликарп подвергает осуждению не только алчность богатых, но и безответственность власти.[67] По мнению Поликарпа, бог «наводит рати» не за грехи людей вообще, а за «неустроение сущаго властелина»: «делающие злаа дела, неподобнаа, предани будут злым и немилостивым властелином, грех ради наших», но и последние «не убежать суда. Суд бо без милости не сотворшим милости».[68]

Справедливость своих слов Поликарп подтверждает примером из времени княжения в Киеве Святополка Изяславича, сотворившего «много насилия людем <. . .> и сего ради попусти господь поганым силу имети над ним, и бывша брани многы от половець».[69] Поликарп имеет в виду события, имевшие место в 1093 г.[70] Концепция Поликарпа резко отличается от концепции Нестора летописца, видевшего в нашествии половцев божью кару за грехи всех русских христиан и опиравшегося на длительную традицию, нашедшую отражение в славяно-русских памятниках уже в XI в. Так, в «Изборнике 1073 года» в ответе Анастасия Синаита об отношении к недостойным властям читалось: «Егда видиши недостоинъна кого и зла цесаря, или князя, или епископа, не чудися, ни божия промысла потязаи, но разумеи, веруи, яко противу беззаконием нашим тацем томителем предаемся».[71]

Однако подобная интерпретация «злой» власти не была на Руси единственной. Достаточно популярно было также «Слово Сирахово на немилостивые князи» или «Слово пророка Исайи к немилостивым князем», ав-

---

[65] Любопытно, что при переработке Патерика в XVII в. Сильвестр Коссов раздачу нищим отбросил и заменил словами: «третью — на монастырские нужды» (см.: *Перетц В. Н.* Киево-Печерский Патерик в польском и украинском переводе. — В сб.: Славянская филология. М., ч. III, 1958; с. 178).

[66] ПКПМ, с. 115.

[67] Сказание о Прохоре лебеднике рассказывает о событиях, имевших место в Новгородской земле в 1225—1226 гг., где в результате неурожая и мора вспыхнуло восстание.

[68] ПКПМ, с. 106.

[69] ПКПМ, с. 108.

[70] *Шахматов А. А.* Предисловие к Начальному Киевскому своду и Несторовой летописи. — ИОРЯС. СПб., 1909—1910, т. XIII, кн. 1; см. также: *Приселков М. Д.* Очерки по церковно-политической истории Киевской Руси, с. 235.

[71] См. также широко распространенное на Руси «Слово о поставлении властелина» (*Кучкин В. А.* Один из источников Еллинского летописца второго вида. — Византийский временник, № 27, 1967, с. 320—331).

торы которых не снимали ответственности с лиц, облеченных властью, совершающих акты социальной несправедливости и, наоборот, именно в этом видели причину «божьей кары». Теория божьего суда за грехи «властелина» вытекала из представления об ответственности за них всего народа. Тема божьего суда за беззакония власти у Поликарпа достаточно подробно развита в сказании о Моисее Угрине, а также в сказаниях о Федоре и Василии и об иноке Григории. В рассказе о Моисее Угрине Поликарп устами своего героя предупреждает: «Раби, послушаите господии своих на благое, а не на злое».[72]

Отказ Моисея Угрина уступить сластолюбивым притязаниям своей госпожи страшит князя Болеслава как дурной пример непокорности властям.[73] Он наставляет госпожу: «никто же от купленных тобою пленник буди свободь, но аки госпожа рабу, сътвори, еже хощеши да и прочии не дрьзнуть преслушатися господии своих». Опасения Болеслава, как показывает Поликарп, были не напрасны, так как «в единну убо нощь Болеслав напрасно умре, и бысть мятеж велик в всей Лятьской земли. И въставше, людие избиша епископы своа и боляры своа, иже же и летописци поведають. Тогда и сию жену убиша».[74] Поликарп подчеркивает, что мятеж имел не идеологические, а социально-политические корни.

В рассказе о многострадальном Пимине Поликарп передает эпизод с иноком, которого монастырская братия, презирая за бедность, не посчитала нужным одеть в схиму перед смертью. Однако когда вскрыли гроб, он оказался облаченным в схиму, а другой инок, наделенный схимническим одеянием из почтения к его богатству, оказался наг.[75] Таким образом, Поликарп открыто примыкает к тому направлению религиозных деятелей, которые, защищая интересы беднейших слоев общества, открыто выступали против «задушья», противопоставляя ему «нестяжание». Добрые дела, совершенные героями Поликарпа во имя человека, дают ему основание, чтобы явить миру «утаенные» ранее имена Киево-Печерских подвижников, которые достойны, по его мнению, быть записанными в «книги животные» на небесах, куда надеется попасть и он сам.[76] Так, Поликарп берет на себя труд явить миру не просто забытые, но сознательно замолченные имена Киево-Печерских подвижников, что было, по мнению Поликарпа, актом социальной несправедливости. Поликарп вполне осознанно подходит к своему литературному труду как к гражданскому акту, он пишет: «аще бо аз премолчю <. . .> и к тому не помянутся имена их, яко же и было и до сего дъни».[77] Поликарп и епископ Симон стоят на различных и даже противостоящих друг другу социально-этических позициях. Творчество как Симона, так и Поликарпа тесно связано с теми церковно-политическими и социальными проблемами, которые волновали русское об-

---

[72] ПКПМ, с. 104.

[73] ПКПМ, с. 105.

[74] ПКПМ, с. 105. — Попытка Приселкова свести борьбу Моисея Угрина к конфессиональным разногласиям представляется нам неоправданной натяжкой (см. его «Очерки по церковно-политической истории Киевской Руси», с. 271); см. также: *Тихомиров М. Н.* Крестьянские и городские восстания на Руси XI—XIII вв., с. 78—79.

[75] ПКПМ, с. 93.

[76] ПКПМ, с. 96.

[77] ПКПМ, с. 96.

щество в первой четверти XIII в. Вся психология епископа Симона и его идеалы определяются его принадлежностью к верхам церковной иерархии. И он не считает нужным скрывать это. Выдавая себя за лицо, стоящее над светской властью, имеющее силу «запрещать» князю Юрию или княгине Анастасии (Верхуславе) оказывать Поликарпу свое покровительство, епископ Симон, очевидно, несколько преувеличивает свое влияние и вес в княжеской среде. Однако его родственные отношения с игуменом Киево-Печерского монастыря делают его власть над Поликарпом неограниченной и безусловной. Сознание этого придает полемике Симона с Поликарпом особую жесткость.

Несмотря на то что уход Поликарпа за пределы «застывшего в грехах» монастыря не удался, у нас есть все основания зачислить его в число церковных и социальных реформаторов. Не имея возможности покинуть монастырь, Поликарп надеялся в самом монастыре найти силы, способные противостоять его обмирщению, однако теперь уже не открытой критикой монастырских порядков, а с помощью литературного слова.

Как могло случиться, что сочинения двух антагонистов оказались в поздней литературной традиции объединенными в рамках общего литературного труда, получившего наименование Киево-Печерского Патерика? Подобное явление само по себе не было чем-то исключительным для литературы Древней Руси. Скрытую борьбу противоположных социальных тенденций можно обнаружить не только в сборниках смешанного состава, но почти во всех без исключения тематических сборниках. Прологи, Златоусты, Синодики и т. п. при внимательном рассмотрении предстают перед нами не однозначными, а внутренне противоречивыми. В самом Патерике мы находим две версии создания Успенской Печерской церкви. Соединение сочинений инока Поликарпа и епископа Симона внешне как бы стирало их идейную и социальную направленность, но, вместе с тем, служило надежным прикрытием трудов Поликарпа. Касьяновская редакция, использовавшая архив Поликарпа и выделившая его в отдельный ряд, возникла в эпоху нового общественного подъема на территории Древней Руси и была тесно связана с «элементами» Возрождения, появившимися в русской литературе рассматриваемого периода.





М. Ф. Мурьянов

СТАРОСЛАВЯНСКИЕ МЕТАМОРФОЗЫ ЗАПАДНОГО АГИОЛОГИЧЕСКОГО СЮЖЕТА

Публикуя «Мучение св. Вита» из Успенского сборника XII/XIII в., А. И. Соболевский отметил, что греческая церковь «не знала и не знает св. Вита; напротив того, культ его издревле широко распространен в западной церкви, особенно в Италии и Германии».[1] Лингвистический анализ славянского «Мучения» привел ученого к заключению, что «данные в пользу латинского оригинала несравненно более вески, чем данные в пользу греческого», причем «переводчик, несомненно, не всегда понимал свой оригинал».[2]

А. И. Соболевский осуществил издание этого текста, считая, что «почти нет надежды на появление в печати»[3] всего Успенского сборника. Надежда стала в наше время реальностью, Успенский сборник издан Институтом русского языка АН СССР полностью.[4] Решение вопроса об иноязычных первоисточниках переводного памятника, обычно открывающее его публикацию, в данном случае искалось после его выхода в свет чешской слависткой Э. Благовой. Для рассматриваемого нами текста ею указано: «Мучения Вита, Модеста и Кресценции. Латинский текст начинается: In provincia Sycilia temporibus Dioclitiani et Antonini imperatorum multas virtutes operabatur in infantia sua beatissimus Vitus. Acta SS. Junii II, 1021 сл.», с поясняющей сноской: «Acta SS. Здесь и далее: Bollandus J. Acta Sanctorum <. . .> Ianuarii I — Novembris IV. Antverpen 1643—Brussel 1925».[5]

Это и есть источник, использовавшийся А. И. Соболевским, который отметил: «Латинский текст нам известен лишь по изданию его в Acta Sanctorum (под 15 июня). Церковнославянский перевод сделан с текста,

---

[1] *Соболевский А. И.* Мучение св. Вита в древнем церковнославянском переводе. — ИОРЯС АН. СПб., 1903, т. VIII, кн. 1, с. 278.

[2] Там же, с. 280.

[3] Там же, с. 278.

[4] Успенский сборник XII—XIII вв. / Под ред. С. И. Коткова. М., 1971 («Мучение св. Вита» см. на с. 220—229).

[5] *Благова Э.* Обзор греческих и латинских параллелей к Успенскому сборнику. — ИАН СЛЯ. М., 1973, т. XXXII, вып. 3, с. 272.

значительно отличающегося от изданного <. . .> впрочем, есть совпадения».[6] Рукописную традицию латинского текста незадолго до этого обследовали болландисты и пришли к выводу, что расхождения между списками необычно велики: «Plurima est in exemplaribus, quae bene multa vidimus, lectionum varietas».[7] Фактически это означало, что «латинский источник не идентифицирован; однако И. Вашица нашел в одном из пражских монастырей латинский текст XII в., явно соответствующий церковнославянской версии».[8] При будущих сопоставлениях придется считаться и с тем, что А. И. Соболевский допустил неточность в своей формулировке, согласно которой греческая церковь «не знала и не знает св. Вита». На самом деле архиепископ Сергий — на него при этом сделана ссылка — писал иное: «акты переведены на греческий язык», но «в греческих памятниках до нас дошедших память их (Вита, Модеста и Кресценции, — *М. М.*) не найдена доселе»; на другой странице ученый литургист, противореча самому себе, отметил наличие памяти св. Вита в трех греческих документах: Уставе XIII в. Гроттаферратского монастыря, месяцеслове при Евангелии 991 г. в Капуе и месяцеслове при Синайском Евангелии X в.[9] Теперь известен греческий текст «Мучения св. Вита», находится он в Cod. gr. 29 библиотеки Мессинского университета и Cod. Ottobon. gr. 1 Ватиканской библиотеки и начинается словами: Ἐν τῇ χώρᾳ Λουκανίας, ἐν τοῖς χρόνοις Διοκλητιανοῦ τοῦ βασιλέως, πολλὰς δυνάμεις ὁ μακάριος Βῖτος ἠργάζετο ἐν τῇ αὐτοῦ παιδότητι, φοβούμενος τὸν κύριον οὐρανοῦ καὶ γῆς· ἡμέρας δὲ καὶ νυκτὸς ἐδέετο τοῦ θεοῦ, ἐπιστρέφων ψυχὰς τῶν ἀπίστων καὶ ἐσχόλαζεν ἐν ἐλεημοσύναις εἴς τε χήρας καὶ ὀρφανούς. ἦν δὲ ἐκ γενους εὐγενοῦς.[10]

Наличие этого текста и латинской версии, превосходящей текст в Acta Sanctorum по степени близости к славянскому переводу, дает надежду на окончательное решение лингвистического вопроса о путях заимствования агиографии о св. Вите в славянский мир. Однако этим филологическая проблематика, связанная со св. Витом, не исчерпывается.

Сам по себе факт заимствования житийного текста, возникшего за пределами византийского мира, и включения его в некалендарный Успенский сборник никого не обязывал знать этот текст и не делал из св. Вита объект культа. Между тем старославянский культ Вита существовал, он засвидетельствован документами, обязывавшими воздавать этому латинскому святому культовые почести: календарями Архангельского Евангелия 1092 г.,[11] Остромирова Евангелия 1056/57 г.[12] — на 15 июня, календарем

---

[6] *Соболевский А. И.* Указ. соч., с. 280. — Интересующий нас том Acta Sanctorum вышел в 1698 г.

[7] Bibliotheca Hagiographica Latina. Bruxelles, 1901, t. 2, p. 1257—1258, n° 8712—8713.

[8] *Matějka L.* On translating from Latin into Church Slavonic. — American Contributions to the Sixth International Congress of Slavists. Preprint. The Hague, vol. 1, 1968, p. 25.

[9] *Архиепископ Сергий.* Полный месяцеслов Востока. Владимир, 1901, т. 2 (Заметки, с. 224; Месяцеслов, с. 181).

[10] Analecta Hymnica Graeca. Augusta Acconcia Longo collegit et instruxit. Roma, 1972, X, p. 73—74, 348.

[11] Архангельское Евангелие 1092 г. Издание Румянцевского музея. М., 1912, л. 165.

[12] *Востоков А. Х.* Остромирово Евангелие. СПб., 1843.

глаголического Ассеманиева Евангелия X/XI в.[13] — на 14 июня. Повсеместным этот порядок все же не был, св. Вит отсутствует в календаре Мстиславова Евангелия 1117 г.,[14] предназначенного для новгородского собора Благовещения на Городище — ктитореи князя Мстислава-Гаральда, сына Владимира Мономаха, а по матери приходившегося внуком последнему англосаксонскому королю Гаральду II,[15] что, казалось бы, благоприятствовало проникновению латинских имен в календари Киевской Руси. В данном случае верх взяли силы противодействия: в древнерусской письменности, кажется, не обнаруживается ни одного лица, нареченного при крещении Витом, в то время как в истории немецкого языка личное имя Wido «необычайно частое», ungemein häufig,[16] да и в романском мире Guido, Guy редкостью не являются. У южных славян возник даже невозможный в исходной латыни женский аналог к этому мужскому имени: Вид, Видо, Видојко м. р. — Вида, Видојка ж. р. Отмеченное А. И. Соболевским «некоторое значение Видова дня в сербской народной жизни»[17] не так уж мало: в христианстве нет другого случая, когда на основе личного имени святого можно построить такое высказывание: «У томе се зачео наш видовски дух, у томе се утеловила наша видовска религија<. . .> религија Видовског Духа, Видовског Света, Видовског Бога».[18] Почему, откуда это произошло?

Исходная точка — Иеронимов мартиролог, документ, составленный в середине V в. и дошедший до нас в галльской рецензии (ок. 600 г.), где на 15 июня читаем: In Lucania Viti.[19] Это значит, что 15 июня неизвестного года на территории южноитальянской провинции Лукания был казнен за принадлежность к христианам Вит, причисленный к лику мучеников. При папе Геласии I (492—496) состоялось посвящение св. Виту какого-то храма, а в конце VI в. папа Григорий I упоминает монастыри св. Вита в Сицилии и Сардинии.[20]

В 756 г. франкский монастырь Сен-Дени близ Парижа объявил себя обладателем мощей св. Вита. На языке средневековой символики это означало существенное возрастание авторитетности культа св. Вита, ведь святых имелось несметное число, а монастырь Сен-Дени был особо привилегированным — здесь находилась королевская усыпальница, его тогдашний настоятель Фульрад впоследствии был одним из приближенных

---

[13] Evangeliarium Assemani, codex glagoliticus Bibliothecae Vaticanae. Ed. J. Kurz. Praha, t. 2. 1955.

[14] *Билярский П. С.* Состав и месяцеслов Мстиславова списка Евангелия. — Изв. ОРЯС АН. СПб., 1861, т. X, с. 131.

[15] *Алексеев М. П.* Англосаксонская параллель к Поучению Владимира Мономаха. — ТОДРЛ. М.—Л., 1935, т. II, с. 39—80; *Мурьянов М. Ф.* Русско-византийские церковные противоречия в конце XI в. — В кн.: Феодальная Россия во всемирно-историческом процессе. М., 1972, с. 216—224.

[16] *Förstemann E.* Altdeutsches Namenbuch. Bonn, 1900, 1. Bd. Personennamen, S. 1563; Ergänzungsband, verfasst von H. Kaufmann. München, 1968, S. 397.

[17] *Соболевский А. И.* Указ. соч., с. 278.

[18] Речник српскохрватског књижевног и народног језика. Београд, 1962, кн. 2, с. 595.

[19] *Delehaye H.*, *Quentin H.* Commentarius perpetuus in Martyrologium Hieronymianum. Bruxelles, 1931, p. 319—320.

[20] Bibliotheca Sanctorum. Roma, 1969, t. XII, col. 1244—1246.

Карла Великого, стратегом церковной экспансии на Восток.[21] В ходе этой экспансии был основан вестфальский монастырь Корвай, куда в 836 г. Сен-Дени передал мощи св. Вита.[22] Корвай стал, благодаря широко применявшемуся принципу делимости реликвий, центром густой сети церквей, имеющих символическую частицу каролингской святыни; заметную роль это сыграло в становлении германской государственности, избравшей себе Вита в качестве патронального святого династии Оттонов.[23]

Уже в IX в. Корвай послал своих миссионеров на славянский Восток. Они прибыли на балтийский остров Рюген, к имевшему общеславянское значение Арконскому святилищу языческого бога Световита, имея с собой частицу мощей св. Вита.[24] Удар был рассчитан лингвистически очень точно: сходство этих имен существенно облегчило христианизацию западных и южных славян; реликты язычества вплоть до нового времени наблюдались этнографами в народном понимании культа св. Вита. В частности, чешские крестьяне придерживались обычая приносить в престольный праздник к пражскому собору св. Вита петуха — «в жертву»,[25] хотя жертвы такого рода в христианстве совершенно неуместны.

Давление Генриха I на остатки распавшейся Великоморавской державы привело к тому, что чешский князь Вячеслав в 929 г. без сопротивления признал себя германским вассалом и, приняв от Генриха I в дар частицу мощей св. Вита из Корвайского монастыря, заложил на этой основе в Праге храм-ротонду св. Вита, впоследствии разросшийся в кафедральный собор пражской епископии (первым пражским епископом стал в 967 г. Титмар Корвайский). Согласно церковному праву, сооружение храма невозможно без санкции местного епископа, который должен лично водрузить крест на месте, отведенном под строительство.[26] Вячеславу разрешение на строительство выдал регенсбургский епископ Туто.[27] Предполагают, что примерно в это же время в Прагу был доставлен из Регенсбурга латинский литургический документ, содержащий молитвословия на день св. Вита — сакраментарий второй половины VIII в.:

1. Da ecclesię tuę, domine quaesumus, ⟨sancto⟩ Uito intercedente superbe non sapere, sed tibi placita humilitate proficere, ut proterua despiciens, quaecumque [a]matura sunt, libera[tio] exerceat caritate[m].

2. SECRETA. Sicut gloriam diuinae potentię munera pro sanctis oblata testantur, sic nobis effectum, domine, tuę saluationis impenda⟨n⟩t.

---

21 *Prinz F.* Abriss der kirchlichen und monastischen Entwicklung des Frankenreiches bis zu Karl dem Grossen. — In: Karl der Grosse. Düsseldorf, 2. Bd, 1965.

22 *Wiesemeyer H.* La fondation de l'abbaye de Corvey à la lumière de la Translatio S. Viti. — In: Corbie, abbaye royale. Lille, 1963.

23 *Krüger K. H.* Dionysius und Vitus als frühottonische Königsheilige. Zu Widukind I, 33. — Frühmittelalterliche Studien. Berlin; New York, 1974, 8. Bd, S. 146—154.

24 *Moszyński L.* Świętowit. — Słownik starożytności słowiańskich. Wrocław, 1975, t. 5, s. 589—591.

25 *Sartori P.* Heiliger Veit. — In: Handwörterbuch des deutschen Aberglaubens. Berlin; Leipzig, 1937, 8. Bd, Sp. 1540.

26 *Vogel C.*, *Elze R.* Le Pontifical romano-germanique du dixième siècle. Città del Vaticano, 1963, t. I, p. 122.

27 *Bosl K.* Probleme der Missionierung des böhmisch-mährischen Herrschaftsraumes.— In: Siedlung und Verfassung Böhmens in der Frühzeit, hrsg. von F. Graus und H. Ludat. Wiesbaden, 1967, S. 120—122.

3. AD COMPLENDUM. Refecti, domine, benedictione solemni[a], quaesumus, ut per intercessionem sancti Uiti medicina[m] sacramenti et corporibus nostris prosit et mentibus.[28]

Возможно, именно с такого текста делался перевод для Киевских глаголических листков, если полная рукопись этого фрагментарно сохранившегося памятника славянской письменности IX/X в. включала день св. Вита. Однако опыты перевода на славянский язык латинского сакраментария, какими являются Киевские листки,[29] остались опытами,[30] общепринятое славянское богослужение отличается от латинского не только языком, но и всей структурой ритуалов и текстов. С 929 г., после закладки храма св. Вита в Праге, латинизация церковной жизни и разрушение кирилло-мефодиевской традиции в чешских землях шли полным ходом, через столетие остался единственный островок, где совершалось славянское богослужение — Сазавский монастырь, основанный в 1030-х гг., но и здесь имел место своеобразный православно-католический синкретизм, о котором можно судить по личности самого основателя Сазавской обители — славянина Прокопа, бородатого бенедиктинца.[31] Вит был ему не чужд — это имя носили его отец и племянник; сын Прокопа Эммерам получил свое имя в честь локального регенсбургского святого, епископа Эммерама (ум. в 652 г.). Необходимость иметь день св. Вита в сазавском календаре очевидна, службу дня нужно было совершать по славянскому распорядку, т. е. по служебной Минее. Славянские Минеи являются переводом греческих. В печатных греческих Минеях, сложившихся на основании авторитетной литургической практики Афона, службы св. Виту нет. В самое последнее время обнаружены две греческие службы св. Виту, по спискам не ранее XIII в.; представляют они традицию греческих монастырей южной Италии,[32] сазавским монахам XI в. вряд ли доступных. В этих условиях давно известный факт существования славянской службы св. Виту в русских Минеях XII в.[33] приобретает особое значение: служба эта, возможно, является не переводом с греческого, а оригинальным памятником славянской гимнографии, которому в силу этого должно быть отведено в истории славянских литератур место более значительное, чем переводному «Мучению св. Вита». Между тем «Мучение» публиковалось дважды, служба —

---

[28] Das Prager Sakramentar. II. Prolegomena und Textausgabe. Hg. von A. Dold in Verbindung mit L. Eizenhöfer. Beuron, 1949, S. 83*; Ср.: Konkordanztabellen zu den römischen Sakramentarien. II. Liber Sacramentorum Romanae Aeclesiae (Cod. Vatican. Regin. lat. 316). Dargeboten von P. Siffrin. Roma, 1959, S. 110—111.

[29] О них см.: *Мурьянов М. Ф.* Поэтика старославянизмов. — В кн.: Сравнительное изучение литератур. Сборник статей к 80-летию академика М. П. Алексеева. Л., 1976, с. 14.

[30] Ср.: *Vajs J.* Hlaholský zlomek nalezený v Augustinianském klášteře v Praze. — Časopis Českého Musea. Praha, 1901, 75, s. 21—35 (опыт другого рода — глаголический фрагмент XIV в., со службой св. Виту, либо переписанный хорватом в Праге, либо доставленный сюда из Хорватии. — см.: *Matějka L.*, Op. cit., p. 24—25).

[31] *Kadlec J.* Svatý Prokop. Roma, 1968.

[32] *Minisci T.* Innologia greca per S. Vito Martire. — Studi Bizantini e Neoellenici. Roma, 1957, t. 9. p. 309—316; Analecta Hymnica Graeca. Roma, 1972, X, p. 73—85, 347—348.

[33] Описание славянских рукописей Московской синодальной библиотеки. Отдел III. Книги богослужебные. М., 1917, ч. 2, с. 68.

ни разу. Вот ее текст, по Минее ГИМ (Син. 167; седален и стихиры — лл. 99-101, канон — лл. 118-122) с разночтениями по Минее ГПБ (Соф. 206; седален и стихиры — лл. 49об-51, канон — лл. 59-60об):

Седален второго гласа. Подобен: точениемь кр[34]

Кроплениемь кръве твоея Вите
напоивъши ся цркы
юже ти дасть истока непрѣсоушима
напаяющаго вьселеноую цѣльбами
тобою хвалящая ся

Стихиры восьмого гласа. Подобен: ѡ прѣславьно

Святителю славьне
ты исповѣда Хрьста
съ Модестомь и Крьстяницею
и на оуды прѣдасте ся
и въ вьроуціи конъбѣ
Диѡклитияна и Антонина посрамисте
и непрьязнь до коньца попьрасте
тѣмь нынѣ веселяще ся
на небеси
молите за ны
бога вьсѣхъ
творьца и господа

Како ны ся не дивити
моукамъ твоимъ славьне
яже подъя ѡтъ неправьдьнъ моучитель
въ тьмьницю
въсадиша тя яко Петра
и желѣза же възложиша на тя
и львы же поустиша на тя
яко на Данила пророка
съ ними же
моли нынѣ
да съпасеть доуша наша
из бѣдъ вьсѣхъ

Врачь посъланъ бывъ ѡтъ бога
семи лѣтъ Вите
въ семь вѣкъ чюдо творя
тѣмь память твою поминаемъ
и къ гробоу твоемоу прибѣгаемъ
милости хотяще оу тебе
избьранъ страстотьрпьче

[34] Разночтения Соф: *надписание седальна* течениемь 1 *колон перед* Вите 2 ся 3 непресоушима 4 вселеноую · цѣлбами 5 хваляцимъ ся *надписание стихир* о преславьно 6—7 *нет колона* 8 Крьстяницею 9 предасте ся 10 вьруціи коновѣ 11 Диоклитияна · и Антониана 12 неприязнь 13 ныня въселяще ся 14—15 на нбсе молите 16—17 ба всѣхъ творца · и га 18 ся 19 славне 21—22 *нет колона;* въсядиша тя 23 тя 24 тя 25 на *опущено* 26—27 *нет колона;* ныня 28 да спсет ся 29 всѣхъ 30 посъланъ бъ ѿ ба 31 ·з·лѣтъ Вите 32 творя 33 памя[т] 35 хотя 37—38 *нет колона*

оу Хрьста бога
принмъ даръ
39 ицѣлити доуша наша.
Принмъ хвалоу свѧтыи Вите
отъ оустъ ницѣ
42 и дѣлъмь добръмь
оу бога штъданиѥ
подажь грѣхомъ нашимъ
45 ицѣлѧꙗ же недоугы наша плътьскыꙗ
избавлꙗѧ ны штъ вьсꙗкоꙗ напасти
ѧко страньнолюбьць
48 примн ны
страстьныꙗ
и съпаси доуша наша.

Этим в обеих Минеях исчерпывается содержание службы св. Виту на 15 июня. Канон же, восьмого гласа, помещен в конце службы следующего дня. Так делить службу одному и тому же празднику в Минеях не принято; при систематизации гимнографического материала византолог Э. Фоллиери, столкнувшись с фактом приурочения гимнов св. Виту в одном из греческих документов к 16 июня, сочла это недосмотром, ошибкой: perperam Iun. 16.[35] Каталог московского Синодального собрания рукописей объяснил включение канона св. Виту в службу 16 июня иначе: «он помещен здесь как оставшийся от предшествующего числа, в которое и без того уже положено два канона».[36] В самом деле, достигнута удобная равномерность, на оба соседних дня при таком расположении приходится по два минейных канона: на 15 июня — Феодору Сикеоту и апостолу Фортунату, на 16 июня — Тихону Амафунтскому и Виту. Однако такие вольности в перестановках сакрального времени, приобретение удобств путем нарушения календаря, причем именно за счет гимнов св. Виту,— верный признак начавшегося вытеснения его культа. В Остромировом и Архангельском Евангелиях, где на 15 июня значится только св. Вит, а 16 июня вообще пусто, роль этой службы выглядит более внушительной. Итак, канон: [37]

Песнь 1. Ирмос: водоу про

Безбожиꙗ разори льщениꙗ
безаконьна родителꙗ сила сиꙗ
3 свѣтъмь съвыше просвѣщаѥмъ
ꙗко агнѧ на заколениѥ водимъ

Съсоудъ избьранъ шбрѣте сꙗ
6 семи лѣтъ сы прѣблажене
въ семыи вѣкъ истачаꙗ
ицѣлениѥ страстьми своими

9 Жьртвы ради дѣмоньскыѧ
проповѣдаꙗ благовѣрьно
ѥдиньство божьства въ троици
12 славити и хвалити трьсвѧтыими гласы

41 ницѣ 42—44 *образуют двустишие*: и дѣлъмь добръмь оу б҃а·ѿданиѥ подажъ грѣхомъ нашимъ 45 ицѣлꙗꙗ 46 избавлѧꙗи·ѿ всѧкоꙗ 47 ꙗко 48—49 *нет колона.*

[35] *Follieri H.* Initia hymnorum Ecclesiae graecae. Città del Vaticano, 1966, vol. V, 2. Index hagiographico-liturgicus, p. 61.

[36] Описание славянских рукописей. . ., с. 68.

[37] *Ирмос*: водоу прошьд 1 Безбожьꙗ разори льщениꙗ безаконьна 2 родителѧ 5 обрѣте сѧ 6 преб҃лжне 7—8 вѣкъ · истачаꙗ ицѣлениѥ 9 Жьтвы; дѣмоньскыꙗ 12 *после* хвалити *колон*

Чини тꙗ ангельстии и чловѣчьстии
безневѣстьнаꙗ мати хвалѧть присно
зижителꙗ бо ихъ ꙗко младѧ
на роукоу своѥю понесла ѥси

Песнь 3. Ирмос: ты ѥси оутвьрж

Славоу и богатьство
житиискоую прѣзьрѣвъ
въсприꙗтъ
вѣньць похвалѣ
прѣхвальне мѫчениче Вите

Гърдость низъложи
богопротивьнааго моучителꙗ
прѣславьне
неприꙗзниньскыꙗ
пълкы попьравъ вѣрою

Чюдесы испълнѧꙗ
вьсю вьселеноую прѣкрасьне
и дѣломъ
пользоу подаюши
просѧщиимъ вѣрою

Тебе вьси имамъ
прибѣжище и стѣноу нашю
крьстьꙗнии
и тѧ славлꙗѥмъ
немолчьно безневѣстьнаꙗ

Песнь 4. Ирмос: ꙋслышахъ г͞и съ

Ꙗрости испълнь сꙗ
неправьдьныи цьсарь възъкы глаголѧ
принеси жьртвоу
богомъ моимъ
и покланѧѧ сꙗ
послоужи имъ

Не стыдиши ли сꙗ беззаконьныи моучителю
таковаꙗ издрицаꙗ
азъ бо тѣломъ бездоушьнымъ не слоужю
ни покланꙗю сꙗ твари
въ творьца мѣсто

Не льсти себе цьсарю
нъ послоушаи мене и разоумѣи
творьца небоу и земли
и вьсѣи твари
съпасителꙗ

---

13 тѧ; *перед* и *колон* 15 зиждителѧ бо ихъ·ꙗко; *после* младѧ *нет колона* *Ирмос*: ты ѥси оутвьр 18 презьрѣвъ 19—20 *нет колона* 21 преславьне 23 б͞опротивьнаго 23—24 *нет колона*; преславьне 25—26 *нет колона*; неприꙗзниньскыꙗ 27 Чоудесы 28 всю вселеноую прекрасне 29—30 *нет колона*; дѣломь 32 вси 33—34 *нет колона*; наши крьстьꙗни 35 и *опущено*; славлꙗѥмъ 36 немълчьно *Ирмос*: оуслышахъ г͞и смо 37 испълни сѧ 38 *после* ц͞рь *колон* 39—40 *нет колона* 41—42 *нет колона*; сѧ послоужи 43 сѧ 45 безд͞шьнымъ не слоужоу 46 покланѧю сѧ 49 *после* мене *колон*, *после* разоумѣи *нет колона* 51 всеи

Сына своѥго и господа
прѣчистаꙗ оумоли съпасти стадо своѥ
шть напаст^{и} и сътоуженiꙗ
и вьсѧкого врѣда
противьнааго

Песнь 5. Ирмос: просвѣти насъ

Поуть шьствоуꙗ
съ мъноѭ господи на мѹченiꙗ ми
и подажь ми крѣпостие
и тьрпѣниѥ
на тѧ бо оупованиѥ своѥ възлагаю

Оумоврѣдьныи
моучитель изрече глаголꙗ
растѧгнѣте и глаголюще
принеси жьртвоу и пожьри имъ

Свѧтыи Витъ
штъвѣща ѥмоу глаголѧ
азъ принести имамъ жьртвоу
и тѣло избавителю ми
и съпасоу Исоусѹ Хрьстѹ

Помоли сꙗ выиноу
сыноу своѥмоу и богѹ нашемоу
браконенскоусьнаꙗ Мариѥ чистаꙗ
посълати намъ вѣрьнымъ велию милость

Песнь 6. Ирмос: молитвоу си про

Мьнѧщю сꙗ моучителю моуками
различьными оустрашити
вьсѣмъ именѹющимъ
имѧ Хрьстово свѧтыи же Витъ
съ Модестомь и Крьстѧницею съ радостию
телеса своꙗ на моукы прѣдаꙗахоу
испълнѧюми благодатию Хрьстовою

Прѣзьрѧще моученици свѧтии моучениꙗ
пороугаша дьꙗвола не рожьше ѡ огни
ни ѡ львѣхъ ни ѡ различьныихъ моукахъ
вѣрою оукрашаюми
веселѧще сѧ поꙗахоу
владыко приими въ миръ доуша наша

---

54 *после* оумоли *колон* 55 тоуженiꙗ 56—57 и всѧкого вреда противьнаго 58 шьствоуꙗ съ мною 59 моучениꙗ 60—61 *нет колона*; крѣпость 63 Оумовредьныи мчтль 64 издрече 68 глꙗ 67—68 *нет колона* 71 Ісу 72—73 *нет колона*; сѧ въиноу 74 браконенскоусьна Мриѥ чиста 75 послати намъ вѣрьнымъ *Ирмос*: млтвоу си пролью 76 Мьнѧщоу сѧ 77 мкамн различными 78 всѣмъ именоующимъ имѧ Хво 79 *после* Витъ *нет колона* 80 съ съ Модестъмъ 81 съ радостию тѣлеса; предаꙗхоу 82 испълнꙗюми блгдтью 83 Презьрѧще 84 *перед* не *колон*; ѡ] о 85 о различьныхъ

Велѣнию бестоудьноу повелѣноу
Диоклитиıанъмь моучителмь на моучению
свѧтымъ конъвъ възварити
съ смолою и шловъмь непьцюѫ
въ томь коньчати сıа имъ
не вѣдыи бестоудьныи свою нємощи

Непрѣстаи ѡ насъ молıащи
прѣчистаıа богородице дѣво ıако вѣрьнымъ
оутвьржению ты ıеси
и надежею твоıею крѣпимъ сıа
тѣмь же тıа и ис тебе
въплъщенааго бога прославлıаıемъ

Песнь 7. Ирмос: иже ѿ Июдѣѧ

Гнѣвъмь ѡдьржимъ
бестоудьныи мѹчитель
желѣза въскладаıеть
на выıа свѧтымъ
въпиющиимъ вѣрьно
ѡтьць нашихъ боже бл

Избавлии ѡтрокы
ис пеци огньныѧ
въ Вавилонѣ дрѣвле
избави нынѣ из д роукы
бестоудьнааго цьсарıа въпиющıа
ѡтьць нашиχ

Трьбезначальноу свѣтоу
трьсъставьныи тѣломь
жьртвоу приношаахоу
львомъ прѣдаıеми
ѡгнѧ же избывъше вѣрою поıахоу
ѡтьць нашиχ

Из дѣвичьскъ ложьснъ
въплъщь сıа ıави сıа
на съпасению наше
тѣмь же матерь твою
видѣвъше правовѣрьно въпиıемъ
ѡтьць нашихъ бож

---

90 повелѣноу Диоклитианомь 91 на мчнию стымъ коновъ 92 оловъмь 93 непьцюоутıа въ томь коньчати сѧ 95 Непрестан о насъ молѧщи прчстаıа бце дво· 96 ıако вѣрьнымъ оутвьржению ты ıеси 98 сѧ 99 тѣмь же тѧ ис 100 въплъщенаго *Ирмос:* иже ѿ Июдѣа до 101—102 *нет колона;* одьржимъ бестоудьны 103—104 *нет колона;* стымъ 105 въпиющимъ вѣрно 106 оць 107—108 *нет колона;* Избавль и отрокы; огньныıа 109 древлю 110—111 *нет колона;* бестоудьнаго црѧ въпиюще 112 оць 113 Трьбезначалноу 114 тѣлъмь 115 приношахоу 116 предаıемъ 117 огнѧ; *перед* вѣрою *колон* 118 оць наши 119 Двчскы из ложеснъ 120—121 *нет колона;* сѧ ıави сѧ 122 твою видѣвъше 123 правовѣрно 124 оць наши

Песнь 8. Ирмос: седмь седмицею

Седми лѣтъ сыи Вите
прѣславьныи моученичe
въ семыи вѣкъ чюдомъ источьникъ ѡбрѣте сꙗ
силою бо съ высоты
благоволениѥ примъ
творьцю избавителю въпиꙗше
дѣти бла

Оудиви вьсю вьселеноую
твоѥ житиѥ моученичe
прѣславьныи Вите оугодьнице Хрьстовъ
моуками бо моучимъ
ꙗко бесплътьнъ търпꙗше
творьцю и избавителю въпиꙗше прѣдаꙗ свою доушю
дѣти благословите свꙗщ

Помощьникъ крѣпъкъ
напастьнымъ ѡбрѣте сꙗ
и ѡдьржимымъ страстьми
и различьными недоугы
силою бо съ высоты
прѣсвꙗтаго доуха примъ
ѡбило даꙗши ицѣлениꙗ вѣрою поющимъ
дѣти благословите

Трьсвѣтьлоѥ божьство
въ ѥдиной соущи зари
изъ ѥдиного трисъставьна ѥстьства
родителꙗ безначальна
равьноѥстьствьно слово ѡтьцю
цьсарьствоующь ѥдиносоущьнъ доухъ
дѣти бл

Песнь 9. Ирмос: въ истиноу бог

Велию дароу ты съподоби сꙗ славьне
и вьсю просвѣти вьселеноую
ицѣлениѥ вьсѣмъ ѡбило подаваꙗ

Къто исповѣсть твоꙗ чюдеса славьне
ꙗже твориши въ мирѣ бещисла
вьсѣмъ подаꙗ ѡбило ицѣлениѥ

Простьри съ высоты твоꙗ милости блажене
творꙗщимъ вѣрьно памꙗть твою
да непрѣстаньно тꙗ величаѥмъ

Ирмос: се^{д}мь седмице 125 сы 126 преславьныи мчнче Вите 127 в; обрѣте сѧ 129 благоволѥниѥ 130 въпиꙗше 131 блте 132 всу вселѥноую твоѥ житиѥ 133 мчнче преславныи Вите 134 оугодьниче 136 ꙗко; търпѧше 137 и *опущено*, въпиꙗше *опущено*; предаꙗ; дшоу 138 ѥго же дѣт блте 140 напастьнымъ обрѣте сѧ 141 одьржимымъ 142 и *опущено* 145 обило; поющимъ 148 въ ѥдинѣи соущи 149 зарю ѥдиного 150 роди^{те}лѧ 151 оцю 152 *после* црствоующъ *колон;* ѥдиносоущънъ *Ирмос:* въ истиноу бцю 154 Белью; сѧ 155 всю; вселѥноую 156 ицѣлѥниꙗ всѣмъ обило 157 Кто; чоудеса 159 всѣмъ подаꙗ обило ицѣлѥниꙗ 161 творѧщимъ вѣрно 162 непрестаньно тѧ 163 *перед* съ *колон* 164 съхраниꙗ

Ликоуꙗ на небеси съ бесплотьными силами
твоꙗ пѣвьца съхраньи
165 вѣрьно творꙗщаꙗ прѣчьстьноую ти памꙗть

Съдѣла неиздреченьно владыко съпасе
обоюдоу ѡбѣма си юстьствома
168 самовластьною волею съпасениѥ наше

Таков текст славянской службы св. Виту, отвечающий всем формальным требованиям византийской литургики. Для полноты картины недостает, пожалуй, только кондака, полагающегося видному празднику. Греческий кондак св. Виту существует,[38] но, конечно, был большой редкостью и составителю славянской службы остался неизвестным. Он нашел остроумный выход из положения, назначив своему седальну в качестве музыкального эталона кондакарную мелодию — в одной и той же строфе тем самым соединились качества и седальна, и кондака. Об этом говорит лаконичное надписание к седальну: под·точениѥмь кр., то есть подобен по мелодии гимну, начинающемуся словами точениѥмь кр. Как правило, подобие назначается между гимнами одного и того же жанра: седальны бывают подобны седальнам, стихиры — стихирам, кондаки — кондакам, икосы — икосам. Седальна, начинающегося словами точениѥмь кр·, не существует, речь идет о кондаке св. Димитрию Солунскому, с зачалом

Τοῖς τῶν αἱμάτων σου ῥείθροις, Δημήτριε
τὴν ἐκκλησίαν Θεὸς ἐπορφύρωσεν

Это — предполагаемое творение Романа Сладкопевца (VI в.), лучшего из кондакарных пиитов. Критический текст старославянского перевода не имеет разночтений, сходных с нашим вариантом: Кръвии твоихъ стрѹями, Димитриѥ, цьркъвь богъ обагри.[39] Можно было бы сомневаться в правильности отождествления, но она подтверждается аналогией, этот же кондак служит мелодическим эталоном для седальна в греческой службе мученикам Иакову и Азе, сохранившейся в парижской рукописи XI в.[40]

Что же касается мелодического эталона для стихир, обозначенного зачалом ѡ прѣславьно, то он — не из редких и за одну лишь первую четверть годового круга в новгородских Минеях 1095—1097 гг. встречается 23 раза. И. В. Ягичем указано греческое соответствие зачалу — Ὢ τοῦ παραδόξου θαύματος,[41] но это не решает вопроса о том, каков же

---

165 вѣрно творꙗщаꙗ 167 обѣма 168 съпасениѥ наше] спсе нашъ.

[38] Он опубликован по римской рукописи XI в. (Cod. Corsinianus 366): *Pitra J. B.* Analecta sacra spicilegio Solesmensi parata. Paris, 1876, t. 1, p. 582; впоследствии обнаружено его наличие и в венской рукописи XII в. (Nationalbibliothek, Cod. Suppl. gr. 96): *Grosdidier de Matons J.* Romanos le Mélode et les origines de l'hymnographie byzantine. Lille, 1974, p. 177.

[39] Der altrussische Kondakar. Hrsg. von A. Dostál und H. Rothe, unter Mitarbeit von E. Trapp. Giessen, 1977, 3. Bd, S. 130—131.

[40] Analecta Hymnica Graeca. C. Nikas collegit et instruxit. Roma, 1970, VIII. Canones aprilis, p. 215.

[41] *Ягич И. В.* Служебные Минеи. СПб., 1886, с. 522, 530 и др.

эталон, ведь словами Ὦ τοῦ παραδόξου θαύματος начинаются 84 разных гимна![42] Решение дала Э. Фоллиери — ее каталог зачал построен так, что тотчас определяется искомое — ставрофеотокион Ὦ τοῦ παραδόξου θαύματος! ὢ μυστηρίου καινοῦ! ὢ φρικτῆς ἐγχειρήσεως![43]

Ирмосы канона принадлежат к числу изданных Э. Кошмидером, параллельно с греческим оригиналом и музыкальной нотацией славянского и греческого текстов,[44] впоследствии к этому добавилось издание древнегрузинского перевода.[45] Автор первого ирмоса — Иоанн Дамаскин, шести других — Иоанн мних, который, возможно, является тем же Иоанном Дамаскиным. Ирмос четвертой песни — творение Космы мниха.[46] Ирмос шестой песни примечателен тем, что для него известен сирийский текст с музыкальной нотацией.[47]

Известны греческие оригиналы феотокионов, завершающих первую, третью, пятую, шестую и седьмую песни канона.[48] Это, впрочем, ничего не меняет в постановке вопроса об оригинальности самого канона: феотокионы столь же универсальны, как и ирмосы, и обычно брались готовыми из уже имеющегося репертуара.

В каноне св. Виту примечательна композиционная особенность — диалогическая форма изложения. На необычную роль диалога в гимнографии обратил внимание М. П. Алексеев в своих проницательных суждениях о благовещенской службе, где в уста персонажей вкладываются слова, отсутствующие в евангельском повествовании об этом же событии.[49] М. П. Алексеев по справедливости высоко оценил психологическую достоверность художественного изображения в диалогах благовещенской службы. В нашем случае на первый взгляд напрашивается противоположная оценка искусства диалога в каноне св. Виту: в уста семилетнего ребенка вкладываются слова, показывающие полную неспособность гимнографа справиться с возрастной дифференциацией прямой речи. Торопиться с отрицательной оценкой его умения все же не следует. Вспомним, что в рождественских гимнах Романа Сладкопевца, наиболее авторитетного византийского пиита, имеют место диалоги между Христом и Марией, где в уста новорожденного богомладенца вкладываются ученые рассуждения на богословские темы.[50] В Евангелии ничего похожего нет, но это не влекло за собой обвинений Романа в нехудожественности или в ереси. Диалогизация художественного текста — самое эффективное

---

[42] *Follieri H.* Initia hymnorum Ecclesiae graecae. Città del Vaticano, 1966, vol. V, 1, p. 235—236.

[43] Μηναῖα τοῦ ὅλου ἐνιατοῦ, I. Ἐν Ῥώμῃ, 1888, c. 314.

[44] *Koschmieder E.* Die ältesten Novgoroder Hirmologien-Fragmente. 1. Lfg. München, 1952, S. 252, 264, 270, 276, 282, 288, 296, 306.

[45] *Метревели Е. П.* Две древние редакции грузинского Ирмология (по рукописям X—XI вв.). Тбилиси, 1971, № 333, 349, 352, 360, 366, 378, 385, 401.

[46] *Eustratiades S.* Εἱρμολόγιον. Chennevières-sur-Marne, 1932, n° 314, 315, 321, 322.

[47] *Métrévéli H.*, *Outtier B.* Contribution à l'histoire de l'Hirmologion. — Le Muséon. Louvain, 1975, t. 88, p. 358.

[48] Analecta Hymnica Graeca. Roma, 1978, XI, p. 405—414; *Follieri H.* Op. cit., t. 3, p. 286; *Ягич И. В.* Указ. соч., с. 141.

[49] *Алексеев М. П.* Пушкин. Л., 1972, с. 320.

[50] *Romanos le Mélode.* Hymnes. Introduction, texte critique, traduction et notes par J. Grosdidier de Matons. Paris, 1965, t. 2.

средство сделать сюжет захватывающе живым, создать у слушающих иллюзию сопереживания, причастности к развертывающейся мистерии.[51] Набором цитат из Евангелия создать такой диалог невозможно, нужен вымысел, причем не беспредельный, сдерживаемый чувством меры. Писаных законов о границах допустимого вымысла не существовало, как нет их и поныне для прямой речи, когда драматург строит диалог в пьесе на историческую тему.[52]

---

[51] *Lüthi M.* Dialog. — In: Enzyklopädie des Märchens. Berlin; New York, 1980, 3. Bd, Sp. 585—590.

[52] Ср.: *Matějka L.* St. Veit, der Patron Böhmens, im ältesten kirchenslavischen Schrifttum. — Annales Instituti Slavici. Wien; Köln; Graz, 1974, t. 8, S. 42—49.





Г. М. Прохоров

ГРЕЧЕСКИЕ ЭПИГРАММЫ В СЛАВЯНСКОМ ПЕРЕВОДЕ XIV в. И В РУССКОЙ РУКОПИСНОЙ ТРАДИЦИИ

В корпусе сочинений, надписываемых именем Дионисия Ареопагита, переведенном в XIV в. с греческого языка на славянский сербским старцем Исайей, перед некоторыми из трактатов находятся своего рода эпиграфы. Два из них помещаются перед начинающей корпус книгой «О небесной иерархии», третий — перед книгой «О церковной иерархии» и четвертый — перед книгой «О мистическом богословии». Поскольку в них упоминается Дионисий, ему они принадлежать не могут. Могут — кому-то из авторов, вместе с комментариями которых этот корпус существует в рукописях на греческом языке и был переведен на славянский. В известном издании Дионисьева корпуса и Максимовых к нему комментариев (в греческой Патрологии Миня) тексты, о которых здесь речь, напечатаны не все, без первого, см.: PG, t. III, col. 116—117.

1. Первый из них назван «Гранословїа о книзѣ святаго Дїонѵсїа». Слово «гранословиа» означает «стихи». Воспроизвожу этот текст по его старейшему списку — ГИМ, Воскресенское собр., № 75, л. 8—8 об. — сербскому по орфографии, афонскому по происхождению, конца XIV—начала XV в., вместе со свойственными этой рукописи знаками препинания, «запятыми» и «точками»:

> Ѿт великаго Дїонѵсиа сло́вь,
> не убо кто ѡбрѣщеть кни́гу скупѣйшу.
> всако праведнѣ ни же высо́чайшую.
> аще сия высо́ка, сре́бро и порфїра.

Греческий оригинал этих стихов, отсутствующий в хранящихся в СССР греческих списках Дионисия Ареопагита (рукописи ГИМ, Синод. гр. № 35/109, IX в.; 36/110, XI в.; 268/111, XI в.; 215/112, XVI в.), обнаруживается в двух афонских греческих рукописях — из собрания Дионисиата, № 261 (по общему каталогу Ламброса — № 3795), XIII в., л. 13 об., и Пантелеймонова монастыря, № 126 (по Ламбросу — № 5632), XIV в., л. 5: [1]

[1] Предпринял по моей просьбе поиски этого греческого стихотворения и нашел его только в двух указанных афонских рукописях О. В. Гролимунд, за что я выражаю ему здесь сердечную признательность.

Τῶν τοῦ μεγίστου Διονυσίου λόγων
οὐκ ἄν τις εὕρῃ [2] βίβλον ἀκριβεστέραν,
οὐκοῦν δικαίως, οὐδὲ κομπωδεστέραν,
εἰ ταῦτα κόμπος, ἄργυρος καὶ πορφύρα.

Смысл этого стихотворения с соблюдением его стихотворного размера, шестистопных ямбов, можно передать следующим образом:

Трактатов Дионисия великого
едва ли кто точнее сыщет рукопись,
конечно нет, ни более роскошную,
коль это роскошь — серебро на пурпуре.

Я написал «великого» вместо «величайшего» (как в оригинале) с оглядкой на славянский перевод; «рукопись» вместо «книгу» — чтобы показать, что речь идет о конкретном кодексе, можно было бы написать «список»; «серебро *на* пурпуре» — переводческая вольность (в оригинале: «серебро и пурпур»), оправданная тем, что имеются в виду окрашенный в пурпурный цвет пергамен и серебряные чернила — материалы какого-то протографического для этих рукописей списка, которому и было посвящено стихотворение.

Зная оригинал, мы теперь можем заметить, что знаки препинания в славянском переводе точно соответствуют местам окончания греческих стихов. Количество слогов между знаками [3] оказывается при этом тем же, что в стихах оригинала, — 12. Лишь в последнем случае здесь 13 слогов, но как раз здесь происходит встреча двух гласных звуков: «сребро‿и». Ясно, что переводчик рассчитывал на элизию, выпадение одного из двух встречающихся гласных звуков. Итак, перевод мы должны признать «гранословным», стихотворным, представляющим ничуть не меньшую возможность прочтения его в размере шестистопного ямба, чем его греческий оригинал (прочтения, разумеется, с интонационным, а не долготным выделением второго в стопе слога, причем это выделение и там и тут то и дело расходится с грамматическим ударением).

Второе и четвертое из занимающих нас небольших произведений названы в переводе «надписаниями», третье названия не имеет. Для этих трех отыскиваются в Патрологии Миня и в рукописях греческие оригиналы. Сравнение с ними показывает, что и в этих случаях перед нами переводы эпиграмм в старом, античном смысле слова, т. е. небольших произведений в стихах. Само слово «надписание» оказывается переводом-калькой греческого слова ἐπίγραμμα.

[2] В рукописи Пантелеймонова монастыря εὕροι. Вся эпиграмма в этом списке, отмечает в своем письме ко мне О. В. Гролимунд, приписана другим почерком.

[3] Слоги считаю без редуцированных, которые к XIV в. в слабой позиции слогообразующими уже быть не могли, за исключением писавшегося в сербских рукописях через «ерь» или через два «еря» (для обозначения долготы) окончания существительных в родительном падеже множественного числа, звучавшего в сербском языке как «а». За консультацию в этом вопросе благодарю В. М. Загребина. В занимающем нас переводе такое окончание в слове «словь» в первом стихе; читать его, стало быть, надо как «слова».

Набор и текст этих эпиграмм в виденных мною греческих списках не всегда одинаков. Но во всех этих случаях они представляют собой по размеру гекзаметрические двустишия.

Далее я воспроизвожу здесь эти эпиграммы и их славянские переводы. Первые две беру из списка ГИМ, Синод. гр., № 35/109, IX в., л. 10 об. и 101 об., а третью, отсутствующую в этом списке, из рукописи ГИМ, Синод. гр., № 268/111, XI в., л. 172 об. Из «надписаний» же первое даю по уже цитированной рукописи ГИМ, Воскресенское собр., № 75, л. 8 об., а второе и третье — по самому старому славянскому списку сочинений Дионисия Ареопагита, начала 70-х гг. XIV в., представляющему собой, возможно, автограф старца-переводчика Исайи, во всяком случае первое издание в свет его перевода, — ГПБ, собр. А. Ф. Гильфердинга, № 46, л. 214 и 289 об. Начало этой рукописи отсутствует, потому в ней нет ни «гранословий», ни первого из «надписаний».

За помощь в анализе приводимых ниже текстов я от души благодарю Н. А. Мещерского, А. Съяльма, А. И. Зайцева, В. М. Загребина.

2. Ἐπίγραμμα εἰς τὸν μακάριον Διονύσιον, «Περὶ τῆς οὐρανίου ἱεραρχίας».[4]

Ἀγγελικῆς σοφίης[5] ἀμαρύγματα πολλὰ κιχήσας,
ἀνθρώποις ἀνέφηνας ἰδεῖν νοοσύνθετον ἄστρον.

Первый из этих стихов состоит из пяти стоп дактиля и шестой, как это и положено в гекзаметре, спондея; во второй спондей — также и в первой стопе (от этого во втором стихе не 17, а 16 слогов). Схематически это двустишие можно представить так:

— ∪ ∪ / — ∪ ∪ / — // ∪ ∪ / — ∪ ∪ / — ∪ ∪ / — —
— —   / — ∪ ∪ / — ∪ // ∪ / — ∪ ∪ / — ∪ ∪ / — —

Перевести же его по смыслу, но и с соблюдением размера, можно, мне кажется, следующим образом:

Ангельской высшей премудрости свет многократный постигнув,
Ты научил людей зреть из ума состоящее солнце.

Перевод старца Исайи таков (сохраняю и здесь пунктуацию списка, отмечающую деление на строки и одну цезуру):

Надписание вь блаженнаго Дионѵ́сїа

Агг҇льскꙑе прѣмудро́сти, свѣтлости мнѡ́гꙑе разумѣвь.
чл҇вкѡмь явиль еси видѣти умосьставную звѣзду.

Если слово агг҇льскые читать как аггельские, а слово чл҇вкѡмь как чловѣкѡмь, по-сербски,[6] то в каждой строке здесь окажется по 17 слогов, что соответствует нормальному гекзаметру с пятью дактилическими сто-

[4] ГИМ, Синод. гр., № 36/110, XI в., л. 2: Ἐπίγραμμα εἰς τὸν ἅγιον Διονύσιον.

[5] Там же: Ἀγγελικῶν γραφίδων.

[6] Как указал мне В. М. Загребин, в другой сербской рукописи примерно того же времени (ГПБ, Собр. Гильфердинга, № 84, Сочинения Иоанна Дамаскина, л. 24 об.) находится полное написание «чловѣчьсци».

пами и шестой спондея. Применяя здесь знаки долготы и краткости уже как знаки возможно-поэтически-ударного и возможно-поэтически-безударного слога, получаем такую схему:

Аггельскы/е прѣмуд /рости // свѣт/лости мно/гые ра/зумѣвь,
— ◡ ◡ /— ◡ ◡ /— ◡ // ◡ / — ◡ ◡ /— ◡ ◡/ — —
чловѣкѡмь / явиль е/си // видѣ/ти умось/ставную / звѣзду.
— ◡ ◡ / — ◡ ◡ /— // ◡ ◡ / — ◡ ◡ / — ◡ ◡ / — —

3. Ἐπίγραμμα εἰς τὸν μακάριον Διονύσιον.[7]

Σύμβολα θεσπεσίων ἱερῶν ἑνοειδεῖ μύθῳ
εἰς ἑνικὴν ἀνέλυσας ἑνὸς φάεος μίαν αἴγλην.

Схема этих стихов обычная гекзаметрическая, в каждом из них по 17 слогов (спондеи только в последних стопах).

Перевод на современный язык:

Символы божьих святынь воедино спаянным словом
Ты как один уникальный раскрыл блеск единого света.

Перевод старца Исайи (разделительный знак, «запятую», ставлю опять в согласии со списком):

ѽбразе бж҃ствныих свщ҃енникь единовидныимь словомь,
вь единьнѣ сказаль еси единаго свѣта единой зарѣ.

Учитывая, что «ыи» в сербском языке надо было читать как долгое «и», а «ьь» наподобие долгого «а»[8] и раскрывая слова под титлами как б*оже*ствныих и священникьь, получаем в первой строке 17 слогов:

ѽбразе / божествныих / священни/кьь // еди/новиднымь / словомь
— ◡ ◡ / — ◡ ◡ / — ◡ ◡ / — // ◡ ◡/— ◡ ◡ / — —

Во второй строке 18 слогов. Но если допустить, что и здесь по образцу правил греческого языка происходит элизия звука или красис, стяжение встречающихся гласных звуков «и» и «е» («еси͡ единаго»), то и здесь получится 17 слогов:

вь единьнѣ / сказал ес / и͡ едина/го свѣта / единой / зарѣ
— ◡ ◡ / — ◡ ◡ / — ◡ ◡/ — ◡ ◡ / — ◡ ◡ / — —

4. Ἐπίγραμμα.[9]

Καὶ νόον αἰγλήεντα λίπες καὶ γνῶσιν ἐόντων
νύκτα δι'ἀμβροσίνην τὴν οὐ θέμις ἐξονομῆναι.

---

[7] ГИМ, Синод. гр., № 36/110, XI в., л. 36 об.: Ἐπίγραμμα εἰς τὸν ἅγιον Διονύσιον, εἰς τὸ «Περὶ ἐκκλησιαστικῆς ἱεραρχίας». Сам текст эпиграммы тот же.
[8] За консультацию и в этом вопросе благодарю В. М. Загребина.
[9] ГИМ, Синод. гр., № 36/110, XI в., л. 173 об.: Ἐπίγραμμα εἰς τὸν ἅγιον Διονύσιον, εἰς τὸ «Περὶ μυστικῆς θεολογίας».

В первом из этих стихов 15 слогов по причине спондея (двух долгих звуков) во второй и четвертой стопах, а во втором 16 — тоже по причине спондея (в третьей стопе). Вот схема этих стихов:

— ◡ ◡ / — — / — ◡ ◡ / — // — / — ◡ ◡ / — —
— ◡ ◡ / — ◡ ◡ / — // — / — ◡ ◡ / — ◡ ◡ / — —

Вот что они значат:

И блистающий ум ты оставил, и знание сущих
Ночи ради бессмертной, которой нельзя называть.

Перевод (и пунктуация) старца Исайи:

И умнӱю лучу ѡставиль еси. и разӱм сущїих.
нощи ради бесм҃ртные. юже нѣсть льза именовати.

В первой строке здесь 16 слогов, если считать буквы «їи» за один слог. Где же помещать дополнительный спондей? Чисто гадательно предлагаю поместить его в первой стопе:

И ум/ную лу/чу ѡста/виль еси, // и разум / сущїих
— — / — ◡ ◡ / — ◡ ◡ / — ◡ ◡ // — ◡ ◡ / — —

Во втором стихе 17 слогов, считая с вносимым нами из-под титла гласным звуком в слово бесм҃ртные:

нощи ра/ди бесмерт/ные, // ю/же нѣсть льза / имено/вати.
— ◡ ◡ / — ◡ ◡ / — ◡ // ◡ / — ◡ ◡ / — ◡ ◡ / — —

Существует грузинский перевод с греческого этих же трех эпиграмм (и отсутствует перевод «грахословий», воспевающих роскошный серебряно-пурпурный протограф). Ефрем Мцире, переведший в XI в. весь корпус Дионисия Ареопагита с толкованиями Максима Исповедника и эпиграммами (их, кстати сказать, у него больше, чем в славянском переводе), написал и интересные комментарии к своему переводу поэтических текстов. Сведениями об этом и дословными переводами с грузинского на русский язык комментариев Ефрема и его переводов я обязан Т. Д. Грдзелидзе, за что выражаю ей сердечную признательность. Вот что Ефрем Мцире пишет о своем переводе греческих гекзаметров («ироико» — τὸ ἡρωϊκὸν μέτρον): «Трехстрочное ироико я перевел пятистрочным иамбико, чтобы в переводе с греческого на грузинский многословие избавило меня от неточностей», «Двустрочное ироико переведено пятистрочным иамбико. Пойте и поминайте меня, святые отцы!», «Двустрочное семнадцатислоговое ироико переведено двенадцатислоговым иамбико, чтобы при переводе точно передать смысл».[10] Второе и третье примечания относятся к переводу занимающих нас эпиграмм:

---

[10] *Петр Ивер* (Псевдо-Дионисий Ареопагит). Творения. Изд. С. Енукашвили. Тбилиси, 1961, с. 262—264 (на груз. яз.).

(Перед книгой «О небесной иерархии»)

«ზეცათა მღდელთ-მთავრობისათჳს»

ანგელოზებრთა სიბრძნეთა კამკამებაჲ
მრავალ-ნაწილად ყოვლით კერძო განჰფინე
და ამით კაცთა გამოუბრწყინვე ხილვად
ცაჲ გონებისაჲ ღირსად შეზავებული
ვარსკულავებითა გულისჴმის-ყოფათაჲთა.

Сияние ангельской мудрости
многообразно развеял ты на все стороны
и этим осветил человеческому зрению
небо разумное, достойно составленное
звездами разумения.

(Перед книгой «О церковной иерархии»)

«საეკლესიოჲსა მღდელთ-მთავრობისათჳს»

ღმრთივ განწესებაჲ იგავთა სამღდელოთაჲ,
ერთ-სახე ქმნული, სახე-მრავლობისაგან
ერთ-სახეობით აღჴსნით შემოკრებულ ჰყავ
ლა მიჩუენებ ჩუენ ერთისა მის ნათლისა
ერთ-ბრწყინვალესა ნათელთ-გარდაფენასა.

Святых притчей Божье единоликое
определение от многообразия
единообразно собрал ты
и показываешь нам единого света
единосверкающее освещение.

(Перед книгой «О мистическом богословии»)

«საიდუმლოდ ღმრთის-მეტყუელებისათჳს»

ქუე დაუტევენ გონებათა ნათელნი
და არსთასაცა ცნობასა ზეშთა ექმენ
და ჱგრეთ შეხუედ ღამედ საღმრთოდ წერილსა
საფარველ მისსა ბნელის დადებისათჳს,
რომლისა ულონო არს სახელის-დებაჲ.[11]

Ты оставил свет разума внизу
и возвысился над познанием сущих,
и вступил в ночь, божественно именуемую,
стал под кровом окутавшей мраком,
которой нет сил именовать.[11]

Как видим, переводы эти по отношению к оригиналам свободные. Переводчик ясно видел поэтическую форму греческого текста, но стре-

[11] Там же, с. 17.

мился передать его смысл, вложив его в свойственный грузинской литургической поэзии размер «иамбико».[12]

К чему же стремился, переводя те же стихи Исайя-серб? Во-первых, к пословной передаче оригиналов, что не исключает, однако же, стремления точно передать их смысл. Во-вторых, совершенно очевидно, к количественному, по числу стихов и слогов, уподоблению переводов оригиналам. Шел ли он дальше этого, пытаясь создать славянский гекзаметр по образцу греческого?

А какой мог представлять себе старец Исайя природу тех стихов, которые он переводил? Ведь уже в VII в., когда жил возможный автор этих эпиграмм, Максим Исповедник, комментатор и издатель Дионисьева корпуса, гекзаметр был глубоко архаическим размером, вытесняемым новыми, создаваемыми по новому принципу, без различения звуков по долготе, поэтическими формами. Автор этих эпиграмм архаизировал во всем — в стихотворном размере, в лексике и форме слов (κιχήσας, θεσπεσίων, ἑνοειδεῖ, φάεος, λίπες), ориентируясь на гомеровский эпос. Когда эти эпиграммы писались, в живом греческом языке разница между долгими и краткими гласными стерлась; но автор эпиграмм строго их различает и учитывает правило удлинения кратких гласных звуков перед двумя согласными. И уж подавно этой разницы не существовало спустя три четверти тысячелетия, в XIV в., когда афонский монах-славянин Исайя трудился над их переводом. Только классически образованные люди (таких в Византии XIV в. было, впрочем, немало) могли знать принцип организации гекзаметрических стихов и в своем их произношении искусственно удлинять подобающие гласные. Однако же на смену долготе звука при чтении Гомера, например, уже вполне могла прийти интонация, поэтическое ударение.

В Предисловии к своему переводу Дионисьева корпуса старец Исайя пишет, что только в преклонные годы, во время «жизни скончания», случилось ему «навыкнути мало» греческого языка. Конечно, в этом «мало» проявляются его скромность и осознание неисчерпаемого богатства греческого литературного языка, который и «от Бога исперва художен и пространъ бысть», и — в отличие от славянского (который тоже «от Бога убо добрѣ сътворенъ бысть») — «от различныхъ по временехъ любомудрець ухищрен бысть» («нашь же словѣнскый. . . яко же онъ, не удостоися»).[13] Исайя учил греческий, наверное, в живом общении с греками, в греческих храмах, в процессе чтения святоотеческой и богослужебной литературы — но также и античной, потому что в том же Предисловии он с большим уважением вспоминает искусство слова «премудрого в еллинѣх» языческого ритора Либания, — на практике переводов, которыми, как он там же пишет, он занимался и раньше,[14] а кроме того, вполне возможно, по грамматике классического языка, составленной в начале XIV в. ученым филологом, любителем и знатоком античной литературы Мануилом Мосхопулом, в частности, был знаком с разделом ее об акцен-

[12] См.: *Каухчишвили С.* Ефрем Мцире и некоторые вопросы греко-византийской метрики. — Тр. ТГУ. Тбилиси, 1946, т. XXVII-б, с. 67—74.

[13] Великие Минеи Четии. Октябрь, дни 1—3 / Изд. Археографической комиссии. СПб., 1870, стб. 263.

[14] Там же, стб. 264, 265.

тах, где речь идет и о долготе и кратости звуков.[15] Но ясно, что теорию, свойственную древнегреческому языку, он не переносил механически на современный ему славянский — в отличие от Максима Грека в XVI в. и Мелетия Смотрицкого в начале XVII в.: если бы он был в этом отношении на практике их предшественником, то одни и те же гласные без разбору не играли бы у него роль то долгих, то кратких (если смотреть на них с точки зрения норм античного гекзаметра) — в зависимости от позиции. Например, «ѣ», «и», «о» в следующих примерах:

Аггельскые прѣмудрости свѣтлости многые разумѣвь. . .
— ◡◡ / — ◡◡/ — ◡◡ / — ◡◡ /— ◡◡ / — —
. . .нощи ради бесмертные, юже нѣсть льза именовати.
— ◡◡ /— ◡ ◡/ — ◡◡ / — ◡ ◡ / — ◡◡ / — —

С точки же зрения исторической фонетики сербского языка, в котором и существовала и существует долгота и кратость гласных, но в отличие от греческого языка не закрепленная за определенными звуками или, точнее, буквами, так что любой гласный мог и может в зависимости от традиции произношения слов и системы акцентов быть и долгим и кратким, — с этой точки зрения судить о «надписаниях» Исайи я не берусь. Надеюсь, что это сделают со временем специалисты и при этом ответят на вопрос о возможности сочетания поэтической и грамматической интонаций. Мы же должны ограничиться утверждением того, что Исайя старался уподобить свои переводы оригиналам по крайней мере количеством слогов в стихах. И, следует заметить, это задача не из легких, требующая большого искусства в обращении со словами. Но в этом он преуспел, иногда с блеском. Пословный его перевод порой приближается к посложному:

Τῶν	τοῦ μεγίστου	Διονυσίου	λόγων
От	великаго	Дионисия	словь
οὐκοῦν	δικαίως	οὐδὲ	κομπωδεστέραν
всако	праведнѣ	ни же	высочайшую

Σύμβολα	θεσπεσίων ἱερῶν	ἑνοειδεῖ	μύθῳ
Ѡбразе	божествных священникьь	единовиднымъ	словомь. . .
ἀνθρώποις	ἀνέφηνας	ἰδεῖν νοοσύνθετον	ἄστρον.
чловѣкωмь	явиль еси	видѣти умосьставную	звѣзду.

Возможно, именно ради количественного уподобления словосочетания слово ἱερῶν, имеющее смысл «святынь», Исайя перевел как «священникьь». Вероятно также, что из расчета слогов в строке словосочетание νόον αἰγλήεντα («ум блистающий») он передал как «умную лучу» (но не исключено, что в его греческом списке здесь стояли другие слова).

Остается сказать о том, какой вид имеют эпиграммы в русской рукописной традиции Дионисия Ареопагита. В главной по количеству списков группе, отражающей особенности сербских рукописей ГИМ, Воскр. 76 и 75,[16] самая первая, ямбическая, и первая гекзаметрическая эпиграммы

[15] См.: Μοσχοπούλου Περὶ προσῳδιῶν. — В кн.: Θεοδώρου Γραμματικῆς βιβλία Δ'. Ed. Aldus. Venetia, MDXXV, p. 233—236.

[16] См.: *Г. М. Прохоров.* Сочинения Дионисия Ареопагита в славянской рукописной традиции (Кодикологические наблюдения). — В кн.: Русская и армянская средневековые литературы. Л., 1982, с. 86.

передаются, как правило, точно и с верным указанием окончаний стихов. Во втором из гекзаметрических «надписаний» слово «единовиднымь» пишется как «единовидныимь», слово «единьнѣ» изменилось в «сьединнѣй» (а иногда: «съединеннѣй»), а слово «единаго» — в «единааго». В последней из эпиграмм слово «сущїих» потеряло букву «ї» и получило форму «сущих», а слово «льза» стало словом «полза». В итоге количественную меру оригинала, а значит и возможность соответствующего прочтения, сохранили здесь две первые эпиграммы целиком и только первые строки третьей и четвертой (вторые их строки значительно удлинились).

В другой группе русских списков, восходящей к сербской рукописи ГПБ, Гильф. 46,[17] тоже есть некоторые изменения в тексте эпиграмм. Прежде всего, вследствие перескока внимания писца со слова «Дионисиа» в заглавии («Гранесловиа о книзѣ святаго Дионисиа») на то же слово в первом стихе «гранесловий», получился пропуск слов «От великаго Дионисиа».[18] Так что способность быть воспринятым как стихотворение эта эпиграмма там потеряла, хотя в остальном переписывалась верно и с указаниями на окончания стихов. В первом из гекзаметрических двустиший потерялись, можно сказать, буквы «ѣв» в слове «разумѣвь». В остальном перемены коснулись главным образом редуцированных:

Ангельскыя премудрости свѣтлости многыя разумь
ч(е)ловѣкомь явиль еси видѣти умосъставную звѣзду.

Образа божественыхъ священникъ единовиднымъ словомъ
въ единнѣй сказалъ еси единаго свѣта единой зари.

И умную лучю оставиль еси и разумь сущихъ
нощи ради бесмертьныя, юже нѣсть льзѣ именовати.[19]

Отступления от исходного нормативного количества слогов в строке (17) произошли здесь, как можно заметить, самые незначительные (16, 18; 17, 17; 16, 17), которые легко могли быть компенсированы при поэтическом чтении (глазами! Ведь мы имеем дело с книжной поэзией в «четьей» книге. Или при чтении вслух в день памяти Дионисия Ареопагита 3 октября). Но знали ли древнерусские читатели Ареопагита в XIV—XVIII вв., что эти скалькированные с ямбических и гекзаметрических стихов «гранословия» и «надписания» можно попытаться так прочесть, этого мы, к сожалению, с точностью пока не знаем. Но возможность такую рукописи им, как и нам, по большей части предоставляли.

---

[17] Там же, с. 86—87.
[18] Великие Минеи Четии, Октябрь, дни 1—3, стб. 275.
[19] Там же, стб. 275, 619, 718.





Л. А. Софронова

«РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ДРАМА» ДИМИТРИЯ РОСТОВСКОГО

«Рождественская драма», одно из замечательных произведений русской школьной драматургии, принадлежит перу выдающегося деятеля украинской и русской культуры XVII в., писателю и драматургу Димитрию Ростовскому.[1] Она была поставлена 27 декабря 1702 г. в школе, открытой по его инициативе в Ростове Великом.

Пьеса эта, впервые опубликованная Н. С. Тихонравовым,[2] всегда находилась в поле зрения историков театра и литературы.[3] В настоящее время ее текст вошел в многотомное издание «Ранняя русская драматургия» (этой публикацией мы пользуемся в настоящей работе), где О. А. Державина дала ее исчерпывающую характеристику в статье «Русский театр 70—90-х гг. XVII и начала XVIII в.».[4] К «Рождественской драме» обращались и другие исследователи: А. С. Демин, иллюстрируя на ее примере аллегоричность школьной драмы, А. С. Елеонская, исследовавшая в ней элементы комического, Л. Б. Архимович, занимавшаяся ее музыкальными номерами.[5] Все исследователи «Рождественской драмы», как прошлого времени, так и современные, по-разному ее оценивая и иногда подвергая сомнению вопрос об авторстве Димитрия Ростовского, как Н. И. Петров или И. А. Шляпкин, а теперь Л. Б. Архимович, одинаково отмечают ее типично школьный характер, указывают на явное

---

[1] *Шляпкин И. А.* Св. Димитрий Ростовский и его время (1651—1709). СПб., 1891.

[2] *Тихонравов Н. С.* Русские драматические произведения. СПб., 1872, т. 1, с. 339—399.

[3] *Морозов П. О.* История русского театра до половины XVIII столетия. СПб., 1889, с. 89—95; *Петров Н. И.* Очерки из истории украинской литературы XVII—XVIII вв. Киевская искусственная литература XVII—XVIII вв., преимущественно драматическая. Киев, 1911, с. 172—177; *Резанов В. И.* Из истории русской драмы. Школьные действа XVII—XVIII вв. и театр иезуитов. М., 1910, с. 96—114.

[4] Ранняя русская драматургия (XVII—первая половина XVIII в.). Русская драматургия последней четверти XVII и начала XVIII в. М., 1972, с. 48—51, 220—274.

[5] *Демин А. С.* Русская литература второй половины XVII—начала XVIII в. М., 1977, с. 216—219; *Елеонская А. С.* Комическое в школьных пьесах конца XVII—начала XVIII в. — В кн.: Новые черты в русской литературе и искусстве (XVII—начало XVIII в.). М., 1976, с. 73—87; *Архимович Л. Б.* Старинный музыкальный театр Украины. — Там же, с. 146—162.

польское влияние, на связь с киевской драмой, с вертепом. Для них для всех очевидно, что она является некоторым средоточием польско-русско-украинских культурных связей в области театра.

Мы обращаемся к «Рождественской драме» Димитрия Ростовского не только с тем, чтобы развить это положение, но и на ее примере показать характерные черты поэтики барокко, свойственные школьному театру, прежде всего к области сюжетосложения, раскрыть механизм взаимодействия сюжетов различных жанров, связанных с их перестройкой.

Обратимся к программе «Рождественской драмы». Программа — это изложение сюжета пьесы, повторяющее ее деление на акты и явления и одновременно экстрагирующее ее основную идею. Кроме того, программа — это и афиша: в ней всегда содержатся название пьесы, сведения о времени, месте и поводе постановки. Программа — это и историко-культурный документ, так как из обычно содержавшегося в ней панегирика, обращенного к покровителям школы, можно извлечь сведения о положении школы и театра в городе, об отношении к ним населения, сделать выводы о характере воспитания и обучения того времени, о месте, которое отводилось искусству театра в культуре XVII—первой половине XVIII в.

Можно предположить, что начальная часть программы содержит название пьесы («Рождественская драма» — название условное, которое предложили сами исследователи текста, а «Комедия на Рождество Христово» — название, присутствующее не во всех списках), что Димитрий Ростовский назвал свою пьесу так: «Премена непостояннаго мира сего гордости, сетми в маловременной жизни человеков уловляющая в вечную муку посылающая, на треокаянном Ироде, за гордость ищущом рожденнаго всех царя Христа убити». Это предположение вполне вероятно. Я. Оконь, детально проанализировавший структуру программ, показал, что обычно в их название входит название пьесы, оно открывает программу.[6] Это название, почти обязательно распространенное, могло быть схемой сюжета (ср. «О Навходоносоре царе, о теле злате и о триех отроцех, в пещи не сожженных» Симеона Полоцкого). Оно могло сводить сюжет к примеру, «прикладу» некоей общей идеи, которой подчинялась драма целиком (ср. «Ужасная измена сластолюбивого жития с прискорбным и нищетным, в евангелском Пиролюбце и Лазаре прежде изображенная. . .»). Тогда в названии на первый план выносилась эта общая идея, как и в предполагаемом названии пьесы Димитрия Ростовского: «Премена непостояннаго мира сего гордости. . .» Примером, иллюстрирующим этот тезис, тогда был бы «треокаянный» Ирод. Он бы отражал «премену гордости». Это предположение подтверждается и прологом, в котором излагается основная идея пьесы. «Словом и делом» автор хочет изъявить «маловременну лестну мира сего славу». Ирод и в прологе называется примером этой идеи: «Образ сего в Ироде есть треокаянном». Эту же тему развивает хор, заключающий 13 явление: «О прелеснаго мира! Лютейшаго зверя Ныне венчает, утро пожирает; Даръствует ныне злато, Утро мещет в блато; Садит на престоле, Потом в сниском доле». Вновь она возникает в эпилоге: «Показавши измену мира сего лестну. . .»

[6] *Okoń J.* Teatr i dramat szkolny. Sceny jezuickie XVII w. Wrocław, 1970, s. 31—42.

Подобное название рождественской пьесы свидетельствовало бы о слиянии основных теологических положений, бывших основой драматического произведения, с тематикой «светской», хотя и берущей свое начало из Библии, о связи идеи о всемирном значении рождества, обновившего каждого смертного и одной из наиболее распространенных в эпоху переходного периода тем, темой изменчивости мира, темой Vanitas, которая была известна русской литературе с древнейших времен, но особое распространение получила в XVII в.[7] Оно свидетельствовало бы и об индивидуальном, чисто русском аспекте ее звучания: мир непостоянен, он «уловляет в свои сети человеков», но его изменения — это изменения не только доброго на злое, но и наоборот, см. антипролог, который «Вкратце премену в житии человеческом злых между добрыми вещей показует» и борьбу между Жизнью и Смертью, в которой победу одерживает Жизнь (см. 17 явл.).[8] Это название показало бы, насколько глубоко проникло во все области культуры художественное сознание нового типа, в котором принцип отражения занимал одно из важных мест.

Этот принцип был основан на таком отношении к миру, при котором все его элементы, принадлежащие различным сферам, соотносились друг с другом, имели смысловые связи, скрытые в повседневной жизни, но вскрываемые при художественном и философском взгляде на них. Потому все элементы мира, духовного и вещного, в чем-то повторяли друг друга, выступали отражениями, копиями. Это отражение было взаимным, в нем не соблюдалась иерархия, хотя чаще, конечно, вещный мир отражал духовный, центром которого были евангельские события. Они могли воспроизводиться, отражаясь в библейских сюжетах, исторических, мифологических. Всеобщее увлечение принципом отражения приводило к тому, что и вершины духовного мира, то, что отражалось во всем, могли отразить нечто, принадлежащее другим сферам, например, исторические события, служить «прикладом» моральных истин. Примеры этому можно обнаружить в московском школьном театре. Достаточно вспомнить такие пьесы, как «Ревность православия древле чрез презелнаго ревнителя и непобедимого вожда израилтескаго Иисуса Навина преобразованная, ныне же в равных прехрабрых ревнителях православных истинно зримая, при благополучной державе пресветлейшаго, благочестивейшаго августейшаго царя и великаого князя Петра Алексиевича. . .», «Свобождение Ливонии и Ингерманляндии отечества росска, древле чрез мужественная вожда исралтескаго Моисеа Во Исраили прообразованное, ныне же силою вышняго чрез храброе воинство российское во отечествии своем истинно зримое. . .», «Божие уничижителей гордых, в гордом Исраиля уничижителе чрез смиренна Давида уничиженном Голиафе уничижение ⟨. . .⟩ Образ всех ковников и изменников отцу своему. . .». В нашем случае важнейшая часть сюжета рождественской мистерии, эпизод царя Ирода, который, будучи непременной частью всякой западноевропейской драмы рождества, настолько разрастался, что часто превращался в само-

---

[7] *Демин А. С.* Русская литература второй половины XVII—начала XVIII в., с. 162—190; *Панченко А. М.* Русская стихотворная культура XVII в. Л., 1973, с. 202—204.

[8] *Лихачев Д. С.* Развитие русской литературы X—XVII вв. Л., 1973, с. 207—212.

стоятельную драму (в школьном и народном театре), послужил примером общей идеи изменчивости мира, гордыни. И эта идея сливается с идеей рождества, развитой в аллегорических явлениях пьесы (явл. 1, 18).

В названии программы содержится также указание на время и место постановки. Сама программа, кратко излагая содержание пьесы, преимущественно раскрывает ее смысл, даже не всегда называя участвующих в ней персонажей, например аллегорические фигуры. При этом в ней в одном случае цитируется прямая речь действующего лица, что для программы нетипично.

Идея рождества, время постановки (она была поставлена на праздник рождества) определяют жанр пьесы Димитрия Ростовского. Она должна быть мистерией. Но эта пьеса, в которой основной смысл обогатился дополнительными темами, в которой сочетались богословские и нравоучительные идеи, повторила принцип сочетания различного, проведенный в сфере значения, и в своей жанровой структуре. Она перестала быть мистерией и, сохранив мистериальные элементы, значительно преобразилась по сравнению с исходным образцом. Она вобрала в себя элементы моралите, народной религиозной драмы, моралите, трансформированного в пьесу с развитым «светским» сюжетом. Часть этих трансформаций произошла вследствие общей перестройки жанровой системы школьного театра, который, следуя общим принципам барочной поэтики, стремился к синтезу как различных видов искусств, так и различных жанров, к смещению в новых формах искусства и действительности. Часть объясняется непосредственным влиянием польского школьного театра, который Димитрий Ростовский знал, как и вообще польскую культуру. В его личной библиотеке были польские книги (Roczne dzieje kościelne, Żywoty świętych, Zwierciadło przykładów, хроники Стрыйковского, Гваньини, Бельского, польское житие пресвятой Богородицы, Pamięć o cnotach króla Władysława).[9] Он сам, видимо, легко писал польские стихи. Его образование, полученное в Киеве, позволяло ему строить проповеди, пронизанные барочной риторикой.

Димитрий Ростовский в «Рождественской драме» пошел по общему для всего западноевропейского и славянского школьного театра пути, соединив мистерию с моралите, заменив некоторые мистериальные эпизоды эпизодами моралитетного характера, что характерно для искусства, которое всегда стремилось одно показать и сказать через другое. Он выявил близкое знакомство с польским школьным театром, разработав центральную часть своей пьесы — драму об Ироде — в соответствии с пьесами о власти, кругом пьес, выросших на польской сцене на основе моралите. Он сумел соединить между собой различные жанровые структуры в единое целое, видимо, еще и благодаря той свободе, которую всегда предоставляет мастеру молодое, недавно привившееся искусство, в данном случае — русский школьный театр.

«Рождественская драма», в которую входят сюжетные эпизоды различных жанров, связаны между собой смысловыми связями и разработаны по общим законам поэтики: опосредованного ведения действия, антитезы условного и натуралистического отображения действительности

---

[9] *Шляпкин И. А.* Св. Димитрий Ростовский и его время, с. 54—58 (Приложения).

и др. Между этими эпизодами существует логическая и семантическая связь, к описанию которой мы сейчас и переходим.

Мистерия на школьной сцене в чистом виде практически никогда не существовала. Этот жанр не предусматривали школьные поэтики, которые запрещали выведение на сцену Иисуса Христа, богородицы, бога-отца, главных действующих лиц мистерии. Она обязательно трансформировалась, отходила от мистерии средневекового народного религиозного театра, бывшей ее основой.[10] Эта трансформация состояла во включении в мистериальный, пасхальный или рождественский сюжет моралите или его элементов, второго наиболее популярного жанра народной религиозной драмы, ставшего логической формулой будущей европейской психологической драмы. Героем моралите был страждущий, мятущийся в поисках путей к спасению человек, который выступал в виде аллегорической фигуры — Души, Каждого, Путника. Так сливались темы бога и человека, что соответствовало основным религиозным идеям о спасении и искуплении человечества, ср. «Той мя, Небо, преклонив, на тя, Земле, сниде: Человек бысть; Человек да на Небо взыйде. От твоея созданны трости (персти) сообщися Божеству. . . Будешь мне, неклятому небу, приобщенна; Аз земля, ты же небом будеш нареченна, Якоже бог наречен и есть человеком, Смертен человек богом живым во веки веком» (явл. 1) «. . . бог 〈. . .〉 человеком бывает чрез милость премногу, да бренна человека уподобит богу» (там же). Так соединялись жанры, один из которых воссоздавал божественное начало, евангельские и параллельные им по смыслу библейские события и другой, схематизировавший жизнь обычного человека, грешника.

Рождественская мистерия предполагала следующие эпизоды: рождество, поклонение пастырей, поклонение волхвов, царь Ирод и Избиение вифлеемских младенцев. Могли в нее входить также эпизоды пророков, предвещающих рождение Христа и благовещения, встречи Марии и Елисаветы, пути в Вифлеем, бегства в Египет, плач Рахили. Все они непосредственно представляли на сцене, наивно-реалистически изображали события, имевшие глубокий сакральный смысл. В пьесу Димитрия Ростовского вошел эпизод: пророчество (явл. 5), которое обычно открывало мистерию; кроме того, эпизоды пророчества, которые в западноевропейской драме разрастались настолько, что дали самостоятельные драматические произведения, как «Пророки», драму о Данииле и народное действо «Праздник ослов»,[11] в свернутом виде включены в монологи персонажей «Рождественской драмы». Наиболее развернутое содержится в монологах Неба, аллегорической фигуры, которая вместе с Землей, ведет 1-е явление, затем в 7 явлении Царь I упоминает пророчество Ерифеи Сивиллы, в 8 явлении Рабин I, Иеремии, Михея, Аввакума. Этот перевод плана событийного в план повествовательный — явление чрезвычайно характерное для барочной школьной драмы, так действовал универсальный принцип отражения поэтики барокко.

Кроме пророчества на сцене непосредственно изображалось поклонение пастухов (явл. 3—4). Оно написано в традициях народного религи-

---

[10] *Резанов В. И.* Из истории русской драмы. Школьные действа XVII—XVIII вв. и театр иезуитов, с. 56—132.

[11] Там же, с. 56—57.

озного театра, воспринятых польским и украинским школьным театром, традициях, которые позднее привьются в украинском вертепе. Наивно-реалистический способ изображения бедных пастухов, введение в мистериальный сюжет бытовых деталей, явно снижающих высокую тему (кружало, лапти, старая шубенка), сталкиваются со способом прямо противоположным. Появление ангела, возвещающего о рождении Христа, дано в возвышенном плане, его речь резко отличается от крестьянского говора пастухов. Столкновение ирреального и обыденного, небесного и земного — наглядный способ, которым воспользовался драматург, чтобы показать зрителям величие спасителя, «царя, возлюбившего нищету, пастыря пастырей» (явл. 3).

Мистериальный эпизод: поклонение волхвов также стал частью «Рождественской драмы» (явл. 7). Он разработан достаточно подробно и частично вошел в центральную часть пьесы Димитрия Ростовского: драмы об Ироде (явл. 6—8, 11, 13—16).

Драма об Ироде представляет наибольший интерес, так как, сохранив ее мистериальный характер, драматург в то же время обогатил ее чертами моралите и пьес, выросших на основе моралите, пьес о власти.

Ирод ведет себя как типичный грешник, герой моралите. Только он — не собирательная фигура, а исторический, конкретный персонаж, воплощающий в себе силы зла, т. е. герой in natura. Он не колеблется между добром и злом. Подобно герою моралите он испытывает влияние высших сил, но только злых. Так можно интерпретировать первую часть 2 явления, главным персонажем которой является Зависть (или Вражда). Она требует, чтобы Циклопы выковали мечи и стрелы в «Иудейски пределы», где сотворит «пролитие крове, аки море», т. е. направляет действия Ирода. Такое взаимодействие аллегорических фигур и реальных персонажей типично для моралите. Аналогично соотношение фигуры Гнева и короля в польском моралите «Judicia Dei». Сходно, кстати, взаимодействие Ирода и аллегорических фигур Злобы, Убийства, Коварства в украинском «Действии на рождество Христово». Болезнь и смерть Ирода построены также в соответствии с канонами моралите. Ирод поражается страшной болезнью. Сенаторы, ужасаясь неслыханному смраду, посылают за врачом — непременной фигурой пьес-моралите, и услышав приговор, покидают его.[12] Ирод, как типичный грешник моралите, оплакивает свою участь в монологе с эхо и «упадает над пропасть» — конец, типичный для персонажей моралите. Не отходит от его канонов и последнее 16 явление драмы об Ироде, где он воссылает проклятия из ада (ср. «Ужасная измена сластолюбивого жития», «Antithemius, seu Mors peccatoris»).

Не только моралите, но и круг пьес о власти, чрезвычайно характерный для польского школьного театра, оказал влияние на драму об Ироде. Эти пьесы, выросшие на основе моралите, никогда не порывали с ним связи, что особенно очевидно в разрешении их конфликтов. Обычно герой бывал наказан, и в наказании принимали участие высшие силы. Главный

---

[12] *Мочалова В. В.* Рыбалтовская комедия в истории польской драмы XVII в. — Советское славяноведение, 1973, № 5, с. 70—81. — Автор показывает, как использовались моралитетные ситуации в польском совизжальском театре, в пьесе «Придворный сват».

герой этих пьес — это грешник, только не грешник вообще, а правитель, злоупотребляющий властью, заговорщик, стремящийся любой ценой захватить трон и т. п. Героев такого рода школьные драматурги выводили огромное количество, и при этом очень часто брали их из древней истории, которую школа XVII века воспринимала как собрание примеров, достойных подражания или осуждения. Могли таким образом разрабатываться и мартирологические сюжеты, как в иезуитской пьесе о Борисе и Глебе. Испытала на себе их влияние и драма об Ироде.[13]

Ирод появляется впервые в пьесе, восседая на троне, окруженный восхваляющими его сенаторами. Этой сюжетной ситуацией открывается почти всякая школьная пьеса о власти, пиарская пьеса о Маврикии, уже упомянутая польская драма о Борисе и Глебе, пьесы Оршанского кодекса, в который входит эта драма, а также многие русские пьесы чисто светского характера. Затем она повторяется еще раз (см. явл. 11), Ирод советуется с Сенаторами (явл. 7, 8), что также совпадает с постоянной ситуацией пьес о власти.

Сенаторы — это группа помощников, окружающих властелина, короля, царя. Они, хотя и подчинены ему и постоянно оказывают почести, на самом деле гораздо более активны, чем он сам. Они не только восхваляют, утешают, но и определяют действия главного действующего лица. Это они создают коварный план: выведать место рождения нового царя и замышляют его убийство. Это они догадываются приставить к волхвам «крепкую стражу». Это они советуют Ироду привести Рабинов, которые узнают место, где родился новый царь иудейский. Сенаторы в «Рождественской драме» ведут себя аналогично Сенаторам и приближенным из многих пьес кодекса Г. Люра,[14] из пьесы о Борисе и Глебе. Они — типичные персонажи пьес светского характера.

Ирод, как типичный герой школьной драмы, являющий собой центр действия, аккумулирует в себе силы, движущие сюжет, но сам остается почти все время пассивным. Решения за него принимают Сенаторы, о приближении грозящей ему беды он узнает от посланников. К нему является посланник «от триех царей» — также ситуация обязательная для пьес о власти, и особенно для пьес о сражающихся королях. Тип этих последних находит соответствие в русской «Комедии об Индрике и Меленде». Важнейшую функцию посланники выполняют в польской пьесе «Рамирова победа». Здесь Посланник предупреждает о приближении волхвов (Царей). Последовательное приближение персонажей, о котором несколько раз предупреждают главного героя — также типичный сюжетный ход школьной драмы о власти.

Вестники — это обязательные персонажи школьной пьесы. Они передают сообщения от одного главного действующего лица к другому, связывают их между собой, высказывая их намерения, повествуя о предпринятых действиях. Через них общаются главные герои, иногда даже прямо не сталкиваясь. В том, что вестники играют такую важную роль в драме,

---

[13] *Софронова Л. А.* Поэтика славянского театра XVII—первой половины XVIII в. (Польша, Украина, Россия). М., 1981, с. 137—168.

[14] *Lühr G.* 24 Jesuitendramen des lituaischen Ordensprovins. — Altpreussische Monatschrift. Königsberg, 1901, Bd 38.

что им поручена связь и между противоположными группами персонажей, борющихся между собой, и между рядами событий, из которых слагается сюжет, следует видеть еще одно проявление принципа отражения, во многом определяющего характер барочной драмы. Вестники в своих сообщениях концентрируют, отражают происходящее на сцене и за сценой. Они — зеркала своего рода, расставленные так, чтобы участники событий могли увидеть и осознать себя в них, еще раз войти в драматический конфликт уже не на событийном, а на повествовательном уровне пьесы.

Можно отметить еще одно соответствие «Рождественской драмы» с польскими пьесами, в которых участвуют посланники. Посланник говорит на ломаном русском языке, что должно указывать на его чужеземное происхождение. Он прибыл из далеких стран (ср. «Добро. Моя рада, что здорова ходила, Больше того не буду кому говорила»). Совсем на непонятном языке, через переводчика, выступает посланник в драме «Рамирова победа», сообщая испанскому королю о предстоящем выступлении сарацин. Этот прием был довольно распространенным на школьных сценах.

Ирод, как и следует властителю, сетует на тяготы власти. Это постоянная ситуация многих польских драм, выступления о быстротекущей славе, о тяжести скипетра и короны переходят из пьесы в пьесу, главными героями которых были короли. Говоря, что «егда ли обрящется власть где сь превысока, Бы по малой радости слезного потока не вкусила<. . .> Зрящу на скипетр, болезнь сердце ни пронзает», Ирод вторит королям из пьес о Генсерике и Тризимунде, Маврикии. Также жалуется и Святополк в уже упоминавшейся польской пьесе о Борисе и Глебе.

Очень важным соответствием «Рождественской драмы» Димитрия Ростовского с кругом польских пьес о власти является ситуация — клятва Вождей. Ирод призывает их, надрезав мечом руки, смешать пролившуюся кровь и выпить в знак вечной верности — так заканчивается 8-е явление. Эта ситуация фигурирует в пьесах Оршанского кодекса, в пьесе «Judicis Dei» и во многих пьесах о заговорщиках, где она более оправдана, чем в драме об Ироде (см. также «Артаксерксово действо»).

Вождь, приносящий Ироду голову младенцев (Се в знамя пренесохом детинные главы) также ведет себя как типичный герой школьной драмы. Отрубленную голову невинноосужденного приносят в пьесах Оршанского кодекса, в драме «Judicia Dei».

Предсказание, которое Ирод получает во сне, — это также типичная ситуация школьной драмы о власти. Ей пользовались очень охотно, особенно для ведения линии отрицательного персонажа — перед ними предстают тени убитых, аллегорические фигуры Мщения, Гнева и проч. (ср. польскую пьесу о Дионисии Сиракузском, «Пир тиранов», «Exilium sapientis»).

Итак, драма об Ироде разработана Димитрием Ростовским в соответствии с законами построения моралите и «светской» пьесы о власти. Она — яркое свидетельство трансформации мистерии на школьной сцене, тенденций школьного театра к обмирщению, обусловленных стремлением его создателей завоевать массового зрителя, связей между польским и русским театром.

Из рождественских эпизодов в драму вошли также избиение младенцев и плач Рахили. Они заслуживают особого внимания, так как в них

в чистом виде сказалась общая тенденция к отражению, аллегоризации школьного театра, выразился его эмблематический характер. Избиение было представлено «неслышимое, но зримое», т. е. Димитрий Ростовский обратился к живой картине, приему, чрезвычайно популярному на школьной сцене. Таким путем он избежал явного показа жестокой сцены, что входило в требование школьной поэтики, и создал явление, эмблематическое по своему характеру. Плач Рахили оказывается аллегорической фигурой, ведущей 10-е явление. Он, а не сама Рахиль — его главный персонаж (ср. «Аз есмь плачь, рыдание скорбные Рахили»). Он повествует о Рахили и развивает тему: «Глас в Раме слышан, плач и рыдание, и вопль великий» (Ев. от Матф., гл. 2, ст. 18).

Других рождественских эпизодов в пьесе Димитрия Ростовского нет, нет и центрального эпизода — рождения Христа. Он опосредованно дан в монологе Ангела, являющегося Пастырям. Пастыри идут к вертепу, но, судя по их высказываниям («Постойте же вы здеся, я посмотрю, пойду, Есть ли в яслях реченный, и знова к вам приду»), ремарке (Пение в вертепе), они поклоняются новорожденному, которого зритель не может видеть. Доказывает это и их обращение к зрителям (ср. Пастырие людем возвещают). Ангел и Пастыри в сообщениях, направленных к участникам сценического действия и зрителям, повествуют о рождестве. Оно отражается в их речах, но не показывается на сцене. Видимо, аналогично было построено поклонение волхвов (царей), которые объясняют смысл своих даров и значение рождества. Так стержень пьесы, смысловой и сюжетный, оказывается невидимым, хотя именно он скрепляет все ее части. Такой прием характерен для школьных мистериальных пьес. Так была построена безымянная пасхальная драма, опубликованная В. И. Резановым,[15] частично сходна с ней по структуре пьеса М. Довгалевского «Властотворний образ человеколюбия божия».

Этому приему противополагался иной, при котором главные мистериальные персонажи выдвигались на первый план, события, связанные с ними, делались осью сюжета; воспроизведение евангельской истории шло в ключе народного искусства (ср. «Жалобную комедию об Адаме и Еве», «Торжество Естества человеческого», польскую пьесу «Utarczka krwawie wojującego boga»). Но в школьном театре конца XVII в. он встречался все реже и реже. Драматурги предпочитали, следуя принципу отражения, опустить центральные эпизоды канонического сюжета, расщепив их в сообщениях и эмоциональных реакциях действующих лиц, воплотив их в аллегорических фигурах. Этот способ они считали более совершенным.

Аллегорические фигуры в «Рождественской драме» достаточно активны. В 6-м явлении Валааму задает вопрос о новой звезде Любопытство звездочетское, монолог-представление которого — краткий экскурс в астрономию. Эта фигура, получившаяся в результате отделения действия или состояния субъекта от него самого, принадлежит к наиболее условным среди школьных аллегорий. К такому же типу относится уже упомянутая фигура Плач Рахили. Во сне — предсказании Ирода — ему являются Невинность, символизирующая вифлеемских младенцев, и Истина, выношся-

---

[15] *Резанов В. И.* Из истории русской драмы. Школьные действа XVII—XVIII вв. и театр иезуитов, с. 249.

щая приговор Ироду. К этим типичным аллегориям моралите примыкает Отмщение, произносящее заключительный суд над Иродом (явл. 15). Все эти аллегории появились в «Рожденственской драме» в результате действия тенденции к условному воспроизведению сюжета. Они заменили собой реальных персонажей, как Любопытство, или их совокупность, как Невинность, выступили вместо представителей высших сил, как Отмщение. Они не исключили каких-либо сюжетных ситуаций, а только возвели их на более высокую ступень абстракции.

Кроме того, в драме есть еще ряд аллегорий, выступления которых образуют раму, куда вписываются рождественские эпизоды. Они открывают пьесу (1-е и часть 2-го явления) и завершают ее (18-е явление). Эти аллегории призваны воспроизвести не событийный план, как описанные выше, а план значения. Им поручено раскрыть смысл рождества. Небо и Земля произносят монологи о своем слиянии, которое свершится с рождением Христа, что подтверждает Милость Божия (Милосердие): «Земле! Чрез милость бога небу приближися. Небо! Чрез милость бога Земли примирися». Человек, возвещает она, уподобится богу, когда он явится в образе человека. Рождество снимет проклятие с рода человеческого. Эти идеи еще раз возникают в монологе Крепости Божией (Кротости), которая, заканчивая пьесу, еще раз обличает Ирода.

Мистерия, как пасхальная, так и рождественская, представлявшая основные евангельские события, была также воспроизведением истории человечества. В ней обязательно присутствовали эпизоды грехопадения, изгнания из рая и т. д. В пьесе Димитрия Ростовского они отсутствуют, но напоминание о них есть в аллегорической раме. Адам, Ева, яблоко, змей фигурируют в монологах аллегорий, которые в свернутом виде изображают жизнь человека до пришествия второго Адама, т. е. Христа. Это свидетельствует о тенденции драматурга к созданию четкой композиции, к такой организации сюжета, при которой исчезла бы слабая связь между отдельными его частями, эпический характер, столь свойственный настоящей мистерии. Он строит из первой части мистерии рамочную конструкцию, придав ей также функцию осмысления центрального сюжетного эпизода.

Введение этой «исторической» линии в мистерию имело глубокое обоснование — так связывались представления о греховности человека и идея искупления, жертвенной смерти Христа. Постепенно грехопадение Адама и Евы, символизирующее состояние всего человечества, на сцене абстрагировалось. Библейские персонажи заменили аллегории Натуры людской, Естества человеческого, Души. Димитрий Ростовский прекрасно ощущал смысловую связь мистерии и моралите, и поэтому он ее воспроизвел не только на повествовательном уровне, в аллегорической драме, но и непосредственно представил на сцене.

Антипролог и 17-е явление пьесы — это еще одна рама мистериального сюжета, но на этот раз аллегорически изображающая не значение рождения Христа, а воспроизводящая жизнь души, Натуры людской, хотя, конечно, связь с основной темой в ней есть. Натура выступает в окружении аллегорий, противопоставленных между собой. Они ведут за нее борьбу, одни, обещая вечное блаженство (Надежда омывная, Век Златый и т. д.), другие, устрашая (Злоба, Зависть, Брань). Их сражение завершает спор

Смерти и Жизни. Смерть, наиболее популярная фигура моралите, восхваляет свою власть над Натурой, но Жизнь противостоит ей и окончательно побеждает в 17-м явлении, второй части драмы-моралите.

Итак, «Рождественская драма», имея эпизод рождества элиминированным, развивает обязательные для ее жанра эпизоды поклонения пастырей и волхвов, превращает эпизод Ирода в моралите с мотивами светской драмы о власти, распространенной на школьной сцене; она имеет две рамы, как бы вставленные одна в другую; первую — неразвитую пьесу моралитетного характера с главным персонажем — Натура людская, и вторую, аллегорическую, объясняющую смысл Рождества. Такое построение пьесы — одно из важных свидетельств барочного характера русского школьного театра, который среди других видов искусства, пожалуй, в наибольшей степени развивал стиль барокко.[16]

А. М. Панченко как о главной черте писал об умеренности русского барокко.[17] Ее мы и находим в пьесе Димитрия Ростовского. Воспитанный в правилах школьной поэтики, он не вышел за их пределы. Он оперирует контрастами, противопоставляя аллегории Жизни и Смерти, Покоя и Брани, строя на антитезах нищеты и щедрости Христа, рождества и девства Марии монологи Пастырей и Царей. Он смело вводит в художественное пространство, населенное реальными персонажами, аллегорические фигуры, и те и другие часто пользуются примерами из античной мифологии: Циклопы выступают с аллегорией Зависти, Феба вспоминают Валаам и Цари, Ирод отправляется «На преслатком почити Морфеуша лоне», ад именуется Цербером. Он не избегает описаний разложения и смерти, связанных с темой — Vanitas (ср. монолог Лекаря). Димитрий Ростовский создает сложные многоступенчатые образы, делая излюбленный барокко переход от конкретного к абстрактному, стягивая воедино далеко отстоящие друг от друга явления (ср. «От крове нашей нам порфиру сшилес, Бисерами слез материих спестрилес»). Он отдает дань театру как синтезу различных видов искусств и вводит в свою пьесу музыкальные номера. Но хотя все эти художественные приемы и являются по своей сути барочными, они не делают «Рождественскую драму» произведением барочным, например, как драмы Кальдерона или многочисленные польские иезуитские пьесы. Это барочность другого вида, иной ее вариант, где распределение признаков этого стиля придает ему новый характер. У Димитрия Ростовского отсутствует принцип усиления, который в поэтике барокко, например, польского, играл доминирующую роль. Усиливалось, увеличивалось, многократно повторялось решительно все. Многие поэтические и риторические фигуры были построены на этом принципе. Он создавал особый тип сюжета, приводил к варьированию одной и той же темы, обыгрыванию ее с различных сторон, к проведению ее в разных тональностях. Применив какой-то один прием, Димитрий Ростовский им не злоупотребляет, не нагромождает аналогично построенных синтаксических конструкций, не играет контрастами. Игра с формой, столь типичная для барокко, и прекрасно ему известная по школьным курсам поэтики и риторики, также была чужда драматургу. Свободно владея новым художественным языком,

---

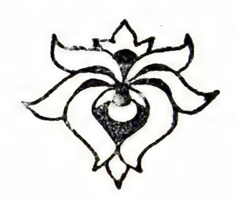
[16] *Робинсон А. Н.* Борьба идей в русской литературе XVII в. М., 1974, с. 7—16.
[17] *Панченко А. М.* Русская стихотворная культура XVII в., с. 199—208.

он руководствуется в своем творчестве не всеми его эстетическими принципами, отдавая дань традициям древнерусской литературы.

В наибольшей степени, как мы считаем, в соответствии с барочной поэтикой он строил сюжет драмы. В нем главенствовал принцип отражения, ведущий в барочной поэтике. Он сфокусировал в себе перестройку жанровой системы школьного театра, где сплелись аллегорическое и наивно-реалистическое начала, мистерия и моралите, светская драма о власти. Эта перестройка соответствовала тем процессам, которые происходили во всей русской литературе XVII—первой половины XVIII в.[18]

---

[18] *Лихачев Д. С.* Поэтика древнерусской литературы. М., 1979. с. 55—79; *Робинсон А. Н.* О преобразовании традиционных жанров как факторе восточноевропейского литературного процесса в переходный период (XVI—XVIII вв.). — Изв. АН СССР, 1969. Сер. лит. и яз., т. XXVIII, вып. 5.





II

В. Э. Вацуро

МИЦКЕВИЧ В СТИХАХ ЛЕРМОНТОВА

1

Тема «Лермонтов и Мицкевич» занимает исследователей уже на протяжении столетия. Мы сейчас достаточно ясно представляем себе ее общие контуры и располагаем довольно большим количеством текстовых параллелей и аналогий. Об известных соприкосновениях с «Гражиной», «Конрадом Валленродом» можно говорить при исследовании поэм 1830—1832 гг. — «Последнего сына вольности», «Измаил-Бея», «Литвинки». Несомненно, однако, что первоначальное знакомство Лермонтова с поэзией главы польской романтической литературы началось ранее; во всяком случае, в 1829 г., в период активного чтения «Московского вестника», Лермонтову должен был попасться на глаза по крайней мере опубликованный там прозаический перевод «Валленрода», сделанный Шевыревым и А. Скальковским, — а затем и отрывок из поэмы, переведенный Пушкиным. Вряд ли он мог пройти без внимания и «Крымские сонеты», о которых из номера в номер упоминала периодическая печать; наконец, в «Подснежнике» на 1829 г., откуда попала к нему поэтическая строка, перефразированная в «Романсе» (Коварной жизнью недовольный, 1829), он мог прочитать знаменитый перевод «Фариса», сделанный В. Н. Щастным, и балладу «Альпугара» из того же «Конрада Валленрода» в переложении Ю. Познанского. Это все, о чем мы можем говорить с большей или меньшей уверенностью.

Далее начинаются гипотезы с привлечением косвенных данных, — гипотезы, необходимые и неизбежные при построении литературной биографии раннего Лермонтова. И здесь внимание исследователей неизбежно задерживается на его литературной среде, в которой фигуре Мицкевича принадлежала важная роль. Уже Э. Дюшен обращал на это обстоятельство особое внимание; позднее, в работах Б. М. Эйхенбаума и др. была показана связь юного Лермонтова с литературно-эстетической позицией «Московского вестника» и кружка любомудров, к которому — в ранний

период его существования — принадлежал и прямой учитель Лермонтова С. Е. Раич. Как известно, любомудры были ревностными ценителями Мицкевича; почти все они были знакомы с польским поэтом и испытали воздействие его личности; Раич также неоднократно встречался с ним на протяжении 1826—1829 гг.

Возникают, таким образом, предпосылки для нового обращения к теме «Мицкевич и ранний Лермонтов»,[1] но здесь недостаточно простого сопоставления текстов. Для формирующегося русского романтического сознания самый образ гениального поэта-изгнанника становится мифологемой, подобной «мифологеме Веневитинова», и его легендарная биография составила содержание нескольких литературных произведений. Достаточно двух примеров, чтобы показать, как шел этот процесс.

Один пример—пушкинское стихотворение «В прохладе сладостной фонтанов» (октябрь—начало ноября 1828 г.). Блестящий анализ этого стихотворения был дан Н. В. Измайловым, с полной убедительностью раскрывшим адресата.[2] Ориентальный колорит стихотворения долгое время дезориентировал комментаторов, направляя их по ложному пути: в восточных одеждах искали восточного поэта, в то время как парадоксальная острота пушкинской художественной мысли заключалась именно в концепции образа: европейский романтический поэт перевоплощается в первого среди «сынов Саади», оставив их за собой. Это была «мифологема», но не биографического, а литературно-эстетического свойства, опиравшаяся на «Крымские сонеты» и, возможно, отчасти на цикл «арабских» стихов, включая только что написанного «Фариса». Биографический мотив, однако, вплетается в стихотворение, образовав в нем лирическую тему «далекой родины».

Второе произведение, принадлежащее кн. З. Волконской и написанное в том же 1828 г., содержало уже прямую концепцию личности. Это — известный «Портрет», опубликованный двумя годами позднее в русском переводе.[3] «Кто сей смертный, коего чело, кажется, увенчано горестным воспоминанием, даже среди шума веселий! Ужели он одинок на земле? Нет! Взоры друзей устремлены на него и останавливаются на нем, как бы он был средоточием их мыслей. Или жизнь ему надоела?. . В глазах его выражается грусть, в улыбке насмешка.— Может быть, подобно Байрону, и он преследуем злобою и завистью? Может быть, струны сердца его оборваны, и, подобно разбитой лире, оно уже не издает никаких звуков? Или, как тяжкая цепь на рабах, совесть не отягощает ли его мыслей? Но нет: душа

[1] См., например, новейшую работу: *Semczuk A*. Lermontow w Moskwie 1827—1830. — Slavia Orientalis. Warszawa, 1981, roćn. XXX, Nr 1, s. 7. — А. Семчук ссылается на неопубликованную полностью работу Ю. Борсукевича (*Borsukiewicz T*. Lermontow i literatura polska. Wrocław, 1967); ср. также: *Borsukiewicz T*. Lermontow a Mickewicz. — In: O wzajemnych powiązaniach literackich polsko-rosyjskich. Wrocław; Warszawa; Krakow, 1962, s. 96—123 (с литературой вопроса).

[2] *Измайлов Н. В*. Мицкевич в стихах Пушкина. (К интерпретации стихотворения «В прохладе сладостной фонтанов»).— В кн.: *Измайлов Н. В*. Очерки творчества Пушкина. Л., 1975, с. 125—173.

[3] *З. В*. Портрет. (В альбом). — Денница, альманах на 1830 год, изд. М. Максимовичем. М., 1830, с. 114—117. — Перепечатано: Соч. княгини З. А. Волконской, урожденной княжны Белосельской. Париж и Карлсруэ, 1865, с. 27—28 (французский текст см.: Oeuvres choisies de la Princesse Z. Volkonsky. Paris; Carlsruhe, 1865, p. 249—251).

его свободна, чиста: он может без укора смотреть на добродетель; благородный поступок, великодушие; все, что истинно, все, что прекрасно, пленяет, восхищает его. Внимает ли он трогательной, но величественной гармонии: он исполняется святой радости, — святой, ибо она меланхолическая. Тогда покой нисходит на его взволнованную душу, тогда гений его упоен божественными звуками, тогда он сам — весь гармония. — Но произнесли одно слово, и радость его исчезла: глаза его неподвижно остановились на том предмете, который они созерцали; багровая краска вспыхнула на его ланитах <. . .> Кто-то назвал при нем страну чуждую <. . .> чуждую для нас, священную для него <. . .> Там его мать отирала первые слезы; там сердце его впервые любило; там предания лелеяли его гений; там думы и отечество создали в нем поэта! <. . .> Литовский ветр ударил в струны этой Эоловой арфы! Тогда певец лесов запевает песнь лесов; он открывает свою душу, он развивает свою думу; он обращается равно ко всем; во всех он видит только братьев. Выражения его сжаты, но исполнены страсти и силы. Его отечество с жадностью внимает сим отдаленным звукам; оно собирает его поэтические вдохновения и гордится сим народным гением, ибо оно всегда и везде озаряет и воспламеняет его».

Легко заметить в этом описании те же принципы стилизации образа, которым следует и ранний Лермонтов в своих характерологических портретах, — и даже выделить совпадающие словесные формулы. Контраст тайной грусти и внешнего веселья намечен уже в романсе «К друзьям» (1829): «Но нередко средь веселья дух мой страждет и грустит»; он определяет поведение Арбенина в «Странном человеке», — как и «насмешливая улыбка»; все это повторится потом в портретных описаниях Печорина в «Герое нашего времени» «злоба и зависть» — почти фразеологическое сращение (ср. в «Тучах»: «зависть ли тайная, злоба ль открытая?»). Это не близость образца и копии, но родство исходных принципов «байронического» портрета. Портрет этот в целом не тождествен лермонтовским. З. Волконская отнюдь не была «байронистом» и лишь учитывала байроническую ориентацию Мицкевича. Свою концепцию его личности она проецировала на тип элегического героя-изгнанника, обрисовавшегося в «Путешествии Чайльд-Гарольда», в пушкинской элегии «Погасло дневное светило» и в собственных стихах и поэмах Мицкевича, — более всего в «Конраде Валленроде». С другой стороны, она ориентировалась на тип вдохновенного поэта, созданного теорией и литературной практикой любомудров, — всеобъемлющего гармонического органа божества, выразителя национального духа. Концепция возникает на скрещении двух этих тенденций, — и решительно противоречит френетическому типу «злодея-героя», к которому будут тяготеть персонажи ранней лирики Лермонтова. Вместе с тем «изгнанничество» оказывается доминантой образа, — и это сближает его с лермонтовским лирическим героем 1830—1831 гг.

Итак, в конце 1820-х г. возникают по крайней мере две литературные интерпретации личности и поэзии Мицкевича. Число их затем станет увеличиваться, — достаточно напомнить знаменитый набросок Пушкина «Он между нами жил. . .» с двумя контрастно сопоставленными концепциями: «мирного гостя», вдохновенного свыше (характерно, что тема «изгнания», намеченная в ранних черновых набросках,[4] устраняется из поздней

[4] *Цявловский М. А.* Статьи о Пушкине. М.; Л., 1962, с. 203, 205.

редакции, — Пушкину нужна иная трактовка личности), и «злобного поэта». Но такая концепция могла возникнуть только позднее, — уже после того, как между Мицкевичем и его «русскими друзьями» пролег рубеж 1830—1831 гг.

В это время четырнадцати-пятнадцатилетний Лермонтов учится в Московском университетском благородном пансионе и впервые сталкивается с московской литературной средой. В его стихах 1828—1829 гг. слышатся отзвуки литературных проблем, занимавших «любомудров», и — что для нас еще важнее — замечаются следы знакомства с литературным бытом столицы. Нам предстоит присмотреться именно к этим его стихам, и прежде всего к «Романсу» (Коварной жизнью недовольный, 1829), в котором Б. М. Эйхенбаум еще в 1936 г. совершенно справедливо заподозрил отклик на реальные события, имевшие место в кружке «любомудров».

2

Среди стихов раннего Лермонтова, чаще всего интимно-лирических и имеющих литературное происхождение, «Романс» («Коварной жизнью недовольный. . .») выделяется конкретностью реалий. В нем идет речь об «изгнаннике самовольном», покидающем Москву для «Италии златой» и прощающемся с друзьями, мирными досугами за бокалом вина, «московскими девами» и в особенности с одной из них, к которой он обращает прощальную речь, уверяя ее в своей вечной привязанности. Отъезд героя, добровольный внешне, вынужден внутренними причинами: его преследует «коварная жизнь» с ее «низкой клеветой». В стихотворении, таким образом, сплелись какие-то реальные факты с характерно элегическими мотивами или, скорее, первые были обобщены и расширены до последних.

«Романс» был прокомментирован впервые в 1936 г. в собрании сочинений Лермонтова под редакцией Б. М. Эйхенбаума; редактор принял и обосновал высказанную устно догадку И. Л. Андроникова, что в стихотворении речь идет об отъезде в Италию С. П. Шевырева — поэта, эстетика, критика, одного из главных участников хорошо знакомого Лермонтову «Московского вестника». Его экспозицию («Коварной жизнью недовольный, Обманут низкой клеветой, Летел изгнанник самовольный В страну Италии златой») комментатор связал с полемикой, начатой Шевыревым против Булгарина в 1828 г. «В ответ на его (Шевырева, — *В. В.*) резкий отзыв о «Северной пчеле» на него напал Булгарин, имевший тогда большое влияние. Это нападение вызвало некоторую панику и раскол внутри редакции «Московского вестника»: перепуганный Погодин считал выступление Шевырева ошибкой, и его положение в редакции пошатнулось. В связи с этим друзья Шевырева посоветовали ему воспользоваться предложением кн. З. А. Волконской и ехать с нею в Рим в качестве воспитателя ее сына».[5] Такая исходная ситуация подготавливает последующий монолог «изгнанника», с упоминанием возлюбленной. Здесь Б. М. Эйхенбаум обращает

---

[5] *Лермонтов М. Ю.* Полн. собр. соч. М., Л., Academia, 1936, т. 1. Стихотворения 1828—1833 гг., с. 425. — Предположение о Шевыреве как адресате «Романса» было высказано И. Л. Андрониковым.

внимание на письмо к Шевыреву В. П. Титова, намекавшего на какую-то его петербургскую привязанность: «...твою приятельницу m-lle N. etc., — писал Титов, — я уверял, что ты не мог забыть Питера и желаешь ехать в чужие края, чтобы иметь случай хоть мимоходом видеть ее еще раз».[6] Исследователь предполагал, что этой приятельницей могла быть А. И. Лаваль, адресат стихотворения Шевырева «Партизанке классицизма» (1829).

Версия о Шевыреве как адресате «Романса» в дальнейшем не оспаривалась и была принята лермонтоведами, в том числе и автором этих строк.[7] Между тем она вызывает целый ряд вопросов и сомнений.

Прежде всего история отъезда Шевырева рассказана Б. М. Эйхенбаумом не совсем точно. Реально дело обстояло следующим образом. Шевырев начал полемику с Булгариным в «Обозрении русской словесности за 1827 год», напечатанном в первой январской книжке «Московского вестника» за 1828 г. Статья появилась в тот момент, когда М. П. Погодин, редактор журнала, находился в Петербурге и устанавливал с Булгариным литературные и личные контакты. «Я был угощаем в Петербурге Булгариным, который дал особый обед, — Пушкин, Мицкевич, Орловский пировали здесь вместе, — вспоминал Погодин, — и не успел я уехать из Петербурга, как пришла туда первая книжка с громогласным разбором нравственно-описательных сочинений Булгарина. Он взбесился, называл меня изменником, и началась пальба. Правду сказать, что он имел некоторое право сетовать на отсутствие всякой пощады со стороны Шевырева, который воспользовался моим отсутствием и грянул».[8] Булгарин отвечал антикритикой, где апеллировал публично к авторитету Погодина.[9] Положение последнего стало щекотливым; 30 января 1828 г. он записывает в дневнике: «Булгарин написал преглупую статью на Шевырева. Ну взбесится теперь мой Шевырев. Уже и Веневитинов кричит. Много мне труда предстоит».[10] Тем не менее он напечатал сдержанный ответ Булгарину, где в основном солидаризировался со статьей Шевырева («Шевырев защищен благородно, я опять в стороне, без нарушения приличий», — записал он в дневнике). Погодина упрекали в «слабости», недостаточной решительности; он, действительно, избегал обострения полемики и стремился сдержать полемический пыл Шевырева («зачем баловать мальчика, который кусает себе ногти»), — однако, несмотря на разногласия, иной раз очень резкие, их отношения оставались дружескими. О «пошатнувшемся» положении Шевырева в редакции «Московского вестника» говорить, конечно, не приходилось; более того, Шевырев боялся, что на него упадет вся тяжесть журнальной работы. 11 сентября 1828 г. он писал Погодину из Петербурга: «Жуковский говорит мне, что Круг здесь воет о тебе: давайте мне Погодина. След., есть надежда, и верная, что ты по приезде государя переедешь в Питер. Так у меня одного на плечах останется „Москов.<ский> Вест.<ник>“, ибо здесь сотрудники решительно неверные. Это узнал я по

---

[6] *Барсуков Н. П.* Жизнь и труды М. П. Погодина, т. II, с. 303.

[7] См.: Лермонтовская энциклопедия. М., 1981, с. 473 (с библиографией), с. 71, 621.

[8] А. С. Пушкин в воспоминаниях современников. М., 1974, т. 2, с. 33.

[9] Северная пчела, 1828, № 11 (26 января).

[10] *Барсуков Н. П.* Жизнь и труды М. П. Погодина, т. II, с. 168. — Веневитинов — Алексей Владимирович, брат поэта.

опыту. Нет, друг мой! если ты сколько-нибудь меня любишь, если сколько-нибудь ценишь Шевырева как литератора, то пощадишь мое время и скажешь мне: „не берись за это дело. Тебе не то назначено. Учись, приготовляй, собирай“. — Это голос души моей: его я слышал от Жуковского, от Пушкина, от Титова. Этот же голос надеюсь от тебя услышать, если ты друг мне. Душа просит других занятий — и все ей отвечает: да».[11] Итак, уже в сентябре 1828 г. Шевырев готов оставить журналистику во имя ученых занятий и ищет поддержки у Погодина, — и причиной тому вовсе не были неудачи на полемическом поприще, ни тем более разногласия в редакции «Вестника». Когда в начале 1829 г. княгиня З. А. Волконская решила отправиться в Италию и пригласила с собой Шевырева в качестве воспитателя своего сына, и самим Шевыревым, и его ближайшими друзьями это было воспринято как осуществление его давнишних мечтаний. Погодин писал ему: «Как мне жаль, как мне жаль тебя; но с богом! Да хранит тебя небо, и да возвратишься ты к нам еще сильнее, свежее, веселее. Иди твердо по своей дороге, не теряй никогда из виду своего назначения, работай и не шали много: вот тебе мое дружеское наставление».[12]

Все эти данные показывают с совершенной очевидностью, что отъезд Шевырева вовсе не воспринимался как «изгнание», хотя бы и добровольное. К началу его путешествия — февралю 1829 г. полемики годичной давности уже потеряли актуальность, — и нет решительно никаких указаний на то, что кто-либо, хотя бы и ошибочно, выставлял их в качестве причины заграничной поездки Шевырева. С другой стороны, в многочисленных прощальных посланиях, адресованных З. А. Волконской, мотив изгнанничества отсутствует; обетованная Италия рисуется в них как страна «искусств и просвещения». И. В. Киреевский писал о «*необходимости Италии*» для художественной натуры («О русских писательницах», 1833); Н. Ф. Павлов — об «отчизне сладкой лиры», куда адресат его послания «воскреснуть силами спешит», чтобы подобно соловью «запеть» под южным солнцем.[13] В послании Баратынского З. А. Волконской все эти мотивы сложились в последовательную концепцию: «кумир» Москвы уезжает «в лучший край и лучший мир», оставляя осиротевших друзей и страну «зимы». «Зима» здесь символична: она означает не только климат, но и общество, «ледяной свет», как потом скажет Лермонтов:

Из царства виста и зимы,
Где под управой их двоякой
И атмосферу, и умы
Сжимает холод одинакой,
Где жизнь какой-то тяжкий сон,
Она спешит на юг прекрасный,
Под Авзонийский небосклон,
Одушевленный, сладострастный. . .[14]

---

[11] Лит. наследство. М. 1934, т. 16—18, с. 699—700; *Барсуков Н. П.* Жизнь и труды М. П. Погодина, т. II, с. 179 и сл.

[12] Русский архив, 1882, № 5, с. 76; ср.: *Барсуков Н. П.* Жизнь и труды М. П. Погодина, т. II, с. 303.

[13] Ср.: *Гаррис М. А.* Зинаида Волконская и ее время. М., 1916, с. 89—93.

[14] *Баратынский Е. А.* Полн. собр. стих. М.; Л., 1936, т. 1, с. 146. — Впервые — «Подснежник» на 1829 год. СПб., 1829, с. 151 (под загл.: «Княгине З. А. Волконской на отъезд ее в Италию»).

В этой связи особенно любопытно послание Шевырева. У него нет противопоставления «севера и юга», «зимы и лета», и соответственно Москвы и Рима; напротив: переезд в Рим «лучшего перла» московской «короны», «лучшего цвета» московских садов есть символ единения двух центров — западной и восточной культуры:

К Риму древнему взывает
 Златоглавая Москва
И любовью окриляет
 Хладом сжатые слова.

Древней славой град шумящий,
 Прими привет Москвы,
Юной славою гремящий
 В золотых устах молвы.

. . . .
У тебя светило наше
 Льет роскошный теплый свет,
У тебя и небо краше —
 Так возьми ж к себе мой цвет.

. . . .
Сам любуйся на созданье
 Наших северных степей,
Но его благоуханье
 В сень родную перелей [15]

В этих строках ощущаются контуры будущих славянофильских концепций «Запада» и «Востока», в их специфически «шевыревском» варианте; вместе с тем они лишний раз показывают, что Шевырев не ощущал свое заграничное путешествие как изгнание и разрыв с «Москвой», хотя бы временный; хорошо известно, что его отрицание западной цивилизации никогда не распространялось на Рим и что интерес к римской и итальянской истории и культуре у него крепнет на протяжении 1830-х гг., как раз тогда, когда в его дневниках появляются первые элементы славянофильской доктрины.

Но если так, то нам придется отвести Шевырева как первого кандидата на роль адресата лермонтовского «Романса». В конце 1828—начале 1829 гг. он не находится в положении преследуемого («Коварной жизнью недовольный, Обманут низкой клеветой»); его отъезд в Италию воспринимается не как изгнание, а как приобщение к центрам европейской цивилизации и для него самого связан с большими ожиданиями, — и потому обращение к возлюбленной («Душа души моей! тебя ли Изгладят в памяти моей, страна далекая, печали, Язык презрительных людей») в общем контексте ситуации выглядит в его устах несколько неожиданно.

Добавим к этому хронологическую справку. Шевырев уезжал не из Москвы, а из Петербурга (вспомним, что в письмах, к нему обращенных, также идет речь о петербургской привязанности, а герой стихотворения как будто обращается к «московским девам» и к московской возлюбленной). В Петербург он приехал 16 февраля, а выехал за границу 28 февраля

---

[15] Соч. кн. З. А. Волконской, урожденной княжны Белосельской, с. 169—170; ср. там же и другое послание, более позднее (с. 171—175).

1829 г.[16] «Романс» же написан самое раннее через два месяца. Дело в том, что в первой его строке есть реминисценция из «Надежды» А. И. Подолинского («Бесплодной жизнью недовольный. . .»), появившейся впервые в альманахе «Подснежник».[17] Альманах этот вышел в свет 4 апреля 1829 г.; рассылку экземпляров начали несколькими днями позднее.[18] В Москве он появился, таким образом, не ранее середины месяца, что является и terminus post quem лермонтовскому стихотворению.

В «Подснежнике» Лермонтов мог увидеть стихи Баратынского к З. А. Волконской и Шевырева — к Лаваль, но из этих стихов он не мог почерпнуть оснований для своей поэтической концепции. Он мог слышать об отъезде Шевырева и от общих знакомых, например Раича, — но и они вряд ли интерпретировали его как «изгнание».

Между тем и «Подснежник», и московские разговоры, в том числе и, несомненно, разговоры в ближайших к Лермонтову литературных кругах, подсказывали ему имя прямого изгнанника, уезжавшего из Москвы как раз в апреле 1829 года. Этим человеком был Адам Мицкевич.

3

В начале настоящего этюда нам уже пришлось упоминать о возможных, более того, вероятных источниках знакомства Лермонтова с поэзией Мицкевича в 1828—1829 гг.[19] Однако в «Романсе» речь идет не о литературе, а о личности. Здесь были возможны только устные источники информации: ни одно из произведений, дающих ту или иную концепцию личности польского поэта, к 1829 г. опубликовано не было.

В 1826—1827 гг. ближайшее московское окружение Мицкевича составляли Вяземский, Пушкин, Н. Полевой, Баратынский и «любомудры». Среди последних был в то время и будущий учитель Лермонтова С. Е. Раич. 24 октября 1826 г. Погодин делает в дневнике запись об обеде, на котором присутствовали Мицкевич, Пушкин, Баратынский, Шевырев, Веневитинов, Раич, Киреевский и другие; пили за здоровье Мицкевича, затем Пушкина. Это был памятный в летописях русской литературы обед по случаю организации «Московского вестника»;[20] Мицкевич присутствовал при рождении журнала, который Лермонтов будет предпочитать всем остальным. 2 февраля 1828 г. Погодин вновь заносит в дневник: «Завтракали очень весело человек двадцать: Мицкевич, Вяземский, Хомяков, Веневитинов ⟨А. В.⟩, Раич, Полевые, Томашевский и пр.».[21]

Раич мог встречаться с Мицкевичем и за пределами кружка любомудров: у него были достаточно обширные литературные знакомства

---

[16] Лит. наследство, т. 16—18, с. 702, 705.

[17] *Лермонтов М. Ю.* Полн. собр. соч., т. 1, с. 426.

[18] *Синявский Н., Цявловский М.* Пушкин в печати. 1814—1837. М.; Л., 1938 с. ; ср. в нашей книге: Северные цветы. Альманах Пушкина—Дельвига. М., 1978, с. 169, 268.

[19] Хронологический перечень переводов из Мицкевича и упоминаний о нем в русской периодической печати за 1825—1829 гг. см.: Адам Мицкевич в русской печати. 1825—1855. Библиографические материалы. М.; Л., 1955.

[20] Пушкин в воспоминаниях современников, т. 2, с. 13, 29—30.

[21] *Барсуков Н. П.* Жизнь и труды М. П. Погодина, т. II, с. 186.

в Москве. Напомним, что он пользовался литературным покровительством И. И. Дмитриева и отчасти Вяземского и до середины 1820-х гг. был довольно тесно связан с Полевым, с которым собирался одно время издавать журнал. Все это — знакомые, а иногда и очень близкие знакомые Мицкевича, как Вяземский и Полевой. Наконец, он виделся с Мицкевичем в московских литературных салонах.

Это обстоятельство существенно. Конечно, представление о личности Мицкевича формировалось в профессиональных литературных кругах, — однако романтизированный, концептуальный «Портрет» вышел именно из салона Волконской, — и в этом была своя закономерность. Мы могли уже заметить, что герой лермонтовского «Романса» предстает читателю не литературной, но личной своей ипостасью, не в профессиональном, но в биографическом качестве, — так, как воспринимали его посетители и посетительницы кружка или салона. Другими словами, этот облик ближе к тому Мицкевичу, который появляется в «Портрете» Волконской, нежели к ориентальному певцу стихотворения Пушкина «В прохладе сладостной фонтанов». В салоне Волконской Мицкевич появляется уже в начале 1827 г.; по сведениям Вл. Мицкевича, его ввел туда Вяземский; он же представил его и хозяйке другого московского салона, А. П. Елагиной. Письма Ф. Малевского дают нам хронологию этих посещений: 27 января 1827 г. он пишет о полученном приглашении и подробно рассказывает о театральном и музыкальном вечере. С этого времени польские литераторы становятся почти домашними людьми в доме Волконских; так воспринимали их и завсегдатаи салона, например А. Н. Муравьев. В числе обычных гостей Муравьев назвал и своего воспитателя С. Е. Раича.[22]

Раич был одним из звеньев, — конечно, не единственным, — которые связывали Лермонтова с этим литературно-артистическим кружком, — и нет ничего удивительного, что в стихах Лермонтова 1830 г. проскальзывают следы знакомства с его внутренним бытом. Дальним отзвуком такого знакомства является его интерес к личности Веневитинова. Он располагал, конечно, прежде всего печатными источниками: сразу после смерти Веневитинова в печати начинают появляться его стихи и сведения о нем, которые потом составили основу биографического мифа об идеальном романтическом поэте. В 1827 г. «Московский вестник» печатает элегию «Поэт и друг» с примечанием: «Горькими слезами омочили мы сие стихотворение. Незабвенный друг наш чудесным образом предрек свою судьбу. . .» Именно это стихотворение отразилось реминисценцией в лермонтовской «Эпитафии» (Простосердечный сын свободы, 1830), причем строка «Он верил темным предсказаньям. . .», скорее всего, была навеяна журнальным примечанием. Когда в 1829 г. вышло собрание стихов Веневитинова, Лермонтов, уже несомненно, имел общее представление о той концепции личности Веневитинова, которая первоначально сложилась в устном предании, — и об этом косвенно свидетельствует то обстоятельство, что в его поэтическую память западают строки из «Завещания» — второго поэтического основания биографической мифологемы. «Эпитафию» 1830 г. считают иногда посвященной памяти Веневитинова; может быть, точнее видеть в ней

---

[22] *Mickiewicz Wl.* Żywot Adama Mickiewicza, t. 1, s. 272 et seq.; 234; А. С. Пушкин в воспоминаниях современников. М., 1974, т. II, с. 43—44.

автоэпитафию.[23] Однако даже и в последнем случае дело не меняется в существе: Лермонтов лишь строит свое лирическое «я» по веневитиновской модели. Он производит совершенно точный и целенаправленный отбор стихов, который был бы вряд ли возможен, если бы ему не была известна драматическая неразделенная любовь Веневитинова к Зинаиде Волконской — центральный стержень биографической концепции, придающий символический смысл мотиву перстня-талисмана (ср. «Он верил темным предсказаньям, И талисманам, и любви»). Обо всем этом невозможно было узнать из существующих публикаций, — но об этом говорили в Москве. 6 апреля Погодин записывал в своем дневнике: «Завтрак у меня. Представители русской образованности и просвещения: Пушкин, Мицкевич, Хомяков, Щепкин, Венелин, Аксаков, Верстовский, ⟨А.⟩ Веневитинов ⟨. . .⟩ Говорили о Дмитрии Веневитинове, о страсти его к княгине Волконской. Она искала в нем свежего юношу. . . Он боялся прикоснуться к божественному идеалу. Она мелка».[24]

Но если Лермонтов хотя бы в общих чертах имел представление о жизни салона Волконской, он не мог миновать в нем фигуры Мицкевича, подобно Веневитинову, но еще при жизни окруженному ореолом биографической легенды. Она создавалась спонтанно как легенда о поэте-изгнаннике. Она шла не только из круга Волконской, породившего «Портрет», — но и из других кружков и салонов, в которых бывал Мицкевич: например, из салона А. Елагиной — другого неофициального московского культурного центра. Рекомендуя Мицкевича попечениям Жуковского, Елагина писала о «гидре воспоминаний», терзающей «растерзанное сердце» поэта — основанием концепции становились собственные стихи Мицкевича («Resygnacija»).[25] Юная М. В. Киреевская записывала в дневник 19 февраля 1828 г.: «. . .У нас были Мицкевич и Матюшкин.⟨. . .⟩ Мицкевич много говорил о Польше, как это должно быть ему тяжело, бедный изгнанный».[26]

И наконец, еще один салон, из которого могли дойти к Лермонтову известия о Мицкевиче, — салон Пашковых. Это не литературный круг, — это один из бытовых центров культурной Москвы, в котором бывали, однако, Пушкин, Жуковский, А. Тургенев, А. Булгаков, юноша Огарев. Здесь вызревала втайне поэзия Е. П. Сушковой — будущей гр. Е. П. Ростопчиной, учителем которой, кстати сказать, был все тот же Раич, по свидетельству ее брата, развивший в ней любовь к поэзии.[27] Лермонтов войдет в близкое соприкосновение с представителями этой семьи несколько

---

[23] Впервые предположение о Веневитинове как адресате «Эпитафии» высказано Э. Э. Найдичем в примечаниях к изд.: *Лермонтов М. Ю.* Избранные произведения в двух томах. М.; Л., 1964, т. 1 (1828—1834), с. 673—674. См. также: *Андроников И. Л.* Великая эстафета. М., 1975, с. 240—241. — Трактовка стихотворения как автоэпитафии обосновывается Т. П. Головановой (см. ее прим. в изд.: *Лермонтов М. Ю.* Собр. соч. в 4-х тт. М.—Л., 1958, т. 1, с. 629—630; то же, 2-е изд. испр. и доп. Л., 1979, т. 1, с. 555—556).

[24] *Барсуков Н.* Жизнь и труды М. П. Погодина, т. II, с. 304.

[25] Письмо Жуковскому от 30 ноября 1827 г. В кн.: *Fiszman S.* Z problematyki pobytu Mickiewicza w Rosji. Warszawa, 1956, s. 88.

[26] *Парилова Г. Н.*, *Соймонов А. Д.* П. В. Киреевский и собранные им песни. — В кн.: Лит. наследство. М., 1968, т. 79, с. 24.

[27] *Сушков С.* Возражение на статью Е. С. Некрасовой о графине Е. П. Ростопчиной. — Вестник Европы, 1888, № 5, с. 393, 402, 431; *Сушков Д.* К биографии графини Е. П. Ростопчиной. — Исторический вестник, 1881, № 6, с. 301.

позднее; однако семейные связи восходят еще ко времени их пензенского пребывания: известен рассказ о столкновении А. В. Сушкова с одним из Столыпиных, — столкновении, кажется, окончившемся дуэлью.[28] Воспоминания самой Ростопчиной о времени знакомства с Лермонтовым нечетливы; она упоминала, что видела будущего поэта два раза на детских балах, где она «прыгала и скакала, как настоящая девочка», какою и была, в то время как он, в то время ученик Благородного пансиона, старался вскружить голову ее кокетливой кузине — Е. А. Сушковой.[29] Здесь — обычное для мемуаров смещение хронологии: в 1830 г., к которому относится юношеский роман Лермонтова, девятнадцатилетняя Додо Сушкова, конечно, не могла резвиться, «как девочка», на детских балах, — и, стало быть, первые встречи нужно отнести к 1828, если не к 1827 г., когда Лермонтов с бабушкой переехал в Москву. Уже в 1831 г. Лермонтов адресует «Додо» мадригальное послание, где обнаруживает не вполне обычную осведомленность в ее литературных занятиях: так, он знает о ее «Талисмане», напечатанном под анаграммой и тщательно скрывавшемся от родных, считавших поэтическую деятельность предосудительной для молодой девушки. Дело объясняется просто — неосознаваемыми, не фиксируемыми специально семейными знакомствами. Е. А. Ладыженская, сестра Е. А. Сушковой, писала о них: «Мы обе были знакомы с ним по Москве, он был сверстник и сотоварищ (по бывшему Моск. Благ. Унив. Пансиону) наших двоюродных братьев Сер. и Дм. Петровичей Сушковых, такой же неоперившийся юноша, как с десяток подрастающих или выросших мальчиков на глазах и на попечении Беклешовых».[30] «Я знал Лермонтова долго и хорошо, — подтверждал сам С. Сушков, — познакомились мы еще в отроческом возрасте на скамьях московского благородного университетского пансиона в 1828 году, где он был на два года старше меня по классу и летами. . .»[31] Лаконизм и скудость этих свидетельств есть показатель не разобщенности, а, напротив, — особой плотности бытовой и литературной среды, в особенности в Москве, где связи родства и знакомства по традиции сохранялись и поддерживались и не нуждались поэтому в специальных разъяснениях. Тем большее значение приобретает для нас мемуарное письмо Е. П. Ростопчиной от 17 марта 1852 г., где она рассказывала о первом визите Мицкевича и Малевского в дом Пашковых «более двадцати лет назад». Ростопчина вспоминала, как Павел Муханов привел к ним двух незнакомцев, «двух прекрасных юношей, двух странников, двух чужеземцев»; один из них, сразу обративший на себя внимание девочки, был «брюнет, с бледным лицом, с роскошной черной шевелюрой, вдохновенным взором, задумчивым выражением лица»; «на всем его облике было написано предсказание великого будущего, судьбы славной и исключительной». Муханов представил его как одного из самых великих поэтов века. Это был Мицкевич.[32]

---

[28] *Фадеев А. М.* Воспоминания, 1790—1867 гг. В двух частях. Одесса, 1897, ч. 1, с. 93—94.

[29] М. Ю. Лермонтов в воспоминаниях современников. М., 1972, с. 281.

[30] *Сушкова Е.* (Е. А. Хвостова). Записки. 1812—1841. Л., 1928, с. 327.

[31] *Сушков С.* Биографический очерк. — В кн.: *Ростопчина Е. П.* Сочинения. СПб., 1890, т. I, с. XXI.

[32] *Mickiewicz Wl.* Żywot Adama Mickiewicza. T. I. W Poznaniu, 1890, s. XLIII (подл. по-франц.).

В этом письме, как и в воспоминаниях Ростопчиной о Лермонтове, есть легкие и однотипные хронологические смещения. Если Муханов представил Мицкевича как автора «Валленрода», значит, визит состоялся не ранее 1828 г., — но тогда он не мог, конечно, посадить к себе на колени «крошку» («petite»), внучку Пашковых, которой было в ту пору около семнадцати лет. Остается думать, что визит этот произошел ранее, может быть, сразу после сближения Мицкевича с братьями Полевыми, с которыми сотрудничали братья Мухановы; детали могли выпасть из памяти Ростопчиной и контаминироваться с более поздними представлениями о Мицкевиче, наложившими сильный отпечаток на ее воспоминания. При всех обстоятельствах нам важно, что Мицкевич бывает у Пашковых как раз во время пансионского обучения Лермонтова и что и здесь он воспринимается младшим поколением как великий поэт, изгнанник (pélerin), «странник» с романтической судьбой. Конечно, речь Муханова передана по памяти и приблизительно, — однако и в этом виде она почти совпадает с тем, что писал о Мицкевиче «Московский телеграф»: «Когда умолк Гете, когда нет Байрона, Мицкевич — будем гордиться этим — не только *первый* поэт Польши, но едва ли не *первый* из существующих ныне поэтов. „Валленрод", „Праотцы", „Сонеты", „Фарис" суть создания творческого воображения, которым ни один из существующих ныне поэтов Англии, Германии, Франции и Италии ничего противопоставить не может».[33]

Мы можем прервать на этом обзор материалов о Мицкевиче в московских салонах. Он дает нам основания для исходного тезиса: известия о польском поэте могли проникать к Лермонтову не только из печати — и даже не в первую очередь из печати, а из устных источников, причем по самым разнообразным каналам, а не только через литературных информаторов типа Раича. При этом существенно, что вокруг Мицкевича уже складывалась изустная легенда, — и ядром ее было представление о великом поэте-изгнаннике. Оно опиралось, конечно, на реальную судьбу польского поэта, — но реальные судьбы не обязательно адекватны биографической мифологеме, — в данном случае мы можем говорить о последней. Она поддерживалась и самим Мицкевичем: в его письмах и разговорах второй половины 1820-х гг. скитальчество, изгнанничество проходит как одна из центральных автобиографических тем. В знаменитой прощальной импровизации в Москве в 1828 г. он сравнивал себя с нищим странником, погибающим на чужбине и сохраняющим при себе единственную драгоценность — подаренный ему друзьями кубок. Не лишним будет заметить, что лирический мотив «странника», «изгнанника» — один из важнейших как в раннем, так и в позднем лермонтовском творчестве.

Все это вполне соответствует той художественной идее, которая лежит в основе лирической биографии героя лермонтовского «Романса».

Теперь нам предстоит вновь обратиться к его тексту и проверить, соответствуют ли конкретные реалии реалиям биографии Мицкевича, известным в московском обществе.

Строка «Коварной жизнью недовольный, Обманут низкой клеветой» может иметь как общий, так и более конкретный смысл.

---

33 Московский телеграф, 1829, март, № 6, с. 199.

Выход в свет «Крымских сонетов» и «Конрада Валленрода» вызвал резкую реакцию в литературных и политических кругах. Вряд ли Лермонтов знал в 1829 г. о той «ужасной классической грозе», которая поднялась в Варшаве против романтической школы, о чем упоминал Вяземский в письме к жене в конце марта 1828 г.[34] и ответом на которую была статья Мицкевича «О критиках и рецензентах варшавских». Правда, статья эта была в 1829 г. напечатана в «Московском Телеграфе» как предисловие к собранию стихотворений Мицкевича, и следы полемики отразились в русской печати, — но было бы рискованно предполагать, что пансионер Лермонтов внимательно следил за этими спорами и расценивал их как инсинуации «классиков» против вождя польского романтического движения.[35] Зато трудно представить себе, что он не был осведомлен, хотя бы в самых общих чертах, о политических причинах «изгнанничества» Мицкевича. В 1827 г., рекомендуя Жуковскому Мицкевича и Малевского, Вяземский упоминал, что они «жертвы чванства и подлости Новосильцева»,[36] в апреле же 1828 г., после выхода «Валленрода» и краткого апологетического объявления о нем «Северной пчелы», Новосильцев составил обширный рапорт, где, исходя из содержания поэмы, обвинил ее автора в тайных противоправительственных замыслах.[37] Политическое дело велось секретно, но отзвуки его слышались в обществе. Мицкевич позднее рассказывал Реттелю, что донос Новосильцева был направлен Николаю I, находившемуся в армии Дибича за Дунаем, и пришел как раз в то время, когда Николай был в хорошем настроении из-за успехов русских войск. Он не придал особенного значения делу и отослал бумаги обратно в Петербург с повелением назначить комиссию для расследования. «Для этой комиссии, состоявшей из трех человек, кроме Жуковского, искреннего поклонника Мицкевича, был избран еще один, хотя и литератор, но давний приятель Мицкевича, и третий, человек недалекий и привыкший полагаться на авторитет коллег. Нет поэтому ничего удивительного, что составленный рапорт был весьма благоприятен для Мицкевича <. . .>. В это время Николай не хотел или не мог ближе заниматься этим делом, главным образом потому, что отношения между Варшавой и Петербургом, т. е. между ним и великим князем, были довольно напряженными. Добрым расположением царя не замедлили воспользоваться, и некоторые влиятельные особы стали хлопотать о разрешении Мицкевичу выехать за границу. . .»[38]

Вероятно, не случайно Вяземский в письме к жене в начале мая 1828 г. упоминает о преследованиях Мицкевича. «. . .Когда подумаешь,

---

[34] Звенья. М.; Л., вып. 3—4, 1934, с. 216.

[35] Московский телеграф, 1829, № 17, с. 3—36. — Такая версия, хотя и осторожно, все же высказывалась; см., например: Bulletin du Nord, 1828, janv., p. 50.

[36] *Мицкевич А.* Собр. соч., т. 5, с. 615.

[37] *Д‹убровин› Н.* Н. И. Греч, Ф. В. Булгарин и А. Мицкевич. (Материалы для их биографий). — Русская старина, 1903, № 11, с. 331—351; «Конрад Валленрод». (Материалы из архива Н. Н. Новосильцева). Публ. И. Г. Попруженко. — Русский архив, 1908, № 1, с. 64—74.

[38] *Mickiewicz A.* Pisma. Paryż; Lwow, 1880, t. V, s. 264. Приведено у Гомолицкого (Dziennik pobytu Adama Mickiewicza w Rosji, s. 257—258; русский перевод см.: *Реттель Л.* Александр Пушкин. Историко-литературная справка/Вступит. заметка, перевод с польского и прим. С. Басова-Верхоянцева. — В кн.: Звенья. М.; Л., 1934, вып. 3—4, с. 204—214.

что этот человек гоним и что пьяный Новосильцев и подлый Байков могут играть его судьбою! В хорошее время живем мы, нечего сказать!»[39] Уже позднее, в феврале 1829 г., перед самым отъездом, Мицкевич пишет Жуковскому ответ на его запросы, вкратце рассказывает о своей изгнаннической «Одиссее» и намекает на «Илиаду», с «неистовствами» «литовского Ахиллеса» — Новосильцева, «причинившего столько зла школьникам».[40]

Нам важно отметить во всех этих устных версиях мотив, который появится затем в лермонтовском стихотворении, — «несправедливое преследование», «наветы» «низкой клеветы» — очень существенный дополнительный штрих, довершающий портрет «изгнанника».

В это самое время, как будто демонстративно, московское общество устраивает Мицкевичу прощальный обед по поводу его отъезда из Москвы в Петербург. «Когда он уезжал из Москвы, — писал Малиновский Лелевелю 25 апреля (7 мая) 1828 г., — тамошние литераторы устроили великолепный пир, подарили ему серебряный кубок, на котором вырезаны имена участников банкета и поклонников Адама». Имена эти известны: Е. Баратынский, П. и И. Киреевские, А. Елагин, Н. Рожалин, Н. Полевой, С. Шевырев, С. Соболевский. «Декламировали стихи, написанные по этому случаю, — продолжает Малиновский, — пели песенки. Поэта провожали со слезами. Он отвечал им импровизацией, которая вызвала такой энтузиазм, что поэт Баратынский, упав на колени, воскликнул: «Ah mon Dieu, pourquoi n'est-il pas Russe! ‹Ах, боже мой, почему он не русский?›»[41]

Ф. Малевский сохранил нам содержание этой импровизации. Мицкевич сравнил себя со странником, умирающим в чужом краю. Хозяин, давший ему приют, не обнаружил на трупе ничего, кроме укрытого в складках плаща кубка.[42] Этой импровизацией был доволен сам Мицкевич; много позднее Петр Киреевский писал брату, что «силу живого слова» он «видел в полном величии при провожании Мицкевича».[43] Восклицание Баратынского, конечно, было ответом на самое содержание речи: оно также имплицировало понятие «изгнанник».

В сознании самого поэта и его друзей изгнание не оканчивалось, а продолжалось: Мицкевич уезжал не на родину, а на чужбину. Его отъезд принципиально разнился от учено-литературного путешествия Шевырева.

Весь этот вечер, состоявшийся в доме Соболевского во второй половине апреля 1828 г., носил ритуально-символический характер, и импровизация Мицкевича как нельзя лучше соответствовала прощальным стихам, сочиненным И. Киреевским. Стихи сопровождали памятный кубок и содержали основной поэтический мотив: дружбы, утешающей в страданиях и скитаниях, точнее, дружеского сопричастия. Кубок — символ связи, непрекращающегося духовного общения поэта с теми, чьи имена на нем запечатлены. Они откликнутся на грусть владельца:

---

[39] *Мицкевич А.* Собр. соч., т. 5, с. 625.

[40] Там же, с. 416.

[41] *Mickiewicz Wl.* Żywot Adama Mickiewicza, t. 1, s. 318—319; ср. в письме самого Мицкевича Одынцу 28 апреля /10 мая 1828 г.: *Мицкевич А.* Собр. соч., т. 5, с. 404.

[42] *Gomolicky L.* Dziennik pobytu Adama Mickiewicza w Rosji, s. 260—261.

[43] Русские Пропилеи. М., 1915, т. 1, с. 61.

И известит их о твоей тоске
Печальное их сердца содроганье,
И будут на твое воспоминанье
Согласной думой вторить вдалеке.
Но если ночью, посреди молчанья,
Вдруг без причины стукнет твой стакан,
Знай — это голос нашего мечтанья:
Его тебе примчал твой талисман.[44]

Он не дает только забвенья прошедшего — поэтическая концепция пушкинского «Талисмана». Именно на это отвечал Мицкевич своей символической речью: этот талисман, т. е. материализованный знак дружеской связи — *единственное*, что составляет достояние скитальца, с которым он не расстанется до могилы. Так, тема изгнанничества соединилась с поэтической темой дружбы.

Именно эта связь намечается в «Романсе» Лермонтова:

Забуду ль вас, — сказал он, — други,
Тебя, о севера вино!
Забуду ль в мирные досуги
Как веселило нас оно?

Конечно, здесь нет прямой связи с неопубликованными стихами Киреевского, — и самый монолог, со стереотипами гедонистической поэзии, далеко не отражает драматического величия момента. Но иначе и быть не могло: если Лермонтов и располагал какой-либо информацией об этом вечере (годичной давности), то, конечно, это была информация самая общая, — быть может о том, что Мицкевич произнес прощальную импровизацию. Напомним, что вечера в честь Мицкевича в Петербурге и Москве были весьма многочисленны, равно как и его импровизации; в конце марта 1828 г. Мицкевич с легкой иронией писал Одынцу, что его растущая слава нередко выходит из-за стола, за которым он ест и пьет с русскими литераторами.[45] Однако слухи о прощальном вечере, по-видимому, держались довольно долго; еще П. И. Бартенев собирал о нем устные сведения. Так, он сообщал, что Шевырев воскликнул за ужином: «Самодержавья скиптр железный перекуем в кинжал свободы».[46] В некрологе К. Павловой (частью основанном на беседах, которые он в свое время вел с самой писательницей) Бартенев упоминал, что «когда провожали из Москвы Мицкевича, она читала ему хвалебные стихи».[47] Но особенно интересен записанный им рассказ М. А. Максимовича: «Когда вышел „Конрад Валленрод", в Польше появился разбор его, неблагоприятно изъяснявший это произведение. Дело как-то дошло до царя. Он спросил, что за человек Мицкевич. Ему отвечали, что он то же для Польши, что Пушкин для русских. Царь приказал дать ему полную свободу жить за границею. Мицкевич уехал навсегда из России, и сначала в Рим. Мицкевича провожали из Москвы ужином, распорядителем был Соболевский. Поэту поднесли серебряный кубок с вырезанными именами московских его друзей, при чем пелись

---

[44] *Киреевский И. В.* Полн. собр. соч. в 2-х тт. М., 1911, т. II, с. 210.
[45] *Мицкевич А.* Собр. соч., т. 5, с. 397.
[46] Русский архив, 1909, кн. II, с. 479.
[47] *П. Б‹артенев›.* К. К. Павлова. — Русский архив, 1894, кн. I, с. 119.

стихи Шевырева: «Чрез Неман дай же руку!»[48] Этот рассказ весь основан на сведениях, полученных Максимовичем из вторых рук; он представляет собой устную версию, хотя и идущую из авторитетных литературных кругов, — и по своей структуре, отбору деталей, причинно-следственным связям почти идентичен «Романсу» Лермонтова. «Разбор», о котором идет речь, — донос Новосильцева, соответствующий «низкой клевете» у Лермонтова; она является причиной «самовольного изгнания» поэта; прощание, на котором утверждается неразрывная дружеская связь его с оставшимися в Москве друзьями, кадансирует все построение. Но у Лермонтова присутствует еще один сюжетный мотив: изгнанник обещает помнить

Снега и вихрь зимы холодной,
Горячий взор московских дев. . .

Это намек на светские успехи. Об увлечениях Мицкевича говорили в Москве еще в 1827 г.; слухи дошли до сестер Малевского, и приятелю Мицкевича пришлось опровергать сплетню, якобы они оба были одновременно влюблены в одну и ту же особу. Малевский оправдывался, что это могло быть разве в шутку.[49] Однако Мицкевичу приходилось увлекаться «московскими девами» и всерьез; Кс. Полевой вспоминал, что предметом «идеальной любви» Мицкевича была жена сотрудника «Московского Телеграфа» А. И. Красовского; С. Д. Полторацкий записывал, что Мицкевич был влюблен «смертельно», и Капитолина Красовская «кажется <. . .> умерла от этой любви, а он долго горевал».[50] Предполагается, что это произошло весной 1828 г. и что намек на эту утрату сделан в письме к Одынцу 22 марта (6 апреля).[51] Но лермонтовский «изгнанник» упоминает о «московских девах» для того, чтобы выделить среди них одну — предмет его особой привязанности:

Душа души моей! тебя ли
Изгладят в памяти моей:
Страна далекая, печали,
Язык презрительных людей?

Здесь есть возможность усмотреть намек на роман Мицкевича с Каролиной Яниш.

Толкование последнего мотива как опирающегося на биографические реалии, вообще говоря, несколько рискованно. Трудно приписывать пятнадцатилетнему Лермонтову осведомленность в деталях интимной биографии Мицкевича, и тем более стремление отразить ее в поэтическом тексте. Однако роман Мицкевича с Каролиной Яниш был явлением не совсем обычным; как мы постараемся показать далее, он также представлял собой некую мифологему и, сколько можно судить по косвенным данным, получил некоторый общественный резонанс.

---

[48] *П. Б‹артенев›*. Адам Мицкевич. (Записано со слов покойного М. А. Максимовича). — Русский архив, 1898, № 7, с. 480.

[49] *Mickiewicz Wl.* Żywot Adama Mickiewicza, t. I, s. 283.

[50] *Березина В. Г.* Мицкевич и «Московский телеграф». — В кн.: Адам Мицкевич в русской печати 1825—1955. Библиографические материалы. М.; Л., 1957, с. 471—472.

[51] *Мицкевич А.* Собр. соч., т. 5, с. 395.

Напомним внешнюю историю этих взаимоотношений. К. Павлова рассказывала Вл. Мицкевичу, что познакомилась с его отцом в салоне Зинаиды Волконской; до этого она вела уединенную жизнь в доме родителей и лишь по рассказам знала о московских литературных новостях. К. Д. Кавелин, заставший поэтессу в сравнительно поздние годы, писал, что в юности она общалась с любомудрами и Елагиной;[52] сама она рассказывала, что инициатива приглашения исходила от княгини. По-видимому, все так и было: в опубликованном недавно дневнике М. В. Киреевской есть упоминания о посещениях Янишей еще в 1826 г.; тогда же и в ближайшие последующие годы у Елагиных бывают Соболевский, Максимович, Норов (вероятно, Александр), Титов, Погодин, Мельгунов, Рожалин, Кошелев, Шевырев; 19 февраля 1828 г. приходит Мицкевич.[53] Конечно, это не полный перечень знакомых: нам известно, что в елагинском салоне собиралась чуть что не вся литературная Москва. Именно поэтому можно усомниться в том, что жизнь молодой девушки в отцовском доме была столь уже «уединенной», — во всяком случае, это не относится ко второй половине 1820-х гг., когда мы видим К. Яниш в кругу любомудров-приятелей братьев Киреевских. Самое приглашение в салон Волконской («она захотела со мной познакомиться и пригласила меня к себе», — вспоминала Павлова[54]), — было уже своего рода актом признания, показателем того, что Каролина Яниш — достаточно заметная фигура в артистических и литературных кругах. Здесь происходит знакомство ее с Мицкевичем; романтически настроенная, не чуждая восторженной экзальтации, она избрала его своим кумиром, и чтобы чаще общаться с ним, просила отца пригласить его в качестве учителя польского языка. Это произошло, видимо, в 1827 г.; учитель не остался равнодушен к даровитой ученице и пылкой своей поклоннице — и просил ее руки. Решительное объяснение состоялось 10 ноября 1827 г., — именно эту дату Каролина помнила в течение многих лет, — и спустя десятилетия отмечала ее стихотворными обращениями к Мицкевичу.[55] Брак расстроился из-за противодействия родных; 1 декабря 1827 г. Мицкевич уехал из Москвы в Петербург и расстался с Яниш почти на год. За это время он успел охладеть к предмету своей недолгой привязанности и двусмысленность отношений его тяготила; в письмах к Дашкевичу, поверенному этой любви (и, как Мицкевич узнал потом, безнадежно влюбленному в Каролину Яниш), в июле 1828 г. и позднее он постоянно упоминает о «художнице» (Яниш) и крайне озабочен тем, чтобы избавить девушку от душевной травмы: в это время сам он полон решимости прекратить роман. Тем временем Каролина посылает ему почти отчаянное письмо (от 19 февраля 1829 г.). «Я убедилась, что не могу жить, чтобы не думать о тебе, что все мое существование будет лишь постоянным воспоминанием. Мицкевич! что бы ни случилось, моя душа принадлежит тебе».[56] Это письмо делало воз-

---

[52] *Кавелин К. Д.* Собр. соч., т. III. СПб., 1899, с. 1119; ср. *Б‹артенев› П.* А. И. Елагина. — Русский архив, 1877, кн. II, с. 492—493.

[53] Лит. наследство, т. 79, с. 23—24.

[54] *Mickiewicz Wl.* Żywot Adama Mickiewicza, t. 1, s. 270.

[55] См. стихи: «10 ноября 1820», «На 10 ноября». — В кн.: *Павлова К.* Полн. собр. стих. Л., 1939, с. 6, 153.

[56] *Mickiewicz Wl.* Żywot Adama Mickiewicza, t. 1, s. XLIV—XLV.

вращение Мицкевича в Москву настоятельной необходимостью; он приезжает в марте, — не в последнюю очередь, чтобы решительно выяснить отношения. Ему удалось сгладить последствия разрыва, — трогательное и полное благодарности письмо Каролины, посланное ему уже 5 апреля, является тому живым свидетельством.[57] На следующий день он записывает в ее альбом стихи, — с той же темой, которая звучит и в прощальном монологе лермонтовского «Романса»: он сравнивает себя с перелетными птицами, которые каждую весну возвращаются на покинутый север. «Слыша их голос, вспомни изгнанника — друга: как только вслед за бурями ему забрезжит надежда, так мгновенно дух его на крылах веселья улетит вновь на полночь, вновь к тебе».[58]

Если бы Мицкевич и Яниш стремились скрыть свои взаимоотношения от посторонних глаз, — все равно, ни учительство его, ни встречи с Каролиной у Волконской и, возможно, у Елагиных не могли быть тайной в московском обществе. Но они и не пытались держать их в секрете — предложение Мицкевича было сделано официально. При повышенном интересе к личной судьбе Мицкевича в московских кружках одного этого уже было бы достаточно, чтобы объяснить, каким образом отзвуки всей этой истории могли попасть в стихи Лермонтова и приобрести в них драматический колорит, — но вероятность такого предположения еще увеличится, если мы примем во внимание некоторые особенности характера и социального поведения Яниш-Павловой, прекрасно известные современникам. «Вышепоименованная дева, — писал о ней Языков братьям, — есть явление редкое, не только в Москве и России, но и под луною вообще. Она знает чрезвычайно много языков <. . .>, — все эти языки она беспрестанно высовывает, хвастаясь ими. Любит громогласить стихи свои, владеть разговором. . .»[59] Это отзыв 1832 г., с которым почти буквально совпадают и многочисленные поздние, почти всегда иронические упоминания о Павловой, «смертной охотнице» до чтения своих стихов на литературных вечерах.[60] Существуют и более ранние свидетельства, показывающие, что уже в 1828—1829 гг. Яниши перестали вести ту замкнутую жизнь, о которой потом вспоминала писательница: И. В. Киреевский в письмах к Соболевскому в январе 1829 г. описывал обеды у З. Волконской, на которых бывали Пушкин, Вяземский, Баратынский, Шевырев, Дмитриев, Павлов (будущий муж К. Яниш), Погодин и «Каролина», в сопровождении двух спутников (Киреевский иронически аттестует их «евнухами»); при этом она «читает каждый раз страниц по сту поэтической прозы».[61] Уехав за границу в начале 1830 г., Киреевский вспоминал и о пятничных литературных собраниях у Янишей.[62] Это была форма личностного и социального самоутверждения — и она распространялась как на поэтическую деятельность, так и на личную, даже интимную жизнь. Когда в мае 1829 г. и вторично осенью того же года Москву посетил Александр Гумбольдт, К. Яниш встре-

---

[57] Ibid., p. XLV—XLVI.

[58] *Mickiewicz A.* Dzieła wszystkie. T. 1, cz. 2. Wiersze 1825—1829. Opracował Cr. Zgorzelski. Wrocław—Warszawa—Kraków—Gdańsk, MCMLXXII, s. 89.

[59] *Языков Н. М.* Полн. собр. стих. М.; Л., 1964, с. 639 (комм. К. К. Бухмейер).

[60] См., например: *Берг Н. В.* Записки. — Русская старина, 1891, № 2, с. 264.

[61] *Виноградов А. К.* Мериме в письмах к Соболевскому. М., 1928, с. 18.

[62] *Киреевский И. В.* Полн. собр. соч. М., 1911, т. I, с. 50.

тилась с ним и произвела на него весьма благоприятное впечатление; ходили, однако, слухи, что молодая поэтесса сама рассказывала о повышенном внимании к ней европейской знаменитости. Эти разговоры вызвали позднее эпиграмму Соболевского «Дарует небо человеку. . .», которая распространялась также под именем А. А. Елагина и И. В. Киреевского.[63] Кстати, другой московский слух связывал имена Яниш и самого Киреевского; глупая эпиграмма безвестного графомана, написанная по поводу мнимой влюбленности Киреевского в Яниш, была известна и адресатам, которые над ней подтрунивали.[64]

Можно утверждать с полной вероятностью, что альбом Яниш с посвящением Мицкевича становится известен в это же время. В конце 1828 или начале 1829 г. сюда записывает свои стихи Баратынский; в мае или июне — уже после Мицкевича — Языков; вероятно, несколькими месяцами позднее — Вяземский.[65] И. И. Панаев, знавший Яниш-Павлову уже в 1840-е гг., вспоминал, что она была известна «своим поэтическим даром и альбомом, в который написал ей что-то сам Гете».[66] Судя по контексту его рассказа, сам он альбома не видел, но слышал о нем. Альбом становился предметом устной легенды — как и сама личность Каролины Яниш.

Роман ее с Мицкевичем включался в эту легенду о поэтической, едва ли не гениальной натуре, живущей жизнью духа и идеального чувства. При всей искренности ее чувства она не удержалась от его демонстрации. Она рассказывала о нем Дашкевичу, и самые письма ее к Мицкевичу были подсознательно стилизованы под литературные эталоны. Сведения Бартенева, — к сожалению, пока не поддающиеся проверке, — что Каролина Яниш читала на проводах Мицкевича прощальные стихи, — представляют в этом смысле первостепенный психологический интерес. Мы знаем, однако, что во время отсутствия Мицкевича она переводила «Валленрода» и перевод был рассчитан на распространение и известность. В январе 1830 г. И. Киреевскому сообщили в Мюнхен из Москвы, что перевод этот окончен, и Киреевский писал в Рим Шевыреву 21 февраля: «он хотя не напечатан, но отправлен к Гете, с посвятительным сонетом, из которого знаю только начальный стих: Mir ward ein Kranz aus goldnen Secunden».[67] В этом письме также любопытен определенный коэффициент неточности, характерный для сведений, исходящих из вторых рук: отрывки из перевода были отправлены Гете значительно раньше: о них знал Одынец уже в августе 1829 г.,[68] сонет был посвящен не Гете, а Гумбольдту. Нам известно и о другом переводе — уже на французский язык — он находился в доме маркизов Риччи, «переплетенный в красный сафьян», «с посвяще-

---

[63] См.: *Панаев И. И.* Литературные воспоминания. М., 1950, с. 394 (прим. И. Г. Ямпольского, со сводом литературы).

[64] Татевский сборник. М., 1899, с. 107—109.

[65] Ср. *Баратынский Е. А.* В альбом. Галатея, 1829, № 6, с. 90; *Языков Н. М.* Кар. Кар. Ян. . . (В альбом). — Лит. газета, 1830, 30 июня; *Вяземский П. А.* В альбом Кар. Кар. Я***. (С стесненьем чувств смотрю на ваш альбом. . .). — В кн.: Радуга, литературный и музыкальный альманах на 1830 год. М., 1830 (ценз. разр. 10 декабря 1829 г.).

[66] *Панаев И. И.* Литературные воспоминания, с. 162.

[67] Голос Минувшего, 1914, № 7, с. 215.

[68] См. письмо его Ю. Корсаку (из Веймара 20 августа 1829 г. — *Мицкевич А.* Собр. соч., т. 5, с. 635.

нием от восторженной поклонницы творцу поэмы».[69] Нет сомнений, что он был передан или переслан самой К. Яниш.

В 1840—1850-е гг. она будет постоянно возвращаться к образу Мицкевича в стихах и «бесконечных рассказах». Уже восьмидесятилетней старухой, на шестьдесят лет потерявшей из виду своего избранника, она будет писать Владиславу Мицкевичу: «Передо мной его портрет, а на столе маленькая вазочка из жженой глины, подаренная мне им, на пальце я ношу кольцо, которое он мне подарил. Для меня он не перестал жить. Я люблю его сегодня, как любила в течение стольких лет разлуки. Он мой, как был им когда-то. . .»[70] Достаточно сравнить эмоциональный рисунок этих строк и стихов «на 10 ноября», чтобы почувствовать разницу: в стихах идет речь о «странных» «младых снах», даже о «развенчанном идоле». Есть основания думать, что автобиографическая «Дума» («Вчера листы изорванного тома. . .», 1843) с ее концовкой:

Кто оживит в душе былые грезы?
Кто снам моим отдаст их прелесть вновь?
Кто воскресит в них лик маркиза Позы?
Кто к призраку мне возвратит любовь?[71]

также относится к Мицкевичу, — и быть может, выразительнее, чем другие, оттеняет легендарный характер психологической версии «вечной любви». Тем не менее она создавалась, окружаясь ореолом романтической жертвенности, и гипертрофировалась до некоего идеального эталона.

Отзвуки этой эстетизированной концепции, как нам представляется, и попадают в концовку лермонтовского «Романса». Образ возлюбленной «самовольный изгнанник» уносит на «скалы Гельвеции» и многолюдные стогны Рима.

Это пишется вскоре после того, как в московских литературных кругах и в московских журналах начинают говорить об отъезде Мицкевича за границу. В марте об этом сообщает Полевой: «Мицкевич оставляет теперь Россию и едет в Италию. Там, на развалинах Рима и гробницах бессмертных людей, ждут его новые вдохновения. Далекие соотечественники, далекие друзья, мы будем ждать новых песнопений его и надеемся, что он явит нам новые великие творения».[72] Почти одновременно появляется подобное же известие в «Вестнике Европы». 5 апреля В. Л. Пушкин рассказывает Вяземскому о визите к нему Мицкевича и добавляет: «Он отправляется в Дрезден, а оттуда в Италию или может статься, в Париж — смотря по обстоятельствам».

Москва прощалась с Мицкевичем, — и канун его отъезда был едва ли не кульминационной точкой интереса к его личности. Он поддерживался,

---

[69] *Darowski A*. Kronika Rzymska. — Biblioteka Warszawska, 1898, t. 1, вып. 3, март, с. 463. — Приведено у Гомолицкого (Dziennik pobytu. . ., s. 176). О третьем переводе см.: *Измайлов Н. В.* Неизвестный перевод из Мицкевича Каролины Павловой (Яниш). — В кн.: Адам Мицкевич в русской печати, с. 489—497.

[70] *Mickiewicz Wl.* Żywot Adama Mickiewicza, t. 1, s. 273 (перевод — *Мицкевич А*. Собр. соч., т. 5, с. 696).

[71] *Павлова К.* Полн. собр. стих., с. 32.

[72] Poezye Adama Mickiewicza. (Стихотворения Адама Мицкевича). 2 части. Новое, доп. изд. СПб., 1829, в т. К. Крайя, in 16, XXXIV, 284 и 300 стр. — Моск. телеграф, 1829, № 6; Русская литература, с. 200—201.

помимо всего прочего, пушкинским переводом отрывка из «Конрада Валленрода» и портретом Мицкевича, появившимся в первой части «Московского вестника» за 1829 год.

Есть все основания полагать, что «Романс» Лермонтова был откликом именно на это событие.

Если наше предположение справедливо, то юношеское стихотворение Лермонтова оказывается существенным и для истории восприятия личности и поэзии Мицкевича в русской литературе, и для исследования литературно-бытовой среды, в которой развивалось раннее творчество великого русского поэта. Однако художественная проблематика «Романса», конечно, не может быть сведена к отклику на конкретное, хотя бы и весьма значительное событие. Лермонтов описывал не отъезд Мицкевича, но «самовольное изгнание» лирического героя, ориентированное на общие контуры реальной биографии. «Романс» включался в литературную — более всего элегическую — традицию и деформировал и изменял реалии согласно ее законам, отсекая все, что им противоречило. В данном случае ему не приходилось менять эти реалии кардинально, потому что «легенда о Мицкевиче» строилась в общественно-литературном сознании почти по тем же эстетическим канонам. Она включала преследования, изгнание (в том числе и «добровольное»), разлуку и несчастную любовь. Это была принципиальная схема новой, «байронической» элегии, представителем которой было пушкинское «Погасло дневное светило. . .»

Именно поэтому Лермонтов мог еще раз воспроизвести ту же лирическую биографию — уже вне всякой связи с Мицкевичем — в «Элегии» («Дробись, дробись, волна ночная. . .», 1830).[73] Она отчасти ориентирована на пушкинских «Цыган» и содержит тот же комплекс лирических мотивов, вплоть до «добровольного изгнания». Но здесь уже нет реалий: нет «Италии», — и воспоминания о «блеске обманчивой столицы» и «невозвратимом рае» «пагубных веселий» возникают с обратным знаком, как ценностно негативное. Все это вполне соответствует элегическому канону конца 1820-х гг. В ближайшие же годы и даже месяцы в качестве реального субстрата его «стансов», «романсов» и элегий являются иные биографии — Байрона и Шенье.

Он обратится к Мицкевичу много позднее — и притом не как к личности, а как к автору «Крымских сонетов». Но это — уже особая тема.

---

[73] *Лермонтов М. Ю.* Собр. соч. в 6-ти тт. М.; Л., 1954, т. I, с. 120—121.





С. А. Фомичев

«ПЕСНИ ЗАПАДНЫХ СЛАВЯН» ПУШКИНА

История создания, проблематика и композиция цикла

В 1830-е гг. славянская тема становится одной из ведущих в исторических и художественных исканиях Пушкина. В эти годы он собирается написать историю Украины, принимает участие в задуманном П. В. Киреевским издании русских народных песен, пишет повесть о Кирджали, переводит из Мицкевича, занимается подготовкой комментированного издания «Слова о полку Игореве», пишет статью в «Современник» о сочинениях Георгия Конисского, остро интересуется славяноведческими трудами своих современников. Мало что из этих планов он успел выполнить. Несомненно, самым значительным из его завершенных произведений, касающихся исторических судеб славянства, стали «Песни западных славян».

В довольно большой исследовательской литературе, посвященной этому циклу, мы почти не находим работ, в которых это произведение было бы поставлено в контекст творчества Пушкина 1830-х гг. и было бы осмыслено как целостное пушкинское произведение. На первый взгляд, такая постановка вопроса вообще некорректна, так как здесь мы имеем дело в основном не с оригинальным произведением, а с переводами, к тому же с переводами пастиша Мериме. С другой стороны, почти полное отсутствие автографов «Песен западных славян» затрудняет датировку цикла. В академическом издании «Песни» печатаются под 1834 г., но в пушкиноведении их относили к разным годам, начиная с 1828-го и кончая 1835-м (год публикации). Ясно, что диапазон в семь-восемь лет (треть всей творческой биографии Пушкина) заставляет с крайней осторожностью высказывать какие-либо определенные суждения о том, какое место цикл занимает в творческой эволюции поэта.

Следовательно, первейшая задача изучения цикла заключается в его датировке.[1] Только после этого, по-видимому, можно будет соотнести «Песни» с другими произведениями Пушкина той же поры и проанализировать проблематику и построение цикла.

---

[1] Сводку высказанных в пушкиноведении точек зрения о времени создания цикла см. в статье Ф. Я. Приймы «Из истории создания „Песен западных славян„ А. С. Пуш-

1

В 1827 г. в Страсбурге вышла книга «Гузла, или Избранные произведения иллирийской поэзии, собранные в Далмации, Боснии, Хорватии и Герцоговине». Вероятно, уже не позже 1828 г. она стала известна Пушкину. В 1828 г. на эту книгу откликнулся журнал «Сын отечества» (№ 5), в котором чуть позже (в № 14) был дан перевод трех «морлацких песен»: «Пламя Перушича», «Черногорцы» и «Экспромт», — две из них впоследствии переведены Пушкиным. В то время в России не подозревали о мистификации П. Мериме. «Песни», им сочиненные, воспринимались как подлинно народные, и А. Мицкевич перевел одну из них, «Морлак в Венеции» (в переводе Пушкина «Влах[2] в Венеции»), на польский язык. Переводил в 1829 г. «иллирийские песни» и друг Мицкевича А. Ходзько, с которым также общался Пушкин. Наконец, дополнительным аргументом, свидетельствующим о знакомстве Пушкина с «Гузлой», служат ее отзвуки, обнаруженные в его произведениях конца 1820-х гг.[3]

Из автографов «Песен западных славян» сохранился, собственно, только набросок стихотворения «Соловей» (вместе с записью четырех стихов оригинала сербской песни из собрания В. Караджича); [4] на внешних страницах этого двойного листа записаны так называемая «Вторая программа записок» и черновой набросок начала стихотворения «Осень», черновик стихотворения «Когда б не смутное влеченье» и несколько строк из второй части «Медного всадника». На основании последних строк автограф достаточно точно датируется октябрем 1833 г., так как в беловой рукописи «Медного всадника» стоит дата «31 октября 1833 г.».

К этим же дням относится и другой автограф (ПД 961), имеющий отношение к пушкинскому замыслу «Песен западных славян»: черновая рукопись «Сказки о рыбаке и рыбке», в конце которой помечено: «14 окт⟨ября⟩ 1833. Болдино. *18я песнь Серб⟨ская⟩*». Выделенные нами курсивом слова записаны одновременно с предыдущими. Из этого следует, что к 14 октября 1833 г. в цикле было намечено не менее 18 песен, причем в числе их были уже не только переводы из «Гузлы».

О том, что, отправляясь в 1833 г. в путешествие на Урал и в Болдино, Пушкин был увлечен песнями «иллирийских славян», мы имеем свидетельство С. А. Соболевского: «Я возвратился из-за границы 22 июля 1833 г.

кина» (в кн.: Из истории русско-славянских литературных связей XIX в. М.; Л., 1963, с. 95—123).

[2] Влахи (о которых в «Гузле» нигде не упоминается) довольно своеобразная этническая группа в Сербии и Боснии. «Вначале эта была категория социальная и этническая. Влахами назывались остатки романизированного населения Балканского полуострова. Они были пастухами и не имели собственного хозяйства. Занимаясь выпасом скота, перегоняя его с одних пастбищ на другие, влахи получали от феодала месячину» (История южных и западных славян. М., 1969, с. 36).

[3] См.: *Воробьев В. П.* К вопросу о времени создания А. С. Пушкиным «Песен западных славян». — Учен. зап. Саратовского Гос. унив., 1957, т. VI, с. 62—64. — Датировка цикла 1828 г., предложенная в этой статье, нам представляется недоказанной.

[4] Рукописный отдел Института русской литературы (Пушкинский дом) АН СССР, ф. 244, оп. 1, № 841, л. 35/18. В дальнейшем ссылки на пушкинский фонд даются сокращенно (ПД).

<. . .> Несколько дней спустя, т. е. в конце июля или начале августа,[5] Александр Сергеевич и я поехали вместе и доехали до Торжка; в Торжке разъехались. Я поехал к себе в деревню, а он к каким-то приятелям, чуть ли не к Вульфу <. . .> Пушкин решительно поддался мистификации Merimée, от которого я должен был выписать письменное подтверждение, чтобы уверить Пушкина в истине пересказанного мной ему, чему он не верил и думал, что я ошибаюсь. После этой переписки Пушкин часто рассказывал об этом, говоря, что Merimée не одного его надул, но что поддался и Мицкевич. „C'est donc en bonne compagnie, que je me suis laissé mystifier", прибавлял он всякий раз».[6] Эти немногочисленные, но весьма твердые основания позволяют датировать основную работу над циклом осенью 1833 г. (едва ли «песен» всего было написано намного больше, чем восемнадцать).

При датировке цикла должно быть принято во внимание и то, что именно к 1833 г. относится наибольшее количество завершенных и незавершенных замыслов Пушкина, свидетельствующих об усилившемся в его творчестве интересе к жанрам народной баллады и песни. Тогда были написаны «Гусар» (на украинский фольклорный сюжет), «Будрыс и его сыновья» и «Воевода» (переводы из Мицкевича), наброски песен «В поле чистом серебрится» и «Колокольчики звенят», начало стихотворения «В славной муромской земле». В том же году пишется и заметка о сочинениях и переводах П. Катенина, где подчеркивается его приоритет в создании жанра русской простонародной баллады.[7]

---

[5] 17 августа 1833 г.

[6] См.: Пушкин и его современники. Л., 1927, вып. XXXI—XXXII, с. 41—42 (перевод с фр.: «Я поддался на мистификацию в хорошей компании»).

[7] Относя «основную работу и завершение» цикла «Песни западных славян» к 1833—1834 гг., Н. В. Измайлов замечает: «Пушкин не мог не сопоставлять прославленную в песнях национально-освободительную борьбу сербов с крестьянской борьбой под руководством Емельяна Пугачева» (*Измайлов Н. В.* Очерки творчества Пушкина. Л., 1975, с. 233).

Если предположить, что цикл был обработан в основном во время Болдинской осени 1833 г., то естественно сравнить и текстуально «Песни западных славян» с другими произведениями, созданными в ту пору. Изберем для сравнения, например, «Историю Пугачева». Ср.: «С Елагина, человека тучного, содрали кожу; злодеи вынули из него сало и мазали им свои раны» (*Пушкин.* Полн. собр. соч., 1938, т. IX, с. 19; в дальнейшем при ссылках на это издание указывается том и страница). Тот же мотив мы находим в «Видении короля» и в стихотворении «Конь». Описывая расправу над Елагиным, Пушкин, конечно, опирался на исторические документы. Но включение в текст «Истории» столь сильной натуралистической детали (лежащей, казалось бы, за порогом эстетического) могло быть стимулировано соответствующим описанием в «Песнях западных славян»: «Атаганом ему кожу вспороли, Стали драть руками и зубами, Обнажили мясо и жилы И до самых костей ободрали» (III, 339). Столь же разительную деталь мы находим в описании Георгиевской церкви: «В церкви, куда мятежники приносили своих раненых, видны были на помосте кровавые лужи. Оклады с икон были оборваны, напрестольное одеяние изорвано в лоскутья. Церковь осквернена была даже калом лошадиным и человечьим» (IX, 26). Ср. в «Видении короля»: «На помосте валяются трупы, Между ими хлещет кровь ручьями, Как потоки осени дождливой» (III, 338). Мотив «сглаза», которому посвящено много страниц в «Гузле» (он не отразился в «Песнях западных славян»), мы находим в описании Пугачева: «Рассказывают, что многие женщины падали в обморок от его огненного взора и грозного голоса» (IX, 79).

Подчеркнем, что речь в данном случае идет, конечно же, не о реминисценциях — скорее всего Пушкин вольно или невольно зафиксировал в своей «Истории» мотивы,

Для осмысления творческой истории «Песен западных славян» важно учитывать то обстоятельство, что к середине 1833 г. Пушкин уже безусловно столкнулся с серьезными сомнениями в подлинности «песен», вошедших в «Гузлу». К этому времени анонимный «издатель» иллирийских песен в России был известен. В журнале «Московский телеграф» в рецензии на книгу Н. Маркевича «Украинские мелодии» походя замечалось: «Впрочем, еще скорее можно быть подражателем старине в стихотворениях, чем в мелодиях. И знаток ошибается иногда, читая таких подражателей, как Мериме, но еще не нашелся Мериме для напевов народных».[8]

Прямо обвинял Мериме в мистификации и журнал «Телескоп»: «Остроумный и изобретательный автор известного „Театра Клары Газуль" вздумал помудрить над своими соотечественниками, издав под вымышленным именем Гиацинта Маглановича собрание стихотворений, названное им „Guzla" (вероятно, «Гусли»), где как бы устами народных певцов морлаков и черногорцев воспеваются странные предания о вампирах и буйная, разгульная жизнь гейдуков, живущая действительно в воспоминаниях славян адриатических. Мистификация сия удалась так, что многие французские литераторы и журналисты, в пылу энтузиазма, провозгласили старца Маглановича Гомером нашего времени».[9]

Еще любопытнее, что в той же статье «Сербская словесность», едва ли ускользнувшей от внимания Пушкина, фактически приоткрывался источник, на котором было отчасти «основано изобретение странных сих песен» (в письме к Соболевскому Мериме объявил этот источник почти единственным, что было лишь новой мистификацией). Не могло не заинтересовать прилежного читателя «Гузлы» (а Пушкин несомненно был таковым) сходство «песни» Иакинфа Маглановича «Пламя Перушича» (в пушкинском переводе «Янко Марнавич») с книгой А. Фортиса «Путешествие по Далмации»,[10] которая упоминалась в данной статье: «Заимствуя язык и выражения от любви братской, дружба сербов кажется только видоизменением ее. Скажем более: дружба в народе сербском <. . .> есть союз святый и ненарушимый; узы ее заключаются при подножии алтаря и запечатлеваются всею святостию религии. Лица, соединенные таким образом, носят имя побратимов, если они мужчины, и посестрим, если женщины <. . .>. Молодые сербянки дружатся и сестрятся с трогательным чистосердечием, искренностью и даже благоговением. „Я был свидетелем подобного обряда, — говорит один писатель, по имени Фортис. — В церкви Перушской девушки соединились между собою торжественными узами дружбы. Священник произнес над ними особенное благославление и объявил их на всю жизнь и навеки посестримами, или крестовыми сестрами. . ."»[11]

Однако несмотря на категорическое обвинение Мериме в мистификации, несмотря на отчетливую перекличку с одной из песен Мериме описанного

которые его поразили и в «иллирийских песнях». Главное же заключалось, по-видимому, в том, что сходен был сам жизненный материал этих двух произведений: жестокая, беспощадная борьба народа с поработителями. Отсюда — и сходство отдельных деталей.

[8] Московский Телеграф, 1832, ч. 46, № 13, с. 74.

[9] Телескоп, 1832, № 12, с. 507—508.

[10] Viaggio in Dalmazia dell'abate Abberto Fortis. Venezia, MDCCLXXIV.

[11] Телескоп, 1832, № 12, с. 517—518.

Фортисом обряда в Перушской церкви, Пушкин еще в середине 1833 г. верил, что песни, вошедшие в книгу «Гузла», восходят к подлинно народным. В данном отношении у нас нет никаких оснований не доверять свидетельству Соболевского.

Но дело не только в нем.

О серьезном отношении к «Гузле» свидетельствует сам характер пушкинских переводов из нее.[12] Вспомним, что, как правило, он переводил более или менее точно лишь небольшие стихотворения или же предпринимал переводы из больших произведений (обычно — из зачинов) с целью своеобразной школы, не предназначая обычно эти переводы для печати (ср. переводы из «Неистового Ролланда» Ариосто, «Орлеанской девственницы» Вольтера, «Конрада Валленрода» Мицкевича, «Филиппа» Альфиери, «Медока» Соути и пр.). На этом фоне массив переведенных Пушкиным песен «Гузлы» (553 строки) представляет в творчестве Пушкина поистине уникальное явление.[13] Бережное отношение к «Гузле», между прочим, подчеркивает и тот факт, что Пушкин каждый раз (кроме одного случая — о нем см. ниже) сохраняет деление песен на строфы в соответствии с оригиналом; если такого деления в оригинале нет, он также переводит, не деля стихотворения на периоды («Битва у Зенницы-Великой», «Гайдук Хризич»); если в оригинале имеются обозначенные многоточием пропуски текста, Пушкин сохраняет («Бонапарт и черногорцы») или даже усугубляет их («Феодор и Елена»). Ясно, что столь точного воспроизведения, по убеждению Пушкина, заслуживали именно оригиналы народных песен, а не их (пусть даже талантливые) стилизации. Конечно, при этом Пушкин не следует рабски за «Гузлой», обогащая свои переводы фольклорной образностью и до некоторой степени даже русифицируя их в этом отношении (т. е., по его представлениям, «славянизируя»). Однако в данном случае он лишь «поправляет» французского «переводчика», предполагая, что тот, точно передав содержание песен, не справился с воспроизведением их стиля.

Окончательно понять ход работы над «Песнями западных славян» помогают, на наш взгляд, три наброска стихотворений, тематически связанные с циклом, но в него не вошедшие: «Что белеется на горе зеленой» (ПД 201), «Не видала ль, девица» (ПД 226) и «Менко Вуич грамоту пишет» (ПД 232).

Все три автографа появились примерно в одно время. На первом и третьем из них имеются наброски (карандашом) начала письма к неизвестной графине (Д. Ф. Фикельмон?) — по-видимому, это два варианта на-

---

[12] Из одиннадцати «Песен», заимствованных Пушкиным из Мериме, Г. Д. Владимирский пять относил к точным переводам, одну — к вольным переводам и четыре — к переводам-переделкам (см.: *Владимирский Г. Д.* Пушкин — переводчик. — В кн.: Пушкин. Временник Пушкинской комиссии. М.; Л., 1939, 4—5, с. 318—319). Эта классификация очень условна. Собственно, кроме стихотворения «Конь», все остальные переводы здесь для Пушкина вполне точны, с обычной тенденцией его к большему лаконизму.

[13] В творчестве Пушкина имеется еще только два подобных случая: переделка из Шекспира «Анджело» (535 строк) и «Пир во время чумы» (из Вильсона, 540 строк). Отметим, что «Пир» включен в собственно пушкинский цикл «Опыт драматических изучений» («маленьких трагедий») наряду с мистификациями переводов («Скупой рыцарь» и первоначально «Моцарт и Сальери»). Тот же принцип по сути дела прослеживается и в «Песнях западных славян».

чала одного и того же послания.[14] На втором и третьем — красными чернилами и одной и той же рукой поставлены жандармские пометы: «14» и «15», — свидетельство того, что в рукописях поэта после его смерти эти два листка лежали рядом.

Следовательно, достаточно определить время создания одного из этих набросков, чтобы примерно датировать и остальные.

Последний из упомянутых выше автографов детально проанализирован Н. Н. Петруниной.[15] Ее анализ нам представляется вполне убедительным, хотя и заслуживающим некоторых уточнений.

Листок этот заполнялся с двух сторон Пушкиным в три этапа. Сначала размером «Песен западных славян» Пушкин начал писать (чернилами!) стихотворение о ссоре Карагеоргия с Милошом Обреновичем. Несколько позже на той же стороне листка, уже карандашом, набрасывается начало письма к графине, первоначальный вариант стихотворного послания Д. В. Давыдову «Тебе, певцу, тебе, герою. . .» и тогда же (карандашом!) делаются некоторые исправления в тексте первого стихотворения, «Менко Вуич грамоту пишет. . .».

Еще позже (когда Пушкин уже не собирался продолжать ни письма, ни стихотворений) чернилами заполняется вся оборотная сторона страницы расчетом долгов, связанным с ожиданием выхода из печати «Истории Пугачевского бунта».[16] Н. Н. Петрунина убедительно датирует эти цифровые выкладки 28—31 декабря 1834 г., относя набросок послания к Давыдову к тому же времени (на наш взгляд, он сделан несколько раньше). Значит, примерно тогда же (еще раньше) написан чернилами и черновик стихотворения «Менко Вуич грамоту пишет» — этот замысел интересует Пушкина и в пору работы над посланием к Давыдову, так как в это время вносятся карандашные поправки в тексте первого стихотворения.

Таким образом, наброски всех трех стихотворений, не вошедших в цикл «Песни западных славян», но, очевидно, для него предназначавшихся,[17–18] можно отнести к концу 1834 г.

---

[14] Ср. в кн.: *Пушкин.* Письма последних лет. 1834—1837. Л., 1969, с. 77, 81. — Здесь два варианта напечатаны как две разные записки, что, на наш взгляд, неправильно.

[15] *Петрунина Н. Н.* «Д. В. Давыдову» («Тебе, певцу, тебе, герою. . .») — В кн.: Стихотворения Пушкина 1820—1830-х гг. Л., 1974, с. 362—365. — Заметим попутно, что написанное перед началом стихотворения «Менко Вуич грамоту пишет» слово, трактуемое обычно как «Mad<?>» (См.: *Модзалевский Л. Б.*, *Томашевский Б. В.* Рукописи А. С. Пушкина, хранящиеся в Пушкинском доме. М.; Л., 1937, с. 91), следует, вероятно, читать: «Мен<ко Вуич>» или же «Ми<лош>», т. е. как предполагаемое название стихотворения.

[16] См.: Рукою Пушкина. Несобранные и неопубликованные тексты. М.—Л., 1935, с. 378.

[17–18] Стихотворение «Менко Вуич грамоту пишет. . .» сюжетно связано с 11-й и 12-й «Песнями западных славян». Стихотворение «Что белеется на горе зеленой» — начало перевода знаменитой сербской народной баллады «Хасанагиница», которая является единственно подлинно народным произведением в «Гузле» (здесь она названа «Грустной балладой о благородной супруге Асана-аги»); имеется она и в собрании В. Караджича. Песня «Не видала ль, девица» — перевод из Караджича; см.: *Чернышев В.* А. С. Пушкин и сербские и русские народные песни. — Изв. АН СССР. Отд. ОЛЯ, 1948, вып. 2 (здесь на с. 160 приведен сербский текст песни).

К этому времени для Пушкина встал вопрос о публикации цикла. В журнале «Библиотека для чтения» (1835, февраль, т. VIII, кн. 14, ценз. разр. 28 декабря 1834 г.) было напечатано стихотворение «Конь» (под названием «Сербская песня»). Уже то, что оно появилось отдельно от «Песен западных славян», позволяет предположить, что это произведение для Пушкина имело какую-то особую судьбу по сравнению с другими «Песнями».

В самом деле, на фоне остальных переводов из «Гузлы», достаточно для Пушкина точных, с обычной для него тенденцией к сокращению, стихотворение «Конь» явно выделяется: из «Гузлы» здесь заимствуется лишь сюжет, более половины пушкинского текста не имеет соответствия в оригинале. К тому же, в отличие от Мериме, Пушкин делит стихотворение на строфы. Для наглядности процитируем все это стихотворение, выделив курсивом строки, добавленные Пушкиным:

КОНЬ

«Что ты ржешь, мой конь ретивый,
Что ты шею опустил,
Не потряхиваешь гривой,
Не грызешь своих удил?
Али я тебя не холю?
Али ешь овса не вволю?
Али сбруя не красна?
Аль поводья не шелковы,
Не серебряны подковы,
Не злачены стремена?»

Отвечает конь печальный:
«*Оттого я присмирел,*
Что я слышу топот дальный,
Трубный звук и пенье стрел;
Оттого я ржу, что в поле
Уж не долго мне гулять,
Проживать в красе и холе,
Светлой сбруей щеголять;
Что уж скоро враг суровый
Сбрую всю мою возьмет
И серебряны подковы
С легких ног моих сорвет;
Оттого мой дух и ноет
Что наместо чепрака
Кожей он твоей покроет
Мне вспотевшие бока».

(III, 363—364)

О композиционном значении этого стихотворения в составе всего цикла будет сказано ниже. Пока же восстановим в общих чертах творческую историю «Песен западных славян», опираясь на вышеизложенные факты и имея в виду обычную практику работы Пушкина над своими произведениями.

Вне зависимости от того, когда впервые у Пушкина возникла мысль о переводе песен «Гузлы» — в конце 1820-х или начале 1830-х гг. — весь цикл был завершен в основном, очевидно, во время Болдинской осени 1833 г.

Следует только иметь в виду, что часто окончательные штрихи (иногда довольно существенные, как например, в последнюю главу «Евгения Онегина») Пушкин вносил в произведение непосредственно перед его публикацией. Так это случилось, на наш взгляд, и с «Песнями западных славян». Следом заключительной работы над циклом и являются нереализованные наброски «Менко Вуич грамоту пишет», «Что белеется на горе зеленой» и «Не видала ль, девица», а также стихотворение «Конь», придавшее циклу кольцевое обрамление и тем самым несколько изменившее состав и композицию цикла (напомним, что помета «18-я песнь сербская» в рукописи «Сказки о рыбаке и рыбке» свидетельствует о том, что из цикла было что-то выброшено).

Однако относя основную работу над циклом к 1833 г., мы тем не менее не можем не заметить разнохарактерности состава цикла, которая, на наш взгляд, свидетельствует о двух этапах первоначальной работы над ним, хотя и не обязательно отделенных один от другого длительным промежутком времени.

Наряду с точными переводами из «Гузлы» (большинство из которых занимают первую половину цикла, песни 1—9) Пушкин включает в «Песни западных славян» два перевода из В. Караджича («Соловей», «Сестра и братья») и три собственных стилизации («Песня о Георгии Черном», «Воевода Милош», «Яныш-королевич»). Особенно вызывающе выглядит последняя из стилизаций. Действительно, если все остальные песни построены на южнославянском материале, то «Яныш-королевич» сориентирован на материал чешский (ср. не только упоминание «Любуси, чешской королевны», но и топоним «Морава»). К настоящему времени убедительно раскрыт источник пушкинской баллады — волшебно-комическая опера Генслера «Русалка», хорошо известная в России по переделкам Н. Краснопольского и А. Шаховского.[19] Как известно, сюжет этот чрезвычайно интересовал Пушкина еще с лицейских лет и отразился, в частности, в замысле народной драмы, который был оставлен только в 1832 г. (что служит, между прочим, косвенным подтверждением, что «Яныш-королевич» написан позже).

Столь же вызывающим было и намерение Пушкина включить в цикл «Сказку о рыбаке и рыбке», источник которой почерпнут в сборнике сказок братьев Гримм.[20] И в этом случае Пушкин избирает источник, чрезвычайно далекий от славянского фольклора, однако искусно стилизует его под народно-поэтический образец. В данном случае русификация заходит настолько далеко, что сказка выглядела бы инородным телом в цикле и наверное потому была из него исключена. Однако несомненно, что сюжет ее был первоначально сориентирован все же на западнославянский материал: едва ли в голову русской крестьянки могла прийти мысль стать «римским папой» — между тем эта мысль не так уж невероятна для католички (из окончательной редакции соответствующий эпизод был впоследствии исключен).

---

[19] *Жданов И. Н.* «Русалка» Пушкина и «Das Donauweibchen» Генслера. СПб., 1900; *Берковский Н. Я.* Статьи о литературе. М.; Л., 1962, с. 394—401.

[20] *Азадовский М.* Источники сказок Пушкина. — В кн.: *Азадовский М.* Литература и фольклор. Л., 1938, с. 66—75.

Очевидно, склонность к такого рода стилизациям, в духе действительного содержания «Гузлы», у Пушкина появилась не сразу. Сомнения, зароненные русскими журналами, а главное — приятелем Мериме Соболевским, в подлинности песен «Гузлы» уже осенью 1833 г. заставили, вероятно, вступить Пушкина в своеобразное соревнование с французским писателем. Именно в ту пору уже и определился в основном состав цикла «Песен западных славян», который приобрел собственно пушкинское качество.

Добавление к циклу (в декабре 1834 г.) стихотворения «Конь» пушкинский замысел, на наш взгляд, лишь выразило рельефнее. Заметим, что это произошло еще до того, как Пушкину стало известно письмо Мериме к Соболевскому с признанием в мистификации, так как оно было написано 18 января 1835 г. по новому стилю (6 января по старому стилю), спустя неделю после цензурного разрешения того номера журнала, где стихотворение было напечатано. В феврале же письмо несомненно уже дошло до Пушкина. Но к этому времени вызревшее свободное отношение к «Гузле» позволило ему опубликовать пятнадцать «Песен западных славян» в кн. 15-й журнала «Библиотека для чтения» (ценз. разр. 27 февраля 1835 г.), а позже в том же составе и порядке, но с присоединением ранее опубликованного стихотворения «Конь» напечатать цикл в 4-й части своих стихотворений (1835), приведя в предисловии письмо Мериме к Соболевскому.

2

«Необходимо учитывать <. . .>, — отмечает М. Елизарова, — что „Гузла“ и „Песни западных славян“ относятся к различным этапам творчества их авторов. Творческие устремления Мериме в 20-х гг. и Пушкина в 30-х различны. Глубоко неправ поэтому Пыпин, когда объясняет обращение Пушкина к Мериме общностью их романтических исканий. . .»[21] Казалось бы, точка зрения современной исследовательницы самоочевидна. Между тем в самом факте творческого обращения Пушкина к книге Мериме все было и проще и сложнее.

Романтическая природа «Гузлы» ясна. Странно, если бы Пушкин этого не заметил. Думается, наоборот — заметил, и потому обратился именно к «Гузле» прежде всего, а не к собранию песен В. Караджича, к примеру.

Нельзя не увидеть в творчестве Пушкина конца 1820—начала 1830-х гг. усиления романтических тенденций, которые, не искажая в принципе реалистического качества художественного метода, осложняют его рядом новых черт.[22] Смысл исторических тенденций в современной Пушкину жизни не то чтобы ускользает от него, но представляется сложным и неоднозначным. Отсюда мотивы вторжения прошлого в настоящее («Медный

---

[21] *Елизарова М.* Мериме и Пушкин. — В кн.: Учен. зап. Моск. пед. ин-та, каф. истории всеобщ. лит. М., 1938, вып. IV, с. 73.

[22] См.: *Благой Д. Д.* Творческий путь Пушкина (1826—1830). М., 1967, с. 223; *Фридман Н. В.* Романтизм в творчестве А. С. Пушкина. М., 1980, с. 145; *Гукасова А. Г.* Болдинский период в творчестве А. С. Пушкина. М., 1975, с. 255.

всадник», «Пиковая дама»), насыщение произведений фантастикой, пристрастие к характерам, подчиненным одной господствующей и гибельной страсти.

Сложное сочетание романтических тенденций с реалистическими основами творчества Пушкина обнаруживается особенно ярко именно в цикле «Песни западных славян».

Проследим в первую очередь своеобразное, опирающееся на народные представления развитие фантастических мотивов в цикле.

Заметно, что в первой половине цикла они являются доминирующими (см. «Видение короля», «Янко Марнавич», «Феодор и Елена», «Похоронная песня Иакинфа Маглановича», «Марко Якубович»). На остальные три стихотворения этой части также падает некий фантастический отсвет. Особенно интересна в этом смысле песня «Битва у Зеницы Великой», в которой внятно подчеркнута нереальность рассказчика, который знает все, что произошло с Радивоем, хотя никто из боснийцев из битвы не вернулся, ср.:

Всех-то нас осталось двадцать,
Все друзья, родные Радивою,
Но и тут нас пало девятнадцать. . .
(III, 342)

В этот момент оставался живым только Георгий,[23] предложивший герою коня, но —

Радивой Георгия не послушал,
Наземь сел, поджав под себя ноги.
Тут враги на него наскочили,
Отрубили голову Радивою.
(III, 342—343)

Кто же в таком случае носитель речи? Очевидно, не Георгий, о котором упоминается как об увиденном со стороны.

Но в данном случае и не нужно искать индивидуального рассказчика. Битва у Зеницы-Великой сохранилась в памяти народной. Это легенда, к которой нельзя применять требований правдоподобия. Реальность ее иного качества: это реальность народного сознания, подобная той, которая столь же ярко проявляется в фантастических представлениях о сходстве загробного мира с обычной жизнью в «Похоронной песне Иакинфа Маглановича», в спокойном и мудром народном взгляде на мир.

С этой точки зрения все фантастические мотивы в «Песнях западных славян», в полном соответствии с народными представлениями, утверждают нравственный идеал, подчас реально недостижимый, но должный. Справедливость торжествует в «Песнях западных славян», хотя во имя ее торжества приходится уповать на чудо. Так, в песнях «Феодор и Елена», «Сестра и братья» тайное становится явным благодаря чуду, и нравственная идея в конце концов восстанавливается, несмотря на наговор, приведший к смерти невинных.

---

[23] У Мериме в данном случае упоминается Фома — едва ли это не сознательное повторение имен, названных в песне «Видение Фомы II» (вероятно, с целью подчеркнуть нелогичность фольклорных преданий).

Заметно, что, отбирая песни из «Гузлы», Пушкин оставляет без внимания те, в которых фантастическое служит лишь целям литературной занимательности, а не содержит нравственно-возвышающего катарсиса (см., например, такие песни Мериме, как «Господарь Меркурий», «Максим и Зоя», «Прекрасная Софья», «Любовник в бутылке», «Кара-Али, вампир», «Гаданьи»).

Столь же содержателен (а не просто литературно условен) и экзотический колорит, который окрашивает «Песни западных славян». В быте и нравах народов, хотя и родственных, славянских, взгляд Пушкина привлекают черты своеобразия, обусловленные особой исторической судьбой.

Так, через весь цикл проходит мотив вурдалачества, для русского фольклора в общем нехарактерный.[24] Впервые он возникает в песне «Гайдук Хризич» как отражение верований сербов:

Закричал он старшему брату:
«Милый брат, не губи свою душу:
Ты напейся горячей моей крови,
А умрем мы голодной смертью,
Станем мы выходить из могилы
Кровь сосать наших недругов спящих»

(III, 347)

Тогда же Пушкин и объясняет в примечаниях: «Вурдалаки, вудкодлаки, упыри — мертвецы, выходящие из своих могил и сосущие кровь живых людей» (III, 368).

Подчеркнем, что в той же песне народное верование прямо связывается с бытом, обычаями и нравами народа, ведущего жестокую борьбу за существование. Этимологическое родство слов «волк» и «вурдалак» было понятно Пушкину, который несколько выше отметил, что старший сын Хризича «стал глядеть на мертвую матерь, / Будто волк на спящую серну», а ниже — снова скажет: «И все трое со скалы в долину / Сбежали, как бешеные волки» (III, 347).

Песня «Гайдук Хризич» перекликается с 8-й песней, «Марко Якубович», в которой рассказ о вурдалаке подан в жанре фантастической баллады. Нам представляется неслучайным, что Пушкин при переводе упускает из Мериме важную сюжетообразующую деталь: незнакомец становится (в «Гузле») вурдалаком только потому, что он, православный, похоронен на католическом кладбище.

Пушкин совершенно опускает тему религиозного различия западных славян.[25]

Так и в песне «Марко Якубович» незнакомец подобен самому Марко, наряду с ним противопоставлен басурманам. Почему незнакомец терзает

---

[24] Ср.: «Слово „вурдалак“ представляет собою вариант термина, образованного из двух слов: „волк“ и „длака“ (шерсть, кожа). . ., но у восточных славян оно означает не „упыря“, а людей-оборотней, превращающихся по желанию в волков» (*Кагаров Е. Г.* Этнографические мотивы в поэзии А. С. Пушкина. — Советская этнография, 1937, № 1, с. 58).

[25] По этой же причине, надо полагать, не была включена в цикл баллада «Хасанагиница», над которой Пушкин начал работать в конце 1834 г. В балладе этой повествуется о боснийцах-мусульманах.

семью человека, оказавшего ему последнюю услугу, — в песне не объяснено. На самом деле, в общем контексте цикла это находит собственно пушкинское объяснение. Жестокость быта, не только освященного, но и искаженного постоянным на протяжении многих веков противоборством с угнетателями, определяет повседневные обычаи южных славян, — как их светлые черты (например, братование), так и жестокость нравов.

В статье «Война» в «Философском словаре» Вольтера, несомненно хорошо знакомом Пушкину, утверждалось, что разум, казалось бы, дан человеку не для того, чтобы опускаться до уровня животных, «тем более что природа не дала им ни оружия, чтобы убивать себе подобных, ни инстинкта, побуждающего их сосать кровь».[26]

Просветительское представление о разумных тенденциях исторического процесса было сохранено Пушкиным на протяжении всего его творчества, но на рубеже 1830-х гг. он все с большей тревогой приглядывался к результатам исторических событий, касающихся повседневной, частной жизни современников, — постигал сложную диалектику исторического движения, теневые стороны прогресса. В этом отношении по общей своей мысли «Песни западных славян» развивают в художественной форме те же идеи, которые обнаруживаются в «Пиковой даме» и в «Медном всаднике».

Оба названные произведения по сути дела посвящены современности. Современности же в конечном счете посвящены и «Песни западных славян», вторая часть которых (начиная с песни 9-й, «Бонапарт и черногорцы») вся сориентирована на новейшие события.

Нельзя не заметить, что в соответствии с этим во второй части цикла собственно фантастика (фантастика предания) занимает более скромное место, нежели в первых восьми песнях. Песни 9—13 начисто лишены сказочных мотивов (причем в последней из них юмористически обыграно верование в вурдалаков).[27] Фантастика пронизывает, правда, три последние песни цикла — вероятно, по закону художественного равновесия: иначе вторая часть совершенно нарушила бы легендарный колорит всего произведения, где события даны через призму народного их восприятия. К тому же фантастические мотивы постепенно подготавливают тревожно-трагическую концовку цикла.

В исследовательской литературе уже отмечалось, что целостность пушкинскому циклу отчасти придает его кольцевое обрамление: в начале здесь помещено «Видение короля» (у Мериме — «Видение Фомы II»), а в конце — «Конь» (у Мериме — «Конь Фомы II»). И хотя Пушкин исключил из заглавий и текстов своих песен имя короля, — мотив вещего сна и чрезвычайно резкий образ содранной кожи внятно акцентирует перекличку зачина и концовки пушкинского цикла.

Это уже само по себе сигнализирует о том, что для Пушкина его «Песни» не просто собрание тематически близких стихотворений, но и композиционно продуманное целостное произведение. Ничего подобного нет

---

[26] *Вольтер*. Избранные страницы. СПб., 1913, с. 98.

[27] Ср. также отрицательное сравнение в начале «Песни о Георгии Черном»: «Не два волка в овраге грызутся, Отец с сыном в пещере бранятся» (III, 354).

в «Гузле».[28] Если говорить о «движении» книги Мериме, то в ней, пожалуй, можно выявить лишь тенденцию к постепенному возобладанию собственно литературных произведений над стилизациями под фольклор. Не случайно Пушкин из первого десятка «песен» Мериме перевел 5, из второго — 4, а из третьего — лишь 2. Общее же соотношение между «Песнями западных славян» и «Гузлой» выглядит так (перед названиями указываются порядковые номера произведений, у Мериме, впрочем, не обозначенные):

«Песни западных славян»	«Гузла»
1. Видение короля.	‹3.› Видение Фомы II.
2. Янко Марнавич.	‹12.› Пламя Перушича.
3. Битва у Зеницы-Великой.	‹14.› Битва у Зеницы Великой.
4. Феодор и Елена.	‹9.› Красавица Елена.
5. Влах в Венеции.	‹4.› Морлак в Венеции.
6. Гайдук Хривич.	‹7.› Храбрые гайдуки.
7. Похоронная песня Иакинфа Маглановича.	‹5.› Погребальная песня.
8. Марко Якубович.	‹18.› Константин Якубович.
9. Бонапарт и черногорцы.	‹27.› Черногорцы.
13. Вардулак.	‹16.› Ивко.
16. Конь.	‹28.› Конь Фомы II.

Как видно из этого сопоставления, Пушкин располагает совершенно в ином порядке свои переводы, руководствуясь собственным планом, придавая циклу отсутствующую у Мериме динамику.

Выше уже говорилось, что если первая часть цикла (вся переведенная из Мериме) по историческим реалиям посвящена средневековому прошлому, то вторая половина отнесена (в упоминаниях об исторических лицах и событиях) уже к девятнадцатому веку.

Историческая основа первой песни раскрыта в специальном примечании, заимствованном у Мериме:

«Фома I был тайно умерщвлен своими двумя сыновьями Стефаном и Радивоем в 1460 году. Стефан ему наследовал. Радивой, негодуя на брата за похищение власти, разгласил ужасную тайну и бежал в Турцию к Магомету II. Стефан, по внушению папского легата, решился воевать с турками. Он был побежден и бежал в Ключград, где Магомет осадил его. Захваченный в плен, он не согласился принять магометанскую веру, и с него содрали кожу» (III, 364).[29]

В балладе предательская роль Радивоя подчеркнута особо:

. . .Радивой *окаянный*,[30]
Басурманской чалмою покрытый

---

[28] В «Гузле» намечены лишь две чисто тематические «рубрики»: «О сглазе» (две «песни») и «О вампиризме» (пять «песен», перемежающихся, впрочем, и с другими, не упоминающими о вампирах). Во втором издании (1840) Мериме добавил к тридцати «песням» еще четыре, что увеличило литературность всей книги.

[29] Исторически — Степан Томашевич, наследовавший своему отцу Степану Томашу (1443—1461) и погибший в 1463 г. (см.: История Югославии. М., 1963, т. I, с. 135—136).

[30] Этот эпитет (курсив наш, — *С. Ф.*) вызывает в памяти древнерусского князя Святополка Туровского (ок. 980—1019), получившего прозвище Окаянного за убий-

(С тою самой веревкою, которой
Удавил он несчастного старца),
Край полы у султана целует.

(III, 338)

Именно Радивоя покрывают кожей, содранной по приказанию турок с его брата, и делают, как видится герою баллады в вещем сне, властелином Боснии, хотя в примечании к стихотворению Пушкин (вслед за Мериме) отмечает: «Радивой никогда не имел этого сана; и все члены королевского семейства истреблены были султаном» (III, 364).

Поэтому мы вправе отождествить (по законам цикла) с братом короля, о котором говорится в первом стихотворении, героя «Битвы у Зеницы-Великой»: он также назван Радивоем и также воюет с турками в Боснии. Таким образом в самом начале цикла намечается некий «сюжет» (по законам лирического цикла не вполне отчетливый, в чем-то противоречивый): рассказ о сыновьях, убивших своего отца—короля, из которых один предал врагам и своего брата, но тем не менее продолжил борьбу с басурманами-турками и героически погиб в битве.[31]

Подобный же сюжет намечен Пушкиным и во второй части цикла, обращенной к современности. Мы имеем в виду сочиненные им песни о Карагеоргии и Милоше Обреновиче.

Здесь также рассказывается об отцеубийстве Карагеоргии (он же был и братоубийцей), судьба которого, как заметил, вероятно, Пушкин, оказалась в чем-то похожей на судьбу выведенного в «Гузле» Фомы II.

Пушкину, как и его современникам, были несомненно памятны сербские события последних лет.

Георгий Петрович, по прозвищу Черный (Карагеоргий), был предводителем Первого сербского восстания против турецкого владычества (1804—1813), в котором приняли участие и братья Милан и Милош Обреновичи. Восстание это было султаном подавлено, и Карагеоргий бежал в Россию.[32]

В 1815 г. началось Второе сербское восстание под руководством Милоша Обреновича, добившегося относительной самостоятельности Сербии на правах вассального подчинения Турции. Когда же в 1817 г. в Сербию прибыл Карагеоргий с целью (согласованной с гетеристами) продолжить борьбу с турками, он по приказанию Милоша Обреновича,

---

ство своих братьев в междуусобной борьбе: Бориса Ростовского, Глеба Муромского и Святослава Древлянского. О Святополке Окаянном написаны стихи К. Рылеева, П. Шкляревского и В. Кюхельбекера. Надо полагать, сближение Радивоя со Святополком намечено Пушкиным намеренно.

[31] Подчеркнем, что у Пушкина оба эти стихотворения сближены по сравнению с «Гузлой» (где они занимают соотвестственно 3-е и 14-е места), а потому и более сюжетно связаны; между ними помещено лишь одно стихотворение — о трагической ошибке Янко Марнавича, убившего своего брата и искупившего свой грех.

[32] Карагеоргий по приезде в Россию жил с семьей в Хотине; Пушкин, вероятно, встречал его дочь, которой посвятил одно из первых своих романтических стихотворений «Дочери Карагеоргия» (1820). См.: *Трубицын Н.* Два сербских юнака в изображении Пушкина. — В кн.: Пушкин и его современники, вып. XXVIII. Пг., 1917, с. 29—55; *Благой Д. Д.* Два стихотворения Пушкина о Георгии Черном. — В кн.: Славяне и Запад. М., 1975, с. 17—31; *Двойченко-Маркова Е. М.* Пушкин в Молдавии и Валахии. М., 1978, с. 67—75.

опасавшегося соперничества с популярным героем за власть, был предательски убит и голова его была выслана султану.

Очевидно, отчетливее выявить этот сюжет и должна была намеченная в декабре 1834 г. песня «Менко Вуич грамоту пишет». Понятно, однако, почему она не могла появиться в цикле: в 1834 г. Милош еще стоял во главе автономного сербского княжества, и напоминать открыто о его предательстве едва ли было возможно.[33] Но поставленные в цикле рядом песни о Карагеоргии и воеводе Милоше предполагали в читателе знание современных событий. Заметим, что оба стихотворения соотнесены между собою. В «Песне о Георгии Черном» повествуется о трагическом столкновении сына с отцом, который считает сына-бунтовщика злодеем, потому что не верит в возможность борьбы с турками. В «Воеводе Милоше» запечатлен следующий этап роста народного самосознания:

Старики даже с нами согласны:
Унимать они нас перестали, —
Уж и им нестерпимо насилье. . .

(III, 356)

Внутри нарастающего движения за национальное освобождение Пушкин замечал темные силы, омрачавшие идею исторического прогресса. Уже упоминалось выше, что во время работы над «Песнями западных славян» Пушкин (на листке с автографом «Соловья») набросал план автобиографических воспоминаний, посвященных кишиневским впечатлениям. Здесь упоминаются, в частности, Александр Ипсиланти и Греческая революция. Движение же гетеристов было тесно связано с судьбами освобождения южнославянских народов от турецкого ига. В Кишиневе Пушкин одинаково интересовался событиями в Греции и на Балканах; в частности, записывал сербские песни. Тогда же он пытался переводить и две молдавские песни, посвященные трагическим судьбам героев освободительного движения. «Первая из них, — свидетельствовал И. П. Липранди, — сложена аллегорически на предательское умерщвление главы пандурского восстания Тодора Владимирески по распоряжению князя Ипсиланти в окрестностях Тырговиста. Вторая, — на такую же предательскую смерть известного и прежде, а во время гетерии храбрейшего Бим-баши Саввы, родом болгарина, подготовившего движение болгар, коим Ипсиланти не умел воспользоваться».[34] Как видим, уже в юности Пушкин не только воспел «преступника и героя» Карагеоргия, но и был взволнован разладом в освободительном движении против турецкого ига (Т. Владимиреску он собирался также посвятить поэму, начатую в Кишиневе). В «Песнях западных славян» Пушкин возвратился к прежним темам уже на новом этапе своего творчества. Отсюда — тревожная трагическая концовка цикла «Песни западных славян». С тем же кругом размышлений Пушкина о судьбах славянства связаны и многие другие произведения Пушкина начала 1830-х гг.

---

[33] В 1838 г. Милош Обренович, потерпевший поражение в борьбе за упрочение личной власти, отрекся от княжеской короны и покинул Сербию. В 1842 г. Скупщина избрала князем сына Карагеоргия Александра, не обладавшего однако, ни умом, ни волей своего славного отца.

[34] А. С. Пушкин в воспоминаниях современников. М., 1974, т. I, с. 314.



М. А. Филина

«МЕРАНИ» Н. БАРАТАШВИЛИ И «ФАРИС» А. МИЦКЕВИЧА

В каждой литературе изредка рождаются произведения, которые вбирают в себя все лучшие и значительные черты направления и сами очень скоро становятся неким высшим культурным ориентиром. Удивительно, что эти шедевры появляются в весьма сжатый временной отрезок, почти синхронно в литературах разных стран. Так, в традиции любого национального романтизма, в самой сущности романтического искусства мотив полета как бы подспудно присутствует в каждом высоком проявлении этого искусства. У Мицкевича рождается «Фарис», у Лермонтова «Демон», у Бараташвили «Мерани», и общее ощущение полета овеществляется так, словно вне этих образов, молниеносно ставших символами, уже не мыслится не только дальнейшая жизнь литературы, но в каком-то отношении и дальнейшая жизнь нации в целом. Эти символы столь совершенны, как будто существовали в природе и лишь ожидали гения, который разбудит погруженный в сон, но живой и целостный текст.

За десятилетия и столетия об этих произведениях создается критическая литература, неизмеримо превышающая по объему лаконичные шедевры и неизмеримо уступающая им в их невероятно концентрированной эстетической информации и этическом содержании. И в то же время эти неизбежно ограниченные размышления выражают собою стремление постичь гармонию чуда. Один из распространенных и свойственных человеческому сознанию способов приблизиться к великому — это сравнение его с подобным же по масштабу явлением. Иногда материал для сравнения выявляется лишь при специальном литературоведческом анализе с соблюдением необходимой дистанции, обуславливающей завершенность рассматриваемого процесса. Подчас же некоторые произведения начинают перекличку как бы самостоятельно, словно вне ведома критики, хотя порой черты сходства так откровенны, что охватывают лишь наружный пласт, и при изучении оказывается, что мы имеем дело с принципиально различными явлениями.

Такую перекличку «Мерани» и «Фарис» начали вскоре после появления «Мерани», вернее, после появления в печати и включения в литературный

процесс (все произведения Бараташвили увидели свет лишь после смерти поэта). Эти выдающиеся явления поэтической культуры двух наций вызывают необходимость сравнения грузинского и польского романтизма в целом. Несмотря на богатые традиции польско-грузинских общественно-литературных контактов и обширную литературу о них, специального сопоставления национальных школ романтизма, их типологических совпадений, а также возможных связей романтических литератур и непосредственно, и через русский романтизм, в литературоведческой науке не было.

Мысль о расширении «географии» европейского романтизма, включении в него юго-восточных литератур и Бараташвили принадлежит И. Неупокоевой.[1] Знаменательно, что творчество юноши-поэта мыслится ею равнозначным по отношению к целым «взрослым» литературам. Конечно, включение Бараташвили в рамки европейского романтизма весьма условно, однако тяготение грузинского романтизма и более всего Бараташвили к европейскому типу философии и культуры, на почве которых зародилось романтическое искусство, несомненно. И, возможно, сопоставительное изучение романтизма западноевропейского с этой крайней юго-восточной точкой Европы, давшей мировой культуре бесспорно первоклассные образцы романтической лирики, позволит выявить новые черты как в грузинской, так и в западноевропейской культуре.

В пределах определенной зоны историко-литературного развития существует некоторая системность: «Речь идет не только о сходстве черт романтизма у народов, художественные культуры которых имели длительные, устойчивые контакты и были связаны между собой (как современными, так и уходящими в далекое прошлое) историко-политическими, историко-культурными, языковыми связями, но о типологическом родстве иного уровня».[2] Если применить эту мысль к польскому и грузинскому романтизмам, то на начальном этапе и даже в период расцвета можно говорить о связях именно типологического характера, с середины же 30-х гг. возникают постоянные и весьма интересные контакты между польскими и грузинскими литераторами, творческий результат которых предстоит исследовать отдельно.

Академик М. Б. Храпченко пишет о различных уровнях типологического исследования — типологии жанра, стиля, видов, типов и т. д.[3-4] Мы хотели бы при сопоставлении польского и грузинского романтизма наметить типологию идейно-психологических установок, эстетического отклика на общественное настроение или событие, установить ценность и значительность того или иного ряда идей грузинской и польской литератур. В данной работе мы попытаемся определить лишь некоторые их направления.

Постоянно и в русском, и в грузинском литературоведении появляются работы, специально или частично посвященные сопоставлению

---

[1] *Неупокоева И.* Общие черты европейского романтизма и своеобразие его национальных путей. — В кн.: Европейский романтизм, М., 1973, с. 11—12.

[2] Там же, с. 13—14.

[3-4] *Храпченко М.* Творческая индивидуальность писателя и развитие литературы. М., 1970, с. 257.

определенных мотивов в русской и грузинской лирике первой половины XIX в. В отдельных работах изучаются корни и особенности русского и грузинского романтизма, взаимное восприятие романтических явлений. Во многих статьях анализируются черты сходства—несходства русского и польского, польского и западноевропейского романтизма. Изучаются и западноевропейские «связи» Н. Бараташвили. Хотя, как мы уже отметили, вопросы польского и грузинского романтизма не были предметом всестороннего исследования, они интересовали ученых уже очень давно. В основном рассматривались точки соприкосновения в творчестве Адама Мицкевича и Николоза Бараташвили и чаще всего как раз параллели в «Фарисе» и «Мерани». Но об этом несколько ниже.

Естественно, следует учитывать, что при сравнении столь сложного явления, как романтизм в определенной национальной форме с не менее сложным и противоречивым явлением — романтизмом в иной национальной культуре, невольно схематизируются многие не сводимые к схеме вопросы. Однако, если при подобном сравнении учитывались бы все возможные нюансы, исключения и ответвления внутри романтического направления, то на любом явлении и примере повисла бы такая гирлянда уточнений, что приход к определенному выводу стал бы задачей невыполнимой. В таких случаях схематизация лежит в основе самого принципа, но главное — не утратить чувства меры и не превратить анализ живого процесса в голое конструирование.

* * *

Не исключено, что некоторые ответы на нерешенные доныне вопросы грузинского романтизма можно найти в сравнении его с родственным и вместе с тем принципиально отличным явлением, как романтизм польский.

Грузинский и польский романтизм возникли почти одновременно. Рождение польской школы датируют 1822 г. — выходом в свет в Вильне первой книги Адама Мицкевича «Баллады и романсы», хотя, естественно, формирование романтического искусства и проникновение его в национальную культуру занимает десятилетие, а то и больше. Грузинский романтизм, по-видимому, подобной точной даты не имеет, но первые стихи с явными чертами нового направления появляются в те же годы.

Романтическое искусство, возникшее в Западной Европе как реакция не только на явления культуры (в частности, на классицизм, сентиментализм и Просвещение), но и на явления социальные (особенно в связи с разочарованием в результатах Великой Французской революции), получала в Польше и Грузии особое звучание, накладывалось на злободневные общественные и политические задачи.

Национальное движение в Грузии того времени носило дворянский, во многом аристократический характер, но также во многом выражало прогрессивные устремления нации. О принципиальных различиях во взглядах у «заговорщиков» и в общественных настроениях того времени существует большая литература. Об этом, в частности, подробно пишет В. С. Шадури. На широком социально-культурном материале он доказывает, что взгляды самых видных и талантливых участников заговора 1832 г.

в Грузии были гораздо более антисамодержавные, антиправительственные, нежели антирусские.[5] Так, Александр Чавчавадзе, до конца жизни непримиримо относившийся к политике царских чиновников на Кавказе, особенно к линии Паскевича, не только глубоко ценил русскую культуру, но, по единодушному признанию современников, стал своего рода связующим звеном между передовыми русскими и грузинскими политическими и культурными деятелями, а его дом и литературный салон были местом их постоянных встреч.

Опираясь на документы, В. С. Шадури подчеркивает близость декабристских идей настроениям «заговорщиков» 1832 г. Важным представляется и тот факт, что в грузинском общественном движении участвовали разночинцы. Конечно, их процент незначителен в количественном отношении, но, как известно, одним из активнейших и интереснейших деятелей, как раз близких по духу к декабризму, был сын бедного священника Соломон Додашвили.

Польский романтизм в основном сложился к 1830 г. Даже писатели-классицисты — непримиримые противники нового искусства — и те постепенно признавали печальный для себя факт существования романтизма. Он заявил о себе и в декларациях, и в принципиальных установках, и, главное, в значительных произведениях Мицкевича и его сторонников, к тому времени уже созданных. Проникнув в сознание общества, романтизм останется боевой силой вплоть до 60-х гг.

Окончательное становление грузинского романтизма относится к периоду после 1832 г. Тогда же созданы и его основные шедевры. Литературные силы разрознены, главные участники заговора сосланы, культурная жизнь на время замерла. С разных широт, издалека доносятся до родины поэтические голоса Александра Чавчавадзе, Григола и Вахтанга Орбелиани. А в самой Грузии возносится талант Николоза Бараташвили. Грузинский романтизм в своих пессимистических образцах глубоко трагичен.

В Грузии того времени нет университета, в какой-то период нет газет и издательств.[6] Грузинские романтики фактически не имели возможности объединения, не могли заявить свои декларации, не имели трибуны для диспутов и разработки общей программы. Общение облегчалось тем, что многие грузинские романтики были связаны если не родственными, то давними семейными и дружескими узами, и поэтому романтизм в Грузии носил весьма элитарный характер. И, может быть, потому трагизм ситуации с такой силой сконцентрировался в шедеврах Бараташвили, в них компенсировал какие-то невоплотившиеся возможности?

Личности и поэзия Адама Мицкевича и Николоза Бараташвили сближаются давно. Еще И. Меунаргия, публикуя в конце XIX в. в «Иверии» биографию грузинского романтика, отводит в ней место для размышлений о «Фарисе».[7] Это естественное сопоставление «Фариса» и «Мерани» обла-

---

[5] *Шадури В.* Декабристская литература и грузинская общественность. Тбилиси, 1958 (Этим вопросам посвящена глава «Грузинские передовые литературно-общественные круги первой половины XIX в. и декабризм», с. 485—567).

[6] С 1836 г. выходит «Закавказский вестник», однако в этом официальном издании вопросы культуры и литературы не рассматривались.

[7] *Меунаргия И.* Жизнь и поэзия Николоза Бараташвили. Тбилиси, 1968 (на груз. яз.).

дает притягательной силой почти для всех исследователей творчества Бараташвили. Отметим, что в юбилейном издании произведений грузинского романтика помещен портрет польского поэта.[8]

Полюса мнений относительно знакомства Бараташвили со стихотворением Мицкевича таковы: от осторожных предположений о том, что Бараташвили читал «Фариса», вернее, не мог его не читать, до утверждения Кита Абашидзе: «Мы хорошо знаем, что это стихотворение («Мерани», — *М. Ф.*) написано в подражание „Фарису" Мицкевича. Естественно, это совершенно не снижает ценности данного стихотворения».[9] Того же мнения придерживается И. Меунаргия.[10] В советскую эпоху некоторые исследователи творчества Николоза Бараташвили вообще отказывают «Фарису» во влиянии на «Мерани».[11]

Убедительность доказательств и амплитуда категоричности колеблются вот уже сто лет. И в предисловии к сборнику «Грузинские романтики», вышедшему в большой серии «Библиотеки поэта», данный вопрос не обойден молчанием: «Стихотворение Адама Мицкевича „Фарис", которое было известно Бараташвили в русском переводе. . .».[12] Итак, этот факт обращает на себя внимание исследователей всех поколений.

Литературоведы в основном пишут о том толчке, каким стал «Фарис» для «Мерани», о безусловном родстве судеб двух поэтов. Так, М. Квеселава проводит параллели жизненных ситуаций польского и грузинского романтиков: «И судьба была почти одинаковой у двух поэтов. Адам страдал в Ковно, Тато [13] — в Гандже. Первого убивала любовь к Марии Верещак, второго — к Екатерине Чавчавадзе. Для одного непреодолимым препятствием оказался граф Путткамер, для другого — князь Дадиани. Грузинский поэт в задумчивости бродил по берегам Куры, польский — над Неманом. Один умер в Турции, другой — в Азербайджане. Оба были дважды погребены и лишь так достигли упокоения в родной земле. У обоих была одна печаль, одна сердечная боль, одни думы и мечты». [14]

Стремление автора грузинской монографии сблизить судьбы двух поэтов вполне естественно. Естественно также, что он не уделяет внимания различиям. Более удивительно утверждение: «Но все эти примеры интересуют нас не для проведения параллелей между „Фарисом" и „Мерани", но как значительные страницы истории грузино-польских культурных взаимосвязей».[15] Но почему и не для проведения параллелей? Впрочем, это объясняется задачами монографии: представить широкое литературно-

---

[8] *Бараташвили Н.* Стихотворения. Поэма. Письма. Тбилиси, 1968.

[9] *Абашидзе К.* Этюды. Тбилиси, 1970, с. 158 (на груз. яз.).

[10] *Меунаргия И.* Жизнь и поэзия Николоза Бараташвили. Тбилиси, 1968, с. 77 (на груз. яз.).

[11] См.: *Котетишвили В.* История грузинской литературы XIX века. Тбилиси, 1959, с. 132—134 (на груз. яз.); *Дадиани Д.* Николоз Бараташвили. Тбилиси, 1968, с. 170—174 (на груз. яз.); *Ингороква П.* Собрание сочинений. Тбилиси, 1963, т. 1, с. 336 (на груз. яз.), и др.

[12] *Асатиани Г., Буачидзе Т.* Грузинские романтики. — В кн.: Грузинские романтики. М., 1978, с. 33.

[13] Тато — ласково-уменьшительное имя Николоза Бараташвили.

[14] *Квеселава М.* Адам Мицкевич. Жизнь и творчество. Тбилиси, 1956, с. 157 (на груз. яз.).

[15] Там же.

общественное значение деятельности Мицкевича, вписать его в запросы грузинской культуры, а не проводить узкоспециальное исследование.

Вообще интерес к принципиальным различиям в творчестве двух поэтов, в частности в названных стихотворениях, проявляется гораздо слабее. Правда, уже Кита Абашидзе тонко подметил бóльшую степень обобщенности «Мерани» по сравнению с «Фарисом».[16] В современной работе В. Хитаришвили [17] начато такое сопоставление данных стихотворений, однако замечания ограничиваются тем, что герой «Фариса» — индивидуалист. К этому выводу приводят известные строки:

Вздохнул свободно я и поднял к звездам взор.
Очами золотыми все светила
Послали мне привет в земной простор, —
Мне одному: кругом безлюдие царило. . .[18]

(Перевод О. Румера)

Герой же Бараташвили осознает свою высокую общественную миссию:

Ведь не бесплодно же пройдет [не будет тщетно] это стремление души обреченного!
И путь непроходимый, протоптанный тобою, Мерани мой, все же останется,
И после меня собрату моему облегчится трудность пути,
И скакун бесстрашно пронесет его перед черною судьбою![19]

* * *

Пусть я умру, порыв не пропадет.
Ты протоптал свой след, мой конь крылатый,
И легче будет моему собрату
Пройти за мной когда-нибудь вперед.[20]

(Перевод Б. Пастернака)

Это замечание кажется нам интересным и не лишенным справедливости, но далеко не исчерпывающим возможности сопоставления художественных миров Мицкевича и Бараташвили.

Степень вероятности знакомства Николоза Бараташвили с «Фарисом» очень высока. В пользу этого говорят и сведения Ионы Меунаргия, который был лично знаком с учителем русского языка в старших классах Тифлисской гимназии Дементьевым. Дементьев преподавал Бараташвили и сам «особенно хорошо декламировал стихотворение Мицкевича „Фарис“, переведенное на русский язык».[21]

---

[16] *Абашидзе К.* Этюды. Тбилиси, 1970, с. 159—160 (на груз. яз.).

[17] См.: *Хитаришвили В.* «Фарис» Мицкевича и «Мерани» Бараташвили. — В кн.: Польский романтизм и восточнославянские литературы. М., 1973.

[18] *Мицкевич А.* Собр. соч. в 5-ти тт. М., 1948, т. 1, с. 177 (в дальнейшем переводы Мицкевича цитирую по этому изданию).

[19] *Бараташвили Н.* Стихотворения. Подстрочный перевод с грузинского А. Абашели, Мариджан, К. Надирадзе. Тбилиси, 1968.

[20] *Бараташвили Н.* Стихотворения. Поэма. Письма. Тбилиси, 1968, с. 74, (в дальнейшем переводы Н. Бараташвили цитирую по этому изданию).

[21] *Меунаргия И.* Жизнь и поэзия Николоза Бараташвили. Тбилиси, 1968, с. 12 (на груз. яз.).

Важен и факт встречи грузинского романтика с Тадеушем Лада-Заблоцким. С Николозом Бараташвили польский поэт познакомился, по-видимому, в начале 1838 г., сразу по приезде в Тифлис, до назначения на военную службу в Царские Колодцы. Уже в первом из известных нам писем к своему другу грузинскому поэту Михаилу Туманишвили Заблоцкий пишет: «. . . Кланяйтесь взаимно князю Баратову, Варламову и Стоцкому» (письмо из Царских Колодцев от 6 ноября 1838 г.).[22] И в одном из последующих писем: «. . .и засвидетельствовав князю Баратову чувствительнейшую мою благодарность за его память обо мне, и глубочайшее почтение, припоминайте иногда обо мне» (письмо из Царских Колодцев от 29 июля 1839 года).[23]

Князь Баратов — Николоз Бараташвили, поскольку привет передается через Михаила Туманишвили и в соседстве с другом юного романтика Варламовым. К сожалению, иными документальными сведениями о дружбе Заблоцкого и Бараташвили мы пока не располагаем и столь безоговорочно утверждаемый критикой факт их близкой дружбы относится к области вероятного и желаемого. Однако можно предположить, что если в первый краткий приезд ссыльного поэта в Тифлис они уже успели познакомиться настолько, что в течение года постоянно передают друг другу приветствия, эти отношения должны были получить развитие во время долгого пребывания Заблоцкого в Тифлисе.[24] Переписка польского поэта с Туманишвили насыщена литературными фактами и обсуждением общих историко-литературных дел. Учитывая это, а также столь интенсивный и молниеносно возникший интерес Заблоцкого к грузинской поэзии, безусловное влияние на него и на всех польских «кавказских» поэтов гения Мицкевича, вполне естественно предположить, что между двумя романтиками возникал разговор о Мицкевиче.

Но даже отвлекаясь от их взаимоотношений и от показаний И. Меунаргия, можно привести и иные соображения. Тот литературный голод, который, безусловно, испытывал грузинский романтик (мы имеем в виду отсутствие литературных изданий в Грузии того времени), его интерес и собственная причастность к переводам из западноевропейской поэзии, близкое знакомство с Соломоном Размадзе, осуществившим перевод «Фариса» с русского на грузинский еще в 1832 г. и оставившим текст перевода в семье у поэта Григола Орбелиани (дяди Н. Бараташвили), говорят о почти несомненной осведомленности романтика в отношении польского стихотворения. Что касается непосредственного влияния, мы придерживаемся мнения выдающегося грузинского поэта Симона Чиковани: «. . . У всякого великого произведения найдется множество родственных в мировой литературе. Определенно перекликается и „Мерани" с „Фарисом" Мицкевича, являющимся в свою очередь отражением мотивов восточной литературы. . . Но все эти совпадения — лишь встречи духовных волне-

---

[22] Центральный Государственный архив Грузии, фонд М. Б. Туманова, № 605.

[23] Там же.

[24] Косвенно об их более тесном знакомстве может свидетельствовать и тот факт, что на сборник поэзии Т. Лада-Заблоцкого подписались многие близкие Бараташвили люди, в том числе сестры Чавчавадзе — Нина Грибоедова и Екатерина Дадиани.

ний века, а не влияния. . .»[25] Сходную мысль высказал академик Г. Джибладзе, считающий, что в основе «Мерани» и «Фариса» — «бродячая тема мировой литературы».[26]

С другой стороны, нам кажется вполне вероятным толчок, данный этим гениальным достижением польского романтизма грузинскому поэту, как несомненно и то, что отклик оказался также выдающимся и философски абсолютно оригинальным. В таких случаях всегда важно лишь наполнение сюжета, а не его конкретные точки соприкосновения.

Учитывая безусловное родство этих двух стихотворений, хорошо изученное и проявляющееся как на уровне идей, так и на уровне лексических единиц, мы считаем необходимым провести принципиальный и по возможности осторожный анализ различий этих произведений. Нам представляется, что по своей установке он не менее полезен, чем утверждение определенного, но лежащего на поверхности родства. Естественно, в рамках данной работы могут быть намечены лишь направления подобного исследования. Они опять-таки уводят в предысторию. Обращение к тексту в данном случае должно быть подкреплено всесторонним изучением внетекстовых элементов.

М. Квеселава, нашедший столько казалось бы исчерпывающих все перипетии судьбы совпадений, не говорит о серьезных различиях.

Адам Мицкевич, при всей трагичности своей судьбы, был избранником и гордостью нации. Поляки (причем, весьма скоро) стали исчислять новую эпоху в национальной литературе, более того, в национальной культуре, с момента выхода в свет первого его сборника. Мицкевич, гонимый царским правительством, был принят как лучший друг в литературных кругах России и уже юношей получил мировое, по масштабам того времени, признание. «Фарис» был переведен на русский еще до опубликования на польском. Мицкевич — глава направления, на которое равняются все прогрессивные поляки. К сказанному и содеянному им прислушиваются все литературные силы нации.

Николоз Бараташвили не увидел ни одной своей строки в печати не только на иностранном, но и на родном языке. Бараташвили — чиновник Экспедиции суда и расправы, далеко не оцененный не только обществом, но и своими именитыми поэтическими родственниками.

Уже одно это должно было ввести в подтекст «Фариса» и «Мерани» резкие между ними различия. С другой стороны, Мицкевич писал «Фариса» в изгнании, ощущая всю неустроенность своей судьбы. Бараташвили писал «Мерани» в Тбилиси, еще не изведав горечи чужбины, но (и вряд ли это легче) чувствуя себя изгнанником дома. Эти сходно-противоположные ситуации звучат в тональности обоих шедевров.

Оба эти произведения далеко выходят за пределы личных переживаний их создателей, сплетаются с национальной судьбой. О «Мерани» в этом плане очень верно сказал Г. Асатиани: «Мерани» это «плод личного опыта, но как произведение эпохальное, оно по своему содержанию в то же время опирается на опыт народной, национальной жизни 〈. . .〉 Тоска разлуки

---

[25] *Чиковани С.* Избранные статьи. Тбилиси, 1963, с. 162—165 (на груз. яз.).

[26] *Джибладзе Г.* Романтики и реалисты в грузинской литературе XIX в. Тбилиси, 1963, с. 102 (на груз. яз.).

с отчизной в „Мерани“ осмыслена как вековая печаль, как проклятие, преследующее издавна».[27]

Эти слова можно отнести и к «Фарису». Но здесь опять-таки кроется принципиальное отличие. «Фарис», несомненно, создан на подъеме нации. Именно поэтому у Мицкевича и могли родиться столь уверенно-напряженные строки. Уверенность Мерани — от крайней неуверенности, когда сама героическая смерть, даже не достигшая победы, — уже победа. Он написан в годы, когда в конкретной действительности гениальный поэт, всеми помыслами устремленный в раздумья над судьбой Грузии, не видит возможности для скорой победы в целом, не уверен в скором расцвете нации. Победа скрыта в грядущем. Возможно и вероятнее всего поэт мыслит ее в союзе с Россией, иначе не объяснить его явной ориентации на передовую русскую и европейскую поэзию. Но, так или иначе, она отнесена для него в далекое будущее. В этом смысле «Мерани» как бы старше и трезвее «Фариса».

«Монолог нации», как удачно назвал стихотворение Н. Я. Марр, вложен в уста юноши неполных 25 лет. Истории было угодно, чтобы произнес его не кто-то из сосланных поэтов, а юноша, страдающий за тех, кто в ссылке.

Общественная обстановка и непосредственные национальные задачи лучшей части грузинской интеллигенции сложились так, что многие руководители заговора должны были служить и некоторые дослужились в дальнейшем до генеральских чинов. Григол Орбелиани пережил племянника на 38 лет. Вахтанг Орбелиани — на 45 лет. Александра Чавчавадзе не стало через год после Бараташвили, но ему было шестьдесят.

И лишь сам автор «Мерани», взявший на себя всю горечь нации, произнеся ее гениальный монолог, умер молодым безвестным чиновником в Гандже при единственном близком свидетеле — том «синем свете», в котором он мечтал раствориться.

И, может быть, потому его «Мерани» достиг тех высот общечеловеческих бед и надежд, того откровенного разговора со вселенной, что не присущи даже «Фарису». Для Мицкевича тяжесть одиночества соединена с трагической любовью, с горечью ссылки. Но здесь присутствует еще одно чувство, которое следует иметь в виду. Главная страсть «Фариса» — сразиться со стихией, это жажда борьбы с неведомым, с врагами, а порой и с недальновидными доброжелателями. Мицкевич описывает триумф Фариса. Одиночество его победы — это одиночество судьбы. Но это и неизбежное одиночество гения, который заглядывает в недоступные иным области и пределы. Это одиночество гениальной личности, осознающей себя гениальной, а кроме того, признанной таковой. Поэтому, достигнув недосягаемых пределов, всадник ощущает сладостный восторг и в то же время — невозможность постоянного пребывания в состоянии горней, одинокой победы. Выход — в соединении души с небесной высотой. Победа оказывается мигом перед смертью, но этот миг и борьба за него и составляют жизнь великих. Вспомним последние строки «Фариса»:

---

[27] *Асатиани Г.* «Мерани» и его автор. — В кн.: *Асатиани Г.* Классики и современники. Тбилиси, 1978, с. 103.

Вздохнул свободно я и поднял к звездам взор.
Очами золотыми все светила
Послали мне привет в земной простор, —
Мне одному: кругом безлюдие царило. . .
Как сладостно дышать всей грудью, полной силой!
Казалось мне, во всей полуденной стране
Для легких воздуха не хватит мне.

Как сладостно глядеть вокруг! С безмерной силой
Я напрягаю восхищенный взор,
И убегает он все дале, дале,
Чтобы вобрать в себя земные дали
И улететь за кругозор.

Как сладко обнимать красу природы милой!
Я руки с нежностью вперед простер,
И мнится мне: от края и до края
Весь мир к своей груди я прижимаю.
В безбрежную лазурь несется мысль моя,
Все выше, в горние незримые края,
И вслед за ней душа летит и в небе тонет.
Так, жало утопив, пчела с ним дух хоронит.[28]

Сравним их с тональностью последних двух строф «Мерани»:

Ведь не бесплодно же пройдет [не будет тщетно] это стремление души обреченного!
И путь непроходимый, протоптанный тобою, Мерани мой, все же останется,
И после меня собрату моему облегчится трудность пути,
И скакун бесстрашно пронесет его перед черною судьбою!
Мчится, летит без дорог и тропинок мой Мерани,
Вслед мне каркает злоокий, черный ворон.
Несись вперед, Мерани, твоему бегу нет предела
И с ветром смешай [ветру отдай] мою мысль, мрачно [черно] волнующуюся![29]

«Пусть я умру, порыв не пропадет.
Ты протоптал свой след, мой конь крылатый,
И легче будет моему собрату
Пройти за мной когда-нибудь вперед.
Стрелой несется конь мечты моей.
Вдогонку ворон каркает угрюмо.
Вперед, мой конь! Мою печаль и думу
Дыханьем ветра встречного обвей!»

(Перевод Б. Пастернака)

У Бараташвили нет этого сладостного мига примирения с вселенной, он до конца в борьбе, до конца изгнанник: до конца «черная дума», «черная судьбина». «Мерани» — это полет непризнанного гения, это подвиг отчаявшегося одиночества. Мерани, слившийся с всадником, ощущает в себе гигантские силы, гениальные возможности. Мотив избранничества значителен у Бараташвили и роднит его с мироощущением европейских романтиков. Но его силы в тот момент неприложимы. Светлого состоян-

---

[28] *Мицкевич А.* Собр. соч., т. 1, с. 177.
[29] *Бараташвили Н.* Стихотворения. Подстрочный перевод с грузинского А. Абашели, Мариджан, К. Надирадзе. Тбилиси, 1968.

ш е г о с я финала «Фариса» нет и не может быть. Перспектива отдачи отнесена в далекое будущее; лишь присущее, наверное, всем гениям сознание того, что деяния не пропадают и «рукописи не горят», удерживает отчаявшегося всадника от неверия. А признание таланта нужно не ради признания, оно нужно для осмысления масштабов своего дарования. И поэтому сомнения не покидают поэта от «Таинственного голоса» (1836 г.) до «Злого духа» (1843 г.).

И по той же причине раз в жизни необходимо смести все сомнения и, осознав, что такие душевные силы не могут быть даром случайным, обратиться к будущим собратьям, посвятив им свой полет и свое горение. То есть раз в жизни нужно написать «Мерани». Мицкевич, ощущая свое место в польской культуре, мог позволить себе с далекого звездного ракурса взглянуть на мир в полном одиночестве. Бараташвили, испытавший беспредельное поэтическое одиночество, хотя, безусловно, и чувствуя свое избранничество (см. «Таинственный голос», «Моей звезде» и др.), не может оставаться один в созданном им творческом космосе: один в пространстве и во времени. В пространстве — в современности — Мерани гораздо более одинок, нежели Фарис. Остается одно — обращение в будущее, которое у Мицкевича исторически более определенно, и поэтому в «Фарисе» как бы вынесено за скобки. Для Бараташвили же этот неведомый будущий друг — нравственный центр и цель полета.

Л. Хихадзе тонко отмечает: «Мысль о тех, кто пойдет вслед за ним, по проторенной им дороге, постоянно питает этот титанический, непреклонно-страстный порыв:

Я слаб, но я не раб судьбы своей,
Я с ней борюсь и замысел таю мой.
Вперед, мой конь! Мою печаль и думу
Дыханьем ветра встречного обвей.

(«Мерани», перевод Б. Пастернака)

Трагическое видение всадника на бешено мчащемся коне — не абстрактно-романтический образ, поднятый над „тщетою“ жизни. — Это символ преодоления, найденное разрешение трагедии, философский, эмоциональный, художественный результат пройденной до конца „Одиссеи духа“».[30]

И этот момент в мироощущении, не совсем совпадающий у двух поэтов, вносит, по-видимому, существенные отличия в тональность «Мерани» и «Фариса».

Н. Думбадзе на своем творческом вечере в Москве в ноябре 1981 г. высказал мысль, что Мерани и его всадника нельзя воспринимать как лихого наездника на прекрасном скакуне, который может взять любое препятствие. Это — творческая мысль на своем Пегасе, для Бараташвили его творческий дар, его скакун — единственная сила, выводящая из отчаяния, но и единственная сила, не позволяющая останавливаться. Поэтому, по мысли Н. Думбадзе, следует иметь в виду многозначность образа, кото-

---

[30] *Хихадзе Л.* Из истории восприятия русской литературы в Грузии. Тбилиси, 1978, с. 54—55. «Одиссея духа» — статья Г. Асатиани о «Мерани» (Дружба народов, 1968, № 9, с. 233—243).

рый обычно на русский переводится как «Мчится, летит без дорог и тропинок мой Мерани» (подстрочник), «Мчит, несет меня без пути—следа мой Мерани» (М. Лозинский), «Скакун мой Мерани летит без дороги» (П. Антокольский), а по-грузински может означать «неведомо куда», в неизведанные дали. Какие уж тропинки и дороги, когда речь идет о космических пространствах и скоростях, спрашивает Н. Думбадзе. По его мнению Мерани — это вихрь.

Упоминания о тропинках-дорогах нет у Б. Пастернака, перевод которого считают как раз излишне вольным и который декларировал свое право на интуитивное поэтическое общение с образами переводимого. Приведем выдержку из письма Б. Л. Пастернака к С. Чиковани, с которым он часто делился в моменты важных творческих решений: «. . . два дня, как принялся за Бараташвили. Он у меня пойдет, уже вижу.

Я смотрел, что сделали в этом отношении раньше (Моск. и Лгрдск. издания, Спасский, Антокольский, Лозинский и др. Выделяется, между прочим, Гаприндашвили — молодец!). Попытка сделать ритмическую комбинацию из всех слов подстрочника уже проведена и ее не стоит повторять. Из этого надо делать русские стихи, как я делал из Шекспира, Шевченко, Верлена и других, так я понимаю свою задачу.

. . .Это может показаться спорным, скажут, это слишком вольный Бараташвили, но это меня не пугает».[31]

У Б. Пастернака первая строка звучит так: «Стрелой несется конь мечты моей». Здесь ощущается и невероятная скорость и вместе с тем — полет стрелы — самая большая скорость, доступная представлениям современников Бараташвили. Его конь — одновременно и скакун, и мечта, а приземленного образа дороги у Пастернака нет вообще.

Конечно, и Фарис — сказочный конь, которому доступны вселенские расстояния и разговор со звездами, но его связь с четвероногим скакуном более непосредственна. Не случайно у Мицкевича звучит мотив пустыни, Фарис — это арабский скакун, имеющий помимо абстрактной и конкретную приобщенность в пространстве, и заменить этот образ чистым олицетворением, как у Бараташвили, невозможно.

И еще один момент. К «Фарису» Мицкевич подступался. До него уже написаны в том же 1828 г. две прекрасные касыды — «Шанфари» и «Альмотенабби», без которых «Фарис» немыслим, они составляют своего рода единый поэтический триптих. Стало быть, его полет подготовлен, он не исключает повторения, это готовность к бою. И в самом «Фарисе» при тех страшных препятствиях, что выпало преодолеть бедуину, нет ощущения крайней, смертельной усталости.

Полет «Мерани» — самосжигающий. У него вообще нет энергии извне. Он существует за счет внутренних сил. И поэтому Мерани летит на том последнем напряжении, сочетающемся с полной раскованностью, когда личность мобилизует свои предельные возможности. В таком полете взрываются. Из него нет возврата, даже такого короткого, как миг торжества и победы в «Фарисе». Торжество Мерани лишь в процессе лета, лишь в победе будущих поколений. Потом явится «Злой дух», но «Мерани» уже за-

---

[31] Музей дружбы народов АН ГССР, фонд С. Чиковани, № 147, л. 5.

пущен в полет, и «злой дух» накинется на автора, бессильный справиться с его созданием.

И «Фарис», и «Мерани» написаны на одном дыхании. Но в «Мерани» горит какая-то невероятная нерастраченность, предельная концентрация сил, Мицкевичем уже отчасти воплощенная в предшествующих родственных стихах. Бараташвили эта сила нужна для единственного полета, для того, чтобы подняться над благополучным замужеством любимой, над безнадежностью увидеть свои строки напечатанными, над славой умного, общительного, слагающего стихи (но не более) человека. И потому Мерани даже в творчестве Бараташвили одинок. Хотя образ скакуна Мерани восходит к Руставели и фольклорной традиции, к ощущению его одинокости у юноши-романтика это не имеет отношения.

Нам кажется, при рассмотрении текста следует учитывать эти, а также и многие другие факторы. И «Фарис», и «Мерани» достигают той степени выражения общечеловеческих запросов и мечтаний, когда бледнеют, а со временем и забываются причины, побудившие к их созданию. И действительно, внутренний заряд этих стихотворений несовместим ни с пленением дяди Бараташвили Ильи Орбелиани, которое потрясло поэта и воззвало к жизни «Мерани», ни с той бурей в Петербурге, которую пережил польский поэт и ощутил необходимость ответить ей стихами.

Но исследование этих причин нельзя сбрасывать со счетов. «Фарис» написан в честь эмира Тадж-уль-Фехра (посвящен Ивану Козлову). «Под этим именем, — пояснил в примечании сам Мицкевич, — был известен на Востоке граф Вацлав Ржевуский» («Тадж» означает венец, «Фахр» — слава).[32] Ржевуский — исследователь Азии, собиратель восточных рукописей, отважный наездник. И это, конечно, повлияло на облик всадника, в этом и кроется более конкретный, обладающий кровью и плотью образ скакуна. Его всадник — исследователь, рвущийся в неведомое, смельчак, доказывающий, что ему доступно недоступное.

Известие о пленении любимого дяди потрясло Бараташвили и, по-видимому, заставило поэта осознать, что и он пленник, вызвало порыв, желание вырваться из плена действительности, познать свободу.

Причины отчасти родственны. И бедуин (его нельзя отождествлять буквально с Ржевуским), и Мерани стремятся из плена повседневности не в покой, не в блаженство, а в борьбу и преодоление препятствий. Причины пересекающиеся, но как бы разнонаправленные.

Следует учитывать и то, что у автора «Фариса» несравненно богаче жизненные впечатления. И это, без сомнения, подсознательно отпечаталось в «Фарисе». Мы, безусловно, имеем в виду не большее число реалий в польском стихотворении, что само по себе несомненно, а осознание Мицкевичем преград как более конкретной категории. И в этом отношении «Фарис» старше и опытнее «Мерани».

Грузинского же романтика раздирает и это противоречие — бедность жизненных впечатлений в сравнении с богатством внутренних возможностей. Сфера его пребывания к моменту создания «Мерани» — лишь родной город. И потому появляется тяга увидеть дальние края, достичь иных пределов. В этом случае неожиданно, по непредсказуемой логике рожде-

---

[32] *Мицкевич А.* Собр. соч., т. 1, с. 478.

ния шедевра бедность впечатлений реальной жизни становится взрывной силой, прорывом во внутреннюю бесконечность, делает стихотворение тем универсальным обобщением, которое поражает всех читателей и специалистов и о котором Б. Пастернак сказал: «Взрывы изобразительной стихии в бесподобном, бешеном и вдохновенном „Мерани" ни с чем не сравнимы. Это „символ веры" большой, борющейся личности, убежденной в том, что движение человеческой истории отмечено благородной целью и смыслом».[33]

Итак, материал для сопоставления весьма значителен и данная работа скорее всего — постановка проблемы. С самого начала мы обратили внимание на некоторые различия в исследуемых стихотворениях, однако во многих отношениях и прежде всего для изучения восприятия грузинского романтизма польской культурой и vice versa, необходимо учитывать и черты, безусловно роднящие произведения. При всем различии подтекста обоих стихотворений ясно, что они заключают в себе сходный пафос, близкий по мощи и качеству: бежать от настоящего, от однозначной, а подчас и пошлой действительности, через любые преграды, спасаясь в этой скачке на скакуне — своей надежде и спасая свою мечту и надежду — скакуна, в полном одиночестве, против всех врагов, конкретных и возможных. . . Заглянуть за пределы доступного человеку и не отступить. Эти стихи и в польской, и в грузинской литературе сразу вознеслись над уровнем лучших образцов поэзии, даже над созданиями своих авторов, оставив за собой их же стихи, но стихи исполненные колебаний и сомнений. В таких случаях действует закон творчества с весьма сложной диалектикой, характерный, по-видимому, не только для романтизма. Произведения поэтов, которым недоступны противоречия, отступали перед стихами, выражавшими горькие и неоднозначные раздумья о жизни. Так в русской литературе остаются позади поэты-современники перед мощной аналитической, подвергающей сомнению справедливость мироустройства поэтической стихией Лермонтова, но как отрицание несовершенства любого мироустройства, как отрицание недостижимости гармонии в поэзии изредка происходят взрывы, хоть на миг сжигающие сомнения. Они бывают доступны лишь самым трагическим поэтам. Таковы «Фарис» и «Мерани». Отчасти таков и «Мцыри» с обреченным, но неколебимым жизненным идеалом.

Возвращаясь к точкам соприкосновения польского и грузинского романтизма, нужно отметить, что помимо рассмотренных, чисто духовных связей, были в те времена и связи более конкретные.

Мы уже упомянули о контактах Лада-Заблоцкого. Уделим теперь внимание «кавказской группе» польских поэтов, в том числе последователей Мицкевича (так некоторые из них даже писали «Кавказские сонеты» под впечатлением «Крымских»). Когда во второй половине 30-х гг. многие участники заговора 1832 г. возвращались на родину, между ними возникло взаимное притяжение. Георгий Эристави, побывавший в ссылке в Польше и изучивший польский язык, вскоре начинает переводить Мицкевича.

В свою очередь польские поэты пропагандируют грузинскую культуру. Мы не касаемся здесь такой интересной и непременной при изучении

---

[33] *Пастернак Б.* Стихи о Грузии. Грузинские поэты. Тбилиси, 1958, с. 6.

романтизма темы, как воплощение в нем восточной тематики. В этом вопросе действуют противоположные тенденции: для грузинской литературы, в предшествующие века тесно связанной с восточной поэзией, романтизм — это освобождение от восточных влияний и наслоений в литературе, это явная ориентация (что особенно проявилось в творчестве Бараташвили) на европейскую поэтику, в польском же — пристальное внимание к Востоку. Деятельность поляков на Кавказе в связи с этим наводит на определенные размышления. Если для грузин Восток — символ поработителей, то для поляков с легкой руки Мицкевича (а у него под влиянием европейского романтизма и в первую очередь, конечно, Байрона, а также в связи с усилившимся интересом к восточной культуре) Восток ассоциируется со свободой. Но важно, что для поляков того времени и Кавказ — уже тоже Восток, хотя Восток более близкий по духу, христианский, но тем не менее страна экзотическая, отчасти воспринимаемая через русский романтизм. Следует отметить, что в границы ориентализма польского романтизма некоторые исследователи вводят деятельность кавказской группы поэтов.[34]

Несомненно, интерес представителей этой условно объединяемой группы к быту, природе и поэзии Кавказа очень высок. В данном случае знаменательно теснейшее переплетение творчества и судьбы. Жизнь этих писателей сама воспринимается как сюжет из арсенала романтизма. Главный герой романтической литературы — бунтарь, личность, несогласная с тем образом жизни, который диктует эпоха, изганник, пленник. Таков и герой «кавказцев». Но главное — таковы и они сами. Пожалуй, если не все они были поэтами высокого класса, то судьбы у всех и у явления в целом — это почти классическая фабула самой высокой романтической поэмы. Студенты, офицеры, помещики становятся солдатами кавказских полков, служат и воюют в далекой стране, которая до этого времени была для них лишь предметом сказочного вдохновения. Поэтому Кавказ для них и в их стихах многогранен, он вдруг обретает реальные основы, вдруг перестает быть экзотикой, а становится сферой, в которую их включила жизнь. Они видят его лицом к лицу, подчас проходя пешком, в армейских или чиновничьих буднях. Лишь исходя из этого можно понять, почему Кавказ иногда открывается в поэзии Лада-Заблоцкого столь величественным и прекрасным, а иногда в таких строках: «Не надейтесь же, Князь! от меня топографии Кавказа в отношении географическом и поэтическом. Еще что касается первого могу Вас кое-как удовлетворить, но в последнем! . . Могло ли что-нибудь оживить остывшую душу? Навьюченный ранцем и сухарями, с ружьем в руке, карабкаясь по высям и обрывам, я не раз проклинал кавказские горы, не замечая их прелестей, и они более давили меня, нежели пробуждали изящное чувство эстетической красоты. . .

. . .Ваша душа еще настроена под высокую гармонию, громы рока еще не оборвали струн ее, и она звучит величественно, торжественно!

Но душа моя не издает звуков — и ежели из глубины ее вырвется какой-нибудь стон, то он более похож на крик, дикий потрясающий крик

---

[34] См.: *Стахеев Б.* О польском романтизме в сопоставлении с русским романтизмом. — В кн.: Польский романтизм и восточнославянские литературы. М., 1973, с. 18.

Прометея, прикованного к громадам Кавказа, которого внутренность исторгают небесные орлы. . .».[35]

Стихи Заблоцкого, известные более широко, и эти почти неизвестные строки, казалось бы исключающие друг друга, — типичные образцы романтической поэзии и прозы. То обстоятельство, что одно и то же явление в разные моменты жизни бывает идеалом и проклятием, весьма характерно именно для романтического мировосприятия.

Впечатления «кавказцев» длительнее и поэтому шире, как и у сосланных на Кавказе декабристов, чем встреча с Кавказом Пушкина или Мицкевича с Крымом. Другой вопрос, что уровень таланта несовместим с гением Мицкевича и Пушкина, поэтому несопоставимы и поэтические результаты встречи. Но эта неразрывная связь судьбы с Грузией, с Кавказом, безусловно, важна для понимания их творчества и составления цельного представления о связях польского и грузинского романтизма. И этого вопроса, как ни странно, не касается ни один из исследователей их поэтической судьбы.

И еще один момент. Герой романтизма почти всегда юн. Молоды и сами поэты «кавказской группы». Не всегда гибнут они от пули, но почти всегда в возрасте классических романтических героев. Герцену принадлежит составление классического «мартиролога» русской литературы. Но еще до написания его труда «О развитии революционных идей в России», в год, предшествующий их изданию, в письме Леона Янишевского, одного из самых талантливых «кавказцев», к издателю «Паментника науково-литерацкого» приводится список, поразительно созвучный по тону герценовскому. Письмо было опубликовано в альманахе в 1850 г. В этом списке говорится о меньших по масштабу талантах, чем у Герцена, но не менее трагических судьбах, причем Янишевский составляет его, лишь информируя адресата об оставшихся в живых польских писателях на Кавказе, а также о тех, кто уже не сможет сотрудничать с альманахом.[36] О многих судьбах ничего неизвестно.

В то же время мы имеем дело с удивительным явлением. При всей недоговоренности судеб польских писателей, польские поэты, оказавшиеся на Кавказе, поразительно включены в литературную жизнь своего времени. Нет практически ни одного польского альманаха той эпохи, в котором регулярно бы не участвовали «кавказские» поляки.[37] И это представляется нам очень важным для одного неожиданного поворота в истории романтизма. Кавказ становится для польской литературы одновременно источником романтического вдохновения, ее встречей с необычным и в то же время — встречей постоянной и долгосрочной, поэтому Кавказ уже как реальная единица входит в интересы польской литературной и культурной жизни, благодаря сосланным поэтам становится ее постоянной тематикой. Таким образом писатели-романтики способствуют реалистическому познанию поляками Кавказа. Это еще один аспект, в котором должно изучаться творчество «кавказцев».

---

[35] Письмо к М. Туманишвили от 29 июля 1839 года из крепости Куба (Центральный государственный архив Грузии, фонд М. Б. Туманова, № 605).

[36] Pamiętnik naukowo-literacki, 1850, z. 2, s. 121.

[37] См.: «Pamiętnik naukowo-literacki», «Biblioteka Warszawska», «Athenaeum», «Rocznik Literacki», «Gwiazda», «Rubon» и др.

По-видимому, личные связи как раз среди писателей-романтиков весьма значительны, хотя вряд ли все эпизоды из истории польско-грузинских отношений той эпохи сейчас удастся восстановить и осветить. Интересный материал прояснится после публикации хранящейся в Ягеллонской библиотеке (Краков) переписки Ю. Крашевского. К нему писали очень многие «кавказцы», а Лада-Заблоцкий делился и поэтическими и личными делами, характеризовал всю литературную ситуацию в Грузии.

Итак, сопоставление польского и грузинского романтизма предполагает исследование как на типологическом уровне, так и в плане непосредственных писательских контактов. Следует добавить, что относительное господство романтизма и в Грузии, и в Польше простирается вплоть до начала 60-х гг., т. е. до эпохи, когда в России в пору своей классики вступил критический реализм. Этот факт хронологической синхронности, по всей видимости выражающий потребность и одного, и другого народа в романтической литературе, требует специального рассмотрения и может открыть нечто новое в истории романтизма. И уже при изучении судеб романтизма после 30-х гг. нельзя не учитывать постоянных контактов между польскими и грузинскими литераторами, так же как на всем протяжении романтической эпохи необходимо иметь в виду важнейшие для обеих литератур связи с русской романтической культурой.



11 Заказ № 64



В. С. Шадури

ВОЙЦЕХ ПОТОЦКИЙ И ЕГО РУССКО-КАВКАЗСКИЕ СВЯЗИ

1

В 1832 г. в свите кавказского главнокомандующего генерала Г. В. Розена в Тифлисе появилась «загадочная личность», прошлое которой, по словам современника, «было покрыто интересною таинственностью. Носились темные слухи, будто бы он в Южной Америке дрался за свободу и в своей жизни перенес много несчастий, а какие именно, никто не ведал. Положительно знали об одном, что он прибыл на Кавказ не по собственному желанию».[1]

Фамилию «загадочной личности» мемуарист, Ф. Ф. Торнау, обозначил первой буквой — П., но ее еще в прошлом веке расшифровал известный кавказовед Е. Г. Вейденбаум.[2] Да и простое сопоставление фактов не оставляет никакого сомнения, что П. — это польский писатель Войцех (Альберт) Потоцкий.[3]

Войцех Потоцкий относится к числу совершенно неизученных и малоизвестных писателей. Еще Белинский отмечал, что литература состоит не из одних шедевров, что наряду с классиками, гениями следует изучать и «обыкновенные таланты»: «Бедна литература, не блистающая именами гениальными, но не богата и литература, в которой все — или произведения гениальные, или произведения бездарные и пошлые. Обыкновенные таланты необходимы для богатства литературы, и чем больше их, тем лучше для литературы».[4] Напомним также замечание Чернышевского о том, что странно выглядела бы география, изучающая лишь Эльбрусы и Монбланы. «Видеть великого не трудно, — говорил вождь грузинских шестидесятников И. Чавчавадзе, — но важно увидеть незаметную деятельность тех тихих, скромных тружеников, которые дают миру жизнь».[5] Наконец, напомним слова В. И. Ленина, сказанные в беседе с В. Бонч-Бруевичем:

---

[1] *Т.* [*Торнау Ф. Ф.*]. Воспоминания о Кавказе и Грузии. — Русский вестник, 1869, апрель, с. 703.

[2] Институт рукописей АН Грузинской ССР. Алфавитная картотека Е. Г. Вейденбаума («Потоцкий»).

[3] Произведения (на польском языке) Потоцкий подписывал «Войцех», официальные бумаги (на русском и французском языках) — «Альберт».

[4] *Белинский В. Г.* Собр. соч. в 9-ти тт. М., 1981, т. 7, с. 131.

[5] *Чавчавадзе Илья.* Полное собрание сочинений в десяти томах. Т. IV. Тбилиси, 1955, с. 247 (на груз. яз.).

«У нас обращают внимание преимущественно на больших писателей, которые своими прекрасными произведениями приобрели славу. Это правильно, что их переиздают, так как на их произведения большой спрос. Но, повторяю, и маленькие писатели должны быть извлечены из забвения и должны войти в библиотеки наших читателей. Конечно, к ним необходимо давать примечания, предисловия, которые вводили бы читателя в их эпоху, критически освещая их деятельность и произведения».[6]

Что нам известно о Потоцком — о «рядовом» русской армии и польской литературы?

В работах, опубликованных на русском языке, ему посвящается лишь по нескольку строк, на польском же языке, насколько нам известно, имеются три небольшие статьи Ю. В. Гомулицкого[7] и краткие (не всегда точные) био-библиографические сведения в общих работах по польско-кавказским связям.

Больше биографических данных находим в мемуарах консервативно настроенных польских и русских современников, отрицательно относившихся к Потоцкому, которого они характеризуют как вольнодумца и безбожника, циника и гуляку, хотя все признают, что он был на редкость одаренным и эрудированным человеком.

Однако если реакционер К. Козьмян считал Потоцкого авантюристом и аферистом, то, друживший с ним великий польский писатель, Норвид давал ему самую лестную характеристику и осуждал людей, распространявших о нем сплетни.[8]

Как свидетельствуют современники, Потоцкий был человеком сложным — хитрым, ироничным, изворотливым, но вместе с тем разносторонне образованным и талантливым, способным на благородные поступки. Попадая в трудные условия, он умел приспосабливаться к обстоятельствам, располагать к себе сильных мира сего, но всегда оставаясь гуманистом и патриотом. Его жизнь настолько богата интересными событиями и романтическими приключениями, что вполне могла бы стать сюжетом большого занимательного романа.

Пользуясь новыми или ранее затерянными и малоизвестными материалами, мы обратились к рассмотрению некоторых сторон его общественно-литературной деятельности и русско-кавказских связей. Многие факты и документы еще не выявлены или утрачены навсегда, а поэтому многое продолжает оставаться неясным и загадочным.[9]

---

[6] *Бонч-Бруевич Влад.* Ленин о книгах и писателях. Из воспоминаний. — Литературная газета, 1955, 21 апреля, № 48.

[7] *Gomulicki J.* Na odjazd młodego wieszcza. — Trybuna literacka, 1958, N 38; Biedny Albrik. — Stolica, 1960, N 26; O nieznanym dramacie Norwida. — Pamiętnik teatralny, 1961, N 2, s. 202—203.

[8] *Gomulicki J.* Na odjazd młodego wieszcza. — Trybuna literacka, 1958, N 38.

[9] Архивные документы и материалы, разбросанные по старым русским, польским и грузинским газетам и журналам, разысканы нами при любезном участии и помощи проф. М. Якубца (Вроцлав), профессоров С. С. Ланды и Е. З. Цыбенко, доцентов С. Я. Равича, М. А. Филиной, В. И. Оцхели, журналиста Я. Л. Махлевича, писателя С. С. Тхоржевского, пушкиниста Л. А. Черейского. Всем им приношу сердечную благодарность. Отдельные из названных материалов использованы нами в монографии «Покровитель сосланных на Кавказ декабристов и опальных литераторов. (Неизвестные материалы о лицейском друге Пушкина В. Д. Вольховском)» (Тбилиси,

Войцех (Альберт) Игнатьевич Потоцкий (Шелига-Потоцкий) родился в 1801 г. на Волыни в культурной шляхетской семье. Мать его, Эмилия, была сестрой прославленного польского писателя и ученого Алоизия Фелиньского; отец, Игнатий Потоцкий, по словам Каэтана Козьмяна, был начитан, остроумен и злоязычен.

Рано потеряв мать, мальчик воспитывался отцом и мачехой — Моникой Дуткевич — интеллигентной и либерально настроенной женщиной, большой поклонницей литературы. С 1814 г. он учится в Варшавском лицее, проявляя незаурядные способности, постоянно посещая салон Ст. Яблоновской — очаг тогдашнего вольномыслия.

В 1819 г. лицеиста Потоцкого арестовывают за «зловредные стихи»; дело это тянулось несколько месяцев. Потоцкому угрожала Сибирь, но мачеха выхлопотала прощение. Вскоре после выхода из тюрьмы Потоцкий совершил новый проступок, за что был доставлен к наместнику. Здесь Альбрик, как его называли в обществе, так талантливо разыграл сцену провинившегося и кающегося школьника, так горячо клялся, что впредь будет вести себя образцово, тихо и благонамеренно, что у наместника не возникло даже тени сомнения в его искренности, и он был прощен.

Однако не прошло и месяца после этой сцены, как Потоцкий внезапно исчез из Варшавы, оставив близким записку, что отправляется в Южную Америку воевать за свободу в армии Боливара.

Он действительно поехал в Англию, а оттуда в Южную Америку, но судно с оружием, предназначенным для Боливара, на котором находился Потоцкий, было задержано и возвращено обратно. В Лондоне он сильно нуждался — чтобы не умереть с голоду, работал в порту; не имея денег на ночлег, спал на кладбище. Из Англии, с помощью знакомых, он перебрался в Париж к Адаму Чарторийскому, а затем вернулся на родину. Здесь его арестовали и отправили в армию простым солдатом.

По словам лицейского товарища Потоцкого Леона Сапеги, его сослали на Кавказ к генералу А. П. Ермолову. Отметим, что документов, подтверждающих это сообщение, обнаружить не удалось. Очевидно, Сапега ошибается.[10] Более правдоподобными представляются свидетельства Анджея и Каэтана Козьмянов, писавших, что Потоцкий был выслан в Литовский корпус к генералу Тимофееву и зачислен рядовым в гренадерский полк, стоявший в Бельске. Недалеко от Бельска, в деревне, жила сестра Каэтана Козьмяна, куда приезжал и ее племянник Анджей Козьмян, подробно рассказавший о тамошнем времяпрепровождении своего лицейского товарища. По его словам, Альберт свои бурно романтические приключения описывал очень живо и ярко, поэтизируя и приукрашивая их. «Жили мы весело, читали, писали, сочиняли стихи, устраивали прогулки на конях, вечера танцев и представлений, проказничали, занимались любовными интригами. . .».[11]

1979, с. 33—36) и в статье «Об откликах из Тифлиса на смерть Пушкина» (в кн.: Классическое наследие и современность. Л., 1981, с. 147—150).

[10] *Sapieha L.* Wspomnienia z lat od 1803 do 1863. Lwów <без даты издания>, с. 30—31. — Следуя этим воспоминаниям, подобную ошибку допустили комментаторы второго тома сборника «Писатели-декабристы в воспоминаниях современников» (М., 1980, с. 382) и автор настоящих строк в сборнике «Классическое наследие и современность» (Л., 1981, с. 148).

[11] *Koźmian A. E.* Wspomnienia. T. I. Poznań, 1867, s. 251—253.

В 1830 г. осенью командиром корпуса, куда входил гренадерский полк, был назначен генерал Г. В. Розен, хорошо знавший отца и мачеху Потоцкого. Он заинтересовался молодым, способным и умным Альбертом и приблизил его к себе. По свидетельству К. Козьмяна, генерал, знавший умонастроения и характер Потоцкого, добился его перевода на Кавказ. Вскоре после этого, в 1831 г., главнокомандующим Кавказским корпусом был назначен Г. В. Розен.

В жизни Войцеха Потоцкого наступил новый период.

2

О жизни и деятельности Потоцкого на Кавказе мы можем судить по некоторым мемуарам, официальным документам, письмам и его произведениям.

Любопытную, хотя явно тенденциозную, характеристику Потоцкого этого периода дает в своих воспоминаниях Ф. Ф. Торнау, прибывший в Тифлис весной 1832 г. и зачисленный офицером штаба Отдельного Кавказского корпуса. Не скрывая своей неприязни к польскому вольнодумцу, Торнау тем не менее признает, что «он был во всех отношениях замечательно талантливая личность и умел, как никто, направить свое плавание по взволнованному житейскому морю. Высокого роста, толстый, с опухлым лицом, он при этой не совсем благовидной наружности <. . .> умел изъясняться так сладко, так приятно, что бывало слушаем его с невольным увлечением. Он все знал, все видел, и мало существовало европейских диалектов, которыми бы он не владел в совершенстве».[12]

Из мемуаров Торнау и других источников узнаем, что летом и осенью 1832 г. Потоцкий участвовал в военном походе в Чечню и Дагестан в качестве адъютанта командира второго мусульманского полка. Как известно, этот поход был осуществлен под личным начальством Г. В. Розена.[13] За отличие в экспедиции Потоцкий получил орден святого Владимира IV степени с бантом.[14]

Не зная прежнего благожелательного отношения барона Розена к Потоцкому, Торнау писал, что последний во время этой экспедиции «сумел привлечь на себя внимание корпусного командира, который по окончании военных действий приказал, не возвращаясь в полк, оставить его при штабе». Описывая далее вечера, устраиваемые Розеном и его супругой в Тифлисе зимой 1832/33 г., Торнау сообщает, что Потоцкий «держал себя первое время необычайно скромно, в гостиных выбирал самый отдаленный уголок, и, с видом человека, угнетенного судьбой, едва шепотом передавал свои всегда льстивые замечания. В служебном отношении он избегал всякого заметного дела и трудился в тени для других». Но вот в один вечер он «произнес французские стихи собственного сочинения, и пожал всеобщую похвалу. Этот приятный талант возбудил желание сблизиться с ним, его стали чаще приглашать, и через самое короткое время он сде-

---

[12] Русский вестник, 1869, апрель, с. 703.
[13] Русская старина, 1874, ноябрь, с. 515.
[14] Список подполковников по старшинству. СПб., 1840, с. 225.

лался у корпусного командира домашним человеком. Барон поручил ему свою частную корреспонденцию на французском языке, и, кроме того, стал употреблять в делах щекотливого свойства, требовавших ума и ловкости. Потоцкий вошел этим путем в желанную колею. Но окончательно завладел он доброю, честною душой Григория Владимировича, когда в день рождения его второй дочери прочел поздравительную статью <. . .> написанную с таким избытком религиозного чувства и тонкого понимания девичьих отношений к свету и к семейству, что баронесса, слушая, только вскидывала глаза к небу, а у барона навернулись искренние слезы умиления <. . .> Долее году прожил он в Тифлисе в этом приятном положении, пользуясь плодами неограниченной веры высшего начальника <. . .> Потом для него создали особое место. Во внимание многообразных познаний и на деле доказанного дипломатического таланта, его назначили с большим содержанием чем-то вроде английского резидента к азиатскому двору владетеля мингрельского, и тут-то он попал на широкую дорогу всякого удовольствия».[15]

В воспоминаниях Торнау, с самого начала не взлюбившего Потоцкого, к сожалению, ничего не сообщается ни о его связях с передовыми людьми эпохи, ни о его участии в общественно-литературной жизни на Кавказе. Однако из других источников узнаем, что, живя то в Зугдиди — в резиденции владетеля Мингрелии Дадиани, то в Тифлисе, Потоцкий вел многостороннюю деятельность, нередко участвовал в военных походах во главе с «Мингрельской дружиной», общался с местной, а также русской и польской интеллигенцией. Из сосланных на Кавказ декабристов он был дружен с А. А. Бестужевым-Марлинским, переведенным из Сибири на Кавказ в 1829 г.

Приступая к этой радостно-печальной истории отношений польского литератора с русским писателем-декабристом на кавказской земле, к сожалению, столь рано и трагично оборванной, прежде всего приведем воспоминание А. Л. Зиссермана, которому Потоцкий при встречах в Тифлисе рассказывал «о своем знакомстве с сосланными на Кавказ декабристами, особенно с Александром Бестужевым, с которым он был в близких отношениях, о его смерти, совершившейся почти на глазах Потоцкого».[16]

Судьба польского поэта, братьев Бестужевых и других ссыльных декабристов сложилась так, что их пути часто скрещивались то под мирным небом Грузии, то в военных походах на Северный Кавказ. В той самой экспедиции 1832 г. в Чечню и Дагестан, о которой говорилось выше, одновременно с Потоцким участвовал ссыльный Павел Александрович Бестужев, командовавший горными орудиями и проявивший в критический момент сражения исключительную храбрость и находчивость.[17]

Надо полагать, что общение с героями 14 декабря особенно усилилось после окончания экспедиции, когда в Тифлисе часто устраивались вечера у Г. В. Розена, благожелательно относившегося не только к Потоцкому, но и к А. А. Бестужеву-Марлинскому и другим разжалованным де-

---

[15] Русский вестник, 1869, апрель, с. 703—705.
[16] *Зиссерман А. Л.* Двадцать пять лет на Кавказе. СПб., 1879, с. 131—132.
[17] Русский вестник, 1869, апрель, с. 672.

кабристам.[18] А их в это время в Тифлисе было немало. На Эриванской площади жили, по свидетельству того же Торнау, «Павел Бестужев и Каменский [19] с молодым красивым кумыкским князем Мусса Хасаем, которого они взялись воспитывать на европейский лад».[20]

Что же касается А. А. Бестужева-Марлинского, то его, как известно, в 1830 г. выслали из Грузии в Дербент, но весной 1834 г. перевели в Ахалцихе. Покинув Дербент 3 апреля, он поехал к новому месту назначения через Кахетию и Тифлис. В столице Грузии он оставался до 22 мая, ухаживая за больным братом Павлом.[21] В это время и завязалось, очевидно, знакомство Потоцкого с А. А. Бестужевым-Марлинским.

Летом 1834 г. Павел Бестужев уехал из Грузии, а спустя три года получил в Петербурге письмо от Потоцкого, в котором он писал о своей глубокой скорби по случаю гибели А. А. Бестужева: «Я был в двух экспедициях вместе с Вашим братом, — писал Потоцкий из Тифлиса, — и мы имели с ним множество веселых разговоров посреди черкесских пуль».[22] Выяснено, что Потоцкий имел в виду экспедиции 1835 и 1836 гг.[23] Описывая первую из них, М. Ф. Федоров в своих «Походных записках» сообщает: «При отряде находились конные Мингрельские и имеретинские дружины, которыми командовал лейб.-гв. Уланского полка штабс-ротмистр Потоцкий».[24]

В этом же походе рядом с Потоцким сражался и А. А. Бестужев. Его письма дают нам представление о той обстановке, в которой польский и русский писатели имели «веселые разговоры посреди черкесских пуль»: «Ну, брат, — писал А. А. Бестужев 8 ноября 1835 г. из штаб-квартиры Тенгинского полка, находившегося в Ивановке, — устал я от последней экспедиции до самого нельзя. Бог ты мой, что за погода! Вообрази себе, что в течение двух недель не имели мы двух часов сухих <. . .> О людях и говорить нечего, когда родная, добрая природа так нас отделывала. Люди потчивали нас шашками и свинцом. Правду сказать, и мы к ним не с добрым пожаловали: мы жгли их села, истребляли их хлеба, сено <. . .> Прикомандирован, будучи к черноморским пешим стрелкам, для введения у них военного порядка, ходил без отдыха каждый день в цепи с утра до вечера <. . .> Одежда моя избита пулями, лошадь ранена, и все-таки я прогуливаюсь по цепи невредим. Мне даже досадно это».[25]

Теперь о совместном участии Потоцкого и Бестужева во второй экспедиции. 23 мая 1836 г. главнокомандующий Розен подписывает приказ «об отправлении по высочайшей воле Мингрельской милиции под названием дружины под командою лейб-гвардии Волынского полка поручика

---

[18] Подробнее см.: *Шадури В.* Декабристская литература и грузинская общественность. Тбилиси, 1958, с. 215—218.

[19] Каменский Павел Павлович (ок. 1810—1870) — писатель, последователь А. А. Бестужева-Марлинского.

[20] Русский вестник, 1869, апрель, с. 700.

[21] Там же, 1861, апрель, с. 456—459.

[22] Рукописный отдел ИРЛИ, ф. 604, № 16, лл. 93—94.

[23] См.: *Махлевич Я. Л.* 1) Кавказский вид (Неделя, 1977, № 14); 2) Лагерь при Суджук-Кале (там же, 1979, № 40).

[24] Кавказский сборник. Тифлис, 1879, т. 3, с. 6. Мемуарист допускает неточность: Потоцкий был произведен в штабс-ротмистры 23 февр. 1837 г.

[25] Отечественные записки, 1860, июль, с. 51—52.

Потоцкого для участвования в экспедиции за Кубанью».[26] В ней вместе с Войцехом Игнатьевичем участвовали, как выяснил Я. Л. Махлевич, декабристы А. Бестужев, Н. Цебриков, В. Голицин, С. Кривцов, В. Толстой, корнет лейб-гвардии Уланского полка, прикомандированный к Конно-Мингрельской дружине, К. Игельстром, а также «однокашник» М. Ю. Лермонтова по юнкерской школе Н. Поливанов и подпоручик Батюшков, убитый в этом бою.[27]

«Бедный Батюшков, офицер Преображенского полка, был убит рядом со мной 28 сентября, — писал А. А. Бестужев брату Павлу. — Это был очень храбрый, умный и благородный юноша».[28] В другом месте читаем: «Мы весело двинулись вдоль опушки, все время беседуя о Петербургском театре, как вдруг выстрел, прозвучавший неподалеку (перестрелка все время продолжалась) поражает его ‹. . .› Я замещаю его в цепи. Душа моя подавлена горем».[29]

Вслед за описанием сражения, в котором погиб Батюшков, в походном журнале рассказывается о подвиге Конно-Мингрельской дружины под командованием Потоцкого — одного из тех начальников, у которых «вопреки предупреждению царских сыщиков под полотняной крышей походной палатки столичная молодежь встречалась с „преступниками, одаренными талантами“».[30]

Наступил 1837 год — тяжкий год в жизни А. А. Бестужева и его друзей. Перенесемся мысленно в ту эпоху, представим себе картину тогдашних событий, душевное состояние писателя-декабриста и его польского собрата.

По окончании экспедиции Потоцкий вернулся в столицу Грузии. «Конно-Мингрельская дружина, участвовавшая в экспедиции, совершенной ген.-лейт. Вельяминовым за Кубанью, по случаю окончания военных действий возвратилась на Кавказ», — доносили Г. В. Розен и начальник его штаба В. Д. Вольховский военному министру 10 января 1837 г.[31] Тринадцатым января того же года датировано письмо А. А. Бестужева брату Павлу из Екатеринодара, в котором сообщается: «Я сейчас выезжаю в Тифлис, куда адресуй свои письма».[32]

К этому времени физические и душевные силы Бестужева были окончательно подорваны. Жестокие преследования и травля, бесконечные военные походы и продолжительная жизнь в сырых землянках, губительный климат, лихорадка и другие болезни довели его до крайнего изнеможения. Ходатайства Г. В. Розена, М. С. Воронцова и других влиятельных лиц об облегчении участи писателя-декабриста были отклонены «свыше». А. А. Бестужев был переведен в 10-й Черноморский батальон в Кутаиси, где в то время «свирепствовала мингрельская лихорадка». Узнав об этом, он впал в отчаянье. «Могу ли, — писал он, — гоняемый из конца в конец, не проведя двух месяцев на одном месте, без квартиры, без писем,

---

[26] Акты Кавказской археографической комиссии. Т. VIII, с. 525—526.
[27] ЦГВИА, ф. 395, оп. 143, № 58, отд. 3, стол 1, 1837 г.; там же, № 145 и др.
[28] Отечественные записки, 1860, июль, с. 65—66.
[29] *Махлевич Я. Л.* Лагерь при Суджук-Кале. — Неделя, 1979, № 40.
[30] Там же.
[31] ЦГВИА, ф. 395, оп. 143, д. 58, отд. 3, 1837 г., стол 1, л. 1.
[32] Отечественные записки, 1860, июль, с. 69.

без книг, без газет, то изнуряясь военными трудами, то полумертвый от болезней, не вздохнуть тяжело и не позавидовать тем, которые уже кончили земное скитальчество».[33]

В таком состоянии и настроении прибыл А. А. Бестужев в Тифлис, откуда должен был отправиться в Кутаиси. Однако он в столице Грузии задержался надолго. Здесь его, измученного «государственного преступника», по-братски приютил Войцех Потоцкий. Об этом мы узнаем из воспоминаний современников. По свидетельству кавказоведа А. Берже, известный азербайджанский писатель Мирза Фет-Али Ахундов в 1837 г. познакомился с Бестужевым-Марлинским, «проживавшим в Тифлисе у полковника Потоцкого [34] и учил его татарскому языку».[35] В другом источнике о Потоцком говорится: «Остроумный поляк, живший в Тифлисе в 1837 г. вместе с Бестужевым, писал прекрасные стихотворения». [36] Имеется свидетельство и самого Бестужева-Марлинского. В его духовном завещании, написанном 7 июня 1837 г., перед высадкой десанта на Адлер, где он погиб, сказано, что часть его вещей находится «в квартире Потоцкого в Тифлисе».[37]

Судя по дошедшим до нас материалам, Бестужев жил в Тифлисе у своего польского собрата более двух месяцев. Лишь после 10 апреля, когда Потоцкий уехал по командировке в Кубанскую провинцию,[38] Бестужев отправился в Кутаиси. Этот факт говорит о большой дружбе между ними. Можно себе представить, как заботился польский поэт о «полуживом» русском писателе, и как много было высказано ими за это продолжительное время. Если даже «посреди черкесских пуль» они вели оживленные разговоры, то теперь, живя вместе, конечно, друзья делились друг с другом всеми своими мыслями, переживаниями, новостями. Легко себе представить, какое ошеломляющее впечатление произвело на них письмо Павла Бестужева о гибели Пушкина.[39]

Потоцкий был очевидцем гибели Бестужева-Марлинского, которую он позже описал в статье, опубликованной в польском «Атенеуме» под заглавием «Последние минуты Марлинского».[40] В ней говорится: «Служебные отношения сблизили меня с Марлинским на Кавказе, а взаимное влечение друг к другу завязало между нами ту приязнь, сладкая память которой породила во мне мысль передать обстоятельства его смерти.

---

[33] Отечественные записки, 1860, июль, с. 66.

[34] Мемуарист допускает неточность — Потоцкий получил чин полковника позже.

[35] Русская старина. 1874, сентябрь, с. 76—77.

[36] *Koch K.* Reise. T. II, S. 315.

[37] Отечественные записки, 1860, июль, с. 79.

[38] 11 апреля 1837 г. Г. В. Розен предписал Потоцкому отправиться в Кубанскую провинцию для выяснения причин возникших там «волнений». В отличие от официальных лиц, объяснявших обычно волнения «буйным характером» крестьян, — Потоцкий в своих рапортах причинами волнений называет бесчинства местного начальства, коменданта Гимбута, который злоупотреблял властью, притеснял жителей, облагал народ непомерными налогами, вызывал законное возмущение населения (Акты Кавказской археографической комиссии. Т. VIII, с. 612—615).

[39] Подробнее см. в нашей статье «Об откликах из Тифлиса на смерть Пушкина» (в кн.: Классическое наследие и современность. Л., 1981, с. 140—143).

[40] В русском переводе она была напечатана в журнале «Иллюстрация» (1848, № 24) и в сборнике «Писатели-декабристы в воспоминаниях современников» (М., 1980, т. II, с. 177—182).

Исполняю я это тем охотнее, что почти ежедневно случается мне слышать рассказы о его смерти, не заключающие в себе ни малейшей истины».

Описывая экспедицию на мыс Адлер, Потоцкий сообщает: «Марлинский, служивший в то время в линейном батальоне, был, по собственному его желанию, прикомандирован к Грузинскому гренадерскому полку для участия в экспедиции и находился с отборною ротою того же полка на фрегате „Анна", на котором расположился корпусный командир с своим штабом <. . .> Целые ночи проводили мы с Марлинским на палубе. Мы любили тогда пробегать с ним мысленно ряд событий. . .»

Среди многочисленных воспоминаний и заметок о гибели Бестужева-Марлинского статья Потоцкого занимает особое место, являясь документом первостепенной важности, свидетельством очевидца — друга погибшего писателя. Мы здесь не собираемся останавливаться на сложном, запутанном и спорном вопросе об обстоятельствах, причинах и виновниках трагедии на Адлере (это предмет особого разговора). Заметим только, что, по словам Потоцкого, Марлинский стал «жертвой несвоевременной запальчивости двух неопытных смельчаков <. . .> Марлинский предчувствовал свою участь. Я бывал вместе с ним в гораздо опаснейших делах; он никогда не помышлял о смерти; но в этот раз он оставил записку к одному морскому офицеру, дальнему его родственнику. В записке той, как открылось после, были сделаны некоторые распоряжения на случай его смерти.[41] При самом сходе на лодки он отдал мне книжку, которую получил от меня для прочтения. „Оставь ее у себя до завтра", — сказал я. „Бог знает, — отвечал он мне задумчиво, — когда настанет мое завтра"».

В архиве сохранилось также весьма важное письмо Потоцкого, посланное из Тифлиса Павлу Бестужеву 5 октября 1837 г. (на французском языке). В нем говорится: «Я собираюсь ехать в Петербург и так как в скором времени смогу лично передать вам все возможные детали, ограничусь сейчас лишь уверениями, что охотно привезу Вам все вещи Вашего покойного брата, если только они окажутся в моем распоряжении. Почти все его бумаги, и среди них запечатанный им самим пакет на Ваше имя, были переданы морскому лейтенанту Зорину, которому, как старинному другу Вашей семьи, покойный адресовал последние строки, содержащие его завещание. Сам я передал Зорину пистолет, который был в руках Вашего брата в момент его смерти; он был взят обратно у черкеса, который содрал его с тела убитого. Неужели Вы ничего не получили от Зорина? Это невозможно. Он меня уверил, что у него есть возможность доставить Вам письмо в очень короткий срок. Среди бумаг Вашего брата была одна повесть, почти законченная, озаглавленная „Мщение". То, что он мне из нее прочел, заставило меня считать, что она станет шедевром. Неужели Вам ее не доставили? Среди бумаг, которые он оставил у себя, нет ничего интересного. Вы их получите вместе с вещами. Я думал, что Вы давно уже имеете туалетные принадлежности, которые он оставил в Кутаисе, и портфель, который он имел с собой. Я был в двух экспедициях вместе с Вашим братом и мы имели с ним много веселых разговоров посреди черкесских пуль. Его смерть оставила для меня пустоту, которую ничто не может

---

[41] Имеется в виду завещание, переданное лейтенанту Зорину. О нем см. ниже.

заполнить, и одолевающее меня глубокое чувство скорби не давало мне возможности написать Вам. К тому же я был уверен, что Зорин сообщил Вам обо всем, что могло Вас интересовать».[42]

Очевидно, «сладкая память» о погибшем русском собрате побудила Потоцкого ознакомить соотечественников с его повестью «Аммалат-бек». Отрывок из этого произведения был напечатан в журнале «Biblioteka Warszawska». Начальная буква фамилии переводчика П., подписанная в конце отрывка, — это, несомненно, Потоцкий.

3

Потоцкий тесно был связан с грузинской интеллигенцией, но, к сожалению, документальных материалов об этих связях сохранилось немного. Из воспоминаний Ф. Ф. Торнау знаем, что Потоцкий приблизительно в 1834 г. был назначен начальством «чем-то вроде английского резидента к азиатскому двору владетеля Мингрелии».[43]

Он провел там несколько лет. Поскольку современники справедливо считали Потоцкого «закадычным другом князя Дадиана»,[44] а он сам нередко называл себя «усыновленным Колхидой», Мингрелией, то для лучшего понимания событий и лиц, о которых пойдет речь ниже, необходимо отметить следующее. После присоединения Восточной Грузии к России (1801) Мингрелия (Мегрелия, Самегрело) первая из западногрузинских княжеств признала подданство России. Это произошло в 1803 г. Не прошло и года, как Григорий Дадиани, присягнувший на верность русскому царю, скончался при загадочных обстоятельствах. Поскольку его наследник Леван был еще малолетним, правительницей Мингрелии была провозглашена царскими властями супруга покойного — дочь последнего грузинского царя Георгия XII. В 1810 г. подросший Леван Григорьевич вступил в правление княжеством, а «княгиня-правительница, покинув Мингрелию, удалилась в Петербург, где находится еще поныне при императорском дворе», — писал Альберт Потоцкий в мае 1847 года в «Некрологии князя Левана Дадиана».[45]

С 1803 по 1857 г. царское правительство оставляло владетеля при его власти, не вмешивалось во внутренние дела, но держало его под наблюдением. Автономия была весьма относительной. В Мингрелии были вве-

---

[42] Рукописный отдел ИРЛИ. Фонд Бестужевых, № 16, лл. 93—94. — Об упомянутом здесь Зорине, которому Бестужев оставил духовное завещание, на завещании отмечено: «С подлинным сверял флаг-офицер лейтенант Зорин» (см.: Отечественные записки, 1860, июль, с. 80), мы располагаем некоторыми любопытными сведениями. Е. Г. Вейденбаум сообщает: «Зорин Аполлинарий, лейтенант 39 флотского экипажа. 31 мая 1838 г., когда корвет „Месемврия“ был выкинут на берег близ устья р. Сочи, Зорин был взят в плен черкесами и выкуплен 12 июля 1838 г. за 1000 руб. серебром на казенный счет» (Институт рукописей АН ГССР, картотека Вейденбаума). 5 августа 1838 г. он значится капитаном, адъютантом Кавказского главнокомандующего и помощником начальника Комитета борьбы «с чумной заразой» в Закавказье, возглавляемого Александром Чавчавадзе (Акты, т. IX, с. 74).

[43] Русский вестник, 1869, апрель, с. 705.

[44] *Зиссерман А. Л.* Двадцать пять лет на Кавказе, с. 131.

[45] Кавказ, 1847, 24 мая, № 21 («Некрология» подписана Ал.-П.).

дены законы царского правительства, а важные в военно-стратегическом отношении пункты были заняты воинскими частями Кавказского корпуса.

В интересующий нас период владетелем Мингрелии был Леван Григорьевич Дадиани (умер в 1846 г.). Современники характеризуют его как человека добродушного и беспечного, хлебосольного и общительного, большого любителя Бахуса и Венеры. Сообщая, что «душой и телом он был предан России и русскому царю, и всякий русский гость, какого бы звания он ни был, уезжал от него обвороженный гостеприимством», мемуарист К. А. Бороздин отмечает: «образования неважного, говорил и писал он по-русски довольно свободно, и ласковою манерою, радушием и благородством души привлекал всех и каждого».[46] Правильность этих слов подтверждается многими документами, в том числе — письмом Левана Дадиани к начальнику штаба Кавказского корпуса ген. В. Д. Вольховскому.[47] «Обращение его свободное, искреннее, откровенное, столь же непринужденное, как и изящное, снискало ему любовь и уважение всех окружавших его», — писал Потоцкий о владетеле княжества. Он же сообщил, что Леван Дадиани еще в юном возрасте участвовал «со своею Мингрельскою милицией» в боях против турок, блокировавших Поти (1806, 1809), что он «не имел достойных себе соперников в ловкости управлять оружием и конем», не терпел скуки и уныния, любил охоту и веселое времяпрепровождение.[48]

Семья Левана Дадиани была в особой милости у Г. В. Розена. Именно ему был отдан на воспитание старший сын владетеля Давид (1812?—1853).[49] Отношения между ними были столь близкими, что когда Давид Леванович собирался жениться на Елене Орбелиани, он обратился к Розену с просьбой помешать желанию отца женить его на дочери владетеля Сванетии Дадешкелиани.[50] Эта длинная и сложная история завершилась тем, что в 1839 г. он женился на Екатерине Александровне Чавчавадзе, младшей сестре вдовы Грибоедова, дочери выдающегося грузинского поэта Александра Чавчавадзе. Спустя три года (еще при жизни отца) в управление Мингрелией вступил Давид Леванович, а после его смерти (1853) — Екатерина Александровна.

Как уже говорилось, Потоцкий был связан с Мингрельским двором много лет, приблизительно с 1834 г. до конца своей жизни (с перерывами). О характере его деятельности в Мингрелии некоторое представление дает его полуофициальное донесение начальнику штаба Кавказского корпуса Вольховскому от 24 марта 1835 г. из Зугдиди (резиденция владетеля). В нем говорится о Дадиани и свободных сванах, о Дадешкелиани и Дека-

---

[46] *Бороздин К. А.* Закавказские воспоминания. Мингрелия и Сванетия, 1885, с. 5.

[47] Институт рукописей АН ГССР, ф. Вейденбаума, № 1758.

[48] Кавказ, 1847, № 21.

[49] Второй сын его Григорий (1814—1902), впоследствии известный грузинский поэт и общественный деятель, выступавший в печати под псевдонимом Колхидели, до 1844 г. учился и служил в Петербурге, затем — в Грузии; третий сын Левана Дадиани Константин (1819—1889) в 1839 г. окончил в Петербурге Пажеский корпус, в 1842—1853 гг. участвовал в военных действиях на Кавказе. Оба они скончались в генеральских чинах.

[50] Литературный музей Грузии им. Г. Леонидзе, №№ 8823—8824.

нозове, о финансовых махинациях Мурзахана Гардабхадзе, о Шаховском,[51] мессионере Ломоури и т. д. Он информирует адресата также о состоянии своего здоровья, благодарит его за письмо и лекарство.[52] 21 марта 1835 года В. Д. Вольховский сообщал из Тифлиса Г. В. Розену, находящемуся в Петербурге: «К сожалению, Потоцкий был очень болен, но теперь поправляется и решился отнюдь не оставлять владетеля до возвращения Вашего».[53]

Деятельность Потоцкого в Мингрелии не ограничивалась функциями «резидента». Выше мы видели, что он в 1835—1836 годах участвовал в военных экспедициях, возглавляя «Конно-Мингрельскую дружину». В составе этой дружины были воины и из рода Дадиани. «Помощником начальника дружины», т. е. исполняющим обязанности адъютанта Потоцкого, в документах значится прапорщик Петр Дадиани.[54]

Кстати, и Давид Леванович Дадиани принимал участие в военных экспедициях, в которых находился Потоцкий в 1832 и 1836 гг.,[55] а в 1837 г., — как говорится в «Некрологии князя Левана Дадиана», — владетель послал под начальством «сына своего Давида пятьсот мингрельцев, которые участвовали во взятии завалов Адлерского мыса бароном Розеном и покорении цебельдинцев».[56] Таким образом, свидетелем трагической гибели Бестужева-Марлинского был и Давид Дадиани.

С семьей Дадиани польского поэта связывали не только служебные отношения, но и большая дружба, продолжавшаяся всю его жизнь. Об этом свидетельствуют и воспоминания современников, и документы того времени, и дошедший до нас семейный альбом Екатерины Александровны Чавчавадзе-Дадиани.[57]

На этом альбоме стоит остановиться подробнее, поскольку в нем содержатся три стихотворения Войцеха Потоцкого на польском языке с пометками в конце — «Зугдиди». Одно из них, датированное 1848 г., является переводом «Розы и соловья» А. И. Одоевского. Весьма симптоматично, что польский поэт обратился к тому самому стихотворению декабриста Одоевского, которое еще раньше на грузинский язык перевел Александр Чавчавадзе и которое Екатерина Чавчавадзе еще до замужества распевала, очаровывая всех слушателей, в том числе и влюбленного в нее гениального грузинского поэта Николоза Бараташвили и, может быть, самого Одоевского, Лермонтова и — добавим — Потоцкого.[58]

---

[51] Очевидно, штабс-капитан генерального штаба кн. Шаховской (Константин Яковлевич?), посланный в 1834 г. Г. В. Розеном в Сванетию для приведения кн. Дадешкелиани к присяге на подданство России (Акты, т. VIII, с. 465).

[52] Институт рукописей АН ГССР, ф. Вейденбаума, № 1812.

[53] *Гастфрейнд Н.* Товарищи Пушкина по императорскому Царскосельскому лицею. Т. I, 1912, с. 246.

[54] ЦГВИА, ф. 395, оп. 143, № 145, л. 22.

[55] Русский вестник, 1869, март, с. 151; Кавказ, 1847, № 21.

[56] Кавказ, 1847, № 21.

[57] Альбом хранится в фонде особых книг и рукописей Тбилисской государственной публичной библиотеки им. Карла Маркса.

[58] Подробнее см. в кн.: *Шадури В.* 1) Декабристская литература и грузинская общественность. Тбилиси, 1958, с. 333—338; 2) За хребтом Кавказа, Тбилиси, 1977, с. 19—30.

Что же касается оригинальных стихотворений Потоцкого, в одном из них, вписанном в альбом 31 марта 1846 г., воспевается красота Екатерины Александровны и ее владения — «самого прекрасного на земле», а в другом, датированном 25 февраля (?) 1848 г., говорится о большом горе, выпавшем на долю Екатерины два года назад. Имеется в виду, очевидно, смерть Александра Чавчавадзе и Левана Дадиани в 1846 г.

С уверенностью можно сказать, что Потоцкий знал как Екатерину Александровну, так и ее родителей и сестру (вдову Грибоедова) еще задолго до его назначения в Мингрелию. Ведь в Тифлисе, где польский поэт находился с 1831 г., высококультурная и гостеприимная семья Чавчавадзе, являвшаяся, по словам современников, «приютом муз и вдохновенья», была связующим звеном между передовыми деятелями грузинской, русской и — добавим — польской культуры. Следует учесть, что Александр Гарсеванович Чавчавадзе (1786—1846) — прославленный поэт, государственный и общественный деятель — и его дочери красавицы, Нина и Екатерина, которые также свободно говорили по-русски и по-французски, занимали в Грузии самое видное место. Нину и Екатерину Чавчавадзе, «круживших головы всей тогдашней тифлисской молодежи»,[59] современники недаром называли музами поэтов, царицами поэзии. Им посвящали восторженные слова в стихах и прозе многие грузинские, русские и иностранные деятели.

В январе 1834 г. Александра Чавчавадзе сослали в Тамбов по подозрению в принадлежности к антиправительственному заговору, раскрытому в 1832 г. Однако вскоре его вернули в Петербург, а позже (в 1837 г.) — в Грузию, где он вел большую общественно-литературную и административную работу до самой смерти. На всем протяжении своей сознательной жизни у А. Г. Чавчавадзе были тесные идейные и личные связи с прогрессивными деятелями русской, а также, как выясняется, польской культуры.

Из польских по происхождению друзей, сослуживцев и гостей Александра Чавчавадзе прежде всего следует назвать Петра Демьяновича Завилейского, соавтора А. С. Грибоедова по «Проекту учреждения Российской Закавказской Компании». Этот грандиозный проект, в котором, как известно, политике царизма противопоставляется идея хозяйственно-культурного преобразования края, имеет много общего с «Кратким историческим очерком. . .» А. Г. Чавчавадзе, что говорит об общности их взглядов.

Большой интерес для нашей темы представляет характеристика П. Д. Завилейского, данная Александром Чавчавадзе в ответе на вопрос следственной комиссии по заговору 1832 года. По сведениям властей, к заговору были причастны как А. Г. Чавчавадзе, так и П. Д. Завилейский, работавший в то время в Тифлисе гражданским губернатором и друживший со многими передовыми деятелями русской и грузинской культуры.

«Благородство его души, — писал Чавчавадзе о Завилейском, — его благонамеренность, его неусыпная деятельность по многосложным обязанностям, на него возложенным, его смелая справедливость ко всем, без различия лиц, особенно же верное и скорое постижение вещей для

---

[59] *Бороздин К. А.* Закавказские воспоминания, с. 80—81.

него новых, чрезвычайно нравились мне в нем и час от часу более усиливались мои к нему любовь и уважение. Он имел об Грузии самое точное понятие».[60]

Доктор Гедеон Степанович Прживалковский также дружил с грузинским поэтом. Когда Александру Чавчавадзе перед отправлением в ссылку власти разрешили побывать в его имении Цинандали для урегулирования личных дел, при нем почти неразлучно находился, по донесению полиции, Прживалковский.[61] И в Петербурге, где Ал. Чавчавадзе находился после возвращения из тамбовской ссылки, он общался с семьей Завилейского и другими польскими деятелями.[62]

Общение грузинского поэта и его семьи с польской интеллигенцией продолжалось, конечно, и после возвращения Александра Чавчавадзе из ссылки на родину (1837). Весьма показательно, что, когда в 1845 г. была объявлена предварительная подписка на сборник сочинений Тадеуша Лада-Заблоцкого, в числе подписчиков оказались Нина Грибоедова и Екатерина Чавчавадзе-Дадиани.

Можно не сомневаться, что Потоцкий общался с семьей Чавчавадзе как в Тифлисе, так и в Мингрелии, где у Екатерины Александровны часто гостили родители, особенно же вдова Грибоедова, помогавшая сестре во всех делах.

Сохранились некоторые сведения и о знакомстве и общении Потоцкого с выдающимся грузинским поэтом — романтиком Григолом Орбелиани, младшим современником и родственником Александра Чавчавадзе, поклонником и переводчиком Пушкина и Рылеева. В «Кавказском календаре» на 1847 г. (с. 221) Альберт Игнатьевич Потоцкий значится подполковником Грузинского гренадерского полка рядом с полковником Григорием Дмитриевичем Орбелиани. Последний в письме к брату от 22 августа того же года передает большой привет Потоцкому.[63]

Несмотря на отсутствие документальных данных, можно предположить знакомство и общение польского поэта с Георгием Давидовичем Эристави. Как и Потоцкий, Г. Эристави преклонялся перед Бестужевым-Марлинским. Он первым из грузинских литераторов откликнулся на гибель писателя-декабриста статьей («На смерть Марлинского»), в которой в приподнято-романтическом стиле выразил свои скорбные мысли и чувства. Он первым перевел (вместе с братом) на грузинский язык повести Бестужева «Аммалат-бек» и «Мулла-Нур» и поместил их в своем журнале «Цискари» («Заря») в 1852 г. Высланный из Грузии за причастность к заговору 1832 г., он более шести лет провел в Польше и Литве, изучил польский язык, литературу и перевел «Крымские сонеты» Мицкевича.[64] Вернувшись из ссылки на родину, Г. Эристави вел многостороннюю общественно-литературную деятельность. С его именем связаны переход грузинской ли-

---

[60] ЦГИА Грузинской ССР, ф. 1457, т. V, лл. 870—871.

[61] Заря Востока, Тб., 1959, 18 октября.

[62] *Андроников И. Л.* Тетрадь Василия Завелейского. — В кн.: Прометей, М., 1968, вып. 5, с. 208—231.

[63] *Орбелиани Гр.* Письма. Тб., 1935, т. I, с. 154 (на груз. яз.).

[64] *Хитаришвили В. И.* Адам Мицкевич в грузинской литературе XIX века. — В кн.: Романтизм в славянских литературах, М., 1973.

тературы от романтизма к реализму, начало классической грузинской драматургии, восстановление грузинского театра, создание первого крупного грузинского общественно-литературного журнала «Цискари». Именно с помощью Георгия Эристави перевел на польский язык «Витязя в тигровой шкуре» Руставели Казимир Лапчинский, польский литератор, работавший в Грузии инженером.[65] Перевод был опубликован в 1863 г. в журнале «Biblioteka Warsrawska», в которой в сороковые годы сотрудничал Потоцкий.

До нас дошло дружеское письмо Потоцкого к Борису Гавриловичу Чиляеву (Чилашвили), в котором содержится просьба о помощи некоторым полякам. Текст этого письма будет приведен в следующей части нашей работы. Здесь же скажем о нем несколько слов. Б. Г. Чиляев воспитывался в Петербурге в Горном корпусе вместе с А. А. Бестужевым. Его учеба и служба протекали в России в окружении декабристов. После разгрома восстания 14 декабря он приезжает в Грузию, участвует в русско-персидской войне 1826—1828 гг., а затем служит правителем Военно-Грузинской дороги с местонахождением в Квешети. Здесь у него останавливались почти все добровольные и недобровольные гости Грузии, проезжавшие по этой дороге. В 1828 г. он принимал у себя А. С. Грибоедова, а в 1829 — А. С. Пушкина и своего «однокашника» А. А. Бестужева. Отметим здесь же, что Б. Г. Чилашвили в 1837 г. участвовал в той самой экспедиции по занятию Адлера, в которой находились и Потоцкий, и Бестужев-Марлинский.

Мы привели лишь отдельные факты, зафиксированные на бумаге, дошедшие до нас и обнаруженные в различных печатных источниках и архивных фондах. Круг грузинских деятелей, с которыми Потоцкий имел дружеские, деловые и творческие связи, был, конечно, несравненно шире. Ведь население Тифлиса в то время насчитывало не более 55 тысяч человек.[66] Так что почти все лица из городской интеллигенции знали друг друга.

4

В конце 1837 г. Г. В. Розен и некоторые его помощники, были отстранены от должностей и удалены из Грузии. Мы не знаем, какие отношения сложились бы у польского поэта с новыми главнокомандующими Е. А. Головиным (1838—1842) и А. И. Нейдгардтом (1842—1844), но в это время его уже не было на Кавказе. Из письма Потоцкого к Павлу Бестужеву от 5 октября 1837 года видно, что он собирался поехать в Петербург. Судя по всему, это намерение было осуществлено в конце года.

О подлинных причинах поездки Потоцкого в Россию, о его пребывании в Петербурге и Польше мы располагаем скупыми и неточными данными. Принято считать, что он согласился взять под свою опеку малолет-

---

[65] См.: Руставели в мировой литературе, 1978, т. II, с. 14—15, 396—397 (на груз. яз.).

[66] См. принадлежащий Я. П. Полонскому «Статистический очерк Тифлиса», напечатанный в «Кавказском календаре» на 1847 г. (Тифлис, 1846, с. 156).

него сына Тариэла Дадиани — Платона — и повез его для завершения воспитания в Петербург. Можно верить мемуаристам, что Потоцкого в столице охотно принимали в лучших русских, польских и грузинских домах, что он всех очаровывал своими рассказами о Кавказе и кавказцах.

Вскоре по протекции Д. Ф. Фикельмон, сообщает Козьмян, Потоцкий был переведен в гвардию капитаном.

В сентябре 1838 года скончался Платон Дадиани, к которому Потоцкий очень был привязан. Глубокие переживания, вызванные этим событием, грязные сплетни, распространявшиеся его недругами и отраженные в мемуарах К. Козьмяна, и другие причины вынудили Потоцкого просить о переводе в Литовский корпус, где когда-то (в двадцатые годы) служил он рядовым. Просьба была удовлетворена. Но прежде, чем отправиться на новую службу, Потоцкий в 1839 г. поехал в Грузию, чтобы повидаться с несчастной матерью умершего Платона.

В 1840—1844 гг. Потоцкий служит в звании подполковника в гренадерском полку в Польше. На Волыни, в Варшаве и других городах он посещает старых приятелей, родственников и сослуживцев, в том числе и Козьмяна. В часы обеда, пишет Козьмян, Потоцкий рассказывал много интересного о Кавказе, о военных событиях, о жизни и обычаях черкесов, у которых, по его словам, много общего с поляками.

Любопытные сведения о пребывании Потоцкого в Польше содержатся и в воспоминаниях Паулины Вильконьской. Правда, они также не отличаются объективностью и точностью. Чего стоят хотя бы слова о том, что на Кавказе Потоцкий якобы познакомился с ссыльным Апостолом-Муравьевым, писавшим под псевдонимом Марлинского, но тем не менее в них правильно отмечается, что с начала сороковых годов Войцех Игнатьевич стал любимцем аристократических и литературных салонов в Варшаве, незаменимым организатором всяких забав, модным литератором, что он по натуре был человеком беспокойным и легкомысленным, но добрым и благородным, как свидетельствовал Норвид.

Доверия заслуживает и рассказ мемуаристки о стихотворениях Потоцкого «Крашевскому» и «Каприз». Находясь в Польше, Потоцкий познакомился и сблизился с многими польскими писателями и издателями, особенно — с Крашевским и Норвидом, которых вначале раскритиковал, а после близкого знакомства подружился с ними. Напомним, что именно в журнале Крашевского «Атенеум» он активно сотрудничал в то время. Сохранилась также дружеская и деловая переписка Потоцкого и Крашевского.

Войцех Игнатьевич был сердечным другом Циприана Норвида, дебютировавшего в печати почти одновременно с ним (1840—1841). Потоцкий был чуть ли не первым критиком и ценителем начинающего поэта, впоследствии прославленного писателя, художника и скульптора. Одно из лучших стихотворений Потоцкого посвящено «Циприану Норвиду, уезжающему за границу», а тот, узнав о смерти своего литературного собрата, почтил его память поэтическим откликом.

Вообще 1841—1843 гг. были самыми плодотворными в литературной деятельности Потоцкого. Нам неизвестно, когда впервые пристрастился он к художественному творчеству, но характерно, что первым дошедшим до нас произведением является двустишие, которым он в 1819 г. «украсил»

Польскую Конституцию, за что был посажен в тюрьму, а последним — перевод стихотворения ссыльного поэта-декабриста А. И. Одоевского, вписанным в альбом Екатерины Чавчавадзе—Дадиани в 1848 г., незадолго до смерти. Нам неизвестен также полный объем литературного наследия Потоцкого, поскольку «миллионы его стихов, разбросанных по письмам, листам, картам, дневникам, газетам» (К. Козьмян) еще не собраны, но известно, что в печати его имя чаще всего встречается в сороковых годах. С 1841 г. друг за другом появляются его стихотворные и прозаические произведения, статьи и переводы в таких польских периодических изданиях, как «Атенеум», «Библиотека Варшавская» и др.[67]

Казалось все шло хорошо. Занимая в армии довольно высокое положение, Потоцкий принимает активное участие в литературной жизни Польши. Он удивительно много пишет и печатает. Его стихи и мемуары, рассказы, очерки и остроумные полемические статьи заполняют страницы польских журналов и альманахов, пользуются у публики большим успехом. Издатели и редакторы охотно предоставляют ему свои печатные органы. В то же время Потоцкий — «душа общества», любимец салонов, желанный гость знатных панов и пани.

«Хорошо сейчас расписаны вечера, — писал Потоцкий в одном из писем Анджею Козьмяну, — в понедельник у Нины, вторник — у Коссаковских, среда — у господ Малаховских, четверг — у пани Францишки Потоцкой <. . .>, пятница — у пани Дембовской <. . .>, суббота — у княгини Терезы Яблоновской, а в воскресенье — замок для избранных <. . .> У пани Францишки вечера самые многолюдные, у Нины — самые умные, у Коссаковских и у княгини Терезы — самые милые».[68]

Успех сопутствует Потоцкому во всем. Но, как ни странно, именно в это время, находясь, можно сказать, в зените славы, он вдруг решает покинуть Польшу. В октябре 1844 г. он подает прошение об отставке, собирается отправиться в Иерусалим, но едет в Одессу.

Трудно сказать, чем это было вызвано.

Вполне возможно, что такое решение было принято в связи с назначением Новороссийского генерала-губернатора М. С. Воронцова, резиденция которого находилась в Одессе, главнокомандующим Кавказским корпусом. В декабре 1844 г. в обществе стало известно об этом назначении, а в январе следующего года Потоцкий был уже в Одессе. Одно из его стихотворений, датированное 24 января 1845 г., написано, как указывает автор, в этом городе. Оно озаглавлено «Автору стихотворений» и посвящено Я. П. Полонскому, находившемуся в то время также в Одессе (опубликовано в «Рубоне», 1847, № 8).

Очевидно, Потоцкий решил пристроиться к новому главнокомандующему на Кавказе. По словам К. Козьмяна, влиятельная пани С. Потоцкая порекомендовала своего однофамильца княгине Елизавете Ксаверьевне, жене М. С. Воронцова, по происхождению польке, которой некогда увле-

---

[67] Перечень произведений В. Потоцкого в журнале «Атенеум» см. в кн.: *Sykałowa W.* «Athenaeum» Józefa Ignacego Kraszewskiego. 1841—1851. Zarys dziejów i bibliografia zawartosci. Wr.; W-wa; Kr.; Gd. 1974, s. 22, 28.

[68] *Wilkońska P.* Moje wspomnienia o życiu towarzyskim w Warszawie. W-wa, 1959, s. 11.

кался А. С. Пушкин. Имеется также сведение, что Потоцким на французском языке была написана и представлена М. С. Воронцову записка о неблагополучном положении дел на Кавказе. Мы не знаем ни содержания, ни даты этого документа, но, по-видимому, в его авторе наместник увидел человека, хорошо знающего край, и решил взять его к себе на службу.

В марте 1845 г. в Тифлис отправился М. С. Воронцов, а вслед за ним — многочисленные его приближенные и приверженцы. «Вся Одесса в волнении, — писал Я. П. Полонский Н. М. Орлову, — все здешнее народонаселение движется за ним, как за колоновожатым. Одесса пустеет — и вряд ли я останусь здесь. Хочется быть на Кавказе».[69]

В июне 1845 г. Потоцкого видим уже в Тифлисе, в свите М. С. Воронцова. Формально он числится офицером Грузинского гренадерского полка, по существу же, являясь одним из приближенных М. С. Воронцова, выполняет различные его важные поручения.

На Кавказе тогда ходили слухи, что Альберт Игнатьевич был «побочным сыном какого-то графа Потоцкого, почему по родству с княгиней Воронцовой и пользовался ее покровительством»,[70] а по сообщению А. Зиссермана современники хорошо знали, что «владевший отлично несколькими языками», Потоцкий — «человек весьма образованный, умный, пользовался большим расположением княгини Воронцовой и полуофициально заведовал всеми делами, относящимися до кавказских поляков, начиная с религиозных и кончая их частными нуждами».[71]

* * *

Пользуясь своей близостью к семье наместника, Потоцкий помогает и покровительствует соотечественникам.

В Грузии в прошлом веке было множество польских военных и гражданских служащих, литераторов, адаптировавшихся и акклиматизировавшихся в местных условиях. По данным переписи 1897 г. только в Тифлисской губернии их было более пяти тысяч человек.[72] Сохранилось несколько документов, свидетельствующих о помощи Потоцкого соотечественникам. Вот его письмо, посланное из Тифлиса 17 февраля 1848 г. названному выше Б. Г. Чилашвили (Чиляеву) — «однокашнику» А. А. Бестужева-Марлинского, командовавшему в то время войсками в Джаро-Белокани.

«Любезный Борис Гаврилович! Податель сего из польских дворян Иван Антонов сын Гробицкий, сын известного профессора математики в г. Варшаве, отправляется к Вам на службу. Княгиня Воронцова поручила мне просить Вас убедительно обратить на сего молодого человека Ваше особенное внимание и за первым Вашим прибытием доложить ее сиятельству — каково он себя ведет. Я ж с своей стороны убедительно

---

[69] Новые пропилеи, 1923, т. 1, с. 66.

[70] Институт рукописей АН ГССР, картотека Вейденбаума («Потоцкий»).

[71] *Зиссерман А. Л.* Двадцать пять лет на Кавказе. СПб., 1879, с. 130—131.

[72] *Ходубски Анджей.* О польско-грузинских исторических взаимоотношениях. Литературная Грузия, 1981, № 10, с. 195.

Вас прошу поручить его хорошему, строгому ротному командиру, который бы имел над ним бдительный надзор, потому что молодой человек немного избалованный и хотя обещал княгине хорошо себя отныне вести, все-таки требует досмотра. Дайте ему средство отличиться в первом походе, за что много Вам буду благодарен, равно как и за все, что для него сделаете. Но еще раз повторяю: прикажите за ним смотреть; он два года служил в Куринском полку, нашалил там немного и взял отставку не спросивши у никого позволения на это. Родители его бедные, он не должен делать никаких лишних расходов. Надеюсь, что он будет уметь чувствовать милость и снисхождение начальства и не употребит во зло отныне ни благосклонности княгини, ни Вашего внимания. Здесь все по-старому. Князь ежедневно делает по 20 и 30 верст верхом и слава богу лучше здоровьем, чем когда-либо.

Преданный Вам А. Потоцкий».

Приписка: «Имеется в полку подпоручик Станислав Иванович Гофман. Он сын уважаемого целой бывшей польской армией полковника Гофмана и я знаю целое его семейство. Сделайте же милость, напишите мне чистосердечно, каково себя Гофман у Вас ведет».[73]

А вот отрывок из письма Т. Лада-Заблоцкого, посланного из Тифлиса в Польшу издателю «Атенеума» Ю. И. Крашевскому в июле 1846 г.:

«Уже давно лежит на мне величайший долг самым нежным образом поблагодарить Вас за рекомендацию меня Войцеху Потоцкому, который, прибыв в Тифлис, познакомился и сблизился со мною и очень помог мне в делах». Далее в письме говорится, что он и Потоцкий решили послать Крашевскому «целую книгу статей для „Атенеума“», но «выезд Потоцкого с князем Воронцовым из Тифлиса не позволил нам осуществить это намерение».[74]

Как известно, Тадеуш Лада-Заблоцкий (1813—1847), будучи студентом Московского университета, сблизился с В. Г. Белинским и испытал его влияние. Жандармским властям стало известно, что Заблоцкий написал стихотворение —

«Царский трон страшнее ада,
Ныне черт воссел на нем,
Ждет давно веревка гада,
Отомстим или умрем».

За эти «возмутительные стихи» автор в 1838 г. был сослан солдатом в Грузию, в пионерный батальон, находившийся в Кахетии. В 1839 г. его перевели в Тифлис, где он и сблизился с Потоцким.

По убедительному предположению исследователей, Альберт Игнатьевич способствовал назначению Лада-Заблоцкого в 1847 г. на должность управляющего соляными промыслами в Кульпах. В Центрархиве Грузии М. Живов обнаружил поданную наместнику записку. Записка не датирована, но по предположению М. Живова, она была подана Воронцову

[73] РО ИРЛИ, архив Б. Г. Чиляева, ф. 300—302, № 48.

[74] Письма Заблоцкого цитирую по диссертации С. Я. Равича «Жизнь и творчество Тадеуша Лада-Заблоцкого в Грузии» (Тбилиси, 1971).

в связи с назначением Лада-Заблоцкого управляющим соляными промыслами в Кульпах. В документе Заблоцкому дается самая лестная характеристика: «С отличными способностями и непоколебимой честности, хороший писатель, знает очень хорошо русский язык. Брат его служит в саперах и находится у генерала Бюрно уже другой год. Здоровье Заблоцкого весьма расстроено».[75]

Полагаем, что автором записки был Потоцкий, пользовавшийся особой милостью наместника и его жены и полуофициально заведовавший «всеми делами, относящимися до кавказских поляков».

Судя по всему, между Потоцким и Заблоцким велась регулярная дружеская переписка. «Господин Войцех находится постоянно при персоне князя Воронцова, — сообщал Т. Лада-Заблоцкий Крашевскому 8 мая 1847 г., — В письме ко мне он писал, что скоро Вам напишет».[76]

В той же записке, поданной наместнику, наряду с приведенными выше похвальными словами о Заблоцком, содержится и характеристика другого поэта — Владислава Стшельницкого (1820—1846): «Отличных способностей, хорошего образования и известный писатель на польском языке, но мастерски владеет русским языком, строжайших правил и пользуется весьма справедливо общим уважением».[77]

* * *

Заблоцкий и Стшельницкий входили, как известно, в «кавказскую группу» польских литераторов, которая образовалась в Тифлисе в конце 30-х гг. Поскольку и Потоцкий был связан с этой группой, скажем о ней несколько слов.

Кроме названных выше лиц, к «кавказцам» справедливо относят также Леона Янишевского (1810—1861) — поэта, прозаика и композитора. Его биография недостаточно изучена. Предполагают, что он учился на филологическом факультете Варшавского университета, десять лет провел в Витебске, а с 1841 г. находился в Тифлисе.[78]

Еще меньше изучена жизнь других «кавказцев», перечень которых с краткими характеристиками дается в письмах Лада-Заблоцкого и Янишевского к руководителю альманаха «Паментники науково-литерацкие» Р. Подберескому.[79] В письмах названы: Станислав Винницкий, умерший на Кавказе в 30-е гг., «славный Петрашкевич», покинувший Грузию «с пулей в животе», Давид Винценти, Мучлер и другие литераторы, а также Мих. Бутовт, Ян Вежбицкий — исследователь «медицины и естественной истории Грузии», Хуго Корсак — математик с высшим образованием, которого, по словам Янишевского, Заблоцкий хотел «сделать романтиком» и который начал, но не окончил «Грузинскую повесть»; наконец — Кон-

---

[75] Литературная Грузия, 1957, № 6, с. 69.

[76] В отделе рукописей Ягеллонской библиотеки (Краков) хранятся восемь писем Потоцкого к Крашевскому, написанных в 1842—44 гг.

[77] Литературная Грузия, 1957, № 6, с. 70.

[78] *Живов М.* Указ. соч., с. 70.

[79] Pamiętniki naukowo-literackie, 1849, t. IV; 1850, t. II.

стантин Зах, знаток персидско-турецких языков, задумавший, но не осуществивший свои лингвистические исследования из-за тяжелых условий и ранней смерти. В письмах Заблоцкого и Янишевского не назван Казимир Лапчинский, инженер, первый переводчик гениальной поэмы Руставели на польский язык, очевидно потому, что он прибыл на Кавказ позже. Самым старшим среди них был Войцех Потоцкий.

Литературная деятельность Заблоцкого, Стшельницкого, Янишевского и Потоцкого, составлявших ядро «кавказской группы», продолжалась, к сожалению, не более десяти лет. Кроме Янишевского все они умерли в 1846—1848 гг. Хотя и до и после них изредка появлялись на Кавказе отдельные польские литераторы.

Здесь уместно сравнить их с близкими им сосланными на Кавказ декабристами, а также участниками грузинского заговора 1832 г., сказать о сходстве и различии между ними.

Всех их объединяла ностальгия. Отчизна и Воля оставались главными предметами их мечты и творчества.

Следует отметить также общее для большинства из них исключительное благородство души, кристальную честность, высокую нравственность. У всех у них был один общий враг — царизм. Всех их объединяла ненависть к самовластительным злодеям, стоящим у трона.

Подчеркивая общность их судеб, следует отметить и различия между ними. Поляков и грузин социальные вопросы занимали меньше, чем декабристов.

В отличие от героев 14 декабря, которые и в кавказской ссылке пытались сохранить «дух сообщества» и устраивать «предосудительные сходки», за что подвергались новым гонениям, у польских поэтов «кавказской группы» такого не наблюдалось.

В интересующий нас период (с конца 30-х гг.) в «южной Сибири» вообще не возникают политические процессы по «преступным сношениям» ссыльных. Измученные, израненные и искалеченные декабристы к этому времени устали «свой крест нести», постепенно теряли «жар молодости», старели и сходили в могилу, а многие поляки «кавказской группы» умерли молодыми; что же касается грузинских заговорщиков, к счастью, большинство из них благополучно вернулось на родину в конце 30-х гг.

Полного единства — организационного, идейного, психологического, литературного — не было не только между русскими, поляками и грузинами, но и внутри «кавказской группы» польских поэтов. При всей общности судьбы и настроений, они были совершенно разными по политической зрелости и литературному таланту, по характеру и темпераменту, вкусам, по взглядам на происходящие события и окружавших их людей. Это отчетливо проявилось даже в названных выше письмах Заблоцкого и Янишевского к Подберескому. Если первый из них почти всех «кавказцев» хвалит, то Янишевский о многих отзывается иронически, не щадя даже покойного Заблоцкого.

Теперь об отношении польских литераторов к Кавказу, Грузии. Они быстро находили общий язык с передовыми силами русской и местной интеллигенции. Известное представление о масштабах этих отношений дает письмо Заблоцкого к Крашевскому от 8 мая 1847 г. Говоря о необходимости издания сборника сочинений покойного Стшельницкого, Заблоц-

кий писал из Кульпы: «Если бы я был в Тифлисе, где у меня обширные связи, наверное смог бы организовать 200 подписных билетов».[80]

Выше говорилось о дружеском и деловом общении Потоцкого с широким кругом русской, грузинской, азербайджанской и армянской интеллигенции — с Бестужевым-Марлинским, Чавчавадзе-Дадиани, Гр. Орбелиани, М. Ф. Ахундовым, Б. Г. Чилашвили и др.

Специального изучения заслуживает вопрос о связях Потоцкого и его соотечественников с известным русским поэтом Я. П. Полонским, служившим в 1846—1851 гг. в канцелярии Воронцова и в редакции «Закавказского вестника». Как уже отметили, Потоцкий еще во время пребывания в Одессе в 1845 г. посвятил ему одно из своих стихотворений. Общение между ними продолжалось, конечно, и в Грузии. Возможно, именно Потоцкий способствовал сближению своего русского собрата с «кавказской группой» поляков. Вспомним слова Полонского: «В Тифлисе познакомился я с польским поэтом Лада-Заблоцким. Он стал посещать меня, читать книги, переводить мне стихи свои — и опять зажег во мне неодолимую жажду высказываться стихами».[81] Вспомним также авторские примечания к стихотворению Полонского «Татарская песня»: «Эта песня переведена Абас-Кули-Ханом Бакихановым и заимствована из напечатанного сборника восточных песен, собранных г. Ладо-Заблоцким, в сборнике она переведена прозой на польский язык».[82]

Многое можно было бы сказать о личном и творческом содружестве польских поэтов «кавказской группы» и передовых представителей местной интеллигенции. Назовем лишь некоторые факты. Лада-Заблоцкий знакомится с гениальным грузинским поэтом Николозом Бараташвили и его окружением, общается с азербайджанским писателем и ученым Бакихановым и переводит его труд на польский язык, изучает грузинский язык и пишет историю грузинской литературы. А вот еще примеры замечательного творческого содружества: поэт-романтик Михаил Туманишвили переводит на грузинский язык стихотворение Заблоцкого «Алазанская долина», а тот — на польский — «Чашу» Михаила Туманишвили. Сосланный в Польшу Георгий Эристави овладевает польским языком и переводит «Крымские сонеты» Мицкевича, а Казимир Лапчинский с помощью Георгия Эристави переводит на родной язык поэму Шота Руставели «Витязь в тигровой шкуре».

* * *

Потоцкий и его соотечественники вместе с передовыми силами кавказской и русской интеллигенции заботились о благоустройстве края, куда их забросила судьба, заботились как о своей «второй родине», как ее жители, стараясь принести ей максимум пользы, активно участвуя в ее культурной жизни.

Известно, что с прибытием в Тифлис нового кавказского главнокомандующего М. С. Воронцова в середине 40-х гг. здесь заметно оживилась

---

[80] Цит. по указ. работе М. Живова, с. 590.

[81] *Полонский Я. П.* Стихотворения. 1954, с. 15.

[82] *Полонский Я. П.* Несколько стихотворений. Тифлис, 1851. — К фамилии Лада-Заблоцкого пояснение: «с которым я познакомился в Тифлисе, в 1846 году, за год до его кончины в Кульпах».

общественно-культурная жизнь. Историческая справедливость требует отдать должное этому государственному деятелю. Напомним, что его восхвалял даже такой непримиримый враг царизма, как великий грузинский поэт-шестидесятник Акакий Церетели. «Я уверен, — писал Т. Лада-Заблоцкий Крашевскому 8 мая 1847 г., — что если господь даст князю наместнику здоровье еще на несколько лет, Кавказ станет Италией России, ибо сейчас мы имеем и журналы, и литературу, и издательство, и театры, и собственных музыкантов и художников».[83]

Аналогичные высказывания содержатся во многих источниках. И действительно, с 1846 г. в Тифлисе издаются газета «Кавказ» и ежегодный «Кавказский календарь», открываются публичная библиотека, театр и т. д.

Об учреждении публичной библиотеки в Тифлисе, как известно, безуспешно хлопотали еще А. С. Грибоедов и его соавтор по «Проекту Российской Закавказской компании» П. Д. Завилейский, а позже — некоторые представители местной интеллигенции.[84] Однако лишь в начале 1846 г. удалось открыть ее при канцелярии наместника.

Это было крупным событием в культурной жизни всего Закавказья. Библиотека создавалась главным образом из книг, которые дарили ей разные лица. И весьма любопытно, что первая книга была «пожертвована» Войцехом Потоцким.[85] Именно он положил, так сказать, первый кирпич в фундамент того замечательного очага культуры, который в наши дни носит название Тбилисской государственной публичной библиотеки имени Карла Маркса.

«Канцелярия наместника кавказского, — говорилось в газете, — изъявляет свою искреннюю благодарность г. подполковнику Потоцкому за Историю Армении Моисея Хоренского, пожертвованную им в учреждаемую с разрешения князя наместника при канцелярии публичную библиотеку».[86] Любопытно также, что в числе лиц, внесших свою лепту, назван и Заблоцкий, который, оказывается, подарил библиотеке 25 томов различных сочинений.[87]

Выясняется, что Заблоцкий и к другим польским писателям обращался с просьбами — дарить свои сочинения Тифлисской библиотеке. Вот отрывок из его письма к Крашевскому: «Я бы просил Вас, — писал он 8 мая 1847 г., — прислать все свои произведения для библиотеки канцелярии наместника; за это Вы получите публичную благодарность в газете „Кавказ“, которую наверное должны получать, ибо, выезжая из Тифлиса, просил редактора, чтобы он высылал Вам эту газету — в обмен на „Атенеум“».[88]

Наконец следует отметить, что Стшельницкий перед смертью в 1846 г. передал друзьям своим рукопись с просьбой, чтобы «каждый грош от их

---

[83] *Żywow M.* Polscy poeci «kaukazcy» (materiały biograficzne). — Pamiętnik liiteracki, 1959, N 3—4, s. 581.

[84] *Узнадзе В. В.* История тифлисской публичной библиотеки. Тбилиси, 1975.

[85] Краткий каталог публичной библиотеки (1846—1861)./Составил А. П. Берже. Тифлис, 1861, с. V.

[86] Кавказ, 1846, 26 января, № 4.

[87] Там же, 1847, №№ 1, 47.

[88] Pamiętnik literacki, 1959, N 3—4, s. 581.

продажи направлять в Тифлис для создания фонда столь необходимых духовных и иных книг. . .» [89]

Еще более крупным событием в культурной жизни Тифлиса и всего края было издание газеты «Кавказ». Основанная на правах частного издания, как официоз наместника, она начала выходить в Тифлисе одновременно с открытием публичной библиотеки — с начала 1846 г. и просуществовала до 1918 г. Естественно, что характер и направление газеты на протяжении семидесяти с лишним лет менялись в зависимости от того, кто его возглавлял, каковы были цензурные и общественно-политические условия. В интересующее нас время (1846—1861) редактором был Осип Константинов — образованный и способный журналист, сумевший сплотить вокруг газеты разноплеменные передовые культурные силы, благодаря чему она приобрела большую популярность.[90]

«С прошлого года, — писал в 1847 г. В. Г. Белинский, — в Тифлисе издается газета „Кавказ“, значение которой неоценимо важно в двух отношениях: с одной стороны, по своему содержанию столь близкое сердцу даже туземного народонаселения, распространяет между ним образованные привычки и дает возможность грубые средства к рассеянию заменить полезными и благородными; с другой стороны, газета „Кавказ“ знакомит Россию с самым интересным и наименее знаемым краем, входящим в ее состав. Верная своему специальному назначению, эта газета вполне достигает этой цели: ее содержание — неистощимый магазин материалов для истории, географии, статистики и этнографии Кавказа».[91]

Многие материалы в «Кавказе» публиковались анонимно или под псевдонимами, поэтому невозможно дать полное представление о степени участия в нем польских авторов. Известно, однако, что на страницах «Кавказа» были напечатаны произведения Стшельницкого «Два узденя» (1846, №№ 18—23), «Новое передвижение народов» (1846, № 26) и «Махмудка» (1846, №№ 28—37), статьи и рецензии Л. Янишевского о концертах и музыкальных вечерах в Тифлисе (1845, №№ 9, 13, 43) и др.

Нам удалось выяснить также факт сотрудничества в «Кавказе» Потоцкого. Пространная «Некрология князя Левана Дадиана», подписанная Ал.-П. (1847, № 21), как и большой анонимный очерк «Поминки над прахом владетеля Мингрельского князя Левана Дадиана» (1846, № 39), принадлежат перу Потоцкого. Полагаем, что ему же принадлежит и очерк «Кавказ (письмо с дороги от находящегося в свите князя наместника)», опубликованный в газете без подписи 27 апреля 1846 г.

Наконец следует отметить, что на страницах «Кавказа» в 1846 г. появился «Краткий исторический очерк Гурии» (№№ 49—50), а в 1847 г. — «О сословиях Гурии» (№ 40). Обе статьи, выделявшиеся превосходным знанием истории и современной автору жизни гурийцев, написаны А. Ф. Тржасковским. Таковы неполные данные о сотрудничестве польских авторов в «Кавказе».

---

[89] *Стшельницкий В.* Очерки Кавказа. Житомир, 1860, с. 2—3 (на польском языке).

[90] *Богомолов И. С.* Грузия в жизни и творчестве О. Константинова. — В кн.: Литературные взаимосвязи, сб. II, 1969.

[91] *Белинский В. Г.* Полн. собр. соч. М., 1956, т. 10, с. 58—59.

Если эта газета, как указывал В. Г. Белинский, стала неисчерпаемым источником «материалов для истории, географии, статистики и этнографии Кавказа», то в этом большая заслуга и польских литераторов.

Они сыграли большую роль также в других областях культурной жизни края. Например, Л. Янишевский — автор лирических и сатирических стихотворений, статей и рассказов, переводчик «Кавказского пленника» и «Цыган» Пушкина, будучи талантливым композитором, написал «Тифлисскую польку» и «Прелестную грузинку»; он работал в Тифлисе преподавателем музыки, способствовал развитию музыкальной культуры города.[92]

Свидетельством горячего желания польских «кавказцев» принести пользу приютившему их краю является письмо Заблоцкого к Подберескому от 9 января 1847 г., в котором сообщается, что его назначили «на должность управляющим Кульпскими соляными рудниками <. . .>. Если господь меня благословит, я смогу принести значительную пользу здешнему краю, и с такой мыслью принимая должность, не знаю, смогу ли оставить что-либо полезное литературе нашей, хотя столько собралось у меня материалов для описания Армении, края, который во многих отношениях может нас интересовать».

* * *

Несколько общих замечаний о «кавказских» произведениях Потоцкого и его коллег.

Сороковые годы можно назвать эпохой открытия Кавказа для польской литературы. Хотя изредка и раньше появлялись об этом крае отдельные исторические, этнографические и путевые очерки польских деятелей, но лишь с начала 40-х гг. страницы польской периодики стали заполняться «кавказскими» рассказами, повестями и очерками, поэмами, стихами, мемуарами и статьями. Потоцкий, Заблоцкий, Стшельницкий и Янишевский внесли в нее свежую струю и яркие краски, обогатили новыми темами и оригинальными художественными образами.

Считая литераторов «кавказской группы» романтиками, исследователи обычно подчеркивают, что основным содержанием их творчества является ностальгия. Это правильно. Они особенно остро ощутили тоску по родине. Отсюда и автобиографизм их творчества, переплетение печальной личной судьбы с судьбами художественных образов. Но наряду с этим мы встречаем у них и восторженные гимны кавказской природе, и произведения, в которых романтизм сочетается с реализмом, и сочинения с реалистическим изображением действительности.

Все они могли бы повторить слова Заблоцкого: «Я полюбил тебя, моя новая отчизна!» Все это объясняется, конечно, рядом важных причин. Кавказ с его величавой природой и бурными военными событиями, с его драматической историей и героическими подвигами вдохновлял поэтов на создание восторженно-романтических произведений. Но они здесь нашли не одну «реальную романтику», экзотику, но и ту суровую дейст-

---

[92] *Живов М.* Польские певцы Кавказа. — Литературная Грузия, 1957, № 6, с. 70.

вительность, о которой Лермонтов сказал: «и ты несчастьями полна и окровавлена войной».

Поэты «кавказской группы» не только увидели, но и на себе испытали трудную жизнь, угнетение и бесправие «низов общества», страшную нужду и лишения крестьянских и солдатских масс. Продолжительное и непосредственное общение с ними вызывает взаимный интерес и симпатии. Они находят здесь верных друзей, доброе отношение, моральную поддержку и помощь. И потому край этот становится для них второй родиной, ареной активной культурной деятельности и источником поэтического вдохновения. Польские литераторы с большим интересом и увлечением изучают и описывают в своих произведениях своеобразную жизнь и нравы кавказских племен, рисуют колоритные картины их быта и обычаев. Эти правдивые, реалистические произведения, содержащие огромный конкретный этнографический, исторический, фольклорный материал, имели не только большое познавательное значение. Проникнутые идеями дружбы и согретые искренним сочувствием к кавказцам, они и в польских читателях пробуждали такие же благородные мысли и чувства. Потоцкий и его друзья приближали к своим соотечественникам Кавказ, способствовали сближению территориально далеких друг от друга народов.

О большом интересе польской общественности к этим произведениям говорит тот факт, что Подбереский, Крашевский и другие редакторы часто обращались к «кавказцам» с просьбами об активном сотрудничестве в польских периодических изданиях. И они охотно посылали им свои очерки, рассказы, стихотворения и статьи, отличавшиеся новизной тематики и художественных образов.

Нет необходимости доказывать, что без учета этих произведений, составляющих весьма существенную и специфическую часть польской литературы, у нас не будет правильного представления ни о польской художественной культуре, ни о польско-кавказских литературных связях.

Деятельность «кавказской группы» польских поэтов продолжалась недолго. 26 октября 1846 г. газета «Кавказ» сообщила своим читателям, что «19 октября, в Тифлисе, после краткой болезни, скончался молодой и многообещавший писатель Владислав Стшельницкий, участвовавший трудами своими в нашей газете. Польская и русская литература (потому что он равно свободно и прекрасно писал на обоих языках) много потеряли с смертью этого даровитого человека, классически образованного и обладавшего высоким поэтическим талантом<. . .>. Товарищи и друзья Стшельницкого, оплакав слишком преждевременную смерть поэта-юноши, так много обещавшего, предали тело его земле 22 октября на католическом кладбище, выше церкви, ближе к небу, о котором он так часто тосковал в своих стихотворениях, и окропили могилу непритворными горячими слезами. Дай бог, чтобы каждый на чужбине, далеко от родины был оплакан с такою горестью людьми ему чуждыми».

«Чуждые люди», оплакавшие Стшельницкого в Тифлисе, это, конечно, его грузинские, русские, азербайджанские и армянские знакомые и почитатели. Что же касается его польских друзей, то их горестные чувства и настроения выразили в своих стихах Тадеуш Лада-Заблоцкий, Войцех Потоцкий и другие братья по судьбе и по перу.

Не прошло и года после похорон Стшельницкого, как читатели «Кавказа» узнали, что «в Кульпах умер от холеры управляющий кульпинскими соляными промыслами Лада-Заблоцкий, обладавший замечательным творческим талантом».[93]

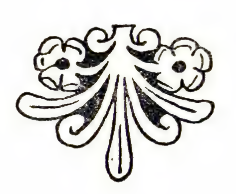
А год спустя скончался Войцех Потоцкий. Он умер «от изнурительной лихорадки в Мингрелии, куда он уехал провести лето у своего старого друга владетельного князя Дадиана». Эти слова принадлежат А. Л. Зиссерману,[94] который дал в своих воспоминаниях лучшую характеристику личности Потоцкого.

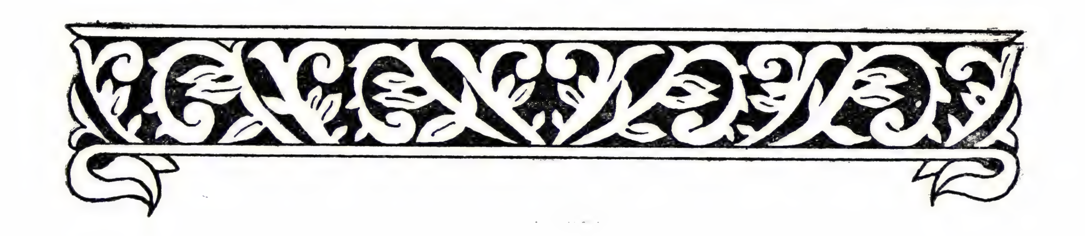
Когда молодой и неопытный в жизни Зиссерман, человек незнатного происхождения, мелкий канцелярский чиновник, познакомился с Войцехом Игнатьевичем (это было в 1848 г. в Тифлисе), он был буквально очарован его благожелательным отношением к «маленьким людям».

«Мне, — пишет Зиссерман о Потоцком, — до него не приходилось иметь знакомых из такого рода людей, вращавшихся в высших придворных и политических сферах, притом начитанных и с массой всесторонних сведений, я был просто очарован».[95] Приняв меня очень ласково, — продолжает Зиссерман, — Потоцкий «в самых утонченно-мягких формах дал мне несколько наставлений насчет опасности положения всякого новоприобретающего расположение сильных мира сего, насчет людской зависти и злобы, готовом в таких случаях на всякую подлость, особенно когда дело коснется не аристократа, поддерживаемого сильными тетушками, а скромного труженика, наиболее им ненавистного<. . .> Повторял советы насчет осторожности. „Быть обогретым солнцем очень де хорошо, но часто рискуешь и обжечься; а прихоти у вельмож весьма изменчивы“».[96]

---

[93] Кавказ, 1847, 16 августа, № 33.
[94] *Зиссерман А. Л.* Двадцать пять лет на Кавказе. СПб., 1879, с. 131.
[95] Там же.
[96] Там же, с. 132.





А. С. Мыльников

СЛАВЯНСКАЯ ТЕМА В РУССКИХ ЭНЦИКЛОПЕДИЯХ 1830—1870-х гг.

Славянский вопрос играл заметную роль в духовной жизни русского общества первой половины и середины XIX в. Ему уделялось внимание в передовых — декабристских и революционно-демократических кругах, он звучал в спорах шишковцев и карамзинистов, славянофилов и западников, он находил преломление в позиции официальных, правительственных сфер. Независимо от той или иной интерпретации, прошлое и настоящее зарубежных славянских народов, ощущение языковой и культурно-исторической близости с ними волновали в России широкую аудиторию, находя отражение в философии, публицистике и художественной литературе, проникая на страницы периодической печати разных направлений и оказывая обратное влияние на развитие русско-славянских контактов.

Среди источников, способствовавших более глубокому пониманию этих процессов, особое место принадлежит русским энциклопедиям. Энциклопедические словари, появлявшиеся в те десятилетия, не только способствовали удовлетворению читательского интереса, но, в первую очередь, фиксировали, осмысливали уровень знаний, накопленных в отечественной и мировой культуре. То и другое было, в конечном счете, взаимосвязано. Между тем вопрос этот до сих пор не получил надлежащей разработки. Привычная утилитарная, справочная функция подобных изданий обычно заслоняет их значимость как историко-культурного источника особого рода.

* * *

Потребность в создании энциклопедических словарей ощущалась в России уже в XVIII в. Однако мало удачный компилятивный справочник И. П. Алексеева, издававшийся в Москве в 1793—1794 гг. и доведенный только до буквы Б, интересующих нас сведений не содержал. Несравненно больший интерес мог бы представить «Энциклопедический словарь» известного московского типографа С. И. Селивановского, имевшего знакомства в декабристской среде и привлекшего к сотрудничеству В. К. Кюхельбекера и В. И. Штейнгеля. Но именно по этой причине интересно задуманный план выполнить не удалось: после подавления восстания

14 декабря 1825 г. С. И. Селивановский попал под подозрение властей, и издание, едва начавшись, было приостановлено, даже не охватив всей литеры Б. Отпечатанные в 1823—1824 гг. три тома «Энциклопедического словаря» к продаже разрешены не были, а намерения Селивановского вернуться позднее к реализации своего проекта успехом не увенчались.[1]

«Неосуществленная попытка Селивановского издать многотомный энциклопедический словарь, — справедливо отмечал видный советский книговед И. М. Кауфман, — отнюдь не умалила саму идею. Потребность в большом энциклопедическом словаре продолжала оставаться актуальной, ее хорошо сознавали многие литераторы и ученые, передовые круги русской интеллигенции».[2] В этом контексте и следует рассматривать «Энциклопедический лексикон» петербургского издателя А. А. Плюшара, в котором материалы о западных и южных славянах впервые получили достаточно широкое для своего времени отражение.

Не останавливаясь подробнее на характеристике этого обширного, хотя и весьма противоречивого по программным установкам и содержанию труда, отметим, что и круг его участников был весьма разнородным и пестрым. А. С. Пушкин иронически записал в своем дневнике за 17 марта 1834 г.: «Вчера было совещание литературное у Греча об издании русского Conversation's Lexikon. Нас было человек со сто, большею частию неизвестных мне русских великих людей <. . .> Охота лезть в омут, где полощутся Булгарин, Полевой и Свиньин».[3] Однако среди сотрудников «Лексикона» Плюшара были и некоторые видные деятели отечественной культуры. Хотя славистика как особое направление в программе издания не названа, с самого начала в «Лексиконе» участвовал филолог-славист А. Х. Востоков.[4] Редактирование раздела словесных наук, имевшего непосредственное касательство к славянской теме, поручалось непременному секретарю Российской Академии Д. И. Языкову, имевшему по должности тесные контакты со многими зарубежными славянскими учеными.[5] Примечательно, что, несмотря на первоначальную сдержанность, А. С. Пушкин понимал культурное значение «Лексикона» и стремился привлечь к участию в нем действительных знатоков дела. Весьма красноречиво в этом смысле звучало его письмо, адресованное 3 июня того же года историку и археографу Д. Н. Бантышу-Каменскому: «Вы, вероятно, изволили слышать о торговом и литературном предприятии Плюшара, о русском Conversation's Lexicon: великое множество биографических статей, Вами заготовленных, могли бы войти в состав этого лексикона. Не войдете ли Вы в сношение с Плюшаром? В таком случае прошу Вас выбрать меня в свои поверенные, а мы рады стараться».[6] А. С. Пушкин,

---

[1] *Кононович С. С.* Типографщик Селивановский. — Книга. Исследования и материалы. М. 1972, т. 23, с. 119.

[2] *Кауфман И. М.* Русские энциклопедии. Вып. 1. Общие энциклопедии. М., 1960, с. 15.

[3] *Пушкин А. С.* Полн. собр. соч., т. 12, с. 322.

[4] ЦГИА СССР, ф. 772, оп. 1, ч. 1, № 652, л. 4.

[5] См.: *Францев В. А.* Очерки по истории чешского Возрождения. Русско-чешские ученые связи конца XVIII и первой половины XIX ст. Варшава, 1902, с. 202.

[6] *Пушкин А. С.* Полн. собр. соч., т. 15, с. 156.

несомненно, подразумевал материалы, составившие «Словарь достопамятных людей Русской земли», первые пять частей которого Бантыш-Каменский опубликовал вскоре, в 1836 г. Уместно также заметить, что Д. Н. Бантыш-Каменский являлся одним из первых русских ученых, посетивших зарубежные славянские и балканские земли, описав свои впечатления в книге «Путешествие в Молдавию, Валахию и Сербию» (М., 1810).

Всего с 1835 по 1841 гг. было издано 17 томов «Энциклопедического лексикона», охвативших словник до буквы Д включительно. Поскольку на этом предприятие А. А. Плюшара остановилось, трудно в полную меру судить о том, как были бы освещены вопросы языка, истории и культуры славянских народов в целом. Однако в вышедших томах, хотя и неравномерно, были помещены материалы о болгарах, чехах и некоторых других славянских народах, а также о ряде славянских ученых. Таковы, например, статья о польском историке литературы и библиографе Г. Бандтке, принадлежавшая специалисту в области генеалогии, а к тому времени сенатору К. М. Бороздину (т. 4, с. 246), или статья о Й. Добровском близкого к славянофилам беллетриста Н. В. Савельева-Ростиславича, который приводил список трудов чешского ученого (т. 17, с. 49—50).

Конечно, авторов, подобных Бороздину и Савельеву-Ростиславичу, нельзя считать особо компетентными в области славистики. Но в энциклопедии сотрудничал А. Х. Востоков, которому, в частности, принадлежала ценная статья «Богемский язык и литература» (т. 6, с. 163—164). В ней не только приводились важнейшие сведения о чешском языке и содержался очерк истории чешской литературы с древнейших времен до эпохи национального Возрождения, но и значительное внимание было уделено развитию славистики в Чешских землях от Й. Добровского до Й. Юнгмана и П. Й. Шафарика, имена которых вообще были достаточно хорошо знакомы в России.

Среди материалов, включенных в «Энциклопедический лексикон», встречаются также статьи о русских авторах, занимавшихся славянской филологией и историей. Так, в статье о лексикографе П. А. Алексееве назван его «Церковнославянский словарь» (М., 1773) и отмечено, что в нем, в частности, даны «объяснения слов древних славянских» (т. 1, с. 490). В статье о Н. Н. Бантыше-Каменском сказано о его занятиях польской историей и об участии в Румянцевском кружке. Далее говорилось, что, наряду с работами других русских ученых того времени, труды Бантыш-Каменского «должны составлять эпоху в истории нашей истории». Это был один из ранних примеров историографического осознания проблемы (т. 4, с. 283—289). В статье о крупном историке XVIII в. И. Н. Болтине упомянут его незавершенный славянороссийский словарь, охвативший лишь букву А (т. 6, с. 266). Примечательно, что в лексикон Плюшара попала и статья о В. Б. Броневском, который назван «русским литератором и путешественником». В статье названа его книга «Путешествие из Триэста до С. Петербурга в 1810 г.» (ч. 1—2. М., 1828), в которой автор, возвращавшийся на родину в составе русских войск, живо и непосредственно описывал впечатления о землях, по которым пролегал поход, сообщал немало новых для широких кругов русских читателей сведений об истории и культуре словенцев и других славянских народов. Впрочем, многие славянские

сюжеты получили в «Лексиконе» А. А. Плюшара фрагментарное, порой недостаточно полное освещение, а многие вообще оказались пропущенными. Это относилось прежде всего к сведениям о современном положении славянских земель, где как раз в этот период в обстановке национально-освободительного движения интенсивно развивалась художественная литература, формировалась система национальной культуры. То, что создатели «Лексикона» как бы не заметили многого из текущей жизни, не случайно.

Подобные пропуски (разумеется, не только в части славянской тематики) объяснялись многими причинами. Прежде всего отсутствием четкого плана и словника «Лексикона», а также взаимной склокой Н. И. Греча и О. И. Сенковского, занимавших здесь в разные годы влиятельные позиции и конфликтовавших даже с самим издателем. Но не следует выпускать из виду, что с самого начала А. А. Плюшар был поставлен в строгие цензурные рамки. Примечательно, что в связи с возбужденным им перед властями ходатайством о выпуске «Энциклопедического лексикона» министр народного просвещения С. С. Уваров писал 12 апреля 1834 г. попечителю Петербургского учебного округа: «Главное управление цензуры считает нужным поставить между тем на вид издателям, что все относящееся к политическим наукам, к определению главных начал оных и учений, ныне употребляемых, будет подвергнуто особому разбору цензуры и наблюдению правительства».[7] Такое предупреждение имело непосредственное отношение к славянской теме, поскольку правительство Николая I всегда относилось к ней не просто настороженно, но и откровенно подозрительно.[8]

Как бы то ни было, при всех своих недостатках «Энциклопедический лексикон» приобрел значительный резонанс, а многочисленные пропуски, которые в нем имелись, побуждали других издателей к публикации дополнений и даже к созданию конкурирующих трудов.[9] Это свидетельствовало о том, насколько острой и жизненной была потребность русского общества в полноценных энциклопедиях.

Не успели выйти первые четыре тома «Энциклопедического лексикона», как в 1835 г. на рассмотрение властей поступило ходатайство разрешить издание «Всеобщей энциклопедии или систематического собрания наук», которую брался продавать петербургский книгопродавец Федор Ротган. Ходатайство подал титулярный советник Наркиз Атрешков.[10] Это был

---

[7] ЦГИА СССР, ф. 777, оп. 1, № 1246, л. 9 об.

[8] *Дьяков В. А., Мыльников А. С.* Об основных этапах истории славяноведения в дореволюционной России. — В кн.: Славяноведение в дореволюционной России. Биобиблиогр. словарь. М., 1979, с. 15.

[9] В 1836 г. воспитатель училища правоведения А. В. Иванов, ссылаясь на успех «Лексикона» Плюшара, добивался разрешения на издание «Всеобщего словаря собственных имен, технических терминов, не всем известных слов и названий» (ЦГИА СССР, ф. 777, оп. I, № 1341, л. 3), а редакция «Отечественных записок», возобновленных с 1839 г., предполагала публиковать дополнения к «Энциклопедическому лексикону» тем же шрифтом и форматом, что и у Плюшара. Последнее привело его в смятение, и он сумел добиться у властей запрещения на этот проект «Отечественных записок» (ЦГИА СССР, ф. 772, оп. 1, ч. 1, № 1138, л. 1—2, 6).

[10] ЦГИА СССР, ф. 777, оп. 1, № 1263, л. 13.

тот самый Н. И. Тарасенко-Отрешков, второстепенный писатель и весьма темный делец,[11] которому А. С. Пушкин в 1832 г. намеревался поручить редактирование задуманной, но неосуществленной политической и литературной газеты и которого иронически именовал в переписке «Отрыжковым».[12] Ходатайство Н. И. Тарасенко-Отрешкова было отклонено, но для нашей темы оно представляет несомненный интерес, поскольку в нем «по части всеобщей и российской истории» предполагалось участие Н. В. Гоголя.[13]

Этот факт тем более примечателен, что именно к 1834—1835 гг. относится период «наиболее интенсивных исторических занятий Гоголя».[14] Поэтому с замыслом Н. И. Тарасенко-Отрешкова привлечь великого писателя к сотрудничеству следовало бы соотнести сохранившиеся в его творческом наследии исторические наброски и материалы, в состав которых органически входят и заметки общеславянского характера. (Вспомним, как А. С. Пушкин советовал Д. Н. Бантышу-Каменскому поместить в плюшаровском «Лексиконе» заготовленное им «великое множество биографических статей»). К сожалению, эта сторона интересов Н. В. Гоголя необходимой разработки не получила, а в монографии Л. В. Черепнина, где, в частности, анализируются исторические взгляды Гоголя, вообще не названа.[15] Между тем его устойчивый интерес к истории и культуре славянских народов, а равно его популярность в славянских землях (в Чешских землях, например, он становится с конца 1830-х гг. одним из наиболее читаемых и любимых русских писателей) заслуживала бы постановки вопроса о славянских занятиях Н. В. Гоголя.

Достаточно указать, что из 66 фрагментов, включенных публикаторами академического полного собрания его сочинений в «Наброски и материалы по русской истории», 16 охватывают общеславянскую проблематику. По большей части они имеют авторское наименование: «Собственные результаты о славянах» (№ 3), «Происхождение славян» (№ 5), «Ипотезы о славянах. Их следы». (№ 6), «Давность существования славян» (№ 7), «Славяне на русской земле» (№ 9), «О местожительстве славянских народов» (№ 10), «Западные славяне» (№ 12), «О славянах древних» (№ 13), «Славянская мифология» (№ 14), «Обряды религиозные» (№ 16), «Характер славян вообще» (№ 17). Остальные отрывки авторского наименования не имеют. Они касаются особенностей и своеобразия славянских народов (№ 2), характеристики «славянского Востока Европы» (№ 4), расселения славян (№ 8), южных славян (№ 11), рудиментов язычества в позднейшей славянской культуре (№ 15).[16] Допустимо предположить, что исторические наброски Н. В. Гоголя, в том числе и фрагменты, по-

---

[11] *Алексеев М. П.* Пушкин. Сравнительно-исторические исследования. Л., 1972, с. 148—149; *Черейский Л. А.* Пушкин и его окружение. Л. 1976, с. 406—407.

[12] *Пушкин А. С.* Полн. собр. соч., т. 15, с. 33—34, 207.

[13] ЦГИА СССР, ф. 777, оп. 1, № 1263, л. 9 об.

[14] *Гоголь Н. В.* Полн. собр. соч., т. 9, с. 622—623 (комментарии).

[15] *Черепнин Л. В.* Исторические взгляды классиков русской литературы. М., 1968, с. 80—109. — Представляет интерес ссылка автора на письма Н. В. Гоголя к А. С. Пушкину (1833) и М. П. Погодину (1834), в которых он извещал их о намерении написать труд по всеобщей истории (с. 88).

[16] *Гоголь Н. В.* Указ. соч., с. 31—42.

священные славянским народам, в качестве заготовок могли им позднее быть использованы в неосуществленном замысле «Всеобщей энциклопедии».

В последовавших за «Лексиконом» А. Плюшара русских энциклопедиях славянская тема получала все большее освещение. С этой точки зрения интересен «Справочный энциклопедический словарь» А. Старчевского — К. Крайя, первый, полностью завершенный русский справочник такого рода (т. 1—12; СПб., 1847—1855). В нем были использованы материалы славянской тематики (до буквы «Д»), заимствованные из «Лексикона» Плюшара, в том числе имевшаяся там персоналия. Вместе с тем наряду со статьями об отдельных, отсутствовавших в «Лексиконе» славянских народах, появляются новые заметки об отечественных ученых, внесших в XVIII и первой половине XIX в. вклад в изучение языка и культуры славянских народов. Таковы биографии Д. Н. Бантыша-Каменского с упоминанием его путешествия в Сербию в 1810 г. (т. 2, с. 105—111), А. Х. Востокова (т. 3, с. 317), болгариста Ю. И. Венелина (там же, с. 135) и т. п. В последующих томах, не имевших аналогов в издании Плюшара, приведены сведения о Н. М. Карамзине (т. 5—6, с. 518—522), М. Т. Каченовском (там же, с. 619—620), П. И. Кеппене (там же, с. 649—650), М. В. Ломоносове (т. 7, с. 273—276), Н. П. Румянцеве (т. 9, ч. 2, с. 224—226), С. М. Строеве (там же, с. 575—576), Х. А. Чеботареве (т. 12, с. 108) и других авторах, обращавшихся в своем творчестве к славянской проблематике. Из зарубежных ученых названы чешские (Г. Добнер и Й. Добровский, т. 3, с. 124—125) и польские (С. Линде, т. 7, с. 204—205) филологи и историки, немецкий историк А. Шлецер (т. 12, с. 296—297) и др. Все более осмысленной становится оценка сообщенных фактов. Так, Линде назван «знаменитым славянологом», отмечено, что Каченовский занимал в Москве кафедру истории и литературы славянских наречий. Хотя в словнике термин «славяноведение» или «славистика» еще отсутствует, в девятом томе (1854) напечатаны объемистые статьи «Славянские языки» (с. 470—471) и «Славянские литературы» (с. 471—476). В них, кроме упоминания о работах Й. Добровского, П. Шафарика и Е. Копитара, подчеркнут вклад в славяноведение таких отечественных ученых, как А. Х. Востоков, К. Ф. Калайдович, П. М. Строев, А. А. Шишков.

Из последующих русских энциклопедий заслуживает упоминания «Настольный словарь для справок по всем отраслям знаний» видного деятеля русской культуры 1860-х гг., бывшего петрашевца Ф. Г. Толля (т. 1—3, СПб., 1863—1864). Так, А. Х. Востоков (статья «Остенек», т. 2) назван в ней «замечательным славянским филологом». В третьем томе освещены термины «Славянская мифология», «Славянские языки» и «Славянские литературы» (с. 479). Как и в предыдущих справочниках, дефиниция славяноведения здесь еще отсутствует. Но ее, учитывая преимущественно филологический акцент тогдашней славистики, можно усмотреть в статье о славянских литературах, которые определены следующим образом: «так называются вообще все литературы обширного семейства славянских языков, которые достигли особенного развития; в особенности же под этим именем разумеют, кроме вымершей церковнославянской или древнебулгарской, литературы чешскую, польскую, русскую и сербскую, потому что в них наиболее выразился славянский дух. По числу печатных самая богатая из них литература русская».

Эта формулировка была почти дословно воспроизведена в «Русском энциклопедическом словаре», издававшемся профессором Петербургского университета И. Н. Березиным в 1873—1879 гг. (отд. IV, т. 2, с. 114—118). В этом справочнике, выходившем накануне и в годы общественного подъема, связанного с освободительной миссией России на Балканах, широкое освещение получили успехи отечественного славяноведения. Об этом можно судить по статьям о таких представителях русской славистики, как О. М. Бодянский (отд. I, т. 4, с. 76—77), В. И. Григорович (отд. I, т. 5, с. 840), А. Н. Пыпин (отд. 3, т. 4, с. 677—678), И. И. Срезневский (отд. 4, т. 2, с. 261). Вместе с тем, материалы березинского словаря свидетельствовали о недостаточной еще разработанности вопросов истории славистики в России. Имена некоторых ученых, статьи о которых могли бы по праву занять здесь место, отсутствуют. Нет, например, статьи о первом преподавателе истории и литературы славянских наречий Петербургского университета П. И. Прейсе. Такое положение сохраняется и в тех немногочисленных кратких энциклопедиях, которые увидели свет в последующие десятилетия, предшествуя капитальному «Энциклопедическому словарю» Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона, в котором славянская проблематика получила, благодаря участию ряда видных ученых, достаточно полное освещение.

* * *

В начале статьи мы назвали энциклопедические труды историко-культурными источниками особого рода. Их специфика, как вытекает из сказанного, обусловливалась тем, что, откликаясь на потребности спроса (сошлемся хотя бы на инициативы конкурентов А. А. Плюшара), они обобщали, сводили знания в определенную систему, оказывая в свою очередь обратное воздействие на читательскую аудиторию. В конечном счете, они свидетельствовали о мере и степени знакомства русского общества со славянской тематикой. Тем самым энциклопедические труды приобретали историко-культурную значимость и эвристическую ценность. Поэтому славянская тема в отечественных энциклопедиях XIX в. заслуживает дальнейшего систематического рассмотрения в комплексе с другими источниками по истории русско-славянских связей. Реализации этого способствовало бы сплошное обследование с точки зрения отражения в них славянской темы как общих, о которых речь шла выше, так и отраслевых, специальных энциклопедических словарей, еще ожидающих изучения.

Историко-культурная значимость такого анализа состоит в возможности более полного раскрытия механизма связей между общественным интересом к славянству и теми возможностями, которыми русская наука того времени располагала. Эвристическая же ценность заключается в возможности выявления дополнительных фактов, относящихся к славянской проблематике, вызывавшей к себе в то время первоочередной интерес, и к кругу причастных к ней лиц из числа ученых, публицистов и писателей. В особенности — последних, в пользу чего, например, свидетельствует отмеченный выше интерес к экциклопедическим трудам и историко-

филологической тематике в них со стороны А. С. Пушкина и Н. В. Гоголя. В этой связи весьма реальным представляется обнаружение новых текстов, публиковавшихся в энциклопедиях нередко без подписей. Таким образом, славянская тема в ранних русских энциклопедиях, осмысленная как органическая часть общественно-литературного движения и как составной элемент процесса становления и развития славяноведения, свидетельствует о существовании многообразных форм русско-славянских контактов в первой половине и середине XIX в.





С. И. Николаев

О КОЛЛЕКЦИИ ИГНАТИЯ ОНАЦЕВИЧА

История всякого собрания рукописей отражает не только индивидуальные склонности собирателя, но и несет на себе отпечаток воззрений эпохи. В особенности это сказалось на крупнейших собраниях рукописей, сложившихся в первой трети XIX в., в начальную эпоху деятельности плеяды блестящих ученых-архивистов, объединенных знаменитым меценатом, государственным канцлером гр. Н. П. Румянцевым для сбора и публикации памятников русской истории, а также истории народов, населяющих Россию и прилегающие государства.

Результатом целенаправленной деятельности по изучению славянских древностей явились не только многочисленные издания памятников и их исследования, но и личные коллекции многих участников Румянцевского кружка. О многих коллекциях и их собирателях-историках мы осведомлены достаточно хорошо, например П. М. Строеве, М. П. Погодине и др. Изучение этих коллекций, находящихся в настоящее время в государственных хранилищах, показывает, что для истории коллекции очень важны личность собирателя и круг его научных занятий. Известны и другие коллекции этого времени, которые до нас дошли в неполном составе, а о личности собирателя мы знаем очень мало. Такова судьба великолепного, по отзывам современников, собрания П. Я. Актова.[1]

Одним из сотрудников Н. П. Румянцева был И. Онацевич, собравший замечательную коллекцию по истории Польши, Литвы и внешних сношений России. После смерти собирателя коллекция более чем на столетие выпала из научного оборота и лишь недавно попала в поле зрения исследователей. История собрания темна и даже загадочна, кое-что в ней может прояснить личность собирателя и детали его биографии. Игнатий Семенович Онацевич (1780—1845), профессор Виленского университета, был хорошо известен среди русских и польских ученых первой половины XIX в.[2]

[1] См.: *Берков П. Н.* П. Я. Актов, забытый собиратель древнерусских рукописей и старопечатных книг. — ТОДРЛ, 1958, т. 14, с. 637—643.

[2] В 1961 г. был издан наиболее подробный очерк жизни и деятельности Онацевича, написанный в 30—40 гг. ныне покойным проф. Янушом Ивашкевичем, см.:

Интерес к отечественной истории пробудился у Игнаци Жеготы Онацевича (Игнатием Семеновичем он стал именоваться после переезда в Петербург) еще в юношеские годы. После окончания учительской семинарии он был по представлению прусского министра Штреттера (Онацевич жил тогда на территории Пруссии) определен на казенный счет в Кенигсбергский университет на двухлетнее обучение. Там он проявил себя незаурядным слушателем, и ему был продлен срок обучения еще на один год. По окончании курса ему предложили место преподавателя русского и польского языков. Онацевич охотно принял это предложение, поскольку оно давало ему возможность продолжать свои занятия по истории Литвы и Польши, начатые еще во время обучения. Богатые библиотеки и архивы Кенигсберга, в том числе и архив ордена крестоносцев, открывали перед молодым историком широкие возможности изучения неизвестных и неизданных материалов.

Несколько лет спустя, в 1807 г., во время занятия французами Кенигсберга, Онацевич оказал некоторые услуги русскому населению города, за что получил в подарок часы от министра иностранных дел России Н. П. Румянцева. Этот эпизод послужил поводом для позднейшего знакомства Онацевича с будущим государственным канцлером России, который посетил Кенигсберг в 1809 г. Известный русский любитель и собиратель славянских древностей, Румянцев во время встречи узнал о занятиях Онацевича и предложил ему ознакомиться со своим богатейшим собранием древних рукописей и книг.[3] Онацевич выехал в Гомель и около года провел там в имении Н. П. Румянцева, разбирая его рукописи и делая выписки.

Вполне вероятно, что именно в результате ознакомления с «археографической» деятельностью Румянцева Онацевич окончательно решил посвятить себя созданию истории родного края и собиранию исторических сочинений, грамот, договоров и т. д., так как в его время для подобного предприятия не было еще создано хорошей источниковедческой базы.

Осенью 1810 г. И. Онацевич едет в Вильно, поступает в университет на факультет моральных наук и через год получает звание магистра философии. Он остается при университете и читает там всеобщую историю, право и политическую экономию. Однако вскоре он, человек неуживчивого и неуравновешенного характера, был вынужден оставить университет.

С 1813 г. он служил в гимназии в Белостоке, где преподавал литературу, древние языки, а с 1816 г. и всеобщую историю. Бывая в Вильно, Онацевич познакомился, а затем близко сошелся с Иоахимом Лелевелем, с которым позднее переписывался более 15 лет. Лелевель до 1818 г. читал в университете всеобщую историю. В 1818 г. он переехал в Варшаву,

---

Iwaszkiewicz J. Ignacy Żegota Onacewicz — historyk Litwy. Z dziejów d. Uniwersytetu Wileńskiego. — In: Studia i materiały z dziejów nauki polskiej. Warszawa, 1961, Ser. A, zesz. 4, s. 41—126. См. также о нем статью Е. Лихача «Онацевич И.» в Русском биографическом словаре. (СПб., 1905, т. «Обезьянинов—Очкин», с. 262—264); *Szybiak I.* Onacewicz I. Ż. — In: Polski słownik biograficzny, Warszawa, 1979, t. XXIV/1, zesz. 100, s. 63—64.

[3] Как известно, у Румянцева были широкие связи с польскими историками первой трети XIX в., по его просьбам И. Лобойко, И. Лелевель и др. сообщали ему сведения о древних актах и рукописях, а также консультировали по вопросам истории польско-литовского государства.

а на его место был приглашен Онацевич. Этот второй период его пребывания в Виленском университете с 1818 по 1828 г. был периодом расцвета его научной и преподавательской деятельности.

К этому времени в университете сложился превосходный профессорский состав. Особую популярность И. Онацевичу стяжали не столько его лекции по всеобщей истории, сколько впервые введенный им и читанный бесплатно курс истории Литвы. Превосходное знание источников, энтузиазм, а также мастерство лектора и огромное желание привить слушателям любовь к прошлому были оценены слушателями, особенно филоматами и филаретами. Среди них был Адам Мицкевич, который посещал в последний год своего пребывания в университете лекции Онацевича и сдавал ему экзамены. Кроме того, они встречались и на домашних вечерах у Лелевеля, а позже, уже в 40-е гг., переписывались. В примечаниях к «Гражине» Мицкевич с почтением отозвался об исторических познаниях своего университетского учителя.

В середине 20-х гг. лекции Онацевича посещал Юлиуш Словацкий, еще один пророк польского романтизма. Но в это время кафедру истории по конкурсу занял И. Лелевель, вскоре уволенный из университета в числе других прогрессивных профессоров, а Онацевич читал курс русской статистики и дипломатии, продолжая в свободное время свои разыскания по истории Литвы и Польши.

В 1823—1827 гг. он издал несколько томов трудов польского историка Я. Альбертранди (1731—1808) по истории Литвы и Польши XIV—XVI вв. и присовокупил к ним краткий, но обстоятельный очерк истории Литвы. Он продолжал также усердно посещать библиотеки, выезжал в другие города, в Петербург, где провел в 1821 г. шесть недель, преимущественно занимаясь изучением старинных польских рукописей в Публичной библиотеке.

Университетское начальство не всегда шло навстречу Онацевичу. Его неоднократные попытки получить средства на поездку в хорошо ему известные библиотеки Кенигсберга оканчивались неудачей. Сам же Онацевич, человек далеко не богатый, не мог позволить себе путешествовать на свой кошт и неоднократно жаловался друзьям, что «бедная литовская Клио» страдает из-за скупости университетских властей. Правда, ему удавалось иногда получить необходимые средства на археографические поездки. Отчет об одной из них был опубликован в декабрьской книжке «Северного архива» за 1822 г.[4] Он весьма основателен: автор подробно рассказывает о просмотренных архивах, отмечает и кратко останавливается на особенно ценных рукописях и изданиях XVI—XVII вв. Работа Онацевича в монастырских и родовых магнатских архивах (именно их он посетил) принесла довольно значительные результаты, поскольку хранящиеся там материалы были по большей части историкам неизвестны.

Онацевич не только изучал рукописи и делал из них обширные выписки, но и приобретал их. В «Отрывке из путевых записок», например, отмечено, что у А. Хрептовича Онацевич приобрел одну рукопись.[5]

---

[4] Отрывок из путевых записок профессора Виленского университета Игнатия Онацевича во время проезда его чрез одну часть Гродненской губернии в июле и августе 1822 г. — Северный архив, 1822, декабрь, № 24, с. 474—485.

[5] Там же, с. 476.

В 1826 г. он еще раз проехал по Гродненской губернии и приобрел ряд рукописей в церковных и монастырских архивах.

В 1827 г. ему удалось опять побывать в Кенигсберге, откуда он привез несколько объемистых тетрадей выписок. Этой поездке он придавал большое значение, сравнивал ее с путешествием Язона в Колхиду и считал, ее цель «несравненно благороднее».[6]

В сборе материалов помогали Онацевичу и студенты, воодушевленные его лекциями и увлеченные этнузиазмом Онацевича. Возвращаясь после летнего отдыха в Вильно, они привозили из разных мест рукописи, книги и передавали их своему профессору.

Это, собственно говоря, и были основные источники коллекции — пожертвования его почитателей-студентов и археографические поездки самого Онацевича, а также его собственные выписки и копии документов, сделанные в библиотеках Петербурга, Кенигсберга, Вильно и т. д. Они входили в состав коллекции наравне с оригинальными документами, так как все это были лишь подготовительные материалы для достижения основной цели — создания истории Литвы. Однако само написание труда все время откладывалось, очевидно, по той причине, что Онацевич, увлеченный сбором материала, накопил его слишком много и он был слишком новый. Список печатных трудов Онацевича невелик, вместе с изданиями трудов Альбертранди и двух статей, вышедших вскоре после смерти, он насчитывает всего девять номеров. Этот крупный историк и коллекционер принадлежал к тому типу ученых, которые более привлекали и заставляли писать других, чем печатали свои сочинения. Нельзя сбрасывать со счета и университетскую загруженность экстраординарного (с 1827 г.) профессора статистики и политической экономии. Вскоре, однако, научная и преподавательская деятельность Онацевича прервалась.

После увольнения из университета в 1823—1824 гг. ряда демократически настроенных профессоров, в том числе и Лелевеля, положение Онацевича стало затруднительным; остался же он только благодаря протекции. Издание трудов Альбертранди с предисловиями Онацевича вызвало неудовольствие Н. Н. Новосильцева, состоявшего при вел. кн. Константине Павловиче и руководившего комитетом по учебной части в Царстве Польском. А вскоре началась и открытая травля почти пятидесятилетнего профессора ректором университета реакционером В. Пеликаном и его окружением, которых никак не устраивал профессор, неоднократно жаловавшийся (впрочем, безуспешно) в Петербург на финансовые злоупотребления университетской администрации.

Случай избавиться от Онацевича появился в 1828 г.: он был привлечен к следствию по делу, не имевшему к нему отношения, и выслан под надзор полиции в Гродно, а затем в свою родную деревню Малая Бжостовица, где и ожидал окончания судебного разбирательства. Три года спустя, в 1831 г., гродненский суд оправдал Онацевича, затем дело рассматривалось в Сенате, и только в 1834 г. он окончательно был освобожден от судебной ответственности. Тем не менее Онацевич был вынужден покинуть университет и на несколько лет отойти от научной работы.

---

[6] *Iwaszkiewicz J.* Ignacy Żegota Onacewicz, s. 114.

В Вильно Онацевич возвратился спустя четыре с половиной года и попал как раз на закрытие университета в 1832 г. Онацевич решает ехать в Петербург с ходатайством по своему делу. В 1833 г. он покидает Вильно и как скоро выяснилось — покидает навсегда, так как после утверждения Сенатом решения гродненского суда Онацевич решил поселиться в столице постоянно. Возвращаться в Вильно было незачем, так как на службу он там поступить не мог, а для продолжения своих исторических разысканий возможностей в столице было больше, потому что к середине 30-х гг. в Публичной библиотеке и в библиотеке Главного Штаба скопилось огромное количество польских и литовских материалов.

По протекции Н. Румянцева Онацевич устроился на службу в Румянцевский музей помощником библиотекаря. Поселился он также близ знаменитого «музеума» на Английской набережной. Кроме исполнения своих прямых обязанностей он погрузился в изучение рукописных материалов, относящихся к истории Литвы и Польши, которые хранились в Публичной библиотеке.[7] С 1834 г. он стал принимать участие также в работе открывшейся Археографической комиссии. По заданию комиссии он разбирал польские рукописи в петербургских библиотеках.[8]

Петербургский период жизни Онацевича был, очевидно, самым плодотворным. Росла и пополнялась разными путями его собственная коллекция. Онацевич охотно показывал свое собрание книг и рукописей, наводил различные справки, консультировал польских и русских историков, принимал участие в заседаниях, выступая с резкой критикой тенденциозных взглядов на историю Литвы;[9] так, например, было памятно его едкое и острое выступление на защите диссертации Н. Устрялова о Великом княжестве Литовском в истории России.

В конце 30-х гг. Онацевич оставил службу в Археографической комиссии[10] и служил уже только в Румянцевском музее под началом А. Х. Востокова. Служил, судя по всему, добросовестно, так как в начале 1839 г. был представлен к знаку отличия за беспорочную службу.

Онацевич занял достойное место среди русских археографов и историков 30—40-х гг., пользовался у них заслуженным авторитетом, поддерживал с ними не только научные, но и личные связи, прежде всего с В. Г. Анастасевичем, с которым познакомился в 1821 г., а позднее и сдружился.

---

[7] На некоторых рукописях он оставлял пометы типа «Żegota legit, notavit 1837 1/9» и т. п. (см.: *Korzeniowski J.* Zapiski z rękopisów Cesarskiej Biblioteki Publicznej w Petersburgu i innych bibliotek petersburskich. Kraków, 1910, s. 130). Считается, что Онацевич переехал на жительство в Петербург в 1834 или 1835 г. Мы полагаем, что это произошло в 1833 г. на основании следующей записи на одной из рукописей: «Od roku 1833 zajmowałem się w Bibliotece Publicznej, drukując rękopisa» т. е. «С 1833 г. занимался в Публичной библиотеке, переписывая рукописи» (Ibid., s. 129).

[8] См.: Отчет о действиях Археографической комиссии в течение двадцатипятилетнего существования ее. — ЖМНП, 1859, ч. 104, с. 214.

[9] Ср. отзыв Ф. Булгарина в письме к И. Лелевелю: «Онацевич — чудак: вобьет себе что-либо в голову и не позволяет себя разубедить» (Русская старина, 1878, № 9, с. 84).

[10] См.: *Васильев В.* Еще о руссах. — Северная пчела, 1860, № 161, с. 660; *Iwaszkiewicz J.* Ignacy Żegota Onacewicz, s. 98.

Поскольку печатных трудов у Онацевича было мало, а некоторые к тому же вышли после смерти (он скончался 18 февраля 1845 г.), то вскоре память о нем заглохла. Однако через полтора десятилетия после его кончины в печати можно было встретить высокую оценку ученой деятельности Онацевича. Н. Покровский писал в 1860 г.: «Онацевич соединял в себе глубокие сведения в истории древних славянских народов с совершенным знанием разных их наречий и, по общему сознанию польских писателей, был величайшим между ними знатоком литовской истории и древностей. Усердный и до могилы неизменный поклонник и труженик избранной им науки, он однакож из скромности весьма редко и неохотно отдавал труды свои в печать и только в дружеских собраниях, в небольшом кругу избранных людей, вполне способных понимать его, охотно делился с друзьями своими знаниями, сообщая результаты многолетних и добросовестных своих изысканий».[11]

Остались также слухи о коллекции рукописей Онацевича и будто бы написанной им «Истории Литвы». Слухи эти были самые противоречивые. Долгое время считалось, что «История» была написана, но утрачена. Была даже объявлена награда для нашедшего это несомненно ценное исследование,[12] но обнаружено оно не было. По другим сведениям, автор завещал ее И. Крашевскому,[13] и только потом ее следы затерялись. На наш взгляд, наиболее правдоподобно мнение биографа Онацевича Я. Ивашкевича, который считал, что «История» так и не была написана, и Онацевич не успел или просто не смог обработать собранный им огромный материал.[14]

История коллекции рукописей Онацевича очень сложна и запутанна. В ней больше неизвестного, чем известного. Собирать рукописи он начал в 1810-х гг., активно занимался этим позже в Вильно и уже тогда имел, очевидно, неплохое собрание и слыл опытным архивистом. Как мы уже писали, рукописи попадали к нему самыми разными путями. Каков был состав коллекции до переезда в Петербург, неизвестно, однако совершенно очевидно, что в основном она сформировалась в Петербурге в 1833—1845 гг. В эти годы через руки Онацевича прошло очень много рукописей. Часть происходит, вероятно, из частных собраний, а значительное число попало в руки историка из петербургских архивов. Справедливости ради надо отметить, что подобные «методы» не были редки в первой половине XIX в., достаточно вспомнить X. Маттеи или некоторые приемы работы П. Строева, однако именно в этом и заключается причина той неизвестности и слухов, которые окружают коллекцию. Установить точное число рукописей и документов, побывавших в руках Онацевича, едва ли удастся. Некоторые из попадавших к нему рукописей он дарил знакомым историкам, иногда отсылал в польские библиотеки, а перед смертью значительное, но неизвестное число книг и рукописей разослал ученым, с которыми

---

[11] *Покровский Н.* Два старые мнения о новом происхождении Руси. — Новый мир, 1860, № 67, с. 11.

[12] См.: Kłosy 1880, N 790, s. 116.

[13] См.: *Лихач Е.* Онацевич И., с. 263; *J‹anowski› L.* Onacewicz I. Ż. — In: Wielka encyklopedia powszechna ilustrowana, zesz. 37a. Warszawa, 1898, s. 268.

[14] См.: *Iwaszkiewicz J.* Ignacy Żegota Onacewicz, s. 102.

иногда даже не был знаком. Часть коллекции (материалы о казачестве) он еще при жизни продал известному собирателю К. Свидзинскому,[15] впоследствии эти материалы попали в библиотеку Красинских и погибли в Варшаве во время второй мировой войны. Еще одна часть была продана наследником Онацевича, его племянником В. А. Онацевичем, некоему Слизеню, но при перевозке рукописей в Гродненскую губернию все сгорело в результате неосторожности. Таким образом, в настоящее время установить размеры коллекции к моменту смерти ее собирателя невозможно.

Довольно смутно представляются ее судьбы во второй половине XIX в. В. А. Онацевич неоднократно пытался продать ее, но безуспешно: по понятным причинам он не мог предложить ее какой-либо государственной библиотеке в России, переговоры с Академией наук в Кракове, а затем и с частными лицами не дали желаемых результатов. Некоторое время в печати проскальзывали упоминания о коллекции, а затем исчезли и они.[16]

Коллекция, очевидно, все это время находилась у В. А. Онацевича; С. Пташицкий в конце прошлого века приобрел три документа из коллекции и сообщил в печати о некоторых других.[17] В. А. Онацевич скончался в 1898 г., после этого следы коллекции затерялись. В середине 30-х гг. нашего века коллекция считалась утраченной окончательно.

Попытку реконструкции состава коллекции на основании описей предпринял в 1935 г. Ф. Похорецкий.[18] Сам И. Онацевич таких описей, к сожалению, не оставил. Незадолго до кончины он поручил этим заняться Т. Макаревичу, но смерть собирателя прервала эту работу. Был составлен, возможно Макаревичем, только охранный каталог.[19] Наконец, за описание коллекции принялся сотрудник Публичной библиотеки В. Калиновский. Он составил подробное, насколько это было возможно, описание, известное сейчас в двух экземплярах: один хранится в Библиотеке им. Оссолиньских (шифр: 2895) во Вроцлаве, второй в Ягеллонской библиотеке (шифр: 6767) в Кракове. Этот объемистый, насчитывающий более четырехсот машинописных листов том стал не только основным источником сведений о коллекции, но и своего рода историческим источником, который привлекал и продолжает привлекать внимание польских ученых от А. Брюкнера, просматривавшего этот каталог в 90-х гг. XIX в., до современных исследователей.

Коллекция, однако, не пропала, хотя в настоящее время трудно установить ее судьбу в XX в. Какое-то время она хранилась в архиве Института мировой литературы (Москва) АН СССР и потом была передана наряду с другими рукописными материалами в Институт русской литера-

---

[15] *Иконников В. С.* Опыт русской историографии. Киев, 1892, т. I, кн. 2, с. 1336.

[16] *S‹obieszczański› F. M.* Wiadomość o zbiorze atlasów i map Ignacego Onacewicza. — Biblioteka warszawska, 1849, t. 3, s. 406—407; *Васильев В.* Еще о руссах, с. 660; *О-ч Я.* Несколько слов об Игнатии Онацевиче. — СПб. ведомости, 1860, № 209, с. 1096.

[17] См.: Pamiętnik literacki. Lwów, 1903, t. 2, s. 220.

[18] *Pohorecki F.* Teki i zbiory Żegoty Onacewicza (Próba rekonstrukcji). — In: Pamiętnik VI Powszechnego Zjazdu Historyków polskich w Wilnie. Lwów, 1935, t. 1, s. 414—424, t. 2, s. 194—196.

[19] Ibid., t. 1, s. 415.

туры (Пушкинский Дом) АН СССР в Ленинграде, где в настоящее время хранится в Древлехранилище им. В. И. Малышева (оп. 50).[20]

Сверка коллекции с имеющимся в ней охранным каталогом показывает, что часть материалов, примерно одна треть, утрачена — уже, очевидно, навсегда. Судьба пропавших документов неизвестна. Но и сохранившаяся часть (374 ед. хранения XV—XIX вв.) представляет значительный научный интерес. Кроме того, сопоставление каталогов с коллекцией позволяет воссоздать ее облик и состав хотя бы на середину XIX в., потому что некоторые материалы в каталоги (охранный и В. Калиновского) не включены. Это преимущественно документы, относящиеся к библиотеке ученого, его личные бумаги и некоторые печатные издания, в том числе почти полный комплект варшавских газет, выходивших в 1830 г.

Хранящиеся в бумагах Онацевича каталоги не имеют, к сожалению, отношения к коллекции рукописей. Это каталоги книг из его личной библиотеки в Петербурге и в Малой Бжостовице. Кроме этого каталога он еще вел список книг, выданных им своим знакомым. Непосредственно к коллекции относится только машинописный охранный каталог, на основании которого и составлена охранная опись коллекции в Пушкинском Доме, а также небольшой каталог карт.

Личные бумаги Онацевича немногочисленны. Несколько документов относится к истории рода Онацевичей с приложением генеалогических таблиц. Все эти бумаги, а также несколько писем к Онацевичу от его земляков (он много ходатайствовал за них в Петербурге) не проливают света на судьбу коллекции. Даже в завещании ученого и в бумагах, связанных с его исполнением нет ни одного упоминания о рукописях. Выясняется, что умер он довольно небогатым человеком: менее, чем в две тысячи рублей было оценено все его имущество.

Коллекция состоит из 13 тематических отделов. Это разделение, не всегда четкое, было введено, очевидно, самим Онацевичем. Все документы зашифрованы в соответствии с этим разделением еще в XIX в., нумерация сплошная внутри одного раздела. Несмотря на то, что до нас дошла лишь часть коллекции, сохранены старые шифры, так как это облегчает работу с коллекцией по каталогу В. Калиновского.

Значительное число документов представлено в копиях первой половины XIX в., которые хранятся наравне с оригиналами. Это показывает, что Онацевич собирал не «книжные редкости» (хотя таковые у него есть и в немалом количестве), а создавал библиотеку-архив для научной работы над историей Литвы. На первом месте стоит содержание документа, хотя он и сознавал ценность многих уникумов (недаром большая часть автографов собрана в отдельном, десятом, разделе). Именно исторический характер коллекции обусловил то, что в ней почти нет памятников словесности; немногочисленные исключения подтверждают это, среди них

---

[20] См.: *Баскаков В. Н.*, *Панченко А. М.* Тайны старых папок. — Правда, 1979, 21 сентября; *Nikołajew S.* Odkrycie starej kolekcji. — Literatura radziecka, 1980, N 12, s. 150—153.

почетное место занимает неизвестная поэма польского историка XVI в. М. Стрыйковского о сражении на р. Улле в 1564 г. (X, 33).[21]

* * *

П е р в ы й р а з д е л — «История» — содержит самые разнообразные документы по истории Польши XVI—XVIII вв. Сохранилась только половина документов. Среди них переписка бытового и исторического характера кн. Ю. Понятовского с польским королем Станиславом Августом Понятовским, относящаяся к 1793—1794 гг. (I, 5; копии XIX в.; 12 писем на французском языке); переписка известной общественной деятельницы и писательницы кн. А. Яблоновской (I, 14; 38 адресованных к ней и членам ее семьи писем на французском и польском языках, некоторые в копиях XIX в. Переписка относится к 1739—1797 гг., среди авторов писем Станислав Август, французская королева Мария Лещинская, кн. Оссолиньская и др.); составленный в 1787 г. Г. Качановским реестр книг метрик литовских (I, 6; автограф); два описания состояния Речи Посполитой 1568 и 1623 г. (I, 8 и 9; на итальянском языке, копии XIX в.). Большая часть документов в этом разделе представлена в копиях XIX в., это рассуждение «О денарии св. Петра в Польском королевстве» (I, 15); договор 1617 г. между королевичем Владиславом и польско-литовским сенатом (I, 16; на французском языке) и др.

В о в т о р о м р а з д е л е коллекции хранились папские буллы. Вся эта ценная часть собрания пропала. Ее состав на основании каталога Калиновского был подробно описан Ф. Похорецким.[22]

В т р е т ь е м р а з д е л е хранились дипломы, грамоты и письма коронованных особ. От него сохранилась всего треть документов, скорее всего по той причине, что едва ли не все документы были автографами, ценными для коллекционеров.

Из нескольких грамот русских царей сохранилось лишь послание Ивана Грозного Сигизмунду Августу 1569 г. (III, 5; копия XIX в.); более десяти писем разных авторов Яну Каролю Ходкевичу (III, 6), документы заседаний польского сената XVII—XVIII вв. (III, 14).

В ч е т в е р т о м р а з д е л е были собраны карты. Из перечисленных в охранном каталоге 28 карт сохранилось всего две: карта дорог от Варшавы до Дрездена (IV, 2) и «Дополнение к большой карте Польши» 1770 г. (IV, 9), обе с автографом ген. Домбровского. Из другого каталога известно, что собрание карт было больше и насчитывало 78 единиц хранения.[23]

В п я т о м р а з д е л е собраны бумаги дома кн. Любомирских. Сохранилась половина собранных Онацевичем материалов. Это почти исключительно переписка: семь писем Е. Любомирского к гетману Радзивиллу, относящиеся к 1700—1707 гг., содержат некоторые подробности

---

[21] Римская цифра обозначает раздел коллекции, арабская — номер документа в этом разделе. В нашем обзоре при характеристике документов использованы данные, почерпнутые из каталога В. Калиновского.

[22] См.: *Pohorecki F.* Teki i zbiory Żegoty Onacewicza, s. 418—420.

[23] Там же, с. 422.

военных действий во время Северной войны (V, 3); пять писем частного, светского характера В. Любомирской к уже упоминавшейся А. Яблоновской 1756—1757 гг. (V, 5; письма на французском языке); четыре письма кн. Любомирских 1606—1659 гг. (V, 6), одно из них, адресованное Радзивиллу, относится ко времени бунта М. Зебжидовского 1609 г. и в нем упоминается о его последствиях (V, 6а), два письма написаны в 1659 г. известным защитником «шляхетских вольностей» Е. Любомирским, они относятся к эпохе польско-шведской войны (V, 6с, d). В этом же разделе есть еще шесть писем Е. Любомирского 1657—1661 гг., в копиях, снятых в архиве Радзивиллов в XIX в. (V, 7), а также ряд документов на итальянском и латинском языках, относящихся к «рокошу» (бунту) Любомирского против короля Яна Казимира (V, 9). Этот раздел коллекции дошел до нас в удовлетворительном состоянии, но все же не полностью — нет более 50 писем XVII—XVIII вв.

Шестой раздел коллекции представляет большой интерес для польской историографии, это рабочие тетради самого Онацевича. Они сохранились не все — из двенадцати объемистых томов в четвертую долю листа сейчас в Пушкинском Доме хранятся только шесть, их общий объем — полторы тысячи листов. «Истории Литвы» самого Онацевича нет. В тетрадях собраны подготовительные материалы, преимущественно выписки из архивных документов и общих работ по истории Польши, генеалогические разведки, выписки из Хроники Литовской и т. д. Существенным недостатком, снижающим ценность этих тетрадей, является отсутствие точных ссылок на архивные материалы, часть которых ныне утрачена.

В седьмом разделе, как и в первом, хранятся материалы, в каталоге неопределенно обозначенные как «исторические». За исключением одной единицы хранения они сохранились все. Большой интерес представляет тетрадь конца XVI — первой четверти XVII в. (VII, 1). Здесь собраны конституции общего сейма 1588 и 1589 гг., копии писем турецкого султана польскому и испанскому королям 1580—1590-х гг., эпитафия Стефану Баторию, написанная известным литератором XVI в. Я. Янушовским, выписки о величине налогов и поборов в Курляндии в 20-е гг. XVII в. и т. д. Следующий документ относится к началу XIX в. — «Дневник куратора канцелярии Виленского университета с 14 января до 10 сентября 1805 г.» (VII, 3). В действительности это копии сорока писем кн. А. Чарторыйского разным лицам, касающихся либо университетских дел, либо вопросов образования на Литве.

В этом разделе хранятся и две древнейшие рукописи собрания, обе датируются XV в. Первая рукопись — фрагмент из «Хроники краковских епископов» Яна Длугоша (VII, 4), включающий жизнеописания епископов от 1349 г. до середины XV в.; вторая рукопись — научный трактат на латинском языке «Incipit tractatus divini francisci de c Zaberllis de Padua utriusque juris doctoris egregii cirea modum studen» (VII, 5).

Здесь же имеются копии писем Е. Ощика К. Радзивиллу (VII, 6); переписка литовских князей и валашских господарей XV в. в списке XVII в. (VII, 8); похвальная речь польской королеве Марии Мантуанской с характеристикой знатных польских родов (VII, 7) и т. д.

Восьмой раздел, сохранившийся почти полностью, посвящен историческим связям России и Польши и содержит более 20 документов XVI—XVIII вв. Среди них отметим польский перевод послания Ивана Грозного Стефану Баторию 21 ноября 1579 г. (VIII, 13; осмотр рукописи показал, что это письмо вырвано из указанной выше рукописи VII, 1); письмо Федора Иоанновича К. Радзивиллу 1587 г. с благодарностью за предложение польского трона (VIII, 14; копия XIX в.); ему же адресовано письмо московских бояр 1604 г. по поводу пограничных конфликтов (VIII, 15) и другая дипломатическая переписка.

Материалы XVIII в. относятся к 1712—1743 гг. Это письма из Петербурга посла гр. Огинского 1743 г. (VIII, 11); универсал Б. П. Шереметева 1712 г. о ратификации мирного договора с турками (VIII, 12); нота папскому нунцию о состоянии католической религии в Риге, 1743 г. (VIII, 9), и др.

Девятый раздел коллекции посвящен Курляндии и Лифляндии. В нем более 30 документов XVII—XVIII вв. Среди материалов XVII в. несколько писем герцога курляндского Якова 1660—1664 гг. (IX, 18); записки о состоянии католической церкви в Курляндии 1683 г. (IX, 20) и об инвеститурах курляндских герцогов с 1574 по 1683 г. (IX, 31), историческая записка о Курляндии 1661 г. (IX, 28).

Большая часть документов XVIII в. относится к началу XVIII в. и связана с деятельностью П. М. Бестужева (IX, 5 и 6). В частности, это документы, относящиеся к неудачному избранию Морица Саксонского в герцоги курляндские (IX, 32 и 13, 14); выдержки из писем 1725 г. с сообщениями о смерти Петра I (IX, 11), и т. д. Почти все документы — оригиналы, например указ Яна Казимира 1660 г., данный Лифляндии, о вознаграждении за утраченные во время шведского «потопа» имения (IX, 2), скрепленный печатью и подписью короля.

Автографы исторических деятелей встречаются во всех разделах коллекции Онацевича, однако большая часть их собрана в десятом разделе, озаглавленном «Автографы». Этот раздел сохранился неполностью, но в нем все же остались ценные исторические документы.

Довольно широко представлены автографы коронованных особ, прежде всего польских королей. Это несколько автографов последнего польского короля Станислава Августа Понятовского: его письмо к Марии Терезии 1770 г. (X, 4) и черновики пяти писем 1791 и 1795 гг. (X, 15). Его писем было у Онацевича гораздо больше, но, к сожалению, более восьмидесяти писем не сохранилось.

Большой интерес представляет письмо Карла XII польскому королю Станиславу Лещинскому, написанное близ Бендер два месяца спустя после Полтавской битвы 1709 г., в этом письме шведский король успокаивает своего военного союзника (X, 17). Есть в коллекции и два письма самого Станислава Лещинского 1751 и 1758 гг. кн. А. Яблоновской (X, 8). Письма к Яблоновской вообще хорошо представлены в коллекции, ей же адресовано письмо дочери С. Лещинского, Марии, супруги Людовика XV, 1755 г. (X, 9).

Но не только короли и князья представлены в этом разделе. 1794 г. датированы две небольшие записки Тадеуша Костюшко (X, 18). Есть и автографы польского историка Альбертранди, труды которого издавал

сам Онацевич (X, 1, 2, 31, 32), письмо неизвестного конфедерата 1792 г. с автографом литовского подканцлера Хрептовича и т. д.

Самая древняя рукопись в этом разделе датируется XVI в. (X, 33). По свидетельству В. Калиновского, который опирался на данные А. Залусского и других ученых, это автограф польского историка XVI в. Матвея Стрыйковского (отметим, что автографов Стрыйковского, за исключением одной его росписи, не сохранилось). Автографом является, однако, только первая страница, где записано начало «Хроники», далее в рукописи идут латинские стихи, посвященные «Хронике» (некоторые не изданы), а затем известная в науке только по названию поэма Стрыйковского о сражении русских и польских войск на р. Улле в 1564 г. Это несомненно одна из наиболее ценных рукописей коллекции. К сожалению, она дошла до нас в плохом состоянии и текст местами с трудом поддается прочтению.

Среди документов XVII в. много материалов, относящихся к роду Радзивиллов. Это письма Якуба Собесского, отца короля Яна III Собесского, к К. Радзивиллу (X, 36), ему же адресованы письма М. Корытинского (X, 38) и С. Конецпольского (X, 24). Письма самого Яна III Собесского не сохранились, есть одно письмо его сына, королевича Якуба, 1730 г. (X, 19). Сохранилось также письмо сына известного рокошанина начала XVII в. М. Зебжидовского к королю Яну Казимиру 1655 г. (X, 26).

Одиннадцатый раздел отдельного наименования в каталоге не имеет. Судя по описанию, в нем были собраны материалы по истории Литвы XIV—XVI вв. Сохранилась только хранившаяся отдельно, как сказано в каталоге, хроника правления Сигизмунда I, составленная по разным источникам гнезненским архиепископом Ст. Карнковским (XI).

Двенадцатый раздел, в коллекции самый большой, озаглавлен «Разное. Материалы к истории дома Ягеллонов», что далеко не всегда соответствует действительности. Он открывается двумя обширными историческими произведениями. Первое из них, неустановленного автора, излагает события польской истории до 1586 г., начальных листов нет, изложение начинается 1399 г. (XIIa). Второе — записки С. Ожельского об эпохе бескоролевья 1572—1576 гг. (XIIb).

Эпохе Сигизмунда I посвящено сочинение неизвестного автора XVIII в. (XIIc, 3), о событиях 1662 г. повествует фрагмент мемуаров (XIIc, 9). Как и в других разделах, часть материалов относится к концу XVIII в. Это два письма Станиславу Августу (XIIc, 1 и 4).

Раздел состоит из нескольких подразделов, последний из них, обозначенный литерой d, сохранился полностью. Вообще это для коллекции исключение, к тому же он довольно велик — 58 единиц хранения.

Большую ценность имеют оригиналы писем известного арианина первой трети XVII в. Анджея Люкенецкого 1626—1630 гг., адресованные кн. Радзивиллу (XIId, 2); копии писем и универсалов кардинала Радзеевского 1700—1702 гг. (XIId, 23—25), письмо Станислава Августа кн. Яблоновской 1786 г. (XIId, 56).

В этом разделе есть несколько литературных произведений — диалог «Пяст» (XIId, 42); латинские и немецкие стихи о Гродно (XIId, 47); сатирическое сочинение «Алтарь» (XIId, 18).

Из материалов к истории науки и культуры отметим список иностранных артистов, бывших в Польше с 1519 по 1712 г. (XIId, 4); описание рукописей видного общественного деятеля XVIII в. Г. Коллонтая (XIId, 43); подробное описание рукописи, в которой содержатся сочинения Ст. Ожеховского и других ученых XVI в. (XIId, 39).

Если двенадцатый раздел сохранился полностью, то *тринадцатый* пропал весь.

Ценность коллекции И. Онацевича высока. Многие документы, выпавшие на полтора столетия из научного оборота, просто неизвестны в науке. Материалы из нее станут, несомненно, важным источником по истории Польши и Литвы XVI—XVIII вв.



14 Заказ № 64



Е. М. Косачевская

ПИСЬМА Н. А. МАРКЕВИЧА К О. М. БОДЯНСКОМУ

Из истории русско-украинских научных и культурных контактов

В истории становления научных, культурных, литературных контактов русского и украинского народов Николаю Андреевичу Маркевичу и Осипу Максимовичу Бодянскому принадлежит выдающееся место.

О. М. Бодянский (1808—1877) — крупный славист европейского масштаба. Он работал в то время, когда происходил процесс возрождения демократических культур славянских народов, которую представляли Добровский, Коллар, Ганка, Шафарик, Караджич и др.; в это же время происходит бурное развитие славяноведения в России. Товарищами Бодянского по историко-филологическому факультету Московского университета были Герцен, Огарев, Белинский, Лермонтов, Станкевич и др. Здесь он познакомился и сблизился с М. А. Максимовичем, а через него и с Н. В. Гоголем. Профессор и основатель кафедры истории и литературы славянских наук, он свыше 20 лет (1845—1848, 1858—1877) редактировал «Чтения Общества истории и древностей российских». Выдающееся значение «Чтений. . .» и роли Бодянского в их издании отметил И. И. Срезневский: они, писал он, «составили библиотеку, необходимую для каждого историка, археолога, этнографа, статистика, языковеда, историка литературы и народной словесности, не только русской, но и западнославянской».[1]

Прогрессивную деятельность Бодянского, особенно в 40-е годы, характеризует его интерес к истории «мятежного Гуса» и вклад в изучение украинского национально-освободительного движения. Он был дружен с Шевченко, о нем сочувственно отзывался Герцен.

Признание О. М. Бодянского революционными демократами, его труды и общественно-научная деятельность, направленная на сплочение передовых сил в деле изучения, распространения и популяризации куль-

[1] *Срезневский И. И.* На память о Бодянском, Григоровиче и Прейсе, первых преподавателях славянской филологии. — Сборник русского исторического общества. СПб., 1878, т. 18, с. 41, 31—47.

турного и литературного наследия славянских народов, привели к преследованиям, которые обрушились на ученого со стороны николаевской реакции.

Научные связи двух выдающихся представителей славянской науки поддерживались, координировались и развивались исключительно в форме их взаимной корреспонденции, так как Н. А. Маркевич лично никогда с О. М. Бодянским не встречался и таким образом непосредственное начало в их творческих контактах было полностью исключено. Тем не менее и заочное сотрудничество, как свидетельствуют и публикуемые документы, было плодотворным и привело к целому ряду находок и открытий в области славяноведения.

Николай Андреевич Маркевич (1804—1860) — человек разносторонне образованный, историк Украины, этнограф — фольклорист, поэт и переводчик Байрона, Шиллера, Мицкевича и др., музыкант и композитор. Круг друзей и знакомых Маркевича велик и разнообразен. Это его пансионские товарищи С. Соболевский, Лев Пушкин, М. Глинка, П. Нащокин, Н. Мельгунов; декабристы В. Кюхельбекер, К. Рылеев, П. Пестель, Ф. Глинка, И. Пущин, П. Х. Граббе, С. Волконский, В. Давыдов, А. Поджио, видные деятели русской и украинской культуры А. Пушкин, И. Котляревский, Т. Шевченко, П. Чаадаев, В. Жуковский, П. Вяземский, Н. Гнедич, И. Крылов, Н. Гоголь, М. Щепкин, Ф. Толстой, М. Максимович. Воспитаник русской и украинской культур, Н. Маркевич находился в тесном творческом содружестве с основоположником русской национальной оперы М. И. Глинкой, с композиторами Верстовским, Алябьевым, Варламовым и др. Он был «принят в компанию» А. С. Пушкина. Много ярких и волнующих строк посвятил Пушкину Маркевич в своих мемуарах.[2]

Обращение к биографии Н. А. Маркевича, изучение его научной и культурной деятельности «представляет огромный интерес и является очень актуальной и еще не выполненной задачей, — писал академик М. П. Алексеев. — Приятель А. С. Пушкина, учившийся вместе с братом поэта, Львом Сергеевичем, человек, тесно связанный с декабристами, друг М. И. Глинки, собиратель украинского песенного творчества, этнограф и историк Украины, Н. А. Маркевич осуществил в своей творческой деятельности живейшую и плодотворнейшую взаимосвязь между русской и украинской культурами, писателями, деятелями искусства и учеными».[3] Оценка вклада Н. А. Маркевича в науку требует серьезного внимания, пересмотра некоторых прежних представлений.[4]

Без обращения к творческому наследию Маркевича, в том числе неопубликованному, в наши дни не обходятся авторы сколько-нибудь

---

[2] *Косачевская Е. М.* 1) Он воспевал мечту прекрасную свободу (А. С. Пушкин по неопубликованным запискам Маркевича). — Радуга, Киев, 1974, № 6; 2) Пушкин и Петербургский университет. — Вестн. ЛГУ, 1979, № 8.

[3] РО ИРЛИ, ф. 815 (№ 24, пост. 1982 г.); здесь же хранится и фонд Н. А. Маркевича (№ 488), содержащий свыше 80 дел.

[4] На эту тему см. : *Прийма Ф. Я.* Шевченко и русская литература XIX века. М.; Л., 1961, с. 179—181; *Гайдай Г. О.* Т. Г. Шевченко і М. А. Маркевич. — Радянське літературознавство, 1960, № 3, с. 17; *Косачівська Е. М.* До питання про суспільно-політичні погляди М. А. Маркевича. — Український історичний журнал, Київ, 1972, № 1; Лит. наследство. М., 1954, т. 59, с. 501.

обстоятельных работ по истории, литературе и искусству, в том числе исследователи творческого наследия М. Глинки,[5] В. Кюхельбекера,[6] Шевченко.[7] Вместе с тем историографическая судьба наследия Н. Маркевича весьма драматична. При жизни автора значительная часть его произведений была либо блокирована царской цензурой, либо не увидела свет по другим причинам (отсутствие средств, постоянное проживание вдали от столиц и т. д.). После «Истории Малороссии» (1842—43) Маркевич продолжает активно трудиться над изучением истории внутренней жизни Украины и фольклором, приобретать в большом количестве рукописные книги и архивные документы, что нашло отражение в письмах Маркевича Бодянскому.

Свыше 35 лет прожил Маркевич в деревне: он хорошо и «разносторонне» познал жизнь и быт народа. Еще в конце 20-х гг. XIX в. Маркевич писал: «Объездив Малороссию из конца в конец не в одном направлении, стоявши с полками не на одном месте, родившись в ней, имея в ней всех родных, собственности, и, наконец, зная здешний язык, я мог узнать свое отечество».[8]

По мнению А. Н. Пыпина, уже ранние этнографические занятия Маркевича представляют большой научный интерес. И хотя Маркевич был далек от «научного понимания предмета», однако собранный им большой материал «остается ценным». Пыпин считал, что Маркевич «хорошо и разносторонне» познал жизнь народа, а его труд «Обычаи, поверья . . .» является «одним из первых опытов правильного собирания материалов, и по этнографии Малороссии эта книга была долгое время почти единственным собранием подобных материалов».[9]

Исторические и этнографические исследования Маркевича тесно переплетаются и взаимосвязаны. Маркевич обращался ко всем проявлениям народной жизни; в поле зрения его были — ратные борения, обычаи, сельский быт, предания и поверья, трудовые занятия, исторические легенды, песни, условия жизни и труда; он изучал их как проявление коренных основ народной жизни. При этом Маркевич проделал путь от простого собирательства и частных наблюдений в 20—30-х гг. до крупных исследований, построенных на широкой источниковедческой основе в 40—50-е гг. XIX в. и глубоких личных наблюдениях и выводах, накопившихся у него в результате постоянного общения с народом. При этом Маркевич проявил понимание в отборе материалов. Собранные им архивные документы и статистические данные характеризуются этногра-

---

[5] *Канн-Новикова Е.* 1) М. Глинка. Новые материалы и документы. М.; Л., 1951, вып. II; 2) Глинка и декабристы. — Советская музыка, М., 1950, № 3.

[6] Воспоминания Н. А. Маркевича о встречах с Кюхельбекером в 1817—1820 гг.— Литературное наследство, т. 59; Письма Рылеева (Н. А. Маркевичу). — Там же, с. 153—154.

[7] *Прийма Ф. Я.* Шевченко и русская литература XIX в. М.; Л., 1961; *Заславський І. І.* Рилеев і Російсько-українські літературні взаємини. Київ, 1958; *Жур П.* Шевченковский Петербург. Л., 1964; *Шаблiовський.* Історія української літератури. Київ, 1967, т. 2, и мн. др.

[8] *Маркевич Н. А.* Украинские мелодии. М., 1831, с. V.

[9] *Пыпин А. Н.* 1)Малорусская этнография за последние двадцать пять лет. — Вестник Европы, 1886, № 1, с. 300—304; 2) История русской этнографии. СПб., 1891, т. III, с. 334—343.

фическим разнообразием и содержат ценные и обширные данные в области истории, материальной и духовной культуры украинского народа XVII—XVIII—первой половины XIX в. Здесь представлена «история городов, местечек, сел, торговли, промышленности и сельское хозяйство». Маркевич свидетельствует, что он «извлек из описей недвижимых и движимых имуществ описания домов, их убранств, библиотек, серебра и посуды, одежд, оружия, экипажей и пр.».[10]

Большой заслугой Маркевича, которую отмечали многие из его современников, являлось также накопление музыкально-фольклорных богатств Полтавщины и Черниговщины; он озабочен сохранением украинской старины, особенно ее народно-песенных сокровищ. Л. М. Жемчужников, близко знавший его, свидетельствовал: «Н. А. Маркевич понимал дух украинской музыки и бывший сам музыкантом и поэтом в жизни», многие песни передавал «чрезвычайно верно».[11]

Публикуемые нами письма, в которых Маркевич предлагает корреспонденту материалы для «Чтений Общества истории и древностей российских», встретили одобрение и заинтересованность Бодянского.[12] Письма эти в совокупности представляют многоплановый и весьма богатый комплекс исторических и фольклорно-этнографических сведений. Они проливают дополнительный свет на историю становления на Украине XVIII—первой половины XIX в. этнографии и музыкальной фольклористики, они существенны для характеристики историографии и воссоздания самого облика Маркевича, его интересов, его связей, творческой индивидуальности.

Главная тема писем, которая встречает полное сочувствие адресата, — подвижническое изучение исторического прошлого и жизни украинского народа. Это находит свое воплощение в присылаемых и предлагаемых Маркевичем к напечатанию материалах, в которых он изобличает антинародную и предательскую деятельность гетманов Мазепы и Дорошенки и казацкой старшины. В его статье о казаках, посланной и опубликованной Бодянским, впервые в историографии Маркевичем дана прогрессивная оценка происхождения, роли и значения казачества в истории Украины.[13] Тональность писем характеризует глубокое взаимопонимание и уважение и является неотъемлемой частью научно-демократического единения Маркевича и Бодянского. Письма корреспондента проливают свет на процесс становления демократического народознания и являются новой страницей в истории отечественного источниковедения. С исчерпывающей полнотой в письмах прослеживается вклад Маркевича в историю взаимовлияния и взаимообогащения демократических культур русского и украинского народов. Вместе с тем письма Маркевича позволяют уточнить ряд су-

---

[10] Акты, поясняющие историю Малороссии и открытые Н. А. Маркевичем. — Чтения Общества истории и древностей российских. М., 1848, кн. 1, с. 109; Маркевичевский архив. — Современник, 1859, № 4, с. 355.

[11] *Жемчужников Л. М.* Заметки к статье: Воспоминание о Н. А. Маркевиче. — Основа. 1861, кн. 2, с. 186.

[12] Из 17 писем за период с 1848 по 1857 г. 10 относятся к 1848 г. Маркевич сотрудничал в «Чтениях» и ранее. В Обществе истории и древностей российских при Московском университете он состоял с 1841 г. (ИРЛИ, ф. 488, № 39, л. 3).

[13] История Малороссии, т. 2, с. 342—345, 563—566; *Марченко М. I.* Українська історіографія. Київ, 1959, с. 153—154.

щественных положений в истории и историографии Украины и характеризуют широту его научных интересов и деятельности.

Уходя от романтической идеализации украинской старины и гетманщины, Маркевич в 40—50-е гг. под влиянием Шевченко [14] все большее место в своих произведениях уделяет национально-освободительной борьбе украинского народа, изучению условий жизни и трудовой деятельности крепостного крестьянства, его материальной и духовной культуре, продолжает весьма интенсивно накоплять музыкальный фольклор. В этой связи несомненный интерес представляют свидетельства его правнука, известного композитора и дирижера Игоря Маркевича: «Я его представляю себе уходящим на недели, иногда на целые месяцы в поисках украинских народных мелодий и музыкальных тем. На лошади, в сопровождении нескольких спутников, он ездил от деревни к деревне, углубляясь внутрь страны». Он уезжал далеко и преодолевал многочисленные препятствия в поисках того или другого кобзаря, известных в данной местности, некоторые кобзари знали сотни мелодий, песнопений, сказаний, которые он записывал «прямо с голоса».

«Эти музыкальные сокровища, — подчеркивает мемуарист, — оказали определяющее влияние на Глинку. . .» Именно благодаря исследованиям Н. А. Маркевича, русские музыканты начиная с Глинки познакомились со старинными народными украинскими мелодиями, среди которых наиболее поразительны по своей красоте найденные «на Полтавщине и Черниговщине».[15] Бодянский с большим интересом отнесся к предложениям Маркевича о публикации народных напевов Украины, тем более что сам он собирал и пропагандировал народное творчество украинского народа еще в молодости.[16] Значительный интерес представляют сведения, сообщаемые адресату Маркевичем о собранном им музыкальном фольклоре славянских народов и своих отношениях с зарубежными славянскими деятелями. В архиве Маркевича сохранились его переводы «Из Караджича» и А. Мицкевича «Дзяды» и «Пан Тадеуш» (ИРЛИ, ф. 488, № 34, лл. 1—4; № 27 и 28).

Прекращение издания «Чтений. . .» и отставка Бодянского прервали их творческие связи; однако с удивительным упорством и настойчивостью Маркевич добивается публикации богатейшей коллекции собранного им музыкального фольклора. «Цензура беспутная и подлая, не пропускает сборника напевов», — записывает он в дневнике 25 сентября 1854 г. (№ 42, л. 170). Как свидетельствовал Л. Жемчужников, в Петербурге сборник народных песен Н. Маркевича «в нотах ходил по рукам и вот уже четыре года лежит в забытьи у меня〈. . .〉 материал для народного музыканта богатый».[17] Маркевич так и не добился его публикации, так

---

[14] В письмах Маркевича Бодянскому Шевченко не упоминается, так как с 1848 по 1858 г. он являлся политическим узником царизма.

[15] *Маркевич Игорь.* Былое и настоящее. Etre et avoir été. Mémoires. Paris, 1980, p. 25; см. также: *Косачевская Е. М.* Ігор Маркевич. Біля джерел. — Всесвіт, Київ, 1982.

[16] *Ясенчук А. Ю.* Роль О. Бодянского у висвітленні історії українскої культури на сторінках наукової періодики. — Народна творчість та этнографія. Київ, 1979, № 5.

[17] *Жемчужников Л.* Воспоминания о Н. Маркевиче. — Основа, 1860, кн. 2, с. 186.

как не был бесстрастным собирателем народных песен, сказов, легенд и бытового материала; в них явственно выступали «замаскированные жалобы» и «оружие протеста». «В украинской народной песне, — писал Добролюбов, — горит любовь к Родине, блещет слава прошедших подвигов⟨. . .⟩ в них же выражается и та тревожная оглядка на жизнь, которая заставляет казака . . . искать свою долю».[18]

В 50-е гг. Маркевич публикует статьи, характеризующие условия жизни и труда крепостного крестьянства. Описание жилища, пищи, одежды, сообщаемые им данные о рекрутчине, малоземелье, ничтожных средствах медицинского обслуживания, — взяты автором с натуры и свидетельствуют о его сочувственном отношении к бедствиям и нуждам народа и желании облегчить его участь. В своих записках мемуарист констатирует: «Просвещение велико у нас, но только в нашей касте; десятки миллионов народа почти в диком состоянии» (№ 39, л. 36). Маркевич был одним из первых украинских этнографов, который, изучая духовную и материальную культуру, одновременно характеризовал социальные условия жизни «простонародья», что для того времени было большой редкостью. «На десять человек⟨. . .⟩едва ли найдется один, — писал Чернышевский, — обращающий главное внимание на развитие истинно важных вопросов⟨. . .⟩быт народов, общественные и экономические отношения, образованность», что, по мнению Чернышевского, объясняется мировоззренческими позициями исследователей и малочисленностью источников.[19] Статьи Маркевича[20] привлекли Чернышевского богатством информации о жизни народа. В своих рецензиях, опираясь на фундаментальные данные и жизнеописания, приведенные Н. А. Маркевичем, Чернышевский в сравнительной таблице показывает тяжелое положение крестьян в стране в целом. «Надобно отдать справедливость Маркевичу, — подчеркивает он, — а также принести ему благодарность за трудолюбие и за многочисленные таблицы, „составляющие существенную часть“, в которых он представил много данных, интересных и важных». Рецензент считает, что «Маркевич приходит к справедливым выводам». Во второй крупной работе — «Реки Полтавской губернии» Маркевич вскрывает основные причины, тормозящие социально-экономическое развитие края, вытекающие из монопольной собственности помещиков на землю и крепостных. По мнению Чернышевского, этот «труд, очень полезный для статистических соображений, составленный отчетливо и добросовестно». Эти работы «вскрывали остроту антагонизма между помещиками и крестьянами, непримиримость их классовых интересов».[21]

Письма Маркевича к Бодянскому отражают важный этап накопления и сбора материалов и стремление обнародовать его. «Не имея права скры-

---

[18] *Добролюбов Н. А.* Полн. собр. соч. в 6-ти тт. М., 1925, т. 2, с. 566. См. также: *Косачівська Е.М.* 1) У колі російських друзів. Музика. Київ, 1979, № 3; 2) М. А. Маркевич, його роль у зміцненні зв'язків російської та української фольклористики. Народна творчість. Київ, 1979, № 5.

[19] *Чернышевский Н. Г.* Полн. собр. соч., т. II, с. 550, 563.

[20] О народонаселении Полтавской губ. — Тр. Комиссии при Унив. св. Владимира. Киев, 1855, с. 9—10, 38—39, 46—49; Реки Полтавской губ. — Зап. Геогр. об-ва. СПб., 1856, с. 337—457.

[21] *Сладкевич Н. Г.* Очерки истории общественной мысли России в конце 50-х— нач. 60-х гг. XIX в. Л., 1962, с. 56.

вать что-либо принадлежащее науке, — писал Маркевич в одной из первых статей, опубликованных в «Чтениях», — я считаю долгом священным передавать всем моим соотечественникам всякое новое сведение, получаемое о прежней жизни нашей и целой страны».[22]

Н. Маркевич сотрудничает в Московском сельскохозяйственном, Русском географическом, Вольно-экономическом обществах. Участие в них является одним из предметов обсуждения в письмах его, адресованных О. М. Бодянскому.

В письмах Бодянскому проступает облик Маркевича, труженика науки, человека благородных устремлений, бескорыстного собирателя. «Мой труд был не мал, — писал он в «Современнике», — сберечь унаследованное, утроить, учетверить и привесть в порядок. . . было делом всей моей жизни».[23] Об этом, в частности, свидетельствуют интенсивность и целенаправленность деятельности Н. А. Маркевича, получившие отражение в его письмах. Здесь же обнаруживаются следы чтения их Бодянским и отклики адресата на них.

Смерть Маркевича 20 июня 1860 г. привлекла внимание прогрессивных кругов русской и украинской общественности. В первом и втором номерах журнала «Основа», у колыбели которого стоял Шевченко и появление которого приветствовал Чернышевский, были опубликованы воспоминания — некрологи Н. Макарова и Л. Жемчужникова.

Друг Марко Вовчка и Шевченко, сотрудник «Современника» Н. Макаров писал о Маркевиче как искреннем друге крестьян — добром, благородном, талантливом. Поколение пореформенной России, отмечал он, — «должно быть признательно» таким общественным деятелям, как Н. А. Маркевич, «и за то, что они в борьбе с тяжелой обстановкой своего времени не все потеряли, а, напротив, умели сберечь и для нашего поколения идеал лучшего строя в жизни». [24]

В воспоминаниях Л. М. Жемчужникова, выдающегося художника и фольклориста, близко знавшего Н. Маркевича, гостившего у него в Туровке, высоко оценивались гуманизм, щедрость сердца и неутомимый его труд. «Каждый обязан помнить о Маркевиче как о человеке трудолюбивом, любившем украинский народ». По мнению Жемчужникова, Н. А. Маркевича уважали за постоянный его труд‹. . .›за ознакомление многих и многих с народной жизнью, за его несколько чистосердечных слез о судьбе народа, за то, что он служил для многих как бы притягательной силой к народу».[25]

Письма публикуются впервые, по подлинникам, хранящимся в Рукописном отделе Института литературы им. Т. Г. Шевченко АН УССР среди корреспонденции «различных лиц» Бодянскому (ф. 99, № 92). Порядок следует расположению листов, нумерация наша.

---

[22] Акты, поясняющие Историю Малороссии и открытые Н. А. Маркевичем. Чтения. . ., М., 1848, кн. 1, с. 109. — Всего в «Чтениях» было опубликовано 4 статьи Маркевича и многие безымянные после его смерти.

[23] Современник, 1859, LXXIV, № 4, с. 356.

[24] *Макаров Н.* Воспоминания об Н. А. Маркевиче. — Основа, 1861, № 1, с. 293—297.

[25] *Жемчужников Л. К.* К статье «Воспоминания о Н. А. Маркевиче».—Основа, 1861, № 2, с. 185—187.

I

1848, 31 января, Юхново

При мне мой двоюродный брат, Михайло Иванович,[1] получил Ваше письмо, почтеннейший мой Осип Максимович; этим пользуюсь и пишу к Вам, извиняясь в неисполнении поручения Вашего насчет летописи Плиски.[2] Товарищ мой Кирияков [3] уехал в Одессу, и вот почему не мог я получить этой рукописи, которую я дал ему на прочет. Я посылаю к нему нарочного с просьбой возвратить мне ее, это было перед его отъездом в Одессу. Но нарочный где-то в шинке нашел. . . in vino veritas, [4] и потерял в нем письмо мое. Кирияков мне писал, что не знает, чего я требую, и что желал бы передать мою рукопись, но как посланный потерял письмо, то может и рукопись потерять, а потому пришлет по возвращении из Одессы, куда «завтра едет». . . Впрочем это не потеряно, если позволят мои хозяйственно-коммерческие дела к нему съездить, то по получении немедленно к Вам отправлю Плиску, а, между прочим, я имею рукопись гетмана Разумовского,[5] это летопись, из которой перевод буквальный Шерер издал под именем «Истории».[6] Мне ее подарил князь Николай Григорьевич Репнин,[7] получив ее в наследство за женою, родною внучкою Кирилла Григорьевича.[8] Не нужна ли она Вам? Также, если угодно, я пришлю к Вам копию, в уездном суде созданную, следовательно, документальную, по которой Вы увидите, что Мазепа оставил по себе родную дочь и кто его потомки. Только слово от Вас и по-московски: «рад стараться». — И так извините меня в невольной неаккуратности: «хоч неволею прошкапывся, а усе таки шкода, паночку, выбачайте». Прошу не забывать Вашего покорнейшего слугу, вполне благодарного сердечною благодарностью Вам за труды, принимаемые Вами в пользу Родины.

с. Юхново 21 января 1848. Николай Маркевич

---

[1] Ханенко М. И. владелец значительного фамильного архива, активный корреспондент Бодянского и Н. Маркевича (РО ИРЛИ, ф. 488, № 67).

[2] «Летопись Малороссии Фроловского монастыря иеромонаха Плиски». Использована Н. А. Маркевичем в «Истории Малороссии», в 1848 г. послана О. М. Бодянскому для публикации в «Чтениях», но возвращена Н. А. Маркевичу в связи с прекращением издания. Известна во многих списках как «Летопись Грабянки» (см.: *Иконников В. С.* Опыт русской историографии. Киев, т. 2, кн. 2, с. 1573—1574). Впервые напечатана: Плиска. Летопись Григория Грабянки. Киев, 1854.

[3] Кирияков М. М. — член-учредитель Одесского общества древностей, ставившего своей целью сбор исторических памятников, исследования и публикацию источников по истории юга России.

[4] «Истина в вине» (лат.)

[5] Летопись Разумовского — «Краткое описание Малороссии», составленное в 30-х гг. XVIII в. с обзором событий 1340—1734 гг. Н. А. Маркевич пользовался ею при работе над «Историей Малороссии» (т. V, с. 93). Она же была главным источником для труда Шерера «Annales de la Petite Russie» и «Истории Малой России» Д. Н. Бантыша-Каменского.

[6] «Источников Шерера только два», летопись Разумовского и другая часть «почти вся взята из Боплана» («История Малороссии», т. V, с. 91).

[7] Репнин-Волконский Н. Г., князь (1778—1845), участник войны 1812 г., брат декабриста С. Г. Волконского, в 1816—1833 гг.— генерал-губернатор Малороссии.

[8] Разумовский Кирилл Григорьевич (1728—1803) — гетман Украины в 1750—1764 гг., его правнучка — В. Репнина.

II

1848, 10 марта, с. Радьковка

Милостливый государь
Осип Максимович,

Ответ на приписку мою в письме Ханенко из Юхново получил я только теперь; но не почта и не беспорядок в экономической конторе тому вина. Возвратясь из Новгорода Северского в Нежин, где теперь все мое семейство и куда нарочные привозят из Прилуки письма, в дом мой адресованные, я мог остаться с семейством моим только двое суток. Выехав оттуда 25 января, я только завтра могу возвратиться к жене и пишу к Вам из Прилуцкого уезда, из дому тестя моего — Раковича.

Как между нами есть связь родства — любовь к науке и к Родине, — то я полагаю не отяготить Вас, объяснив причины моей кочевой полуцыганской жизни, я бы сказал «вполне цыганской». Если бы в моих поездках я вместо шубы и меблированных квартир носил плащ и имел ночлеги «в шатрах изодранных».[1] Я выехал в Литву к родному брату моему, который убит тяжким горем, — он лишился жены, тридцатилетней женщины, которую обожал и которая оставила его гувернером четырех маленьких дочерей и одного сына. Раз явясь в те места, я должен был объехать всех тамошних моих родных и приятелей: Ханенку, Александровича, Маркевича, Скоропадскую (это все знакомые сердцу Вашему фамилии). Почтальоны живо промчали меня оттуда в Нежин. Но тут явились у меня охотники взять на аренду сахарный завод мой и винокурение, в 45 верстах от Туровки находящиеся. Я поехал в Прилуцкий уезд к двоюродным братьям моим Галагану и Скоропадскому, нынешнему нашему губернскому предводителю.[2] Оба они интересовались взять этот завод. Я сказал весьма недорогую цену: 5000 целковых в год, на шесть лет. Братья мои не торговались бы со мною, по благородству и зная, что это не дорого; но Галаган, лишась в то время своего управляющего, не решился иначе взять, как через год, а Скоропадский, принужден будучи, по своему предводительству, проживать значительное время в Полтаве, взял в участники аренды двух прилуцких купцов. Тут пошел торг, я как запорожец упрям, не уступил Касков грош, и только вчера кончили дело; ибо господа купечество увидели, что я начал деятельные приготовления к сентябрьскому производству. Теперь я должен получить в Нежине, с нарочным, уведомление о времени выезда моего с Ив. Мих. Скоропадским в Прилуку для контракта, и тогда только несколько успокоюсь от хозяйственных и коммерческих трудов, которые так утомительны.

Не можете вообразить, как я утомлен этими хлопотами, и если я сброшу с плеч часть этой обузы, с каким наслаждением примусь я за историю, поэзию, музыку и сад.

А между тем меня задержала в Тростянце у Скоропадского весна, открывшаяся 10 февраля, и постоянные до сего дня дороги стали непроезжими, потом свадьба двоюродного брата жены моей, Тарновского, который просил меня к себе в посаженные, потом визиты тамошнему кругу, и я у Скоропадского прожил ровно — Месяц!

Но в этих поездках хозяйственных, в этих визитах родственных и соседственных я не терял из виду — *истории нашего края*. Последствием

вояжа моего было приобретение 39 номеров разных бумаг и книг рукописных, относящихся к истории, статистике [3] и судопроизводству нашего края. Этого не довольно: мне подарил почтенный мой сосед, бывший наставник мой, Павел Павлович Белецкий [4] — свои огромные труды, весьма важные и полные, о которых я уже известил академию наук, и жду ответа. Это: «Грамматика и Словарь Малороссийского языка». Книги, необходимые для точного понятия древних Южно- и Западнорусских рукописей. Автор передал мне на эти сочинения *все права собственности*. Все это я сделал в нынешнюю поездку.

Из манускриптов, приобретенных мною, замечательны:

1. Сделка Адама Литвина, мещанина Его королевской Мосци киевского, с паном Гальвихом Войтовичем киевским, 1605 года, июня 30 дня. *Автограф*.

2. Опись города Иваницы (статистика) в 1740 году, август 1 дня. *Автограф*.

3. Универсал Гетмана Мазепы на селитроварение, 1707 г. мая 27 дня. *Автограф*.

4. Тяжба гетманши Скоропадской с Андреем Горленком, 1728. *Автограф*.

Весьма замечательная вещь как характеристика замечательных лиц того времени, и для романистов драгоценное.

5. Прошение Полтавского полка к императрице Елизавете Петровне о позволении избрать гетмана, 41 собственноручная подпись, скрепленная на Маржах. *Автограф*.

6. Письмо Св. Иоасафа Горленка, Епископа Белгородского, к невестке. *Автограф*.

7. Прошение Горленка и Максимовича к Головкину, Шафирову, Голицыну, Шереметьеву и Петру из Константинополя о дозволении им возвратиться в Украину. Ответы на прошение, всепрощение и благодарственные отзывы этих опальных друзей Мазепы за амнистию. *Копия*.

8. Показания Горкуши [5] на гетманшу Скоропадскую; вещь весьма характеристическая. *Автограф*.

9. Четыре тома очень толстых 60 листов; сборник инструкций, манифестов, указов, универсалов, секретных объявлений и пр. с 1722 года по 1758. Копии тех времен когда эти бумаги были получаемы. Это хранилось при одной приходской церкве, и я получил его взамен за полную триодь,[6] которую должен выслать в церковь из Киева.

10. Двадцать пять выписей 1600-х годов из миских книг.[7] *Автографы*.

11. Партикулярные переписки гетманов и генеральных старшин. *Автографы*.

12. Летопись.[8]

Эту посылаю.

Я прежде полагал эту летопись копиею с плискиной, тем более что не мог ее сравнить иначе, как припоминая, потому что она все еще у Кириякова; но потом нашел в ней вещи для меня совершенно новые; может быть, я позабыл о них, может быть, они есть и в Плиске, это Вы лучше увидите, имея четыре копии плиски налицо. Я отметил то, что мне показалось новым. Как в Туровку приеду (впрочем, вероятно, не раньше светлого праздника) вышлю летопись Гетмана Разумовского и сказание

о кровавой брани Хмельницкого. Имеете ли Вы «Старожитности Польске и Русске»? Там много есть вещей замечательных об Острянице,[9] о Зборове и о Збараже.[10] Жаль, что я не имел их во время работы моей над историей.[11] Впрочем, я кое-что оттуда перевел на русский язык. Между прочим в посылаемой рукописи заметьте, на странице 24-й — сказание о бернардинах. Скажите мне, есть ли это в других летописях; я помню, что в моей истории этого нет, и потому полагаю, что в летописцах, находящихся при моей библиотеке, это происшествие не упомянуто.

Когда будете возвращать рукописи, равно как и письма, которыми, я надеюсь, не перестанете Вы меня дарить от времени до времени, то адресуйте всегда по прежнему адресу: Прилуцкого уезда в село Туровку.

Между прочим я собрал 151 напев народный, здешнего края, и Вертепные хоры, все это я разложил на фортепьян.[12] В 1840 году я издал 66 напевов.[13] Теперь собираю еще чешские, иллирийские, словакские — польские, кракузские, голицийские. Я имею в числе 200, и все это я хочу потом издать под *азбучным порядком вместе с московскими, тверскими, нижегородскими, саратовскими, не стесняясь в различии наречий, а только указывая в оглавлении, какой нации напевы*. Это для любителей музыки. Весьма важно, здесь будет видно сродство народных музыкальных идей. О моем сборнике туземных напевов [14] я писал через почтовое пароходство в парижскую музыкальную консерваторию; и с нетерпением ожидаю ответа, для отправки тамошним маэстрам и артистам 25 экземпляров. Боюсь, однакож, чтобы парижские происшествия [15] не заставили Калькбреннера, Берлиоза, Мошелеса, Мейербера забыть на время о музыке.

Позвольте Вам повторить уверение в истинном моем к Вам почтении, в искренней преданности и в сердечном желании с Вами лично познакомиться. В письменном нашем знакомстве я вижу Вашу любовь к науке, Вашу теплую душу, но не вижу Ваших взглядов, не слышу Вашего голоса. А это для меня что-то вроде необходимости.

Милостливый государь
— Ваш покорнейший слуга

1848. Марта 10 дня
с. Радьковка

Николай Маркевич

---

[1] Давнишняя духовная близость, преклонение перед творчеством автора «Цыган» прошли через всю жизнь Н. А. Маркевича.

[2] Галаган Г. П. и Скоропадский И. М. — украинские помещики, первый из них тайный советник и член Государственного Совета (имел поместье в Сокиринцах), второй был предводителем дворянства Полтавской губернии и владел имением Тростянец.

[3] Статистика в XVIII—XIX вв. — государствознание, включавшее государственное и церковное устройство и управление, международные отношения, культуру, этнографию, географию, экономику и др. (*Птуха М. В.* Ломоносов как статистик. — В кн.: Ломоносов. Сб. статей и материалов. М.; Л., 1961, т. V, с. 212).

[4] Белецкий-Носенко П. П. (1774—1856) — украинский литератор и педагог. Владел родовым имением в с.Лапинцы Прилуцкого уезда, где содержал частный пансион, в котором в 1814—1817 гг. учился Н. А. Маркевич (см.: *Деркач Д. Б.* П. П. Белецький-Носенко. — Радянське літературознавство, 1972, № 7, с. 68—80; Записка Маркевича о пансионе П. П. Белецкого-Носенко: ИРЛИ, ф. 488, № 38, лл. 107—121). Грамматика и словарь П. П. Белецкого-Носенко не потеряли своего значения и для нашего времени. Словарь содержит 20 000 слов. Главный источник его — живая

народная речь и фольклор. Автор-составитель подарил его Н. А. Маркевичу: «Это драгоценный подарок всем славянским народам», — писал Н. А. Маркевич П. П. Белецкому-Носенко. Маркевич отредактировал его и подготовил к печати. К нему он приобщил небольшое жизнеописание автора словаря и справку о его произведениях. Хранится в РО Института литературы им. Т. Г. Шевченко АН УССР (№ 1/294). Первая публикация: *Белецький-Носенко П. П.* Словник української мови. ⟨Подготовлена к изданию В. В. Німчук⟩. Київ, 1966.

[5] Горкуша Семен — народный мститель, возглавивший отряды, действовавшие на территории Левобережной, Правобережной и Слободской Украины в течение 15 лет (1768—1784), наводивший страх и ужас на помещиков-крепостников и их управителей и на правительственную администрацию (*Косачевская Е. М.* Народный мститель Семен Горкуша. — В кн: Из истории феодальной России. Статьи и очерки к 70-летию со дня рождения проф. В. В. Мавродина. Л., 1978).

[6] Полная триодь — полное собрание трехпесенных канонов.

[7] Из миских книг — из городских книг.

[8] Летопись — Летопись Малороссии неизвестного автора, доведенная до присоединения Малороссии к России. Рукопись XVIII в. (РО ГБЛ, ф. 159).

[9] Остряница Яков — один из руководителей крестьянского восстания 1638 г. на Украине.

[10] Под Зборовым и Збаражем в августе 1649 г. одержали победу войска под руководством Богдана Хмельницкого.

[11] Речь идет об «Истории Малороссии».

[12] Вертепные хоры — пение из представлений украинского народного театра, называвшихся вертепами. См.: Обычаи, поверья, кухня и напитки малороссиян. Извлечено из народного быта Н. Маркевичем. Киев, 1860, с. 27—65.

[13] Народные напевы Украины. М., 1840 (*Косачівська Е. М.* У колі російських друзів. — Музика, Київ, 1979, № 3).

[14] Сборник туземных мотивов не был издан. Рукопись в РО ГБЛ (ф. 159).

[15] Революция 1848 г.

III

Милостливый государь
Осип Максимович,

Посылаю копию со свидетельства, очень любопытного, то, что касается до потомства знаменитого Ивана Мазепы. Я хотел было снять урядовую копию [1] и сознать ее в суде, а потом уж к Вам отправить; после раздумал, что, может быть, такой педантизм не нужен; впрочем, напишите ко мне, и, если угодно, вышлю законную копию на гербовом листе.

Вот бумага, раскрывающая многое непонятное в делах Гетмана и его приятелей. Помните ли, как Мазепа защищал Апостола перед Петром, когда царь имел подозрение на Даниила, поверял это подозрение гетману, называя Даниила Апостола «Апостоленок». Так же теперь становится ясною причина преданности прилуцкого полковника Дмитрия Горленка к Мазепе; Мазепа был его тесть. С тестем он бежал из-под Полтавы, и потом укрывался в Константинополе. Там истосковался по родине и оттуда просил Головкина, Шафирова, Шереметьева, Голицына быть за него ходатаем перед царем и испросить амнистию и позволение возвратиться в Украину.[2] Эта переписка получена мною в подарок от прямого потомка Дмитрия Горленка. Все, что я пишу до этих пор в моем к Вам отзыве, равно и свидетельство, при нем прилагаемое, можете издать в свет, если заблагорассудится. Время переезда моего в Туровку приближается, и я

тогда могу заняться отысканием рукописей, в том числе и летописи гетмана Разумовского, на днях я был там по делам, провел только двое суток, и при беспрестанных хозяйственных рапортах, приказах, при куче просьб от крестьян и подобных хлопотах никак не мог ничего отыскать; ибо хоть я и рылся в этой массе книг и рукописей, но все у меня в библиотеке в таком беспорядке, что можно теперь назвать и хаосом. Если Вы получите уже летопись, прежде всего мною из Нежина отправленную, то уведомьте меня, как Вы ее нашли и не знаете ли, что это за летопись. Из маленькой описи рукописей, которую я сделал в том письме, не нужно ли Вам чего-нибудь. Считайте меня покорнейшим слугою Вашего общества; Вы такие благородные деятели, что грех не быть Вашим работником. Поручаю себя Вашему распоряжению; с истинным почтением и преданностью честь имею быть навсегда

Милостливый государь
Ваш покорнейший слуга

1848 апреля 4 Николай Маркевич
Нежин

P. S. Мой адрес неизменный: Прилуцкого уезда в село Туровку. Еще P. S. Я велел послать верхового в Пирятинский уезд к Кириякову за Плискиной летописью. Если Кирияков возвратился из Одессы, то Плиска на днях ваш гость.

---

[1] Урядовая копия — заверенная гербовой печатью.
[2] Казацкие старшины полковники Д. Горленко и Максимович, родственники и сторонники Мазепы, после поражения под Полтавой бежали вместе с ним сначала в Бендеры, а затем в Турцию. Через представителей русской знати, приближенных к царю, они ходатайствовали у Петра I об амнистии.

IV

1848, 9 апреля, с. Липов Рог

Милостливый государь
Осип Максимович,
Вот наконец и Великий пост оканчивается, и потому я могу Вас поздравить Христовым Воскресением. Когда письмо мое к Вам придет, Вы уже давно окончите Ваши праздничные визиты. Но не закрадывается в Ваше преданное Родине сердце — зависть? Начнем с того, что за неделю пред сим привез я моим племянницам из Туровки букеты гиацинтов Schnee Glockenob Анемонов, Дафний, — расцветших в грунте. Сегодня весь сад у моего свояка в зелени, вишни хотят цвесть, сирень почти изготовила свои душистые, лиловые кисти; дорожки чистые, сухие вьются по зеленым лугам и зовут гулять. 28, 29-го марта по ночам теплота доходила до 12 градусов Реомюра, а днем бывало до 17°. На Страстях было так тепло; сегодня день ясный, теплый, обнос плашеницы будет вполне торжественный.

В субботу вербную все народонаселение Нежина переходило из церкви в церковь с зелеными ветвями. Верба вполне распустившаяся — это Малороссия, — а вспомните же богатство столов вокруг церквей, какое будет послезавтра, не тянет ли Вас к нам. Говорят, что и Ваше здоровье требует климата украинского хоть на одно лето. И сколько приятелей, готовых принять Вас в объятия! Я многих из них знаю; из них многие и меня знают на том же основании, хотя не знаю, дадите ли Вы мне на это право.

Но обратимся к делу, довольно Вас дразнить Малороссией. Посылаю Вам летопись Плиски. Семь дней тому назад мой посланный, о котором я Вам писал, возвратился от Кириякова с летописью и письмом. По письму я увидел, что если б я опоздал посылкой к нему месяцем, он бы снова на все лето уехал в Одессу.

Что касается до летописи гетмана Разумовского, в куче рукописей и в беспорядке нынешнем моей библиотеки, ни я, никто не могли ее найти. Если не окажется по журналу выходящих книг, отданных на прочет, то по возвращении моем, при высылке библиотеки, найдем ее и доставим; если же она в прочете, пошлем за ней нарочного. — Тогда же пришлю Вам и опись рукописей.

На днях обратился ко мне некий Архивариус некоего Архива в некоем городе; он просил три раза губернское правление о позволении сжечь все ненужные бумаги, коим свыше 148 лет; не получив ответа, он обратился ко мне с просьбой рассмотреть этот архив, в котором по справке, мною наведенной, еще не лично, оказались бумаги за 280 лет, и через моего агента просил меня, чтобы я его избавил от бумаг, *ему ненужных*, «ибо их описи не имеется». Предполагаю, что это мне будет стоить. Если не кормленого кабана, так пуд лумпу [1] или барило [2] горилки.

Эти дни я необыкновенно отягощен переписками. Кроме дел по экономиям, по сахарному заводу, по опекунскому совету и садоводству, я получил из Моск‹овского› общ‹ества› сельск‹ого› хозяйства, овцеводства и пр. и пр. приглашение отвечать на многие вопросы о хозяйственной статистике Малороссии. Это требует многих запросов от меня к предводителям, городничим, исправникам, губернаторам, председателям палат государственных имущ‹еств›, не забывайте, что в наших губерниях тридцать уездов. — А между тем Академия наук (2-й отдел) [3] отнеслась ко мне о высылке грамматики и словаря малороссийского языка. Сегодня отправляется туда грамматика; а словарь я должен пересмотреть и сдать переписчикам; но все же через три-четыре недели отправлю. — Еще же забыл сказать: у меня есть сборник наших пословиц в числе 300. Я хочу их с помощью Ипполита Богдановича *перевести русскими пословицами* и отослать в Академию. — Теперь еще просят меня описания растений, акклиматизированных мною и растущих на чистом воздухе в туровском саду. —Но на все это меня бы достало, если б не отяготительные хозяйственные хлопоты. С ними же беда.

Между прочим вот фарса. Я как-то упомянул об опекунском совете; Малороссия — знатная боярыня и потому не может быть не знакома с этим боярином. Я послал туда проценты, мне высылают квитанцию на имя. . . Николая Андреевича Мазеповича. — Не думайте, чтобы это было для меня слишком огорчительно, мой дедушка был не глупый человек.

Уведомьте меня, как Вы нашли посланную прежде летопись, она не плискина; тоже и о том, как Вы находите прилагаемую копию Плиски. — Все письма и обратные возвращения рукописей прошу покорнейше адресовать в Туровку.

С истинным почтением и преданностью к Вам, и с всегдашнею готовностью содействовать Вашему обществу, честь имею быть

Милостливый государь
Ваш покорнейший слуга

1848 года апреля 9 дня
с. Липов Рог

Николай Маркевич

---

[1] пуд лумпу — пуд неочищенного сахара-сырца.
[2] барило горилки — боченок водки.
[3] Имеется в виду Отделение русского языка и словесности Академии наук.

V

1848, 12 мая, с. Туровка

Милостливый государь
Осип Максимович,
Честь имею Вам доложить, что я завод мой сахарный отдал на аренду Григорию Павловичу Галагану на шесть лет за 4000 рублей серебром ежегодно — итого за 24000. Теперь Галаган, который никогда не был и не будет Сахаром Медовичем, вероятно, в продолжение арендного срока станет карамелью; итак замечания Ваши в письмах к Галагану и к Ханенку, что я хоть добрый человек, но обсахарился, эти замечания доныне весьма справедливы, отныне уже не будут падать на главу мою как пункт обвинительный. Действительно, это обвиненье тяжкое для историка, поэта, музыканта и строителя картинных садов. А между тем согласитесь, что если бы не было винокуренных, сахарных, овечьих заводов, ланов и табаков, то историко-садоводу, поэто-музыканту было бы плохо и не было бы у него ни бумаги, на которой можно написать пять томов истории, ни стального пера, которое вычеканило деяния предков для передачи потомкам во славу Родины. Теперь я умел соединить две вещи, которые не легко соединяются: сложное хозяйство с сложными литературными занятиями. Первое обзавел и отдал, чтобы с ним управился пан добрый и богатый; со вторым управлюсь сам.

Итак, освобожденный от сахарного завода и от коммерческого винокурения, я засел теперь в Туровке посреди моих ланов, которых никогда сам не осматриваю, посреди садов, в которых чай пью, обедаю, ужинаю и даже ночую, между овцами, которые встречают меня, предполагая, что я им соль принес, или между манускриптами, которых Вам опись посылаю.

Рассмотрите эту опись и, отметив, что Вам нужно, пришлите назад; только прошу Вас убедительно, почтеннейший Осип Максимович, не долго

удерживайте эти описи, они мне необходимы: — к тому же они не совершенно кончены, а именно: вторая не дополнена описанием новых бумаг, которые пришли, но которых я не успел рассмотреть. Оглавление сборника тоже не докончено, там бумаг более тысячи, но еще не все мною перебраны.

Прилагаю еще статью мою «о первых гетманах малороссийских». [1] Мне кажется, что она не должна быть Вам противною; дело это не разъяснено в прежних историях надлежащим порядком. Если и Вы найдете удобною для помещения в Ваших чтениях, то с радостью приношу Вам эту лепту; если же нельзя ее поместить, то возвратите мне ее при обратной отсылке ко мне описей манускриптов. Эта статья составляет часть книги «О Малороссии»,[2] состоящей из четырех томов, и в которой я описываю географию, статистику, этнографию, правление и пр. и пр. прежней Малороссии.

Извините, что не могу дольше продолжать с Вами беседы. С каким удовольствием пользовался бы я ею, если бы мог быть в Москве; с каким удовольствием продлил бы ее хотя письменно. Будьте уверенны, что я хоть несколько постигаю тяготы и пользу трудов Ваших для наук. — Но я должен оторваться от разговора с Вами и отвечать на вопросы Русского географического общества и императорского Московского общества сельского хозяйства как действительный член, — следовательно, как слуга. Только все же даю Вам обет, что это звание не помешает мне трудиться и для Вашего общества.

Верьте искренним чувствам преданности и почтения, с какими честь имею быть навсегда

Милостливый государь
Ваш искренний слуга

1848 мая 12 дня — Николай Маркевич
с. Туровка

P. S. Насчет статьи моей повторяю просьбу возвратить мне оную, будь не будет она иметь места в Вашем издании, ибо у меня с нее копий нет. Если же она будет принята в Ваш журнал, то она мне уж не нужна при издании полного сочинения, она будет перепечатана из Вашего журнала.

---

[1] Маркевичей, Горленков, Гудовичей.

[2] Маркевич собирался включить в книгу «О Малороссии» свод летописей и преданий о Малороссии «о монастырях, их владениях и пожалованиях, о духовенстве вообще», о казачестве, «статистику прошлого столетия» (*Грушевский А*. Н. А. Маркевич. — ЖМНП, 1911, с. 135; История Малороссии, т. V, с. 8, 15, 85).

VI

1848, 1 июля, с. Туровка

Милостливый государь
Осип Максимович,

Письмо Ваше вместе с письмом Михайлы Ивановича Ханенко я получил. Это было мне радостью в наше холерное время.

Не только готов, не только рад заняться, по Вашему предложению, но уже и занялся родословными и краткими жизнеописаниями членов известных в Малороссии фамилий. — На первый случай составлены мною родословные Маркевичей, Горленков и графов Гудовичей; собираю только известия о их Делах или занятиях по службе их в войске и на урядах. А между тем подготовлю на днях известия о фамилиях: Скоропадских, Галаганов, Кочубеев и Милорадовичей. — Короче скажу: буду трудиться и весь для Вас и для высокого по трудам, по цели милого по душе мне Вашего общества.

Ханенко просит меня, чтобы я писал статью для Ваших чтений. У меня есть теперь готовые: «*О Малороссии и об Украине*» — «*Об аборигенах страны, называемой Малороссиею*». — «*О казаках*».[1] Это статьи вроде той, которой сделали Вы честь, приняв в Ваше издание. Угодно будет одну из них, угодно все? — Известите, и выполню. Они, впрочем, сухи, как обыкновенно историческая полемика, а между тем подготовятся и примут приличные формы статьи, по Вашему письму предпринятым. Ханенко пишет: «Бодянский чешет затылок о том, что ты послал в Академию грамматику языка малороссийского». Но Плетнев пишет ко мне и ручается за целость копии. Академия же просит меня о высылке словаря. — Это прекрасные, достойные труды Белецкого-Носенка. Я, однако же, словарь не послал. Надобно его перебелить и исправить орфографию, на что сам автор развязал мне руки и о чем я писал в Академию.

Но что же, впрочем, делать? Не держать под спудом этого сбора сведений на счет Малороссии. Я люблю страстно науку и считаю неблагородным делом скрягой дрожать над рукописями, не делясь ими с людьми, постигающими всю цену их.

Например и то скажем: у меня было издано 66 малороссийских напевов, теперь их 152. — Прибавь к этому множество таковых же галицийских, пражских, польских, донских, великорусских.

У меня теперь есть описание Вертепа; все слова этой древней Мистерии и вся восхитительная музыка с хоров, мною положенная на фортепьяно без малейшего упущения или прибавки даже единого звука.

У меня есть мною составленный Сборник малороссийских пословиц, одна другой прелестнее, одна другой умнее, исполненные юмору, вполне характеристические, счетом до 500.[2]

Что прикажете со всем этим запасом делать? Если я был бы в Москве, я бы передал эти книги продавцам, а теперь и сам ничего не придумаю.

Впрочем посмотрим, подумаем. Только будьте уверенны, что я не откажусь от занятий на пользу отечественной истории. Лишь бы Вы не скучали иногда моею медлительностью и не считали ее за леность; на этот счет я имею оправданий много, и вот они:

Вам я заготовляю известные уже статьи; в то же время работаю для Географического общества, которому необходимо иметь статистические сведения о нашем крае; в общество это уже отправлено мною 10 статей [3]: в имп‹ераторское› Моск‹овское› сельск‹ого› хозяйства заготовляю статистику хозяйственную двух губерний [4]. В департамент Мануфактуры и торговли должно отправить пробы всех дерев и кустарников, растущих в лесах и садах нашего края. Мне поручены пробы хозяйственные, которые требуют личного надзора, если их делать добросовестно. Прибавьте переписку по всем предметам и страсти мои: поэзию, музыку, сад. Вы не удивитесь, потому что сами много трудитесь, но не упрекать меня, что я ленюсь, что я *обсахарился*. Я этого Вам не забуду!!!

Любите меня, добрый и почтенный Осип Максимович, как человека Вам родного по чувствам и пристрастиям. Будьте уверены, что я навсегда останусь с чувствами истинного почтения и искренней преданности.

Милостливый государь
Ваш покорнейший слуга

1 июля 1848
с. Туровка

Николай Маркевич

---

[1] В «Истории Малороссии» (т. I, с. 30—36) и в статье, переданной Бодянскому в 1848 г., Маркевич характеризует казачество как коренное население Украины и ее главную военную силу.

[2] Сборник малороссийских пословиц не был опубликован. Рукопись его хранится в ГБЛ (ф. 159).

[3] «Местные слова», «О селе Полошках и его коалиновых копях», «Об овцеводстве в Полтавской губернии», «О пчеловодстве в Полтавской губернии» и др.

[4] Историческое и статистическое описание Черниговской и Полтавской губ.

VII

1848, 20 июля, с. Туровка

Милостливый государь
Осип Максимович,

Только что хотел я отправить к Вам прилагаемую при сем тетрадь и таблицы, как человек с почты привез мне экземпляры моей статьи о первых Гетманах [1] и, что для меня дороже, — Ваше письмо. Весьма рад, что универсал Дорошенка [2] заслужил внимание Общества и Ваше; я сам полагал его замечательным; еще лучше, что Общество отозвалось с благодарностью к Новову. Молодой человек от этого в восторге, он будет носиться с отзывом, которой действительно льстит самолюбию; другие, видя это, будут сбегаться ко мне и принесут все, что у них есть; будут и дрязги, будет и доброе что-нибудь. Все, что найду достойное внимания, сейчас мах в Общество! А общество пусть благодарит тех, которые мне вверяют, во имя его, свои драгоценности. Общество всегда снисходительнее особ, или, говоря словами Краевского и Одоевского, индивидуумов;

и это так верно, как Солнце на небе. Впрочем, мы же с Вами давно уже сказали: «Громада человик розумный», — а общество — Громада.

Чтоб не мучить Ваших глаз, я пропускаю одну страницу; бумага так тонка, что все строки насквозь видны и это ужасно затрудняет чтение. И так «Простить, будьте ласковы, се я хотив очицям Вашим [3] услужить».

Вы видите, как я охотно Вам служу; Вы гукнули — вот Вам и статья. Если эту статью прочитают наши соотечественники, то каждый пожелает внести в «Чтение» и свою фамилию. Это поведет нас к открытию многих исторических тайн. — Я так люблю и науку, и Родину, что с восторгом для них готов посвятить себя.

А Вы? Что сказать о Вас? Если бы все науки имели такого деятеля, как Вы, и все ученые Общества такого секретаря, то хорошо бы было.

Уведомьте меня, попал ли я на Ваш план отделкою статьи о Маркевичах, или быть может Вы пожелаете, чтобы в других статьях я изменил образ изложения, прибавил бы документы или еще что там найдете. Будьте откровенны, наука требует этой добродетели. Эта же добродетель заставляет меня сказать Вам, что я Вас почитаю, что я Вам неизменно предан и что с этими чувствами остаюсь навсегда

Милостливый государь
Ваш покорнейший слуга

1848 Июль 20 — Николай Маркевич
с. Туровка

---

[1] Чтения. . ., 1848, № 9, с. 307—310.

[2] Дорошенко — гетман Правобережной Украины (1665—1676), предатель интересов украинского народа. В 1669 подписал универсал о переходе Украины под власть Турции (Історія України в документах і матеріалах. Київ, 1941, т. III, с. 123).

[3] *очицям Вашим* — оченькам Вашим.

VIII

1848, 25 августа, с. Туровка

Милостливый государь
Осип Максимович,

Уже недели две как я получил милое, веселое, дышащее приязнью Ваше письмо. Обстоятельства помешали мне отвечать немедленно; именины сестры Галагана, день его рождения и свадьбы, потом отправка циркуляров ко всем исправникам, городничим и градским главам губернии здешней со статистическими и хозяйственными вопросами не дали мне кончить двух статей, которые, однако ж, окончены и посылаются: 1-я — О вновь отысканных мною ген‹еральном› Судье и 5 прилуцких полковниках. 2-я — о фамилии Горленков, — Статьи о фамилии Скоропадских и о казаках исправляются мною, и коль скоро кончу, отправлю послед-

нюю, т. е. о казаках я давно написал. Еще был жив покойник Н. А. Полевой, несмотря на наши приязненные и даже дружеские отношения я не мог простить ему безбожных, лишенных здравого смысла и напечатанных в Телеграфе идей о козаках. Эти идеи откликаются беспрестанно то там, то сям. Я уж молчу о клеветах Сенковского [1] и о его ненависти к Малороссии. Ни литвину, ни поляку не за что нас любить. Это правда. Но долг литератора есть святая истина в произведениях пера; по ненависти к народу вводить потомство в заблуждение есть низость, приличная кому хотите, только не человеку, посвятившему себя науке и открытию истин.

Но сверх того есть еще клеветники невинные; это друзья, которых любовь и похвала есть клевета. Они хвалят нас так, что лучше бы бранили. — Есть у меня близкий родственник по жене; [2] он уверяет и сам уверен, что козаки — черкесы разбойники, никогда не были малороссиянами, да и самых-то малороссиян нет; я ему отвечал:

— Человек сперва знаком только с Родиною, а потом знакомится с отечеством; кто не любит Родины, тот «недостоин иметь Отечества и не может любить его».

Этот мой родственник имеет порядочный дар письма и только тень познаний, необходимых для исторической полемики, написал статью о козаках, которую можно считать клеветой, а между тем она написана с видами благонамеренными. Тыкал он эту статью в многие журналы, но везде — увы! Стал он просить меня, чтобы я препроводил ее в «Чтения». — Я сказал, что уверен в Вашем согласии поместить ее там, по приезде ко мне. Я не смел ему отказать, боясь задеть его самолюбие и еще больше боясь, чтобы он не почел это за боязнь вступить с ним в борьбу. — Но в то же время я вытащил из-под спуда мою статью разрушительную для подобных мнений и поспешу Вам ее отправить; авось она отобьет охоту печатать дрязги насчет малороссиян и войска их.

Я с большим вниманием прочитал летопись Густынского монастыря.[3] Эта рукопись принадлежала тестю моему: Александру Федоровичу Раковичу. Он отдал ее старику Орлаю [4] для отсылки в Ваше Общество. Не получая от Орлая и от Общества уведомлений, он меня просил списаться на этот счет с сыном Орлая, служившим при Воронцове. Старого Орлая тогда уже не было на свете. Вот ответ молодого Орлая ко мне, писанный в 1841 году, июль 22 дня.

«Приятн‹ое› письмо Ваше от 12 июля имел честь получить, но не мог в скорости отвечать на оное, не имея еще достоверных сведений о упомянутой в письме Вашем рукописи. Списавшись с братом, который по смерти родителя нашего занялся окончательно приведением в порядок ценных бумаг, я получил от него ответ, к сожалению моему, неудовлетворительный, и он не только не нашел между бумагами упомянутую рукопись, но и не знает, была ли она у нашего отца. Я полагаю, что еще при жизни его отдана кому-нибудь для прочету и там осталась без возврата, как и прочие книги из библиотеки отца нашего пр. и пр. Александр Орлай».

Тесть мой весьма рад, что она досталась Обществу; его собственное намерение было принести эту рукопись Обществу в дар.

Поручаю Вам себя в приязнь и прошу не забывать Вам преданного от души, от сердца и вполне Вас уважающего,

Милостливый государь
Ваш покорнейший слуга

1848. Авг. 25 Николай Маркевич
с. Туровка

---

[1] Сенковский О. И. (1800—1858) — редактор-директор журнала «Библиотека для чтений», псевдоним «Барон Брамбеус». Подвергнул глумливой критике «Историю Малороссии» Маркевича, якобы написанной «кнутовищем кровавой нагайки Дорошенка». Малороссия, пишет Сенковский, насчитывает «не более миллиона житилей и сорок тысяч буйного козацкого войска. . . отчаянных головорезов и грабителей по ремеслу. . . правительствующего ополчения всегда готового к бунту. . . дикой и вечно мятежной рати» (Библиотека для чтения, т. 56, 1843, с. 1—46).

[2] Возможно, речь идет о Г. С. Тарновском (1788—1853), крупном помещике, владельце имения Качановка.

[3] Летопись Густынского монастыря — ценнейший памятник украинской историографии начала XVII в. Неизвестный автор был очевидцем и участником многих описываемых событий. Летопись найдена в Густынском монастыре возле Прилук (Полтавская губ). Опубликована в «Чтениях» (1848, кн. VIII, с. 1—76).

[4] Орлай И. С. (1770—1829) активно сотрудничал в Обществе истории и древностей, помогал комплектованию его библиотеки. См.: *Байцура Т.* Закарпатско-украинская интеллигенция в России в первой половине XIX в. Братислава, 1971, с. 23—25, 163, 185—188.

IX

1848, 3 октября, с. Туровка

Милостливый государь
Осип Максимович,

Посылаю Вам бумагу, достойную особенного внимания; я получил ее в подарок от Николая Эварестовича Писарева.[1] Оцените ее и уведомьте меня, как Вы находите эту злодейскую вещь?

Между прочим прошу Вас покорнейше, если статьи мои о Горленках и Маркевичах не начали еще печататься, сделать следующие прибавки:

К статье о Горленках, в конце жизнеописание Лазаря:

«Лазарь убит был козаками своего полка между Кодаком и Самарою,[2] в 1687 году августа 2 дня. На месте убийства его погребли и насыпали над ним большую могилу. В ней он пролежал десять лет; потом был перевезен оттуда сыном своим Дмитрием в Прилуку, и оттуда в Густыню,где положен в главном монастырском Святотроицком храме».

К статье о Маркевичах; *В начале статьи*.

«Первый доныне нам известный Маркевич, был владелец поместьев в полку Лубенском — Иаков; к нему приезжал митрополит Исаия Копыстенский просить к королю Михаилу Вишневецкому рекомендательное письмо в пользу Густынского монастыря, что было в 1600 году».

Мне жаль будет, если этого нельзя уже поместить в статьях; если они уже печатаются. Впрочем, при статье о фамилии Скоропадских можем

припечатать это в виде поправок для предшествовавших статей. Эти мелочные факты в общем составе истории края ничтожны; но в отдельных статьях их не должно выпускать из виду; по крайней мере по моему мнению.

Что Вам сказать о других моих занятиях?

Сегодня получил я от полтавского губернатора приглашение в действительные члены Общества, — какого? Я бы сам не отгадал: «Общества испытания лошадей!» Я член испытания лошадей. — Я! который недавно только узнал различие между холкой и чолкой. Но нельзя же было отказаться. Впрочем, я надеюсь, что новое мое звание не вовлечет меня в особую корреспонденцию. Будет с меня переписки с тремя сотнями чиновников по статистике, медикостатистике, гидрографии, этнографии и других истик и графий нашей любезной родины. — В то же время я делаю описание городов и «историческое», ибо я имею открытое предписание всех возможных аптек, судов и архивов.

Между прочим я приказал моим мастерам сделать модели следующих вещей: $1^{е}$ — Крестьянская изба со всем внутренним убранством, с лавками полицями, грубою, столом, иконою под серпянкою и бессмертниками убранною, с хижою, сенями и комороою. $2^{е}$ — Плетень, сарай, свинушничек. $3^{е}$ — Воз, санки, ярмо, плуг, рало, борона. $4^{е}$ — Две женских и одна мужская кукла в полной одежде. На днях я все это вышлю в дар Имп‹ераторскому› Обществу сельского хозяйства в Москву, в их музей.

Сегодня же отправляю образцы всех дерев, растущих в садах и лесах Малороссии в столярской отделке, в Учен‹ый› Комитет Министерства госуд‹арственных› имуществ.

Вот мои подвиги, но лучший из них тот, что я на днях посажу в моем парке около тридцати тысяч дерев.[3]

До свидания почтеннейший Осип Максимович, жаль, что это свидание будет только письменное; зато, вероятно, оно будет весьма скоро.

Примите уверение в чувствах и почтении и преданности, с коими честь имею быть навсегда

Ваш покорнейший слуга

1848. Окт‹ября› 3 дня — Николай Маркевич
с. Туровка

---

[1] Писарев Н. Э. (1806—1884) — правитель канцелярии Киевского, Волынского и Подольского генерал-губернатора. В 1839 г. в Киеве Н. Маркевич получил от него множество документов, поступавших из государственных архивов Москвы и Петербурга, а также из монастырей и частных архивов Правобережной Украины (ИРЛИ, ф. 488, л. 3—4).

[2] Запорожье: между Кодаком и рекой Самарой (карта Украины в конце XVII и в XVIII вв.)

[3] Н. А. Маркевич с отцом «сделали начало Туровского сада» (ИРЛИ, ф. 488, № 38, л. 3, 12). Впоследствии он превратился в огромный садово-парковый массив.

X

1848, 20 сентября, с. Туровка

Милостливый государь
Осип Максимович,

Только что отправил статью или, как Вы ее называете, «Филиппику» о козаках,[1] вдруг принесли мне письмо Ханенко. Это письмо мне было так приятно, так лестно, что я не в силах выразить. Я очарован тем, что Вам нравятся мои труды; я очень дорожу мнением таких людей, как Вы, добрый, умный, ученый козак. Только скажите, за что же недоверчивость? Отчего Вы полагаете, что я опять перестану заниматься историей нашей благословенной Родины? Напротив: пока Общество имеет Вас секретарем, я объявляю себя непременным поставщиком статей. Я бы давно переслал к Вам и словарь Носенка, но не знал, напечатаете ли Вы его.

Нет сомнений в том, что при множестве актов и летописей, издаваемых Вами в чтениях на малороссийском языке, словарь необходим; и ныне, когда Ханенко объявил мне Ваше желание, я препровождаю. К нему приложил я коротенькую биографию старика и мои примечания насчет орфографии и произношения. Если Вы найдете место для сборника пословиц, мною составленного и состоящего из 500 номеров по алфавиту, то напишите одно слово и сборник у Вас. Располагайте мною. Повторяю: Вы непременный секретарь, я непременный поставщик, я провиантмейстер.

Время ушло уже, занятия обычные начались; но для чего Вы пропустили месяцы летние? Пора бы Вам навестить Родину; Ваша прогулка по нашим степям, по нашим холмам, по рощам освежила бы Вам душу, укрепила бы тело на новые труды для пользы Родины. Время летит, мы не заметим, как снова май придет со своими цветами, зеленью, соловьями. Уж хоть лета 1849 года не утеряйте, подарите себя южным воздухом Украины, а нас — теплым разговором с Вами.

По случаю занятия статистикою, гидрографией, этнографией Малороссии я написал уже летопись нескольких наших городов. Работа моя несмотря на ее многосложность идет шибко.

С этим же письмом идет другое с довольно занимательной посылкой: Министер‹ство› гос‹ударственных› имущ‹еств› пожелало от меня *иметь образцы всех деревьев, растущих в лесах и садах Малороссии в столярской отделке*. Я им это препровождаю.

Вы видите, что я козак. Я со всех сторон ощупываю нашу Родину.

Напишите мне: можете ли Вы издать «Вертеп» *с его словами и голосами*. Эта брошюра у меня совершенно готова; а хоры я положил для фортепьяна, не теряя и не прибавляя ни одной ноты. Это чисто относится к истории сценического искусства и музыки в Малороссии.

Поручаю себя постоянной приязни Вашей
Ваш покорнейший слуга

1848, сент. 20
с. Туровка

Николай Маркевич

Распечатываю письмо, Вы спрашиваете, как тестю моему досталась летопись Густынская. В 1736 году предок его, Павел Ракович, основал в с. Радьковке церковь. Игумен Густынского монастыря позволил монастырским крестьянам д‹еревни› Будь быть прихожанами нового храма. Павел Ракович при освящении оного получил от игумена (Леопольский Гавриил) в подарок летопись. Вот и вся история. С каким бы душевным искренним чувством радости я Вас обнял лично. До свидания.

Забыл: я еду в Черниг‹овскую› губ‹ернию› на несколько дней, по возвращении домой вышлю «Филиппику» и в добавок сочинение фамилии Скоропадских, последнее может быть, а первое непременно.

(1848) Сентябрь 21. с. Качановка.

Третьего дня я с женой, с четырьмя молоденькими свояченицами и с четырьмя племянницами, из которых старшей 18 лет, а младшей 15, да еще кой с кем приехал в Качановку, к здешнему богачу Тарновскому, всего нас 17 гостей, на 36 лошадях. Вы можете судить, как оживил я его громадный дом. Прекрасный оркестр его, из 60 человек состоящий, угостил меня вчера Обером, Мюллером, Ферд Рисим и Штером. Сегодня я расстался с моими дамами; они поехали к тетке моей Маюровой проститься с ней. Она уезжает в Петербург на зиму. Я же приехал сюда разбить сад аглицкий в имении дяди моего Александра Васильевича Кочубея. После завтра еду к моим дамам, т. е. тоже тетку выпровожать. Обнимаю Вас.

Сент. 23, г. Борзна

---

[1] В этой статье Н. А. Маркевич опроверг «баснословия» польско-шляхетских историографов и иных «даже малороссиян», которые извращали героические дела украинского народа (см.: *Барсуков Н. П.* Жизнь и труды М. П. Погодина, т. I—XII. СПб., 1888—1910, т. XVI, с. 465).

XI

1848, 3 декабря, с. Туровка

Милостливый государь
Осип Максимович,

Грустное известие прислали Вы мне в последнем письме Вашем.[1] Потеря для науки неисчислимая. Ничего не понимаю в этом деле; что все это значит?

Мы имели средства издавать в свет и сохранить для потомства открытия наши в истории наших предков; ныне каждый должен работать отдельно. Ни помощи в трудах, ни оценки благонамеренной трудам не должны уже мы ожидать! . . . Откуда гроза нашла, что собрало ее, что за изменения? Неужели это невозвратно? Кто заступил место Ваше и Строгонова? [2] Чем заместить падь происходящий от прекращения Чтений?

Вы спрашиваете, куда ко мне адресовать статью о *козаках*, словарь языка малороссийского, составленный Носенком. Меня последний очень интересует. Прошу Вас, добрый земляк, адресуйте все это, а равно и *Ле-*

топись плиски, на мое имя «В Нежин». Письма же Ваши адресуйте всегда в Прилуку, Полт‹авской› губ‹ернии›, а оттуда в с. Туровку.

Как удачно случилось, что я не отнесся в Общество с подарком Плискиной летописи и множества подлинных актов 1650—1725 годов. Теперь, вероятно, все это не будет иметь ни цели, ни пользы в архивах Общества.

Если бы можно было убедить Хрусталева в том, что ему выгодно будет издать словарь, плиску и статьи мои историко-критические, мы бы сделали дело славное, я бы откинул от себя все расчеты денежные, не гонялся бы за ее выгодами; я бы дал ему позволение все это издать в *свою пользу*, с тем чтобы он мне выдал 100 экземпляров для друзей и приятелей. Впрочем если он не согласится, пришлите назад; может быть в Харькове или в Киеве издадим.

Что скажут Ханенко, Ригельман,[3] Галаган?

Не приедете ли Вы на лето к нам? Вы бы отдохнули от трудов и неприятностей; Вы бы поправили Ваше здоровье. — У меня библиотека 4000 томов в 10 верстах от меня у дяди моего Кочубея 3000 томов, в 25 верстах у моего доброго приятеля князя Репнина до 15.000 томов; эти библиотеки открыты для меня. На лето съедутся ко мне племянницы, а может быть из П‹етер›бурга и сыновья мои; у меня огромный сад; не далеко от меня и Галаган и Носенко, я имею отдельный во дворе флигель. Приезжайте месяца на два в Туровку; мы проведем весело это время в обществе и милых, образованных людей; и старых, редких книг и рукописей, можем осмотреть также и Архивы: Гадячский, Черниговский, а между тем потолкуем, что можно полезного сделать для науки.

Ожидаю с нетерпением ответа на это письмо и прошу Вас верить, что преданность моя к Вам никогда не изменится; что для меня всегда величайшим наслаждением и драгоценнейшей наградой за труды будет — переписка с Вами; она может нас сблизить до приязни и до дружбы.

С истинным почтением честь имею быть

Милостливый государь
Ваш покорнейший слуга

Декабрь 3 дня 1848.
с. Туровка

Николай Маркевич

---

[1] Речь идет о запрещении издавать «Чтения» и лишении О. М. Бодянского профессуры в Московском университете. «Чтения» не выходили с 1848 по 1858 г.

[2] Строганов С. П. (1794—1882) — попечитель Московского учебного округа.

[3] Ригельман А. — автор опубликованного в «Чтениях» «Краткого описания о казаках и о малороссийском народе».

XII

1849, 31 декабря, с. Радьковка

Не я виноват в том, что не отвечал на Ваше письмо, почтенный и добрый земляк и товарищ мой Осип Максимович. Изменив службу или оставя ее, Вы мне не написали Вашего адреса. В университет или в Общество я не хотел адресовать моих писем к Вам. Три раза с тех пор я был в При-

луке и каждый раз заходил к Федору Максимовичу,[1] чтобы узнать Ваш адрес. Но Ф. М. никогда не мог застать, каждый раз был он в отлучке — В Варве, куда ездил к Маменьке Вашей разделять с нею заботы по хозяйству. Наконец, через своего общего знакомого писал я к нему письмо и вчера, приехав сюда из Чернигова, получил ответ.

В последние четыре месяца на меня много обрушилось горестей. 24 августа я занемог воспалением в груди, от которого доныне осталась у меня одышка мучительная, тоска и утомление. 25 сентября я лишился тещи, которая была умна, кротка и любима мною. 12 октября умер мой управляющий. 20 лет я жил с ним вместе; это был верный, преданный товарищ и друг; не только труды по хозяйству, но и зимние вечера я с ним делил. Хозяйственные заботы остались у меня одинокого на плечах. 27 декабря добрый как ангел, умный, всеми любимый и уважаемый тесть мой скончался; затосковался за женой, с которой жил сорок три года и мог прожить без нее только три месяца. Мне дали знать в Чернигов, я 12 часов ехал оттуда, но уже его схоронили, когда я приехал сюда.

Теперь сижу я больной душевно и физически, окруженный заботами хозяйственными, свидетелем слез моей милой жены и ее сестер, только что перестали доходить до меня звуки панихиды по двум милым для меня и для всего нашего семейства людям, уже не существующим.

Завтра еду в Туровку по хозяйству. К шестому уезжаю в Чернигов, где думаю провести зиму. А потому, если Вы не забыли меня, то адресуйте туда, надписывая: «*в квартире председателя гражданской палаты*».[2]

Мне бы хотелось знать, скоро ли Вы займете опять кафедру. Поняло ли Общество истории, кого лишилось оно — потеряв секретаря такого, как Вы. Будет ли опять когда-нибудь издание Ваше, таким как было. А что словарь Носенки?

На днях я буду разбирать один весьма замечательный архив; какой? . . . не скажу. Только я уж там нашел много, много, очень много драгоценных исторических материалов. Все вынесу на свет.

Поручаю себя приязненным чувствам Вашим, будьте уверенны, что мои, равно как и душевное к Вам уважение, не изменятся.

Ваш навсегда Николай Маркевич

---

[1] Федор Максимович — брат О. М. Бодянского.
[2] Председатель гражданской палаты Я. Макаров.

XIII

1850, 20 февраля

Довольно давно уж получил я письмо Ваше, добрейший товарищ и земляк; не отвечал потому, что перебираю по семи пудов бумаг в сутки, так, сами согласитесь, времени остается у меня не много.

Месяц тому назад я писал в общество истории и древностей с предложением обогатить их библиотеку манускриптами историческими, этно-

графическими, и пр. и пр. не менее как столетними, не требуя от них никакого вознаграждения за труд — кроме открытого предписания раскрыть, разрыть и распорядиться казенными и монастырскими Архивами. Не знаю, что скажут они. Знаю, что сказали бы, если б у них был прежний секретарь.

В журнале Министерства просвещения я нашел в статье о периодических изданиях, что выходят на 1850-й год «Чтения при обществе истории» и пр. Что это значит? Душа трепещет от радости. Не опечатка ли? Не описка ли? У нас здесь печатаются «записки Теплова». Это тот Теплов, который ненавидел наших дедов и продал Разумовского. Когда в Зимнем дворце он поцеловал в плечо Кириллу Григорьевича, то Орлов припомнил вслух текст евангелия о лобзании Иуды учителю. Когда этот Теплов купил Тепловку у Иваненка и с гордостью разъезжал соседом деда моего по благоприобретенным степям, то спросил самодовольно мужичка: «Чьи это земли и чье село?» — «Да було пане панив Иваненко, а теперь купило його якесь *Тепелес*». Не знаю, что за радость Судиенку [1] издавать подобную дрязгу, это хлам.

Но Судиенко и Фундуклей [2] принялись разрабатывать и издавать наши древности не на шутку. Я послал к нему опись 430 автографов старинных из моего архива; это пятнадцатая доля того, что у меня по сей день разобрано из архивов Скоропадских, Горленков, Кочубеев, Маркевичей, Гудовичей, Разумовских и др., то по родству, то покупкою мне доставшихся. Любопытна переписка с Крымскими ханами, подлинная, за печатями и при ней переводы на малороссийский язык. Так же хороши документы для истории духовенства и монастырей в особенности. Через восемь дней я переезжаю в Туровку.

Обнимаю Вас, пишите ко мне

Ваш непременно Н. Маркевич

---

[1] Судиенко М. — председатель Временной Комиссии, учрежденной при Киевском и Волынском генерал-губернаторе.

[2] Фундуклей И. И. (1804—1880) участвовал в деятельности археографической комиссии и издании статистического описания Киевской губернии Журавского. Издание Фундуклея, — писал Чернышевский, — «должно стать настольною книгою каждого занимающегося исследованием экономического быта нашей родины» (*Чернышевский Н. Г.* ПСС, т. 3, с. 420).

XIV

1850, 12 декабря, с. Туровка

Нет сомнения, добрейший Осип Максимович, что Вы меня полагаете или покойником, или на старость лет изменившим жене и влюбленным в какую-нибудь молоденькую красавицу, которая заняла весь мой ум, все мое сердце, всю мою душу, оторвав меня от науки, от Родины и от Вас.

Если действительно Вы думаете что-нибудь вроде этого, то крепко ошибаетесь: история, статистика, этнография Родины оторвали меня от всего и от всех, в том числе и от Вас, но, даю аванс! Не на долгое время.

Брат мой М‹ихаил› Андр‹еевич› говорил мне, что Вы Ханенку писали и вспомнили обо мне, уведомляете его, что у меня счет старинным рукописям идет не номерами, а пудами. Это более нежели верно. В разборе рукописей, из которых едва ли есть 300 копий — остальное автографы, я дошел до № 6650-го кроме 80 огромных книг и множества старопечатных славянских; — Это не все: со дня на день прибывают рукописи в значительном количестве, при письмах, которыми присылающие делают меня их владельцем во вечные времена. Целый новый мир жизни прошедшей предков открылся предо мною, во всех его постоянностях общественных и семейных. Терпенья стало бы, но жизни не станет все это разработать.

Я теперь описываю монастыри. Насчет девяти только из них я сослался на 368 документов, которые все у меня, и из которых я списал все заслуживающее внимание.

О правах, об обычаях, о домостроительстве, о городах, нет счету известий; бумаги малороссийские восходят до 1591 года, русские до 1586 и все подлинники за печатями. Есть чем быть счастливым на целую жизнь.

Какие речи чудные, какие данные для познания южнорусского языка, как Ваша братия окрестила наш Украинский.

Теперь бы Ваше содействие, если б эти кастраты Вас интригами своими не удалили с того поприща, которое Вы так славно начали.

Я, через сына моего, отправил к Краевскому публикацию о моем архиве; Краевский принял участие и просил моего позволения напечатать эту публикацию при своем журнале, я благодарил его письменно за предложение и разрешил.[1] Я намерен начать издание под названием «архив Николая Марковича», издавая на первый случай по шести книг, т. е. по одной в два месяца, от 500 до 600 страниц; если же публика хорошо оценит издание, то по 12 томов в год. Начав с 1852 года. Нынешний год я буду печатать в отечественных записках некоторые бумаги для того, чтобы ознакомить с Архивом публику.[2] Беда, что корректора не знаю, где сыскать для бумаг, писанных по-малороссийски.

Теперь мне необходим будет «Словарь малороссийского языка, составленный Носенком», потому что при издании архива я размещу его в первых трех томах.

Ныне мы все хлопочем о «Черниговском сборнике» [3], Ханенко принимает живое участие; он пишет мне второй уже раз насчет этого издания. Он требует, чтобы не помещалось в нем ничего литературного, как-то: повестей, поэм и пр. Я очень нахожу справедливым это требование, но не знаю, могу ли, вправе ли буду его выполнить.

Вот и ныне прислали мне гексаметрами написанную поэму «Гетман Шох», в ней есть прелестные стихи и примечание. Каким образом отказать в помещении, потом возьмешь в соображение, что издание имеет цель благотворительную. Удалив изящную словестность из него, мы отдалим множество покупателей и покупатель‹ниц›.

Что Вы делаете? Как здоровье Ваше? Как дела литературные? Не приедете ли Вы отдохнуть от трудов хоть на два месяца в Прилуке, Сокиринцах и Туровке.

Обнимаю Вас от всей души.

Ваш непременно Маркевич Н.

Я теперь занят описанием черниг‹овских› и полтав‹ских› монастырей по документам моего архива.

---

[1] В «Отечественных записках» Маркевич сообщает, что «давно старался сделать доступным рукописи‹. . .›классифицировать их и издать в свет» (Отечественные записки, 1851, т. XXIV, № 2, с. 328—336).

[2] Это издание не было осуществлено.

[3] «Черниговский сборник», изданием которого руководил Н. Маркевич. Губернские города Чернигов и Полтава имели типографии; здесь издавались «Губернские ведомости» и группировалась местная прогрессивная интеллигенция, издававшая сборники документов.

XV

1855, 13 сентября,
вторник

Милостливый государь
Осип Максимович,

Получив Ваше письмо, я хотел уже отвечать, как меня отозвало очень грустное обстоятельство из дому в Харьков: болезнь и смерть моей родной сестры, начальницы Харьковского института благородных девиц. 11 дней сидел я над больною и шесть дней после ее смерти, чтобы привесть в порядок и известность ее семейные и служебные дела. Туда едучи, я проехал Полтаву ночью 20-го числа, не останавливаясь даже на ярмарке. Назад проезжая, я заехал к мужу моей племянницы Скоропадской, к Льву Григорьевичу Милорадовичу; у них обедал я вместе с Вашим двоюродным братом, я много говорил с ним о Вас.

Возвратясь, я поехал на именины к моей двоюродной сестре, Вам знакомой, — графине Комаровской и к моему двоюродному брату Гр. П. Галагану, где была и жена моя. Приехав оттуда в Туровку, я занялся отпиской по делам покойницы сестры; к этим отпискам прибавились и собственные хлопоты: я оставил надолго дом в минуту, когда начали паркеты менять, печи переставлять, когда жатва еще не кончилась. Табаки еще не были убраны. Все это меня отвлекло от переписки с друзьями и от литературных занятий до сегодня.

Тут я застал письмо от нашего статистика Журавского.[1] Он, по страсти к науке, взялся быть корректором моей статьи «О народонаселении Полтавской губернии и Малороссии с 1320 по 1850». Эту статью писал я в 1850 году, для комиссии описания губерний. Мы начали ее печатать в ноябре 1854 года и — вообразите! — остановились за недостатком бумаги. Комиссия выдала сумму поставщику, он ее замотал. Пока поставил он новый запас, я выехал из Киева. Текст и несколько таблиц были напечатаны; за остальное Журавский взялся. Я Вам пришлю, как выйдет она.

До сих пор я ничего нового, кроме статей для Исторической статистики Малороссии, не писал. С октября прошлого года я умирал, а с ноября выздоравливал. Я думаю Вам неизвестно, что моя одышка превратилась было в грудную водяную; болезнь эта, признаная в медицине неизлечимою, дошла до таких размеров, что все медики единогласно отказали мне в жизни далее семи дней, объявив, что и это невозможный срок, что каждая минута грозит мне смертью. И это не дюжинные были медики. Это были Цыцурин, Меринг, Бехтер. Десятка полтора остальных, меня видевших, но не лечивших, то же утверждали. Совет доброго Степана Алексеевича Маслова поставил в тупик медицину: вместо смерти через 6 дней я через 6 дней выздоровел; коровье молоко, холодное, неснятое — вот все, что я пил и ел для излечения, и после излечения 100 дней был на такой пище и на таком питье; я стал грудным ребенком; но вместо украинки с темнорусою косою, с карими глазами, с чудною улыбкою, с гетеристическими формами Киприды Каллипиги,[2] у меня несколько было кормилиц, красивых, это правда, но рогатых и с метлой на конце хвоста. Сто дней ни шагу я не сделал из моей квартиры на Старом Киеве; за то меня навещало множество приятелей: Павлов,[3] Журавский, Бунге; [4] ректор Академии Антоний, Епископ Апполинарий, наместник Лавры Иоан, граф Комаровский, Галаганы, Тарновские, Скоропадский, Юзефович,[5] мои милые друзья медики, которых я назвал и которые изучали на мне то, что наука им не открыла, Понятовский, де Бальмен [6] и пр. пр. Из моего уединения делали раут. Только вместо обдуманных статей, вместо описания прежней народной жизни нашей Родины, за неимением архива моего и моей библиотеки, я принужден был заняться словарем народного и книжного, нынешнего и старого языка малороссийского и собрал 45 000 слов, обогатив их пословицами, поговорками, выписками из сказок, песен, старинных универсалов, писем, тяжб, из летописцев, актов и памятников. Книга готова — только списать набело и приступить к печатанию.[7]

Вот Вам вести обо мне. Что же Вы мне скажете о Вас? Что вы пишете? Что Вы делаете или делать намерены на пользу нашей родины? Много, очень много Вы для нее потрудились, но верно не покинули труда, Вы с ним сжились, он Ваша жизнь. Не простое любопытство рождает этот вопрос. Что другие деятели в Москве предпринимают или оканчивают? Или все замолкло при звуке севастопольских и свеаборских громов? [8] Теперь все стало бы лучше, если бы не эти богопротивные, разбойнические набеги западных варваров. — Но, обращаясь к Литературе Историческое общество Моск‹овского› университета не будет иметь такого деятеля, какого лишилось оно благодаря подлости некоторых членов его.

Пишите ко мне хоть изредка, почтеннейший Осип Максимович, знайте, что я всегда, душевно, сердечно — Ваш

Николай Маркевич

---

[1] Журавский Д. П. (1810—1856) — крупнейший русский статистик-демократ. Чернышевский писал, что его «Статистическое описание Киевской губернии (три части)» «остается одним из самых драгоценных приобретений, сделанных русскою наукою всего настоящего столетия». Журавский стремился объединить «представителей русского прогресса, протестовавших против крепостнических порядков»; к ним он причис-

лял и Н. Маркевича. — *Чернышевский Н. Г.* ПСС, т. 3, с. 387; *Птуха М. В.* Д. П. Журавский. Жизнь, труды, статистическая деятельность, М., 1951, с. 73.

[2] Киприда Каллипига — богиня красоты и любви, почитаемая на Кипре (соответствует Афродите в Греции, Венере — в Риме).

[3] Павлов К. С. (1792—1852) — украинский художник, автор многочисленных портретов и жанровых картин; преподавал в Нежинском лицее и Киевском университете. Лично знаком с Шевченко. (Шевченковский словник. Киев, 1978, т. II).

[4] Бунге Н. Х. (1823—1895) — экономист, проф. статистики и права Киевского университета. Министр финансов и председатель Комитета министров (1881—1886).

[5] Юзефович М. В. (1802—1889) — помощник попечителя Киевского учебного округа, член и председатель Временного комитета для рассмотрения древних актов. По делу Кирилло-Мефодиевского об-ва сыграл роль провокатора и доносчика (Шевченковский словник, т. II).

[6] Бальмен С. П. де (1816 — смерть неизв.) Маркевич посещал его имение в селе Линовицы, встречался у него с Шевченко. Привлекался III отделением по делу о провозглашении тоста на балу в апреле 1848 г.: «Да здравствует французская республика!» Находился под надзором полиции. Шевченковский словник, т. I.

[7] Украинско-русский словарь, в котором автор широко привлек народный фольклор, так: «Базар — рынок, место торга. . . У базара два дурня: один дорого просит, другой дешево дает» (ИРЛИ, ф. 488, № 24 л. 7—9).

[8] Имеется в виду Крымская война.

XVI

1857, 25 октября, Вена

Честь имею донести Вашему высокородию, что мое благородие находится уже 22 дня в столице Австрияцкой.[1] Узнав от нашего почтенного пастыря, отца Михаила Федоровича, что он знаком с Вами, передаю Вам весть о себе через его руки. Сегодня расплачиваюсь я в отеле Ванцля и хочу завтра с Schnellzug[2] ехать в 6 часов утра в Триест, где только проведу один день. Хочу побывать в Словенской церкви, а в понедельник плыть к развенчаной владычице Адриатических волн.[3] Но если Вам захочется меня порадовать голосом из Москвы, то адресуйте в Неаполь в Poste restante.

Часто мы сходились в эти дни по вечерам; постоянно наше маленькое общество пило чай у меня. Навещали меня и делили с нами время Головацкий и Вука Стефанович.[4] Как все мы были рады, когда узнали мы, что Вы опять непременным секретарем Исторического общества. Не Вас, а общество, науку и самого себя мы с этим поздравляем. Да и то уже радость, что кое-кому носы наклеены.

В эту минуту опять мои приятели у меня собрались, и я спешу окончить мое письмо, которое начал надеясь, что оно будет несравненно длиннее. И так рад, что хоть напомнил о себе. До свидания, вечно уважаемый и любимый земляк и сотрудник; откликнитесь и Вы на берега Неаполитанского залива с берегов Москвы. . . .

Ваш навсегда Николай Маркевич

---

[1] Проездом в Италию, куда он следовал для лечения.

[2] Шнельцуг — скорый поезд.

[3] В Италию.
[4] Головацкий И. Ф. (1814—1899) — Галицийский общественный деятель, редактор австрийской правительственной газеты для галичан «Вестник», изд. в Вене, Вук Стефанович Караджич В. С. (1787—1864) — крупнейший деятель сербской демократической культуры, филолог, этнограф и историк; член Венской, Берлинской и Петербургской академий наук.

XVII

1856, 27 марта

Милостливый государь Осип Максимович!

Посылаю Вам новый труд мой; [1] знаю, что он Вам не чужд как малороссиянину и как человеку, полюбившему автора этой книги. Не знаю, послал ли я Вам мою историю Чернигова.[2]

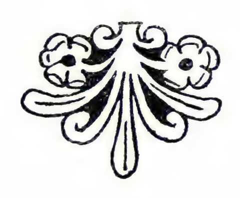
Редко Вы меня дарите Вашими письмами, редко и я пишу к Вам, но уверяю Вас, что часто вспоминаю о Вас, и часто с грустью думаю: когда же он навестит свою Родину? Когда пожму я руку того, кого, не встречая никогда, я душевно люблю и уважаю? Ужели и этим летом небо Отчизны не осенит Вас, ни ее тучных пажитнях, ни ее роскошных полях, в ее пароматных рощах? Уже ли Вы с жителями благословенной Украины разроднились? Весна, Весна!

Обнимаю Вас мысленно

1856, марта 5 Ваш вполне преданный слуга Ник. Маркевич
п. Туровка

---

[1] *Маркевич Н. А.* О народонаселении Полтавской губернии. Киев, 1855.
[2] *Маркевич Н. А.* Историческое и статистическое описание Чернигова. Чернигов, 1853.





К. И. Ровда

П. А. РОВИНСКИЙ В ЧЕХИИ

(По архивным материалам)

Начало шестидесятых годов XIX в. обозначилось общественным подъемом не только в России, но и в западнославянских землях — в Чехии, Польше. С этим связан повышенный интерес передовых русских людей к западным славянам. Славянский вопрос становится в ту пору общественным вопросом. И потому не случаен интерес к чехам со стороны людей, близко стоявших к журналу «Современник». В конце 50-х гг. в Чехию едет А. Н. Пыпин, поместивший затем ряд содержательных статей о чешском национально-освободительном движении и чешской литературе в «Современнике».[1] В Праге побывали Н. А. Добролюбов и Н. Н. Обручев,[2] проявившие интерес к студенческому движению у чехов.[3] Туда устремляется Н. И. Утин,[4] один из будущих вожаков общества «Земля и Воля» и ряд других.[5] Не исключено, что сам руководитель журнала, Н. Г. Чернышевский, внимательно следивший за тем, что делается у западных и южных славян, поощрял интерес своих друзей и соратников к чешскому национально-освободительному движению,

---

[1] См.: *Карская Т. С.* Памятная встреча (А. Н. Пыпин и Божена Немцова). — В кн.: Славянские литературные связи. Л., 1968, с. 221—230; *Ровда К. И.* По следам 1848 года (А. Н. Пыпин в Праге). — Русская литература, 1970, № 1, с. 173—184.

[2] Обручев Николай Николаевич (1830-1904), активный член революционной подпольной группы «Великорус» (1861—1862), один из организаторов общества «Земля и Воля». Был близок к Герцену и Чернышевскому. Впоследствии отошел от революционной деятельности.

[3] См.: *Florovskij A. V.* Z dějin rusko-českých vztahů v 19. století. (N. A. Dobroljubov a studentské nepokoje v Praze r. 1860). — Sovětská historie. Praha, 1955, V, s. 426—433.

[4] Утин Николай Исаакович (1840—1883) — член ЦК общества «Земля и Воля», один из организаторов русской секции Интернационала, друг К. Маркса. В 1877 г. отошел от политической деятельности.

[5] См.: *Ровда К. И.* П. А. Ровинский и русско-чешские общественно-литературные связи. — В кн.: Чешско-русские и словацко-русские литературные отношения конца XVIII—нач. XX в. М., 1968, с. 276—279.

вступившему на рубеже пятидесятых-шестидесятых годов в новый этап.[6] В ряду этих лиц был и П. А. Ровинский (1831—1916), друг и соратник Чернышевского и ученик известного слависта В. И. Григоровича.[7]

В октябре того же года в Праге оказался и еще один ученик Григоровича — Александр Степанович Троянский. Уйдя в отставку с должности преподавателя русской словесности в Самарской духовной семинарии, он поехал в Чехию на свой страх и риск. До этого А. С. Троянский учился в Казанской духовной академии, где изучал славянские языки и литературы под руководством В. И. Григоровича. «Скудные денежные средства, однако, не позволили молодому путешественнику посвятить себя исключительно ученым исследованиям, — пишет Троянский в своей автобиографии, — и он должен был заниматься литературными трудами, чтобы обеспечить свое дальнейшее пребывание за границею. Проведя зиму в Праге и ознакомившись с чешскою литературою и тогдашними чешскими деятелями, А. С. Троянский отправился весною 1861 г. в Москву и здесь успел получить приглашение издателей Русского вестника, Современной летописи и Московских ведомостей писать для их изданий за известный гонорар статьи и корреспонденции из славянских земель».[8]

То же мог бы сказать о себе и П. А. Ровинский. Позднее в одном из своих трудов он писал: «Путешествуя на свой счет и страх, и потому не связанный никакими условиями, я с одной стороны был совершенно свободным человеком, а с другой, завися от заработка, который — заметим мимоходом — был весьма трудный и скудный, я жил по пословице: „не так живи, как хочется, а как бог велит“; другими словами, я не был свободен ни в распоряжении своим временем, ни в передвижениях. Не раз приходилось засиживаться на одном месте в ожидании получения своего заработка или просто выручки со стороны друзей».[9]

В Праге Ровинский быстро сходится с Адольфом Патерой,[10] студентом последнего курса философского факультета Пражского университета и поэтом Йозефом Коларжем,[11] которые познакомили его со всеми крупными деятелями чешского национального движения и литературы. Вац-

---

[6] См.: *Purš J.* Dělnické hnutí v českých zemích 1849—1867. Rozpravy Československé Akademie věd. 1961, seš. 6, str. 3—144. *Станек Я.* Рабочее движение в чешских землях и первый Интернационал. — В кн.: Из истории марксизма и международного рабочего движения. М., 1964, с. 120.

[7] Григорович Виктор Иванович (1815—1876) — один из основоположников русского славяноведения, профессор Казанского и Новороссийского университетов, последователь Герцена.

[8] Рукописный отдел Института русской литературы (Пушкинский дом) Академии наук СССР, ф. 377, № 2766.

[9] *Ровинский П.* Черногория в ее прошлом и настоящем. СПб., 1888, т. I, с. III—IV.

[10] Патера Адольф (1836—1912) — чешский филолог, библиотекарь Национального музея. Известен своими изданиями древних памятников чешской литературы. Был членом-корреспондентом Академии наук в Петербурге и действительным членом ряда научных обществ в России. В 1884 г. Киевский университет присвоил ему ученую степень доктора славянской филологии. Играл большую роль в чешско-русских научно-литературных связях.

[11] Коларж Йозеф (1830—1910) — филолог, переводчик с русского, поэт, знаток и пропагандист русской литературы в Чехии.

лав Ганка[12] был уже безнадежно болен. «Когда я в первый раз увидел его в октябре месяце, — пишет Ровинский, — меня поразила желтизна его лица, оставшаяся от болезни. С того времени, можно сказать, он не выздоравливал».[13]

В первые месяцы Ровинский усиленно работает в Национальном чешском музее, штудирует литературу, которая была недоступна в России и которую потом использует в статьях о Чехии, посещает лекции профессоров университета, в частности профессора Э. Воцеля, бывает в Мещанской и Умелецкой беседах,[14] изучает Прагу и ее общественно-политическую жизнь.

Его приезд совпал с общественным оживлением. Незадолго перед этим начала выходить чешская политическая газета «Час» («Čas») под редакцией бывшего участника революции 1848 г., радикального демократа В. Вавры-Гаштальского (1824—1877), а с января 1861 г. появилась ставшая потом самой популярной газета «Народни Листы» («Narodní Listy»), в которой сотрудничали и которой руководили вожди чешского национального движения Ф. Палацкий (1793—1876), Ф. Л. Ригер (1818—1903) и Ф. А. Браунер (1810—1880). 1 ноября 1860 г. Ровинский присутствует на кладбище при поминовении многотысячной толпой зачинателей чешского возрождения С. Гневковского (1770—1847), Й. Юнгмана (1773—1847), Ф. Л. Челаковского (1799—1852), В. К. Клицперы (1792—1854) и К. Гавличка (1821—1856). В начале января следующего года он был свидетелем многотысячной процессии на похоронах Ганки, которые опишет в одной из корреспонденций в «Современную летопись».[15]

По своей натуре Ровинский был человеком, который должен видеть все сам. Он не мог писать корреспонденции по прочитанным газетам, как делали иные корреспонденты, а должен был наблюдать непосредственно описываемое событие, о котором пишет, и даже быть его участником. «Ровинский хотел сам на собственных наблюдениях убедиться, — отмечает А. Д. Руднев, — насколько можно пользоваться существующим печатным материалом и составить себе критерий, по которому исследователь мог бы проверить все сообщаемые прессой сведения».[16] Ровинский наблюдает за выборами в муниципалитет Праги, присутствует на судебном процессе редактора чешской газеты «Посол из Праги» («Posel z Prahy») Фр. Шимачека (псевдоним — В. Беляк), обвиненного властями в нарушении закона о печати и т. д. Русский демократ ощутил революционную атмосферу в Праге и говорил, что в правительственном манифесте от 20 ок-

---

[12] Ганка Вацлав (1791—1861) — один из деятелей чешского национального возрождения, библиотекарь Национального музея, пропагандист русской культуры среди чехов. Широкую известность получил своими «открытиями» чешского народного эпоса, который, как позднее было доказано, оказался подделкой. Имел большие связи с русскими учеными и деятелями культуры.

[13] *Ровинский П. А.* Из Праги. — Русский вестник. Современная летопись, 1861, № 10, с. 30.

[14] Городской и Художественный клубы, где собирались чешские патриоты.

[15] *Ровинский П.* Из Праги. — Русский вестник. Современная летопись, 1861, № 10, с. 30.

[16] *Руднев А. Д.* Заслуги П. А. Ровинского перед востоковедением. — Изв. имп. Русск. Геогр. об-ва, 1916, т. 52, с. 564.

тября [17] не дано столько прав и свободы австрийским подданным, сколько они успели приобрести, минуя всякие дипломы; и преобразования в Австрии идут не сверху, а снизу, что «это не реформы, а революция».[18]

* * *

Следя за движением в Праге, русские путешественники стремились узнать, насколько национальное движение захватывает народ, принимает ли в нем участие сельское население? С этой целью они решили предпринять весной путешествие по Чехии, имея в виду, как писал А. Троянский, «поближе сойтись с сельским людом, познакомиться с его бытом и обычаями».[19] И непременно пешком. Между тем еще зимой им представился случай побывать в деревне. Во время каникул Адольф Патера пригласил обоих друзей к себе в гости в свое родное село Гудлицы. Приглашение было принято тем охотнее, что Гудлицы являются родиной одного из чешских будителей — Йозефа Юнгмана, автора «Истории чешской литературы» (1826) и знаменитого пятитомного «Чешско-немецкого словаря» (1834—1839), над которым он работал до конца жизни. Троянский поехал с Патерой раньше, а Ровинский прибыл в Гудлицы накануне Рождества — 24 декабря.[20]

Святки были удобным временем для ознакомления с обычаями и обрядами чехов, связанными с этим временем года, и оба русских путешественника сразу по приезде Ровинского поздно вечером направляются в соседнюю избу, где жил башмачник со своим семейством, наблюдать за гаданием девушек. Троянский записал много текстов песен, которые потом употребил в своих статьях. На другой день рождества наблюдали колядование.[21] В соседней деревне Яхимово встречали новый год в кругу служащих металлургического завода и железного рудника, где работают безземельные крестьяне окрестных деревень и прежде всего гудлицкая беднота. Гости встречались в Гудлицах и Яхимове с представителями всех слоев чешского сельского населения от батраков до помещиков и владельцев заводов. Они убедились, что движение за национальное возрождение чехов носит действительно общенародный характер. Все только и говорят о политике, чешский язык быстро распространяется и даже жена и дети владельца завода немца хорошо говорят по-чешски, носят чешские национальные костюмы и открыто стоят на стороне народа. Они увидели также и резкое социальное расслоение чешской деревни, где большинство крестьян не имеет земли. В Гудлицах, например, было

---

[17] 20 октября 1860 г. был издан императорский диплом, признававший равноправность народов, населявших Австрию, а 25 февраля 1861 г. обнародован патент, ограничивавший и почти сводивший на нет вольности, допускавшиеся октябрьским дипломом.

[18] *Ровинский П.* Из Праги. — Русский вестник. Современная летопись, 1861, № 16, с. 1.

[19] *Троянский А.* Чешская деревня. Село Гудлицы. — Русский вестник, 1862, № 1, с. 351.

[20] Там же, с. 351—361.

[21] Там же, с. 357—361.

в то время 36 седлаков, 28 халупников и более 60 домкарей.[22] Разговоры о безземелье были постоянны и носили острый характер. Большинство крестьян было того мнения, что «существующий порядок вещей не хорош и что со временем он должен будет измениться».[23]

Большим событием у гудлицких крестьян, которое пришлось наблюдать русским путешественникам, было открытие в Гудлицах литературного общества, объединившего всех крестьян — богатых и бедных — с целью сообща выписывать газеты и три раза в неделю собираться для их громкой читки. Кроме того, общество поставило целью выкупить из частных рук дом, где родился и вырос Юнгман. На собрании, происходившем в торжественной обстановке, Ровинский в ответ на тост в честь русских гостей выступил с ответным словом, в котором сказал: «Позвольте и вас уверить в том, что как мы, так и вообще наши соотечественники, полны братской любви и сочувствия к вам, полны твердой надежды, что снова взойдет счастливая звезда Чехии. За это ручаются, между прочим, гудлицкое и все другие чешские литературные общества. Господа! От имени всего русского народа я предлагаю тост в честь народа чешского и в честь его передовых людей».[24]

Из всех путешественников по чешским землям в то время — а их было уже немало — может быть, именно П. А. Ровинский имел наибольшее право выступить перед чехами от имени русского народа. Когда священник спрашивал, есть ли в России такие общества, один из русских собеседников мог только с горечью заметить: «У нас вы не найдете их даже в каждом городе».[25] Уже в то время благодаря усилиям самих чехов чешские крестьяне были почти все грамотны, а в России почти все неграмотны. Было чему завидовать!

3 января Ровинский присутствовал на литературном вечере общества, где читались первые два номера только начавшей выходить газеты «Народни Листы». В первых номерах была помещена программа газеты, которую Ровинский перевел и послал в «Московские ведомости». Но русская цензура ее не пропустила. Через день Ровинский и Адольф Патера уехали в Прагу.

* * *

Предоставив своему коллеге дальнейшее знакомство с деревней Гудлицы, Ровинский по возвращении в Прагу снова погружается в изучение чешской исторической и художественной литературы. В особенности его интересует из прошлого гуситская эпоха и 1848 год. Все это будет использовано потом в его крупных статьях, которые он опубликует в русской печати.

С самого начала русские путешественники должны были подумать о заработке. П. А. Ровинский через своего двоюродного брата Александра

---

[22] Седлак — зажиточный крестьянин, имевший землю; халупник имел дом и немного усадебной земли, а домкарь имел только дом, не имея земли. Халупник и домкарь работали по найму.

[23] *Троянский А.* Чешская деревня. Село Гудлицы, с. 565.

[24] Там же, 1862, № 1, с. 367.

[25] Там же, № 11, с. 578.

Ровинского входит в контакт с «Русским вестником», который тогда был еще либеральным журналом, и с началом 1861 г. задумывает целый план совместного с Троянским сотрудничества в русской печати. Он налаживает связи с чешскими общественными деятелями, с чешскими газетами, в частности с газетой «Народни Листы». В это время в газете «Час» начала печататься большая биография Гавличка. Ровинскому приходит в голову мысль познакомить русского читателя с жизнью этого выдающегося человека, и он посылает номера газеты «Час» со статьями о Гавличке своему коллеге в Гудлицы для перевода на русский язык. 22 января 1861 г. он пишет тому из Праги: «Посылаю вам последнюю статью о Гавличке. . . В последнем „Часу“ биография Гавличка еще не кончена, больше статей у меня нет, потому что я не получил 3, 4 и 5-го №№; оканчивайте покуда то, что есть. . .» [26] Ровинский советует другу энергичнее работать и обратить особое внимание на литературное общество в Гудлицах. Троянский опишет это общество в одном из своих очерков.

Ровинского радует политическое оживление в Праге. И это находит отражение в письме. «Дела чехов, — пишет он, — идут хорошо; в Уграх дело идет к революции; Форгачу [27] стало лучше; нынче в Тынской церкви был requiem за Ганку, служил архиепископ (или епископ — не помню твердо), речь говорил Штиглиц.[28] Вот вам summarium новостей, которые я сейчас получил в беседе. Сам газет никаких не читал, а сейчас принимаюсь».[29]

Ровинский, однако, обеспокоен известиями из России. От Ригера он «узнал следующее: Народные Листы, посланные в Петербург, Варшаву и др. места России, возвращаются назад, следовательно, в России запрещены, тогда как издаются в консервативной, самой отсталой державе политического мира! Что это делается в России?!! Вот вам и либерализм русский, и реформы!» [30]

Что за известия из России, взволновавшие Ровинского? Только ли запрещение распространения чешской газеты? Об этом мы узнаем из письма тому же адресату от 31 января: «Вчера я получил письмо из Москвы от брата. В нем статья о крестьянском вопросе, которая с прежней будет отдана в Národní Listy, и еще из Московских ведомостей о воскресных школах.[31] Много утешительного, а много и грустного. Такие же известия из Казани. Там тоже делается кое-что хорошее; в университете группируются хорошие профессора, между ними выделяется Щапов,[32]

[26] Literární archív Památníku národního písemnictví, poz. A. Patery, sign. 27 G 31 (далее сокращенно: LAPNP).

[27] Форгач Антони (1819—1885), по национальности мадьяр — наместник австрийского императора в Чехии в то время.

[28] Штиглиц Рафаэль, позднее — активный деятель литературного общества «Славия» в Праге, занимавшийся изучением истории культуры южных славян.

[29] LAPNP, poz. A. Patery.

[30] Ibid.

[31] Бесплатные воскресные школы для взрослых ставили целью обучение грамоте людей из низших классов. Их организаторами и учителями были представители прогрессивной интеллигенции. В отдельных случаях школы были местом пропаганды демократических идей. В письме речь идет, вероятно, о статье «Несколько слов по поводу воскресных школ» (Московские ведомости, 1861, 5 января, с. 30).

[32] Щапов Афанасий Прокофьевич (1830—1876) — историк и публицист, профессор Казанского университета, в 1861 г. арестован и сослан в Сибирь за речь на панихиде по жертвам расстрела в с. Бездна.

он читает русскую историю, но историю народа, а не династий. В Москве схвачено человек 20 студентов по подозрению, что у них была вольная типография, в которой перепечатывали сочинения Герцена. Но попались ли им участники типографии или люди невинные, еще неизвестно. Кажется, в этом случае они дали маху, чего, конечно, и дай бог! Особенного ничего нет. Мои дописы в Москве еще не получены, которые были посланы после рождества, а программа „Народных Листов“ отдана в „Московские ведомости“ после рождественских праздников. В Праге особенного ничего нет. Был на балу в „Народной беседе“, бал был, как и следует быть балу, и за вход брали 4 злотых, что особенно для меня имело свою особую приятность. Я теперь жду с нетерпением вашего приезда, чтоб вместе работать, а работы пропасть. Оканчивайте все, что есть у вас о Гавличке; у меня теперь еще две статьи о нем в Часе, их может быть, переведу я; а после него примемся за биографию Ганки. Патера мне принесет одну на немецком языке и очень хорошую. Мы можем перевести ее пополам и дополним из Народных Листов. Потом еще за что-нибудь примемся вместе и дело пойдет успешнее. Послужим если не отчизне, то по крайней мере взаимному сближению чехов и России. На днях я ожидаю книг из России, а также (*нрзб.*) изд. Вейнберга [33] и „Век“, который выходит при участии Кавелина,[34] и „Современник“».[35]

Посланные через брата корреспонденции в «Современную летопись», выходившую отдельно при «Русском вестнике», начали помещаться более или менее систематически. Об этом П. А. Ровинский узнает из письма брата, который писал ему 26 марта из Москвы: «Послезавтра я тебе отправлю пять наших Современных летописей — 6, 7, 8, 9 и 10, в которых помещены твои письма. Осталась ненапечатанной только программа „Народных Листов“, которую я отдал в редакцию Московских ведомостей.[36] Цензор ее не пропустил, отправил в Петербург в Цензурный комитет и там она застряла.

В № 12 одно твое письмо, в 13 предпоследнее (17 н. с.) и будет в № 19; а Naturdichter будет напечатано в 3-м № Русского вестника».[37] Отдельный оттиск последней можно будет получить до 25 (экз.). Катков [38] говорит, что они будут печатать все, что пришлешь ты, мы, дескать, очень рады, что он сходных с нами убеждений. В 1-м письме о русоманах, по их (издателей, — *К. Р.*) уверению, выкинули цензоры против их воли, потому что в то время прошел слух, что государь под влиянием M-me Блудовой [39] дал 60 т. ф. на агитацию в славянах в пользу России. Не ленись, присылай корреспонденции, ты легко можешь получить до 100 рублей в месяц».[40]

---

[33] Вейнберг Петр Исаевич (1830—1908) — русский поэт, переводчик и критик.

[34] Кавелин К. Д. (1818—1885) — либеральный историк, юрист и публицист, профессор Московского (1844—1848) и Петербургского (1857—1861) университетов.

[35] LAPNP, poz. A. Patery.

[36] В то время редактором «Московских ведомостей» был либеральный журналист и историк литературы В. Ф. Корш (1828—1894). Вскоре газета перешла к М. Н. Каткову.

[37] Напечатано в № 6 журнала под названием «Народные чешские поэты» (с. 1—16).

[38] Катков Михаил Никифорович (1818—1887), русский реакционный публицист, издатель журнала «Русский вестник» и газеты «Московские ведомости».

[39] Блудова А. Д. (1812—1891) — графиня, камер-фрейлина императрицы.

[40] LAPNP, poz. A. Patery.

* * *

В конце мая Ровинский отправляется в путешествие по Чехии. Разделил ли с ним это путешествие в начале пути А. Троянский, как собирался, или нет, мы не знаем. Скорее всего, что нет, так как отправился по весне в Москву. Ровинский путешествовал с оказавшимся в то время в Чехии молодым русским историком Н. П. Лыжиным.[41] Где-то к ним примкнул А. Патера, с которым они шли по Моравии, но потом покинул их.

План путешествия был строго продуман и отвечал заветной мечте передового русского слависта побывать в местах, откуда пошло и где развивалось гуситское движение. Ему мало было читать книги о гуситах. Надо было видеть места, где развертывались великие события. Ведь он был этнограф. Его интересовала не только история, но и современность. Ему хотелось знать, сохранились ли традиции гуситов, их боевой дух в местах, где когда-то развевались их знамена. Зная, что движение гуситов возникло на западе и юге, туда он и направился. «Южные чехи, — писал он позднее, — были исходным пунктом гуситского движения; здесь возник Табор; здесь происходили самые ужасные сцены. Такой ряд явлений не может считаться случайностью и заставляет предполагать причины, в которые, впрочем, вдаваться не составляет нашей задачи. С нас достаточно видеть законность такого явления».[42]

И он едет по маршруту: Плзень—Писек—Прахатицы—Ческе Будейовицы—Табор—Индржихов Градец—Брно. Может быть, последовательность маршрута была несколько иная. Это не имеет значения. Важно, что это были гуситские места. Гус,[43] происходивший из Прахатицкого округа, пишет он, не был одиноким представителем своего края. «В Прахатицах была в то время знаменитая школа литераторов и художников. Из нее вышло много ученых, которые потом заняли место в Пражском университете, и между ними особенно выдается имя астронома Христиана Прахатицкого,[44] одного из первых приверженцев Виклефова[45] учения, впоследствии ректора университета и Гусова друга. В этой же школе, как полагают, обучался Ян Жижка. Отсюда происходил и Николай из Гуся,[46] первый представитель гуситов».[47]

---

[41] Николай Петрович Лыжин — магистр русской истории, автор ряда исторических и историко-литературных работ. Был организатором сбора денег для печатания трудов фольклориста П. Н. Рыбникова. См. его письмо к И. С. Аксакову от 24 апреля 1863 г. Рукописный отдел ИРЛИ ф. 3, оп. 4, № 346. В молодости общался с Н. Г. Чернышевским, который в дневнике от 14 марта 1850 г. записал: «С Лыжиным (студентом) долго ходили по улицам и руссуждали. . .» (*Чернышевская Н. М.* Летопись жизни и деятельности Н. Г. Чернышевского. М., 1953, с. 63).

[42] *Ровинский П.* Главные моменты в истории чешского народа. — Современное обозрение, 1868. № 2, с. 279.

[43] Гус Ян (1369—1415) — великий чешский патриот и вождь реформации в Чехии, вдохновитель национально-освободительного движения в первой половине XV в.

[44] Христиан из Прахатиц (ум. 1439) — соратник Яна Гуса, автор математических, медицинских и богословских сочинений.

[45] Виклиф Джон (1320—1384) — представитель ранней реформации в Англии, учение которого оказало влияние на формирование мировоззрения Гуса.

[46] Микулаш из Гуся — один из вождей таборитов, соратник Яна Жижки и участник его походов.

[47] *Ровинский П.* Главные моменты из истории чешского народа. — Современное обозрение, 1868, № 2, с. 279.

Очутившись в Плзне, первом крупном пункте его путешествия и одном из бывших опорных пунктов таборитов, Ровинский в письме от 30 мая на имя Патеры пишет об исключительном приеме, который был оказан здесь русским путешественникам: «Гостеприимство везде старославянское, без всяких рекомендаций. Только узнают, что мы русские, сейчас разошлют в разные стороны и к нам приходят из селений больше в расстоянии полумили».[48]

Путешествовали пешком. Ровинский был одет в русский крестьянский костюм.[49] За плечами котомка, в которой — краюха хлеба и, может быть, кусок сыру да тетради для записей. Это не была прихоть, как у славянофилов, рядившихся в крестьянское платье, чтобы фраппировать высшее общество в светских салонах. Для Ровинского это была рабочая одежда, позволявшая сходиться с простыми людьми. В таком костюме ходил он и по приволжским деревням.[50] А в Чехии это имело и символическое значение: в нем Ровинский чувствовал себя посланцем русского трудового люда, русского народа.

Путешествие было длительным. Путешественники заходили в деревни, лежавшие в стороне от их маршрута. В июле они были в Южной Чехии, и 21 числа Ровинский писал Адольфу Патере из Будейовиц: «Время провожу вообще хорошо; везде нахожу гостеприимство; но невесело на душе оттого, что чешский живел [51] здесь совершенно подавлен. Незаметно, чтоб немцы здешние были особенно аррогантны, но в самих чехах здешних какой-то индифферентизм. Они, кажется, думают так: я сыт, одет, покоен, для своего удовольствия могу кое-когда достать музыку. Смею читать свои народные газеты и философствовать про себя; чего же больше? Они утешаются тем, что прежде было еще хуже и на том основании предаются сладкой дремоте. А народ! такой бедноты я не встречал еще нигде.

Поэтому, несмотря на все гостеприимство здешних господ, несмотря на то, что меня здесь поят и кормят, стараются доставить всякого рода удовольствия, я тем больше питаю против них негодование. Поначалу я им уже давал заметить; а нынче, если представится случай, разражусь против них грозной филиппикой».[52]

Ровинского интересует не просто быт крестьян. Он глубоко заинтересован в чешском национальном и социальном движении. Он принимает близко к сердцу жизнь бедноты и выступает ее заступником. Его заинтересованность в общественном движении сквозит в каждом письме. Он радуется, когда встречается с людьми, в которых живет дух освобо-

---

[48] LAPNP, poz. A. Patery.

[49] «Ровинский теперь путешествует по Чехии, в Крае, в русской красной рубашке», — писал Й. Коларж И. И. Срезневскому (LAPNP, poz. J. Kolaře).

[50] Находясь в ссылке в Вологодской губернии, Г. Потанин встретился со студентом, отбывавшим наказание по политическому делу, который, будучи гимназистом, видел Ровинского, однажды в саратовском городском саду. «На нем, — рассказывал тот, — была крестьянская шляпа, обвитая вместо ленты простой пеньковой веревкой... Он только что приехал в Саратов и прямо из вагона попал на вечер в том костюме, в каком ходил по деревням» (*Потанин Г.* П. А. Ровинский. — Сибирская жизнь, 1916, 17 февраля, № 38).

[51] živel (чеш.) — элемент, стихия.

[52] LAPNP, poz. A. Patery.

ждения. И вот он уже в Таборе, бывшей твердыне таборитов, откуда 3 августа 1861 г. пишет тому же адресату: «От Генрихова — Городка к Будейовицам и далее к югу мало утешительного; но с Прахатиц начинает веять иной дух: ближе к Писку сильно пробужден народ; но что касается благосостояния, то и в Писецком крае народ беден».[53]

Ровинский не только писал Патере, но и от него получал письма, заранее указывая те места, где будет проходить. Об этом можно судить по его письмам. В некоторых из них он отвечает на вопросы, которые волнуют Патеру. В письме, написанном, вероятно, в последнюю неделю августа, он высказывал свое мнение по поводу очень оживленно обсуждавшегося тогда в прессе вопроса о предполагавшемся переселении чехов в Россию и советует переселяться не на Амур, куда их приглашало русское правительство, а в Крым. Ни на Амур, ни в Крым переселения не было. Чехи переселялись на Волынь.[54]

Далее Ровинский писал: «Что касается вашего желания „успеха в моем благородном намерении (возбудить) пробудить ваших спящих мужичков'', то не с моими силами будить спящих, а знакомясь с пробужденными, я испытывал истинное удовольствие, и при том моя мысль невольно переносилась на мою родину, где народ еще так крепко спит. Разве теперь только уничтоженное рабство его разбудит. В Писке я провел два дня в обществе учительства высшей реальной школы и чувствовал себя так хорошо, как нигде еще не чувствовал. Там я видел не суетливое, иногда совершенно пустое увлечение народностью, как модой, что я видел во многих местах, а глубокое сознание прав своей народности, основанное на знании ее истории и литературы, твердое убеждение в даровитости своего народа и в его призвании занять то место, какое он некогда занимал в Европе, и непоколебимую решимость действовать. . .» И в конце письма сообщал: «Теперь мы, должно быть, нескоро увидимся, потому что я отправляюсь на Мораву».[55]

В начале путешествия по Моравии к русским путешественникам присоединился Адольф Патера, приехавший из Праги, как об этом мы узнаем из последующего письма Ровинского Йозефу Коларжу. Но вскоре Патера оставил их одних, а сам вернулся в Прагу. Население Моравии очень отличалось своими настроениями от обитателей чешских областей. Здесь ощущалось сильное влияние католического духовенства и веял сепаратистский дух. И это сразу почувствовалось в отношении к русским путешественникам, из которых один вызывал подозрение своим костюмом. Однако и тут были настоящие патриоты. «В Брне, — пишет Ровинский, — я нашел несколько мораван горячих патриотов, и с ними большею частию провожу время или с кем-нибудь осматриваю город».[56]

О том, с какими трудностями русские путешественники встретились в Моравии, мы узнаем из письма Ровинского Йозефу Коларжу, написанному в тот же день, что и предыдущее. Приведем его целиком:

---

[53] Ibid.

[54] См.: *Пушкаревич К. А.* Чехи в России. (Докторская диссертация). Архив АН СССР. Ленингр. отдел., ф. 792.

[55] LAPNP, poz. A. Patery.

[56] LAPNP, poz. A. Patery.

Брно (Brünn).

31(19) 1861 / VIII, суббота

Милый Осип Иванович!

Не стоило бы уже теперь писать, потому что через неделю я рассчитывал уже видеться в Праге; но следующее обстоятельство вынуждает меня обратиться к Вам. Вы знаете, мы с Патерой путешествовали вместе по Моравии. Во вторник мы с ним расстались: я остался в Моравии, а он — в Прагу. Он обещался писать ко мне в Брно и присылать туда все, что есть на мое имя в Праге. Но я живу теперь здесь третий день, а на почте ничего нет. Поэтому я прошу вас только узнать, писал ли он ко мне в Брно, и уведомить меня о том также в Брно, где я буду опять в четверг, т. е. 5 сентября, и отправляюсь оттуда в пятницу, т. е. 6-го. Если он уже писал мне, то это штуки полиции, это она каким-нибудь способом удерживает письмо, чтобы выжить меня из Моравии. Мне приходит в голову это подозрение на том основании, что она допытывается обо мне от людей, которых видит со мной, хотя ко мне по сю пору еще не подступалась. Вообще мой костюм возбуждает здесь сильное подозрение. Это не то, что в Чехии! Там мальчики принимали меня за комедианта и весело с криком радости бежали за мною, ⟨ожидая⟩, что я им выкину какой-нибудь Kunststück; [57] немцы и те встречали меня со светлыми физиономиями и с простодушным любопытством рассматривали и расспрашивали меня ‹. . .› А здесь смотрят на меня косо, как-то злобно-подозрительно, и в каждом их вопросе слышится желание выпытать, не имею ли я каких-то тайных замыслов против их имущества, против их блага и счастия. Когда я шел из Босковиц на станцию железной дороги, то в одном селеньи на меня сыпались сверху камни, которые бросала в меня какая-то неопытная рука, но ни один камень не попал в меня: видно, это был не артиллерист и навесом по параболической линии попадать не умеет.

Грустно на Мораве, очень грустно! Впрочем, в Брне есть несколько человек, очень хорошо понимающих народность и горячо преданных делу своего отечества и при том, судя по их наружному поведению, весьма решительных. — Завтра отправляюсь в Гостин. Как-то удастся это народное празднество?

Итак, Осип Иванович, будьте так добры, узнайте от Патеры и уведомьте меня или лучше скажите, чтоб он мне написал. Квартира Патеры на Малой стороне в Зброницкой улице число 449, недалеко от железного моста вправо.

Прощайте! Будьте здоровы!

Остаюсь любящий вас

П. Ровинский.

Кланяюсь всем моим знакомым, а в особенности Моурковым».[58]

* * *

В Гостине, небольшой деревушке неподалеку от Брно, во время народного празднества русские путешественники, за которыми давно следила австрийская полиция, были арестованы, более чем через неделю под конвоем были доставлены на границу и высланы за пределы Австрии. 9 сентября 1861 г. Ровинский уже из Варшавы сообщал Адольфу Патере о случившемся и просил распорядиться оставшимися в Праге его вещами.

Вот как об этом происшествии пишет Н. П. Лыжин Йозефу Коларжу от 21 сентября также из Варшавы: «Не ждано не гадано привелось нам расстаться надолго, хотел было сказать, быть может, навсегда, но удержался от такой страшной мысли, которая заставила бы предположить, что

57 Kunststück (нем.) — фокус.

58 LAPNP, poz. J. Kolaře. — Семейство Моурковых — общие знакомые Патеры и Ровинского. Теодор Моурек и Богдан Моурек — пражские книгоиздатели.

у Вас дела не изменятся или Вы откажете нам в удовольствии побывать у нас. Верьте не верьте, а с отбытием вашей дорогой особы из Праги, столица Карла IV[59] и Вячеслава [60] опустела для меня. Надеялись заглянуть в тот уголок, где пронеслась ваша юность (говорю без иронии и прошу быть уверенным, что не почитаю вас стариком), но, увы! разные ухмыляющиеся и гнущиеся в дугу фигуры комиссаров препроводили нас с паном Ровинским до самой родной нашей границы в так называемое местечко Границу.[61] Возврат к Вам строго-настрого нам грешным воспрещен: оно было бы, пожалуй, не столько грустно, сколько смешно, если бы через это не вышло много разных неудобств, как, например, езда на морозе в легком pet-en-l'air (*нрзб*), забота о вещах, оставшихся в Праге и т. д. Добрый Осип Иванович, будьте так благожелательны, заверните ко мне на квартиру (976 *нрзб*) спросить, посланы ли в Драждяны [62] мои вещи и если нет, то отправьте их туда безотлагательно, причем просил бы известить меня немедленно, что вещи посланы. Если бы были какие-либо расходы, которые никак не предвижу, то, конечно, верну Вам их безотлагательно. Писал г. Ранку [63] с просьбой похлопотать о моих вещах и если беспокою и вас об этом, то единственно потому, что не могу двинуться из Варшавы без них и каждый лишний день мне дорог. До свидания и до следующего письма, которое не заставит себя ждать, — прощайте. Нашей сестрице (вы позволили мне так называть любезную и милую вашу знакомку) глубокий поклон от меня и пана Ровинского».

Приписка П. А. Ровинского: «Я писал вам, милый Осип Иванович, из Брна и тогда же писал к Патере, от которого ответа не получил и теперь не знаю, что с ним сделалось, потому прошу, узнайте об нем и уведомьте меня. Покуда я останусь в Варшаве, займусь польским языком и литературой, а через месяц отправлюсь в Петербург. В Варшаве я познакомился с Новаковским [64] и надеюсь, что он мне поможет во многом. Я ему показывал ваши письма и портрет в знак того, что вы в самом деле мой знакомый. Он о чехах не забывает, постоянно в польских изданиях пишет; есть статьи о чехах; так в Варшавской библиотеке [65] теперь помещена его биография Пуркине [66] и очень дельная, а в «Kółku domovem» [67] биогра-

---

[59] Карл I (1316—1378) — чешский король и император Священной Римской империи германской нации под именем Карла IV (1346—1378) (см.: *Spevaček* J. Karel IV. Život a dílo (1316—1378). Praha, 1980, 721 s.

[60] Вацлав IV (1361—1419) — чешский (1378—1419) и германский (1378—1400) король.

[61] Пограничная станция Варшавско-Венской ж. д., б. Петроковской губ. в Царстве Польском.

[62] Славянское название города Дрездена.

[63] Ранк Йозеф (1833—1912) — чешский лексикограф, автор пособия по изучению русского языка (1867—1868) и ряда словарей, в том числе чешско-русского (1902).

[64] Новаковский Януш Фердинанд (р. 1832) — польский врач и публицист, знакомивший поляков с жизнью и культурой чехов.

[65] «BibliotekaWarszawska» — ежемесячный научно-литературный журнал, выходивший в Варшаве (1841—1914).

[66] *Nowakowski J. F.* Życie i prace naukowe doktora Jana Purkyněgo.— Biblioteka Warszawska, 1861, t. III, s. 288—322; t. IV, s. 123—157. Пуркине Ян Евангелист (1817—1869) — чешский физиолог и деятель национального возрождения, а также переводчик с немецкого (Шиллер, Гете).

[67] Польский журнал для женщин, издававшийся Юзефой Шмигельской (Jozefa Smigelska) с 1861 г.

фия Штульца, написанная с большим чувством.[68] Вообще с его легкой руки поляки начинают заниматься чешским языком и сочувствовать чешскому делу. Напишите мне о себе и об наших, но только смотрите, чтоб в полиции не перехватили письма. Письмо мне в Варшаву можете адресовать в Hôtel de l'Europe № 86 или на имя Новаковского. Жду с нетерпением от Вас.

Преданный поклон Йозефинке, Богдану и всем Моурковым и Зеленым:[69] им я буду писать».[70]

А. С. Троянский сообщил о высылке Ровинского из Австрии в письме к редактору славянофильской газеты «День» И. С. Аксакову, куда он подрядился писать корреспонденции. «Слышали ли вы, Иван Сергеевич, что сделала австрийская полиция с г. г. Ровинским и Лыжиным? Они оба теперь в Варшаве. Не знаю, что думает предпринять Лыжин, а Ровинский хочет ехать в Петербург для объяснения с министром Горчаковым.[71] Странно положение Лыжина. Он пробыл за границей не больше месяца, не успел выучиться чешскому языку, да, как слышно, не знает хорошо и по-немецки, и вдруг полиция считает его эмиссаром, берет, подвергает наказанию и высылает за границу. Действие происходит в Моравии. Между тем вещи Лыжина оставались в Праге. Полиция вещи отправляет в Варшаву. Но Лыжин постоянно телеграфирует сюда, что вещи еще не получены им, — где же они?! . . Не знаю, чем все это кончится».[72]

Неизвестно, был ли Ровинский у Горчакова. Но факт высылки его из Австрии, как это видно из письма Троянского, был известен в России. Однако в газеты это сообщение не проникло, тогда как задержание славянофила Вл. И. Ламанского [73] во время его путешествия по Словакии было освещено русскими газетами.[74] Не потому ли о высылке Ровинского не было сообщено в печати, что он уже находился под надзором полиции?

Очутившись за пределами Чехии и оказавшись в России, Ровинский беспокоится о том, чтобы получить из Праги собранные им материалы и книги, какие он возил с собой и приобретал за границей. В письме от 9 сентября 1861 г. он просит А. Патеру отправить часть книг через книгопродавца, а об остальных дает следующее распоряжение: «Те книги, которые не могут быть пропущены нашей цензурой, конечно, оставьте. Вероятно, из таких только и есть Будущность [75] да Записки Фонвизина [76]

---

[68] *Nowakowski J. F.* Ksiądz Wacław Štulc, kanonik Wyszehradski. — Kółko domowe, 1861, s. 165—171; *Штульц Вацлав* (1825—1875) — чешский педагог, литератор и историк, политический деятель, друг К. Гавличка.

[69] *Зеленый Вацлав* (1825—1875) — чешский педагог, литератор и историк, политический деятель, друг К. Гавличка.

[70] LAPNP, poz. J. Koláře.

[71] *Горчаков А. М.*, князь (1798—1883) — министр иностранных дел с 1856 г., государственный канцлер с 1867 г.

[72] Рукописный отдел ИРЛИ, ф. 3, оп. 4, № 618.

[73] Ламанский Владимир Иванович (1833—1914) — русский славист, профессор Петербургского университета.

[74] См.: *Д‹убровский› П.* Приключения русских ученых, путешествующих по славянским землям. — Голос, 1863, 19 сентября, № 246, стр. 967—968.

[75] Газета, издававшаяся в 1860 г. в Лейпциге П. В. Долгоруковым (1816—1868), русским политическим эмигрантом, историком и публицистом.

[76] Имеются в виду изданные в Лейпциге в 1859 г. «Записки Фонвизина, очевидца смутных времен царствований: Павла I, Александра I и Николая I». М. А. Фонвизин

и Историческая библиотека;[77] Некрасова стихотворения [78] пошлите; остальные русские оставьте у себя: часть из Русской беседы отдайте в чтенарский сполек [79] и с них не требуйте назад. Между моими книгами есть Франция соч. Долгорукова,[80] оно принадлежит Подлипскому,[81] то ему и отдайте. У Ярошa (Вальдау) [82] спросите ваши Кутногорские письма [83] и две тетрадки Галека Новых стихотворений.[84] Одна тетрадка в переплете принадлежит Ранку, то, пожалуйста, ему ее и отдайте. Да попросите, чтоб он дал вам оригиналы стихотворений, которые в его Böhmische Naturdichter,[85] в особенности же славянские — Хладека;[86] он мне обещал, да надул. А без них моя статья, она, кажется, не напечатана, и по тому самому не может напечататься. Вы будьте так добры, дайте для меня переписать и пошлите письмо, но для верности с редиктом».[87]

В другом письме того же времени, посланном, по-видимому, также из Варшавы, Ровинский пишет: «Постарайтесь (кто-нибудь из вас: Александр Степанович или Адольф Осипович) увидеть Ярошa и взять у него, во-первых, печатные „Kutnohorské Epistoly" [88] (*нрзб*), моею рукою писаные чешские стихотворения и еще стихотворения, которые я получил от Ранка,

---

(1788—1854) — генерал-майор. По делу декабристов был приговорен к каторжным работам; племянник комедиографа Д. И. Фонвизина.

[77] В библиографическом справочнике «Вольная русская печать в российской публичной библиотеке» (Пг., 1920) издание под таким названием отсутствует. Имеется «Русская библиотека», издававшаяся в Лейпциге в те годы. Возможно, ее имеет в виду П. А. Ровинский. Издававшаяся «Историческая библиотека» при журнале «Современник» выходила с разрешения цензуры.

[78] Стихотворения Н. Некрасова. М., 1856.

[79] Студенческий кружок для чтения.

[80] В библиографических справочниках значится сочинение: La France sous le régime bonapartiste par le prince Pierre Dolgorukow. Londres, 1864, 240 p. Указания на более раннее издание этой книги отсутствуют

[81] Подлипский Йозеф (1816—1867) — чешский врач и общественный деятель, публицист, участник революционных событий 1848 г. в Праге, радикальный демократ.

[82] Ярош Йозеф (1837—1882) — чешский литературный критик, писавший по-немецки под псевдонимом Альфред Вальдау. Вот как характеризует его П. Ровинский в статье «Народные чешские поэты»: «Вальдау — собственно Ярош, следовательно чех, который, однако, постоянно пишет по-немецки, говорит охотнее также по-немецки, хотя знает по-чешски; постоянный посетитель немецкого театра, тогда как в чешском, не знаю, бывает ли три раза в год; знаток немецкой литературы, знаком также с литературой французскою и английскою. Но главный предмет его занятий — чешская литература и чешская культура. Он еще молодой человек. Написал до сих пор, кроме мелких статей в разных повременных изданиях: Böhmische Granaten — перевод чешских народных песен; Böhmische Märchen — перевод народных сказок: Böhmische Nationaltance, Kulturstudie (в двух частях) и Altböhmische Minnepoesie — переводы из Краледворской рукописи и других сборников чешской древней поэзии» (Русский вестник. Литературное обозрение и заметки, 1861, № 10, с. 1).

[83] Произведение К. Гавличка Боровского.

[84] Галек Витезслав (1835—1874) — чешский поэт и редактор ряда прогрессивных журналов.

[85] Название брошюры А. Вальдау-Ярошa, критическому анализу которой посвятил свою статью в «Русском вестнике» П. Ровинский (см. с. 24, прим. 7).

[86] Хладек Франтишек (1829—1861) — поэт-самоучка, по профессии ткач и резчик по дереву. Его стихотворения, известные Ярошу в рукописи, позднее были изданы Отакаром Мокрым.

[87] LAPNP, poz. A. Patery.

[88] *Havliček K.* Epistoly Kutnohorské. Kutná Hora, 1851.

там между прочим Крещение Владимира.[89] Он у меня их взял с незапамятных времен и постоянно надувал (*нрзб*); еще он мне обещал дать оригиналы чешские тех стихотворений, которые помещены в «Böhmische Naturdichter» и особенно славянские элегии Хладека; попросите его дать их вам, а вы перепишите и пришлите мне в письме. Если моя статья о Naturdichter напечатана в ,,Русском вестнике" (вы не знаете?), то я должен буду объявить в газетах, что не могу представить оригиналы потому, что автор из каких-то видов (вероятно, эти сочинения он сам изволил сочинить) не дал их, хотя прежде обещал. Или это было только для того, чтоб было известно его имя, а до остального ему мало дела». И далее:« Передайте мой низкий поклон Эрбену,[90] Ранку, Воцелю [91] и др. нашим общим знакомым. Ранку скажите величайшее спасибо за выписки, письмо от него к Лыжину получил и по отъезде Лыжина, несмотря на то, что оно было адресовано не на мое имя, я его распечатал, прочитал и потом уже послал в Петербург. Кланяйтесь Коларжу, к нему буду писать уже из Петербурга».[92]

* * *

Планы Ровинского быть посредником в русско-чешских общественных и литературных связях рушились самым неожиданным образом. Но он не оставляет своей мысли и просит Патеру писать в русские органы печати с тем, что сам будет переводить корреспонденции и статьи с чешского на русский язык. В письме от 19 (4) сентября из Варшавы для нас интересны некоторые новые детали: «Теперь я в России, — пишет он, — меня выпроводила сюда австрийская полиция, продержав под арестом почти 10 дней». Просит распорядиться его вещами: «у Шимы мой старый сюртук, отданный ему для переделки на русский армяк, возьмите его и заплатите за переделку. И потом все пошлите на мое имя в Петербург».[93]

И снова о сотрудничестве. Ровинский строит планы совместной деятельности для русской печати на чешские темы. Он пишет: «Мы будем друг другу корреспондировать. Кроме обыкновенной переписки, я предлагаю Вам следующее: составить маленькое историческое обозрение положения школ в Австрии вообще, а потом специально о школах в Чехах, с указаниями статистическими, с изложением разных метод и объема преподавания, о разделении школ на главные, реальные гимназии, высшие и т. д. Больших подробностей и разысканий не нужно. В общих фразах изложение о состоянии просвещения в Чехах вообще и как оно поступало вперед (со времен Гуса и ‹*нрзб*› моравских братьев),[94] как оно мало ими

---

[89] *Havliček K.* Křest svatého Vladimíra. — Obrazy života, 1861 (hl. I, II), 1867 (hl. III, IV, V).

[90] Эрбен Карел Яромир (1811—1870) — чешский этнограф, фольклорист, историк и поэт. Был членом-корреспондентом Академии наук в Петербурге и членом многих русских научных обществ, в том числе Русского географического общества.

[91] Воцель Ян Эразм (1803—1871) — ученый и поэт, основоположник чешской археологии.

[92] LAPNP, poz. A. Patery.

[93] Ibid.

[94] Члены религиозной секты, образовавшейся в XV в. после поражения наиболее последовательных сторонников учения Гуса.

исказилось по белогорской битве.[95] Все это страничках на двух на трех; коротко о мерах, принятых для общественного образования при Марии Терезии [96] и Иосифе II [97] — об этом несколько подробнее».

Советует «воспользоваться сочинением Венцига [98] по этому вопросу, было им издано три или четыре брошюры и потом еще что-то было в немецком педагогическом журнале. Таким образом, не вдаваясь глубоко в самостоятельные исследования, возьмите по этому предмету сочинений 5—6 и составьте по ним статью. Пишите, конечно, по-чешски; не заботьтесь слишком о стиле и языке, потому что я буду переводить, и язык будет уже мой. Эту статью мы поместим в каком-нибудь журнале и возьмем хорошие деньги, а вы, кроме того, дадите нашему читающему миру, дадите знать о своем имени, а я возьму с вас за перевод, смотря по работе, и сдеру с вас порядком, впрочем, слишком не обижу. Кроме того, постоянно сообщайте о новых явлениях в чешской литературе и указывайте на отдельные статьи, являющиеся брошюрами или в повременных изданиях по чешской литературе, истории, философии, праву, археологии и т. д. Чтоб можно было в некоторые подробности войти, можно бы писать каждомесячно, а иному сочинению посвятить одному целую статью. Этот труд не то что политизование,[99] он был бы вам сподручнее и полезнее и входил бы, так сказать, в самую колею ваших занятий. Конечно, интересны были бы и некоторые новизны, например, распространение чтенарских сполков,[100] возникновение новых школ и других заведений для народного образования. Итак, садитесь, читайте, беритесь за перо и пишите. За месяц чтобы у вас было что-то готово: если не в Петербург, то в Казань вы должны прислать хоть одну статью. Я со своей стороны буду сообщать сведения о нашей литературе, но не как дописы,[101] а лично только для вас».[102]

Из Варшавы Ровинский едет в Петербург и начинает писать статьи о чехах. «Живу здесь, — пишет он Патере 5 марта 1863 г., — в надежде заработать что-нибудь пером и пишу о чехах. Итак, в настоящее время мои денежные расчеты основываются на чехах. Кроме того, я беспрестанно мыслью возвращаюсь к вам. Слишком хорошо мне было между вами».[103]

Какие же статьи пишет Ровинский о чехах? Это, по-видимому, ряд ста-

---

[95] Битва при Белой горе под Прагой 8 ноября 1620 г., в которой чешским войскам, боровшимся за национальную свободу, войска католической лиги нанесли поражение, в результате которого Чехия надолго утратила свою политическую независимость и превратилась в австрийскую провинцию Богемию.

[96] Мария Терезия (1717—1880) — эрцгерцогиня австрийская (1740—1780) и императрица так называемой Священной Римской империи германской нации из династии Габсбургов.

[97] Иосиф II (1741—1790) — соправитель Марии Терезии (1765—1780) и император Священной Римской империи (1780—1790) представитель просвещенного абсолютизма, усиливший политику насильственного онемечения славян.

[98] Венциг Иозеф (1808—1876) — чешский педагог, писатель и политический деятель, участник событий 1848 г.

[99] От чешского слова politizovat — рассуждать о политике, заниматься политикой.

[100] Čtenarský spolek (чеш.) — читательское общество.

[101] Dopis (чеш.) — письмо.

[102] LAPNP, poz. A. Patery.

[103] Ibid.

тей в газете «Очерки»,[104] издававшейся Г. Елисеевым [105] и просуществовавшей весьма недолго. В это время он отдается деятельности в обществе «Земля и Воля» и только в этом контексте можно понять то место в письме, где он говорит, что его не пустили за границу. И тут же: «Я увидел, что дома нужнее, чем за границей».[106]

В течение почти десяти лет он пишет и публикует статьи о чехах, вспоминает чехов и тогда, когда оказался в Сербии. В Сербию он уехал в надежде на подъем освободительного движения там. «У меня есть вера в сербов, — пишет он из Белграда 25 апреля (4 мая) 1868 г., куда поехал как сотрудник «Санктпетербургских ведомостей»,— Я надеюсь, что и болгарское дело скоро поднимется и разрешится; только бы затеялось что-нибудь в романо-германском мире. Этим я только и живу теперь».[107] Он верил, что болгары поднимутся против многовекового османского ига.

В это время появляется ряд его статей об узловых моментах чешской истории и чешской культуры: «Главные моменты из истории чешского народа»,[108] «Из истории славянской женщины. (Очерк из истории культуры и нравов)» [109] и «Чехи в 1848 и 1849 гг.».[110] Эти статьи явились результатом большой исследовательской работы и глубоких раздумий над историческими судьбами чешской культуры.

Большой интерес представляет письмо Ровинского к Адольфу Патере из Белграда от 18/30 сентября 1868 г. Из него видно, что борьба чехов за свою национальную свободу продолжает его интересовать, и в своих раздумьях над тем, что происходит в Чехии, он вспоминает Гавличка и Шафарика и дает им очень высокую оценку как деятелям славянского возрождения. Ровинский пишет: «Теперь обращаюсь с вопросом к вам: что вы делаете? Я не спрашиваю, что делается у вас вообще, это видно целому свету, который, однако, кажется, не хочет ничего видеть и слышать, что касается чехов. Этот скорбный лист я постоянно читаю, и иногда так станет тяжело, что перестаю читать».[111]

Вспоминает своих чешских друзей: «Как поживает Вртятко,[112] Шимачек, Моурковы старики, Энглёвы,[113] Браунеры и проч., что делается в Гуд-

[104] Литература и народность славян австрийских (8 января 1863, № 7, с. 27); Письма о Чехах. I. Отношение русского общества и литературы к западным славянам (3 февраля 1863, № 33, с. 128—130); 2. Статистические данные, обусловливающие отношение славян вообще и чехов в особенности к другим народам в австрийских владениях (12 февраля 1863, № 41, с. 161—162). Принадлежность этих анонимных статей П. А. Ровинскому убедительно доказана в книге: Карасев В. Г. Сербский демократ Живоин Жуёвич. Публицистическая деятельность в России в 60-х гг. XIX ст. М., 1974, с. 98—99.

[105] Елисеев Г. З. (1821—1891) — русский критик, сотрудник журнала «Современник», член ЦК нелегального общества «Земля и Воля».

[106] LAPNP, poz. A. Patery.

[107] Там же.

[108] Современное обозрение, 1868, №№ 1, 2, 3.

[109] Неделя, 1869, №№ 16, 17, 19, 21, 23, 25, 26.

[110] Вестник Европы, 1870, №№ 1 и 2.

[111] LAPNP, poz. A. Patery.

[112] Вртятко А. Я. (1815—1892) — чешский писатель и филолог, библиотекарь Национального музея после смерти Ганки и редактор «Журнала Чешского музея» («Časopis Českého muzeum»).

[113] Семья Йозефа Энгеля, основателя Чешской Матицы, умершего в 1845 г. Его сын Эмануэл (1844—1907) — доктор медицины и поэт; был воспитателем в семье русского барона Дервиза.

лицах, о которых я теперь часто разговариваю с Троянским: [114] эти воспоминания в настоящее время для меня составляют источник наслаждения, потому что в Сербии подобной жизни нет.

Скажите, над чем вы трудитесь, скоро ли выйдет ваша чешская библиография? . . .[115] Здесь подобный труд приготовил уже Стоян Новакович, редактор Вилы,[116] и кажется уже начал печатать. Кстати было бы теперь появиться и вашему труду. Напишите об этом.

Да, еще прошу вас, сообщите мне, что сделано у вас по отношению к Гавличку: есть ли его полная биография, изданы ли его сочинения, хоть не все и что именно? а также и по отношению к Шафарику.[117] Это две великие личности: Ригер и Палацкий их потомки, только с меньшим гением, хотя влияние их, может быть, будет значительнее, потому что они действуют продолжительнее и при более благоприятных условиях.

Не вышло ли сочинение Бродского [118] о чешской женщине: я этим сочинением очень интересуюсь, хотя то, что им напечатано в «Květach»,[119] меня очень не удовлетворило; ожидаю от отдельного сочинения больше, а между тем в конце этого месяца отправляю свою статью о чешской женщине в какой-нибудь журнал в Россию.[120] Кстати: журнал, в котором я участвовал, «Современное обозрение», пропал, редактор его Тиблен [121] бежал, наделав громадных долгов, и мне теперь нужно искать другого приюта для своих статей. Думаю обратиться к «Вестнику Европы» Стасюлевича».[122] В этом журнале работал близкий друг П. Ровинского —

---

[114] К этому времени А. С. Троянский перешел на дипломатическую работу по Министерству иностранных дел и находился в Сербии.

[115] Katalog všech rukopisů českých a bohemik, chovaných v bibliotékách a archivech českých a zahraničných. Труд остался незавершенным за смертью автора.

[116] Новакович Стоян (1842—1914) — сербский политический деятель и ученый, автор трудов по истории, истории литературы и языкознанию. Издавал журнал «Вила» (1862—1868).

[117] Шафарик Павел Йозеф (1795—1861) — чешский ученый, основоположник славяноведения как науки, автор множества трудов, среди которых выделяются своей основательностью «История славянского языка и литературы всех наречий» (1826) и «Славянские древности» (1836—1837).

[118] Псевдонимом Й. В. Фрича (1829—1890), чешского поэта и политического деятеля радикально-демократического направления, одного из руководителей пражского восстания 1848 г.

[119] По-видимому, здесь у Ровинского ошибка. В журнале «Květy» за 1868 г. на эту тему напечатана статья Фр. Дворского «Ženy a dcery české v starověku» (č. 17, s. 131—133, 18, s. 139—142, 19, s. 147—150, 20, s. 155—158). Что речь идет именно об этой статье, говорит и то, что на стр. 131 в примечании к ней сообщалось, что статья является отрывком из «сочинения большего объема». Фр. Иван Дворский (1839—1907) — реальная личность. В 1869 г. действительно отдельным изданием вышло его сочинение «Staré písmene památky žen a dcer českých», о котором Ровинский знал по примечанию в «Květach». За наведенную справку выражаю сердечную признательность Зд. Урбану в Праге.

[120] Напечатана в журнале «Неделя» под названием «Из истории славянской женщины» (1868, №№ 16—21).

[121] Тиблен Н. Л. (1825—?) — петербургский издатель и книгопродавец. Журнал «Современное обозрение» начал выходить с января 1868 г. и прекратился на третьем номере. В этих трех номерах и была помещена статья П. А. Ровинского «Главные моменты в истории чешского народа».

[122] Стасюлевич М. М. (1826—1911) — русский историк, публицист и общественный деятель. С 1826 по 1908 г. издавал журнал «Вестник Европы».

А. Н. Пыпин. И действительно тут появилась его статья о 1848 годе у чехов. Но по своему содержанию и радикальной направленности статья явно не гармонировала с умеренно либеральным направлением журнала и оказалась последней работой в этом издании.

* * *

Письма и статьи Ровинского о Чехии дают представление о тех интересах, какие определяли его деятельность во время пребывания в этой стране и о том круге знакомых и друзей, с какими он общался. Круг этот достаточно широк: от руководителей либерально-консервативного лагеря национально-освободительного движения (Палацкий, Ригер, Браунер) до представителей радикальной демократии в лице Йозефа Подлипского и Йозефа Фрича.[123] Он был знаком с выдающимися учеными и литераторами (Эрбен, Воцель, Ранк и др.), возможно, с поэтом Галеком, стихи которого записывал себе в тетрадь. Эти знакомства вводили его в самую гущу общественной и учено-литературной жизни чехов.

Из чешской литературы его привлекают сочинения историков Палацкого, Томека [124] и другие исторические труды, тщательно изучает он Краледворскую и Зеленогорскую рукописи, которые потом обильно использует в статье о чешской женщине, изучает поэзию самоучек, читает произведения К. Гавличка. Оказавшись за пределами Чехии, он просит сообщать ему обо всех новостях чешской литературы и науки и сам обещает информировать о русской литературе чешских друзей. Своим друзьям он дает читать запрещенную в России литературу и у них берет подобные сочинения (Долгоруков, Фонвизин), не расстается со сборником стихотворений Некрасова, творчество которого, по-видимому, пропагандирует среди чехов. Получает на свое имя в Праге журналы «Современник», «Русскую беседу», «Век». Это лишь зафиксированные в письмах факты. В действительности общение Ровинского с чешской литературой и ознакомление чехов с явлениями русской литературы было, по-видимому, более широким.

Но для Ровинского мало было общения с литературой и представителями образованного общества. Он был этнограф и должен был знать жизнь народа не по сочинениям, а в быту и труде. С этим связано его путешествие по стране. В его представлении этнография — это наука, которая включает в себя всю совокупность материальной и духовной жизни народа: труд и быт, обычаи и нравы, мировоззрение, фольклор, литературу и т. п. Будучи человеком живого нрава, он быстро сходился с людьми. Даже по письмам можно заметить эту его черту, умение рассказывать живо и увлекательно, с шуткой и юмором. «Лица, которым приходилось встречаться с Ровинским в Иркутске и слышать его рассказы о своих путешествиях, — пишет хорошо знавший его Г. Потанин, — передавали, что это был превосходный

---

[123] С П. А. Ровинским И. В. Фрич встречался также в Петербурге в 1877 г. в чешском кружке: «В кружке, — записывает Фрич в дневнике, — был русский Ровинский. . .» (у Фрича ошибка: Робинский) (Frič. Paměti, Praha, 1963, s. 231).

[124] Томек Вацлав Владивой (1818—1905) — чешский историк.

рассказчик. Они уверяли, что статьи Ровинского, напечатанные в Иркутске, совсем не дают понятия о том блеске, с которым он передавал свои впечатления в устном рассказе. В кабинетной беседе он поражал богатством и глубиной своих наблюдений, юмором и остроумными догадками».[125]

Можно себе представить, какими оживленными, увлекательными были встречи русского путешественника, хорошо владевшего чешским языком, с чешскими крестьянами и вообще с простыми людьми. Неудивительно, что его принимали так хорошо и искренне, исключая досадных недоразумений в Моравии. Общительность и живость характера обеспечивали ему возможность близкого общения с чехами. Но славяне были для него не только предметом наблюдения. «Я не только наблюдал и изучал их, — пишет он, — но жил с ними и действовал. Так было со мною в Чехии, потом в Сербии, так случилось и в Черногории».[126] «Автору этих строк, — пишет сербский ученый, — П. А. сам рассказывал, как он, зачислившись в один из черногорских отрядов пехоты и получив ружье, пошел бороться вместе с черногорцами против арнаутов, как таскал с черногорцами пушки на снежные обледеневшие горы и показывал им, как должно их устроить и направить против врагов, как спускались сидя с высоких бездорожных, покрытых снегом гор, скользя по обледенелым уклонам».[127]

Подобные формы этнографического изучения народа позволяли ученому проникнуть глубоко в душу народа: люди не таились от него. Для них он был не господин, записывающий что-то в книжечку, а свой брат, человек, вместе с ними боровшийся за их общее дело. Если бы пришлось, то и в Чехии он поступил бы подобным образом. Это была методика русской революционно-демократической школы в этнографической науке. Она давала поразительные результаты.

Нам не удалось обнаружить дневниковые записи Ровинского. Возможно, что они были отобраны при аресте и находятся где-нибудь в архивах австрийской полиции в Брне. Их обнаружение позволило бы полнее воссоздать картину путешествия русского революционного демократа по Чехии и еще более подробно познакомиться с его наблюдениями.

К изучению жизни чехов Ровинский подходил как к части общей проблемы славянства. Он брал ее в широком плане, изучал славян во взаимодействии с другими народами. Изучив славянство в его соприкосновении с римско-германской и греко-византийской цивилизациями, он обращается к изучению славянской культуры в ее контактах с цивилизациями восточно-азиатскими, для чего отправляется в путешествие по восточной Сибири и в Китай. «Если славяне на юге и западе Европы, — говорил он, — цивилизовались под прямым влиянием культуры классического мира, приходя в соприкосновение с Константинополем и Римом непосредственно или через германцев, то для полного понимания их характера и способностей необходимо определить их роль и значение в обратном положении,

---

[125] *Потанин Г.* П. А. Ровинский. — Сибирская жизнь, 1916, 17 февраля, № 38.
[126] *Ровинский П.* Черногория в ее прошлом и настоящем, т. I, с. IV.
[127] *Вукачевич М. М.* П. А. Ровинский и сербы. — Изв. имп. Русского географического общества, 1916, т. 52, с. 537.

т. е. там, где они сталкивались с менее цивилизованными народами, должны сами явиться цивилизующими народами».[128]

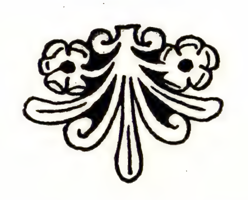
Только в аспекте «неизбежного взаимодействия Востока и Запада», полагал Ровинский, могут быть поняты закономерности развития культуры разных народов, и только те народы, которые способны усваивать и перерабатывать чужую культуру и оказывать в свою очередь воздействие на культуру соседних народов, могут не только выжить, но и участвовать в развитии мировой цивилизации. Вывод, к которому он приходит на основе изучения взаимодействия славян с западными и восточными азиатскими, был особенно важен для малых — славянских и неславянских — народов. Ровинский полон оптимизма. На какой бы ступени культурного развития ни стоял народ, писал ученый, у него «всегда найдется что-нибудь годное для заимствования другому народу, стоящему на высшей ступени цивилизации. Этого рода взаимодействие неизбежно, и оно непременно должно отразиться на образе жизни, морали и языке».[129] Тем более это можно сказать о малых народах, находящихся на высокой ступени развития, как например чехи. С этой точки зрения Ровинский подходил и к взаимодействию славянской культуры с культурами других народов. Методологическое значение подобных выводов исследователя в изучении взаимодействия культур разных народов актуально и поныне. Развитие подобных взглядов на взаимодействие культур шло в направлении, которое было затем разработано марксизмом.

---

[128] Сообщение г. Ровинского о поездке на Тунку и на Оку до Окинского карала. — Изв. Сиб. отд. имп. Русск. геогр. об-ва, 1871, т. 1, №№ 4 и 5, с. 31.

О встрече в Тунке с П. А. Ровинским сохранились любопытные сведения в статье: *О—в М.* Сибирские очерки. Тункинский край. — Русский курьер, 1881, 14 января, № 13, с. 1—2. — Тунка — южная часть Иркутской губернии, на границе с Монголией, сообщает автор. Тункинские степи — исконные земли бурят и «потому русские поселения там редки и являются как бы вкрапленными какой-то неведомой. . . силой». Встретить в таком захолустье образованного русского человека — событие редкое и приятное. Кто же был человек, которого встретил иркутянин М. О—в.? «Это был наш известный русский ученый и неутомимый путешественник, П. А. Р—ий,— пишет автор, — приехавший в Тунку для исследования быта местного русского населения, издавна брошенного судьбой в среду чужого ему племени — монголов и бурят». П. А. Ровинского интересовало взаимодействие в этих условиях быта, культуры и языка русских и бурят. «Для этой цели, — пишет далее М. О—в, — он жил в Тунке уже три месяца, собирая материал — или в виде народных песен, сказок, местных слов или же роясь в различных курганах и добывая оттуда черепа, различные остатки утвари и орудия, и проч. На неуспех своих трудов он не жаловался, что, впрочем, следует отнести к его редкой в других ученых способности сходиться с людьми, преимущественно с простым народом».

[129] Там же.





Л. И. Ровнякова

СЛАВЯНСКИЕ КОРРЕСПОНДЕНТЫ ГАЗЕТЫ «ГОЛОС» (1860-е годы)

Ежедневная политическая и литературная газета «Голос» выходила в Петербурге на протяжении 20 лет, с января 1863 по февраль 1883 г. Издателем и редактором ее был А. А. Краевский, почти полвека стоявший во главе крупнейших журнальных предприятий России.

Общественный подъем, последовавший за Крымской войной и смертью Николая I, способствовал оживлению периодической печати в целом и в особенности газеты как наиболее оперативного и массового вида печати, способной подробно, систематически и, главным образом, своевременно информировать читателей о разных формах политической, экономической и культурной жизни. «Жизнь убыстрилась и обострилась. Довольствоваться сведениями о политической жизни только раз в месяц стало невозможно. К тому же правительственная печать не могла удовлетворить возросшего общественного интереса к жизни как русской, так и зарубежной».[1] «. . .в России быстро растет число газет, в том числе частных. Особенно интенсивный рост наметился с 1861 г. Так, если в 1860 г. выходило всего 16 наименований, то в 1869 их было уже 34. В небывалых размерах растут тиражи газет, все больше становится у них читателей; увеличивается формат газетной полосы, заметно улучшается техника набора и культура печатания».[2] Важным разделом их содержания в 60-е гг. впервые становится внешняя политика.

Передав в августе 1862 г. «С.-Петербургские ведомости» В. Ф. Коршу, Краевский начинает усиленно хлопотать о новой газете. Вскоре разрешение на издание «Голоса» [3] было получено. «Голос» начал выходить с 1 января 1863 г. и уже к концу десятилетия превратился в одну из наиболее влиятельных и распространенных русских газет. К «Голосу» прислуши-

---

[1] *Козьмин Б. П.* Журналистика 60-х годов. М., 1948, с. 66—67.

[2] Очерки по истории русской журналистики и критики. Ред. В. Г. Березина и др. Л., 1965, т. 2, с. 31.

[3] С 1871 г. соредактором А. А. Краевского стал историк и публицист В. А. Бильбасов.

вались не только десятки тысяч его читателей в России, но и далеко за ее пределами.[4] По свидетельству современников интерес к газете в немалой степени определялся «замечательной способностью Краевского привлекать к себе наиболее даровитых сотрудников».[5]

За газетой Краевского пристально следил из своего «далекого далека» А. И. Герцен. В литературе вопрос об отношении Герцена к «Голосу» специально не рассматривался. Обращение к эпистолярному наследию издателя «Колокола» и прежде всего к его переписке с Н. П. Огаревым 1867—1870-х гг. убеждают в неослабном интересе его к «Голосу». Так, в письме от 2 (14) августа 1867 г. из Ниццы Герцен писал: «. . .„Голос" следует выписывать».[6]

Сказанное отнюдь не означает, что Герцен полностью разделял и одобрял направление «Голоса». Он подверг осмеянию сообщение в № 356 «Голоса» от 25 декабря 1868 г. о «кончине» «Колокола», защищал Белинского от Краевского, когда писал: «. . . в „Голосе" бесконечно дрянная статья, должно быть самого Краевского, — оправдательная для него и обвинительная Белинскому и его друзьям».[7] Вместе с тем «Голос» 1860-х гг. был в глазах Герцена, по-видимому, весьма авторитетным информативным печатным органом. Не случайно свое опровержение в связи с распространившимся в России слухом о предполагаемом его возвращении на родину 7 апреля 1869 г. редактор «Колокола» адресовал Краевскому в «Голос», где оно и было напечатано в виде «Открытого письма к редактору-издателю». Будучи в эмиграции, Герцен пользовался «Голосом» как источником сведений о России,[8] о зарубежных славянах, судьбы которых он постоянно связывал с историческими путями своей родины.

Информация была сильной стороной «Голоса». Широкой по своему территориальному охвату была в нем и география политических новостей. Эти сообщения, как правило, получались с мест. С первых же номеров «Голос» уделял большое внимание освещению проблем пореформенной России, оказывал поддержку правительству в его действиях. Однако вопросы внутренней жизни России не были доминирующими в «Голосе». Открывалась газета отделом политики. Первые ее столбцы заполнялись изложением вопросов международного права, отношений между государствами, событий за рубежом. При этом значительное место занимали отношения России со славянами.

В ознакомлении русского общества 20-х гг. с положением балканских славян на газету падала нагрузка, возможно, не меньшая, чем на долю «политических обозрений» демократической печати тех лет («Современник»,

---

[4] Русская старина, 1889, № 8, с. 713.

[5] ИРЛИ, ф. Р 1, оп. 25, ед. хр. 30; см. также: *Зотов В. Р.* Нестор русской журналистики. — Исторический вестник, 1889, ноябрь, с. 362.

[6] *Герцен А. И.* Собр. соч. в 30-ти тт., т. XXIX, кн. 1, с. 174. — Об отношении Герцена к газете см. также его письма от 5 (17) апреля (там же, с. 314), 3 (15) мая (с. 339), 26 июня (8 июля) 1868 г. (кн. 2, с. 405).

[7] Там же, т. XXX, кн. 1, с. 166. Письмо к Н. П. Огареву от 3 (15) августа 1869 г.

[8] Сообщая Н. П. Огареву о том, что парижская «Siècle» «Не только принимает нашу корреспонденцию о России, но и просит о ней», Герцен добавлял: «Я из „Голоса" кое-что составлю» (там же, с. 209. Письмо от 24 сентября (6 октября) 1869 г.).

«Русское слово», «Очерки»).[9] Чем же объяснялся возросший в 60-е гг. интерес России к судьбе своих соплеменников на Балканах?

Потерпев поражение в Крымской войне, царизм был вынужден пересмотреть свою политику в этом регионе. Война 1853—1856 гг. показала, что у России нет союзников в Европе. Нессельроде и его окружение, проводившие курс на сближение России с Австрией и Пруссией, были отстранены. Весной 1856 г. Министром иностранных дел был назначен кн. А. М. Горчаков. На важнейшие дипломатические посты он поставил людей, многие из которых в принципе сочувствовали славянам (Е. П. Ковалевский, В. П. Балабин, Н. П. Игнатьев и др.).

Не будучи в состоянии активно вмешиваться в обострившуюся борьбу на Востоке, русское правительство не могло в то же время отказаться от сохранения дружеских отношений с южными славянами, так как с этим было связано влияние России и ее значение на Балканах. Симпатии к славянам проявлялись, в частности, в усилении интереса к их борьбе за свободу, в стремлении оказать ей возможное содействие. Правда, речь шла лишь о «поддержке мирными средствами», с тем чтобы «предупредить, или, по меньшей мере, ограничить общее насильственное столкновение (collision violent), которое может вызвать прискорбное кровопролитие, опасность пробуждения религиозного фанатизма и в заключение европейскую войну (conflagration)».[10]

«Голос» Краевского открыто сочувствовал национально-освободительному движению южных славян, причем газета последовательно стояла на позициях невмешательства во внутренние дела Балканского полуострова, считала территориальные приобретения в этом районе нецелесообразными и даже вредными для России, подвергала принципиальному сомнению программу славянофилов в отношении будущих судеб славян.

Какими же источниками пользовалась газета Краевского? По существовавшей в русской прессе традиции сведения черпались преимущественно из иностранных источников. Но в середине 60-х гг. Россия стремится организовать и самостоятельное получение информации из-за рубежа. Впервые русскими газетами создается институт собственных заграничных корреспондентов. Появлялись такие корреспонденты и на Балканах. «Голос» был первой русской газетой, которая стала публиковать информацию с мест.[11] Как установил С. А. Никитин в статье «Южнославянские связи русской периодической печати 60-х годов XIX в.»,[12] «Голос» помещал сообщения из разных мест Балканского полуострова: Афин, Корфу, Бухареста, Белграда, Константинополя. Проследив периодичность поступления информации из отдельных центров, исследователь пришел к выводу, что сообщения из Белграда и Константинополя в 1863—1864 гг. и Праги

[9] Ср. нашу статью «Вопросы национально-освободительной борьбы южных славян в русской демократической печати 1860-х гг.» (в кн.: Взаимосвязи русской и зарубежных литератур. Л., 1983, с. 183—209).

[10] *Никитин С. А.* Очерки по истории южных славян и русско-балканских связей в 50—70-е гг. XIX в. М., 1970, с. 151.

[11] Впервые славянский отдел был создан в газете «С.-Петербургские ведомости» в апреле 1859 г. Однако публиковавшиеся здесь корреспонденции составлялись в недрах Азиатского департамента, были сухи и никак не комментировались. Задача, возложенная на отдел, не была достигнута и в 1861 г. он был закрыт.

[12] Учен. зап. ин-та славяноведения. М., 1952, т. VI, с. 112—121.

в 1864 г. поступали сравнительно редко, в то время как известия из Афин за тот же период были довольно регулярными.

Корреспонденции, получаемые газетой Краевского с Балкан, весьма полно отражали фактическое положение в регионе, хотя и с присущей этому умеренно либеральному органу осторожностью. Каждый раз, когда редакция находила публикуемый материал слишком рискованным, — следовало примечание редакции. Так, сообщив со слов своего корреспондента (Л. Каравелова, — *Л. Р.*) из Крагуеваца о разногласиях между представителем народной скупщины протоиереем И. Йовановичем с министром внутренних дел Сербии Н. Христичем, редакция добавляла «Мы с большим удовольствием печатаем все, что хоть сколько-нибудь разъясняет внутренний быт славянских племен, но должны постоянно делать оговорку перед нашею и заграничной славянской публикою, что отнюдь не берем на себя ответственности за сообщаемые нам сведения и в з г л я д ы (разрядка наша, — *Л. Р.*), Судить из Петербурга об истинном положении дел в Белграде для нас невозможно. . .» И заявляя далее, что «русская печать не может и не должна оскорблять кого бы то ни было в славянстве», редакция предлагала «немедленно напечатать возражение», если таковое поступит.[13]

В обстоятельной статье С. А. Никитина, к сожалению, отсутствует общая оценка роли и места «Голоса» в освещении русской прессой славянского вопроса в 60-х гг. XIX в. Остался не выявленным до конца и круг лиц, писавших в газете о положении балканских славян.[14] Далеко не в полной мере разработан и вопрос о зарубежных корреспондентах газеты. Так, остался неотмеченным факт участия в «Голосе» видного землевольца П. А. Ровинского.[15] Неполно, а потому недостаточно точно освещено сотрудничество в газете известного сербского демократа, ученика и последователя Н. Г. Чернышевского, Живоина Жуёвича (1838—1876) и идеолога национально-освободительной борьбы болгарского народа, писателя и публициста Любена Каравелова (1837—1879).

За 10 лет, проведенные в России (1857—1866), Жуёвич вырос в крупного публициста.[16] Тесно сблизившись с революционно-демократическими кругами русской столицы, он отказался от сотрудничества в церковных журналах и стал печататься в демократических органах — газете «Очерки» и журнале «Современник».

Некоторые уточнения относительно участия в издательском аппарате «Голоса» Ж. Жуёвича внес В. Г. Корасев в специальной статье, опубликованной в 1968 г. в югославской печати.[17] Впоследствии результаты своих

---

[13] «Голос», 1867, 25 октября (6 ноября). Ср. также примечания редакции № 68 от 8 (20) марта и № 119 от 30 апреля (12 мая).

[14] Из материалов личного фонда А. А. Краевского (ГПБ, ф. 391) видно, что, кроме упомянутых С. А. Никитиным В. И. Кельсиева и П. П. Дубровского, о положении на Балканах в «Голосе» писали В. А. Бильбасов, А. С. Будилович, Г. Готлиб, Д. Л. Мордовцев, Н. А. Попов, С. А. Рогаля, а также ряд лиц, скрывших свое имя за псевдонимами.

[15] Участие П. А. Ровинского в «Голосе» устанавливается на основании изучения переписки А. А. Краевского с А. Н. Пыпиным по гонорарным вопросам. — ИРЛИ, ф. 250, оп. 2, № 32; оп. 3, № 124.

[16] На это еще в 1890 г. указал Р. Милошевич. См.: *Petrović R.* Bibliografija radova Živojina Žujovića. — Savremene škole. Beograd, 1950, N 1—2, s. 8.

[17] *Карасјов В. Г.* О сарадњи српског демократа Живојина Жујовића у листу «Голос». — Зборник за друштвене науке. Нови Сад, 1968, св. 51, с. 60—78.

наблюдений ученый обобщил и включил в книгу, посвященную анализу публицистики Жуёвича в русской периодической печати 60-х гг. XIX в.[18]

В указанной монографии сотрудничество Жуёвича в русской печати охарактеризовано достаточно полно, но все же не исчерпывающим образом. Так, подвергнув детальному анализу статью «Славянский юг» («Современник», 1863, № 6), бесспорно определяющую для понимания публицистики Жуёвича начала 60-х гг., Карасев справедливо отметил «удивительную созвучность» ее выводов о невозможности революционных выступлений славян в ближайшее время и их надежды на Россию с положениями и выводами статьи Н. Г. Чернышевского «Народная бестолковость».[19] Вместе с тем автор не поставил названную статью Жуёвича в непосредственную связь с полемикой вокруг хомяковского послания «К сербам», хотя этот факт уже был отмечен в литературе.[20] Названная статья Жуёвича, равно как и напечатанное почти одновременно с ней в газете «Очерки» «Слово южного славянина к славянофилам», явились важной вехой в истории сербской революционно-демократической мысли. С ними связано начало проникновения идей Чернышевского к южным славянам. Труды Жуёвича, как известно, подготовили приход Св. Марковича.[21]

Следует сказать, что если участие Ж. Жуёвича в «Голосе» было сравнительно недолгим, а количество подготовленных им материалов — небольшим, то сотрудничество Л. Каравелова в «Голосе» составило целую эпоху в его творчестве.

Болгарские и советские ученые проделали огромную работу по выявлению и собиранию публицистического наследия Л. Каравелова московского периода его жизни (1857—1867). В советской исторической науке исследованиям публицистики Каравелова в русской периодической печати первым занялся С. А. Никитин. Он установил, что в 1866—1867 гг. в «Голосе» и «Русских ведомостях» болгарский публицист поместил 29 статей и корреспонденций. Несколькими годами позже К. А. Копержинский, изучая художественные произведения Каравелова, опубликованные в русских журналах, выявил попутно 8 заметок, напечатанных в газетах («Московские ведомости» — 6, «С.-Петербургские ведомости» — 1 и «Голос» — 1).[22] Итог предшествующим исследованиям советских ученых подвел С. И. Сидельников в статье «Участие Любена Каравелова в русской периодической печати» (1962).[23]

Значительный вклад в изучение творчества Л. Каравелова внесли его соотечественники. Акад. М. Димитров собрал и издал два тома публицистики Каравелова. В том 1-й (1958 г.) исследователь включил 104 публика-

---

[18] *Карасев В. Г.* Сербский демократ Живоин Жуёвич. М., 1974.

[19] Там же, с. 111.

[20] Ср.: *Гольберг М. Я.* К истории полемики вокруг славянофильского послания к сербам. — В кн.: Вопросы первоначального накопления капитала и национально-освободительного движения в славянских странах. М., 1972, с. 203.

[21] *Вулетић В.* Светозар Марковић и руски револуционарни демократи. Нови Сад, 1964, с. 237.

[22] *Копержинский К. А.* Журнально-публицистическая деятельность Л. Каравелова в России. — Учен. зап. ин-та славяноведения. М., 1956, т. XII, с. 176, 182—184, 191—192 (то же в пер. на болг. яз. в кн.: Известия на института «Ботев—Левски». София, 1956, кн. 2, с. 39—87.

[23] Исторически преглед. София, № 5, с. 66—86.

ции, во 2-й (1965 г.) — 186, из которых на «Голос» приходятся соответственно 75 и 109 материалов.

При всей значительности проделанной работы, издание это, как было отмечено критикой, грешит существенными недостатками. К числу серьезных недочетов наряду с неверным утверждением автора о «преимущественном влиянии на Каравелова идеологии русского славянофильства», следует отнести включение М. Димитровым в указанные тома материалов, перу Каравелова не принадлежащих. Ошибки подобного рода связаны с тем, что свои статьи и корреспонденции в «Голосе» болгарский публицист публиковал анонимно, в редких случаях подписывая их одним из своих псевдонимов.[24]

По вопросу об авторстве отдельных статей и корреспонденций Каравелова в «Голос» до сих пор идут споры. Мнения ученых не совпадают, а иногда взаимоисключают друг друга. Особую трудность представляют в этом отношении передовые статьи, многие из которых М. Димитров ошибочно приписал Каравелову.[25] Передовые статьи «Голоса» специально еще не обследовались. Следует заметить, что они в большинстве своем анонимны, не имеют заглавия, написаны водянисто и осторожно. Каждая мысль обставлена в них оговорками, чтобы невозможно было использовать материал в невыгодном для редакции свете. М. Е. Салтыков-Щедрин был прав, пародируя «руководящие» статьи либеральных изданий России.

Программных статей, подобных статьям «Московских ведомостей»,[26] в «Голосе» не было. Газета не являлась органом какой-либо определенной политической партии. Но, как и всякая легальная беспартийная газета XIX в. в России, «Голос» имел свое классовое лицо. Это была в целом газета казенно-официозного направления, поэтому нам представляется маловероятным, чтобы опытный в журнальном деле редактор, каким был Краевский, решился бы поручить открывать номер Л. Каравелову — иностранному подданному, к тому же выделявшемуся среди болгарских студентов, учившихся в Москве, радикализмом взглядов. Краевский не мог не знать, что «русский воспитанник» за чтение «нелегальных изданий Герцена» и «рукописей недозволенного содержания» находился под негласным надзором полиции.[27] Вопрос о принадлежности Каравелову материалов, опубликованных в русской печати, еще ждет своего окончательного решения.

Мы целиком разделяем мнение советских историков В. Г. Карасева и С. И. Сидельникова, которые в рецензии на второй том «Публицистики» писали: «Допущенные составителем указанных двух томов ошибки требуют тщательного пересмотра всего собранного материала. Назрела необходимость нового критического издания публицистического наследия

---

[24] Свои статьи в «Голосе» Каравелов подписывал следующими псевдонимами: Л.; К.; К. Л.; Л. Ст.; L. S.; S.; S. S.; Л. Калчо; Л—чо; «Болгарин», «Южный славянин», «Балканский родолюбец»; «Софиянчанин», «Один из членов Болгарского центрального комитета».

[25] См.: Литературна мисъл, 1958, № 6, с. 113—119; Исторически преглед, 1959, № 6, с. 89—96.

[26] Показательно, что В. И. Ленин называл монархическо-реакционные «Московские ведомости» Каткова, резко осуждая ее конкретно-политическую направленность, «самой интересной, самой последовательной *и самой дельной* политической газетой в России» (*Ленин В. И.* Полн. собр. соч., т. 5, с. 336).

[27] История на България в два тома. София, 1954, т. 1, с. 424—425.

Каравелова, издания, которое бы отвечало всем требованиям современной источниковедческой науки».[28]

Прежде всего возникает вопрос почему Л. Каравелов и до него Ж. Жуёвич избрали для своих публицистических выступлений именно «Голос»?

Очевидно, прав Л. В. Воробьев, который объясняет это «относительной свободой» корреспондентов «Голоса». В подтверждение своей мысли исследователь приводит письмо Л. Каравелова к В. Р. Зотову от 6 июля 1867 г. из Белграда, где, отвечая согласием на приглашение сотрудничать в «Иллюстрированной газете», он ставил условием «статьи его поправлять, но не сокращать, т. е. поправлять язык, но не стиль».[29] «Тон требования, — заключает Воробьев, — лишний раз убеждает в том, что в „Голосе" Каравелов чувствовал себя уверенно, излагая свое мнение по балканскому вопросу со всей возможной полнотой и независимостью».[30]

Каравелов встает со страниц «Голоса» пламенным патриотом, настойчиво ищущим ответ на вопрос как наиболее эффективно организовать и вести борьбу за освобождение Болгарии и других южнославянских земель от ненавистного иноземного ига. Газету Краевского Каравелов использовал как информативно удобную для себя общественную трибуну, владея искусством умело преодолевать в своих выступлениях «рогатки и препоны цензуры». Поэтому вряд ли можно согласиться с проф. К. Шаровой, что в московский период жизни революционные взгляды Л. Каравелова «наиболее ярко проявились в его художественных произведениях, а не в публицистике».[31] Изучение публицистики Каравелова в «Голосе» дает основание не согласиться с подобным утверждением.

Целью настоящей работы является не выявление каких-то новых произведений Каравелова в газете «Голос» (мы будем оперировать только теми материалами, принадлежность которых перу Каравелова безусловно доказана), а анализ его взглядов 1860-х гг. и по вопросам освободительной борьбы южных славян, которые проявились в газетных выступлениях автора. Исследование процесса становления и развития революционно-демократической идеологии имеет первостепенное значение для славяноведения. Революционные демократы в славянских странах,

---

[28] Вопросы истории, 1972, № 3, с. 204. Ср. также: Литературна мисъл, 1975, № 2, с. 109.

[29] *Воробьев Л. В.* Любен Каравелов. М., 1980, с. 123.

[30] Там же. — В письме от 6 мая 1867 г. некоему Александру Ивановичу (Кошелеву?) Л. Каравелов подчеркивал, что «Голос», по его мнению, «не имеет славянофильского пристрастного взгляда, не имеет также и казенного направления». Далее автор письма просил своего корреспондента лично поблагодарить А. А. Краевского от своего лица и будущих потомков за некоторые передовые статьи газеты, где выражалось искреннее сочувствие освободительной борьбе славян (ГПБ, ф. 391, ед. хр. 413, л. 455). Позднее отношение Каравелова к «Голосу» изменилось. В 1871 г. в газете «Свобода» Каравелов осудил призыв русской газеты на сближение официальной России с австрийскими и турецкими славянами в целях их спасения от пангерманизма. «„Голос" не в состоянии понять наши стремления и мысли <. . .> Мы хорошо знаем, что народ в России не имеет голоса и не может свободно излагать свои чувства, а гг. Катков и Краевский — сомнительные люди, сочувствующие народу и славянам из выгоды» (цит. по кн.: *Велчев В.* Българо-руски литературни взаимоотношения през XIX—XX в. София, 1974, с. 102).

[31] *Шарова К.* Любен Каравелов и българското освободително движение. 1860—1867. София, 1970, с. 28.

и среди них серб Ж. Жуёвич и болгарин Л. Каравелов, первыми обратились с революционной проповедью к своим народам. В этом их огромная историческая заслуга. А «обращение с революционной проповедью к народу, — отмечал В. И. Ленин, — не пропадет даже тогда, когда целые десятилетия отделяют посев от жатвы».[32] В свете этого принципиально важного указания изучение публицистического наследия славянских демократов-шестидесятников Ж. Жуёвича и Л. Каравелова представляется актуальной задачей современного литературоведения.

* * *

Фронтальный просмотр газеты «Голос» за 1863—1869 гг. позволил выявить более 200 материалов о жизни народов Балканского полуострова. Большая подборка касалась так называемого «восточного вопроса» в целом и современного положения Турции (44 материала). Основная же группа статей, заметок и корреспонденций как по числу, так и по объему связана с положениями отдельных славянских народов. Их 146, в том числе о Болгарии — 57, Сербии — 48, Боснии — 10, Герцеговине — 9, Черногории— 5, австрийских славянах — 17. Кроме того, в газете можно выделить еще три группы материалов: общие сведения о положении славянских народов (18 статей и корреспонденций), мнение западно-европейских газет и журналов о положении на Балканах (9) и разные материалы (их тоже 9). Корреспонденции из славянских земель публиковались в рубрике «Новости заграничные», «Из славянских земель» (позже «Славянские земли»),[33] в разделе «Телеграммы», «Телеграммы, доставляемые Русским телеграфным агентством», а иногда и в рубрике «Разные известия», которая время от времени помещалась в конце номера.

«Голос» довольно часто печатал также заметки научного характера: о праздновании 50-летнего юбилея сербского восстания против Турции, который отмечался летом 1865 г.; о праздновании 14 февраля 1869 г. 1000-летия кончины св. Киррила; о «настоятельной необходимости нравственного объединения русских с другими славянами» (1866, сентябрь). Поместила газета и рецензии И. Прыжова на сочинение А. Л. Дювернуа «Об историческом наслоении в славянском словообразовании» (1867, июль) и др.

Классификация славянских материалов в «Голосе» в известной мере условна. Обилие и многотемье материала, а также его информационно-хроникальный характер обусловливают хронологический порядок его рассмотрения. Это позволит показать, что «восточный вопрос» неизменно стоял в центре внимания европейской политики до Берлинского конгресса, то затихая, то обостряясь в периоды крупных исторических событий в жизни отдельных народов Балканского полуострова, и читатели «Голоса» получали о нем достаточное ясное фактическое представление.

---

[32] *Ленин В. И.* Полн. собр. соч., т. 21, с. 261.

[33] Рубрика из «Славянских земель» появилась впервые в № 165 «Голоса» от 17 (29) июня 1867 г. и продолжалась до № 253 от 13 (25) сентября того же года. С № 272 от 2 (14) октября 1867 по 9 (21) января 1868 материалы о славянах были объединены в раздел «Славянские земли».

Первое сообщение, касающееся современного положения Турции (1863, 17 января), являлось перепечаткой из газеты «Journal de S.-Pétersbourg». Газета возражала против вооружения Турции и утверждала, что укрепить свое положение Порта может лишь посредством «разумного, справедливого и человеческого правления, которое усилило бы благосостояние ее христианских подданных и вассалов и заслужило бы их любовь».

Значительное место в «Голосе» за 1863 год уделено военным приготовлениям Турции.[34]

Ссылаясь на сообщения «Independans Belge», «Голос» в № 195 от 31 июля (12 августа) писал о том, что «Омер-паша получил приказ отправиться на берега Дуная, чтобы сформировать новый корпус на территории Болгарии и принять командование войсками Румелии. Четыре батальона пошли на Шумлу. Другие отряды последуют за ними». [35]

Сведения о положении в Черногории были противоречивы. В январе «Голос» сообщал о намерении Турции проложить на ее территории военную дорогу и построить форты для ее укрепления,[36] а 31 мая (12 июня), со ссылкой на газету «Vaterland», говорилось об отказе Порты от постройки блокгаузов в Черногории, согласии турецкого султана установить с ней границы и намерении последнего ежегодно оказывать денежную помощь черногорскому населению.[37] 26 июня (9 июля) газета писала о царящем на границах Черногории спокойствии, наступившем после отвода турецких войск. Вместе с тем высказывалось твердое убеждение, что «покуда зверский Али-бег в Требинье и Сулейман-ага в Спуже будут возмущать мусульман против христиан — прочность мира не может считаться надежной».[38]

Значительное место уделялось газетой Краевского положению австрийских славян. 15 (27) августа 1863 г. «Голос» приветствовал возобновление славянского журнала «Ost und West», закрытого властями осенью 1862 года.

Сведения о болгарах «Голос» излагал со ссылкой на константинопольского корреспондента чешской газеты «Световид»: «Касательно болгар следует сообщить кое-что любопытное. Унии в Болгарии уже нет. Вместо римско-католической газеты „Български вестник“ начали выходить „Свѣтник“ и „Българска пчела“».[39]

Знакомил «Голос» своих читателей и с положением дел в Кроации (Хорватии) и Славонии. Сообщалось, в частности, о недовольстве действиями австрийского двора, о разногласии с ним загребской жупы, о требовании конгрегации крижевацского округа закрыть выходящие в Загребе официальные газеты, как не отражающие общественного мнения, о намерении добиться освобождения д-ра Старчевича, Даничича, Клаича и Пулича, невинно осужденных австрийскими властями. Основная мысль статьи была выражена в последнем абзаце: «Ясно, что подобные факты возможны только в государстве, где отношения между народом и правительством не гаран-

[34] См., например: 1863, 18 (30) января; 1863, 25 мая (6 июня).
[35] 1863, 31 июля (12 августа).
[36] 1863, 18 (30) января.
[37] 1863, 31 мая (12 июня).
[38] 1863, 15 (27) августа.
[39] 1863, 14(26) августа.

тируются свободой прессы. Конституция без закона о свободе печати — то же, что писание уставных грамот без мирового посредника».[40]

Главное внимание в 1863 г. «Голос» уделял положению в Сербии. В сентябре 1860 г. к власти здесь пришел новый князь Михаил Обренович. Сербия, завоевавшая в двух восстаниях (1804, 1815 гг.) свободу от турецких помещиков и существенные правовые основы независимости (наследственный князь, внутренняя автономия), оставалась в вассальной зависимости от султана, платила ему дань. На сербской территории сохранялись турецкие крепости, вокруг которых продолжало жить турецкое население, не подчинявшееся сербской юрисдикции. В 1862 г. крепости в Белграде подверглись варварской бомбардировке со стороны турок. Сербы были возмущены. Со ссылкой на сообщения из Сербии «Голос» в № 16 от 18 (30) января писал о готовности последней нанести удар Турции, «о намерении еще в течение зимы переправить войска через Тимок, занять окрестности Видина и этим первым движением благоприятствовать восстанию в Болгарии, долженствующим вспыхнуть в то же время».[41]

Воспользовавшись полемикой между «Daily-News» и «Morning Post», «Голос» излагал мнение автора серба недавно изданного сочинения «Дело Сербии», который отстаивал идею федерации как заслон от посягательств Турции и других держав, считал, что нужно удалить из Белграда турецкие пушки и сдать крепость. «И пока это не будет сделано, — заключал автор, — столкновения будут неизбежны». [42]

Спустя два дня газета Краевского поместила выдержки из редакционной статьи газеты «Morning Post». «Если сербы недовольны своим положением, — писала в заключение английская газета, — пусть они винят в этом самих себя».[43]

Ответом на позицию Англии по отношению к Сербии явилась обширная статья «Голос к Европе с Балканского полуострова», перепечатанная из чешской газеты «Narodní Listy», где от лица всех южных славян «просвещенная Европа» обвинялась в том, что она «не видит их горя, их национальных ран и с жестокой несправедливостью содействует их притеснению». Обращение кончалось словами: «Мы требуем от Европы одного — чтобы она не становилась нам поперек дороги, если не хочет помочь нам! Итак — победить или умереть! Свобода или смерть — вот лозунг!»[44]

Одно за другим печатает «Голос» в 1863 г. известия о росте недовольства среди сербов. «Расположение умов в Сербии самое воинственное, — писал «Голос» со ссылкой на Аграмскую (Загребскую, — *Л. Р.*) газету от 16 мая. — Вооружение деятельно продолжается, так что армия скоро достигнет 50—60 тыс. человек. Оружейная фабрика в Крагуеваце передала уже 14.000 старых ружей». По всей Сербии распространяются воззвания. Они проникают в Боснию и Болгарию, которых приглашают к содействию для изгнания османов.[45]

---

[40] 1863, 21 августа (2 сентября).
[41] 1863, 20 января (1 февраля).
[42] 1863, 25 марта (6 апреля).
[43] 1863, 27 марта (8 апреля).
[44] 1863, 25 апреля (7 мая).
[45] 1863, 16 (28) мая.

Подробно излагал «Голос» решения Европейской комиссии по определению границ белградской крепости,[46] требование сербов очистить от мусульман ряд территорий, в том числе квартал на левом берегу Дрины,[47] Малый Дворик [48] и другие.

Завершают обзор славянских материалов в «Голосе» за 1863 г. две большие анонимные статьи «Отношение сербов к настоящему положению дел в Европе и Турции»,[49] в сентябрьском номере газеты и «Разрешение славянского вопроса»» — в № 337 от 19 декабря. Тематически статьи во многом перекликаются. Говорилось в них о необходимости объединить силы в борьбе с общим врагом как залоге успеха славян и излагался план создания самостоятельных и независимых друг от друга государств на Балканском полуострове после освобождения от иноземного ига.

В известной мере лицо «Голоса» в освещении славянского вопроса в 1864 г. определило сотрудничество в нем Ж. Жуёвича.

С 22 марта 1864 г. он возглавил в «Голосе» славянский отдел. Оставаясь на этом посту до января 1865 Жуёвич, как установил В. Г. Карасев, подготовил 19 материалов, из которых пять являлись оригинальными статьями, пять — компиляциями и девять — переводами из зарубежных газет. Из этих материалов только одна статья — «Сербия и ее гости» — подписана автором (буквой Ж), все остальные публиковались анонимно.[50]

Поскольку вопрос о сотрудничестве сербского революционера-демократа уже рассматривался в литературе, мы ограничимся лишь перечислением основных проблем, которые Жуёвич ставил и решал на страницах «Голоса».

Главное внимание он уделял современному положению Сербии и ее отношениям с Турцией. Так, в статье «Готовящаяся война сербов с турками» автор констатировал «все более близкие и несомненные столкновения с Портой». Осуждая войну как таковую, он видел в ней единственную возможность для сербов обрести долгожданную свободу.[51]

Сведения о раскрытии заговора против князя, почерпнутые Жуёвичем из чешской газеты «Narodní Listy», были восприняты им с болью. Жуёвич считал, что князя нужно сохранить, что в нем сила, следует лишь ограничить его власть законом, определяющим отношения между князем и народной скупщиной.[52]

Последнюю он называл «сербским святилищем». Работе скупщины, собравшейся в августе 1864 г. на свою вторую сессию, Жуёвич посвятил четыре материала.[53] Приветствуя скупщину, он вместе с тем критиковал ее за «неумение критически оценивать действия правительства».[54] В статье

---

[46] 1863, 25 июня (7 июля).
[47] 1863, 1 (13) июля.
[48] 1863, 7 (19) июня.
[49] 1863, 29 сентября (11 октября).
[50] *Карасев В. Г.* Сербский демократ Живоин Жуёвич. Публицистическая деятельность в России в 60-х гг. XIX в. М., 1974, с. 147.
[51] 1864, № 82 от 22 марта (3 апреля).
[52] Ср. письмо Жуёвича к Косте Поповичу от 12 ноября 1863 г. (*Карасев В. Г.* Указ. соч., с. 141).
[53] 1864, № 237 от 28 августа (9 сентября); № 244 от 4 (16) сентября, № 252 от 12 (24) сентября и № 266 от 26 сентября (8 октября).
[54] № 226 от 26 сентября (8 октября).

«Сербия и ее гости»[55] и примыкающей к ней статье «Действия английского духовенства в задунайских странах»[56] Жуёвич резко осуждал беспринципность и угодничество реакционной сербской журналистики, в частности позицию белградской официальной газеты «Видов-Дан», пытавшейся обелить протурецкую политику Англии.

Перу Жуёвича принадлежит также ряд материалов о славянах в рубрике «Новости заграничные». В них он сообщал о волнениях герцеговинцев области Зубцы;[57] об очередном заседании известного литературного общества «Сербская матица» в г. Нови Сад,[58] о положении дел в Боснии и Герцеговине,[59] о современном положении в Турции,[60] о турецком законе, о прессе[61] и о далматинском сейме.[62] Вышеприведенные материалы, подготовленные Ж. Жуёвичем для славянского отдела газеты «Голос», позволяют утверждать, что сербский революционный демократ, несмотря на цензурные условия, горячо и убежденно отстаивал право южных славян на свободное и демократическое развитие. «Он подвергал беспощадной критике все реакционное, старое и отжившее в быту и правах сербского народа. В его общественной и политической жизни, все то, что не отвечало его представлениям о свободе, равенстве и братстве».[63]

На протяжении первой половины 1865 г. «Голос» материалов о славянах не публиковал. После ухода Ж. Жуёвича, по-видимому, не могли ему найти замены, а Каравелов на поприще публицистики делал пока свои первые шаги.[64]

Но и те немногие материалы, которые помещены здесь за период с июня по декабрь, достаточно выразительно рисовали русскому читателю тяжелое положение южных славян и настоятельную необходимость перемен. Так, в статье «Юбилей сербского народа» после описания торжеств в Белграде, устроенных правительством в честь 50-летней годовщины второго сербского восстания под руководством Михаила Обреновича (1815 г.), отмечалось «совершенное разочарование всех патриотов, ждавших, что в этот памятный день будет объявлена война туркам или, по крайней мере, провозглашена перемена в существующей системе правления, которая вызывает повсеместное недовольство». В торжестве, устроенном правительством княжества, автор статьи усмотрел всего лишь стремление прославить династию Обреновичей и усилить к ней расположение народа. Последнее вызывало его откровенное сомнение.[65]

Сочувствием к «естественному стремлению героического сербского народа перейти от полусвободы к достижению полной независимости от

---

[55] 1864, № 147, от 29 мая (10 июня).
[56] 1864, № 151 от 2 (14) июня.
[57] 1864, № 239 от 30 августа (11 сентября).
[58] 1864, № 272 от 2 (14) октября.
[59] 1864, № 294 от 24 октября (5 ноября).
[60] 1864, № 316 от 15 (27) ноября.
[61] 1864, № 358 от 29 декабря 1864 г. (10 января 1865 г.).
[62] № 341 от 10 (22) декабря.
[63] *Карасев В. Г.* Указ соч., с. 147.
[64] М. Димитров высказал предположение о возможном сотрудничестве болгарского публициста в газете Краевского с 1863 г. Однако эта гипотеза не подтверждена фактами.
[65] 1865, 13(25) июня.

Порты» проникнуто сообщение «Из Сербии и Герцеговины», помеченное 23 июня (5 июля) 1865 г. Здесь осуждалась нерешительность сербского кн. Михаила, «с каждым днем теряющего любовь и привязанность своего народа», и сообщалось о новых выступлениях герцеговинцев во главе с известным воеводой Лукой Вукаловичем. Успешному выступлению герцеговинцев помешала ссора Вукаловича с черногорским воеводой М. Петровичем. Расколом в лагере повстанцев не замедлил воспользоваться Омер-паша. Он активизировал свои действия и в сентябре 1862 г. Вукалович вынужден был подписать сепаратный мирный договор. «Разнесся слух, что воевода попал в руки турок, — писал «Голос». — Слух не подтвердился. Он прибыл в Триест». Известно, что через Триест Вукалович прибыл в Россию,[66] где и умер. Несколькими годами позже в фельетоне «Славянские отголоски» «Голос» вновь напомнит своим читателям о храбром гайдуке, воспроизведет боевой путь этого «сербского Гарибальди», поведает о его необыкновенной храбрости и преданности своему народу.[67]

Две большие статьи в № 205 и 264 за 1865 г. посвящены церковному вопросу Болгарии. Русская пресса в целом мало интересовалась этим вопросом за исключением аксаковского «Дня», который вел на своих страницах проболгарскую пропаганду. Статьи в «Голосе» написаны с тех же позиций. Описательная часть их касалась тяжелого положения болгар, разоряемых непосильными денежными поборами в пользу греческого духовенства. Ярко сатирически изображалась деятельность фанариотов, в частности экзарха Иллариона Тырновского, который прославился истреблением болгарских рукописей.

В другой статье сообщалось о переговорах в Константинополе между греками и болгарами. Этот шаг «Голос» расценивал как «настоящее завоевание», хотя в полное освобождение болгар от власти греческой патриархии газета не верила. Перечислив условия, выдвинутые на переговорах, «Голос» выражал уверенность, что в решении церковного вопроса Россия поддержит болгар.

Падение влияния фанариотов привело к тому, что болгарское население отказалось платить им подати. Жители городов и сел нередко оказывали сборщикам налогов активное сопротивление. Об одном из таких трагических случаев, когда в результате стычки погибло более 100 жителей Плевны рассказывалось в заметке от 24 сентября (6 октября) 1865 г. Автор ее считал законным требование болгар иметь своих пастырей и выражал уверенность, что Россия окажет «нравственное содействие возрождению единоверного народа».[68]

---

[66] Подробнее об этом см.: *Владыко Н. Н.* К вопросу об историографии и новых источниках по истории национально-освободительного движения в Герцеговине в 50—60-х гг. XIX в. (Из архива В. В. Макушева). — Советское славяноведение, 1979, № 5, с. 45—60.

[67] 1869, № 228 от 19 (31) августа. — Здесь, в частности, приводился ответ Вукаловича на телеграмму, присланную ему соотечественниками в Россию в дни, когда турки снова пошли на приступ крепости в Суторине. «Держитесь и не поддавайтесь, — писал Вукалович соотечественникам. А когда дело дойдет до нужды — ждите меня». «Турки так испугались заявления Вукаловича, — сообщалось в фельетоне, — что больше ни разу не беспокоили крепость».

[68] 1865, 24 сентября (6 октября).

В статье «Заботливость турецкого правительства о просвещении славян в Боснии»[69] с издевкой сообщалось о культурной миссии нового визиря со свитою цивилизованных помощников в Боснию, в результате которой была уничтожена библиотека в г. Сараево и запрещен ввоз сербских книг в Боснию. В просвещении местного населения их покровители усмотрели опасность для государства и ислама и источник революционных выступлений.

1866 г. вновь поставил на повестку дня «восточный вопрос». Весной вспыхнуло восстание на Крите. Летом внимание Европы привлекла к себе австро-прусская война. Осенью в Греции началось движение в поддержку критян. «Беспорядки на о. Кадмия — не отдельный факт, — писал «Голос» 14 (26) августа 1866 г., — а событие, связанное с общим движением христианского населения Турции. Усиливаются волнения в Эпире, Фессалии и Патрии, а к ним, вероятно, не замедлят присоединиться и турецкие славяне. Словом, в огромную массу горячих материалов уже брошена бомба».[70]

Надежду на возможность перемен вселяло в балканские народы и то обстоятельство, что Австрия, всегда приходившая на помощь Турции в подавлении свободолюбивых чаяний подвластных Порте народов, в 1866 г. сама потерпела поражение. Ожидание перемен нашло отклик в русской прессе. Многие заграничные корреспонденты получили задание освещать события на Балканах. Благодаря своим связям с видными русскими публицистами и учеными, а также потому, что Каравелов уже заявил о себе как публицист, ему удалось стать корреспондентом ряда изданий, и в первую очередь газеты «Голос».[71] Переговоры с Краевским были начаты, вероятно, осенью 1866 г., ибо уже вскоре газета поместила несколько его корреспонденций из Белграда за подписью Л-чо.[72] Это была проба пера, но политические взгляды Каравелова были изложены здесь достаточно четко. Убедиться в этом нетрудно — достаточно обратиться к корреспонденции, помещенной 13 (25) ноября 1866 г. В ней гневно осуждалась политика западных держав в отношении славян, содержался призыв к сербскому кн. Михаилу собрать народную скупщину и защитить босняков и герцеговинцев. Корреспонденция заканчивалась утверждением, что «свободу славяне могут получить только из рук России».

Изменение соотношения сил на мировой арене, политика Англии, Франции, Австрии, поддерживающих империю мусульман для «сохранения европейского равновесия», их отношения с Россией, позиция последней в отношении южных славян, наконец разложение «больного организма» (т. е. Турции, — *Л. Р*) оживленно обсуждались на страницах «Голоса».[73] Газета настаивала на «необходимости нравственного объединения России со славянами»,[74] выражала сожаление по поводу трудностей духовного

---

[69] 1865, 2 (14) сентября.

[70] 1865, 14 (26) августа.

[71] О приезде в Сербию в качестве корреспондента русских газет см. письмо Л. Каравелова к Л. Гаю от 9.V.1867. Опубликовано Мих. Димитровым в журнале «Изкуство и критика» (София, 1939, кн. 3, с. 152—153).

[72] Л—чо (Личо) — уменьшительное от Любен.

[73] 1866, 14(26) августа; 21 августа (2 сентября); 13 (25) сентября; 14 (26) сентября.

[74] 1866, 22 сентября (4 октября).

общения со славянами Австрии из-за нерегулярности книжного обмена,[75] критически отзывалась о поведении сербских властей, и высказала сомнение относительно пользы его дружбы с румынами.[76] «Голос» заверял своих читателей, что сербы «не забыли кому они обязаны своим освобождением».

Мысль о том, что Россия в будущем («когда придет время») должна оказать помощь единоплеменному славянству, звучала и в заключительной части редакционной статьи от 8 (20) марта 1866 г. «Национальное возрождение болгар».[77]

Между тем на Балканах назревал кризис. В 1866 г. был заключен сербско-черногорский военный союз; начались переговоры с болгарами. Босния и Герцеговина готовились к восстанию. Резко усилилось недовольство и среди самого турецкого населения Порты, задавленного непосильными налогами. «Всеобщее неудовольствие, порожденное одними и теми же причинами, — отмечал «Голос», — сплачивает различные народы. Недовольство уже переросло в действенную оппозицию. К несчастью, правительство кн. Михаила не сознает важности момента. Оно предано политике западных держав, хотя подчас и старается польстить народной гордости сербов. Оно двулично».[78]

Изложив свое понимание расстановки международных сил и признав невозможность решения восточного вопроса силами самих балканских народов, «Голос» высказывал свою заветную мысль: «Если бы западные державы отказались от ложной политики на Востоке и действовали бы в полном согласии с Россией, — судьба христианских народов Турции была бы решена».[79]

1867 год отмечен активным участием в «Голосе» Л. Каравелова. Находясь с января этого года по июнь 1868 год в Сербии в качестве корреспондента русских газет, Каравелов опубликовал в России 142 статьи и корреспонденции. Из них подавляющее большинство — в газете «Голос».

В многочисленных корреспонденциях Каравелова [80] приводится большой фактический материал о злоупотреблениях турецкой администрации, полиции и судебных органов в Болгарии, о тяжести налогов и повинностей, которыми Порта душила болгар.

Вслед за Г. С. Раковским Каравелов неуклонно разоблачал реакционную сущность турецкого государства, тормозившего экономическое, политическое и культурное развитие угнетаемых им народов.[81] Он настойчиво отмечал также тяжелое положение в самой Турции, подчеркивая,

---

[75] 1866, 30 сентября (12 октября).

[76] 23 февраля 1866 г. в Молдавии и Валахии произошел переворот. На смену «великому реформатору» князю Кузе пришел немецкий принц Карл Гогенцоллерн. Сербское правительство и после переворота не изменило своей политики. Оно устроило торжественный прием посольству кн. Карла и отправило свою депутацию в Бухарест. См. «Голос», 1865, 10 (22) августа; 1866, 14 (26) сентября.

[77] 1866, 8 (20) марта.

[78] 1866, 28 октября (9 ноября).

[79] Там же.

[80] 1867, 9 (21) апреля; 27 апреля (9 мая); 13 (25) мая; 18 (30) мая; 7 (19) июня; 29 июня (11 июля); 5 (17) июля; 14 (26) июля; 15 (27) июля; 21 июля (2 августа); 4 (16) сентября; 19 сентября (1 октября); 11 (23) октября; 25 октября (6 ноября); 3 (15) декабря; 1868, 28 января (9 февраля); 7 (19) февраля; 4 (16) мая; 9 (21) мая.

[81] 1867, 9 (21) апреля; 18 (30) мая; 7 (19) июня; 14 (26) июля; 15 (27) июля; 20 июля (1 августа); 21 июля (2 августа); 11 (23) октября; 10 (22) ноября; 3 (15) декабря.

что финансово-экономическая помощь со стороны Западной Европы лишь усиливает ее зависимость и ухудшает положение турецкого народа.[82] Резкой критике корреспондент подверг моральное разложение административно-полицейского аппарата Османской империи.[83]

В 1867 г., и особенно в 1868—1869 гг., Каравелов глубоко анализировал позицию новой либеральной партии в Турции («младотурци») и убедительно показал, что ее программа мало чем отличается от старой партии («старотурци»), а разногласия между ними вызваны лишь борьбой за власть.[84] Каравелов убедительно доказал, что те и другие мечтают лишь о расширении своего господства на Востоке, стремятся подчинить себе балканских славян и слить их в единый мусульманский народ.[85] Из этого положения он сделал революционный вывод о том, что надежды туркофильски настроенных болгар на перемены в результате реформ иллюзорны [86] и что действительная реформа состоит в создании в Болгарии христианского (т. е. национального) правительства.[87]

Выразительным, общественно действенным освещениям революционных выступлений в Болгарии «Голос» был обязан прежде всего Каравелову. Большое внимание уделил Каравелов походам чет П. Хитова и Ф. Тотю весной 1867 г.

Героическая борьба болгарского народа вызвала широкий отклик на страницах русской печати. Но, пожалуй, ни одна русская газета не уделяла в эти годы столько внимания болгарским делам, как «Голос». Газета одной из первых в начале мая известила своих читателей о переходе болгарских чет через Дунай.[88] Четы надеялись на поддержку болгарского населения, но вскоре были разбиты численно превосходящими силами противника. Губернатор Дунайской Болгарии Мидхат-паша, обличенный турецким правительством «чрезвычайными полномочиями», жестоко расправился с восставшими и их семьями. Четникам отрезали носы, уши, отрубали руки, а затем, заковав в цепи, отправляли в заточение. Виселицы были расставлены по всем городам и селам Болгарии. Тюрьмы переполнены.

В «Голосе» не только подробно рассказывалось о тяжелом положении болгар, но нередко звучал призыв к восстанию против угнетателей.[89]

---

[82] 1867, 24 апреля (9 мая); 13 (25) мая. 1868, 7 (19) февраля; 9 (21) мая. — Следует отметить, что позиция Каравелова в отношении турецкого народа в этот период не была последовательной. Отмечая, что турецкий народ сам страдает под тяжестью налогов, болгарский публицист называл его невежественным, охваченным предрассудками видел в мусульманстве существенное препятствие к социальному прогрессу (1867, 14 (26) мая; 1868, 7 (19) февраля).

[83] 1867, 18 февраля (2 марта): 14 (26) мая; 9 (21) июня; 20 июля (1 августа); 5 (17) августа; 8(20) сентября; 11 (23) декабря.

[84] 1867, 27 апреля (9 мая), 1868, 1 (13) марта.

[85] 1869, 9 (21) декабря.

[86] 1868, 2(14) марта.

[87] 1867, 14 (26) мая.

[88] Подробнее: *Попова А. А.* 1) Национально-освободительная борьба болгарского народа в 60-х гг. XIX в. — Вопросы истории, 1953, № 11, с. 69—82; 2) Русская пресса о болгарском освободительном движении в 1867—1868 гг. — Вестник истории мировой культуры. М., 1960, № 5, с. 98—110.

[89] 1867, 29 марта (10 апреля); 6 (18) апреля; 9 (21) апреля; 13 (25) мая; 11 (23) июня; 24 июня (6 июля); 29 июня (11 июля).

В статье, озаглавленной «По поводу движения между болгарами», значение этого события оценивалось следующим образом: «Что выйдет из болгарского движения, трудно предвидеть; но уже и это начальное брожение, которому отдались самые отважные и благородные личности, или наиболее пострадавшие и несчастные, должно светить надеждою болгарскому народу. . . Как бы то ни было, дело болгар становится делом непоследней важности в южнославянском мире. Между нами начинается движение, но не в умах только, а на деле».[90]

Каравелов писал о многочисленных победах восставших над турками, башибузуками и отрядами М. Чайковского (Садыка-паши). При этом он сознательно порой преувеличивал численность повстанческих отрядов на Балканах (где, по его словам, была создана «целая армия») с тем, чтобы скорее и шире привлечь внимание и вызвать сочувствие к восставшим со стороны соседних славянских народов и России.[91]

Глубоко достоверными были сообщения Каравелова о жестокостях турецкой администрации, армии, полиции в отношении мирного болгарского населения. При этом он постоянно подчеркивал, что Мидхат-пашу в его невероятных жестокостях по отношению к болгарам неизменно поддерживали западные державы.[92]

Следует отметить, что Каравелов не просто излагал в «Голосе» известные ему факты, а пытался дать анализ движущих сил восстания. Он отмечал, например, что в ходе освободительной борьбы болгарское чорбаджийство начало постепенно переходить на сторону Порты.[93] Он осуждал протурецки настроенное чорбаджийство, которое возлагало надежду на переговоры с турецкими властями. В корреспонденциях 1869—1871 гг. его внимание будет отдано целиком революционному течению в национальном освободительном движении. Активное участие в деятельности болгарской эмиграции позволит ему правильно понять и оценить задачи и цели национально-освободительной борьбы своего народа.

Поход чет Х. Димитра и Ст. Караджи летом 1868 г. также нашел отражение на страницах «Голоса»,[94] хотя освещение его отличалось сдержанностью.

11 (23) февраля 1868 г. в корреспонденции из Софии отмечался дальнейший рост недовольства против турок и приводился текст одной из прокламаций. Воззвание заканчивалось призывом: «К оружию, братья! Свобода или смерть!» [95]

Значительное место на страницах «Голоса» Каравелов отводил вопросу о славянском единстве, в особенности проблеме единства южнославянских

---

[90] 1867, 22 июня (4 июля).

[91] 1867, 9 (21) апреля; 13 (25) мая; 22 мая (3 июня); 7 (19) июня; 9 (21) июня; 11 (23) июня; 17 (29) июня; 22 июня (4 июля); 24 июня (6 июля); 25 июня (7 июля); 27 июня (9 июля); 29 июня (11 июля); 14 (26) июля; 20 июля (1 августа); 22 июля (3 августа); 27 июля (8 августа); 1 (13) августа; 12 (24) августа; 22 августа (3 сентября); 6 (18) сентября; 13 (25) октября. 1868, 2 (14) марта.

[92] 1867, 11 (23) июня; 24 июня (6 июля); 5 (17) июля; 12 (24) июля; 15 (27) июля; 20 июля (1 августа); 6 (18) августа; 13 (25) августа; 11 (23) октября.

[93] 1868, 10 (22 марта).

[94] О реакции других газет см.: *Буссе Н. В.* Русские газеты о чете Хаджи Димитра и Стефана Караджи. — Изв. на народната библиотека «Кирил и Методий», т. IX (XV), София, 1969, с. 71—82.

[95] 1868, 2 (14) марта.

народов. В своих статьях и корреспонденциях он часто обращался к истории южных славян и на основе исторических фактов доказывал, что главной причиной потери ими независимости была междуусобная борьба,[96] которую они вели еще в эпоху Средневековья. Каравелов прослеживал историю этих споров и в последующие периоды, считал вопрос о гегемонии того или иного народа гибельным [97] для них и призывал славян к сплочению.[98]

Каравелов возлагал надежды на Сербское княжество, первое самостоятельное государство южных славян. Сербия, по его мнению, была призвана возглавить борьбу славян за свободу.[99] Считая, что весной и летом 1867 г. на Балканах сложилась благоприятная обстановка, Каравелов требовал от кн. Михаила решительных действий.[100]

Однако в конце 1867-го и в начале 1868 г. отношение Каравелова к кн. Михаилу становится критичнее.[101] В дальнейшем его высказывания станут еще более резкими.[102]

Критика Каравеловым политики сербского правительства привела к тому, что 19 февраля 1868 г. болгарский публицист был вынужден покинуть Белград и переселиться в г. Нови Сад, а газета «Голос» подверглась в Сербии запрету.

Однако тон высказываний Каравелова по адресу сербских властей не изменился. Сербское правительство, — писал он в «Голосе» 8 (20) марта 1868 г. — стремится уничтожить и убить все, что священно для человека. В Белграде преследуются все честные люди и только жандармы и шпионы пользуются свободой (корреспонденция снабжена специальными примечаниями редакции «Голоса»).

Каравелов клеймил поведение сербского правительства, запретившего болгарским эмигрантам весной 1867 г. перейти границу, чтобы принять участие в восстании.[103] Он открыто разоблачал внешнеполитический курс Сербии, направленный на сближение с Турцией и ослабление дружеских связей с Румынией и Россией.[104]

В № 91 «Голоса» от 31 марта (12 апреля) 1868 года «корреспондент из Белграда»,[105] разделяя мнение сербской газеты «Застава», утверждал, что «Сербия не в состоянии помочь освобождению христиан не потому, что не имеет достаточного количества ружей и пороха, а потому, что ли-

---

[96] 1867, 22 июня (4 июля); 29 июня (11 июля); 27 июля (8 августа).

[97] 1867, 25 июня (7 июля); 27 июля (8 августа).

[98] 1867, 6 (18) апреля; 25 июня (7 июля); 20 июля (1 августа); 25 июля (6 августа); 27 июля (8 августа); 9 (21) августа; 10 (22 августа).

[99] 1867, 6 (18) апреля; 9 (21) апреля; 27 апреля (9 мая); 4 (16) мая; 18 (30) мая; 23 мая (4 июня); 29 июня (11 июля); 20 июля (1 августа); 27 июля (8 августа); 22 августа (3 сентября); 2 (14) сентября; 30 сентября (12 октября); 13 (25) ноября.

[100] 1867, 4 (16) мая; 18 (30) мая; 29 июня (11 июля). 1868, 29 января (9 февраля).

[101] 1867, 7 (19) июня.

[102] 1867, 4 (16) ноября; 1868, 22 мая (3 июня); 29 мая (18 июня).

[103] 1867, 15 (27) июня; 29 июня (11 июля); 5 (17) августа; 2 (14) сентября; 23 ноября (15 декабря); 1868, 29 февраля (12) марта; 30 апреля (12 мая).

[104] 1867, 14 (16) февраля; 5 (17) августа; 31 августа (12 сентября); 25 октября (6 ноября); 4 (16) ноября; 8 (20) марта; 31 марта (12 апреля); 30 апреля (12 мая).

[105] Каравелов нередко помечает свои корреспонденции вымышленными пунктами. Ср.: *Воробьев Л. В.* «Виенският» корреспондент на в. «Голос» (1867—1868). — Литературна мисъл, 1957, № 6.

шена внутренней силы, т. е. свободы». Далее он подробно излагал злоупотребления сербского князя и его министров: честные и благородные люди изгоняются из стран, русских воспитанников (Ж. Жуёвич, Н. Петрорович, Л. Каравелов и др.) лишают работы.

К политике сербского правительства приковано внимание корреспондентов из Белграда и в сообщении от 10 (22) апреля 1868 г.[106] Обличительный тон статьи, по-видимому, напугал Краевского и опять вслед за статьей, как это часто случалось, последовало примечание от редакции: «Помещая настоящую корреспонденцию, мы оставляем на ответственности корреспондента сообщенные им факты, но при этом напоминаем читателям, что известие о раздорах в болгарском центральном комитете уже было сообщено нам в № 104 газеты. Мы заимствовали это известие из новосадской газеты „Застава“».[107]

Балканский корреспондент «Голоса» в сообщении от 6 (18) мая из Боснии разоблачал слухи, проникшие на страницы некоторых немецких газет, в частности австрийской «Zukunf», о якобы усиливающейся вражде между сербами-христианами и сербами-мусульманами. Оценивая эти известия как «преувеличенные» и даже «ложные», корреспондент как бы мимоходом замечал, что турецких войск в Боснии и Герцеговине мало, не наберется и 10 тысяч и 3.000 сеймехов (жандармов, — *Л. Р.*). Но они ни на что не способны, как только ходить по домам и собирать подати.[108]

Каравелов решительно отклонил попытку видеть в волнениях босняков результат русской пропаганды. «Я уверен, — далее писал он, — что каждый русский брат интересуется нашим житьем-бытьем потому что наше горе и наши радости — и его горе, и его радости».[109]

Последние номера «Голоса» за 1868 г. полны сообщений об убийстве кн. Михаила. Вопреки официальной версии, Каравелов считал виновником события самого князя, его министров, которые пытались установить в стране абсолютистский режим. Болгарский публицист обвинял сербских либералов в непоследовательности, критиковал позицию консерваторов, отвел обвинение по адресу «Омладины», Св. Марковича и В. Йовановича.[110] Таким образом, в первой половине 1868 г. Каравелов объяснял внешнеполитическую ориентацию сербского правительства его реакционной внутренней политикой. Это очень знаменательный факт. Он показывает, что Каравелов решал вопросы национально-освободительного движения, в том числе вопросы объединения славян, с демократических позиций.

О новом сербском правительстве Милана Обреновича IV белградский корреспондент «Голоса» высказывался осторожно.[111] Но идиллические отношения сербского правительства с венграми длились, как известно, недолго. 23 февраля (7 марта) в сообщении из Бачки отмечалось: «сербы поняли, что немецкое иго легче мадьярского. Белград должен повести сербов по настоящей дороге — и дело будет выиграно», — хотя корреспондент признается даже, что он не видит достойного вождя.

---

[106] 1868, 30 апреля (12 мая).
[107] Там же.
[108] 1868, 22 мая (3 июня).
[109] 1868, 29 мая (10 июня).
[110] 1868, 19 июня (1 июля).
[111] 1869, 12 (24) января; 16 (28) января.

В «Голосе» Каравелов ставил и решал также вопросы южнославянской федерации.[112] Он подчеркивал, что единство славянских народов может существовать лишь на основе подлинного национального равноправия,[113] хотя в выборе формы правления колебался между республикой и конституционной монархией.

Национально-освободительное движение южных славян Каравелов постоянно связывал с Россией, настаивал на необходимости дружеских с ней связей.[114] Он не мыслил освобождения болгарского народа без помощи России. «Болгары, — писал он, — благословите кровь, пролитую за вас вашими сердечными братьями (русскими, — *Л. Р.*), и возложите на них свои надежды. Только Россия — хранитель и защитник не только вас, но и всех народов Востока и Запада. И тот, кто в назначенный час, когда протрубит труба свободы, последует за ней — тот освободится от чужеземного ига и спасет себя на века».[115]

В 1867—1868 гг. на страницах «Голоса» Каравелов подверг резкой критике политику западных держав, которая фактически была направлена на сохранение турецкого военно-феодального господства на Балканах.[116] Он не раз возвращался к характеристике политики Австро-Венгрии.[117]

Каравелов выражал сочувствие борьбе за освобождение не только болгарского, и не только южнославянских, но и всех балканских народов.

В 1869 г. «Голос» поместил ряд материалов о славянах в виде больших обзоров. Так, в № 77 от 18 (30) марта сообщались сведения самого различного характера, в том числе: о назначении Е. Груича сербским посланником в Константинополе и отрицательной реакции со стороны приверженцев старого правительства, желавших видеть на этом посту Гарашанина; о сербской ноте Порте с требованием выдворить из ее пределов Османа-пашу; о перлюстрации почты Боснии по приказу турецких властей; об аресте в г. Банялука архимандрита В. Пелагича,[118] который доставлен в Сараево, и др.[119]

---

[112] 1867, 6 (18) апреля.

[113] 1868, 7 (19) января.

[114] 1866, 31 сентября (13 октября); 15 (27) ноября. 1867, 4 (16) мая; 18 (30) мая; 22 июня (1 июля); 25 июня (7 июля); 29 июня (11 июля); 20 июля (1 августа); 7 (19) сентября; 19 сентября (10 октября).

[115] 1867, 18(30) января.

[116] 1867, 2 (14) августа; 11 (23) ноября. 1868, 28 января (9 февраля); 28 марта (9 апреля). 1869, 3 (15) сентября.

[117] 1867, 9 (21) апреля; 15(27) июля; 19 сентября (10 октября). 1868, 21 января (2 февраля); 16 (28) февраля; 28 марта (9 апреля); 4 (16) апреля.

[118] Пелагич Васо — видный революционер-демократ, деятель сербского рабочего движения во 2-й половине XIX в. Около двух лет Пелагич провел в России (1864—1866), был вольнослушателем Московского университета, в Петербурге встречался с Ж. Жуёвичем, сотрудничал в русской печати. Возвратившись на родину основал в г. Банялука «духовную семинарию», где пытался насаждать революционный дух. Пользовался у студентов большим авторитетом. В 1869 году в столкновении студентов с турецкими властями, встал на сторону молодежи. За это был арестован и предан суду. Подробнее см.: *Бесаровић Р.* Васо Пелагић. Живот и рад. Београд, 1953; *Очак И. Д.* Новые материалы Васо Пелагича. — Славянский архив, М., 1958, с. 270—302.

[119] 1869, 18 (30) марта.

О глубоком застое в политической жизни Сербии, власть которой захватил «бездарный честолюбец» Блазнавац, сообщалось в № 160 «Голоса» от 12 (24) июня.

В № 224 от 15 (27) августа «Голос» поместил корреспонденцию из Болгарии за подписью Л. . . Корреспонденция построена в обычной для Каравелова манере. Начиналась она изложением нейтральных событий: сообщением об открытии новых школ и читален в Болгарии и Придунайских княжествах. Далее говорилось о готовящемся открытии гимназии и литературного общества «Кирилл и Мефодий» в Бухаресте. В следующем абзаце комментировался ответ русского синода греческому патриарху, причем подчеркивалось, что церковный вопрос для Болгарии отнюдь не догматический, что от решения его зависит судьба народа. И в самом конце — ударная для русского читателя концовка: «Из достоверных источников стало известно, — читаем здесь, — что болгарские инсургенты собираются в Балкане, около г. Шипки. Один из предводителей отрядов, дьякон О. (Васил Левский, — *Л. Р.*) неделю назад был пойман турками, но ему удалось бежать, убив трех турок. В Габрове, Жеравне и Плевне открыты тайные заговоры и арестовано несколько человек».

Последним из заслуживающих внимание материалов в «Голосе» за 1869 г. было сообщение из Далмации от 7 (19) октября. Речь шла о восстании в Боке Которской, причиной которого послужил внеочередной рекрутский набор.

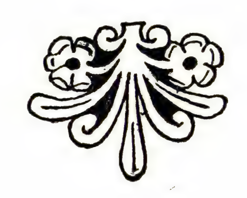
Подведем некоторые итоги. Изучение материалов в газете «Голос» за 1863—1869 гг. наглядно свидетельствует о том, что в указанный период газета Краевского с фактической стороны достаточно полно освещала русскому читателю так называемый «восточный вопрос», его перспективы и роль России в его решении. Значительное место «Голос» отводил славянской теме. Причем трактовка ее в течение семилетия претерпела существенные изменения. В 1863 и самом начале 1864 г. положение балканских славян рассматривалось газетой как вопрос русской политики, а сведения о событиях черпались преимущественно из западноевропейской печати. При этом сообщения носили, как правило, информационный характер. Спокойная констатация отдельных фактов с весны 1864 г. сменилась их заинтересованным изложением. Этим «Голос» был обязан приходу в его редакцию в качестве заведующего славянским отделом демократически настроенного сербского журналиста Ж. Жуёвича. Горячо и убежденно, несмотря на цензуру, отстаивал сербский публицист на страницах «Голоса» право славян на демократическое развитие, неизменно ратовал за освобождение их от иноземного ига. Уход Жуёвича из «Голоса» был, видимо, вызван его идейными расхождениями с газетой.

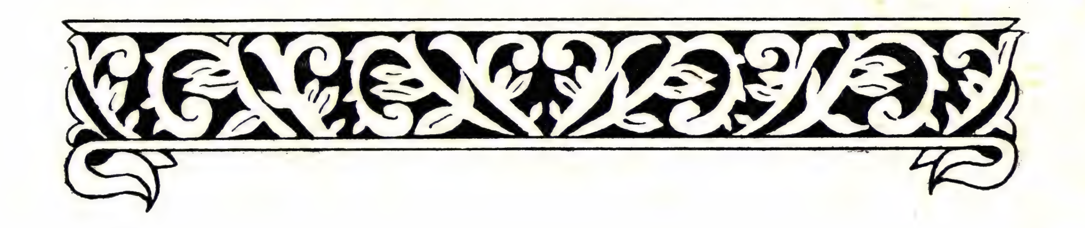
Пристальное внимание «Голоса» к борьбе южных славян за свободу привлекло к нему внимание еще одного замечательного публициста, болгарина Л. Каравелова. Хотя в науке до сих пор еще существует мнение о якобы кратковременном сотрудничестве Каравелова с газетой Краевского, факты говорят о другом. Болгарский публицист работал в «Голосе» и в 1867, и в 1868, и в 1869 гг. Будущий идеолог болгарского национально-освободительного движения ставил и решал в газете кардинальные

вопросы освободительной борьбы, исходя из демократических позиций.

Жуёвич и Каравелов оказали решительное влияние на удельный вес и общий тонус «славянской темы» в «Голосе», оба автора использовали газету как трибуну для своих выступлений, часто вопреки желанию редакции, которая не раз была вынуждена оговаривать свое несогласие с их позицией.

В 1870—1880-х гг. «Голос» утрачивает свое былое значение для русского читателя в освещении балканских событий и целиком переходит на позиции правительственного органа печати.





Н. К. Жакова

ПОЭМА М. Ю. ЛЕРМОНТОВА «ДЕМОН» В ЧЕХИИ

В Чехии с «Демоном» познакомились в 60-е гг. XIX в. Первый перевод поэмы был осуществлен в 1863 г. радикальным демократом Э. Ваврой (1839—1891), принадлежавшим к наиболее передовой части чешской интеллигенции. В критической литературе на чешском языке первое слово о поэме «Демон» было сказано в 1865 году — в статье Энциклопедического словаря Ригера, посвященной творчеству Лермонтова.[1] До этого о Лермонтове писали в 50-е гг. XIX в. Ф. Коржинек и В. Ч. Бендл, подчеркивавшие самобытность таланта и свободолюбивые черты творчества русского поэта.[2] О «Демоне» тогда еще не было известно. Хотя с появлением в 1852 г. немецкого перевода Ф. Боденштедта поэма могла попасться на глаза и чешскому читателю, но перевод немецкого литератора был слишком далек от оригинала, он не передавал самого существенного в ее идейном содержании, поэтому не привлек к себе внимания, не стал событием в литературной жизни чехов.

Открытие «Демона» в Чехии, как и во всей Европе, по-настоящему началось с того момента, как в 1856—1857 гг. в Германии впервые был напечатан полный текст поэмы на русском языке. Карлсруйские (1856 и 1857) и берлинские (1856, 1857 и 1858) издания поэмы Лермонтова, а также первое ее издание в России (1860)[3] вызвали целую серию переводов ее на европейские языки: 1858 — французский, 1859 — немецкий

---

[1] Riegrův Slovník naučný. Praha, 1965, díl 4, s. 1237.

[2] *Kořínek F. B.* Lermontov a přední básníkové ruští. — Časopis Českého Musea, 1853, sv. 2, s. 272—280; *Bendl V. Č.* Osud pěvce «Bachčisarajského fontánu» a jiných básníků ruských. — Lada-Nióla, 1854, s. 53.

[3] Демон. Восточная повесть. Сочиненная Михайлом Юрьевичем Лермонтовым. Переписана с первой своеручной его рукописи. Сент. 13-го 1841 г. Карлсруэ. В придворной типографии В. Гаслера. 1856; то же 1857; Демон. Поэма М. Ю. Лермонтова. Берлин, 1856; 2-е изд., испр. и доп. Берлин, 1857; 3-е изд. Берлин, 1858; Сочинения Лермонтова, приведенные в порядок и доп. С. С. Дудышкиным. СПб., 1860, т. 1, с. 7—50.

и польский, 1860 — снова французский, 1862 — сербский[5] и, наконец, в 1863 г. — чешский.[6]

Несколько раньше на чешский язык были переведены поэмы Лермонтова «Хаджи Абрек» (1859) и «Мцыри» (1853).[7] Все эти поэмы появились в период увлечения романтизмом в чешской литературе — в среде молодых писателей и поэтов, представлявших новые литературные силы и определявших новое направление в развитии чешской литературы. Это был круг, в который входили как литераторы старшего поколения — Й. Фрич, К. Сабина, В. Вавра-Гаштальский, так и младшего — Я. Неруда, В. Галек, Г. Пфлегер-Моравский, Б. Янда и другие. Внимание к романтической поэзии выливалось в чтение и обсуждение произведений Байрона, Гейне, Беранже, Мицкевича, Словацкого. Молодое поколение преклонялось перед чешским революционным романтиком К. Г. Махой. Все эти литераторы переводили романтическую литературу, как французскую (Гюго, Беранже), так и немецкую (Шиллер, Гете, Гейне), английскую (Байрон, Шелли), особенно популярны были переводы с польского (Словацкий, Мицкевич, Залесский, Красиньский и др.). В традициях европейского романтизма был и культ Шекспира, которого в 50-е гг. особенно усердно переводили и ставили его пьесы в чешском театре.

От переводов молодые чешские поэты перешли к собственному романтическому творчеству, отдав богатую дань жанру романтической поэмы. Особенно популярны были поэмы В. Галека «Альфред», «Мейрима и Гусейн», «Гоар», «Прекрасная Лейла».[8]

Появление чешских переводов лермонтовских поэм и среди них поэмы «Демон» было в высшей степени актуальным. Поэмы Лермонтова включались в общий ряд поэтических произведений, поддерживавших основные тенденции в развитии чешской литературы этого периода — тенденции романтические. Важно было то, что эти переводы привлекли чешских читателей к очень созвучным их настроениям произведениям русского поэта, что среди многочисленных и разнообразных голосов европейских поэтов-романтиков, создателей романтических поэм зазвучал для них и голос Лермонтова. Важно и то, что Лермонтов входил в сознание чехов, наряду с Пушкиным, поэмы которого переводились на чешский язык тоже во второй половине 50-х гг.

Как показало сравнение текстов, первый чешский перевод был сделан с берлинского издания 1857 г. Само это издание было контаминацией

---

[4] Le Démon, poème par Lermontoff, traduit en vers français par P. Pélan d'Angers. Paris, 1858 (переиздан в 1866 г.); Biblioteka Warszawska, 1859, zesz. XXXIV, s. 58—84; *Pizel. Wl.* Sabowski; Dichtungen von A. Puschkin und M. Lermontov. Deutsch von Teodoro Opitz. Berlin, 1859; Le Démon, légende orientale, par Lermontow, traduction de T. Anossow. Paris, 1860.

[5] Демон. Поема, с рус. J. J. — Српски летопис, 1862, CVI, 83; Демон. Поема. С рус. Joban Jobanobuħ. У Будиму. 1863.

[6] Démon Lermontova od E. Vávry. — Lumír, 1863, č. 27, s. 625—629; č. 28, s. 649—653; č. 29, s. 673—676; č. 30, s. 701—706; č. 31, s. 721—726.

[7] Mciri. Přel. J. B. Kořínek. — Časopis Českého Musea, 1853, s. 280—303; Chadži Abrek. Z Lermontova E. Vávra. — Časopis Českého Musea, 1859, s. 347—352.

[8] Подробнее см.: *Жакова Н. К.* Актуальность революционно-романтического наследия Лермонтова для чешской поэзии на рубеже 50—60-х гг. XIX в. — В кн.: Славянская филология. Л., 1979, IV, с. 146—147.

шестой, седьмой и восьмой редакций поэмы: Тамара погибает непримиренной, и в ее чертах сквозит «с небом гордая вражда». В перевод Э. Вавры вошли и «бескомпромиссно бунтарские, откровенно богоборческие речи» Демона, его слова о боге — «он занят небом, не землей!» Таким образом, «Демон» предстал перед чешским читателем в своем наиболее крайнем, революционном варианте.

Нужно сказать, что чешский переводчик нигде не смягчает мотив восстания гордого духа против бога. Вавре вообще было свойственно бережное отношение к авторскому тексту. Мы не найдем у него отклонений от содержания и идейной проблематики оригинала. Однако отступления все-таки есть, — Вавра не смог в полной мере донести до своего читателя образный строй и художественную цельность поэмы. Неточности в передаче образной системы оригинала приводили к обеднению художественной ткани произведения и стилевым сдвигам. Нередко происходила замена яркого образа описанием, четкой и афористичной мысли — расплывчатой и многословной. Самое главное заключалось в том, что в ряде случаев переводчик как бы стремился сгустить краски, увеличить выразительность лермонтовских слов. Добавляемые им слова придавали несвойственную Лермонтову пышность, цветистость выражения. Обилие поэтизмов приводило к сдвигу в стилистическом плане. Переводчик все еще оставался во власти романтических крайностей и шаблонов, которые поэтом давно были преодолены.

К недостаткам перевода Вавры следует отнести и то, что он не передает национального и местного колорита, что привело к расхождению между оригиналом и переводом с типологической точки зрения. Лермонтов в описании Кавказа, своих героев и кавказского, грузинского быта приближается к действительности, воспроизводя свои впечатления от встреч с живыми людьми и конкретной обстановкой. Переводчик же, не передавая местных реалий, удаляется от реальности в сторону романтической условности и абстракции.

Подбирая ключ к своему переводу, Вавра обратился к поэме К. Г. Махи «Май», которая служила образцом романтического творчества для его современников. В языке К. Г. Махи Вавра нашел то, что, по его мнению, более всего отвечало передаче языка и стиля романтика Лермонтова. В переводе Вавры мы постоянно слышим интонации Махи, его творчеством навеяно и словоупотребление, и подбор эпитетов, и синтаксическое построение стихотворной строки. Такая связь с Махой делала поэму Лермонтова более близкой и понятной чешскому читателю, органично вводя ее в круг чешского романтического чтения.

Помимо удачного стилистического решения Вавра успешно справился и с проблемой передачи четырехстопного ямба. Ямб первого перевода «Демона» соответствовал природе чешского языка, его ритмическим и интонационным особенностям, вместе с тем он закладывал основы традиции передачи ямба в чешском стихе. И этим перевод Вавры обогащал и развивал отечественную поэзию.

Таким образом, первый перевод «Демона» подчеркивал и усиливал романтическую направленность поэмы, ставя ее в один ряд с произведениями отечественной романтической поэзии. Перевод Вавры сыграл боль-

шую роль как в популяризации творчества Лермонтова, так и в решении ряда переводческих задач.

Если первый чешский перевод «Демона» представлял поэму как яркое, романтическое произведение, связывая ее с отечественной романтической традицией, то первая чешская статья, содержавшая сведения о «Демоне», односторонне подчеркивала зависимость поэмы и ее героя от Байрона. В этих утверждениях автор статьи Й. Коларж опирался на статью С. Дудышкина, предварявшую первое русское издание «Демона» 1860 г. Коларж повторил слова Дудышкина о том, что в поэме «Демон» и в романе «Герой нашего времени», которые представляют две формы одного и того же идеала, Лермонтов во всем подражает Байрону: «в характере и описании Демона (Люцифера Байрона), во взгляде на мир и на источник зла в мире, в обществе и в действии демонических сил на природу человека. Человек и общество вызывают как у Байрона, так и у Лермонтова раздражение, но зато неизменна их любовь к природе, поэтому описания природы принадлежат к лучшим страницам их творений: Лермонтов искал среди черкесов ту неиспорченную цивилизацией природу, которую уже трудно найти в Западной Европе».

Заканчивал Коларж свою статью сообщением о том, что на чешский язык уже переведены «Герой нашего времени» и «Демон», хотя, как мы знаем, к этому времени были переведены еще поэмы «Мцыри», «Хаджи Абрек» и ряд стихотворений. Как и Коржинек в статье 1853 года, Коларж отмечал, что на немецкий язык Лермонтова переводил «искусный Боденштедт». Это лишний раз говорит о популярности немецкого перевода у чехов.

Может показаться странной позиция Коларжа в отношении к Лермонтову и в оценке «Демона» как прямого подражания Байрону. Казалось бы, Коларжу должна была быть ближе точка зрения Белинского. По мнению некоторых исследователей, именно Коларжу принадлежит заслуга пропагандирования творчества великого русского критика и его концепции русского литературного развития в чешском обществе.[9] Сам Коларж писал, что статью о Кольцове он создавал под прямым воздействием Белинского. Более того, эта статья представляет собой перевод (с некоторыми сокращениями) статьи русского критика «О жизни и сочинениях Кольцова» (1846).[10] Наконец, что самое главное, Коларж был автором первой чешской статьи о Белинском, в которой высоко оценил значение его деятельности в истории русской литературы и дал «сжатую и проникнутую горячей симпатией характеристику его личности».[11] Эта статья, так же как и статья о Лермонтове, предназначалась для чешской энциклопедии.[12]

В оценке же творчества Лермонтова Коларж пошел не за Белинским, а за второстепенным критиком и издателем сочинений Лермонтова С. Дудышкиным. Чем это можно объяснить? Скорее всего, неудовлетворительным состоянием книгообмена, предоставившим в руки Коларжа сочинения Кольцова со статьей Белинского и лишившего его возможности познако-

[9] *Hermanová E.* Někrasov a některé otázky českého básnictví. — In: Čtvero setkání s ruským realismem. Praha, 1958, s. 212—214.

[10] *Ровда К. И.* Чехи и русские в их литературных взаимосвязях, с. 77.

[11] Там же, с. 73.

[12] Riegrův Slovník naučný, díl 1, s. 588.

миться с другими сочинениями Белинского в оригинале, а не через посредничество А. Милюкова, книгой которого о русской литературе пользовался, по его собственному признанию, Коларж. Может быть, та же случайность дала в руки Коларжу русское издание сочинений Лермонтова со статьей Дудышкина, которое чешский критик принял за последнее слово о Лермонтове в русской науке, так как это было, действительно, новейшее издание сочинений Лермонтова, где впервые была помещена полностью его поэма «Демон». К тому же в статьях Белинского о Лермонтове нет развернутого отзыва об этой поэме, потому что сама поэма еще не появлялась в те годы в печати, за исключением небольшого отрывка. Это, по-видимому, и вынудило Коларжа обратиться к оценке Дудышкина.

Кроме того, на отношении Коларжа к Лермонтову могла отразиться двойственность его общественной позиции; в начале своего творческого пути он испытал сильное влияние Й. В. Фрича и был связан с демократическими кругами, а в 60-е гг. постепенно отошел от прогрессивного лагеря и примкнул к консерваторам.[13]

Совсем иную трактовку получило и творчество Лермонтова, и его поэма «Демон» в появившейся через 6 лет статье Ф. Провазника и печатавшейся в журнале «Светозор» с апреля по июнь 1871 г.[14] Провазник считает, что Лермонтов ни в чем не подражал Байрону, хотя «в некоторых своих произведениях, особенно в „Демоне", он и напоминает нам Байрона. Да и какой же поэт не напоминает нам в том или ином месте своих предшественников или современных ему поэтов? Лермонтов, конечно, и без Байрона стал бы тем, чем он есть». И далее: «Исходя из направления обоих поэтов, можно было бы добавить, что Лермонтов и был Байроном, но при этом „русским Байроном", т. е. он был в русской поэзии тем, чем Байрон был в поэзии английской».[15]

В оценке поэмы «Демон», как и остального творчества Лермонтова для чешского критика отправным моментом служила точка зрения Белинского: «И нет преувеличения в словах русского критика Белинского, когда он говорит, что Лермонтов в этой поэме брал цвета у радуги, лучи у солнца, блеск у молнии, грохот у громов, гул у ветров».

Рассказ о «Демоне» Провазник тоже начал словами Белинского: «Мысль этой поэмы глубже и несравненно зрелее, чем мысль „Мцыри", и хотя исполнение ее отзывается некоторою незрелостью, но роскошь картин, богатство поэтического одушевления, превосходные стихи, высокость мыслей, обаятельная прелесть образов ставят ее несравненно выше „Мцыри" и превосходят все, что можно сказать в ее похвалу». Поскольку в статье Белинского больше о «Демоне» ничего не говорится, так как при его жизни поэма в России не публиковалась, то далее Провазник рассуждает самостоятельно: «Главная мысль поэмы — происхождение добра и зла и изображение борьбы этих двух сил. Демон как представитель зла на земле не является здесь просто демоном, поэт приодевает его при-

---

[13] *Hermanová E.* Op. cit., s. 278—280.

[14] *Provazník F.* M. J. Lermontov. — Světozor, 1871, č. 17, s. 197—198; č. 18, s. 210—211; č. 19, s. 219—222; č. 21, s. 246—247; č. 22, s. 258—259; č. 24, s. 282—283, č. 26, s. 307; č. 28, s. 330—331.

[15] Ibid., p. 282—283.

знаками человечности, наделяя человеческими свойствами, и он предстает перед нами как определенный характер, разумеется, демонический, но исполненный с большим мастерством».[16]

Почти одновременно со статьей Провазника, в 1872 г., в чешской печати появляется второй перевод «Демона», через 9 лет после первого. Он вошел в двухтомник сочинений Лермонтова, созданный чешским переводчиком А. Дурдиком (1839—1906). Это было первое книжное издание Лермонтова у славян. Дурдик перевел 37 стихотворений Лермонтова и его поэмы «Боярин Орша», «Песня про царя Ивана Васильевича», «Сказка для детей» и «Демон».

Можно с полным правом утверждать, что подобно тому, как в 60-е годы XIX в. мощным художественным импульсом для всех чешских литераторов было появление переводов В. Г. Бендла из Пушкина, так в 70-е гг. огромную роль сыграл Дурдик как интерпретатор Лермонтова. Его переводы были высоко оценены современниками.[17]

Что касается перевода «Демона», то в нем Дурдик стремился к точной передаче авторской мысли, не допуская отступлений и искажения смысла и содержания оригинала. По мнению критика начала XX в. Й. Фольпрехта, сравнивавшего чешские переводы «Демона», «Перевод Дурдика для своего времени можно считать совершенным. У него минимальное количество отклонений от оригинала, почти нет самовольных вставок и добавлений, вызванных потребностями рифмы и ритма; он скрупулезно придерживается хода мысли поэта; переводя почти дословно, Дурдик не допускает отступлений от духа чешского языка, от благозвучности и понятности перевода; рифма полнозвучная, по большей части мужская; ошибки, которые он допускает, вызваны скорее неопределенностью грамматических правил; гибкость поэтического языка, его форма нигде в то время (в 1872 г.) не достигали еще такого совершенства, как у Дурдика, особенно если учесть все оттенки лермонтовской мысли и словесной изобразительности; отступлений от ритма не больше, чем у самого Лермонтова; непривычное употребление отдельных выражений вызвано недостатками поэтического языка той поры, а также недостаточностью поэтического словаря».[18]

Помимо отдельного издания, «Демон» в 70-е гг. в отрывках вошел в антологию «Русская поэзия», выпущенную в Брно. Отрывок из поэмы был переведен Й. Прокешем и напечатан в г. Ичине в «Альбоме славянских сочинений».[19]

В 80-е гг. XIX в. известность «Демона» возросла благодаря опере Рубинштейна, поставленной в Праге в 1885 г. Тогда же в Праге было напечатано и переведено с немецкого либретто оперы Висковатова и Оффермана.

---

[16] Ibid., p. 283.

[17] *Жакова Н. К.* Переводы поэзии Лермонтова на чешский язык в 70-е годы XIX века. — В кн.: Славянские страны и русская литература. Л., 1973, с. 196—197.

[18] *Folprecht J.* České překlady Lermontovova Démona. — In: Z dějin česke literatury. J. Vlékovi k 60-ým narozeninám. Praha, 1920, s. 234—235.

[19] *Básně M. J.* Lermontova. Úryvky z Démona. Přel. A. Durdik. — In: *Vymazal F.* Ruská poezije. Brno, 1874, s. 180—181; Démon. Z ruského Lermontova Přel. F. Prokeš. — Album Slovanských listův (Jičin), 1875, s. 4.

На рубеже веков и в первые десятилетия XX в. «Демон» становится особенно популярным, пользуясь большим вниманием чешских переводчиков и исследователей. За короткий срок появляется несколько переводов этого произведения: 1897 г. — прозаический, очень близкий к тексту перевод А. Кусака в журнале «Велеград»; 1906 г. — отдельное издание, посвященное всестуденческим торжествам в переводе Ф. Гайса; 1908 г. — перевод Ф. Троппа в журнале «Освета»; 1909—1910 гг. — два перевода, принадлежащие перу Ф. Таборского: один в журнале «Наше доба», другой — отдельный оттиск с этого издания.

О пристальном интересе к поэме «Демон» в эти годы говорит и то, что сразу после выхода перевода Ф. Таборского в одном из чешских журналов появилась уже упоминавшаяся рецензия Й. Фольпрехта, в которой был дан сравнительный анализ всех стихотворных переводов «Демона» на чешский язык, включая перевод А. Дурдика и Э. Вавры. Наибольшего внимания среди этих переводов заслуживает перевод Ф. Таборского.

Ф. Таборский (1858—1940) явился первым чешским переводчиком Лермонтова, который подходил к своей работе не дилетантски, а со строго научных позиций. Прежде всего он старался переводить с наиболее авторитетных русских изданий; свои переводы он располагал в хронологическом порядке и давал точную датировку стихотворений; книги его переводов были снабжены большим количеством примечаний и комментариев.

Своему переводу Ф. Таборский предпослал статью о творческой истории, рассмотрев в ней обстоятельства ее возникновения, списки и варианты поэмы «Демон». И здесь Таборский показал себя внимательным переводчиком. Он переводил с последнего русского издания собрания сочинений поэта, составленного и изданного П. А. Висковатым в 1891 г., тогда как другие переводчики пользовались более старыми изданиями «Демона».

Ф. Таборский выступил со своими переводами в тот период, который вошел в историю чешского перевода как период ревизии, или критического отношения к предшествующей переводческой школе (главным образом школе Я. Врхлицкого). Таборский заново перевел все те стихотворения Лермонтова, которые уже были переведены его предшественниками (Дурдиком и др.), руководствуясь иным переводческим методом. Если А. Дурдик следовал принципам вольного перевода, то Таборский избирает принцип наибольшей близости к оригиналу, точной передачи не только содержания, но и его формы. В этом была заслуга Ф. Таборского, который старался сохранить форму лермонтовского стиха, точно передать его размер, рифмику, ритмический и строфический строй. Стремлением к дословности можно объяснить недостатки переводов Таборского (русизмы, неестественный порядок слов, лишние слова и т. д.). Й. Фольпрехт называет эту дословность «стремлением к точности и верности»: «Сознательное стремление к точности и верности перевода приводит часто к некоторой тяжеловесности, вместо весомого и звучного лермонтовского стиха появляется стих негибкий, застывший.

Перевод Таборского не переливается всеми цветами радуги, здесь он явно отстает от оригинала; но вместе с тем он хорошо передает общее настроение, переводя не просто слова, но отражая все оттенки мысли

поэта, которой были свойственны острота и точность выражения; почтительно передавая мысль за мыслью, он скорее отступал от точности рифмы или формального подобия. Уважение к творчеству поэта у него чрезвычайно велико; стараясь понять, почему автор избрал мужскую или женскую рифму, переводчик стремился добиться того же. Ритм, у Лермонтова часто неправильный и оригинальный, он стремится передать особенно точно, считая его наиболее характерной особенностью оригинала; он не выпускает ни одной поэтической детали, украшения; старательно избегал неблагозвучия».[20]

Перевод Таборского был делом большой культурной важности и явился выдающимся вкладом в развитие чешского лермонтоведения.

Одновременно с Таборским переводами Лермонтова занимался Ф. Тропп, и хотя ему удалось создать ряд удачных переводов, но они не отличались такой строгой продуманностью, как у Таборского.

Ф. Тропп (1860—1917) много переводил с польского, английского (преимущественно Байрона), русского, но главным в его переводческой деятельности стали переводы лирики и поэм Лермонтова: 1907 г. — «Мцыри», 1908 г. — «Демон», 1912—1917 гг. — лирика; 1916 г. — отдельное книжное издание стихотворений Лермонтова. В предисловии к своему томику переводов Лермонтова Тропп высказал пожелание, чтобы «молодежь обращалась к его переводам так же, как он сам в юности обращался к переводам Коржинека и Дурдика. Всю свою жизнь он черпал из чистого источника лермонтовской поэзии, и это помогало сохранить честность и душевный покой».[21]

Однако, несмотря на благородство стремлений, Тропп не мог конкурировать своими переводами с Таборским. Правда, нередко стих его легче и плавнее, чем у Таборского, но у него нет той точности передачи авторского замысла, часто встречается прямое непонимание и неполная передача мысли. Легкость стиха сочетается с легкостью мысли и непониманием стилистических особенностей поэтического языка Лермонтова. Подобно другому переводчику «Демона» этих лет Гайсу, Тропп расцвечивает лермонтовский текст.

В переводах Гайса и Троппа слишком много украшательства, простота лермонтовского слога им кажется малопоэтичной, поэтому они прибавляют от себя слова и целые выражения, делая стих рыхлым и многословным. Все это противоречит сущности лермонтовской поэзии, афористичной, четкой, ясной. Немотря на то, что язык переводов Гайса и Троппа более современен, это язык уже нового времени, но в них, как подчеркивает Й. Фольпрехт, «столько лишних слов, столько избыточного украшательства, что переводы эти стали шагом назад по сравнению с переводом Дурдика».[22]

В первые десятилетия нашего века наряду с Ф. Таборским пропагандистом творчества Лермонтова в Чехии выступает Й. Фольпрехт (1879—1950), литературовед, критик, историк культуры, посвятивший ряд работ

---

[20] *Folprecht J.* České překlady Lermontovova Démona, s. 238.

[21] *Tropp F.* Michail Jurjevič Lermontov. Úvod. — In: *Lermontov M. J.* Básně. Přel. a úvodem opatřil Fr. Tropp. V Praze, 1916, s. 10.

[22] *Folprecht J.* České překlady Lermontovova Démona, s. 237.

русской литературе, в том числе творчеству Гаршина, Писемского, Достоевского. Однако больше всего внимания он уделил Лермонтову и его поэме «Демон». В своей статье 1909 г. «„Демон" Лермонтова и современная поэзия» он предпринял попытку связать поэму с модернистскими течениями современной ему поэзии, отражавшими настроения крайнего индивидуализма, мистицизма и проникнутые культом Ницше.

Для него поэма «Демон» — явление исключительное и самобытное, не имеющее себе равных в мировой поэзии романтизма. По мнению чешского критика, Лермонтов стоит выше и Байрона и байронистов, ибо в отличие от них в нем нет никакой позы. «Его сарказм исходит из внутренней потребности его духа, а его презрение и протест так же как и его покорность искренни, сильны и непреодолимы».[23]

Фольпрехт оценивает поэта и его героя с морально-этических позиций, почти не касаясь социальных мотивов протеста и неудовлетворенности, свойственных Лермонтову.

Фольпрехт утверждает, что идея поэмы «Демон» близка модернистам, что образ Демона является символом «не объективного творца, а мистика или пантеиста, который хочет открыть для себя не внешний мир, а стремится проникнуть в мир трансцендентный, идентичный его внутреннему духу»,[24] и что в дальнейшем развитии, если бы оно было возможно, Лермонтов пришел бы, по-видимому, к религиозному мистицизму.[25] Это заявление Фольпрехта не прошло незамеченным, против него выступил Ф. Таборский, подчеркнувший в написанной им биографии Лермонтова, что путь от Лермонтова идет не к Ницше, а к Льву Толстому.[26]

Уже через год в фундаментальной статье «Михаил Юрьевич Лермонтов» Фольпрехт отказался от своей модернистской концепции творчества поэта, дав более объективную оценку и поэме «Демон». Исходным материалом для этой работы, по заявлению самого Фольпрехта, послужила первая научная биография Лермонтова, принадлежавшая перу П. А. Висковатова, и критические высказывания Белинского и Добролюбова. Обращаясь к анализу поэмы, Фольпрехт вновь подчеркивает самобытность и оригинальность Лермонтова. По его мнению, Демон — фигура настолько близкая поэту, что здесь даже невозможно говорить о чьем бы то ни было влиянии, будь то Пушкин, Байрон, Виньи или Шелли. В некоторых эпизодах «Демона» Фольпрехт находит реалистические черты: это описание пляски Тамары, сцена нападения на караван, кавказские пейзажи. Фольпрехт поддерживает мнение Висковатого о том, что в «Демоне» намечается переход от лирического жанра к эпическому, например, в диалогах Демона и Тамары. Главные движущие силы поэмы — протест, неудовлетворенность, которые являются, по мнению Фольпрехта, «продуктом романтизма».

---

[23] *Folprecht J.* Lermontovův Démon a moderní produkce básnická. — Naše doba, 1908, seš. 3, s. 184.

[24] Там же, с. 182.

[25] Там же, с. 180.

[26] *Táborský F.* M. J. Lermontov. Úvod do jeho vlastního životopisu do jeho básní. — Naše doba, 1917, seš. 3, s. 290.

К проблематике «Демона» Фольпрехт вернулся еще раз в статье 1920 г. «Чешские переводы лермонтовского „Демона“, в которой дал оценку поэтического мастерства Лермонтова.[27] «Форма поэтических творений Михаила Юрьевича Лермонтова — это форма гения. Его стих, короткий ли, длинный ли, течет легко и свободно и производит впечатление легко написанного, легко изливающегося слова, хотя судя по рукописям, мы знаем, что поэт упорно шлифовал свои произведения, часто переделывая, исправляя, заменяя одно другим. Его мысль всегда отточена, как правило, совершенно точно выражена, потому что поэт, приступая к написанию какой-либо вещи, уже имел определенный замысел и идею». «Каждое его слово стоит на своем месте, у него нет ничего лишнего, никаких поэтических блесток и украшений», «. . . его стих словно кованый из железа».[28]

Новая волна интереса к «Демону» поднимается в конце 30-х гг. в связи с приближающимся столетием со дня гибели поэта.

Юбилей Лермонтова отмечался очень широко. Это было связано с той общественно-политической обстановкой, которая сложилась в это время в Чехословакии. Страна была оккупирована, и обращение к русской культуре явилось выражением протеста против гитлеровской оккупации и проявлением симпатий чешского народа к Советскому Союзу и русской культуре.

В 1939 г. отдельной книгой вышел перевод «Демона», принадлежащего выдающемуся чешскому поэту 30-х гг. Йозефу Горе; затем он вошел в специально подготовленное издание произведений русского поэта.

Юбилейное издание Лермонтова в трех томах было осуществлено лучшими чешскими переводчиками XX века: Богумилом Матезиусом, Марией Марчановой, Йозефом Горой, Богуславом Илеком и др. под редакцией Б. Матезиуса, который выступал автором статей к изданию в целом и к отдельным томам и комментариев. Это было глубоко продуманное, научно подготовленное издание, опиравшееся на последние достижения советского лермонтоведения. Из-за сложностей военного времени в 1941 г. были выпущены только два первых тома: лирика и проза. Третий том, включавший поэмы, в том числе и «Демона», появился сразу после освобождения Чехословакии в 1945 г.[29]

Перевод «Демона» принадлежал перу выдающегося чешского поэта Йозефа Горы (1891—1945), который перевел более половины стихотворений Лермонтова, вошедших в издание 1941 г.

К переводам русской классической поэзии (кроме Лермонтова, Гора переводил и Пушкина, в том числе его роман в стихах «Евгений Онегин») он обратился в ту пору, когда уже считался признанным и большим поэтом, проникновенным лириком, глубоко чувствовавшим социальные противоречия своей эпохи, одним из создателей чешской пролетарской поэзии (особенной популярностью пользовалось его стихотворение «Про-

---

[27] *Folprecht J.* České překlady Lermontovova Démona.

[28] Там же, с. 233.

[29] *Lermontov M. J.* 1) Vybraných spisů svazek I. Bratr smutek. Výbor z lyriky. V Praze, 1941; 2) Vybraných spisů svazek II. Dobrodružství Grigorije Alexandroviče Pečorina. V Praze, 1941; 3) Vybraných spisů svazek III. Poemy. V Praze, 1945.

летарская мадонна»), поэтом, стремившимся к выражению гармонии личности и коллектива.

Кроме того, к этому времени Гора обладал уже и богатым опытом перевода русской советской поэзии. Гора принадлежал к числу тех чешских писателей и поэтов, которые находились в первых рядах борцов за социальную справедливость, сразу принявших Октябрьскую революцию и сделавших своей жизненной целью пропаганду идей Октября и правды о Советской России. Вместе с Б. Матезиусом и З. Неедлым он принимал активное участие в создании Общества экономического и культурного сближения с Новой Россией (1925 г.) и одним из первых его членов участвовал в ознакомительной поездке по СССР (1925 г.), а вернувшись, выступал с лекциями о первой стране Советов и о влиянии Октябрьской революции на чешскую литературу. В его поэтических сборниках 1927—1928 гг. появились новые темы, связанные с Россией, революцией, Лениным (стихотворения «Москва», «Пулково», «Ленинград», поэма «Иван и Ленин», очерки о России). Естественно, что советская литература, советская поэзия не могли оставить его равнодушным. Вскоре после возвращения из поездки он переводит поэмы С. Есенина «Анна Снегина», «Иннония», «Русь советская» (1926—1927 гг.), обращается он и к переводам из А. Блока и Б. Пастернака.

В 30-е годы, в связи с идейно-политическим и духовным кризисом, Гора отходит от активной общественной деятельности, замыкается в себе, в его творчестве начинают звучать ноты одиночества, обреченности и пессимизма.

Восстановлению душевного равновесия среди многих других причин способствовало и его обращение к русской классике, к Пушкину и Лермонтову. К 1937 г., к пушкинскому юбилею, Гора переводит «Евгения Онегина». Этот его перевод был восторженно встречен современниками, он стал большим событием в культурной жизни чехов. Уже в наши дни, оценивая вклад Горы в чешскую пушкиниану, критик К. Гаузенблас писал, что переводчик сумел создать подлинно классическое произведение.[30]

В 1939 г. Гора создал перевод «Демона», тут же и опубликованный в виде отдельной книги, а в 1940 г. в библиофильском издании была выпущена «Клятва Демона».[31] Одновременно в чешской периодической печати стали появляться его многочисленные переводы лирики Лермонтова.

Выход «Демона» был сразу замечен критикой, в 1939—1941 гг. появилось несколько откликов и рецензий, а в 1945—1946 гг. — новые выступления критиков, которые очень высоко оценили труд Горы, отмечая, что все, что появлялось до этого, было лишь подступом к «Демону», и только Гора впервые дал чешским читателям возможность ощутить всю красоту и мощь лермонтовского творения.[32]

---

[30] *Hausenblas K.* Nový překlad Evžena Oněgina. — Slovo a slovesnost, 1967, N 4, s. 379.

[31] *Lermontov M. J.* Démon Přel. Josef Hora. V Přaze, 1939. Lermontov M. J. Démonova přísaha Tamaře. Přel. Josef Hora. V Praze, 1940.

[32] Michail Jurjevič Lermontov v české literatuře. Bibliografie. Přaha, 1965, s. 50, 52.

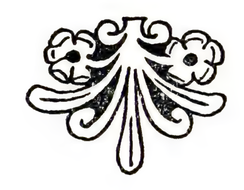
О том, что перевод Горы остается непревзойденным и до сих пор, свидетельствуют все последующие издания поэмы (а их было восемь!). «Демон» выходил и отдельным изданием,[33] в сериях «Бессмертные» и «Сокровища русской и советской литературы», и в отрывках, [34] и в избранных произведениях Лермонтова, неоднократно издававшихся на чешском языке, включая последнее издание 1976 г.[35]

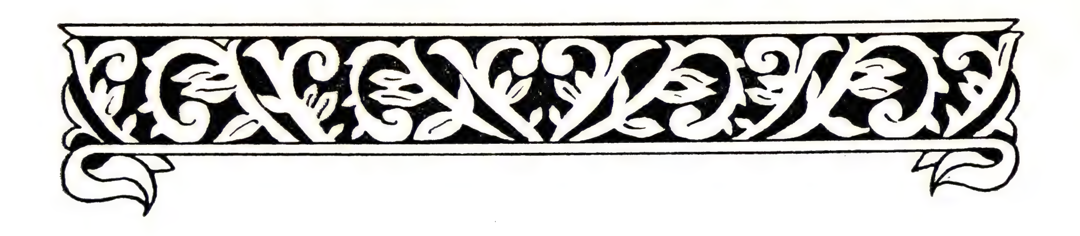
---

[33] *Lermontov M. J.* 1) Démon. Východní zkazka. Praha, 1954. Nesmrtelní, sv. 14; 2) Démon. Praha, 1972. Skvosty ruské a sovětské literatury.

[34] *Lermontov M. J.* 1) Démon. — Zemědělské noviny, 1954, č. 249 (16. x), s. 3; 2) Proměny Démona. Praha, 1967, s. 50.

[35] Kniha slovanské poesie. Praha, 1951, s. 67—115. *Lermontov M. J.* 1) Výbor z díla. Praha, 1951, s. 307—343; 2) Jak volný vítr. Dílo a život básníka. Praha, 1957, s. 545—583; 3) Stesk rozumu. Praha, 1976, s. 237—272.





В. Н. Баскаков

САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН В БОЛГАРИИ

Исследования восприятия и бытования за рубежом произведений русских писателей-классиков XIX в. посвящены в основном Пушкину, Гоголю, Достоевскому, Тургеневу, Чехову и Л. Толстому. Однако многие писатели, а среди них и Салтыков-Щедрин, с точки зрения их роли в мировом литературном развитии изучаются еще недостаточно внимательно, и литературные источники, касающиеся рецепции их творчества на Западе, собраны и введены в научный оборот пока далеко не полностью.

Изучение процесса восприятия на Западе наследия Салтыкова-Щедрина началось сравнительно недавно. Что же касается славянских народов и их отношения к творчеству великого русского сатирика, то этот вопрос изучался преимущественно учеными Чехословакии и Польши, а восприятие Салтыкова-Щедрина южными славянами до самого последнего времени внимания исследователей вообще не привлекало.[1] Между тем освоение сатирического наследия Салтыкова-Щедрина южными славянами интересно не только с точки зрения изучения мировой славы писателя, но и для постижения тех процессов, которые на протяжении последнего столетия связывают литературы этих народов с русской литературой, для понимания роли и значения наследия русских писателей-классиков в литературном развитии Болгарии и Югославии.

Прошло сто лет с момента появления в Болгарии первого перевода из Щедрина: «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил» Юрдан Бобчев напечатал в пловдивской газете «Марица» 10 ноября 1881 г. За сто лет болгары познакомились со многими произведениями великого сатирика. Однако процесс проникновения наследия Салтыкова-Щедрина в Болгарию был неоднородным и не на всех этапах одинаково интенсивным. Интересы болгарского общества в разные эпохи его истории к творчеству Салтыкова-Щедрина были неодинаковы и различались, во-первых,

[1] *Троев П.* М. Е. Салтыков-Щедрин в болгарской критике конца XIX века. — Болгарская русистика. София, 1981, № 2, с. 10—22; См. также: *Баскаков В. Н.* Салтыков-Щедрин в славянских странах. — В кн.: Классическое наследие и современность. Л., 1981, с. 242—250.

степенью внимания к произведениям великого сатирика, во-вторых, репертуаром переводимых его сочинений.

С произведениями Салтыкова-Щедрина болгарский читатель начал знакомиться еще при жизни писателя. В 1881—1889 гг. в разных болгарских изданиях, кроме упомянутой уже «Повести о том, как один мужик двух генералов прокормил», появились сказки «Пропала совесть» и «Либерал», а также очерк «Сельская учительница» из «Мелочей жизни». Это начальный этап освоения наследия Салтыкова-Щедрина в Болгарии, открывшийся сказками, которые на много лет вперед станут главным предметом внимания болгарских переводчиков и болгарских читателей.

Действительно, болгарская рецепция творчества Салтыкова-Щедрина в конце прошлого и в первые десятилетия нынешнего века прочно связана со знаменитым сказочным циклом, лишь изредка отступая от него и обращаясь к другим произведениям сатирика. В 90-е гг. переводы из Салтыкова-Щедрина довольно часто появляются на страницах болгарской печати, хотя популяризация его наследия идет без определенной программы и внимание болгарской общественности сосредоточивается на немногих его произведениях, преимущественно 80-х гг. Это и понятно: болгарский читатель интересуется не столько прошлым русской литературы, сколько ее современным состоянием, ему близки общественные идеалы, выдвигаемые и реализуемые русскими писателями, он прислушивается к голосу передовой русской литературы и учитывает ее опыт в общественном и культурном строительстве, в это время развертывающемся в Болгарии.

Особенностью процесса восприятия наследия Салтыкова-Щедрина в Болгарии является то обстоятельство, что популяризация, как отмечает в названной выше статье П. Троев, «совершается главным образом через распространение его произведений (в оригинале и в переводах) и в меньшей степени через их критическую оценку». Действительно, о Салтыкове-Щедрине пишут мало или не пишут совсем, если не считать довольно широкого извещения о смерти писателя в 1889 г. да нескольких статей и некрологов, между тем и в 90-е гг., и в начале XX в. его произведения то и дело появляются на страницах периодической печати и пользуются популярностью среди всех слоев болгарской читающей публики. В 90-е гг. на болгарский язык были переведены многие сказки: «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил», «Карась-идеалист», «Приключение с Крамольниковым», «Баран-непомнящий», «Соседи», «Верный Трезор», «Либерал», «Гиена», «Христова ночь», «Премудрый пискарь», «Кисель», «Рождественская сказка», «Праздный разговор». В это же время появляются отрывки из «Современной идиллии», «Пестрых писем», «Мелочей жизни», «Пошехонской старины», из более ранних произведений печатаются рассказ «Клевета» да небольшие отрывки из сатирического цикла «Помпадуры и помпадурши». Прошлый век, таким образом, познакомил болгарского читателя с фрагментами крупных произведений и циклов Салтыкова-Щедрина, но не принес целостного представления об этом писателе ни в критике, ни в переводческой практике. Даже самые популярные и часто переводимые сказки появились в это время в своей незначительной части: из 32 сказок в 80—90-е гг. в Болгарии было переведено лишь 14. Это не значит, что болгарский чита-

тель был незнаком с остальными произведениями великого сатирика: языковая близость и широкое распространение русского языка в Болгарии способствовали проникновению на болгарскую почву русской литературы, в том числе и наследия Салтыкова-Щедрина, в оригинале. И при рассмотрении процесса восприятия русской литературы в Болгарии этот путь знакомства с ней болгарской общественности нельзя скидывать со счетов, хотя в настоящее время он еще недостаточно изучен и в подобного рода исследованиях либо не учитывается совсем, либо учитывается лишь в общих своих чертах и формах.

Процесс распространения произведений Салтыкова-Щедрина в Болгарии в начале XX в. мало отличается от аналогичного явления последних двух десятилетий XIX в. Интерес к сказкам продолжает сохраняться, но постепенно на первый план заметно выступают сказки «Христова ночь» и «Рождественская сказка», затрагивающие морально-нравственные проблемы. Они многократно переводятся, порою представая перед читателем в переделанных либо сокращенных вариантах. Их печатают периодические издания разных направлений. С одной стороны, они появляются в таких социалистических журналах, как «Ден», «Ново време», «Другар», с другой — их можно встретить в журналах консервативного и религиозного толка, среди которых и «Българска сбирка», и «Духовна пробуда», и наконец «Църковен вестник». Издания, отражающие разные общественные и политические интересы, по-разному принимают и морально-нравственные проблемы, трактуемые сатириком. Если прогрессивная болгарская печать публикует сказки ради обличения предательства и политического ренегатства, видя в них призыв к гражданскому подвижничеству, то консервативно-клерикальные издания акцентируют внимание на формах христианской проповеди и религиозно-мифологической образности сказок, подчас выхолащивая из них общественно-социальную проблематику.

В первой половине XX в., до освобождения Болгарии в 1944 г., в болгарских периодических изданиях появляются не только сказки на морально-нравственные темы, но и другие произведения этого цикла, в том числе и ранее не переводившиеся. Среди них «Недреманное око», «Дурак», «Путем-дорогою», «Здравомысленный заяц», «Коняга», «Обманщик-газетчик и легковерный читатель», «Деревенский пожар» и др. В новых переводах появляются «Карась-идеалист», «Либерал», «Кисель», «Пропала совесть», «Премудрый пискарь». Изредка в это время печатаются отрывки или главы из «Губернских очерков», «Господ Головлевых», «За рубежом», «Пестрых писем», «Мелочей жизни». Событием в распространении и популяризации в Болгарии наследия Салтыкова-Щедрина стало появление в 1937 г. небольшого сборника сказок под общим заглавием «Пропала совесть». Это была первая попытка представить Салтыкова-Щедрина болгарскому читателю как автора цикла произведений, хотя и на этот раз публикуемого в неполном виде. Переводы, выполненные заново под редакцией Г. Бакалова, обусловили нарастание интереса к творчеству русского сатирика, который в более явственной форме проявился в Болгарии в послевоенные годы.

С освобождением Болгарии в 1944 г. начинается новый этап в истории связей русской и болгарской литератур, характеризующийся не только взаимным интересом к современному литературному развитию, к литера-

туре социалистического реализма, но и чрезвычайно возросшим вниманием к классическому наследию братских народов. В Советском Союзе появляются в новых переводах произведения выдающихся представителей болгарской литературы XIX—первой половины XX в., Вазова, Ботева, Каравелова и многих других, в Болгарии широко, как никогда ранее, печатаются отдельные произведения и собрания сочинений русских писателей-классиков от Пушкина до Горького.

Процесс восприятия Салтыкова-Щедрина после 1944 г. отличается тем, что в центре внимания болгарской общественности оказываются не отдельные и случайные очерки, рассказы, сказки, представляющие собою отрывки или части более крупных произведений, а сами эти произведения, преимущественно в их полном виде. У болгарского читателя в эти годы начинает формироваться целостное представление о русском сатирике и его творчестве. В 1947 г. появляется полный перевод «Господ Головлевых», в 1955-м — болгарский читатель получает «Губернские очерки» и сборник сказок, а в 1979 г. начинается осуществление первого в Болгарии собрания сочинений Салтыкова-Щедрина, в новых переводах включающего главнейшие романы и сатирические циклы, созданные писателем. Это издание — знаменательное явление в общем процессе распространения и восприятия наследия великого русского сатирика за рубежами нашей страны.

Переводы произведений Салтыкова-Щедрина, являющиеся основой для изучения характера и особенностей восприятия его творчества на болгарской почве, никогда не собирались и не привлекали внимания литературной науки. Поэтому сейчас первым шагом на пути исследования рецепции творчества Салтыкова-Щедрина в Болгарии должно стать выявление и библиографическое оформление всего фонда болгарских переводов его произведений. Первоначальным опытом решения этого вопроса и является настоящая работа. В ней относительно полно представлена болгарская щедриниана в той ее части, которая касается переводов произведений русского сатирика. Сведения об этих переводах удалось собрать в софийских библиотеках, а также в результате использования обширных, хотя и не очень совершенных росписей периодической печати в Институте литературы Болгарской Академии наук и Государственной библиотеке им. Кирилла и Мефодия. Сосредоточенный здесь материал, пока еще не предельно полный, достаточно любопытен и в корне меняет ранее существовавшее представление о бытовании произведений Салтыкова-Щедрина в Болгарии. Он может быть использован как основа для развертывания работ по изучению восприятия литературной средой Болгарии и болгарским обществом в целом творчества великого русского сатирика.

ПЕРЕВОДЫ ПРОИЗВЕДЕНИЙ САЛТЫКОВА-ЩЕДРИНА НА БОЛГАРСКИЙ ЯЗЫК

(Материалы для библиографии)

1881

Повест как един селач нахранил двама «големци». Прев. Юрдан Бобчев. — Марица, Пловдив, год. IV, 1881, 10 ноембрия, № 335, с. 2—4.

В конце текста: «Москова, 16 септем. 1881 год».

1882

Съвестта се загубила. Прев. Ю[рдан] Б[обчев]. — Наука. Пловдив, год. II, 1882, кн. 4, с. 345—354.

Пропала совесть.

1888—1889

Селска учителка. Прев. Е. Каравелова. — Библиотека «Свети Климент». София, год. I, 1888—1889, кн. 4.

Либерал. — Вестник на учителското дружество. Видин, 1889, № 8.

1890

Коледна приказка. Прев. Т. Г. Влайков. — Библиотека «Свети Климент». София, год. II, 1890, кн. 11, с. 307—316.

Рождественская сказка.

1891

Из дреболиите на живота. — Ден. Шумен, год. I, 1891, януари, № 1, с. 1—12.

Мелочи жизни. Вторая половина второй главы «Введения» (от слов: «Ах эти мелочи!»), глава пятая.

Из «Дреболиите на живота». Имерек. — Ден. Шумен, год. I, 1891, февруари, № 2, с. 90—104.

Мелочи жизни. Имярек.

Карас-идеалист. — Ден. Шумен, год. I, 1891, юлий и август, № 7 и 8, с. 328—339.

Карась-идеалист.

Пошехонска старина. Предводителя Струнников. Прев. Върбев [В. Юрданов]. — Искра. Шумен, год. III, 1891, кн. 3, с. 161—169; кн. 4, с. 205—212; кн. 5—6, с. 271—281.

1891—1892

За ревностния началник. — Дума. Пловдив, год. II, 1891—1892, кн. 3 и 4, с. 149—153.

Современная идиллия. Сказка о ретивом начальнике.

1892

Какво се случило с Крамолникова (приказка-елегия). Прев. Върбев [В. Юрданов]. — Искра. Шумен, год. IV, 1892, № 3, юли, с. 137—142.

Приключение с Крамольниковым.

Из «Пъстрите писма». — Ден. Шумен, год. II, 1892, кн. VIII—IX, с. 564—579.

Пестрые письма.

Повест за това, как един мужик исхранил двама генерала. — Ден. Шумен, год. I, 1892, кн. 1—6, с. 4—12.

1893

Клевета. — Време. Пловдив, год. I, 1893, 26 септ., № 9, с. 2—3.
Клевета (Сатиры в прозе).

На прощаване. — Време. Пловдив, год. I, 1893, 19 септември, № 7, с. 2—3.
Прощаюсь, ангел мой, с тобою! (Помпадуры и помпадурши).

Овен — забравеник. Прев. Върбев [В. Юрданов]. — Искра, Шумен, год. IV, 1893, кн. 11, с. 599—602.
Баран-непомнящий.

Щедриновска приказка. — Време. Пловдив, год. I, 1893, 19 септемврий, № 7, с. 2—3.
Соседи.

1894

Верни Трезор. — Другар. София, год. I, 1894, 24 юний, № 41, с. 2—3, юлий, № 42, с. 2—3.
Верный Трезор.

Градоначалници-безсребренници. Превода се посвеща на днешната българска полиция. Прев. Д. Р. — Искра. Шумен, год. V, 1894, т. I, с. 302—308.

Либералът. Прев. Върбев [В. Юрданов]. — Искра. Шумен, год. V, 1894, т. 1, с. 129—135.
Либерал.

Хиена (поучение). Прев. Върбев [В. Юрданов]. — Искра. Шумен, год. V, 1894, кн. 7, с. 57—61.
Гиена.

1895

Христова нощ. (Предание). Прев. Стр. [Д. Очков]. — Ден. Шумен, год. IV, 1895, кн. III, с. 206—212.
Христова ночь.

Христова нощь. (Предание). Посвещава се на българските управници. София, 1895, 8 с.
Христова ночь.

1897—1898

Премъдрата мрена. Прев. Г. Нимве [Г. Минев]. — Живот. Сливен, год. I, 1897—1898, кн. 6, с. 290—296.
Премудрый пескарь.

1898

Кисель. Прев. Г. Нимве [Г. Минев]. — Българска сбирка. Пловдив, год. V, 1898, 1 май, кн. V, с. 464—465.
Кисель.

Коледна приказка. Прев. Н. Ц. — Новини. София, год. VIII, 1898, 3 януари, № 24 и 25, с. 3—5.
Рождественская сказка.

Либерал. Прев. Г. Нимве [Г. Минев]. — Българска сбирка. Пловдив, год. V, 1898, 1 септември, кн. VII, с. 664—668.
Либерал.

Чудинов. Прев. Б. Султанов. Плевен, 1898, 18 с. (Библиотека за юноши, кн. 1).
Мелочи жизни. Чудинов.

1898—1899

Празнен разговор. Прев. Г. Нимве [Г. Минев]. — Съвременен преглед. Русе, год. I, 1898—1899, № 12, с. 196—198.

1900

Будно око. Прев. Г. Нимве [Г. Минев]. — Иллюстрация Светлина. Пловдив, 1900, № 6, с. 10.
Недреманное око.

Глупак. Прев. Г. Нимве [Г. Минев]. — Българска сбирка. Пловдив, год. VII, 1900, 1 юний, кн. VI, с. 393—401.
Дурак.

Из «Пъстрите писма». Прев. Д. Очков. — Ново време. Пловдив, год. IV, 1900, № 11 и 12, с. 1169—1179.
Пестрые письма.

1901

Великденска нощ. Прев. Ц. Кинарев. — Просвета. София, год. I, 1901, септември, кн. I, с. 358—361.
Христова ночь. В сокращении.

Из разказите на Н. Щедрина. I. По пътя. (Разговор), Прев. Г. Нимве [Г. Минев]. — II. Добродетели и Пороци. Прев. Кера Б-ва. — Ново време. Пловдив, год. V, 1901, кн. 5, с. 477—486.
Путем-дорогою.

1903

Здравомислен заек. Прев. Г. Нимве [Г. Минев]. — Иллюстрация Светлина. Пловдив, год. XI, 1903, кн. 1, с. 15—18.
Здравомысленный заяц.

Здравомислен заек. Прев. Г. Нимве [Г. Минев]. — Ловец. София, год. IX, 1903, февруарий, № 2, с. 20—22.
Здравомысленный заяц.

Карас-идеалист. Разказ. — Реформи (Les Reformes). София, год. V, 1903, 7 май, № 8, с. 2; 8 май, № 9, с. 2; 9 май, № 10, с. 2; 10 май, № 11, с. 2; 11 май, № 12, с. 2.
Карась-идеалист.

Либерал. Разказ. — Реформи (Les Reformes). София, год. V, 1903, 2 май, № 5, с. 2; 5 май, № 7, с. 2.
Либерал.

1904

Коледна приказка. Прев. Ружа Барбар. — Ново време. София, год. VIII, 1904, април, с. 313—320.
Рождественская сказка.

Кранта. Прев. Г. Нимве [Г. Минев]. — Българска сбирка. Пловдив, год. XI, 1904, кн. 5.
Коняга.

Либерал. Прев. Здр. — Демократически преглед. София, 1904, № 19, с. 439—441.
Либерал.

1905

Карасът-идеалист. Прев. М. Ж—ва. — Народен живот. София, год. II, 1905, кн. IV, с. 218—223; кн. V и VI, с. 268—272.
Карась-идеалист.

Кранта. Прев. Г. Нимве [Г. Минев]. — Българска сбирка. Пловдив, год. XI, 1905, кн. V, с. 304—308.
Коняга.

1906

Лъжецът вестникар и лековерният читател. Приказка. Прев. А—в. — Вечеринки и утра, кн. 2. Изд. 2. 1906, с. 218—222.
Обманщик-газетчик и легковерный читатель.

Радостната вест. Прев. И. Дейков. — Духовна пробуда. Пловдив, год. I, 1906, 1 април, № 3, с. 7—9.
Христова ночь. Значительно переделанный вариант сказки.

Селска учителка. Прев. Тихомир. — Учителска мисъл. София, год. III, 1906, март кн. VII, с. 34—43.
Мелочи жизни. Сельская учительница.
Селският свещеник. Разказ. Прев. поп Марко. — Народно единство. София, год. II, 1906, 9 май, № 129, с. 2; 13 май, № 130, с. 2; 16 май, № 131, с. 2; 18 май, № 132, с. 2; 20 май, № 133, с. 2; 23 май, № 134, с. 2.
Мелочи жизни. Сельский священник.

1909

Каша. Прев. А. Кацелов. — Българска сбирка. Пловдив, год. XVI, 1909, януари, № 1, с. 70—71.
Кисель.

1910

Великденска нощ (Предание). Прев. Бранко. — Земеделска мисъл. София, год. I, 1910, кн. V и VI, с. 250—256.
Христова ночь.
Тържествуващата свиня. — Оса. София, год. I, 1910, 1 януарий, № 5, с. 4, 6.
За рубежом. Торжествующая свинья.

1911

Коледна приказка. Прев. А. В. Изворов. — Мир. София, 1911, 25 декември, № 3440, с. 1—2 (Седмична литературно-обществена прибавка, № 38).
Рождественская сказка.

1918

Рождество на правдата. — В кн.: Коледни разкази. Прев. Д. Божков. София, 1918, с. 89—104.
Рождественская сказка.

1919

Гласът на възкръсналия Бог — правда. — В кн.: Великденски легенди. Прев. Д. Божков. София, 1919, с. 56—66 (Всемирна библиотека, № 651—652).
Христова ночь.
Карас-идеалист. Приказка. Прев. д-р Михаил Михов. Второ издание. 1919, София, Книгоиздателство «Знание», 19 с.
Карась-идеалист. Первое издание обнаружить не удалось.

1921

Радостна вест. Прев. Ив. Г-иев. — Църковен вестник. София, год. XXII, 1921, 30 април, № 9—10, с. 8—10.
Христова ночь. Переделка перевода 1906 года, сделанного И. Дейковым: те же вставки, только стилистически отредактированные, те же сокращения.

1922

Коледна приказка. Прев. Ив. Коюмджиев. — Възраждане. София, год. XII, 1922, септемврий, кн. 1, с. 111—117.
Рождественская сказка.

1924

Великденска нощ. — Витлиемска звезда. Бургас, год. III, 1924, 24 юний, № 27, с. 6—7.
Рождественская сказка. Фрагмент.

1926

Селски пожар. (Нито приказка, нито случка). Прев. А. Аврамов. — Възраждане. София, год. XV, 1926, април, кн. 8, с. 260—266.

Деревенски пожар.

Съвестьта се загубила. — Народна целина. София. 1926, кн. 1, януари, с. 1—9.

Пропала совесть. В конце текста указано, что перевод сокращенный.

Съвестьта се загубила. — Пастирско дело. София, 1926, 2 април, № 14, с. 2—3; 9 април, № 15, с. 2—3.

Пропала совесть. Перепечатка из журнала «Народна целина».

Хиената (Поучение). — Наковалня. София, 1926, № 14, 11 март, с. 3—4.

Гиена.

Христова нощ (Предание). — Народна целина. София, 1926, април, кн. IV, с. 1—4.

Христова ночь.

1927

Коледна приказка. Прев. А. В. Изворов. — Мир. София, год. XXXIII, № 7957, 1927, 6 януарий, с.3.

Рождественская сказка.

1928

Коледна приказка. — Наковалня. София, 1928, № 109, с. 6—8.

Рождественская сказка. Сокращенный перевод.

Пъстри люде. — Народна целина. София, год. IV, 1928, октомври, кн. 1, с. 7—8.

Пестрые люди.

Рождението на правдата. (Коледна приказка). — Народна целина. София, год. III, 1928, кн. IV, януарий, с. 1—2.

Рождественская сказка. Фрагмент.

1929

Пъстри люде. — Кооперативна защита. София, год. VI, 1929, 26 септемврий, № 4, с. 2.

Пестрые люди. Перепечатка из журнала «Народна целина».

1930

Рождественски разказ. Прев. В. И. — Народен страж. София, год. XI, кн. 18, 1930, 1 януарий, с. 7—10.

Рождественская сказка.

1935

Мисли за градоначалническото единомислие. Съчинение на глуповския градоначалник Василиск Бородавкин. — Нова литература. София, 1935, 10 март, № 4, с. 52—56.

История одного города. Оправдательные документы.

Премъдрата кротушка. — Нова литература. София, 1935, № 1, 25 януари, с. 6—10.

Премудрый пискарь.

Философия на скръстените ръце или на четирите четвърти отвънъ. — Нова литература. София, 1935, 25 март, № 5, с. 70—71.

‹В числе философских учений. . .›. Незаконченный отрывок, связанный с творческой историей «Пошехонских рассказов».

1936

Кръвопиец. Прев. Дим. Николов. — Църковен вестник. София, год. XXXVII, 1936, 30 май, № 24—25, с. 261—262.

Господа Головлевы. По-родственному.

1937

Карас-идеалист. — Хоровод. София, год. I, 1937, 11 юний, № 3, с. 1.
Карась-идеалист. Отрывок.
Премъдрата кротушка. — В кн.: Любителска сцена. Театрален сборник под редакцият на Ст. Киров. София, 1937, с. 58—62.
Премъдрата кротушка. (Приказка). Прев. Г. — Млад кооператор. София, год. III, 1937, 15 октомврий, № 17, с. 10—11.
Премудрый пискарь. Сокращенный перевод.
Съвестьта се изгубила. Приказки. София, 1937, 80 с. (Библиотека «Знание», № 10).
В книгу вошли сказки «Карась-идеалист» (пер. М. Михов), «Премудрый пискарь» (пер. А. Тодоров), «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил», «Пропала совесть», «Либерал», «Верный Трезор». В приложении напечатаны «Мысли о градоначальническом единомыслии. . .» из главы «Оправдательные документы» («История одного города»). Перевод осуществлен под редакцией Г. Бакалова. Книга сопровождена предисловием (с. 3—6).

1938

Аз се казвам. . . куче! — Хоровод, София, год. II, 1938, 20 окт., № 53.
Губернские очерки. Надорванные (Отрывок).

1939

Из «Сатири в проза». Прев. Крум Димитров. — Литературен глас. София, 1939, 18 окт., № 445, с. 1—2.

1944

Съвестьта, която светътъ очаква. (Откъсъ из «Съвестьта се изгубила» М. Е. Салтиков-Щедрин. 1870). — Рилско эхо. Самоков, 1944, 26 септемврий, № 8, с. 4.
Пропала совесть. Отрывок.

1946

Из «История на един град». Прев. Веселин Ханчев. — Българо-съветска дружба. София, 1946, № 1, с. 18—20.
Коледна приказка. — Народен пастир. София, год. II, 1946, 5 януарий, № 8—9, с. 5.

1947

Господа Головльови. Прев. Дора Метева. [София], Книгоиздателство М. Г. Съмрикаров, [1947], 364 с. (Библиотека световни автори. Година девета. Книга осма).
С. 357—364: комментарий. Книга вышла тиражом 4000 экз.
Загубената съвест. — Прослав. Пловдив, год. I, 1947, юни, № 10, с. 293—300.
Пропала совесть.

1950

Премъдрата риба кротуша. Прев. Я. Молхов. — В кн.: Весели разкази. Разкази на руски класици. Преведе от руски Я. Молхов. София, [1950], с. 39—47.
Премудрый пискарь.

1953

Премъдрата кротушка. Прев. Ангел Тодоров. — Стършел. София, 1953, 30 януари, № 364, с. 32—33.
Премудрый пискарь.

1955

Губернски очерки. Прев. Дора Метева. София, Народна култура, 1955, 456 с.
Приказки. Прев. Я. Стоевски. София, Народна кўльтура, 1955, 180 с.

Содержание: Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил. — Дикий помещик. — Премудрый пискарь. — Самоотверженный заяц. — Медведь на воеводстве. — Орел-меценат. — Карась-идеалист. — Верный Трезор. — Соседи. — Здравомысленный заяц. — Либерал. — Коняга. — Кисель. — Путем-дорогою. — Сказка о ретивом начальнике.

Книга сопровождена вступительной статьей Б. Бухштаба и иллюстрациями Н. Муратова. Тираж 8000. Перевод осуществлен по изд.: Сказки, Детгиз, 1954.

1956

Разговор по пътя (Приказка). — Вечерни новини, София, год. VI, 1956, 21 февруари, № 44, с. 4.

Путем-дорогою.

Рождественска приказка. — Духовна култура, София, год. XXXVI, 1956, № 1, с. 20.

1979

Избрани творби в шест тома. Т. I. Губернски очерци. Прев. Ф. Гинев. — Помпадурите и помпадурши. Прев. Б. Мисирков. — Господа ташкентците. Прев. Б. Мисирков. София, Народна култура, 1979, 700 с.

Том предваряется статьей В. Иосифова: «Наш современник» и сопровожден обширным комментарием (с. 675—699).

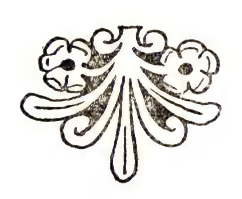
Избрани творби в шест тома. Т. II. Историята на един град. — Дневникът на един провинциалист в Петербург. Прев. Ф. Гинев. София, Народна култура, 1979, 650 с.

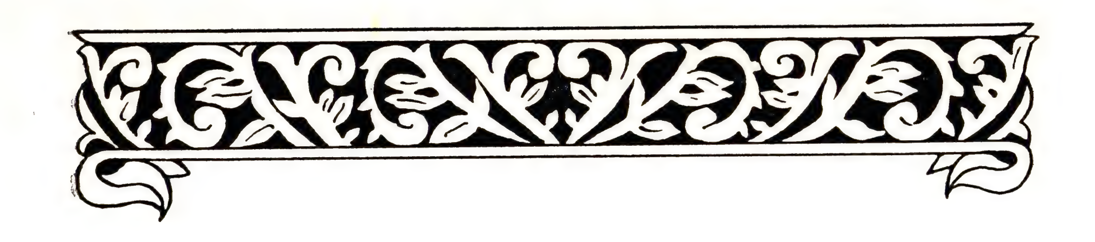
«История одного города», «Дневник провинциала в Петербурге». Комментарии (с. 520—558).

1980

Избрани творби в шест тома. Т. III. Доброжелителни разговори. Прев. И. Бояджиев. — Господарите Головльови. Прев. Ф. Гинев. София, Народна култура, 1980, 637 с.

«Благонамеренные речи», «Господа Головлевы». Комментарии (с. 601—635).





М. И. Рыжова

СЛОВЕНСКИЙ ПОЭТ МИЛЕ КЛОПЧИЧ — ПЕРЕВОДЧИК СТИХОТВОРЕНИЙ ПУШКИНА

Имя Пушкина и некоторые его творения стали известны передовым представителям словенской интеллигенции еще при жизни великого русского поэта. В личной библиотеке видного деятеля словенской культуры Матии Чопа (1797—1835), друга и сподвижника крупнейшего словенского поэта Франце Прешерна, был целый ряд изданий пушкинских произведений как в подлиннике, так и в переводах на немецкий язык.[1] Это дает возможность словенским литературоведам с полным основанием предполагать, что поэзия Пушкина в какой-то степени была известна и Прешерну.[2]

В трудных для национального развития словенцев условиях, когда словенские земли были окраинными провинциями Австрийской империи, где господствующее место занимали немецкий язык и немецкая культура, русские издания были малодоступны даже ведущим деятелям словенской литературы, нередко попадали к ним окольными путями и с большим опозданием. В такой обстановке словенцы нередко знакомились с отдельными явлениями русской литературной жизни через посредство немецких переводов и немецкой печати. Первой публикацией пушкинского произведения в Словении оказался немецкий перевод стихотворения «Делибаш» (анонимный, возможно перепечатка) в издававшемся в Любляне на немецком языке литературном еженедельнике «Illirisches Blatt» («Иллирский листок», 1838 г.),[3] в котором нередко выступал со своими немецкими, а иногда и словенскими стихами и Прешерн.

В 50-е гг. начинают появляться пока еще единичные переводы произведений Пушкина на словенский язык. Самый первый из них, принадлежавший известному слависту Ф. Миклошичу, опубликован в подготов-

---

[1] *Kreft B.* Fragmenti o slovensko-ruskih stikih. — Slavistična revija, 1958, l. XI, št. 1—2, s. 93.

[2] Ibid.; *Paternu B.* France Prešeren in njegovo pesniško delo. Ljubljana, 1977, knj. 2, s. 148—149.

[3] *Prijatelj I.* Puškin v slovenskih prevodih. — In: Zbornik znanstvenih in poučnih spisov. Ljubljana, 1901, s. 8.

ленном им учебном пособии для гимназии в 1853 г. Это был перевод «Сказки о рыбаке и рыбке», озаглавленный «Рыбак и рыба».[4] В 1855 г. появился в печати перевод пушкинского стихотворения «Брожу ли я вдоль улиц шумных», которому переводчик Родолюб Лединский (Антон Жакель) дал название «Misli in želja» («Мысли и желания»). Перевод этот был еще очень слабым.[5]

В эти годы творчество Пушкина в подлиннике или немецких переводах привлекает внимание передовой словенской учащейся молодежи, в частности литературного кружка «ваевцев», что отражается в их рукописном журнале «Вае» («Опыты»).[6] Отношение к Пушкину видного словенского поэта, прозаика, критика, общественного деятеля Франа Левстика проявилось в его стихотворении «Утешение» (1858), в очень яркой, впечатляющей строке — «Пушкин в солнце обмакнул перо».

Систематически и для своего времени вполне успешно с середины 60-х гг. начал заниматься переводами пушкинской поэзии Иван Весел (Веснин), семинарист, затем провинциальный священник, плодотворно переводивший русских поэтов в течение всей своей жизни. В 1865 г. был опубликован его первый перевод (стихотворение Пушкина «Кавказ»), где еще, правда, чувствовался недостаток литературного опыта, встречались буквализмы.[7] В 1870 г. словенцы познакомились с шестью пушкинскими стихотворениями в переводе Ивана Весела — «Клеветникам России», «Пророк», «К морю», «Ночной зефир. . .», «Не пой, красавица, при мне. . .», «Элегия» («Безумных дней угасшее веселье. . .»).[8] Впоследствии семнадцать стихотворений Пушкина, переведенные И. Веселом, были собраны в задуманной им «Русской антологии», издание которой после его смерти завершил известный словенский поэт Антон Ашкерц.[9] В 1870 г. вышли в свет также переводы трех пушкинских сказок («Сказка о рыбаке и рыбке», «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях», «Сказка о царе Салтане») и двух поэм («Кавказский пленник», «Бахчисарайский фонтан»), принадлежали они известному в то время поэту Йовану Веселу-Косескому,[10] писавшему в официально-патриотическом, проавстрийском духе и высокопарном стиле на искусственно-литературном языке. Эти языковые погрешности отразились и в переводах пушкинских произведений, с которыми Косеский обращается довольно свободно, произвольно удлиняя отдельные места,[11] так что получается не перевод, а пересказ.

В это же время публикуются и первые переводы пушкинской прозы — в 1870 г. в газете «Словенски народ» из номера в номер печатается «Дуб-

---

[4] Ibid.: Ljubljanski zvon, 1900, s. 722.

[5] *Prijatelj I.* Op. cit. s. 8, 15.

[6] См.: *Bernik F.* Lirika Simona Jenka. Ljubljana, 1962, s. 86.

[7] *Prijatelj I.* Op. cit., s. 16.

[8] Ibid., s. 13.

[9] Ruska antologija v slovenskih prevodih. Gorica. 1901.

[10] В статье Н. И. Кравцова «Сочинения А. С. Пушкина на словенском языке», к сожалению, встречаются отдельные неточности, это касается и переводческой деятельности однофамильцев Ивана Весела (Веснина) и Йована Весела-Косеского, которому приписывается издание (совместно с Ашкерцем) «Русской антологии» (*Кравцов Н. И.* Проблемы сравнительного изучения славянских литератур. М., 1973, с. 261).

[11] См.: *Prijatelj I.* Op. cit., s. 13, 19—22.

ровский», свободно переведенный классиком словенской литературы писателем Йосипом Юрчичем. В последующие годы произведения Пушкина — как поэзия, так и проза — привлекают многих переводчиков, некоторые пушкинские творения переводятся по два и даже по три раза.[12]

Интересно отметить, что почти все видные словенские поэты второй половины XIX в. хорошо знали и высоко ценили творчество Пушкина, а многие и переводили его произведения на словенский язык: так, Фран Левстик перевел «Ворон к ворону летит. . .» (1883); Антон Ашкерц — «Сказку о рыбаке и рыбке» (1889), Симон Грегорчич — «Я помню чудное мгновенье. . .», «Обвал», «Зимнее утро» (впервые опубликованы в «Русской антологии», 1901), Драготин Кетте — «Цветок», «Роза», «Ночной зефир. . .», «Ангел». Десять лирических стихотворений Пушкина (вошедшие в «Русскую антологию») перевел известный словенский прозаик Й. Менцингер. В конце XIX—начале XX в. переводами пушкинских произведений — поэзии (лирические стихотворения, «Евгений Онегин») и прозы («Капитанская дочка») занимается словенский литературовед, исследователь словенской и русской литератур Иван Приятель. И в дальнейшем к творчеству Пушкина в Словении обращались видные переводчики. Особенно следует отметить, что в конце 30-х гг. за переводы пушкинских произведений взялся крупнейший словенский поэт XX в. Отон Жупанчич — он блестяще перевел «Сказку о царе Салтане», а также несколько лирических стихотворений и «Медного всадника».[13]

В это же время к творчеству Пушкина обращается и словенский поэт Миле Клопчич, ставший в наши дни крупнейшим переводчиком Пушкина на словенский язык.

Миле Клопчич родился в 1905 г. в семье шахтера, с юных лет он приобщился к коммунистическому рабочему движению, был «скойевцем» (членом запрещенного властями Союза Коммунистической Молодежи Югославии). За агитационную работу, вместе с братом Франце, ставшим профессиональным революционером-коммунистом, часто подвергался арестам, из-за чего был лишен возможности окончить педагогическое училище (впоследствии он много и очень успешно занимался самообразованием). Ранние стихи М. Клопчича навеяны его участием в революционном движении, многие из них были написаны в тюрьме. Свой первый сборник — «Пламенеющие оковы» — восемнадцатилетний поэт хотел посвятить товарищам по борьбе и тюрьмам, но, узнав в январе 1924 г. (когда книга была уже в наборе) о смерти Ленина, заменил прежнее посвящение новым — «Памяти Ленина».[14] Сборник проникнут духом революционной борьбы и пролетарского интернационализма. Поэта вдохновляет революция в России и Германии (отдельные стихотворения посвящены Карлу Либкнехту и Розе Люксембург), часто слышатся призывы к борьбе, вера в грядущее «сияние свободы», в победу «пролетариата-титана», воспевается труд,

---

[12] Библиографию см.: ibid., s. 13—15.

[13] См. статью автора данной работы «Русская поэзия в словенских переводах Отона Жупанчича» (Русская литература, 1977, № 3, с. 161—168); *Železnov D.* Puškin v Župančičevih prevodih. — In: Oton Župančič v prevodih. Koper, 1980, s. 93—120.

[14] *Liška J.* Življenje in delo Mileta Klopčiča. — In: *Klopčič* M. Pesmi in prepesnitve. Ljubljana, 1968, s. 130.

созидательная сила которого приравнивается богу. Стихи свои Клопчич писал для рабочих, многие из них предназначались для декламации на митингах и сходках.

Стилистические особенности сборника, характер некоторых образов свидетельствуют о том, что Клопчич в известной мере использовал здесь поэтику распространявшегося тогда в словенской литературе экспрессионизма [15] (историки литературы относят его стихотворения 20-х годов к одному из течений словенского экспрессионизма — к «революционному», или «социальному» экспрессионизму).[16] Стихи сборника свидетельствуют о многообещающем, хотя еще и не сформировавшемся таланте их автора.

В 1929 г. Клопчич вновь подвергается арестам, предстает на судебном процессе за участие в альманахе «Книга товарищей», в котором были опубликованы стихотворения «молодых социальных лириков» почти всех народов Югославии. Но суд отверг обвинения властей, молодые поэты были оправданы.

В 1934 г. выходит в свет книга Клопчича, программно озаглавленная «Простые стихи», во многом новаторская для словенской поэзии тех лет. Центральное место здесь по-прежнему занимают социальные мотивы, только теперь они облекаются в иную форму. Ведущими становятся реалистические тенденции. В сатирическом стихотворении «Рецепт для поэта» автор остроумно высмеивает нарочито непонятные, далекие от действительности стихи для немногих, намекая на определенные явления словенского экспрессионизма. Сам он обращается непосредственно к жизни; в книге предстает хорошо знакомая ему жизнь шахтерского поселка, отображаемая то в виде объективизированных зарисовок, то как бы «изнутри», в форме монологов персонажей, в которых перевоплощается автор. Особенно полюбилось рабочим и часто декламировалось на собраниях стихотворение «Дрейчник Андрей говорит» — колоритная речь старого шахтера с его тяжелой судьбой и твердой верой в то, что жизнь должна измениться к лучшему. Убеждения поэта остаются прежними, только по цензурным условиям он вынужден выражать их намеками, правда прозрачными. Хрестоматийными стали стихотворения Клопчича о шахтерских детях — простые и сказочные, наивные и глубокие, очень поэтичные при четкой социальной мотивированности. В ряде стихотворений сборника отражается гнетущая атмосфера и душевное состояние человека в те мрачные годы, когда в Европе распространялся фашизм; иногда это стихи элегического характера с ироническим призвуком, [17] в них порой встречается более сложная, символическая образность.

В целом сборник свидетельствует о возросшем творческом мастерстве Клопчича, который предстает здесь как вполне сложившаяся яркая индивидуальность, большой, самобытный художник слова. Книга занимает значительное место в словенской межвоенной литературе и является важным этапом в развитии словенской пролетарской поэзии.

---

[15] См. об этом на русском языке. *Рябова Е. И.* Словенская революционная поэзия 20-х гг. — Советское славяноведение, 1967, № 3, с. 20—21.

[16] *Рябова Е. И.* Основные направления в межвоенной словенской литературе. — В кн.: Зарубежные славянские литературы: XX век. М., 1970, с. 142—146.

[17] См.: *Liška J.* Op. cit., s. 138.

Стихотворения Клопчича из этой книги переводились в 1936—1937 гг. в нашей стране крупными советскими поэтами Алексеем Сурковым[18] и Александром Безыменским;[19] переводы эти печатались в газетах и журналах («Правда», «Молодая гвардия», «Красная новь»).[20] Позже переводы А. Суркова вошли в его сборник «Путем песни» (М., 1937) и неоднократно перепечатывались в собраниях его сочинений, переводы А. Безыменского включены в его сборник «Простые вещи» (М., 1938).

С 1934 г. Клопчич занимает должность секретаря культурно-просветительского общества «Словенская Матица». В годы войны как югославский военнопленный он был угнан в Германию, затем из немецкого концлагеря был переведен в итальянский, откуда с частью военнопленных выпущен в 1942 г. Ему удалось связаться с Освободительным Фронтом; в 1943 г. Клопчич ушел в партизаны. В народноосвободительной армии он вел большую разнообразную агитационно-пропагандистскую работу. В сентябре 1943 г. им была написана одноактная драма «Мать», которая с большим успехом обошла все партизанские сцены и в общей сложности ставилась в Югославии и за ее пределами во время войны более двухсот раз.[21] Клопчич собрал и издал в двух томах «Стихи наших борцов» (1944, 1945), куда вошли произведения известных литераторов и самодеятельных, непрофессиональных поэтов, участников народно-освободительного движения. И сам Клопчич тоже создает стихи о партизанской борьбе, клеймит позором предателей родины. В апреле 1945 г. он пишет в торжественном стиле и с искренним воодушевлением стихотворение «К приходу Красной Армии», где от лица участников освободительного движения говорит о той вере, которую все годы войны вселял в них «голос из Кремля» и советская армия, о братстве по оружию, о грядущей победе и скором осуществлении всех давних надежд. Стихотворение завершается словами: «Уже предвещанный свет разлит по любимой земле, куда брат великий пришел навестить своих братьев».

После войны Клопчич занимал различные общественные должности, был секретарем, а затем заместителем председателя Общества культурных связей с СССР, возглавлял некоторые издательства и Словенский национальный театр в Любляне. Особенно много занимался он в последние десятилетия переводческой деятельностью. Его сборник избранных стихов и переводов[22] имеет подзаголовок-посвящение: «К пятидесятилетию Октябрьской революции».

Поэт с самобытной творческой индивидуальностью, внесший свой вклад в развитие словенской литературы, Миле Клопчич обладает еще редким переводческим дарованием, замечательной способностью проникновения в поэзию другого народа, постижения национального и истори-

---

[18] А. Сурков перевел пять стихотворений Клопчича: «Мой отец шахтер», «Дрейчник Андрей говорит», «Повесть о кирке», «Сумасшедший Франц», «Похороны».

[19] А. Безыменский перевел стихотворения «Сознание», «Любопытное дитя» (переведенное также Н. Н. Бахтиным — «Резец», 1937, № 5,) «Считалка», «Корова», «Дитя не хочет спать», «Три желания».

[20] Библиография находится в так называемой «Картотеке Н. Н. Бахтина» в Рукописном отделе Института русской литературы (Пушкинский Дом) АН СССР.

[21] *Liška Z.* Op. cit., s. 139.

[22] *Klopčič M.* Pesmi in prepesnitve. Ljubljana, 1968.

ческого своеобразия переводимых произведений, их идейно-эстетических особенностей, неповторимого, глубоко интимного мира мыслей и чувств их автора. Интуиция большого художника позволяет Клопчичу воссоздавать все это средствами словенского языка, часто передавая и тончайшие стилистические оттенки подлинника.

Переводческое мастерство Клопчича с годами развивалось и совершенствовалось. В семнадцати-восемнадцатилетнем возрасте поэт начал переводить немецкие революционные песни, которые публиковались в рабочей печати. Позже он переводил немецких, чешских, хорватских, сербских, македонских, китайских, американских негритянских поэтов. Но совершенно особое место в его переводческой деятельности в течение более чем полувека занимает русская поэзия. В 1928 г. Клопчич перевел и опубликовал в видном словенском литературном журнале «Люблянски звон» («Люблянский колокол») поэму Блока «Двенадцать» (которая затем вышла и отдельным изданием) и стихотворение Есенина «Русь Советская». Далее последовали переводы Пушкина, Лермонтова, Крылова, Клопчичу принадлежит и перевод сказки Ершова «Конек-горбунок».

К систематическим переводам пушкинской поэзии Клопчич приступил в 1937 г. в связи с широко отмечавшимся 100-летием со дня смерти великого русского поэта. В результате летом того же года на словенском языке вышел в свет сборник избранных пушкинских стихотворений, в который было включено более сорока переводов Клопчича и четыре перевода О. Жупанчича.[23] Небольшое предисловие к книге и комментарии также написаны Клопчичем. Работа над переводами русских поэтов затруднялась тогда недоступностью для переводчиков новейших советских изданий, которые в королевскую Югославию не поступали, приходилось пользоваться старыми и неполными изданиями.

После войны, весной 1946 г. М. Клопчич впервые посетил нашу страну. Во время этой поездки он приобрел и необходимые для его переводческой деятельности книги, в том числе академическое издание Пушкина. Работа словенского поэта над переводами пушкинских произведений возобновилась.

В 1948 г. Клопчич предложил государственному издательству Словении проспект шеститомного собрания избранных произведений Пушкина. Исполняя обязанности составителя и главного редактора всего издания, сам Клопчич, не только продолжал переводить пушкинские стихотворения, но и взялся за переводы иных, самых разнообразных по жанрам произведений — он перевел «Евгения Онегина», «Графа Нулина», четыре пушкинские сказки, повесть «Египетские ночи», избранные статьи и письма. Все издание было осуществлено в 1949—1967 гг.[24] В последний,

---

[23] *Puškin A. S.* Pesmi. Ljubljana, 1937.

[24] *Puškin A. S.* Izbrano delo v šestih knjigah. I. Pesmi, 1950; II. Povesti, 1949. Prevedel V. Levstik. (Арап Петра Великого, Повести Белкина, История села Горюхина, Рославлев, Дубровский, Пиковая дама, Кирджали); III Povesti, članki, pisma. 1951. Prevedel M. Klopčič in Vl. Levstik («Капитанская дочка» и «Путешествие в Арзрум» — в пер. В. Левстика, «Египетские ночи», статьи, письма — пер. М. Клопчич); IV Drame, 1949. Prevedel J. Vidmar (Борис Годунов, Скупой рыцарь, Моцарт и Сальери, Каменный гость, Пир во время чумы, Русалка, Сцены из рыцарских времен); V Pesnitve. Pravljice, 1959 (Бахчисарайский фонтан, пер. Тит Видмар; Цыганы, пер.

шестой том вошел «Евгений Онегин», над переводом которого Клопчич работал почти два десятилетия. Предшествующие пять томов, распроданные к этому времени, были переизданы вторично в 1970 г.

Все издание предваряет принадлежащая Клопчичу обширная статья о жизни и творчестве Пушкина, каждый из последующих томов открывается предисловием,[25] все тома сопровождаются подробными комментариями. Этот справочный аппарат, как и непосредственная работа над переводами, свидетельствует о серьезной, глубокой филологической подготовке Клопчича. В конце последнего, шестого тома он приводит основное из использованной им литературы о Пушкине — здесь труды Д. Д. Благого,[26] Б. В. Томашевского,[27] Б. С. Мейлаха,[28] М. А. Цявловского,[29] А. Л. Слонимского,[30] Н. Л. Бродского,[31] И. Л. Андроникова,[32] книга под редакцией Н. В. Измайлова «Пушкин в письмах Карамзиных 1836—1837 годов» (М.; Л., 1960), серийные издания, такие как «Пушкин. Исследования и материалы» (кн. I—IV, М.—Л., 1956—1962), «Временник Пушкинской комиссии»,[33] «Литературное наследство» (М., 1934, № 16—18) и другие книги. Использует Клопчич и «Словарь языка А. С. Пушкина» (т. I—IV, М., 1956—1961), без сомнения, очень важное пособие в его работе над переводами и, конечно, обращает самое пристальное внимание на комментарии в тех изданиях сочинений Пушкина, которыми он пользовался, особенно это относится к академическому «Полному собранию сочинений в шести томах» под редакцией М. А. Цявловского (М., 1936—1938).

Несомненно, эта филологическая подготовка, обширные, глубокие знания Клопчича в области пушкинистики сказываются и в его переводческой работе, образуя добротный фундамент, на котором прирожденное художественное чутье и редкий переводческий талант в сочетании с тщательным, упорным, вдумчивым трудом возводят прекрасное здание современной словенской пушкинианы. И по сей день Клопчич не оставляет работы над своими переводами, продолжая совершенствовать их.

Этот долгий труд, упорный и вдохновенный, насыщенный решением сложнейших, почти неразрешимых переводческих задач, творческими озарениями, связанный с постоянным стремлением донести до широкой читательской аудитории Словении великие пушкинские творения в их по

Й. Удович; Граф Нулин, пер. Клопчич; Полтава, пер. Й. Удович; Медный всадник, пер. О. Жупанчич; Сказка о царе Салтане, пер. О. Жупанчич; Сказка о попе и о работнике его Балде, Сказка о рыбаке и рыбке, Сказка о мертвой царевне. . ., Сказка о золотом петушке — пер. М. Клопчич); VI. Jevgenij Onjegin, 1967. Prevedel M. Klopčič.

[25] Все предисловия за исключением предваряющего четвертый том и все комментарии написаны М. Клопчичем (Предисловие к четвертому тому принадлежит Б. Крефту).

[26] *Благой Д. Д.* Творческий путь Пушкина (1813—1826). М.; Л., 1950; *Благой Д. Д.* Мастерство Пушкина. М., 1955 и другие работы.

[27] *Томашевский Б. В.* Пушкин. Кн. I (1813—1824). М.; Л., 1956.

[28] *Мейлах Б. С.* Пушкин и его эпоха. М., 1958.

[29] *Цявловский М. А.* Статьи о Пушкине. М., 1962.

[30] *Слонимский А. Л.* Мастерство Пушкина. М., 1959.

[31] *Бродский Н. Л.* Евгений Онегин. М., 1950.

[32] *Андроников И. Л.* Тагильская находка. М., 1956.

[33] Временник Пушкинской комиссии. 1963. М.; Л., 1966.

возможности более точном, истинном виде (что не всегда удавалось прежним переводчикам), можно по праву расценить как настоящий творческий подвиг Миле Клопчича.

В данной статье мы рассмотрим только его переводы пушкинских стихотворений. Они составляют — за единичными исключениями — первый том названного издания.[34] Клопчичу принадлежит и составление, выбор произведений для перевода, который в целом можно признать удачным. Второе издание (1970 г.) по сравнению с первым дополнено двадцатью пятью стихотворениями, всего в него вошло около 150 произведений [35] разных жанров и форм, начиная с некоторых ранних, лицейских, хотя, естественно, переводчик отдает предпочтение наиболее известным, прославленным пушкинским стихотворениям.

Переводы Клопчича свидетельствуют о его вдумчивом, как правило, очень верном прочтении Пушкина (на редких, единичных неточностях, связанных с недостаточным пониманием текста, мы остановимся ниже). Глубоко вникая в смысл подлинника, в авторский замысел, переводчик стремится передать все идейно-эмоциональное богатство пушкинских произведений, смелые, дерзновенные мысли поэта, силу чувств и их разнообразнейшие, тончайшие оттенки — от тихой нежности и «светлой печали» до крайнего накала страстей, от ликования до отчаянья, от высочайшего пафоса до самой язвительной иронии, что требует воссоздания соответствующего стилистического диапазона и звукового воплощения, в первую очередь аналогичных ритмико-метрических форм. Нужно сразу же сказать, что Клопчич уделяет очень большое внимание версификационной стороне своих переводов и достигает здесь прекрасных результатов.

Соответствие многих особенностей русской и словенской просодии, силлабо-тоническая система стихосложения, утвердившаяся в словенской поэзии XIX в., создают возможность воспроизведения в переводах на словенский язык метрико-ритмической структуры пушкинских творений. И Клопчич достигает в этом отношении очень большой точности. Он строго сохраняет пушкинский размер, количество стоп в стихе. Вся книга избранных стихотворений Пушкина в названном собрании сочинений (мы будем рассматривать второе издание, 1970 г.) содержит лишь два случая, где размер изменен: это «Телега жизни» (четырехстопный ямб заменен пятистопным) и «Прозаик и поэт» (четырехстопный ямб заменен четырехстопным хореем). Первый из этих переводов уже заново переработан Клопчичем, и в новейшем, миниатюрном издании пушкинских стихотворений [36] размер его полностью соответствует оригиналу, вместе с тем перевод приобрел теперь еще большую смысловую и стилистическую точность. Второй из названных переводов — во всем, кроме размера, — очень верный и выразительный.

---

[34] Во втором издании 1970 г. лишь шесть стихотворений переведены не Клопчичем (три перевода принадлежат О. Жупанчичу, по одному — Ф. Левстику, Й. Видмару и Б. Водушеку).

[35] Кроме того, в комментариях содержится еще несколько переведенных Клопчичем пушкинских эпиграмм, отрывков стихотворений или их разночтений.

[36] *Puškin A. S.* Pesmi. Prevedel Mile Klopčič. Ljubljana, 1980.

Как правило, Клопчич сохраняет не только размер подлинника, но и характер его строфики,[37] стремясь даже в самых сложных случаях четко и точно воспроизвести пушкинский строфический рисунок. Вот как передает он такую редкую, лишь один раз встречающуюся у Пушкина форму — разностопный амфибрахий, имитирующий античный дифирамб[38] — строфу «Вакхической песни».:

Что смолкнул веселия глас?
Раздайтесь, вакхальны припевы!
Да здравствуют нежные девы
И юные жены, любившие нас!
Полнее стакан наливайте!
    На звонкое дно
    В густое вино
Заветные кольца бросайте!

Kaj pesmi vesele molče?
Zapojmo bakhanske zdravice!
Za mile najprej krasotice
in mlade, srčnó nas ljubeče žene!
    V kozarce nalite vrzite
    zdaj prstene vsi,
    da dno zaznevi —
    v njih sile skrivnostne so skrite!

Метрико-ритмическое строение строфы передается здесь идеально, все ударения сохраняются на своих местах, а в первых четырех стихах — и их интонационно-синтаксические особенности. В последних пятом—восьмом стихах синтагма в какой-то мере изменена ради неприкосновенности строфического своеобразия. «В наполненные стаканы бросайте / теперь все кольца! / так, чтобы дно зазвенело — / в них силы таинственные скрыты!» — так в последней строке переводчик несколько свободно развивает пушкинский образ, заключенный в эпитете «заветные», но общий смысл этим не нарушается. В целом перевод этот очень удачный; правда, в отдельных местах можно ощутить незначительное снижение стиля (что встречается и в ряде других переводов), об этом мы скажем ниже более подробно.

Из особенно трудных для перевода стихотворных форм, требующих при их воссоздании на другом языке особой тщательности и точности, остановимся на октаве — на переводе пушкинской «Осени».[39] Клопчич сохраняет здесь александрийский стих и мастерски воспроизводит сложную архитектонику октавы, строго соблюдая правило альтернанса, и все это делает не в ущерб богатому, сложному содержанию, разные смысловые пласты которого требуют от переводчика столь же различного стилистического подхода.[40] О том, как успешно справляется Клопчич с этими труд-

---

[37] Об основных особенностях пушкинской строфики см.: *Томашевский Б. В.* Строфика Пушкина. — Пушкин. Исследования и материалы, М.; Л., 1958, т. II, с. 49—184.

[38] См.: *Томашевский Б. В.* Пушкин. М.; Л., 1961, кн. 2, с. 85; см. также: *Лотман Ю. М., Шахвердов С. А.* Метрика и строфика А. С. Пушкина. — В кн.: Русское стихосложение XIX в. М., 1979, с. 145—257.

[39] Об особенностях пушкинской октавы в этом стихотворении см.: *Томашевский Б. В.* Строфика Пушкина, с. 96.

[40] Анализ этого стихотворения см., например, в кн.: *Степанов Н. Л.* Лирика Пушкина. М., 1959, с. 387—398.

ными задачами, можно составить некоторое представление уже по первым строфам стихотворения («переводческие издержки» минимальны):

I

Октябрь уж наступил — уж роща отряхает
Последние листы с нагих своих ветвей;
Дохнул осенний хлад — дорога промерзает,
Журча еще бежит за мельницей ручей,
Но пруд уже застыл; сосед мой поспешает
В отъезжие поля с охотою своей,
И страждут озими от бешеной забавы,
И будит лай собак уснувшие дубравы.

II

Теперь моя пора: я не люблю весны;
Скучна мне оттепель; вонь, грязь — весной я болен;
Кровь бродит; чувства, ум тоскою стеснены,
Суровою зимой я более доволен,
Люблю ее снега; в присутствии луны
Как легкий бег саней с подругой быстр и волен,
Когда под соболем, согрета и свежа,
Она вам руку жмет, пылая и дрожа!

I

Oktober je prišel — vsak vetrič že osuje
šop mrtvih listov z vej, da pod nogo šušti;
jesenski veje hlad in cesta ze zmrzuje,
za mlinom še šumi potoček čez ravni,
a ribnik za vasjo pod ledom že miruje;
moj sosed hodi v lov, ž njim trop se psov podi,
ozimine trpe pod gonjo te zabave,
veseli lavež psov budi iz sna dobrave.

II

To je moj čas! Pomlad? Njo skorajda mrzim;
odjuga, blato, smrad — jaz sem bolan od tega;
kri vre; medli mi duh, medlé mi čustva ž njim.
Bolj mi je zima všeč in sneg se mi prilega.
Družico na sani, in ko vihar zdrvim
čez zasneženo plan, ki luna nanjo lega;
družica v sóbolju razgreta mi drhti
in stiska mi roko, prezebla vsa gori.

Близость к пушкинскому тексту в сочетании с близостью языковой, вероятно, позволяет ощутить хотя бы основные особенности этих словенских октав без обратного перевода. У Клопчича нет буквализмов, перевод его звучит легко и естественно и в то же время очень по-пушкински. Что касается октавы, то сам переводчик в примечании к этому стихотворению признается в единственном и вполне сознательном ее нарушении (в седьмом—восьмом стихах VIII строфы) ради сохранения рифмующихся слов «организм» — «прозаизм»,[41] поставленных Пушкиным в такой заметной

[41] *Puškin A. S.* Pesmi. Ljubljana. 1970, 317—318.

позиции не случайно.[42] Но в словенском языке их аналоги имеют не по три, а по четыре слога («organizem», «prozaizem»), в результате вместо мужской возникает в конце строфы женская рифма. Думается, в данном случае переводчик имел все основания поступить именно так.

Хочется обратить внимание еще на переводы пушкинских сонетов («Сонет», «Поэту», «Мадона»), поскольку в словенской литературе форма сонета имеет очень широкое распространение (сам Клопчич в конце 20-х гг. тоже писал сонеты).[43] Сонетная форма утвердилась здесь и получила виртуозное развитие (вплоть до «Венка сонетов), еще в 30—40 годы XIX в. в гениальных творениях Франце Прешерна, крупнейшего словенского поэта, который опирался в данном случае на итальянскую ренессансную традицию — писал сонеты одиннадцатисложным стихом (пятистопным ямбом со сплошь женскими рифмами). И хотя словенские поэты с 90-х гг. XIX в. до наших дней всячески модифицировали сонет, созданные Прешерном классические образцы постоянно ощущались как живая (при всей ее канонизации), с детства знакомая каждому словенцу поэзия. На этом фоне точно воспроизведенная Клопчичем пушкинская сонетная форма (во многом восходящая к французским образцам), включающая в свою систему мужские рифмы, чередующиеся с женскими [44] (и в таком виде вообще распространившаяся в русской литературе), может быть воспринята словенцами по отношению к их национальной традиции XIX в. как некоторый анахронизм, или некая модернизация. И все же Клопчич, следуя современным переводческим нормам,[45] тщательно воспроизводит пушкинскую форму, ее систему рифмовки и лишь в последнем терцете «Сонета» вводит одну новую, дополнительную рифму (у Пушкина — ccb dbd, у Клопчича — ccd ede), что позволяет переводчику точнее воссоздать смысл и стиль подлинника. Некоторые смысловые отклонения есть только в переводе сонета «Поэту». Очень удачен перевод сонета «Мадона»; Клопчич сохраняет тавтологические элементы в его выразительной, почти афористической концовке: «Чистейшей прелести чистейший образец» — у Клопчича возникает почти адекватный словенский вариант: «lepote čiste si najlepsi, čisti lik» (красоты чистой прекраснейший, чистый образ).

Среди редких «вольностей», которые Клопчич позволяет себе при воссоздании пушкинских метрико-ритмических форм, иногда как отдельные вкрапления попадаются случаи изменения порядка рифмовки. Так, в переводе стихотворения «Вновь я посетил. . .» кое-где совершенно в духе подлинника варьируются женские и мужские рифмы; нечто подобное встречается и в конце словенского текста «Андрея Шенье» (в целом

---

[42] См.: *Степанов Н. Л.* Указ. соч., с. 226—227; *Слонимский А.* Мастерство Пушкина. М., 1959, с. 132.

[43] *Liška J.* Op. cit., s. 132—133.

[44] О пушкинской сонетной форме см.: *Томашевский Б. В.* Строфика Пушкина, с. 96.

[45] Интересно отметить, что первый русский переводчик Прешерна, акад. Ф. Е. Корш не сохраняет в переводах его сонетов форму подлинника — сплошь женские рифмы, следуя русской традиции (См.: Стихотворения Франца Прешерна. М., 1901), а современные переводчики решают этот вопрос по-разному, так, С. Шервинский (при переводе «Венка сонетов») и В. Корчагин строго передают форму оригинала. А. Гитович и Н. Стефанович следуют в своих переводах русской традиции — вводят мужские рифмы (См.: *Прешерн Ф.* Лирика. М., 1971).

очень верного и точного); мужские и женские рифмы переставлены также в первой и второй строфах перевода «К*** («Не спрашивай, зачем унылой думой. . .»), в последних двух стансовых строфах «Друзьям». В первой строфе этого перевода охватная рифма заменена перекрестной, а в переводах «К морю» (тоже в первой строфе) и «Если жизнь тебя обманет. . .» (во второй) перекрестная рифма — охватной. Отдельные случаи перестановки мужских и женских рифм встречаются также в словенских текстах стихотворений «Сказки (Noël)», «К Чаадаеву», «Деревня», «Сожженное письмо», «Герой», «Поэт и толпа», что обычно не воспринимается как ощутимое нарушение формы подлинника. Однако этого нельзя сказать о появлении охватной рифмы в конце перевода стихотворения «Узник»,[46] поскольку подлинник сплошь построен на смежных мужских рифмах, что придает ему определенную экспрессивность. Но все эти случаи единичны, и каждый из них вызван стремлением сохранить, точнее передать какой-то иной смысловой или стилистический элемент текста, которому переводчик здесь отдает предпочтение. Такими побуждениями вызваны и некоторые изменения клаузул в двух произведениях самых «малых форм» — в эпиграмме на графа Воронцова (все рифмы мужские) и стихотворении «Золото и булат», где все клаузулы оказываются женскими и возникают совершенно естественные для словенского языка монорим [47] и внутренняя рифма:

«Все мое», — сказало злато;
«Все мое», — сказал булат.
«Все куплю», — сказало злато;
«Все возьму», — сказал булат.

«Moje vse», zlato je reklo,
«Moje vse», je reklo jeklo.
«Kupim vse», zlato je reklo,
«Vzamem vse», je reklo jeklo.

Словенское слово «jeklo» (сталь, булат) — среднего рода, как и «zlato» (золото), так что некоторые экспрессивные оттенки пушкинского подлинника передать невозможно, хотя перевод очень точный и благодаря мономриму приобретает своеобразную афористичность и выразительность.

С иными метрико-ритмическими проблемами Клопчич сталкивается, когда обращается к пушкинским произведениям в духе русского фольклора, к «Песням о Стеньке Разине». Ритмическая калька в данном случае совершенно не годится, это не соответствовало бы словенской просодии. Думается, переводчик удачно решает эту сложную задачу. Первую песню, ритм которой, по мнению С. М. Бонди, представляет собой обработанный в русском народном стиле дольник, близкий к тому, каким впоследствии Пушкин пишет «Песни западных славян»,[48] Клопчич переводит, используя словенский вариант «десетерца» (десятисложника), очень широко

---

[46] См. о соотношении версификационной формы и эмоциональной тональности этого стихотворения: *Слонимский А.* Указ. соч., с. 47.

[47] В более раннем переводе этого стихотворения, принадлежащем Я. Менцингеру, тоже присутствует этот монорим.

[48] *Бонди С. М.* О Пушкине. Статьи и исследования, М., 1978, с. 428.

распространенного в сербском народном эпосе[49] и имеющего свои традиции в словенской поэзии начиная с Прешерна (обработка народной песни «Прекрасная Вида»). Размер этот сразу же ориентирует читателя на славянский фольклор. Приведем начало песни:

Как по Волге-реке, по широкой
Выплывала востроносая лодка,
Как на лодке гребцы удалые,
Казаки, ребята молодые.
На корме сидит сам хозяин,
Сам хозяин, грозен Стенька Разин.

Po široki reki, reki Volgi
ostrokljuna splavala je ladja,
a na ladji so veslači hrabri,
vsi kozaki, sami fantje mladi.
A na krmi poglavar pogumni,
Stenjka Razin, poglavar strahotni.

Метрическая схема перевода приближается к пятистопному хорею с женскими клаузулами, с цезурой после четвертого слога (как это подобает «десетерцу).

Перевод второй песни Клопчич также несколько «выравнивает» ритмически, придает ему более четкую силлабо-тоническую структуру. В подлиннике — «это двухударный стих хореического окончания, в высшей степени упорядоченный в силлабическом отношении»: из тридцати стихов двадцать два — шестисложные, остальные восемь — пятисложные.[50] Переводчик берет за основу варианты встречающихся здесь шестисложных стихов, в которых первое ударение падает на первый или на третий слог (типа: «Требовать подарков» или «Торговать товаром)», т. е. случаи, где «образуется правильный трехстопный хорей».[51] У Клопчича этот ритмико-метрический рисунок четко проявляется во всех стихах (за исключением третьего, пятисложного). Именно такой трехстопный хорей с женскими клаузулами, правда строфически оформленный в виде четверостиший с рифмующимися вторым—четвертым стихами, хорошо известен словенской поэзии, им широко пользовался в своей лирике Симон Енко, творивший в 50—60-е гг. XIX в., причем исследователи обоснованно возводят этот размер также к образцам славянской народной поэзии — к польскому краковяку, метру, распространенному и в творчестве видного хорватского поэта, словенца по происхождению, Станко Враза. Славянская народно-песенная основа в этом переводе тоже должна ощущаться словенским читателем. В целом перевод очень удачный, хотя Клопчич опускает здесь «случайные» рифмы (точную и неточную — в самом конце).

---

[49] Любопытно в этом отношении отметить своего рода «обратную связь»: «десетерац» сербских народных песен из собрания Вука Караджича, включенных в «Песни западных славян», Пушкин передает, как сейчас было сказано, почти таким же дольником, каким написана эта первая песня о Стеньке Разине (о передаче Пушкиным сербского десятисложника см. также: *Томашевский Б. В.* Пушкин, кн. 2, с. 279).

[50] *Бонди С. М.* Указ. соч., с. 429.

[51] Там же, с. 429—430.

Третью песню, где С. М. Бонди предполагает воспроизведение Пушкиным былинного стиха (но с большей тонической упорядоченностью),[52] Клопчич переводит, по сравнению с первыми двумя песнями, в ритмическом отношении более свободно, стремясь приблизиться к характерному складу русской народной песни, и это ему почти удается; диссонансом звучат лишь встречающиеся женские клаузулы (у Пушкина — только мужские — 4, или дактилические — 11).[53]

Забегая вперед, скажем, что в переводах «Песен о Стеньке Разине» присутствуют элементы стилизации под народные песни, причем интересно отметить, что русские постоянные эпитеты «во чистом поле» и «по морю, по синему» заменяются постоянными эпитетами, связанными с этими определяемыми словами в словенском фольклоре: «na polju ravnem» (на поле ровном) и «na široko morje» (в широкое море).

Сложнейшее стилистическое многообразие творческого наследия Пушкина [54] ставит перед его переводчиками труднейшие задачи. Естественно, при анализе переводов пушкинских произведений необходимо учитывать те реально существующие исторически сложившиеся художественно-языковые средства — «материальную базу», которой располагает переводчик, поскольку не все лексико-стилистические пласты русского литературного языка имеют в словенском свои аналоги. Это относится к такому важному стилистическому компоненту, как церковнославянизмы, которые служат атрибутом «высокого» стиля, архаизации языка, способствуют созданию резких стилистических контрастов и переходов, которые используются как определенные художественные приемы и т. д. Все это очень существенно и в творчестве Пушкина. Словенский литературный язык формировался в совершенно иной исторической ситуации, под воздействием иных факторов. Языком церкви у словенцев, как и у других католиков, на протяжении веков была латынь. Словенский литературный язык складывался на основе живой народной речи, народных говоров его создателей, эта диалектная окраска ощутима и в ранних словенских памятниках письменности, в первых книгах.[55] И все же, конечно, современные словенские писатели в определенных художественных целях обращаются иногда к архаичным, вышедшим из употребления лексемам, устаревшим формам современных слов, к старокнижным оборотам речи. Однако при переводе подобные приемы, за исключением разве единичных случаев, не могли бы функционально и стилистически служить полной эквивалентной заменой церковнославянизмов в русском литературном языке пушкинской поры.

Клопчич переводит пушкинские произведения современным словенским литературным языком — богатым, полнокровным, прекрасным, возможности которого со всеми его оттенками великолепно ощущает, исполь-

---

[52] Там же, с. 431.

[53] В этой песне переводчик, вероятно, не совсем понял одно слово. Строки «А погодушка свищет, гудит, Свищет, гудит, *заливается* переводятся как: to vihar divja, to nevihta tuli, / tuli in divja, *lije in preplavlja* (это буря бушует, непогода воет, / воет и бушует, *льет и затопляет*); глагол «заливаться» воспринят в другом значении, возможно, потому что переводчик упустил из вида его возвратную форму.

[54] См.: *Виноградов В. В.* Стиль Пушкина. М., 1941, с. 484.

[55] Так, зачинатель словенской литературы и словенский первопечатник, протестантский деятель Примож Трубар (1508—1586) вводил в книжный язык элементы своего родного доленьского наречия.

зуя и разговорные формы, просторечия; иногда прибегает он и к более старым языковым оборотам. Всеми этими средствами переводчик стремится воссоздать стилистическое многообразие пушкинской поэзии. Конечно, не все абсолютно стилистические аспекты вообще воспроизводимы в переводе, это относится, например, к использованию Пушкиным индивидуальных стилей различных авторов (особенно его русских современников) в пародийных и иных целях,[56] литературных ассоциаций и реминисценций, очевидных для читателей той эпохи, но часто неприметных и непонятных без специальных комментариев даже русской читательской публике в наши дни. И все же переводы Клопчича свидетельствуют о возможности воспроизведения на словенском языке значительного стилистического разнообразия творений Пушкина, некоторых проявлений его «стилистической полифонии».[57] Покажем это на отдельных примерах весьма различных жанрово-стилистических разновидностей.

Естественно, что переводчик в своем стремлении полнее представить в издании всемирно известные пушкинские шедевры, произведения, созданные уже зрелым поэтом, более скромное место отводит его лицейским стихам, но и этот период находит отражение в переводах Клопчича. Коротко скажем лишь о переводе послания «К другу стихотворцу».[58] Очень точно воссоздавая метрико-строфическую форму произведения, Клопчич обращает внимание и на жанрово-стилистические особенности этого послания, стоящего на грани сатиры.[59] Он сохраняет лексический пласт, который в духе традиций классицизма создает определенную насыщенность текста образами античной мифологии[60] и удачно воспроизводит сатирические интонации подлинника — сочетание этих компонентов служит здесь как бы общим стилистическим «ключом» к восприятию стихотворения.

Арист! и ты в толпе служителей Парнаса!
Ты хочешь оседлать упрямого Пегаса;
За лаврами спешишь опасною стезей
И с строгой критикой вступаешь смело в бой!

Tak tudi ti, Arist, bi rad Parnasu služil,
z upornim Pegazom se pesnikom pridružil?
Za lovorikami v nevarnosti hitiš
in stroge kritike prav nič se ne bojiš;

(Так и ты, Арист, хотел бы служить Парнасу, с упрямым Пегасом присоединиться к поэтам? За лаврами в опасности спешишь и строгих критиков совсем не боишься!)

Перевод в целом точен и верен, [61]но все-таки отсутствие таких в стилистическом отношении далеко не нейтральных компонентов, как «стезя»,

---

[56] См.: *Виноградов В. В.* Указ. соч., с. 487—513.

[57] Выражение А. Слонимского (см.: *Слонимский А.* Мастерство Пушкина. М., 1959).

[58] Кроме названного, из лицейских стихов Пушкина Клопчич переводит еще «Рассудок и любовь», «Желание», «Любопытный», «К портрету Каверина», «Эпиграмма на смерть стихотворца».

[58] См.: *Томашевский Б. В.* Пушкин. Кн. 1 (1813—1814). М.—Л., 1956, с. 48.

[60] Об этой особенности лицейской поэзии Пушкина см.: *Городецкий Б. П.* Лирика Пушкина. М.—Л., с. 88—89.

[61] Одна строка в стихотворении, видимо, была неверно прочитана переводчиком: «Поэтов — хвалят все, питают — лишь журналы» переведена как «Poete hvali vse, beró le uredniki» (Поэтов хвалят все, *читают* лишь редакторы).

«служитель», приводит местами к некоторому «снижению» стиля, хотя есть здесь у Клопчича и удачные переводческие находки.

Подробнее остановимся на другом послании, которое может служить примером гражданской лирики Пушкина в послелицейский петербургский период — на стихотворении «К Чадаеву», покажем, какие оттенки переводчику удается полностью сохранить, а какие все же несколько сглаживаются. Нужно отметить, что это один из более ранних, довоенных переводов Клопчича.

Любви, надежды, тихой славы,
Недолго нежил нас обман,
Исчезли юные забавы,
Как сон, как утренний туман;
Но в нас горит еще желанье,
Под гнетом власти роковой
Нетерпеливою душой
Отчизны внемлем призыванье.

Ljubezni, upanja in slave
prevara naglo je prešla.
Prešlé mladosti so zabave
kot dim, kot jutrnja meglá.
A še kipi v nas hrepenenje:
srce v nestrpnosti trpi,
ko domovina nam ječi
in si želi iz spon v vstajenje.

(Любви, надежды и славы / обман быстро минул. / Минули юности забавы / как дым,[62] как утренний туман. / Но в нас кипит еще стремленье: / сердце в нетерпении страдает, / когда наша родина стонет / и желает из оков воспрянуть)

Местами перевод довольно точен. В первом четверостишии недостает эпитета «тихой» славы (на который пушкинисты не раз обращали внимание как на существенный идейно-смысловой компонент стихотворения)[63] и выразительного глагола «нежил»,[64] замененного менее экспрессивным, хотя стилистически не нейтральным «preiti»,[65] который в переводе повторяется дважды (образуя отсутствующий в подлиннике повтор).

Чтобы избежать ощутимого снижения стиля из-за отсутствия в словенском языке соответствующих эквивалентов к русским стилистическим вариантам-синонимам («отчизна» вместо «родина», «внемлем» вместо «слышим»), переводчик восьмой стих своего текста явно настраивает на более торжественно-высокий лад, что ощущается и в двух следующих стихах:

Мы ждем с томленьем упованья
Минуты вольности святой

Vsi čakamo drhte, da pride
svobode svete svetli dan —

(Мы с трепетом ждем, когда придет
свободы святой светлый день)

---

[62] Переводчик пользовался одним из более ранних изданий, основанных на публикации М. А. Бестужева-Рюмина в альманахе «Северная звезда» (1829) (См.: *Пушкин А. С.* Полн. собр. соч., М., 1949, т. II_2, с. 1042).

[63] См. например: *Томашевский Б. В.* Пушкин, кн. 1, с. 192.

[64] Сравн.: *Чичерин А.* О стиле пушкинской лирики. — В кн.: В мире Пушкина. М., 1974, с. 304.

[65] Slovar slovenskega knjižnega jezika, knj. III, Ljubljana, 1979, s. 1031—1032 (см. 4-е и 5-е значения).

Переводчик пытается с помощью лексических средств сохранить и донести до своих читателей напряженный, вдохновенный пафос пушкинских строк. Рассмотрим, как проявляется это в конце стихотворения. Великолепный пушкинский образ «Звезда пленительного счастья» передается стихом «ko sreče zarja ljudsvu sine» («когда счастья заря народу блеснет»), отчего несколько ослабляется оттенок глубоко личного восприятия желаемых общественных потрясений и происходит некоторое сближение с более традиционной, более привычной для революционной поэзии символикой, хорошо знакомой Клопчичу. Но далее этого не происходит:

Россия вспрянет ото сна,
И на обломках самовластья
Напишут наши имена!

Rusija vstala bo iz sanj,
in v samodr̦štva razvaline
znak najinih imen bo vžgan!

(После почти дословного перевода: «Россия встанет ото сна» последние два стиха — «и на развалинах самодержавия / будет выжжен знак наших имен»)

Поневоле упрощая некоторые образы, переводчик хочет компенсировать это путем усложнения других, стремясь не допустить заметного снижения стиля и передать силу пушкинской гражданской экспрессии. Это ему в значительной степени удается.

С совсем иными вариациями пушкинского торжественно-высокого стиля, когда приходится учитывать и вполне определенные, яркие стилизационные тенденции, Клопчич сталкивается, например, в «Подражаниях Корану». Он переводит лишь первую, четвертую и пятую части пушкинского цикла, но и такой фрагментарный перевод дает словенским читателям пусть не полное, но все же известное представление об этом чрезвычайно своеобразном пушкинском творении. Переводчик оказывается здесь перед вдвойне сложной проблемой: ему нужно передать не только стиль Пушкина, но и особенности его трактовки и воссоздания стиля Корана.

Клянусь четой и нечетой,
Клянусь мечем и правой битвой,
Клянуся утренней звездой,
Клянусь вечернею молитвой:

Нет, не покинул я тебя.

Na par prisegam in nepar
na meč in na pravične bitve,
na jutranjico in njen žar
in na večerne še molitve:

Nisem zapustil te, nikar!

В первых двух стихах перевода сохраняется почти дословная точность [66] (причем, вероятно, не только ради рифмы, но и ради воссоздания

[66] Перевод клятвы «четой и нечетой» звучит в словенском тексте Клопчича тоже несколько необычно, в соответствии с духом подлинника. (О смысле этой клятвы у Пушкина см. подробнее: *Фомичев С. А.* «Подражание Корану». Генезис, архитектоника и композиция цикла. — Временник Пушкинской комиссии, 1978, Л., 1981, с. 38).

высокого стиля Клопчич использует здесь архаическую форму «bitva» вместо современной «bitka»), [67] в третьем — образ утренней звезды дополняется «и ее сиянием», в четвертом, при общей лексико-семантической точности, несколько изменяется присоединительная синтаксическая конструкция, возникает союз «in» («и»), а также (возможно, для сохранения размера) появляется наречие «še» («еще»). Очень точно воспроизводится пятый стих с его двойным, подчеркнутым отрицанием («Нет, не. . .» — «Nisem. . . nikar»).

Переводчик несколько иначе, по-своему воссоздает столь характерный здесь анафористический повтор, придающий клятве особую патетичность и силу: у Пушкина четырехкратно повторяется глагол «клянусь», у Клопчича в трех первых стихах при сохранении конструкции «перечислительного присоединения» (выражение В. В. Виноградова) роль анафоры выполняет предлог «na» («на»). Сохраняя двучленность заклинаний в первых двух стихах («четой и нечетой», «мечем и правой битвой»), Клопчич распространяет ее и на третий стих («денницей и ее сияньем»), что воспринимается в переводе как соответствие общему духу оригинала, характеру использования Пушкиным образов Корана[68] (хотя в пушкинском тексте этот третий стих образует точный синтаксический параллелизм с четвертым).

Если во втором и третьем четверостишиях встречаются незначительные отступления от подлинника, вернее, более свободно переведенные места (при сохранении основных интонационных особенностей — вопросительных форм),[69] то последняя строфа вновь представляет собой образец очень точного и верного перевода. В целом удачно переведены также четвертая и пятая части цикла.

Стихотворение Пушкина «Пророк», переведенное в 1937 г. таким крупным словенским поэтом, как Отон Жупанчич, Клопчич переводит заново (для издания 1970 г.), достигая большей смысловой и стилевой близости к подлиннику при абсолютной адекватности метрико-ритмической формы. Большая насыщенность пушкинского текста церковнославянизмами [70] создает в данном случае для переводчика дополнительные трудности; приближение к высокому библейскому слогу достигается у Клопчича старательным отбором лексических средств современного словенского языка и особенно интонационно-синтаксическими приемами, главным образом нагнетением конструкций с союзом «и»:[71] в десятом—восемнадцатом стихах Клопчич сохраняет этот союз как девятикратно повторяющуюся анафору, что полностью соответствует здесь структуре пушкинского текста, его торжественно-высокому библейскому повествовательному стилю. Но

---

[67] Slovar slovenskega knjicžnega jezika. Ljubljana, 1970, knj. I, s. 141.

[68] Сравн.: *Томашевский Б. В.* Пушкин, кн. 2, с. 20—21.

[69] См. о традициях, с которыми здесь связана эта форма у Пушкина: там же, с. 27.

[70] См. об этом: *Степанов Н. Л.* Указ. соч., с. 360.

[71] О различных функциях союза «и» в пушкинском «Пророке» см.: *Виноградов В. В.* Язык Пушкина. М.—Л., 1935, с. 134—136.

и там, где эта анафора так последовательно не воссоздается, благодаря большой точности перевода ощущается пафос подлинника:

И он мне грудь рассек мечем,
И сердце трепетное вынул,
И угль, пылающий огнем,
Во грудь отверстую водвинул.

Odpre mi prsi njega meč,
srce izpuli mi drhteče
in oglja kos, živó žareč,
vsadi mi v prsi krvaveče.

(Открывает мне грудь его меч, вырывает он мое трепещущее сердце и живо пылающий кусок угля вкладывает (буквально — «сажает» как растение / в мою грудь окровавленную)

Клопчич стремится воссоздать словенский сказовый слог заменой глагольных форм прошедшего времени (которым в соответствии с подлинником пользовался Жупанчич) — временем настоящим. Известную стилистическую роль, как и в подлиннике, играет инверсия прилагательных (в приведенном примере — «Во грудь отверстую» — «v prsi krvaveče»).

Стилизация, хотя в каждом конкретном случае своеобразная, ощущается и в переводе «Песни о вещем Олеге» (старинно-хроникальный сказовый слог), и, как уже говорилось, в «Песнях о Стеньке Разине» (стиль народных песен) и — в несколько ином качестве — в балладах, о чем еще скажем ниже.

Клопчич обычно тонко чувствует и те особенности пушкинского стиля, которые во множестве оттенков проявляются в произведениях элегического характера, в медитативной и любовной лирике. Покажем это на некоторых примерах.

На холмах Грузии лежит ночная мгла;
    Шумит Арагва предо мною.
Мне грустно и легко; печаль моя светла;
    Печаль моя полна тобою,
Тобой, одной тобой. . . Унынья моего
    Ничто не мучит, не тревожит,
И сердце вновь горит и любит — оттого,
    Что не любить оно не может.

Na gričih Gruzije leži megla noči;
    šumi Aragva neukročena.
Bridko je in lahno; bolest, ki ne boli;
    bolest s teboj je prepojena,
s teboj, samo s teboj. . . Le kaj naj bi mi to
    bolest vznemirjalo in trlo,
ko spet srce plamti in ljubi — pač zato,
    ker brez ljubezni bi umrlo.

Первый стих переведен с дословной точностью, во втором — вместо «предо мною» возникает эпитет к слову Арагва — «неукрощенная»; в третьем, к сожалению, не сохранен эпитет «светла», который образует здесь не только противоречивое сочетание, оксюморон, но и контраст

«внутреннего света» по отношению к «ночной мгле». У Клопчича вместо этого — тоже поэтичный оксюморон, но без «светового блика», буквально не переводимая игра однокоренных слов — «bolest ki ne boli» — «душевная боль (печаль), не причиняющая боли». Далее перевод очень точен, изменена лишь синтаксическая конструкция присоединения [72] в пятом—седьмом стихах, союз «и» («И сердце вновь горит. . .») заменен подчинительным союзом «ko» («когда, так как»); но как и в подлиннике перед словом «оттого», так и у Клопчича в точно соответствующем месте седьмого стиха создается «глубокая эмоционально наполненная пауза»,[73] что достигается смысловой и интонационной близостью к пушкинскому тексту. В самом последнем, восьмом стихе перевода, правда, есть некоторое эмоциональное усиление (или, может быть, романтическое преувеличение) по сравнению с подлинником: «вновь сердце горит и любит — потому, что умерло бы без любви».

Сохраняя тонкий пушкинский лиризм, Клопчич не только последовательно воспроизводит в своем тексте мелодику стиха, интонационное своеобразие оригинала, перевод очень хорош и в эвфоническом отношении, хотя инструментован он несколько иначе с преобладанием гласных «э—о» («e—o») в различных вариациях и сочетаниях с «а», «и» («a», «i»), дифтонгами «ой», «эу» (oj, eu); «и» («i») доминирует лишь в первом стихе, а акцентированный гласный «у» («u») встречается лишь один раз.

Остановимся еще на характерном для пушкинской лирики 30-х гг. стихотворении, размышлении-монологе, «элегии, сжатой до восьмистишного фрагмента»[74] «Пора, мой друг, пора!» — произведении очень личном, не предназначавшемся для печати, не законченном,[75] но очень емком по своему содержанию.

Пора, мой друг, пора! покоя сердце просит —
Летят за днями дни, и каждый час уносит
Частичку бытия, а мы с тобой вдвоем
Предполагаем жить, и глядь — как раз умрем.
На свете счастья нет, но есть покой и воля.
Давно завидная мечтается мне доля —
Давно, усталый раб, замыслил я побег
В обитель дальнюю трудов и чистых нег.

Predraga, ĉas je, ĉas! Srce miru zahteva —
beži nam dan za dnem — in z vsakih hipom dneva
odmre življenja del — in vendar sva midva
združila svoje dni. . . a glej, smrt vse konča.
Ne sreĉe, a prostost in mir nam svet naklanja.
Že dolgo blažena usoda se mi sanja,
že dolgo suženj strt, tja zbežati želim,
kjer v ĉisti nežnosti in delu zaživim.

Первый стих передан точно, только обращение «мой друг» заменяется словом «predraga» («дорогая», «милая» не имеет точного русского эквивалента), что вполне соответствует подлиннику, а глагол

[72] См.: *Виноградов В. В.* Стиль Пушкина, с. 342.
[73] *Слонимский А.* Указ. соч., с. 123—124.
[74] *Степанов Н. Л.* Указ. соч., с. 168.
[75] См. об этом: *Городецкий Б. П.* Лирика Пушкина. М.; Л., 1962, с. 406.

«просит» — более решительным «требует». Точность (но не буквальность) сохраняется и далее: «бежит день за днем — и с каждым мигом дня отмирает частица жизни — и все же мы с тобой соединили свои дни. . . а глядь, смерть все кончает». Здесь чуть изменен смысловой оттенок — более акцентировано «с тобой вдвоем». Афористический пятый стих передан тоже очень верно, хотя с некоторой инверсией, интонационным изменением — это не простая, очень спокойная констатация, а словно возражение собеседнице: «Не счастье, а волю и покой нам дарит (жалует) мир». Знаменательно, что Клопчич употребляет здесь слово «prostost», стилистически более близкое русскому «воля», а не «svoboda» (аналог русскому «свобода»). В пятом—шестом стихах переводчик сохраняет анафористический повтор: «давно» заменяется эквивалентным «že dolgo» — «уже долго мечтается мне блаженная участь, уже долго, раб измученный (подавленный), желаю я сбежать туда, где заживу в чистой нежности и труде». Обратный перевод может исказить некоторые оттенки. В словенском тексте чувствуется очень точный подбор слов с нужной стилистической и экспрессивной окраской. Клопчич тонко улавливает дух подлинника, перевод его звучит очень по-пушкински, дает словенцам почти адекватное представление об оригинале.

Элементы народного быта, обрядов, поверий, разговорная речь, органически вошедшие в структуру таких пушкинских баллад, как «Жених» и «Утопленник», последовательно передаются Клопчичем в его переводах. Нужно сказать, что народная баллада в словенской литературе получила широкое распространение, традиции ее идут от Прешерна, в творчестве которого этот жанр получил блестящее развитие. Кстати сказать, Прешерну принадлежит и перевод на словенский язык баллады Бюргера «Ленора», где сохраняется строфа подлинника, которой воспользовался Пушкин при создании своего стихотворения «Жених».[76] Баллады писали почти все крупнейшие словенские поэты XIX в. — Ф. Левстик, С. Енко, Й. Стритар; особенно больших успехов в создании народных баллад, причем уже с преобладанием в них реалистических элементов, достигает А. Ашкерц. Переводчик в данном случае мог опираться в своей работе на эту богатую национальную традицию. Главной его целью было сохранение верности пушкинскому тексту, передача его наиболее характерных особенностей.[77] Вот как переводит Клопчич начало баллады «Жених»:

Три дня купеческая дочь
    Наташа пропадала;
Она на двор на третью ночь
    Без памяти вбежала.
С вопросами отец и мать
К Наташе стали приступать,
    Наташа их не слышит,
    Дрожит и еле дышит.

Tri dni trgovec svojo hčer
    Natašo je pogrešal.
Pritekla tretji je večer,

[76] См.: *Томашевский Б. В.* Строфика Пушкина, с. 90.
[77] Метрико-строфический рисунок баллады переводчик воспроизводит безукоризненно.

duh kot bi se ji zmešal.
Roté jo starši, naj pove,
kod je hodila, kod in kje.
Nataša hlipa, joče,
odgovoriti noče.

(Три дня купцу не доставало его дочери Наташи. На третий вечер она прибежала, словно помешанная. Заклинают ее родители, чтобы сказала, куда ходила, куда и где. Наташа всхлипывает, плачет, ответить не хочет.)

Первые два стиха в обратном переводе звучат несколько искусственно, у Клопчича — вся строфа звучит очень естественно и непринужденно; при этом уже чувствуется драматическая напряженность.

В конце второй строфы Клопчич допускает некоторую вольность: видимо, желая более наглядно показать Наташину возвратившуюся веселость, он заменяет одно девичье увеселение в духе народных обычаев другим:

Опять пошла с сестрами
Сидеть за воротами

s sestrami spet vesela
se v kolu je vrtela

(С сестрами снова веселая кружилась в хороводе)

Это смысловое отклонение не нарушает стиля баллады. Очень удачно Клопчич воспроизводит разговорные интонации и экспрессивные восклицания, так, в конце четвертой строфы он, может быть, даже несколько усиливает смятение героини, увидевшей проезжавшего «молодца»:

«Он! он! узнала! — говорит, —
Он, точно он! держите,
Друзья мои, спасите!»

«On, to je on bil, on» — kriči.
«Zgrabite ga, zvežite,
rešite me, rešite»

(«Он, это он был, он! — кричит. — «Хватайте, его, свяжите, спасите меня, спасите!»)

И в речи свахи переводчик искусно сохраняет народный колорит, образность и разговорную живость:

«У вас товар, у нас купец;
Собою парень молодец,
И статный, и проворный,
Не вздорный, не зазорный.

«Ti robo, kupca jaz imam;
najboljši je, kar jih poznam,
prikupen je, postaven,
poslušen in pripraven.

(«У тебя (т. е. у отца Наташи) товар, у меня есть купец; лучший из всех, кого я знаю, пригожий и статный, послушный и согласный)

В последних двух стихах переводчик сохраняет естественно возникающий здесь параллелизм,[78] хотя изменяет характер согласования — снимает семантическое и соответственно синтаксическое противопоставление второй пары эпитетов первой — у Клопчича не отвергаются возможные отрицательные качества жениха, а продолжается перечисление его достоинств. Но подобранные переводчиком прилагательные имеют народно-разговорную стилистическую окраску (или стилистически нейтральны), все это соответствует общему складу произведения.[79]

В духе красочной народной разговорной речи с фольклорно-обрядовыми элементами выдержан и ответ отца:

«Согласен, — говорит отец; —
    Ступай благополучно,
Моя Наташа, под венец,
    Одной в светелке скучно.
Не все девицей вековать,
Не все касатке распевать,
    Пора гнездо устроить,
    Чтоб детушек покоить».

Pa reče oče: «V redu stvar!
    Hči, zdaj te srěča mami!
Le pojdi mirno pred oltar:
    dolgčas je v kamri sami.
Ne boš samičica vse dni,
ne poje ptičica vse dni,
    ob času gnezdo znašaj
    in po otrocih vprašaj».

Первые два стиха у Клопчича означают буквально: «А отец говорит: „Все в порядке! Дочь, сейчас тебя счастье манит!“» Третий — «Ступай спокойно пред алтарь» — не имеет в словенской версии книжного оттенка, стилистически это совершенно адекватно русскому «под венец». Особенно хочется обратить внимание на великолепный перевод следующих стихов в строфе. Исследователи отмечали, что пятый стих у Пушкина воспроизводит распространенную тогда в Псковской губернии свадебно-обрядовую формулу, утешение отцом плачущей дочери-невесты.[80] Клопчич прекрасно чувствует фольклорный колорит этих стихов и очень удачно воссоздает его в своем переводе; он вводит дополнительную внутреннюю рифму (samičica — ptičica), используя при этом как стилизационный прием уменьшительно-ласкательные суффиксы (буквально: «Не будешь одинешенька все свои дни, не поет пташечка все дни, во-время гнездо свей, да о детишках вопроси»).

Там, где русские и словенские народные обычаи не совпадают, переводчик, как правило, удачно выходит из положения, кое-что, в допусти-

---

[78] См. об этом: *Томашевский Б. В.* Пушкин, кн. 2, с. 102.

[79] Лишь одно место кажется нам несколько выпадающим из общего стиля — начало восьмой строфы; вот как переводит его Клопчич: «Катаясь, видел он вчера Ее за воротами». — «Prevzel ga včeraj njen je čar, ko vozil je tod mimo» (Его захватило вчера ее очарование, когда он проезжал тут мимо). Слово «čar» значится в словаре словенского литературного языка с пометкой «книжное» (Slovar slovenskega knjižnega jezika. Ljubljana, 1970, knj. 1, s. 275).

[80] См.: *Слонимский А.* Указ. соч., с. 159.

мых пределах, приближая к словенскому быту ради сохранения в переводе общего стиля народной обрядности. Так, пушкинский стих «Заздравный ковш кругом пошел» несколько трансформируется: «napijejo si sem ter tje» (пьют за здравие (или поздравляют) там и тут»), звучит это по-словенски очень просто и естественно, а «ковши круговые», вероятно, в данном случае воспринимались бы как нечто архаически-необычное.[81]

Отдельные изменения такого рода чаще всего не противоречат русскому народному колориту, который у Клопчича сохраняется. Лишь один раз возникает скорее стилистическое, чем обрядово-бытовое несоответствие, хотя словенский читатель, не знакомый с пушкинским подлинником, его не заметит. В реплике отца Наташи на свадебном пиру в словенском тексте появляется восклицание, вполне естественное в устах католика, но совершенно не употребительное в русской среде:

. . . Недобрый сон меня крушит»
Отец ей: «Что ж твой сон гласит?
        Скажи нам, что такое,
        дитя мое родное?»

. . .Hudo mi je od strašnih sanj!»
«Od kakšnih, za pet božjih ran?»
        v skrbeh jo oče vpraša,
        «razloži nam, Nataša!»

(. . .Плохо мне от страшных снов!» «От каких, *ради пяти божьих ран?*» — озабоченно спрашивает ее отец, — «объясни нам, Наташа!»)

Возможно, это восклицание-заклинание возникло у переводчика ради рифмы, оно усиливает экспрессивность реплики отца, показывает степень его волнения за дочь (в подлиннике вопросы отца звучат спокойнее), но, главное, оно нарушает русскую стилизацию, которой как уже говорилось, Клопчич уделяет достаточно внимания. В целом словенский текст баллады звучит очень живо, просто, естественно, содержит много удачных «переводческих находок», сохраняет народный колорит.[82]

Столь же удачен, или, может быть, еще более совершенен словенский текст стихотворения «Утопленник»; Клопчич переводит балладу живо, не буквально, местами даже свободно, но, как правило, совсем в духе подлинника, сохраняя его простоту и бытовой реализм. Пожалуй, лишь в самом начале в первой строке, переводчик отступает от этой предельной пушкинской простоты, вводит более экспрессивный балладный зачин (хотя при этом возникает сравнение в духе народной песни):

Прибежали в избу дети
Второпях зовут отца:
«Тятя! тятя! наши сети
Притащили мертвеца».

---

[81] Интересно отметить, что при переводе «Песни о вещем Олеге» Клопчич сохраняет этот старинный славянский обычай в неприкосновенности: «Ковши круговые, запенясь, шипят» переводится как «Spet krožijo vrči, medica kipi» («Снова идут по кругу ковши, пенится медовое вино»), здесь эта архаичность уместна.

[82] В начале девятой строфы (второй стих), вероятно, вкралась опечатка: «И слово молвить хочет» воспроизводится как «spregovoriti noče» («проговорить не хочет»), напечатано «noče» вместо «hoče». В конце семнадцатой строфы в рассказе мнимого сна Наташи, возможно, переводчик не совсем точно воспринял выражение «диву дивовалась» — оно передается как «groza me obdaja» («ужас меня охватывает»).

Kakor divja vihra v vežo
pridrvel je trop otrok.
«Oče, oče, v našo mrežo
se mrlič je vjel . . .»

(Будто дикий вихрь в сени примчалась стая детей. «Отец, отец, в наши сети попался мертвец! . . .»)

В восклицании детей и особенно в ворчании и руготне мужика Клопчич последовательно сохраняет выразительные интонации живой разговорной народной речи, элементы художественно обобщенного просторечия,[83] а иногда, быть может, даже немного «огрубляет» эту речь — в словенском тексте поминание черта в устах крестьянина прошлого века (возникающее в переводе дважды) звучит как «крепкое словцо», более грубое ругательство, чем в русском подлиннике.

Перевод передает весь динамизм развития действия; очень пластичны, живописны, экспрессивны у Клопчича и зрительные образы, вот, например, явление мужику его ночного гостя:

Из-за туч луна катится —
Что же? голый перед ним:
С бороды вода струится,
Взор открыт и недвижим,
Все в нем страшно онемело,
Опустились руки вниз,
И в распухнувшее тело
Раки черные впились.

Mesec prav takrat posije
joj! — pred njim stoji mrlič:
voda mu iz brade lije,
tog stoji, ne reče nič;
ni pogleda več v očesu,
roke mrtve mu visé,
po nabuhlem se telesu
črni raki ga drže.

(Как раз тогда выглянул месяц — ой! — перед ним стоит мертвец: вода льется у него с бороды, застывший стоит, не говорит ничего, и в глазах уже нет (живого) взгляда, мертвые руки висят, в распухшее тело вцепились черные раки)

Перевод очень точный, верный во всех отношениях — смысловом, стилистическом, метрическом. Клопчич сохраняет повтор окончания предпоследней строфы (стук «под окном и у ворот») в самом конце стихотворения, так что форма подлинника воспроизводится идеально.

Конечно, единичные примеры, которые здесь приводились, не способны даже отдаленно отразить пушкинское стилевое многообразие — они могут дать лишь приблизительное представление о том, как переводчик в очень различных случаях подходит к возникающим перед ним сложнейшим стилистическим проблемам. Учитывая все трудности перевода пушкинских стихотворений, нужно сказать, что в большинстве случаев Клопчич справ-

---

[83] О некоторых стилистических чертах стихотворения см.: *Виноградов В. В.* Стиль Пушкина, с. 254—255, 369.

ляется со своими задачами успешно. В числе наиболее удачных — верных и точных переводов, кроме тех, о которых уже говорилось, можно назвать переводы стихотворений «Рассудок и любовь», «Эпиграмма на смерть стихотворца», «Сказки («Noël»)», «Русалка», «Погасло дневное светило», «Песнь о вещем Олеге», «Андрей Шенье», «И. И. Пущину» («Мой первый друг, мой друг бесценный. . .»), «Стансы», «Зимняя дорога», «Е. Н. Ушаковой» («Когда, бывало, в старину. . .»), «Арион», «Предчувствие», «Приметы», «Дорожные жалобы», «Жил на свете рыцарь бедный. . .», «Поедем, я готов; куда бы вы друзья. . .», «Бесы», «Труд», «Рифма», «Заклинание», «Стихи, сочиненные ночью во время бессоницы», «К***» («Нет, нет, не должен я, не смею. . .»), «Не дай мне бог сойти с ума. . .», «Бог веселый винограда. . .», «Он между нами жил. . .», «Туча», «Вновь я посетил. . .» и целый ряд других.

Естественно, не все абсолютно пушкинские образы, не все их оттенки удается передать в переводах, неизбежно возникают иногда те или иные «переводческие издержки». С некоторыми случаями подобного рода мы уже сталкивались.

Изредка бывает, что в довольно удачных в целом переводах встречаются отдельные смысловые отклонения и неточности, некоторые из них были уже отмечены выше.

Обычно Клопчич тщательно сохраняет национальный и исторический ареал подлинника, какие-то отступления, несоответствия подобного рода попадаются очень редко (с одним из них, малозначительным, мы встретились в балладе «Жених»). Назовем остальные. Во второй строфе прекрасного в целом перевода «Песни о вещем Олеге» некоторые, казалось бы, мелкие штрихи делают «вдохновенного кудесника» несколько похожим на христианского отшельника:

Iz temnega gozda tedaj osivèl
puščavnik je stopil pobožen

(Из темного леса тогда выступил седой набожный пустынник)

Правда, далее точно воспроизводимый пушкинский текст — «Покорный Перуну старик одному» сглаживает, изменяет это первоначальное впечатление.

Иной случай. Клопчич удачно передает сатирический характер стихотворения «На выздоровление Лукулла», тонко чувствует авторскую иронию; но конец четвертой строфы переведен немного не точно:

И воровать уже забуду
Казенные дрова.

ne bom kurjave več nobene
državi hodil krast.

(Буквально: не буду больше ходить (=ездить) воровать топливо у государства)

Общеизвестно, что сатира эта направлена против министра народного просвещения С. С. Уварова. Краденые казенные дрова, на которые намекает Пушкин, конечно, в любом случае подвозились бы министру на дом, ни ходить, ни ездить ему за ними не пришлось бы. Это подразу-

мевалось само собой, обусловливалось всем бытовым укладом русских высокопоставленных дворянско-чиновничьих кругов.

Некоторые общественно-исторические различия в судьбах словенского и русского народов, отсутствие у словенцев своего национального дворянства и, следовательно, определенных социально-бытовых соответствий с отдельными явлениями русской жизни пушкинской эпохи иногда могут вызвать затруднения в подборе необходимой для перевода лексики. Так, нелегко оказалось перевести в пушкинском контексте слово «няня» (буквальный смысловой аналог «pestunja» — переводчика не удовлетворяет, так как возникают различия в эмоционально-стилистической окраске). В переводах трех стихотворений — «Разговор книгопродавца с поэтом», «Зимний вечер» и «Вновь я посетил. . . .» — Клопчич, имея в виду няню, вводит словенское слово «tetka»: в первом случае стих «Старушки чудные преданья» передается как «in tetke bajke iz davnine», во втором — обращение «моя старушка» воспроизводится как «tetka stara», в третьем — возникает транскрипция русского слова «njanja» и вновь появляется «tetka». Слово это семантически во многом, хотя и не полностью совпадает с русскими «тетка», «тетя», «тетенька», означая не только соответствующие родственные отношения, но и приветливое, ласковое обращение к пожилой женщине. В данном случае, хотя сердечность отношения Пушкина к Арине Родионовне общеизвестна, переводчику постоянно следует принимать во внимание те особенности тогдашнего русского быта, которые имели под собой вполне конкретную социальную основу, учитывать, что няня все-таки была крепостной. Думается, может быть, было бы лучше более последовательно, во всех названных стихотворениях, воспроизводить входящее сейчас в словенскую литературу и словенский литературный язык [84] русское слово «няня», которое имеет вполне определенную стилистическую окраску и хорошо включается в русский бытовой ареал.

В послании Пушкина сосланным на каторгу в Сибирь декабристам «Во глубине сибирских руд. . .» последний стих «И братья меч вам отдадут» Клопчич переводит однозначно — «in spet dobite meč v roke» («и снова получите в руки меч»). Меч здесь — только оружие борьбы; второе символическое значение стиха — возвращение ссыльным гражданских дворянских прав — перевод не сохраняет. Возможно, такая трактовка у Клопчича возникла под воздействием соответствующего стиха из ответа Пушкину А. И. Одоевского — «К мечам рванулись наши руки»; стихотворение это переводчику было известно, что нашло свое отражение в комментарии к пушкинскому посланию.[85]

Одна «ландшафтная» неточность возникла в словенском тексте пушкинских «Бесов» (который у Клопчича изобилует блестящими переводческими находками и сохраняет такой важный композиционный элемент, как повторы). Вот как переводится первая половина пятой строфы стихотворения:

Буря злится, буря плачет;
Кони чуткие храпят;
Вон уж он вдалече скачет;
Лишь глаза во мгле горят;

---

[84] См.: Slovar slovenskega knjižnega jezika. Ljubljana, 1979, knj. III, s. 142.
[85] *Puškin A. S.* Pesmi. Ljubljana, 1970, s. 304.

Burja tuli, burja rjove,
konji prhajoč stojé;
bes umakne se v gozdove,
le oči se še blešče.

(Буря воет, буря ревет, кони стоят храпя; бес отходит *в леса*, лишь глаза еще блестят)

Слово «леса» появилось здесь скорее всего ради рифмы, хотя уже в первой строфе («Еду, еду в чистом поле», что переводчик совершенно верно отражает в своем тексте) создается представление о равнинном степном просторе.

В единичных случаях могут возникнуть совершенно неприметные для малоосведомленного читателя неточности, если переводчик упустит из виду какой-то мелкий факт биографического характера, отразившийся (иногда косвенно) в конкретном пушкинском произведении. Стихотворение «Что в имени тебе моем?», как известно, посвящено Каролине Собаньской, записано Пушкиным в ее альбом и опубликовано в 1830 г.[86] Но знакомство с нею поэта произошло значительно раньше, в 1821 г.; к 1821—1823 гг., ко времени южной ссылки относится и его увлечение Собаньской. Третье четверостишие стихотворения звучит именно напоминанием об этом прошлом, давно забытом ею, как с горечью полагает поэт (забыто даже его имя) «в волненьях новых и мятежных». Клопчич переводит эти строки будущим временем:

še malo, pa pozabiš nanj,
ko novo čustvo te prevzame.

(пройдет немного времени, и ты забудешь его (имя поэта), когда тебя захватит новое чувство)

Возникает впечатление, будто знакомство это произошло только что, исчезают оттенки воспоминания о прошлом и давности чувства поэта, выраженного в завершающих стихотворение стихах (переданных Клопчичем очень верно).

Изредка неточности возникают из-за не совсем правильного понимания переводчиком отдельных русских слов, всех их семантических и стилистических значений. Так, во второй строфе в целом очень удачного перевода стихотворения «19 октября» Клопчич упустил из виду слово «вотще» (или не вполне его понял), в результате получился противоположный смысловой оттенок:

Я пью один; вотще воображенье
Передо мной товарищей зовет

Sam, pijem; domišlija čas mi krati,
ko kličie mi sošolce hrepeneč:

(Я пью один; воображение меня развлекает, в томлении призывая ко мне школьных товарищей)

---

[86] См.: *Базилевич В.* Автограф «Что в имени тебе моем?» — Лит. наследство, 1934, № 16—18, с. 876—879.

В очень удачном, местами просто блестящем переводе стихотворения «Под небом голубым страны своей родной» появляется одна небольшая неточность (в третьем стихе):

Увяла наконец, и верно надо мной
Младая тень ее летала;

Zvenela je, in že nad mano je zvestó
nje mlada senca zašumela:

(увяла она, и уже надо мной верно (т. е. сохраняя верность) зашелестела ее юная тень)

Не выделенное запятыми вводное слово «верно» («наверно», «вероятно»), имеющее модальный оттенок,[87] воспринимается переводчиком как наречие и подобным образом воспроизводится в словенском тексте (соответствующее прилагательное «zvest» — «верный», существительное «zvestoba» — «верность», антонимы которому «измена», «непостоянство»).

В мастерском переводе пролога к «Руслану и Людмиле», изобилующем великолепными переводческими находками, есть одна неточность — там, где речь идет о «коте ученом». Дело в том, что словенское слово «pesem» («песня»), означает также и «стихотворение»; пушкинская строка «идет направо — песнь заводит» передается как «če gre na desno — pesem pravi» («если идет направо — стихи говорит»). Переводчик употребил здесь слово «pesem» не в том значении, в каком это требует подлинник.

В словенском тексте очень трудного для перевода стихотворения «Моя родословная» в одном месте возникла двусмысленность:

Когда тягался с поляками
Нижегородский мещанин

Ko tople poljskih je husarjev
podil iz Nižnega meščan

(Когда толпы польских гусаров гнал из Нижнего мещанин)

При таком порядке слов можно подумать, будто поляки были в Нижнем, и Минин гнал их оттуда, хотя безусловно переводчик имеет в виду его нижегородское происхождение. Но в целом Клопчич справился здесь с основными трудностями, особенно хорошо переведен «Post scriptum» («Решил Фиглярин, сидя дома. . .»), где есть очень удачные переводческие находки.

Эти случайные, единичные неточности, представляющие собой редкие исключения в верных и точных переводах Клопчича, не снижают их высокого художественного уровня, эстетической ценности.

Как уже говорилось, кроме стихотворений Клопчич перевел четыре сказки Пушкина — «Сказку о попе и о работнике его Балде» («Pravljica o popu in njegovem hlapcu Trapetu»), «Сказку о рыбаке и рыбке» («Pravljica o ribiču in ribici»), «Сказку о мертвой царевне и о семи богатырях» («Pravljica o mrtvi carični in sedmih vitezih»), «Сказку о золотом петушке» («Pravljica o zlatem petelinčku»). Переводы эти прекрасно отражают основные особенности пушкинских сказок, в должной степени

[87] Ср.: *Виноградов В. В.* Стиль Пушкина, с. 322.

воссоздается их близость к народному творчеству, воспроизводится их стилистическое и метрико-ритмическое своеобразие. В переводах «Сказки о попе. . .» и «Сказки о рыбаке и рыбке» ритмика свободно варьируется в духе подлинника, в остальных двух — точно сохраняется их метрическая форма. Много здесь счастливых творческих находок, удачной, остроумной переводческой изобретательности. Так, например, имя работника Балды заменяется словенским словом «Trapé» (что по смыслу и эмоционально-стилистической окраске полностью соответствует оригиналу).

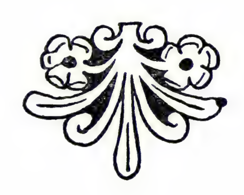
Переводы сказок, поэмы «Граф Нулин» и особенно такого труднейшего для перевода текста, как «Евгений Онегин»,[88] который воспроизводится Клопчичем на его родном языке с большой тщательностью и мастерством, несомненно требуют подробных специальных исследований.

Как правило, Клопчич достигает максимально возможного приближения к подлиннику. Его поистине «высокое искусство»,[89] замечательное мастерство и упорный труд, проникнутый подлинной любовью к пушкинской поэзии, приносят прекрасные результаты. Переводы Клопчича имеют не только большую эстетическую ценность, но и огромное культурно-познавательное значение, приближая Пушкина словенцам, они служат углублению взаимопонимания словенского и русского народов, их духовному сближению.

---

[88] О трудностях перевода «Евгения Онегина» на иные языки см.: *Алексеев М. П.* «Евгений Онегин» на языках мира. — В кн.: Мастерство перевода. М., 1965, с. 278—279.

[89] Выражение К. И. Чуковского (см.: *Чуковский К. И.* Высокое искусство. М., 1964).





Й. Станишич

ЙОВАН ДУЧИЧ И РУССКАЯ КУЛЬТУРА

Сербскую поэзию XX в. невозможно представить без творчества Йована Дучича (1871—1943).[1] С Й. Дучича и М. Ракича (1876—1938) начинается новый этап в поэтическом творчестве сербов. А переводы Й. Дучича являются одной из ярких вершин в истории сербского стихотворного перевода.

Творчество Й. Дучича как поэта, критика и переводчика на протяжении всей его жизни было тесно связано с русской культурой.[2]

По мнению большинства крупных югославских писателей, Дучич привнес новую живительную силу в сердца и душу южных славян, обогатил и наполнил новым содержанием сербскохорватский поэтический язык. В одном из поздних стихотворений («Песма», 1935) Й. Дучича наиболее полно раскрывается весь смысл и значение его поэзии.

Господ ме сеја цело време,
И свуд сам нова реч и знамен —
У белом хлебу прво семе,
У тврђавама први камен.
. . . .
На пустом путу атом праха,
У небу сунчев круг и слика,
Жижак у дому сиромаха,
Суза у оку мученика.

---

[1] Основные издания произведений Й. Дучича на сербскохорватском: *Дучић J.* 1) Пjесме. Мостар, 1901; 2) Песме. Београд, 1908; 3) Плаве легенде. Београд, 1908; 4) Песме. Београд, 1911; 5) Сабрана дела. I—VI. Београд, 1929—1932; 6) Лирика. Питсбург, 1943; 7) Гроф Сава Владиславић-Рагузински. Питсбург, 1943; 8) Сабрана дjела. I—VI. Сарајево, 1969.

[2] Чтобы дать хотя бы приблизительное представление о связях Дучича с русской культурой, мы в этой статье фрагментарно коснемся переводческой деятельности Дучича, популяризации им русской литературы, влияния русской поэзии на его творчество; приведем небольшие фрагменты о русских из его очерков, укажем на значение его монографии о С. Владиславиче-Рагузинском. Необходимо также коснуться значения журнала «Зора» и некоторых моментов французского влияния на Дучича.

Никогда творчество Дучича не было оторвано от судеб его народа. Его поэзия охватывает историю национальную и общую, прошлое и настоящее, «небо» и «землю». Она раскрывает всю душу поэта, —

А душа целе земље тајну:
Магију љубави и смрти.
(Сусрет)

Из прслих груди ја ћу дићи
Најлепшу химну сунцу.
(Напон)

И хотя в 1904 г. в программном стихотворении «Моја поезија» Й. Дучич писал, что его Муза «мирна као мрамор, хладна као сена», но со временем она стала «огоньком в доме бедных» и «слезой в глазах мучеников». В немногих, но острых и глубоко социальных стихотворениях Й. Дучича отражены с помощью на редкость сконцентрированных образов природы страдания герцеговинского крестьянства («У сумраку», «Село», «Поље», «Суша», «Сунце», «Оморина», «Херцеговина»).

В югославской критике бытовали противоречивые оценки творчества Дучича. В 1901 г. Й. Скерлич (1887—1914) назвал его лучшим из молодых лириков сербской литературы.[3] Позднее А. Матош (1873—1914) высоко оценил мастерство Дучича, но подошел к его поэзии односторонне, считая, что главное стремление Дучича — быть похожим на французских поэтов.[4] В. Глигорич (1899—1977) в 1927 г. рассматривал поэзию Дучича сквозь призму упрощенного социологизма. Он ценил мастерство поэта, но считал, что его постоянное стремление к совершенству стиха — результат аристократизма духа. Глигорич также (впрочем, без достаточной аргументации) говорил об излишней восприимчивости Дучича к французской поэзии, о том, что Дучич «с помощью чужой литературы становится поэтическим лидером поколения», и утверждал, что «было бы опасно переводить Дучича на французский язык».[5] Эта оценка совершенно необъективна по отношению к талантливому поэту. Все, что создал Дучич, достойно быть переведенным на любой язык мира безо всякой боязни, ибо он всегда глубоко оригинален.

Постоянное стремление к чистоте и свежести языка для Дудича как герцеговинца было естественным, одновременно он находил в нем один из импульсов вдохновения. После Негоша во всей зоне сербскохорватского языка не было такой богатой и чистой поэтической речи. Дучичу покорялись ритм и интонация речи герцеговинца, которая до сих пор не превзойдена в лаконизме и музыкальности.

На две главнейшие черты творчества Дудича указывала и И. Секулич (1877—1958): «Вера в культ истины чувств; вера в свою нацию... Люди,

---

[3] См.: *Скерлић Ј.* Писци и књиге. Београд, 1956, III, с. 233. — Одной из забытых оценок критика, подтверждающей оригинальность Дучича с раннего периода, следует уделить внимание: «Дучич пришел в школу новейших французских поэтов. . . и сразу проявился не как хороший ученик, а как самостоятельный творец» (*Скерлић Ј.* Историја нове српске књижевности. Београд, 1953, с. 436).

[4] См.: *Матош А. Г.* Есеји и фељтони о српским писцима. Београд, 1952, с. 222—253.

[5] *Глигорић В.* Лица и маске. Београд, 1927, с. 23—25.

имеющие две эти веры, — это те, кто кладет краеугольные камни веков» в культуру своего народа.[6]

«Дучич — поэт-патриот первого ряда. Его „Гимн победителя" — один из нескольких драгоценных камней сербской поэзии вообще». Такую характеристику дает этому стихотворению, проникшему в исторические глубины народной жизни, В. Джурич. Никто из сербских поэтов не написал столько прекрасных стихов о любви, сколько Дучич. «Он создал ожерелье любовных стихотворений, единственное в сербской поэзии».[7] Любое из полусотни их является антологическим.

Публикация собрания сочинений Й. Дучича в 1929 г. стала национальным событием. «В этих книгах живет мощная и блестящая поэтическая личность исключительного таланта, с которого начинается новая сербская поэзия. . . Всесилие Дучича во владении языком, тропами, стилем — то, чему все мы не перестаем удивляться. Это не мастерство — это больше, чем магия, это высшее вдохновение. . . То, что он сделал из нашего гуслярского и, позднее, риторического языка, — это чудо само по себе. Его произведения — выигранная национальная битва».[8]

Эта высочайшая оценка мастерства Дучича, данная крупным сербским поэтом и критиком В. Петровичем (1891—1967), может казаться гиперболизированной, учитывая высокие художественные достижения его предшественников и современников. И, действительно, богатство его стиха и мастерство языка недосягаемы. А слово самого Дудича — глубочайшее отражение судьбы южных славян и одновременно предельное самовыражение его личности.

«Выросший вблизи Ядрана и сформировавшийся внутри средиземноморской культуры, Й. Дучич в большей степени латинянин, чем какой-либо иной из сербских поэтов».[9] С этими словами М. Кашанина нельзя согласиться вполне. Вспомним, что родина Й. Дучича — Герцеговина и что он вырос в зоне чистейшей сербскохорватской речи, положенной В. Караджичем в основу современного литературного языка. С ранних лет Дучич впитывает богатейший фольклор и проникается эпической традицией. Кумирами его юности были П. П. Негош (1813—1851), Й. Й. Змай (1833—1904) и В. Илич (1860—1894).

Можно согласиться с М. Кашанином в том, что Й. Дучич средиземноморец (медитеранац). В то же время он истинный динарец (сын Динарских гор),[10] для которого славянские традиции — закон и святыня. Овладев ла-

---

[6] *Секулић И.* Сабрана дела. Нови Сад, 1964, IV, с. 264—265.

[7] *Ђурић В.* О Јовану Дучићу. — В кн.: *Јован Дучић.* Песме. Београд, 1971, с. 32, 34.

[8] *Петровић В.* О књижевности и књижевницима. Београд, 1958, с. 438, 440.

[9] *Кашанин М.* Судбине и људи. Београд, 1968, с. 329.

[10] «Гора Леутар, которая возвышается над моим родным Требине, как синее полотно между небом и землей, носит илирское или греческое имя от слова „элевтерия", что значит „свобода". С этой горы ясным днем через близкое море виднеются берега Италии. Широта охвата этого горизонта повлияла на людей моего родного края». Этими словами начинается книга Дучича «Јутро с Леутара» (Сабрана дјела, VI). Где бы он ни находился в долгие годы своей дипломатической службы, Требине, Леутар, таинственная Требишница, кипарисы и тополя на ее берегах, каскады Неретвы, Мостар, город его юности, который он считает одним из самых чарующих на свете, «где вёсны прекраснее, чем в Сорренто или Толедо», хотя Герцеговина была силой трагических обстоятельств, «словно пропастью», отделена от Европы, — все это постоянно нахо-

тинской и иными культурами, глубоко уважая самобытность и культуру всех народов, Й. Дучич во всем своем творчестве оставался прежде всего славянином, герцеговинцем. Еще более неприемлема мысль М. Кашанина о том, что в творчестве Й. Дучича нет ничего от той Европы, из которой вышел сербский романтизм, и той России, которая вдохновила сербских реалистов в конце XIX в., что Дучич гораздо «ближе Риму, нежели Византии, французам, нежели русским, и язычеству, нежели христианству».[11]

Чувство величия славянской истории, южнославянского прошлого никогда не затеняло в глазах Й. Дучича его эпоху и будущее. Вглядываясь в своих современников, поэт искал и находил в них отсвет давних предков.

Й. Дучич начал свой творческий путь в период сближения и стремления к единству национальных, политических и эстетических течений всех южнославянских народов. Дучич создает «Дубровницкие поэмы» и позднее «Царские сонеты» в период национального подъема, когда В. Назор пишет «Всеславянские легенды» и легенды о королях Хорватии, М. Ракич — косовский цикл, А. Шантич — «У древних очагов», М. Бойич — «Женитьбу Уроша», М. Королия — «Храмы Сербии», а И. Мештрович ваяет гениальные скульптуры для Видовданского храма на Косовом поле. И потому «Царские сонеты» были не отзвуком парнасской поэзии, а ответом на исторический императив, органической частью общенационального творческого процесса, утверждавшего самобытность корней, истории, борьбы за свободу и культуры народов славянского юга.[12]

* * *

В России творчество Й. Дучича малоизвестно, хотя его стихи начали переводить на русский язык еще в начале века. Немногочисленные переводы в коллективных сборниках не могут дать и приблизительного представления о масштабности дарования замечательного художника слова,[13] а отдельного издания произведений Дучича, так же как и литературоведческих работ, посвященных его творчеству, на русском языке не появлялось.

Впервые в России имя Й. Дучича стало известно из книги переводов С. Штейна «Славянские поэты». В библиографическом примечании С. Штейн констатирует: «Об Иване Дучиче сведений на русском языке не имеется».[14] Предваряя свои переводы, С. Штейн на полутора страницах дает краткие сведения о Дучиче и сжатую характеристику его лирики: «Дучич —

дило выражение в его творчестве. Дучич многократно встречался с европейской культурной элитой, много дней провел в залах крупнейших музеев, посещал исторические места, о разных странах и эпохах сумел сказать много точных и правдивых слов; но у герцеговинского и черногорского крестьянина, живущего в сухих и каменистых горах, он нашел черты величайшего гуманизма, нежности и достоинства, вековую мудрость, из которой выросла богатейшая поэзия южнославянских народов. Европейская культура еще более приблизила его к славянским корням.

[11] *Кашанин М.* Судбине и људи, с. 329.

[12] См. там же, с. 338.

[13] См.: *Штейн С.* Славянские поэты. СПб., 1908, с. 87—92; Поэты Югославии. М., 1957, с. 27—30; Поэты Югославии XIX—XX вв. М., 1963, с. 185—194; Поэзия Югославии в переводах русских поэтов. М., 1976, с. 65—67, 178, 205.

[14] *Штейн С.* Славянские поэты, с. 223.

изящный и мягкий лирик. . . Меланхолические настроения особенно сродни его душе. . . Многие стихотворения Дучича с их истинно художественными картинами природы отмечены неподдельною свежестью чувств. . . Особенною любовью Дучича пользуется Лермонтов, который навеял ему немало образов и метафор: таковы, например, излюбленные Дучичем и типичные для Лермонтова сравнения пустыни и моря с человеческой душой».[15]

В 1930 г. Й. Дучич был без всяких к тому оснований причислен к декадентам.[16] В статьях Р. Дорониной о югославской поэзии конца XIX — начала XX в. неверно представлены и некоторые факты его биографии, и сущность его творчества.[17] Подобные односторонние и несправедливые суждения о Дучиче встречались и в югославской прессе.[18]

Дучич ощутил эстетические проблемы своего времени, но он никогда не был приверженцем какой-либо узкой литературной программы модных направлений и манифестов. Его творчество восприняло многое из современной европейской культуры, однако это не заглушило той прочной и здоровой традиции, из которой оно выросло. Дучич никогда не высказывался как сторонник модернистских течений. Более того, его высказывания свидетельствуют о том, что многое в модернизме было ему чуждо. Модернисты «открыто противопоставляют себя истории, поскольку они выступают против традиций. . . и потому, прежде чем что-либо осуществить, они сначала пытаются разрушить то, что существовало до них. . . Всегда среди них больше смущенных, чем возмущенных. Рядом с несколькими подлинно новыми талантами обычно идет толпа крикунов и шарлатанов. . . Истинный творец следует инстинкту, а не программе. . . Тот, кто многое возлагал на модернизм, тот и прошел вместе с модой».[19]

Многие литературные течения приходили в южнославянские страны с опозданием. В сербской поэзии конца XIX—начала XX в. модернизм не представляется явлением укоренившимся и разветвленным. В отличие от Франции, где его развитию способствовала общественная структура, в Сербии модернизм остался в зародышевом состоянии, поскольку сербские поэты были прежде всего носителями национально-традиционного начала. Еще А. Матош в 1902 г. писал, что благодаря Дучичу сербская поэзия «модернизировалась».[20] Но это не означало, что она стала модернистской; подразумевалось, что она осовременилась, обновилась.

Существует точка зрения, что Дучич сыграл в сербской литературе ту же роль, что О. Уайльд в английской, С. Георге в немецкой, Р. Дарио

---

[15] Там же, с. 85—86.

[16] См.: ЛЭ, т. III. М., 1930, с. 613—614.

[17] *Доронина Р. Ф.* 1) Сербская литература конца XIX—начала XX в. — В кн.: Зарубежные славянские литературы. М., 1970, с. 18—19; 2) Сербская модернистская поэзия конца XIX—начала XX в. — В кн.: Литература славянских народов. 1962, вып. 7, с. 93—110, 141—142.

[18] См.: ELZ, 2, Zagreb, MCMLVI, s. 418.

[19] *Дучић Ј.* Сабрана дјела, III, с. 262—263.

[20] *Матош А. Г.* Есеји и фељтони о српским писцима, с. 239—240. — Отметим и словесную путаницу в некоторых публикациях на русском: «српска модерна поезија», к которой принадлежал и Дучич, нужно переводить как «новейшая сербская поэзия», что не однозначно с модернистской поэзией. А модернисты в Югославии 20-х, 30-х и 50-х гг. считали Дучича традиционным поэтом.

в испанской, В. Брюсов в русской.[21] Но следует помнить, что Дучич, как и все сербские поэты его эпохи, был гораздо ближе к национальной традиции, чем любой из вышеупомянутых поэтов. Журнал «Зора»,[22] который возглавлял Дучич, кардинально отличался по своим задачам от журналов и изданий, выпускавшихся перечисленными поэтами. Находясь в иной культурной и социальной среде, в крайне тяжелых политических условиях (Герцеговина была под австрийской оккупацией), этот журнал ставил перед собой цели национального объединения, просвещения и возрождения национальной культуры. Естественно, что в этих условиях именно гуманизм русской литературы в первую очередь привлекал редакцию журнала «Зора».

Исконная тяга герцеговинца к чистоте языка, к мудрому лаконизму и врожденная гордость всегда были присущи Дучичу. Национальная стойкость характерна для всех видов его творческой деятельности. Именно эту черту он особенно ценил в творчестве писателей Й. Войновича (1857—1929) и П. Кочича (1877—1916); скульптора И. Мештровича (1883—1962) и многих других.

Дучич был открыт всему, что несло в себе здоровую новизну в литературе, одновременно оставаясь глубоко традиционным. Но традиции он понимал не как окаменевшие штампы, не как оковы, но как могучий и действенный концентрат всего ценнейшего в культуре своего народа, как живой организм, в котором прошлое и настоящее сливаются воедино.

* * *

Сербско-русские культурные связи имеют богатейшую историю. На примере творчества Й. Дудича еще рельефнее видна яркая картина связи двух братских культур. Тема «Дудич и русская культура» до сих пор не разрабатывалась.

Любовь к России и к русской культуре не только характерная черта сербской литературы XIX в., но продолжение вековой традиции. Силою исторических обстоятельств тяготение к России и сближению культур этих народов стало закономерностью. Многие писатели знали русский язык, но и для тех, кто не знал языка, русская литература была самой доступной изо всех иностранных литератур благодаря близости языков и родству народов.

Уже в 50-е гг. XIX в. в Сербию приходят Пушкин, Лермонтов, Гоголь в разных переводах; в 60-е гг. усиленно переводится Тургенев. Обилие переводов, заметок и статей о русской литературе показывает, какую огромную роль сыграла русская литература в литературном процессе в Сер-

---

[21] См.: *Кошутић В.* Парнасовци и симболисти у срба. Београд, 1967, с. 9.

[22] Журнал «Зора», основанный молодыми поэтами А. Шантичем, Й. Дучичем и прозаиком С. Чоровичем, просуществовал неполных 6 лет (апрель 1896—декабрь 1901). Так как «Зора» была одной из самых значительных трибун сербской культуры и лучшим популяризатором русской литературы, мы будем не раз обращаться к этому журналу, в котором Дучич был самым активным из всех сотрудников — опубликовал более шестидесяти своих стихотворений, множество переводов, рецензий и заметок. Не трудно определить по стилю, глубине и страстности большинства анонимных заметок о русской литературе, что и они принадлежат перу Дучича.

бии.[23] Каждый удачный перевод произведений любого из крупнейших русских писателей в Сербии во второй половине XIX в. воспринимался как праздник. Сербский реализм рос под знаком русского реализма. Почти все сербские прозаики восхищались Гоголем и находились под его влиянием (М. Глишич, С. Сремац, Б. Нушич, Я. Веселинович, Р. Доманович, С. Чорович и др.). И своей эпикой, и фольклорными мотивами, и острой сатирой Гоголь был особенно близок сербской действительности этой эпохи. Характерно, что в это же время (в 60—70-е гг.) хорватские писатели испытывали сильное воздействие прозы Тургенева) Й. Козарец, Й. Драженович, С. Шимунович, В. Джалски, Й. Лесковар и др.).

В сербской поэзии сильное русское влияние проявилось в творчестве Й. Й. Змая, Л. Костича и Й. Илича, а В. Илич осуществил поворот в сербской поэзии, широко введя в нее русские образцы, называет себя учеником Жуковского и Пушкина.[24] Любовь к русской поэзии Илич завещал не только своим братьям Драгутину, Милутину и Жарку, которые активно переводили русских поэтов, но и всем другим сербским поэтам, его последователям. Братья Иличи к своим сборникам, циклам и отдельным стихотворениям берут эпиграфами строки из Пушкина, Державина и других русских поэтов.

М. Якшич (1869—1939) несколько лет (1901—1904) свои стихи подписывает именем пушкинского героя: Ленский.

А. Шантич (1868—1924) к своему сборнику 1901 г. взял эпиграф из Полонского, а к сборнику 1908 г. — из Надсона. Первая книга Й. Дучича (1901) имеет два эпиграфа: из К. Маро и из М. Лермонтова.[25]

Внимание сербских поэтов привлекал и М. Горький.[26]

Популярность русской поэзии в Сербии видна и по большому сборнику Й. Максимовича (Песнички зборник. Мостар, 1900), в котором представлены сербские, хорватские и иноязычные поэты; последние разделены

---

[23] См.: *Погодин А. Л.* Русско-српска библиографија. Београд, 1932—1936 гг. — Влияние русской культуры характерно не только для XIX в., оно было сильным и раньше, особенно в XVIII в., продолжалось не менее активно и в начале XX в. (см.: *Скерлић Ј.* Историја нове српске књижевности. Београд, 1953, с. 35—38, 339—340, 429; *Витошевић Д.* Српско песништво, I, с. 149—155).

[24] См.: *Илић В.* Сабрана дела. Београд, 1966, I, с. 76.

[25] Tu as pour te rendre amusé
Ma jeunesse en papier icy. . .

Прими, прими мой грустный труд
И, если можешь, плачь над ним,
Я много плакал.

Эпиграф из Клемента Маро (1496—1544), средневекового французского поэта, не означает приверженности Дучича к модернистским течениям Франции, как неоднократно указывалось в югославской критике.

[26] Ж. Лазаревич (Петрополяц) публикует в 1907 г. стихотворение «На дну живота» с посвящением М. Горькому (См.: Политика, 5 V 1973; *Лазаревић Ж.* Кроз живот, 1908). Но и до этого в сербской поэзии были стихи, посвященные Горькому. В 1905 г. Р. Перович (Невесињски) опубликовал большое стихотворение «Максиму Горком» (см.: Књижевна недеља, бр. 16 — СКГ, 1905, XIV, 3, 239, Српски писци за Максима Горког). Оно явилось откликом на арест русского писателя, в связи с чем был направлен протест сербских писателей в адрес царского правительства.

на три группы: русские, немецкие и все остальные, причем русские и по числу имен (около шестидесяти), и по объему стихов занимают первое место. Полнее всего представлены Пушкин и Тургенев — по 21 стихотворению, Тютчев — 13 стихотворений. Сборник открывается стихами Л. И. Пальмина на русском и сербскохорватском языках «Я сижу в библиотеке, полный смутными мечтами. . .» Й. Максимович (1864—1955) был одним из известнейших переводчиков и популяризаторов русской литературы; он автор интересных работ о Пушкине.[27]

В журнале «Зора», в котором из всех европейских литератур русская представлена богаче и полнее других, находим в 1901 г. чрезвычайно любопытный фрагмент разговора Тургенева с Мериме. Этот отрывок высвечивает сущность причин, по которым русская литература была наиболее привлекательна для Сербии этой эпохи.[28]

В то время, по мнению большинства исследователей, при всей своей самобытности сербская литература находилась на перекрестке влияний Востока и Запада.[29] Два эпиграфа в поэтической книге Дучича как бы символизируют русское и французское влияние не только на творчество этого поэта, но и на сербскую поэзию в целом.

Из всех классиков мировой литературы в начале XX в. самыми читаемыми в Сербии были русские прозаики. Из поэтов больше всего переводятся Пушкин, Лермонтов, Тютчев, Некрасов и Надсон. В начале века до 1917 г. Лермонтов и Надсон были гораздо более популярны, чем русские символисты.

Активное внедрение русской поэзии в сербскую культуру и в начале XX в. не явилось результатом воздействия на нее новых модных веяний и школ, а было обусловлено закономерным продолжением и развитием давних здоровых и прочных традиций.

* * *

В конце XIX в. одним из самых оживленных культурных центров Боснии и Герцеговины стал город Мостар.

Национальное движение в Герцеговине в 80-е гг. опиралось не только на освободительные и повстанческие традиции Луки Вукаловича (1823—1873) и Стояна Ковачевича (1821—1911), и других славных участников Невесиньского восстания, не только на гуслярские и фольклорные традиции, но и на элементы культурного возрождения Герцеговины первой половины XIX в., в котором Мостар сыграл первостепенную роль.

---

[27] *Максимовић J.* А. С. Пушкин и руски песнички реализам. Београд, 1905.

[28] «В вашей поэзии, — говорил Мериме Тургеневу, — прежде всего истина. А красота затем возникает как бы сама собой. Наши поэты, напротив, идут в противоположном направлении: они прежде всего ищут эффектности, остроты, блеска, и, если при этом возникает возможность не обидеть истину, они, в конце концов, согласятся и на это» (Зора, 1901, 2, 69).

Это высказывание почти дословно совпадает с мыслями из дневника М. М. Пришвина. Он пишет о том, что «„хвататься“ надо, как Толстой, за правду, а красота сама собой придет» (*Пришвин М. М.* Дорога к другу. Л., 1978, с. 120).

[29] См.: *Витошевић Д.* Српско песништво. Београд, 1975, I, с. 153.

Литературные круги Белграда с воодушевлением принимали каждый эпизод культурной жизни Мостара. «Связь между Мостаром и Белградом была более долгой и более крепкой, чем связь Белграда с любым другим городом Боснии и Герцеговины».[30]

В 80-х и 90-х гг. XIX в. в Мостаре возникали просветительские общества, клубы, издательства, открывались школы и библиотеки. Сербское певческое общество «Гусли» в 1888 г. приобрело популярность у южнославянских народов. Все эти новшества носили национально-просветительский характер. Постепенно в Мостаре возник духовный климат, благоприятствовавший далеко идущим культурным начинаниям.[31]

«Гусли» возвеличивали все сербское, все южнославянское — от святого Савы и древних дубровницких поэтов до Б. Радичевича и П. П. Негоша. Такая активность имела глубокое политическое значение и во время борьбы за автономию школы и церкви. Общество «Гусли» — предтеча журналов «Неретлянин» и «Зора», предтеча той культурной политики, которую продолжили и укрепили редакторы этих журналов, будущие выдающиеся литераторы. Национальная мысль оформилась именно в редакции ж. «Зора». Это культурное движение возникло как реакция против австро-венгерской политики систематического удушения национального самосознания, разжигания национальной ненависти и мелкого сепаратизма. «Зора» собрала вокруг себя ведущие силы пробуждающегося национального самосознания; она расширила круг читателей и их горизонты, и благодаря ей не только Босния и Герцеговина, но и другие края узнали и полюбили многие имена, символизирующие национальную культуру и культуры других народов. Молодые редакторы и литераторы, объединенные журналом «Зора», горели одной мыслью: вывести свой народ, его самобытность на сцену европейской культуры. «Гусли» были духовной необходимостью всей эпохи, а «Зора» явилась отражением того духовного света, того энтузиазма, которые готовили массы к великим патриотическим свершениям.

«Зора» стала одним из лучших журналов во всей зоне сербскохорватского языка. Она придала Мостару характер культурного центра, какими были Новый Сад и Белград. Объединяя на своих страницах лучших южнославянских писателей, она была и дорогой к богатейшим мировым литературам. Учитывая, что «Зора» возникла на оккупированной территории, где официальным языком был немецкий, следует признать: появление журнала «Зора» ознаменовало становление национально-культурной автономии и явилось национальным подвигом.[32]

---

[30] *Косић Сл. М.* Мостарске «Гусле» пре педесет година. Педесет година српског пјевачког друштва «Гусле» у Мостару. Мостар, 1938, с. 253.

[31] Национально-литературное движение в Мостаре стало одним из источников свободомыслия, который питал многие прогрессивные умы того времени, внесшие большой вклад в сербскую национальную культуру. Тот дух, который животворил «Гусли», проникал и в молодость С. Чоровича, А. Шолы, Й. Дучича, А. Шантича, Б. Жераевича, В. Чоровича и др. Эта группа свободомыслящих патриотов, энергичных энтузиастов начала движение за сохранение национальной самобытности и расширение культуры (см.: Зора. Почасни број. Мостар, 1968/69; *Томић-Ковач Л.* Зора. Сарајево, 1971).

[32] Журнал «Зора» приобрел историческое значение. Первый общественно-литературный журнал в Герцеговине способствовал укреплению корней национального и культурного движения, которое напомнило австрийским оккупационным властям, чья это культура, чья это земля и чьею она будет. И не случайно слова Й. Дучича «На

В «Зоре» переводились и публиковались произведения разных жанров и чаще всего — поэзия. Именно в это время среди сербских литераторов было немало таких, которые не принимали иностранной культуры. «У нас были писатели, такие как Сремац, которые ненавидели все иностранное».[33] Даже выдающийся сербский критик конца XIX в. Л. Недич (1858—1902) опасался, что большое количество переводов может стать угрозой для национального духа отечественной литературы. Дучич же верил, что именно в соприкосновении с мировой культурой окрепнет все лучшее в национальной литературе. Поэтому им и его журналом возвещена новая «эпоха переводов». Он убедительно обосновал необходимость печатать рядом с отечественными и переводные произведения, причем иногда далеких эпох и народов: «Я за то, чтобы у нас переводилось много и чтобы этим занимались лучшие силы и молодого, и старшего поколения. Я за широкий всеобъемлющий перевод, я за эпоху перевода, чтобы восстановить наш вкус, чтобы поднять его».[34]

Переводы были необходимостью не только для авторитета журнала: их диктовала эпоха более тесных контактов и взаимосвязей разных культур. Тенденция редактора — дать «Зоре» облик современных европейских журналов, не отрывая ее от национальной почвы.[35]

* * *

Из всех редакторов «Зори» наиболее активным переводчиком был Й. Дучич. Он продолжал переводить и публиковать переводы в «Зоре» и после своего отъезда из Мостара в Женеву и Париж.

В первом периоде своей переводческой деятельности Дучич больше всего переводил именно с русского. В «Зоре» (1896, № 8) поэт публикует цикл стихов из русской лирики. В нем стихотворения Лермонтова, Пушкина, Некрасова, Надсона, К. И. Голицына и И. Е. Пальмина.

В течение 1898 г. в нескольких номерах «Зори» публикуется поэма Пушкина «Анджело» в его переводе.[36] Именно Дучич своими переводами дал «Зоре» определенный тон: и по выбору, и по качеству переводы с русского — лучшие из переводных стихов, публиковавшихся на страницах этого мостарского журнала.[37]

земле этой царство принадлежит Урошу» (см.: *Дучић Ј.* Сабрана дјела, IV, с. 149), — стали лозунгом борцов за национальное освобождение. Благодаря этому журналу литературный уровень Герцеговины, точнее, Мостара, считался равным уровню Белграда. Мостарское культурное движение началось поэзией, а, по мнению Й. Дучича, поэзией начинается всякое значительное свершение на свете.

[33] *Дучић Ј.* Сабрана дјела, IV, с. 293.

[34] См. письмо Дучича М. Савичу из Женевы от 2 мая 1900 г.

[35] В каждом номере был представлен кто-нибудь из крупнейших южнославянских современных писателей, часто появлялись статьи и о писателях минувшего. «Зора» публикует работы и о различных течениях и о проблемах мировой литературы, о событиях культурной жизни других народов, множество заметок об отдельных европейских писателях.

[36] Зора, 1898, 3, с. 105—109; 4, с. 143—146; 5, с. 185—187; 6, с. 211—213;

[37] Часть своих переводов Дучич напечатал в сараевском журнале «Нада». Среди них — стихи Лермонтова, Давыдова, Пушкина и Дельвига.

Наряду с поэзией журнал помещал переводы русской прозы — рассказы, романы, статьи, фрагменты работ о разных русских писателях и художниках.[38]

Блистательный путь Дучича начался в Мостаре в «Зоре». А «Зора» в Мостаре, «Босанска вила» в Сараево, «Срђ» в Дубровнике, «Бранково коло» в Сремских Карловцах, «Летопис Матице српске» в Новом Саде и «Српски књижевни гласник» в Белграде являлись в разных точках страны во тьме вражеского окружения или оккупации «световыми сигналами» единого народа, который противостоял уничтожению.[39]

На широту интересов Дучича указывают и стихи, и переводы, и критика, и очерки, и заметки, и переписка, и редакторская работа. В журнале «Зора» он часто пишет о русской литературе. Говоря о других славянских литературах, он чаще всего сопоставляет их с русской.

Дучич сохранил на всю жизнь нежнейшее тепло к Мостару.[40] На закате своих дней он писал: «Когда сегодня кто-нибудь вспомнит это волшебное слово „Мостар“, в моих чувствах чередуются боль и радость, горечь и восхищение, сила и отчаяние. . . Каждый в свои двадцать лет имеет город, который красивее, мелодичнее и солнечнее, чем все города на Земле. Город юности, и этот именно город в таком глухом краю более похож на правду сердца и мечты, чем на земную истину и действительность. . . Но молодость остается в нас, как ясный день бесконечный. Временами этот город становится сильнее нас самих. Прошлое становится сильнее всего остального. . . Мостар можно оторвать от всего, только не от сербской традиции, гайдуцкого прошлого и сербской поэзии. . . Мостар останется навсегда городом одного из самых лучших сербских поколений девятнадцатого века. Не только эта сербская окраина, но и все сербское отечество не может быть полным без этих имен».[41]

* * *

Совершенство поэзии Дучича нередко связывалось с такими абстрактными категориями, как «новая европейская выразительность» и т. п., будто это и создало выдающегося национального поэта. Раньше чем испытать какое-либо западное влияние, Дучич овладел национальным

---

[38] Большое значение для читателей «Зори» имела публикация «Стихотворений в прозе» Тургенева в переводе Й. Максимовича. Он был блестящим знатоком русской литературы и одним из лучших сербских переводчиков прозы. В его переводе в «Зоре» напечатаны часть «Записок охотника», «Моя охотничья собака», а также слово Тургенева на открытии памятника Пушкину в Москве.

[39] *Кашанин М.* Судбине и људи, с. 332.

[40] «Последнюю ночь в Мостаре в мае 1898 г. я провел с А. Шолом, самым культурным сербом, какого родила земля Герцеговины. Это был мой самый близкий друг, который на мое счастье живет и по сей день. Другими нашими друзьями были поэт А. Шантич и прозаик С. Чорович. И маленький литературный кружок, который, может быть, станет гордостью тех, кто будет жить после нас. Назавтра я отправился в Женеву, откуда через два года уехал в Париж, и там, деля свое время между этими городами, провел почти десять лет своей студенческой жизни. Это было время, когда Достоевский назвал Европу пропавшей, а немного позднее немецкий философ Шпенглер сказал, что она отмирает. Но Европа тогда была культурнее и благороднее, чем когда-либо до и после. . .» (*Дучић J.* Сабрана дјела, VI, с. 208).

[41] *Дучић J.* Сабрана дјела, VI, с. 205—206, 210.

художественным опытом.[42] Совсем не упоминалось, что Дудич высокому поэтическому мастерству учился и у Пушкина,[43] Лермонтова и других русских поэтов. Стихотворение «Хајд'мо, о Музо! Амо милу руку», открывающее первый сборник и выражающее поэтическое кредо автора, гораздо ближе к Пушкину и Лермонтову, чем к представителям французского Парнаса и чистого искусства. Дучич вслушивался в глубинную музыку русской поэзии и поэзии других народов, чтобы таким образом полнее раскрыть самого себя, подлинную свою сущность. В этот период более всего переводились русские романтики.

Статья Й. Максимовича в журнале «Зора», посвященная столетию Пушкина, рисует нам картину сербской поэзии и рассказывает закономерность действенности пушкинской поэзии в Сербии даже в ту эпоху, когда до Балкан доходили (с большим опозданием) модернистские веяния из Европы. Й. Максимович подчеркивает непосредственное влияние русской поэзии на сербскую литературу; он пишет о «величественном здании русской литературы, построенном на основе, которую заложила мощная рука А. С. Пушкина». Причину празднования столетия Пушкина Максимович видит не только в том, что этого требуют братские славянские чувства, не только в том, что сербский народ в долгу перед великим поэтом, который в своих произведениях коснулся и сербских мотивов, но и в том, что «на прославление великого поэта нас направляет состояние нашей сегодняшней сербской поэзии. Пушкинская деятельность в русской литературе отмечена внесением в отечественную поэзию именно тех элементов, над которыми сегодня более всего трудится молодая сербская поэзия. А эти элементы — прежде всего подлинно артистическая сторона поэзии. . .» [44]

В 1899 г. Дучич в статье, посвященной столетию со дня рождения Мицкевича, говоря о его значении для польской литературы, одновременно раскрывает ту роль, которую сыграл в русской поэзии Пушкин. «Пушкин — в России, Мицкевич — в Польше возглавили литературный поворот в своих отечествах. Вклад первого из них состоял в том, что в бездушное и окоченевшее тело прежнего русского стихотворства он внес настоящее кровообращение и поэтический нерв, что в риторику, красноречие и философскую декламационность современной поэзии он внес безыскусное чувство и искренность поэзии народной; что он первый показал возможности оте-

---

[42] Годы первых успехов Дучича в поэзии совпали с общим стремлением выдающихся южнославянских поэтов художественно раскрыть самые значительные события национальной истории. В это же время В. Назор (1876—1949) оживил в стихах древнейшую славянскую мифологию, воспел старых хорватских князей и правителей, но не «славянизировал» Европу, а раскрыл ей, кем были и кем являются славянские народы на Балканах, где истоки их веры, их самобытности, их стойкости и культуры. А И. Мештрович из далматинских скал вырубил ярчайшие и величественнейшие образы сербского эпоса и героев негошевских поэм. В подобные эпохи неминуемы поиски истоков национального бытия и в древнейших исторических глубинах. Все они (Дучич, Назор, Мештрович и другие) были движимы глубоко национальным художественным инстинктом — в эпоху национального возрождения и всенародного стремления к объединению.

[43] Ни переводам Дучича из Пушкина, ни их значению для сербской поэзии, ни глубокому изучению Дучичем русского гения, ни влиянию Пушкина на Дучича исследователи не уделяли никакого внимания. Д. Витошевич констатирует, что «этот вопрос еще на мертвой точке» (*Витошевић Д.* Српско песништво. 1901—1914, I, с. 151).

[44] *Максимовић Ј.* Пред Пушкинову стогодишњицу. — Зора, 1899, 4, с. 113.

чественного языка для подлинной поэзии — полнозвучностью, симфоничностью и элегантностью своих стихов».[45]

Из русских поэтов Дучич чаще всего переводил Пушкина. Кем был Пушкин для всех южнославянских поэтов, об этом говорят слова М. Шрепеля: «Великие гении не живут только для себя и своего народа, они снабжают богатством своих идей, красотой своих сочинений все народы. Пушкин дарит и еще долго будет дарить все человечество. Мы, хорваты, преклоняясь перед гением его, почитаем в нем не только великого поэта, но и великого славянина. Имя Пушкина каждому славянину — святыня».[46] К этому добавим и слова Николы I Петровича Негоша из телеграммы, посланной в 1899 г. торжественному собранию Академии наук в Петербурге, посвященному 100-летию со дня рождения Пушкина: «Великий Пушкин — одна из наивысочайших мировых слав, ибо мир — родина великих гениев. . . Его стихотворение, посвященное борьбе черногорцев, декламирует здесь на чудесном богатом языке поэта восхищенная молодежь, полная благодарности, и наши школы откликаются эхом: „Черногорцы, что такое? Бонапарте вопросил“ — это стихотворение также поминает святые традиции совместных испытаний и славы, которые связывают Черногорию со святой Россией».[47]

Пушкин начал переводиться на сербскохорватский язык еще при его жизни. Но только с переводами Й. Й. Змая, начиная с 60-х гг., русский поэт прозвучал для южных славян как истинный художник слова. Переводы Дучича — новый и по силе мастерства самый значительный этап в истории перевода русских стихов в Сербии. Дучич впервые начал переводы из Пушкина в 1896 г. — «Я здесь, Инезилья, стою под окном», назвав его «Романца», и «Ревет ли зверь в лесу густом», назвав его «Ехо»

Овдје Инезиља
Стојим под окном!
Загрљена Севиља
Мраком и сном. . .

Форма перевода «Я здесь, Инезилья. . .» говорит о том, что он сделан пером талантливого поэта; ритм безукоризненный, нет легкой игривости, которую встречаем у В. Илича в его оригинальном стихотворении на эту тему, созданном под воздействием русской поэзии.

В переводе «Эхо» ощущается прочная фольклорная основа:

Риче ли звијер сред шуме глухе,
Труби ли рог или грми гром,
Ил' пјева дјева у миљу свом
Кроз густи луг. . .

Дучич перевел и стихотворение Пушкина «Кто, волны, вас остановил. . .» Хотя здесь не переведена вторая строфа, перевод сохранил целостность

---

[45] *Дучић J.* Адам Мицкијевић. — Зора, 1899, 1, с. 25; Сабрана дјела, IV, с. 200—201.

[46] *Шрепель М.* А. С. Пушкин в хорватской литературе. — В кн.: А. С. Пушкин в южнославянских литературах. СПб., 1901, с. 66—67.

[47] Глас црногорца, 5 VI 1899, бр. 23; *Никола I Петровић Његош.* Цјелокупна дјела. Цетиње. 1969, IV, с. 225.

и живой нерв пушкинской поэзии. В переводе этой миниатюры как будто сконцентрировано все мастерство Дучича, музыкальность его стиха и та новизна, которую он внес в сербскую поэзию как поэт и переводчик.

Ко вас је задржо, слободни вали,
Ко вам је сковао скокове?
Ко је у бару смео да свали
Потока живог токове?

Ветрови, буре, уздижите воде,
Рушите преграде тесне!
О, где сте, муње, симболи слободе,
Да светлост над баром бљесне.

В 1898 г., как уже было сказано, в нескольких номерах журнала «Зора» был опубликован перевод пушкинской поэмы «Анджело». Дучич писал позднее, что поэму перевел свободно, выпустив отдельные места и некоторые строки в диалогах. Он признавался, что спешил, переводя поэму, и результат получился «одавический».[48] Через некоторое время этот перевод Дучич опубликовал вторично более полным и точным.[49] На эту публикацию откликнулся В. Ягич.[50] Ягич считает нарушение ритмического единства «большой ошибкой», но критик этому не удивился, «зная о решительном хореическом характере сербской речи». Критик писал, что в большинстве переводов на сербскохорватский язык непростительно мало уделяется внимания ритмической стороне переводов. Он считал, что Дучич «в рифмовке далеко отстал от образца». Ягича не удовлетворило и содержание перевода «Анджело». Он обнаружил некоторые лексические неточности, например, слово «искусство» переведено в том значении, какое оно имеет в сербскохорватском языке: «опыт». Такие ошибки случались и у самых выдающихся переводчиков: но, по-видимому, бывает трудно осознать, что слова родственных языков, звучащие одинаково, часто не только не совпадают по смыслу, но могут иметь противоположные значения. Ягич считал, что Клавдио у Пушкина гораздо менее преступен, чем у переводчика. Разбор Ягича — узко филологический, критик требовал строго буквальной смысловой и словесной точности, Дучич же создал адекватный перевод своими поэтическими средствами. Он старался, чтобы его перевод пушкинской поэмы был осуществлен лучшими поэтическими средствами его народа и одновременно доступен. Отступления от оригинала незначительны, перевод по всем своим компонентам приблизился к оригиналу и сыграл значительную роль в литературном процессе в Сербии.

Белинский считал, что поэма «Анджело» недостойна таланта Пушкина, что простота слога поэмы искусственна и что «можно найти счастливые выражения, удачные стихи, если хотите, много искусства, но искусства

---

[48] Ристо Одавич (1870—1932) — сербский поэт и переводчик, много переводивший с русского, но большей частью слишком свободно.

[49] *Пушкин А. С.* Анђело. Препевао Јован Дучић. — Летопис Матице српске, 1901, књ. 207, с. 75—91.

[50] *Ягич В. И.* «Анджело» в двух переводах одного и того же переводчика. — В кн.: А. С. Пушкин в южнославянских литературах, с. 343—364. — Это единственная работа о переводах Й. Дучича. Она не упоминается югославскими исследователями и даже не вошла в библиографию о Дучиче.

чисто технического, без вдохновения, без жизни».[51] Дучич, возможно, не знал этой оценки Белинского, но если бы и знал, он бы с нею не согласился: его перевод, сохраняя и драматизм, и естественную простоту, и накал поэмы, полон вдохновения.

Критические замечания Ягича касаются более всего метрики и языковой структуры. Вероятно, для Ягича самое основное — метрическое соответствие перевода оригиналу. Разумеется, в любом поэтическом переводе все компоненты существенны, но никакая языковая и метрическая точность не смогут спасти перевод, если в нем потеряна художественная сторона. Й. Бадалич совершенно прав, утверждая, что таким односторонним подходом к рассмотрению переводов с русского на сербскохорватский Ягич обеднил результаты переводческой деятельности сербов и хорватов.[52] У Дучича в «Анджело», как и в других переводах сохранен пушкинский темперамент, и этот перевод удерживает свою поэтическую ценность и поныне. Поэт как никто знал, что и переводчик должен создать свой поэтический язык, свои метафоры, чтобы выразить дух оригинала. Дучич, переводя «Анджело», не всегда находил эквивалентное слово, но он находил поэтический синоним этому слову. И именно это было причиной того, что все переводы его были приняты читателями как живое большое искусство.

«Бахчисарайский фонтан» был впервые переведен на сербскохорватский одним из крупнейших поэтов хорватского иллиризма и лучшим переводчиком у хорватов XIX в. С. Вразом в 1849 г. под названием «Bahčisarajska česma». Вторично поэму перевел в 1854 г. И. Трнски. Поэт всеславянского единства П. Прерадович (1818—1872) был глубоко разочарован Пушкиным, прочитав перевод Трнского. Вину за неадекватные переводы пушкинской поэзии в Хорватии Бадалич во многом возлагает на крупнейших ученых-славистов В. Ягича и Т. Маретича, требовавших от каждого переводчика прежде всего полной метрической точности.[53] В результате этого у многих получился скованный стих с точным метром и рифмой, но лишенный поэзии.

Переводы Пушкина в Сербии были менее скованны метрически, чем в Хорватии, но они были чрезмерно фольклоризованы. За исключением десяти стихотворений в переводе Змая, подлинного поэтического голоса Пушкина в Сербии не было.

В 1900 г. в ж. «Летопис Матице српске» появились две поэмы Пушкина в переводе Дучича — «Бахчисарайский фонтан» под типично восточным названием «Бахчисарајски шедрван» и «Тазит» под названием «Голуб».[54]

---

[51] *Белинский В. Г.* Полн. собр. соч. М., 1955, т. 7, с. 553.

[52] См.: *Badalić J.* Hrvatsko-ruske književne studije. Zagreb, 1972, s. 204—205. — «. . .Пушкин в первое время не был переведен адекватно и из-за этих переводов, оставлявших оскомину, не был привлекателен для наших читателей. К кому бы другому, а то к Пушкину в большинстве наших переводов можно применить то тяжкое обвинение: traduttori-traditori. . . fiat versificatio, pereat poesia!»

[53] Ibid., p. 206.

[54] Летопис Матице српске, 1900, књ. 201, с. 3—20, 21—30. — Символично, что старейший литературный журнал Сербии «Летопис матице српске», который со дня своего основания проводил идею славянской взаимности, в начале первого номера за 1900 г. напечатал пушкинские «Бесы» в переводе крупнейшего сербского поэта Й. Й. Змая и сразу за этим переводом — «Бахчисарайский фонтан» и «Галуб» в пере-

Переводчику удалось полностью сохранить восточный колорит поэмы, роскошь образов и гармонию стиха. До сих пор этот перевод пользуется неизменной популярностью. То, что Белинский писал о «Бахчисарайском фонтане», можно сказать и о переводе: «Прекрасный благоухающий цветок».

В поэму «Цыганы»,[55] где блестяще передана пушкинская атмосфера, все же вкрались некоторые ошибки, нехарактерные в целом для предельно чуткого и внимательного переводчика. Например, строку Пушкина «. . . делить и хлеб, и кров» Дучич переводит: «Делићемо крв и хљебац».

Одно из высших достижений мастерства Дучича — перевод «Кавказского пленника» («Кавкаски сужањ»).[56] Поэт настолько впечатляюще передал атмосферу кавказских ущелий и темперамент кавказцев, будто магией родного языка скалы Кавказа перенес в Герцеговину. Поэт весь — полет, страсть, неукротимая жажда борьбы. Дучич оставил в переводе все слова нерусского происхождения, хотя каждому из них мог найти эквивалент в родном языке. Этими словами (кинжал, аул, шашка, аркан, сакля, кумыс, тул, колчан, курган, чихирь, байрам и др.) переводчик сохранил подлинный колорит оригинала и верность пушкинской поэтике. К некоторым из этих слов он присоединил те же эпитеты, которые встречаются как устойчивые словосочетания в сербском эпосе. Он ввел в эту поэму слова, типичные для героев сербского эпоса: гайдук, вила и др. Этим он не нарушил структуры оригинала: это способ довести до своего народа эпическую силу пушкинской строки. И в духе сербского эпоса переводчик изменил некоторые строки о Котляревском, назвав его «кавкаским љутим бичем». Строки:

Ты днесь покинул саблю мести,
Тебя не радует война;
Скучая миром, в язвах чести,
Вкушаешь праздный ты покой
И тишину домашних долов. . .

Дучич перевел так:

Твоја сабља кровожедна
Што сунчаним сјајем сјаје,
Објешена данас стоји
Немарна за љуте војне —
У домаћем мирном крају
Зам'јено си славе бојне.

Свойства Котляревского Дучич перенес на его «кровожадную саблю». Это напоминает негошевские слова из «Горного венца»: «Почину ни рђа на оружје» — это самое страшное, что может быть для воина.

водах молодого Дучича. Без переводов этих двух поэтов невозможно представить сербам творчество Пушкина в своей культуре. «Все, что касается славянских народов от Адриатического моря до Ледовитого, от Балтийского до Черного морей. . . — все это предмет сербской летописи», — такими словами открывался первый номер «Летописи» (1825). Эта линия достойно продолжилась переводами Дучича.

[55] «Цыганы» Дучич перевел в Париже. Поэма опубликована в журнале «Летопис Матице српске» (1902, књ. 212, св. II, с. 62—82).

[56] Летопис Матице српске, 1905, књ. 231, с. 68—95.

Форма у Дучича всегда строго отточена, рифмы свежие, чистые, но переводя строки:

Так пели девы. Сев на бреге,
Мечтает русский о побеге;
Но цепь невольника тяжка,
Быстра глубокая река. . .

Тако сладко пјевале су
Черкескиње, л'јепе моме,
Док Рус, сједећ на обали,
Сниваше о бјекству своме.
Ал' су тешки љути ланци,
Дубока је р'јека хитра. . .

Дучич здесь добавил «Черкескиње, лјепе моме», внес в стих слово «мома», лексику Б. Радичевича; слово «мома» у поздних романтиков резко и справедливо критиковал Й. Скерлич. Такой разнеженный лиризм снизил эпическую интонацию этих строк. Если Дучич в некоторых случаях удлинял или сжимал отдельные строфы, это никогда не обедняло оригинал. Переводчик, используя достижения всех поэтических средств сербской, хорватской и черногорской эпической поэзии, прежде всего — Негоша, дарил читателю всю прелесть оригинала:

И гасну я, как пламень дивный,
Забытый средь пустых долин!
Умру вдали брегов желанных;
Мне будет гробом эта степь;
Здесь на костях моих изгнанных
Заржавит тягостная цепь. . .

Далеко от отаџбине,
На туђинској степској равни
Угашену младост моју
Гроб патнички чека травни,
И гдје једном отпочину
Тешки боли, горки санци
На костима изгнаничким
Зарђаће моји ланци. . .

Дучич, чувствуя всю глубину южнославянского эпоса и зная эпический характер своих земляков, вместо слова «роб» употребил «сужањ», которое конкретнее и весомее в этом контексте. «Мирно чека» вместо «тьмы гробовой» рисует более достойное положение для воина.

Он раб. Склонясь главой на камень,
Он ждет, чтоб с сумрачной зарей
Погас печальной жизни пламень,
И жаждет сени гробовой.

Он је сужањ. Спустив главу
На студени туђи камен,
Он свршетак мирно чека
Да живота згасне пламен.

Дучич предпослал своему переводу стихотворный комментарий с целью спасти его от рук «слепой злости и незнания». Этот многозначный ком-

ментарий весь пронизан мыслью о читателе; в нем звучит упрек и к современникам, и к предшественникам:

. . . .
Смjесу см'jешног с узвишеним
Jа вам опет пружам сада.
Оваj листак истрго сам
Из архиве самог ада.

Jован Дучић

В воплощении поэмы Пушкина в сербском языке Дучич достигал новых высот, обогащая свою собственную поэтику. Он создал немало новых рифм в этих переводах, а рифма у Дучича никогда не была лишь орнаментом или звуковым звеном. Она чаще всего — новый эмоциональный и смысловой «отправной пункт». Всем переводам Дучича присуща точность, художественная верность оригиналу. Он бережно сохранил композиционные элементы, довел до сербского читателя идейно-эстетическую целостность пушкинских поэм. Дучич сберег дух оригинала, перенес пушкинскую атмосферу, пушкинскую задушевность и глубину. Переводы Дучичем Пушкина — почти идеальное соединение художественной индивидуальности переводчика и аутентичности оригинала в новой языковой системе; это проникновение Дучича в творческий художественный мир тех авторов, которых он не только страстно читал, но и отождествлял себя с ними в переводческом процессе, в поисках поэтических синонимов и полного художественного эквивалента для их персонажей и для произведений в целом. Он соперничал с ними в стихии своего родного языка, в своей метрике, чтобы дух и полноценную художественную силу перенести в культуру своего народа. Он верил, что эпический Пушкин должен стать достоянием тех южнославянских народов, для которых именно в эпической поэзии отражена вся их история, их судьба и все, что дает бессмертие нации. Его заветом было то, чтобы Пушкин заговорил эпическим языком Негоша и Караджича, И. Гундулича и И. Мажуранича.

Дучич перелил Пушкина в сербскохорватский язык с такой поэтической бережностью, точностью и глубиной, что сербскохорватский язык подчинился Пушкину и произведения русского поэта обрели свой полный художественный эквивалент (за исключением небольших фрагментов) только в переводах Дучича.

Любой перевод — бесконечное приближение к оригиналу, поэтому ни один перевод, строго говоря, не может быть вполне законченным и идеальным на все времена. Все переводы Дучича с русского языка вот уже 80 лет пользуются неизменной популярностью в зоне сербскохорватского языка. Переводы Дучича удачны не только потому, что он был большим поэтом и хорошо знал русский язык: Дучич умел проникать в самую суть эпохи, и в тайны творчества других поэтов. Слова, которые он сказал о переводах Д. Джокича с французского, могут быть отнесены и к самому Дучичу: «Очень часто случается, что человек знает оба языка, и оба — прекрасно. Но то, что относится не к филологии и чему нельзя научить, это: знать тайну отдельных слов, их душу, знать то, что ассоциируется с каббалистическим верованием, что под словом есть еще

нечто, что гораздо больше навевает, чем говорит, и дает ту красоту и пластику, которую содержала мысль автора до того, как сжалась в одно единственное слово».[57]

С 1899 по 1906 гг. Й. Дучич из Женевы и Парижа посылает Милану Савичу, редактору журнала «Летопис Матице српске», ряд писем. Эти письма освещают важные моменты в его творческой эволюции, раскрывают сложнейшие вопросы творческой психологии, затрагивают отношение Дучича к различным поэтам и к различным культурам, значение Пушкина для южных славян и обосновывают необходимость переводов «эпического Пушкина». Из этих писем следует, что в годы учения в Швейцарии и во Франции Дучич больше всего занимается изучением русской поэзии. Эти письма показывают, с каким священным чувством Дучич относился к русской культуре, с какой любовью и ответственностью, с какой тщательностью, вниманием и добросовестностью он работал над своими переводами.

В письме из Женевы от 2/14 августа 1899 г. (2, с. 358) [58] Дучич обратился к М. Савичу и выразил желание перевести для номера журнала «Летопис Матице српске», посвященного Пушкину, «Бахчисарайский фонтан» — «дивную восточную поэму Пушкина». Фраза Дучича «мог бы послать Вам и Галуба» говорит о том, что поэма «Тазит» уже была им переведена. Дучич предлагал Савичу перевести и «цикл самых прекрасных стихотворений Пушкина». Насколько Дучич к этому времени сросся с духом русской поэзии, видно и из того, что поэт предложил подборку своих стихов напечатать под таким названием: «Песме Јована Дучића» — «так, как русские свои стихи в альманахах озаглавливают: „стихотворения. . .“ [59] и т. д.». Тут же Дучич извещает, что цикл его стихов будет называться «Јадрански таласи» или «Јадрански сонети». Далее письмо рассказывает о зарождении этого широко известного его лирического цикла, который не был, как думают некоторые, результатом влияния европейской поэзии. По словам Дучича, эти его стихи «до малейших нюансов улавливают разноликие глубокие впечатления, которые оставил Ядран» в его душе.

В письме от 20 сентября / 2 октября 1899 г. (3, с. 359—360) мы видим Дучича над пушкинскими текстами: «В поте лица своего перевожу Пушкина. Очень хочу, чтобы вещь не выглядела выполненной „по заказу“. . . Три-четыре года тому назад я перевел одну пушкинскую вещь, которая вышла в „Зоре“; она переведена более свободно, немного сокращена и опущены некоторые места в диалогах. Это прекрасный стихотворный рассказ, поэтичный, страстный и высокоморальный. Для меня, кроме еще двух вещей, среди всех пушкинских поэм нет более прекрасной,

---

[57] *Дучић J.* 1) Душан Ђокић, преводилац. — Политика, 21 мај, 1908; 2) Сабрана дјела, IV, с. 295—296.

[58] Письма Й. Дучича М. Савичу цитируются (в нашем переводе) по публикации в журнале «Savremenik»: Pisma iz Ženeve i Pariza, 1963, N 4, с. 355—366, N 5, с. 478—488. Далее ссылки на это издание указываются в тексте. Савич Милан (1845—1936) — поэт, романист и литературный критик, в 1895—1910 гг. секретарь «Матице српске» и редактор «Летопис Матице српске».

[59] Это слово Дучич написал по-русски.

чем эта. Она называется „Анджело". Я хочу теперь эту вещь просмотреть, отредактировать, довести и снова опубликовать. Было бы большой потерей, если бы „Анджело", столь любимый и известный в России, остался доступным лишь узкому кругу читателей „Зори", где он печатался отрывками в нескольких номерах. . . Таким образом, вы получите от меня три отличных его поэмы: „Бахчисарайский фонтан" из восточной гаремной жизни (южнорусских татар), потом „Галуб" [60] из суровой горской кавказской жизни и „Анджело", который отличается стихом и дикцией, с его драматическими диалогами, — из средневековой романтической венецианской жизни. К этому я бы присоединил небольшое количество пушкинских лирических стихотворений. . .» В этом же письме, с осторожностью, с нотой грусти Дучич говорит, что переводческая деятельность Змая — на закате: «Змай с каждым днем все меньше переводит, и, конечно, с трудом решается продолжить работу над Пушкиным, над его трудным каскадным стихом». Дучич относился к Змаю с величайшим уважением и как к поэту, и как к переводчику. Стихи Змая — певучие, задушевные; эти свойства присущи и пушкинской поэзии. Но пушкинский стих в сравнении со стихом Змая вполне мог казаться Дучичу могучим водопадом: поэтика Пушкина гораздо сложнее, чем Змая. Здесь же Дучич констатирует, что Пушкин у сербов переводился мало и «с переменной удачей». Примечательно, что в этом письме впервые упоминаются «Бесы» — последний перевод Змая с русского, одно из высших достижений художественного перевода в Сербии.

В письме от 18 октября 1899 г. (4, с. 360—361) Дучич больше всего пишет про «Анджело». Здесь же поэт дает высочайшую оценку поэме «Граф Нулин». Возможно, что в дальнейшем Дучич изменил свое восторженное отношение к «Графу Нулину», потому что ничего неизвестно даже о попытках Дучича перевести эту поэму. В этом же письме Дучич предлагает перевести для ж. «Летопис Матице српске» «самые интересные сцены из „Бориса Годунова"»: «Ночь. Келья в Чудовом монастыре», «Корчма на литовской границе», «Царские палаты», «Мысли царя Бориса», «Дети Бориса. Завещание царя Бориса сыну». Этот творческий план остался неосуществленным.

В письме от 13 XI1 899 г. (5, с. 361) М. Савичу Дучич извиняется, что не успел послать ему перевод лирических стихотворений Пушкина: «Несомненно, меня обмануло мое сугубое желание по возможности полнее сохранить оригинал. . . Лирика Пушкина — не самая сильная его сторона. В этом, как вам известно, его далеко опередил его «последователь» (речь идет о Лермонтове, которого я вам представлю в «Летописи», — если вы согласитесь, — более удачно)». В этом письме Дучич говорит, что «над первой строкой „Бахчисарайского фонтана" намучился больше, чем над целой страницей». Встречаем тут и своеобразный укор Пушкину: «. . . но и Пушкин не является везде Пушкиным, как Гюго — везде Гюго. . . Я по вашему желанию посылаю вам эту строфу, немного более музыкально обработанную. Пушкин повторяет „Безмолвно раболепный двор Вкруг хана грозного теснился". Я этого в новом переводе не повторяю. Думаю, что и вы это повторение сочтете излишним. . .

---

[60] Имеется в виду поэма «Тазит».

Из чувства чести прилагаю оригинал». Как видим, для Дучича верность оригиналу была вопросом чести. «Значит, Анджело, кроме венецианского суда, будет судим еще раз в Новом Саде. . . Мне очень любопытно, кто написал биографию поэта в пушкинском номере „Летописи“ и что перевел Змай».

В письме от 17/29 ноября 1899 г. (6, є. 362) Дучич благодарит Савича за гонорар и рассказывает ему анекдот-притчу о Николае I и Пушкине. Из этого письма узнаем, что редакция отказалась опубликовать его переводы лирических стихотворений Пушкина. Здесь встречаем и самооценку некоторых переводов Дучича: «„Бахчисарайский фонтан“, думаю, переведен хорошо. Это признает знаток пушкинской души в поэзии. „Галуб“,— я разделяю ваше мнение, — не представляет ничего особенного. Бесспорно, Пушкин рассчитывал на большее: мотивы и типы выбраны удачно, но неожиданный переход и концовка — без всякого эффекта (что не присуще его поэмам) показывают, что поэт хотел сказать нечто большее. Перевел же я его потому, что я хочу перевести все его поэмы от первой до последней. Делаю это из особой любви к его эпосу и по внутренней необходимости, к тому же это не будет лишним в сербской литературе. У меня есть намерение написать позднее что-либо из истории старого Дубровника (поэму, для которой собираю материал), а также из ливонско-славянского прошлого. . . Пушкин, Лермонтов, как вам известно, дети Байрона, и я их „отца“ читаю сейчас во французском переводе. У французов прекрасные переводы Байрона, гораздо лучше немецких A. Strohmann etc. Рад был бы узнать, разделяете ли вы мнение, что наше сербское прошлое годится для исторического романа любого жанра и для поэмы — и тут более всего подходит Дубровник». Интересно, что именно в то время, когда Дучич переводил Пушкина, в нем зародилось желание воскресить в поэме древний Дубровник. Дучич написал книгу сонетов с богатым сюжетным и эпическим содержанием, которые, при всей своей жанровой специфике, в целом представляют особую поэму (эти сонеты Дучич назвал «Дубровачке поеме»).

В письме от 2 мая 1900 г. (13, с. 478) Дучич пишет Савичу из Женевы: «Я позволил Вам спокойно провести Пасху, но сегодня напускаю на Вас Черкесов и Казаков из пушкинских кавказских поэм. Знаю, что Вам было приятно получить мою рукопись, но, вероятно, Вы сказали: „Смотри, вот снова Пушкин!“ Я ранее в одном из писем сказал Вам, что хочу перевести всего эпического Пушкина. Считаю, что это необходимо. Все европейские литературы имеют его „Руслана и Людмилу“ или „Кавказского пленника“, кроме нас. Может быть, это и не хлеб насущный, но у нас часто брались и за гораздо менее важные дела. Не знаю, разделяете ли Вы мое мнение, но я считаю, что авторитет Матицы возрос бы, если бы при ее поддержке такой дивный и столь национальный поэт, как Пушкин, пришел к сербам! Я хотел послать Вам кое-что с французского из Мюссе или Ламартина, но оставил это на потом,[61] когда ко мне придет желание переводить. В этом плане я Вам сообщу позже одно свое маленькое пред-

---

[61] Мюссе и Ламартина Дудич отложил из-за Пукшина и никогда к этим переводам не возвратился.

ложение . . . Я хотел Вам вкратце сказать, что ощущаю потребность иметь Пушкина эпического (ибо это самый подлинный Пушкин). Вы знаете, что его называли поэтом Кавказа. Вы увидите, что Кавказ — главная тема и Пленника, если он есть у вас на русском. Прошу Вас постараться, чтобы он вошел в „Летопис“. Я вложил в него столько труда, что Вы почувствуете это, ибо и сами переводили. И еще прошу: скажите мне, согласны ли Вы на остальные переводы: „Руслана и Людмилы“, произведения, которое в какой-то мере прославило Пушкина, затем „Полтавы“ (начало которой перевел Змай в «Певании»), „Цыган“, „Братьев разбойников“, „Анджело“, „Дон Жуана“ («Каменный гость»). Ни одно из этих произведений не идет в сравнение с лермонтовским „Демоном„, но многие из них могут стать рядом с некоторыми байроновскими поэмами. . .»

В письме от 4 февраля 1901 г. (14, с. 480—481) из Парижа затронуты и собственные пушкинские переводы. Из этого письма виден процесс освоения Дучичем пушкинских образов, здесь же говорится о современной полемике по поводу переводов из русской поэзии: «Вот и я! Ну и повоюем! Посылаю вам сегодня три произведения Пушкина, которые только-только закончил на этих днях и которые с осени занимали меня в самые любимые свободные часы. „Цыгане“ и „Анджело“ переведены рифмованным стихом и тем же размером, что у Пушкина; „Каменный гость“, тем же размером и без рифмы, как и в оригинале. Убежден, что все три поэмы вам понравятся, поскольку в них Пушкин отходит от кавказской жизни, которая была во всех вещах, посланных мною ранее. Вам известно мнение о «Цыганах» Достоевского и Брандеса. „Анджело“ — тоже весьма симпатичная итальянская сцена; это та вещь, которую меценат и «цензор» Пушкина император Николай I настолько любил, что знал наизусть.

Мне очень нравится поэма Пушкина на известный сюжет о Дон-Жуане, который брали все великие писатели нашего века и который Пушкин — вы это увидите — обработал в „Каменном госте“ легко и филигранно.

„Цыган“ переводил и Ристо Одавич. Шиворот-навыворот, неверно, не понимая языка и безо всякого поэтического чутья. . . Тот, кто прочитает этот перевод, возненавидит всех цыган на свете и никогда больше не возьмет в руки Пушкина. Меня это так разозлило, что я попытался сам перевести эту вещь. Я возмущаюсь, видя, с какой дерзостью берутся у нас за стихотворные переводы; сознаю, что я — не Змай, но убежден, что вещь сделана мною с гораздо большим волевым усилием и уважением к Пушкину. Я надеюсь, что вам эти вещи весьма понравятся. Г-н С. Новакович писал мне по дороге из Парижа в Женеву, поощряя мое старание перенести Пушкина в нашу литературу, и похвалил мои переводы, что напечатаны в „Летописи“.

Мне по душе, что у нас если и не читают, то хоть начали ценить работу над хорошими переводами. Очень утешительно, что для „Задруги“ переводят наши лучшие писатели. Когда я вернусь через год, два или три на родину, надеюсь, мне удастся среди вернувшихся из-за границы молодых людей найти для „Матицы“ переводчиков лучших произведений мировой литературы, особенно драматических, которые можно поделить между „Задругой“ и „Забавником“, отдающим предпочтение иностранным романам.

Прошу Вас сообщить, можете ли вы до лета принять моего Пушкина (с тем, что я вам еще пришлю) как книгу для „Матицы“. Она окажется достаточно солидной, и с нею придет к нам эпический Пушкин. Хотелось бы узнать что-либо об издании этой книги. Я бы мог во время каникул написать серьезную и подробную работу о Пушкине для этой книги, хоть и не считаю это необходимостью, поскольку в основном у нас Пушкин известен. Все же я бы сделал послесловие, в котором будет то, что необходимо сказать о поэмах, включенных в книгу.

Предлагаю Вам „Цыган“ и „Каменного гостя“ для номера „Летописи“. Судя по шутливым стихам из прошлого номера, мне кажется, что у вас не имеется достаточно оригинальных стихов, достойных „Летописи“.

Еще добавлю. „Анджело“ здесь целиком. Некоторые отрывки я переводил прежде для „Зори“, но на́скоро и в большой мере „одавически“. Сейчас он очень точен и сделан с максимальным вниманием. Я Вам об этом и раньше писал. У Вас есть „Бахчисарайский фонтан“, „Галуб“, „Кавказский пленник“, „Анджело“, „Цыганы“ и „Каменный гость“. Пришлю Вам еще две вещи — и книга готова. Другая книга с его лирическими стихами могла бы выйти позже. Если это сбудется, она могла бы назваться „С русского Парнаса“. Я думал это сделать для „Задруги“ под тем же названием, но я бы предпочел работать для Вас. Вот написал о переводах, прошу Вас ответить». В конце письма Дучич с некоторым стеснением упоминает о своих материальных трудностях.

В письме от 14 июня 1905 г. (17, с. 482) из Женевы Дучич с горечью пишет Савичу о том, что длительное пребывание на чужбине, при всей обширности круга познания, является роковым для человека. Из этого письма узнаем, что некоторые переводы Пушкина слишком долго задержались в редакции «Летописи» и что сам Дучич не ожидал, что они выйдут в свет: «Молодой писатель В. Миличевич находится здесь и подарил мне „Летопись“. Я удивился, когда увидел Пушкина, и не поверил своим глазам. Жаль мне было, что еще раз его хорошенько не просмотрел, ибо за эти шесть лет, которые он находился там, мой вкус намного изменился и я бы внес некоторые исправления. Сейчас уже что сделано, то сделано. Утешает меня то, что и другим не на много больше повезло и что вообще нет более тяжелой работы, чем переводить стихи».

До сих пор остается не совсем ясным, отчего его планы (издать два тома лирики и поэм Пушкина в своем переводе) не осуществились. Конечно, не только из-за большой занятости учебой. По всей видимости, и молчание издателей, и задержки с выходом его переводов в «Летопис Матице српске» сыграли отрицательную роль. В следующих словах (письмо от 14 июня 1905 г.) можно увидеть одну из причин, по которой так и не была напечатана книга пушкинских поэм в переводе Дучича: «Сегодня посылаю тебе, мой Милан, несколько стихотворений. Мне бы хотелось, чтобы они так долго не томились пленниками, как томился Кавказский пленник Пушкина».

Остается тайной, сколько переводов Дучича навсегда осталось «в плену» у редакций — как лирических стихотворений, так и больших вещей (например, известно, что был полностью переведен «Каменный

гость», и даже в белградской прессе в 1901 г. сообщалось о его скором выходе).[62]

Дучич всегда был к себе чрезвычайно требователен и как поэт, и как переводчик: он неоднократно совершенствовал, переделывал свои стихи, а также и переводы («Анджело»). Его переводы Пушкина никогда не выходили отдельной книгой, но они многократно печатались и печатаются в изданиях Пушкина, в антологиях русской поэзии на сербскохорватском, в журналах и различных хрестоматиях. Остается невыясненным, почему Дучич не издавал отдельно поэта, которого очень любил, больше всех переводил, поэта, который сыграл важную роль в формировании его творчества. Многое изменилось в литературной судьбе Дучича, когда он начал дипломатическую службу, хотя он остался верен себе и своим литературным начинаниям независимо от того, насколько расширялся его кругозор и что воспринимал он из современной европейской литературной жизни. Вступив на дипломатическую службу, Дучич почти не занимался переводами, и его широкие планы переводов с русского, сообщенные в письмах к М. Савичу, остались неосуществленными. 18 II 1907 г. (21, с. 487—488) [63] Дучич пишет: «. . . Я тебе должен исправленный перевод пушкинского „Каменного гостя". Прошу тебя, пусть он еще у меня побудет. Те вещи, которые я переводил с русского восемь лет назад, не имеют сегодня ничего общего со мной, и я бы терпел страшные муки, если бы не исправлял то, что когда-то портил. Об этом мы еще поговорим. . .» Это первая и единственная резкая оценка своих переводов самим Дучичем. До последних дней поэт отбирал, шлифовал свои стихи независимо от времени их создания и первой публикации. По всей вероятности, таким было и его отношение к своим переводам. Но и такими, какие они есть, без следующих авторских правок, они глубоко вошли в культуру южных славян, и именно благодаря им все читатели, знакомившиеся с русской поэзией на сербскохорватском, узнали настоящего Пушкина-эпика; он с помощью Дучича прочно вошел в духовный мир нескольких поколений. Поэмы Пушкина неоднократно переводились многими видными поэтами. Но до сих пор никто не превзошел Дучича. И мы не можем всерьез согласиться с приведенной выше критической авторской самооценкой: она вызвана, вероятно, чрезмерной требовательностью к себе, особенно после 1908 г., когда Дучич не выпускал в свет ни одного произведения, если не считал его отточенным до совершенства.

* * *

Проблемы влияний, заимствований и реминисценций в творчестве того или иного поэта чрезвычайно многообразны. М. Цар, говоря о Дучиче, провозглашает процесс заимствования общим законом литератур-

[62] Журнал «Коло» (1901, св. 3, с. 194) сообщил, что Й. Дучич представил в «Матицу српску» свой перевод поэмы «Цыганы», а на с. 125 этого же журнала сообщается о том, что Дучич представил в Матицу и перевод «Каменного гостя».

[63] «Думаю, ты и слышал, и читал в белградских газетах, что я уже месяц в Белграде и что я уже служащий министерства иностранных дел. Сейчас, когда мы так близко, я буду иметь удовольствие видеть тебя чаще. Надеюсь, что меня не сразу пошлют за границу. Ты знаешь, что я давно сменил литературный факультет на факультет политических наук. Значит, моя жизнь с этих пор будет вечным кочевьем».

ного творчества: «Бессознательная самобытность, которой отличались древнейшие поэты, Гомеры и Гесиоды, — она стала лишь недосягаемым идеалом. В литературе и искусстве нет больше автогенеза (самозарождения), но все рождается из уже существовавших ростков и зародышей жизни».[64]

Каждому заимствованию, каждой реминисценции Дучич дал свой «тон», свою краску. Некоторые заимствованные мотивы звучат у него лучше, чем в самих образцах. Как большинство крупных поэтов, Дучич, талантливо перерабатывая чужое, делал его более действенным, более «крылатым».[65]

Различные влияния в поэзии Й. Дучича мозаично разбросаны, но объединены его могущественным талантом; зачастую они трудно уловимы и нелегко поддаются сравнительному изучению. Художественное перевоплощение заимствованных элементов у Дучича многогранно и многозначно. В поистине оригинальных произведениях Дучича самобытно претворены по законам художественного творчества импульсы и заимствования из поэзии других народов.

В духе нового времени воспринял Й. Дучич многое из культур разных народов, но ничто не поколебало его идеалы, его глубокую народность. Соприкосновения с другими культурами еще более приближали Дучича к родным, вечно животворным источникам.

Русские поэты повлияли на становление творческой личности Дучича. Французскую же поэзию он начал переводить, когда уже сформировался и как человек, и как художник.[66] В истоках его поэзии — вместе с великими эпическими традициями, вместе с Негошем, Змаем и В. Иличем, — и русские поэты. Особенно в первой книге Дучича (Пјесме, 1901) находим немало элементов из русской поэзии. И это через поэзию Дучича способствовало идейно-художественному обогащению сербской поэзии в целом.

Для сравнительного исследования первая книга Дучича является наиболее интересной. В ней, как в зародыше, запрограммировано все будущее развитие поэта. Неоднократно отмечалось влияние В. Илича на первые стихи Дучича. Но здесь ощутимы также и традиции сербской народной поэзии, далматинских поэтов и — во многом — П. П. Негоша. Заметно и немецкое влияние. В. Кошутич делает акцент на влиянии французской поэзии, но вполне очевидно, что в первой книге Дучича доминирует влияние именно русской поэзии, что до сих пор было полностью обойдено исследователями. В некоторых случаях, там, где у Дучича русское влияние, В. Кошутич видит влияние французское.[67] Он уделяет

---

[64] *Цар М.* Моје симпатије. Београд, 1904, II, с. 100.

[65] См.: *Кошутић В.* Парнасовци и симболисти у срба, с. 87.

[66] До 1900 г. Дучич не перевел ни одного французского произведения; а все, что он перевел впоследствии с французского, гораздо меньше и по объему, и по значению, чем его переводы с русского. Дучич блестяще знал многие европейские языки, но в 30-е гг. сам признавал, что французский осваивал медленно, в течение 10 лет (см.: *Милосављевић П.* Био сам Дучићев секретар. — Зора. Почасни број, 1968/69, с. 319).

[67] До книги В. Кошутича («Парнасовици и символисти у срба») почти все работы, затрагивавшие французское влияние на Дучича, были крайне обобщенными, поверхностными и неаргументированными. Единственным аргументом для большинства из тех, кто считал французское влияние существенным в творческом процессе Дучича, было то, что он учился и долго жил на Западе. Тезис о «поклонении» Дучича Западу

особое внимание восточным темам в сборнике Дучича, но от него ускользает, что этот Восток нечто совсем иное, чем страсть европейских романтиков к «восточной загадочности». Восток Дучич знал и у себя дома — не только через боснийские севдалинки, но и через трагические события в истории балканских народов, страдавших веками от восточных деспотий. Восточную тематику у Дучича нельзя отрывать и от поэзии его старших современников — Й. Й. Змая и Й. Илича (1823—1901), хотя последний со своей гибридной лексикой был ему чужд. В. Кошутич называет Ламартина, Гюго и Готье едва ли не единственными посредниками между Дучичем и Востоком. Но такой подход не может привести к полному раскрытию литературных взаимосвязей, сконцентрированных в первой книге сербского поэта.

Дучич создал два цикла стихотворений, посвященных вымышленной восточной красавице Леиле — «Пјесме Лејили» (1897) и «Из пошљедњих пјесама Лејили» (1899). Первый цикл состоит из 7, а второй — из 9 стихотворений. Очевидна связь этих циклов с севдалинками (народными лирическими песнями мусульман Боснии и Герцеговины), и с ориентализмом в южнославянской поэзии, и с поэзией Пушкина и Лермонтова. Язык этих циклов типичен для сербских романтиков Б. Радичевича, Дж. Якшича и для переводов Змая из восточной поэзии. Некоторые в этих стихах находят гейневский восточный колорит.[68] Эпиграф к циклу «Из пошљедњих пјесама Лејили» взят Дучичем из Ламартина.[69] Но что касается связи этого цикла с французской поэзией, то эта связь скорее искусственно натянута, чем доказана исследователями. Метрика этих циклов — не французский александринец,[70] как утверждает В. Кошутич, она близка лермонтовскому метру «Хаджи Абрека» и других его «восточных» стихов.

В цикле «Пјесме Лејили» Кошутич находит «без сомнения, Леконта де Лиля, чья красавица в королевском саду мечтает о возлюбленном» («Le sommeil de Leilah», «Les éléphants»).[71] Леила Дучича воплощает

полностью несостоятелен. Дучич поехал на Запад учиться, и где бы он ни жил, о чем бы ни писал — всюду он уделял первостепенное внимание исконному, национальному. Дучич жаждуще изучал и Запад, и Восток. Но он больше всего гордился историей и культурой своего народа и вложил немалые усилия и талант, чтобы прошлое южнославянских народов было отражено максимально полно и художественно, и исторически, на всех этапах до истоков. Его муза была глубоко жизненна и национальна даже тогда, когда вокруг нее «трепетал клочок таинственного тумана» («Моја поезија»).

[68] См.: *Томић-Ковач Л.* Зора, с. 53.

[69] Mais ta jeune et brillante image
que le regret vient embellir,
dans mon sein ne saurait vieillir:
comme l'âme, elle n'a point d'âge.

[70] Мнение, что версификационные формы Дучич воспринимал от французской поэзии, неубедительно. Александрийский стих Дучич усвоил гораздо раньше, чем познакомился с творчеством Жозе-Мария де Эредиа и других парнасцев. Имена парнасцев Дучич упоминает лишь в XX в.: их влиянию приписываются и малые поэтические формы у Дучича; но такие формы поэт находил у Тютчева, Фета и Надсона раньше, чем у Бодлера, Леконта де Лиля, Эредиа и Самена.

[71] См.: *Кошутић В.* Парнасовци и симболисти у срба, с. 13—14.

вос очную страсть, и поэт видит ее не в саду, а в оазисе пустыни.[72] Картина пустыни взята не из «Варварских поэм» Леконта де Лиля («Poèmes barbares»); розовые рассветы и тишина Дучича гораздо ближе пушкинским и лермонтовским рассветам; некоторые строфы Дучича ведут нас прямо к лермонтовскому «Хаджи Абреку».

Стихотворение II цикла «Пјесме Лејили»

Ја видјех сјенку кроз вртове твоје
У глухој ноћи гдје се теби краде,
. . . .
Не бјеше нигдје ни шума ни гласка
Нит мрачним небом звјезданога жара,
Само у тами, у рукама мојим
Блисташе вршак љутога ханџара.

и стихотворение VI:

У свом киоску док спаваше мирно,
. . . .
И када видјех ону страшну пр'јетњу
Дјевојци која Невјерника љуби,
Врхом од мача брисао сам слова
И њиме камен разорав'о груби.
. . . .

динамикой и тончайшими элементами стиха ближе всего к «Черной шали» Пушкина. Соприкосновение этого цикла со стихами Пушкина подтверждает и V стихотворение «У стаблу кедра, гле, те чудне р'јечи». Складывается впечатление, что это стихотворение создано после непосредственного прочтения пушкинского перевода «Из Ариостовых октав».

Особая концентрация экзотики в цикле «Из пошљедњих пјесама Лејили», но в нем отсутствует тропический пейзаж. П. Слиепчевич видит в этих стихах типично балканскую природу. «Поэт сумел этот цикл, цикл о Леиле украсить литературным именем из Леконта де Лиля. . .»[73] По нашему мнению, Дучич свои стихи не «украшал» именем из французской поэзии: цикл этот создан в те годы, когда Дучич больше всего переводил русских поэтов. Если уж это имя взято у кого-либо, то скорее у Пушкина или Лермонтова. В конце XIX в. Дучич не был тесно связан с французской поэзией. Кошутич находит, что настроение в этом цикле осеннее и элегическое. Но в первом стихотворении цикла «Из пошљедњих

---

[72] Много лет спустя в статье о А. Шантиче Дучич писал: «Мостар был похож на какой-то город, куда приходят караваны с Востока. Иностранцы находили в этом городе Восток и восточную идиллию, но он выглядел чарующим скорее снаружи, чем внутри. Никто из иностранцев не познал нерв этого народа, непревзойденного в силе и глубокой душевности». . . Здесь же Дучич, не называя себя, с легкой иронией вспомнил стихи о Леиле: «Говорят, что В. Гюго написал „Стихотворения с Востока“, зная Восток лишь с Монмартра по восходу солнца над Парижем. И тогда один добрый друг Шантича воспевал в своих детских видениях Нил и прекрасную Леилу, и это было его роковое предчувствие, что потом судьба действительно унесет его жить на несколько лет к Нилу, и он на месте познает чары и скуку тамошних Леил» (*Дучић Ј.* Сабрана дјела, IV, с. 143, 161—162).

[73] *Слијепчевић П.* Огледи. Београд, 1934, с. 19. — Здесь же Слиепчевич писал о Дучиче: «И когда он по-французски думал, по-сербски чувствовал».

пјесама Лејили» мы находим несколько измененные строки элегического Пушкина:

Лејило моја, како ми је пусто
то јесење вече усред нашег дола!

У Пушкина

От меня вечор Леила
Равнодушно уходила...

или

Я тень зову, я жду Леилы:
Ко мне, мой друг, сюда, сюда!

В IV стихотворении «У глухој ноћи при свјетлости зв'језда» цикла «Из пошљедњих пјесама Лејили» Кошутич находит строки, напоминающие стихи В. Гюго из «Booz endormi» «Cette faucille d'or dans le champ des étoiles».

Срп један златан, за оштрицу своју
објешен, док виси у етеру плавом.

Образ «серп месяца» появляется и в стихотворении «Лејило моја, како ми је пусто» и в стихотворении IV — «У глухој ноћи при свјетлости зв'језда». Учитывая, что во второй строфе первого стихотворения явные следы Пушкина, мы и «серп месяца» можем вывести из русской поэзии. Именно в том стихотворении, где Кошутич предполагает «бледное» влияние Гюго, типично герцеговинская природа с некоторыми чертами Кавказа (из лермонтовской поэзии). Это развивается и в стихотворении V «Ја бих те клео, проклињао с тугом», где появляется раненый Демон. А в стихотворении VII «Храбро и гордо ушао сам, драга» возникает не только возвышенный Казбек, но и «кавкаско борје» и «грузијско цвеће». Все это подтверждает прежде всего воздействие русских поэтов на оба цикла о Леиле. Правда, может идти речь и о случайном сходстве с французской поэзией.[74] Образ пустыни, так же как и многие черты героини этого цикла, навеяны поэзией Пушкина и Лермонтова.

В. Кошутич пишет, что Дучич позднее отрекся от стихотворений о Леиле из-за «очевидных слабостей выражений и заимствований».[75]

Стихотворение «Мелодија у Алхамбри» В. Кошутич связывает со стихами Мюссе об Испании «Contes d'Espagne et d'Italie» или со стихами В. Гюго «Les Orientales», чье стихотворение «Grénade» воспевает чары султанского дворца. Альгамбру воспевал и В. Илич, но это произошло под влиянием Пушкина и братьев Жемчужниковых. Эту же тему по-своему

---

[74] Право исследователя-компаративиста — сопоставить стихи Дучича с любым другим автором; но не следует зародыши идей и образов Дучича «подбрасывать» в те поэтические «гнезда», где они никогда не бывали.

[75] О некоторых слабостях выражений здесь может идти речь, так как они слишком насыщены романтическими образами. Все те, кто утверждал, что Дучич отрекся от многих своих стихотворений из-за заимствований, из-за неоригинальности, до конца не понял и Дучича-художника. Дучич с каждым днем становился все строже к своему творчеству и внес в собрание сочинений только то, что считал совершенным.

развивает и Дучич, идя от В. Илича и Пушкина. В этом стихотворении Дучич раскрыл балканскую среду, драму боснийских гаремов, с глубоким психологизмом и трагизмом.

В. Кошутич усматривал французское влияние, особенно Готье, на Дучича и в цикле «Венецианске вечери» (1899). Но не только поэзия Готье богата «лунностью» и гитарами. Забыто, как нам кажется, самое главное: непосредственное воздействие Ядрана гораздо сильнее, чем любое литературное влияние. Атмосфера Дубровника, Черногорского приморья и Требине, родного города Дучича, очень близка венецианской.

Тема Венеции — традиционная в литературе южных славян. Этот город воспели десятки средневековых далматинских поэтов; Н. Томазео Венеции посвятил лучшие свои произведения; и старший современник Дучича Л. Костич (1841—1910) воссоздал самый дух Венеции в гениальном стихотворении «Santa Maria della Salute»; и В. Илич посвятил ей немало строк, в основном под влиянием венецианской темы в русской поэзии. В. Кошутич считает, что в цикле Дучича «Венецианске вечери» оказалось впечатление от «Mignon» Гете. Он находит, что второе стихотворение цикла создано под воздействием «Venise» из сборника «Contes d'Espagne et d'Italie» Мюссе. Но эти стихи Мюссе и Дучича мало чем схожи между собой (исключая размер), однако размер этот не нов ни для Дучича, ни для сербской поэзии вообще.

По нашему мнению, единственное заметное прямое влияние — «Венецианская ночь» И. Козлова и стихи Пушкина. Строки Дучича

И мир глухо пао
На таласе свуд —
Да л'ħе ико видјет
Када минем туд?
. . . .
А од гондолјера
Ни гласа ни јава.

напоминают пушкинские строки

Близ мест, где царствует Венеция златая,
Один ночной гребец, гондолой управляя,
При свете Веспера по взморию плывет.

Стихотворение III

Пјевај! Нек се хори
Пјесма пуна жара,
И нека зазвоне
Звуци са гитара

Поврх мрких вала
Док гондола плови
Док блистају зв'језде
Док трепере снови!

или V стихотворение (Г-ђи S.)

Ја вас волим, о сињора,
Милујем вас силним жаром,
Успављујем пољупцима
А будим вас са гитаром

И торњева деведесет
Кад покрије ноћ и тама
Ја ружични фењер палим
У гондолу сједам с вама.

сопоставим с пушкинскими строками:

Старый Дож плывет в гондоле
С догоресой молодой

или с XLIX строфой из I главы «Евгения Онегина»:

Адриатические волны,
О, Брента! Нет, увижу вас
И вдохновенья снова полный
Услышу ваш волшебный глас!
Он свят для внуков Аполлона;
По гордой лире Альбиона
Он мне знаком, он мне родной.
Ночей Италии златой
Я негой наслажусь на воле
С венецианкою младой,
То говорливой, то немой,
Плывя в таинственной гондоле, —
С ней обретут уста мои
Язык Петрарки и любви.

Строки Дучича близки строфе XLVIII из I главы «Евгения Онегина». В четвертой песне «Путешествия Чайльд-Гарольда» описывается Венеция, но у Дучича в приведенных строках больше ощущается пушкинское, чем байроновское воздействие.

Переводя Пушкина в Женеве, Дучич создал цикл «Јадрански сонети». Вначале он хотел назвать его «Јадрански таласи» («Адриатические волны»). Не будем утверждать, что пушкинское обращение «Адриатические волны» стало названием цикла Дучича; но бесспорно, Дучича не могло не интересовать, в каком контексте оно звучит. Возможно, эта строка «ввела» Дучича в атмосферу Венеции.

В цикле «Јесење елегије» (1897), посвященном В. Иличу, гармонично слиты влияния В. Илича, Пушкина и Лермонтова. В этом цикле, как и во многих других стихотворениях, пушкинское начало, импульсы из русской поэзии привели Дудича к таким поэтическим озарениям и взрывам, что они спрессовались в концовки с чисто дучичевским философским и художественным обобщениями.

Начальная строка из широко известного стихотворения Дучича «Виторог се месец заплео у грању. . .» (из цикла «Јадрански сонети») подсказана или во всяком случае соотносится с пушкинскими строками:

И вот уже сокрылся день,
Восходит месяц златорогий. . .

Аналогичного или похожего образа в сербской поэзии до Дучича не существовало.

Первые строки этого сонета (V) из первого сборника Дучича перекликаются и с Тютчевым:

Сквозь яблони, цветками убеленной,
Как сладко светит месяц золотой. . .

Учитывая, что в этом сонете есть и реминисценции из Фета:

Ћарлија чемпрес и мирише трава,
Ноћ тешком купом злато сипа на њу...

у Фета

Да сыплет ночь своей бездонной урной
К нам мириады звезд.

надо отнести это стихотворение к числу тех, которые говорят о неразрывности Дучича с русской поэтической традицией.

Как мастер, Дучич — творец самой совершенной поэзии сербов. Независимо от темы он находил такие простые и единственные слова, такую символику и музыку, как никто до него. В его стихах много пушкинской непосредственности и простоты.

Дучич упорно искал новые ритмы и «ту способност, којој не зна име», чтобы без страха пройти далекий путь — «пут од једног бола до његове риме». И мало кто еще из поэтов Сербии ощущал, что в душе остается столько горя, «за које немамо ни суза ни речи». В поисках этих новых ритмов естественны контакты Дучича с русской поэзией и прежде всего с поэзией Пушкина.

Дучич считал, что метафоры и идеи подвластны разрушительному воздействию времени. Он выделял в художественном произведении «душевный фактор». «В литературе это — тот элемент, который остается навсегда исключительным достоянием каждого автора, единственным, что не поддается копированию или присвоению».[76] Дучич всем существом тонкого лирика ощутил, что Пушкин сказал о человеческой судьбе такое личное, душевное слово, которое не может быть сказано дважды. То, что всегда пленяет в стихах и Пушкина и Дучича, — это их интимный тон, самобытный и неповторимый.

Источник «скульптурных» элементов в поэзии Дучича некоторые исследователи находят во французской поэзии. В. Кошутич, например, упоминает несколько возможных источников для образа «страстной» Венеры в стихотворении Дучича «Чежња». Это — Т. Готье, прославляющий наготу в «Marbre de Paros» и оживотворенную страсть «Sultan Mahmoud». Это — стихи А. де Ренье «Premiers poèmes» — со скульптурами Венеры, нимф и сатиров. Стихи Самена «Клеопатра» (из сборника «Au jardin de l'infante»). Это — «Venus de Milo» Леконта де Лиля. Однако в этом стихотворении Венера не «du bonheur impassible le symbole adorable» (красота без человеческого чувства).[77] Мрамор Дучича дрожит от необузданной любовной жажды. И «мраморный холод» стихов Эредиа никогда не вызывал восхищения Дучича. В стихотворении «Чежња» мраморная Венера спускается с пьедестала.

Небеса су празна; немо вече слази,
Негде у алеји задњи зрачак блиста,
Венус архаичка сама је на стази,
Гола, и сва стидна, без смоквова листа.

---

[76] *Дучић Ј.* Сабрана дјела, III, с. 274.
[77] См.: *Кошутић В.* Парнасовци и симболисти у срба, с. 22—23.

Исследователи и не вспомнили, что Дучич очень много работал над переводом пушкинского «Каменного гостя». Иногда они забывали, что Дучич является представителем направления поэзии, начатого в Сербии В. Иличем. «Каменный гость» Пушкина и «Мраморни убица» В. Илича имеют одинаковую концовку — каменные статуи спускаются с пьедестала и убивают героев. Человек и статуя — эту тему со сложнейшей психологической разработкой находим в стихотворении Пушкина «В начале жизни школу помню я», а у В. Илича такой мотив встречается в стихотворении «Тибуло». Возможны аналогичные французские источники этих мотивов. Подобное описание античных статуй находим у Леконта де Лиля («Venus de Milo», «Niobe») и у В. Илича («Данаjа», «Ниоба»). В одноименных стихах Леконта де Лиля («Niobe») и В. Илича некоторые фрагменты почти идентичны. Оба поэта видят в изображаемых статуях человека-творца.[78] По нашему мнению, «скульптурные» мотивы у Дудича — это не следствие чтения Жозе Мариа де Эредиа и других поэтов-парнасцев. Вдохновителями этой темы у Дучича были прежде всего древние скульптуры в Черногорском приморье (где в Боке Которской Дучич воспел мраморный взгляд и студеное око львов), в Дубровнике и других далматинских городах:

Лав камени jедан из млетачких дана
Озбиљан и мрачан jош на тргу седи,
На обали мора. Слуша шум Jадрана
. . . .
Стар и малаксао, и са гривом седом
Он jе тешке шапе зарио дубоко,
Докле мирно држи у обзору бледом
Своj мраморни поглед и студено око
. . . .
Док он мирно гледа на море, и чека
Да галиjе старе види издалека,
Што одоше некад пре много векова.

(Краj мора)

. . . Само млаз фонтана
Прска. Док из модрог лавровог грма
Вири блудно лице мраморнога пана.

(Дубровачко вино)

Месечина падне на старински мрамор
Широких тераца, и по чемпресима. . .

(Месечина)

Пењи се тихо, зимзелене,
Уз плочу бледог мрамора.

(Натпис)

Бледи мрамор захте твоjу чудну црту.

(Песме жени)

Развиjе jутро као пламење,
Хиљаду белих крила по мору,
А светлом земљом проспе знамење,
И речи свуд по белом мрамору. . .

(Таjна)

[78] См.: *Павић М.* Воjислав Илић и европско песништво, с. 334.

Генезис некоторых строк из стихотворений «Чежња» и «Поноћ» Дучича находится в прямой связи с «Каменным гостем» и «В начале жизни школу помню я. . .» Пушкина:

Тако ноћ пролази тихо, једнолико,
Мјесечина св'јетли, ноћни вјетрић веје;
Спи небо и земља — и не знаде нико
За ту страшну љубав сред мртве алеје.

(Чежња)

У соби музеја глухо ноћно доба.
Пред гранитним Марсом ту страсна и гола
Игра бахантkиња. Ту лије Ниоба
Мраморне и хладне сузе вечног бола.

(Поноћ)

В пушкинских «кумирах сада» Дучич открыл тайну, доступную только поэзии,— ту тайну, которая вела руку скульптора к воплощению его мечты. Жаль, что сербский читатель не увидел перевода «Каменного гостя», сделанного Дучичем, — «богатейшего, роскошного алмаза» в поэтическом венке Пушкина. Нам неизвестно, сохранился ли этот перевод в архиве Дучича. Возможно, что он был бы «алмазом» и в венке его переводов. Может быть, тот поэтический огонь, который Дучич вложил в неопубликованный перевод, перелился в его стихи заметным пушкинским мотивом и образностью.

В стихах Дучича есть и пластика скульптора, и цветовое богатство живописи, и полифония музыки. Он заставил слова заиграть теми звуками, которые до него, у других поэтов, не были слышны. В стихе Дучича многие слова словно избавились от оледенения и приобрели новое звучание. В его стихах по-новому ожила «Идеја у неми камен изваjана». Он в мраморе разбудил ту музыку, которая, возможно, снилась творцу самой скульптуры — «ту мягкую музыку любви, которая молчит» («Ћутање»).

Дучич не искал гармонию у парнасцев — она была заложена в самом его таланте. Парнасский принцип «transposition de arts» в поэзию был присущ Дучичу (как и В. Иличу) еще до его знакомства с парнасцами. Подобно скульптору, поэт из иссохшей Герцеговины, из каменного заточения, освободил в совершенстве отточенные, окрыленные строфы.

Пластичность (скульптура), перенесенная Дучичем в свое творчество, в южнославянской поэзии зазвучала по-новому.

Особый культ слова и формы у Дучича — это тоже продолжение традиций Герцеговины. Дучич обоготворяет слово: «Все исчезает, остаются только значительные слова. . . То, что античный греческий гений дал в скульптуре и архитектуре, — все это только пластика его блестящего слова, которое стало высшим выражением».[79]

Всякое влияние в поэзии Дучича отступает на задний план перед живым ощущением национальной тематики и духа. При всей новизне его творчества историческая преемственность прослеживается во всех его основных произведениях. Тончайший лиризм в самых простых стихотворных формах не перенесен Дучичем из французской поэзии: он рожден именно на родине знаменитых южнославянских рапсодов — в Герцего-

[79] *Дучић Ј.* Сабрана дјела, II, с. 31.

вине, где и учился поэтическому мастерству Дучич. Никто из крупных символистов Франции существенно не повлиял на него. Он не принял их свободной метрики, не принял и их философии.[80] Ювелирная отточенность и динамизм стиха Дучича не создавались по парнасскому образцу: они настолько сербские по вдохновению и духу, а часто и по теме, что искать в них Эредиа было бы натяжкой. Полнота и звучность стиха присущи не только парнасцам, но и художникам разных эпох и направлений. Новое в поэзии Дучича обусловлено исторической закономерностью развития всей национальной сербской литературы. Новизна стиля Дучича естественно возникала не только из той поэтической ткани, из которой были сотканы лучшие произведения выдающихся южнославянских поэтов, но из его самобытной натуры, впитавшей в себя также самое ценное из мировой культуры. «Новое в стихотворении почти всегда зависит от того, насколько нов человек. . . стиль — не инструмент кузнеца, это его душа».[81]

Соприкосновения с французской культурой существенно не изменили творческую судьбу Й. Дучича. Крайне преувеличена связь Дучича с европейским модернизмом в целом, с Парнасом и символизмом. Необходимо вспомнить, как сам Дучич оценивал эти течения, как объяснял, что их породило. Он считал, что франко-немецкая война (1870) идейно ничего не изменила в этих странах. «Во Франции эта война в духовном смысле разобщила школу парнасцев, но ничего действительно нового не создала; в Германии же она породила ницшеанскую и милитаристскуюироманию; но не духовные ценности и новые творческие импульсы; символизм, который появился немного позднее, не стал новым духовным направлением, а только новой манерой. . . Когда французский символизм попытался в конце XIX в. стать новым чувством, он был скоро исчерпан. Ни один серьезный поэт не хотел ограничиться только символистскими эффектами. Символизм во многом ошибочен: его психология ненормальна, его идеи и ассоциации слишком причудливы; его сенсации болезненны, его отрицания непосредственных ощущений совершенно ложны; его предпочтение туманных намеков всем ясным логичным выражениям ложно, и, наконец, его музыка ветра и воды (музыка превыше всего!) является только бесцельной переоценкой вторичного и случайного. Поэтому это движение прошло без подъема, как и все, что имело несчастье однажды назваться модернизмом. . .»[82]

---

[80] В. Кошутич приходит к выводу, что мастерство А. Самена и А. де Ренье более всего отразилось на совершенстве стиха Дучича. К сожалению, и этот тезис не вполне аргументирован. Дучич в родной поэзии находил мастеров более изощренных, чем во французской. В статье, посвященной В. Видричу, Дучич называет его одним из самых прекрасных «ювелиров поэзии», каких он только знает. «Мастер, который творит великие чудеса в малых вещах, — всегда редчайший художник, работающий по золоту и эмали: он был ювелиром, подобным Бенвенуто Челлини. . . Даже А. Самен, обладавший нежнейшей и наивнейшей душой изо всех поэтов, не дал в своей очаровательной книге „Aux flancs du vase" («На стенках вазы») более полного духовного отражения древнейшего мифа. Даже А. де Ренье не смог бы написать стихи столь чарующей прелести» (*Дучић J.* Сабрана дjела, IV, с. 326, 328). Эти слова подтверждают, что Дучич прежде всего искал и находил для себя поэтические образцы в родной поэзии. Но мастерство самого Дучича выше, чем у В. Видрича.

[81] *Cadou R. G.* Poésie, la vie entière. Paris, 1978, p. 387, 392.

[82] *Дучић J.* Сабрана дjела, III, с. 266—267.

Эпос южнославянских народов, поэзия П. П. Негоша и — в еще большей степени — В. Илича, русская поэзия — прежде всего Пушкин и Лермонтов — вот те факторы, которые сыграли решающую роль в творческой судьбе Дучича.

* * *

Лермонтов сыграл огромную роль в творческой эволюции Дучича. Этот «демонический» юноша рано вошел в душу Дучича и никогда ее не покидал. Без лермонтовских элементов и идущих от его поэзии импульсов по другому выглядела бы не только первая книга Дучича, но и большая часть его поэтического мира. Глубокие философские темы пришли к Дучичу и от Негоша, и от В. Илича, и от Гете, и от Байрона, но в основном — от Лермонтова.

Первыми поэтами, переведенными Дудичем, были Гейне и Лермонтов. Дучич перевел всего шесть стихотворений Лермонтова. В журнале «Зора» [83] (1896, № 8) Дучич публикует цикл переводов из русской лирики. В нем стихотворения Лермонтова: «Узник», «Не смейся над моей пророческой тоской», «Нет, не тебя так пылко я люблю» и «Кинжал»; в сараевском журнале «Нада» [84] Дучич опубликовал еще два перевода Лермонтова (под псевдонимом Ранко). Поэт-переводчик, перенося какой-либо образ в литературу своего народа, невольно придает ему особенности и своего таланта, и своей национальной культуры. Как перевоплотился лермонтовский поэтический мир, покинув языковый слой подлинника? Специфика творческого перевода, независимо от его совершенства, неминуемо ведет к изменению и перестановке разных компонентов произведений. В этих переводах Лермонтова Дучич сохранил максимальную ритмическую и словесно-образную точность, мелодически-интонационную выразительность.

До Дучича Лермонтова переводило более 20 сербских поэтов, но подлинного Лермонтова раскрыли сербам лишь Змай, В. Илич и Дучич. Контакт сербской литературы с Лермонтовым, особенно после перевода Змаем «Демона» в 1863 г. стал живым и глубоко творческим. Лермонтов влиял на Й. Змая, Дж. Якшича, В. Илича, Д. Илича, М. Митровича и др., но самое многообразное и таинственное влияние Лермонтов оказал на Дучича: здесь произошла особая ассимиляция лермонтовских мотивов и образов, идеи русского поэта вошли в автохтонную национальную ткань сербской поэзии.

---

[83] Отметим, что «Зора» из русских поэтов чаще всего публиковала Лермонтова. Его поэму «Мцыри» в переводе О. Глушчевича журнал напечатал в 1898 г. (№ 4—5). Глушчевич был автором и короткой интересной статьи о Лермонтове. Кроме Дучича и Глушчевича, Лермонтова переводили и М. Митрович и Д. Илич. Оба сербских поэта испытали сильное влияние поэзии Лермонтова. Д. Илич — родной брат поэта В. Илича, на которого мощно влияла русская поэзия XIX в.; братья Иличи были самыми страстными пропагандистами русской культуры. (См.: *Павић М*. Војислав Илић и европско песништво. Нови Сад, 1971, с. 217—274; *Павич М*. Русская литература в семье Иличей. — В кн.: Русско-югославские литературные связи. М., 1975, с. 156—163; *Станишич Й*. Војислав Илич и русская поэзия XIX в. — В кн.: Восприятие русской культуры на Западе. Л., 1975, с. 190—224.

[84] См.: Нада, 1898, IV, 18, с. 282; IV, 20, с. 315.

Оценивая перевод «Боярина Орши» Р. Драговича,[85] Дучич глубже, чем кто-либо до него из сербов раскрыл суть поэзии Лермонтова и ее значение для мировой литературы. Он проник в тайну лермонтовской поэзии, ощутил ее драматический внутренний ритм; ему удалось указать на существенную причину многих неудач в переводах с русского на сербохорватский: «Музыкальность русского стиха настолько неповторима и определенна, что наше ухо с большим трудом приспосабливается к ней, гораздо труднее, чем к музыке немецкой и французской стихотворной речи, которая гораздо ближе нашей эвфонии. . . Ритм русской поэзии зачастую обманывает слух наших переводчиков, и в результате перевод оказывается чужим и далеким русскому оригиналу». В этой же статье Дучич — первый поэт и критик, глубоко проникший в суть перевода Змаем «Демона» (1863), в нескольких фразах оценил и достоинства, и недостатки этого самого значительного перевода у сербов в XIX в. «Стиховое мелодическое движение этого перевода нежно, как текущий в траве ручеек; оно не похоже на журчащий, струящийся и пенящийся в валунах поток, который напоминает почти вся поэзия Лермонтова и в особенности „Демон". . . В сербском переводе сохранена прелесть формы, но не звуковая окрашенность. Можно сказать: русский оригинал исполнен большим и звучным мужественным баритоном, а сербский перевод так мил и сладостен, словно напет нежнейшим тенором».[86] Статья Дучича активизировала интерес к Лермонтову не только читателей, но и поэтов-переводчиков.

В переписке с М. Савичем Лермонтову уделено меньше внимания, чем Пушкину, но и в этих письмах Дучич ставит Лермонтова-лирика наравне с Байроном. Существенно и то, что эпиграфом первой книги стихов Дучича, посвященной поэту А. Шантичу и публицисту А. Шоле, взяты строки из лермонтовского «Посвящения». Дучич сумел несколькими словами раскрыть не только связь сербских поэтов с русской поэзией, но и художественный уровень их произведений: «Баллады М. Митровича „Ванда" и „Фантазия" — это Пушкин, где много воды в вине. Баллада „Пустыняк" — это Лермонтов, который пародирует своего „Мцыри"».[87] Все это говорит о том, что Лермонтов принадлежит к тем крупнейшим авторам, которые помогли Дучичу уже в ранней юности найти свой поэтический мир.

Если В. Илич в свое время называл себя «смиренным учеником» Пушкина и Жуковского, то Й. Дучич мог бы себя назвать учеником в первую очередь В. Илича и Лермонтова.

Поэтическая позиция Дучича самостоятельна, но образ лермонтовского паруса словно проплывает через всю его первую книгу.[88]

---

[85] Властелин Орша. Спјев М. Љермонтова, препјевао Ж. Драговић. Цетиње, 1898. — Дучич писал о переводе Драговича: «Плащ властелина, в который облачил его великий гений Лермонтова, снят с него. Властелин Орша — лишь голый безжизненный скелет Боярина Орши» (*Дучић Ј.* Сабрана дјела, IV, с. 196).

[86] *Дучић Ј.* Сабрана дјела, IV, с. 194.

[87] Там же, с. 26, 441.

[88] Из всех поэтов мира самое глубокое и многогранное воздействие на Дучича оказал Лермонтов. Эту тему мы рассматриваем в отдельной работе, см.: *Станишич Й.* Лермонтов в Югославии. (Воздействие Лермонтовской поэзии на Й. Дучича).— Русская литература, 1983, 3, с. 184—204.

* * *

В книгах Й. Дучича неоднократно упоминался и И. С. Тургенев. Дучич написал блестящую рецензию на книгу, посвященную Тургеневу и его связям с французской культурой.[89] Воздействие Тургенева на писателей южных славян, в том числе и на Дучича, было огромным. В путевых очерках Дучича наряду с влиянием «Путешествия по Гарцу» Гейне сказалось и воздействие тургеневских «Записок охотника».

Жанр стихотворений в прозе имел довольно богатую традицию в литературе сербов и хорватов. В 1844 г. появился сборник «Искорки» Н. Томазео (1802—1874). Этот жанр в Хорватии достиг вершины в творчестве В. Назора (1876—1949) и Т. Уевича (1891—1955), а в Сербии — Й. Дучича.

В 90-е гг. XIX в. во многих журналах Сербии появляются прозаические миниатюры «Прозоида» Й. Й. Змая, которые по жанру представляют собой стихотворения в прозе, вдохновленные аналогичными произведениями И. С. Тургенева.

В 1908 г. журнал «Српски књижевни гласник» публикует впервые «Плаве легенде» («Голубые легенды») Дучича. «Плаве легенде» освежили сербскую литературу, тем более что волшебник рифмы и аллитерации достиг высочайшего художественного уровня и в этом жанре. Две из этих миниатюр — «Солнце» и «Маленькая принцесса» — Б. Попович (1864—1938) внес в знаменитую антологию сербской поэзии. Примечательно, что в этой антологии богаче всех был представлен Дучич (33 стихотворения), на втором месте был Й. Й. Змай. Это единственные стихотворения в прозе, включенные Поповичем в антологию, несмотря на то, что подобные стихи создавали и другие видные сербские поэты. Жанр этот особенно расцвел в Сербии после перевода «Senilia» И. С. Тургенева на сербскохорватский язык, который сделал Й. Максимович. Этот перевод был опубликован в Мостаре и несомненно оказал свое влияние на круг авторов журнала «Зора», прежде всего — на Й. Дучича («Сунце», «Семе», «Вечерње» и др.). В его стихотворном послании другу А. Шоле, а также в стихотворениях «Падање лишћа» и «Залазак сунца» заметен тургеневский колорит. В стихотворении «Дубровачка јесен» хотя имеется эпиграф из Бетховена «In questa tomba oskura», в четырех из пяти строф звучит тургеневский рефрен: «. . . у млетачкој вази, умире један букет жутих ружа»; «Жуте руже умиру лагано у старој вази»; «Жуте руже умиру заборављене и пуштају лагано своју мирисну душу. . .»; «Жуте руже умиру очајно у соби, у коју се неће више вратити једна жена. . .» И в стихотворении «Мала принцеза» более ощутим Тургенев, чем Самен. «Мала принцеза, чије су косе имале боју месечеве светлости, чији је поглед био модар, и чији је глас имао мирис жутих ружа, . . . Она је. . ., поред огромних ваза у којима су мирно умирала њезине кризантеме, плакала крадомице у дуге мутне вечери». И в некоторых других стихотворениях Дучича, в зависимости от его душевного состояния, возникает образ роз:

[89] *Helperne-Kaminsky E.* Ivan Tourgueneff d'après sa correspondance avec des amis français. Paris, 1901 (см.: СрЂ, 1902, I, 14, с. 654—655; *Дучић J.* Сабрана дjела, IV, с. 247—250).

Кад сам је позн'о небо беше мутно,
Задње су руже умирале ти'о.
. . . .
Мраморни пољуб, а коса јој плава
Одисала је сетан мирис један
Бокора ружа који доцветава. . .

(Познанство, 1902)

Крај нас беху мртве руже и врбине. . .

(Падање лишћа, 1902)

Часовник невидљив негде изби мирно:
Тад потоње руже лагано помреше
. . . .
Док понова куцну: тихо у том часу
Једно гнездо паде високо са гране.

(Сат, 1903)

Хоћу моја љубав, кад све једном падне,
Да у теби умре, као у дан сиви
Што мре грмен ружа. . .

(Крај, 1905)

В. Кошутич находит здесь «умирание роз» Самена.[90]

Les roses meurent chaque et toutes

(Heures d'été, VI)

По-своему видели розы Тургенев, Самен и Дучич. Но приведенные стихотворения Дучича в целом гораздо ближе к тихому тургеневскому увяданию, чем к атмосфере «агонии роз» у Самена.

Une rose blessée et penchante agonise

(Musique confidentielle)

Стихотворение «Новембар» — не отзвук верленовских «дождливых настроений» («La lune blanche» и «Il pleuve dans mon coeur») и элегичности Самена («Elégie», «Au jardin de l'infante»): оно гораздо ближе по настроению Тургеневу и содержит парафразу лермонтовской строки из «Выхожу один я на дорогу»: «Уж не жду от жизни ничего я, / И не жаль мне прошлого ничуть. . .» у Дучича: «А нит што жалим, нити желим друго:. . .»

В одном произведении Дучича нередко скрещивались влияния нескольких поэтов, но художественное «сращение» всех чужих элементов осталось без «рубцов», появлялись стихотворения в одной и той же интонации, в одном стилевом потоке.

У нас нет возможности перечислить все творческие контакты и родство поэзии Дучича с творчеством Тютчева, Фета и Надсона, а также заметное сходство некоторых стихов Дучича с поэзией Блока. Рамки статьи не позволяют подробно рассмотреть контакты Дучича с современ-

[90] См.: *Кошутић В.* Парнасовци и симболисти у срба, с. 34.

ными ему русскими поэтами и влияние его поэзии на них, хотя этого и требует тема данной работы. В этом плане наиболее интересным оказывается творчество И. Северянина.[91]

* * *

С равной серьезностью Дучич относился к разным жанрам своего творчества. Его очерки, путевые заметки мало исследованы. У Дучича это особый вид литературы, где соединены и философские раздумья, и исторические факты, размышления о далеком прошлом, о культурах разных народов, о ломках и переменах в разные эпохи, — и все это освещено впечатлениями и живыми фактами тех лет, когда делались эти записи; все объединено единым стилем, особой задушевной атмосферой, высокой

---

[91] Целая книга стихов Северянина «Адриатика» (Нарва, 1932) посвящена Югославии. Именно те места, которые воспел Дучич, вызвали поэтический восторг Северянина. В отточенных сонетах Северянина на мотивы Дубровника особенно чувствуется воздействие «Царских сонетов» Дучича. Три сонета Дучича («Дубровачко вино», «Дубровачки мадригал», «Дубровачки арцибискуп»), которые вольно перевел Северянин, — единственные переводные стихи, вошедшие в книгу «Адриатика». Стихами о Ядране, Ловчене, Дубровнике и Герцеговине Северянин породнился с Дучичем, хотя они поэты очень далекие и по концепции, и по поэтике. В 1933 г. Северянин создает свой поэтический образ Дучича в сонете «Дучич».

«Любовь к тебе была б тебе тюрьмой:
Лишь в безграничном женщины — граница».
Как тут любить? И вот Дубровник снится,
Возникший за вспененною кормой.

Ах, этой жизни скучен ход прямой,
И так желанна сердцу небылица:
Пусть зазвучит оркестр, века немой,
Минувшим пусть заполнится страница.

«Земная дева ближе к небесам,
Чем к сердцу человеческому», — сам
Он говорит, и в истине той — рана.
Как тут любить! А если нет любви,
Сверкни, мечта, и в строфах оживи
Всю царственность республики Ядрана.

(Замок Храстовец, Словения. 5 IX 1933)

Из строк Дучича

Љубав би ти моја била заточење,
У твом безграничном, граница и мета;
Таква, вечна жено, кроз живот и мрење
У слави инстинкта ти си само света.

Ти си сат од којег небо зарумени,
Символ већи него бол људски што грца;
И ти си божанству ближа него мени:
Више закон света, него закон срца.

(Символ)

и образов циклов «Дубровачке поеме» и «Царски сонети», в которых Дучич воспел историю и царственность Дубровника, Северянин соткал единственный «медальон» в его книге «Медальоны» (Белград, 1934), посвященный югославской поэзии. Сонет «Дучич» стоит в ряду сонетов, посвященных крупнейшим поэтам и писателям мира, любимым и ценимым Северяниным.

художественностью, эмоциональным богатством, мастерской афористичностью и метафоричностью. Это большой мир большого художника, в чьем сердце жили и гомеровская, и своя эпохи.[92] Многие из этих очерков Дучич назвал письмами, хотя по жанру они ближе к стихотворениям в прозе, к поэтическим новеллам, чем к письмам.[93] Любое его письмо-очерк — настоящее искусство. Верно сказано, что он из «гибридного» жанра,[94] из очерков, создал уникальную по серьезности содержания, по мастерству, по богатству тропов, по образности и музыкальности прозу. В одной фразе он умел объединить опыт веков; исторические факты и философские категории он поднял на уровень высокого искусства.

Дучич не был в России, но о русской культуре, о русских писателях, о русских людях написал немало поразительных страниц, которые имеют не только большую литературную ценность, но являются и живым документом эпохи. О многих народах Дучич писал вдохновенно и правдиво, о русских — с особой теплотой. Описывая русских в Женеве, Дучич старался ухватить то, что имеет непреходящую ценность. В первом письме-очерке из Швейцарии (1900) Дучич пишет: «Русское общество я узнал только за границей. Французов я всегда любил всем умом, а русских всем сердцем. . .»[95]

Дучич оставил ценные страницы о жизни русских студентов в Женевском университете на рубеже XIX и XX вв.[96] — «самом интернациональном университете в мире». Он создал своеобразную, сжатую картину жизни русских студентов в Женеве и их окружения, оставив несколько сильных образов, связанных с революционными идеями. Дучич пишет, что из студентов всех национальностей в Женеве «больше всех чувствуются русские», их так много, что «хватило бы на целую губернию. . . у русских есть здесь собственные улицы, особый облик и своя мораль». Дучич заметил разношерстность этого общества. Но особое внимание Дучич уделяет той группе русских, которые живут в Женеве «в нищете и в идеалах. Они мечтают о великой революции, которая начнется в России и развернется потом по всей земле и среди звезд. . .» «Моя первая квартира в Женеве была в безымянной улочке на самом берегу Арвы. Вскоре я познакомился там с одним русским без руки. . . Он представляет собой известный тип русского революционера. . . Русский без руки старался всю жизнь создать лучший дом для человечества».

Дучич обратил внимание на тех девушек, которые, попадая в Женеву «из русской степи. . . имеют вид типичной русской студентки: наполовину мужской костюм и в целом мужские черты — любовь к Карлу Марксу

---

[92] «Я писал о каждой стране, где пребывал. . . я всегда пытался схватить душевную и духовную жизнь страны и останавливался равно и на том, что имеет непреходящую ценность, и на том, что характерно для данного народа» (*Дучић Ј.* Сабрана дјела, II, с. 333).

[93] Среди них выделяются: «Прво писмо из Швајцарске — Алпи», «Друго писмо из Швајцарске — Женева», «Писмо из Француске — Париз», «Писмо с Јонског мора — Крф», «Писмо из Италије — Рим», «Прво писмо из Грчке — Делфи», «Писмо из Шпаније — Авила», «Друго писмо из Грчке — Атина», «Писмо из Палестине — Јерусалим», «Писмо из Египта — Каиро».

[94] См.: *Кашанин М.* Судбине и људи, с. 347.

[95] *Дучић Ј.* Сабрана дјела, II, с. 11—12.

[96] Там же, с. 56—61.

и ужас от чужого капитализма. . . Первого мая идут колонной за красным флагом и поют революционную Карманьолу. . . они не только враги дряхлого государственного режима, но также и истрепанной буржуазной морали. . .» Дучич увидел и процесс расслоения: у некоторых студентов со временем исчезают свойства «молодой и великой русской души, исчезает и любовь к мученичеству, которая присуща русской крови, так проходит жажда вечного идеала, которая есть нерв нашей славянской сущности. . . их больше не касаются наши студенческие планы освобождения Европы — от капитализма, балканских стран — от султана, русских — от царя, Боснии — от Габсбургов». Некоторые, захваченные буржуазным образом жизни, не говорят более «о подвигах, которые ведут в сибирскую ссылку. . .» С грустью поэт замечает, что «в Женеве быстро стареется». Однако «. . . те, кого не увлекла Женева своим солнцем и голубизной и кого не привела к порокам и измене, — те навсегда остаются несравненно великими. Русская пропагандистка времен Николая II достоинством равна христианской святой эпохи Нерона или Домициана. Никогда история не знала таких политических пропагандисток, как русская женщина. Надо здесь видеть тех героинь бесчисленных и безымянных, которые весь свой моральный и плотский инстинкт, всю нежность к ребенку вложили в идею. Русская тут, в Женевской консерватории, научится петь и декламировать, одеваться со вкусом придворной дамы, разбираться в науке и в литературе, но потом. . . будет замучена в Петропавловской крепости или иссушена в сибирских рудниках».

Именно таких стойких русских более всего ценил Дучич в Женеве. Приходится сожалеть, что автор не сообщил их фамилий. Здесь запечатлены дух предреволюционной эпохи, неизменная любовь Дучича к России и его свободомыслящему революционному русскому окружению (возможно, что в глубине проникновения Дучича в русскую поэзию, и в совершенстве его переводов с русского — некоторая заслуга его русских друзей и подруг из Женевского университета). «У меня было несколько добрых подруг, из всех слоев русского общества. Некоторые из них были светлые и нежные, как из русской сказки, а другие — дикие и суровые, как лисы из их степей. И они одинаково умирали где-то общей смертью на баррикадах или были расстреляны во дворах их крепостей. Никогда не забуду маленькую Наташу, красавицу из какого-то дворянского гнезда под Москвой, с глазами зелеными, как листья лавра, которая играла Шопена, как никто, и плясала, как древнегреческая танцовщица. Когда пришла весть о ее кончине, эту маленькую Наташу оплакивали ее суженый и я одним осенним женевским утром, когда нам казалось, что вся хлябь небесная обрушилась на нас. Ее растоптала конница во время стычек на варшавской улице. . . никто так не жертвует собой, как русская. . .» Этот конкретный образ русской революционерки Наташи под пером Дучича перерос в художественный символ, олицетворяющий лучшие духовные и боевые качества русского революционного поколения конца XIX и начала XX в.

Заключая по необходимости краткий обзор отношений Дучича к русской культуре, нельзя не вспомнить, что он написал блестящую и до сих пор единственную монографию о Саве Владиславиче, прозванном в России

Рагузинским,— крупной исторической личности, крупнейшем дипломате петровской эпохи.[97] Дучич двадцать лет упорно собирал все, что касалось Рагузинского, досконально изучая эпоху Петра I. Весь этот материал он систематизировал, оценил, прокомментировал со скрупулезностью ученого. Большой поэт создал научную книгу — крупный вклад в историографию славянских народов, один из памятников исторических и культурных взаимосвязей России и южных славян. Дучич первым опубликовал в этой книге документы из архивов Венеции, Рима, Дубровника, Бухареста, использовал и некоторые материалы из архивов Петербурга и Москвы — словом, все, что касается многогранной деятельности Рагузинского. В этой книге возникает перед читателем тридцатилетний период активнейшей деятельности Рагузинского, участвовавшего во всех крупных событиях России первой трети XVIII в. Здесь обрисованы роль Рагузинского в заключении союза России и Молдавии в Яссах, мира с турецким султаном на Пруте, конкордата с папой римским, договора с китайским императором и др. Автор уделил особое внимание тому, что Рагузинский был первым сербом, который заинтересовал русский двор и лично Петра I балканским вопросом,[98] убедил их в необходимости русской помощи в борьбе балканских народов с турецким игом. В своей книге Дучич раскрыл многообразные отношения Черногории и Сербии с Россией, показал, что именно Рагузинский был инициатором и автором текста знаменитого обращения Петра I к черногорцам и другим христианским славянам (1711). С. В. Рагузинский первым поставил в России сербский и черногорский вопрос как главную проблему Балкан.

Никто в России того времени не знал истинное положение дел в южнославянских странах в такой мере, как это знал С. Владиславич. Его планы изгнания турок из Европы в Азию охотно разделял и поддерживал Петр I, который в этих вопросах полностью полагался на мнение Рагузинского.

Дучич писал, что, создавая эту книгу, он как поэт был далек от своего литературного призвания, которое всегда являлось чистым вдохновением. «Я взялся за это, — пишет Дучич, — лишь из любви к своему сербскому народу», который «дал миру много великих, и подчас незаслуженно забытых».[99] К тому же вся книга пронизана и братской любовью Дучича к русскому народу.

Й. Дучич и С. Владиславич — сербы из Герцеговины. Герцеговина же была землей рапсодов, рассадником сербского языка и кузницей эпического десетерца, а Дучич считал, что «десетерац — собственность сербов точно такая же, как гекзаметр был единственной духовной выразительной формой древних греков».[100] В этой книге С. Владиславич-Рагузинский — типичный носитель герцеговинского характера. Ценно, что Дучич первым убедительно показал С. Владиславича-Рагузинского и как талантливого писателя (первым южнославянским «путописцем» — автором путевых заметок — в современном понимании этого слова) и отметил его зна-

---

[97] *Дучић J.* Гроф Сава Владиславић. Питсбург; Београд, 1941; Сарајево, 1969.

[98] «Владиславич создал себе на исходе нашего горестного XVII в. имя крупнейшего дипломата среди великого славянского народа и приобрел огромные заслуги в эту великую славянскую эпоху» (там же, с. 10).

[99] См. там же, с. 10.

[100] Там же, с. 10.

чительные заслуги как переводчика. Его перевод книги М. Орбини «Королевство славян» [101] сыграл большую роль и в историографии, и в художественной литературе не только южных славян, но и в культуре многих европейских народов. В текстах С. Владиславича на разных языках Дучич раскрыл типично герцеговинские речевые обороты, эпитеты и поговорки, своей книгой Дучич вернул сербскому народу и родной Герцеговине одного из благороднейших ее сыновей, который при русском престоле, исполняя ответственнейшие миссии, представлял герцеговинскую «врожденную национальную одаренность и дальновидность».

Й. Дучич отметил причастность Рагузинского и к судьбе Пушкина, рассказав историю того, как Рагузинский подарил Петру I арапа и как после переговоров с китайским императором он нашел А. Ганнибала в Сибири и вернул его из ссылки.

Исследователи творчества Пушкина в разных аспектах освещали его интерес к южным славянам и особенно к сербам: неоднократно упоминают Мериме, сборники народных песен В. Караджича, его приезд в Петербург в 1819 г., два восстания сербов (1804 и 1815 гг.), пребывание Карагеоргия и его соратников в Бессарабии и в Петербурге — все это немаловажно при изучении интереса Пушкина к сербам. Но мы убеждены, что зародыш этого интереса у Пушкина лежит в личности Рагузинского: Пушкин принадлежал к тем поэтам, творчество которых имеет глубокие корни в истории их родословной. Само имя Рагузинского вело Пушкина к сербскому народу. В своей прозе Пушкин десятки раз упоминает имя Рагузинского. Поэт, вероятно, осознавал, что благодаря С. Владиславичу его род по материнской линии оказался в России и что тот же С. Владиславич стал спасителем его предка.

Несомненно, что и Дучича к русской культуре и истории влекли не только вековые традиции, близость языков и родство народов, но и легендарное имя серба из Герцеговины С. Владиславича,[102] воспетое гуслярами как символ [103] вековой надежды южных славян на Россию.

* * *

Близость Дучича к русской культуре не приводила к подражанию. Она явилась в результате творческого впитывания, каждый элемент которого становился частью его здания, естественно вырастая из его художественного мира. Те, кто считает, что Дучич буквально «намагничен» французской поэзией, не учли, что творческий «магнит» Дучича притягивал из поэзии других народов те элементы, которые были наиболее созвучны его темпераменту, — притягивал, чтобы их перевоплотить, растворить в себе. Все проходило сквозь пламя его вдохновения. В его

---

[101] *Orbini M.* Il regno degli Slavi. Pesaro, 1601.

[102] Доказана родственная связь С. Владиславича и Й. Дучича. Личный секретарь Дучича, художник П. Милосавлевич, утверждает, что и помимо родословной, которую проследил сам Дучич, их портреты подтверждают кровное родство (см.: *Милосављевић П.* Био сам Дучићев секретар. — Зора. Почасни број, 1968/69, с. 318).

[103] В книге Дучича широко представлены народные песни и легенды о Саве Владиславиче и его предках, которые в еще большей степени помогли раскрыть научную и биографическую достоверность исторической личности Рагузинского.

творчестве отразились и родство культур и поэтических темпераментов, созвучие некоторых сторон эпохи. Но исконная славянская основа здесь была сильнее всего остального. Дучич всюду искал голос предков, и не только в балканском (южнославянском) прошлом, но и в древнейших славянских «гнездах». На примере Дучича можно извлечь весьма существенный вывод: закон национального родства, закон крови порождает особого рода схожие произведения, независимо от того, о какой эпохе идет речь. Ни одно произведение Дучича не было эхом чужого голоса. Даже там, где в его стихах чувствуется «невидимый спутник», он всегда сохраняет что-то «интегрально славянское».[104]

Мы смогли лишь в основных чертах осветить один из эпизодов теснейших культурных связей Сербии с Россией, и прежде всего с русской классической литературой. В развитии этих связей, в создании атмосферы подлинно творческого, этического и эстетического созвучия двух славянских культур роль Й. Дучича — крупнейшего сербского поэта, критика и теоретика литературы конца XIX—первой половины XX в. — исключительно велика. Нужно надеяться, что блистательная фигура Й. Дучича еще не раз привлечет к себе внимание советских и югославских литературоведов. Этого настоятельно требует развитие глубоких связей славянских культур.

---

[104] См.: *Цар М.* Моје симпатије, II, с. 100.



СОДЕРЖАНИЕ

ДУХОВНАЯ КУЛЬТУРА СЛАВЯНСКИХ НАРОДОВ

Литература. Фольклор. История

Утверждено к печати Институтом русской литературы (Пушкинский Дом) Академии наук СССР

Редактор издательства Л. М. Романова. Художник Л. А. Яценко
Технический редактор Н. А. Кругликова
Корректоры Э. Н. Липпа и Э. Г. Рабинович

ИБ № 20740

Сдано в набор 24.01.83. Подписано к печати 09.09.83. М-41165. Формат 70×90$^{1}/_{16}$. Бумага типографская № 1. Гарнитура обыкновенная. Печать высокая. Усл. печ. л. 28.08. Усл. кр.-отт. 28.08. Уч.-изд. л. 29.52. Тираж 3750. Тип. зак. 64. Цена 2 р. 90 к.

Издательство «Наука». Ленинградское отделение.
199164, Ленинград, В-164, Менделеевская лин., 1.

Ордена Трудового Красного Знамени Первая типография издательства «Наука».
199034, Ленинград, В-34, 9 линия, 12.

**КНИГИ ИЗДАТЕЛЬСТВА «НАУКА»
МОЖНО ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ЗАКАЗАТЬ
В МАГАЗИНАХ КОНТОРЫ «АКАДЕМКНИГА»**

Для получения книг почтой заказы просим направлять по адресу:

117192 **Москва,** В-192, Мичуринский пр., 12.
Магазин «Книга — почтой»
Центральной конторы «Академкнига»;

197345 **Ленинград,** П-345, Петрозаводская ул., 7.
Магазин «Книга — почтой»
Северо-Западной конторы «Академкнига»,

480091 Алма-Ата, ул. Фурманова, 91/97 («Книга — почтой»);
370005 Баку, ул. Джапаридзе, 13;
320093 Днепропетровск, пр. Гагарина, 24 («Книга — почтой»);
734001 Душанбе, пр. Ленина, 95 («Книга — почтой»);
375002 Ереван, ул. Туманяна, 31;
664033 Иркутск, ул. Лермонтова, 289;
252030 Киев, ул. Ленина, 42;
252030 Киев, ул. Пирогова, 2;
252142 Киев, пр. Вернадского, 79;
252030 Киев, ул. Пирогова, 4 («Книга — почтой»);
277012 Кишинев, пр. Ленина, 148 («Книга — почтой»);
343900 Краматорск Донецкой обл., ул. Марата, 1;
660049 Красноярск, пр. Мира, 84;
443002 Куйбышев, пр. Ленина, 2 («Книга — почтой»);
191104 Ленинград, Литейный пр., 57;
199164 Ленинград, Таможенный пер., 2;
199034 Ленинград, 9 линия, 16.

КНИГИ ИЗДАТЕЛЬСТВА «НАУКА»
МОЖНО ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ЗАКАЗАТЬ
В МАГАЗИНАХ КОНТОРЫ «АКАДЕМКНИГА»

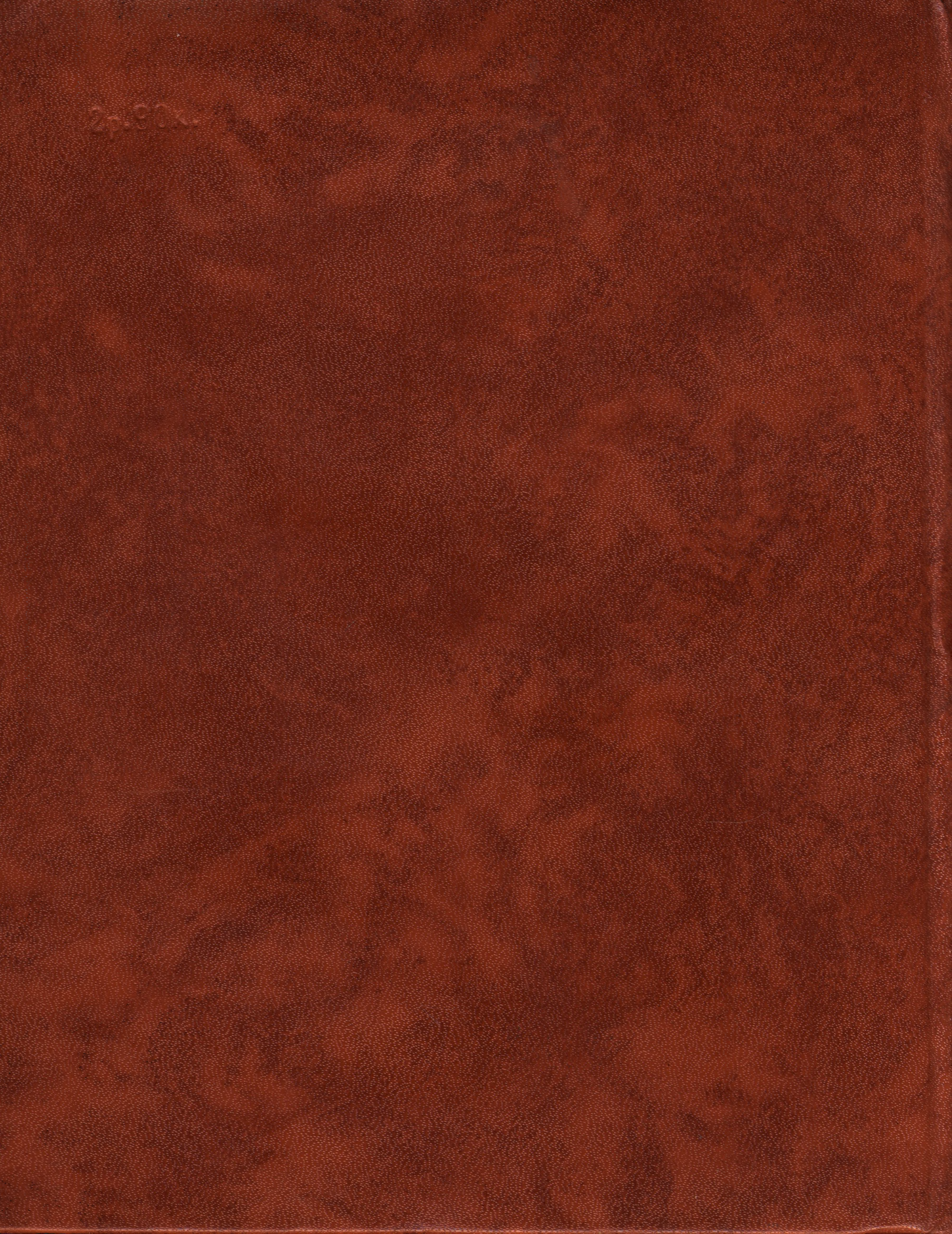
Для получения книг почтой заказы просим направлять по адресу:

117192 **Москва,** В-192, Мичуринский пр., 12.
Магазин «Книга — почтой»
Центральной конторы «Академкнига»;

197345 **Ленинград,** П-345, Петрозаводская ул., 7.
Магазин «Книга — почтой»
Северо-Западной конторы «Академкнига»,

220012 **Минск,** Ленинский пр., 72 («Книга — почтой»);
103009 **Москва,** ул. Горького, 8;
117312 **Москва,** ул. Вавилова, 55/7;
630076 **Новосибирск,** Красный пр., 51;
630090 **Новосибирск,** Академгородок, Морской пр., 22 («Книга — почтой»);
142292 **Пущино** Московской обл., МР «В», 1;
620151 **Свердловск,** ул. Мамина-Сибиряка, 137 («Книга — почтой»);
700029 **Ташкент,** ул. Ленина, 73;
700100 **Ташкент,** ул. Шота Руставели, 43;
700187 **Ташкент,** ул. Дружбы народов, 6 («Книга — почтой»);
634050 **Томск,** наб. реки Ушайки, 18;
450059 **Уфа,** ул. Р. Зорге, 10 («Книга — почтой»);
450025 **Уфа,** Коммунистическая ул., 49;
720001 **Фрунзе,** бульв. Дзержинского, 42 («Книга — почтой»);
310078 **Харьков,** ул. Чернышевского, 87 («Книга — почтой»).




2р.90к.


ДУХОВНАЯ КУЛЬТУРА
СЛАВЯНСКИХ НАРОДОВ